



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

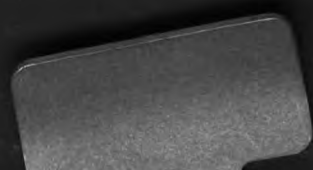
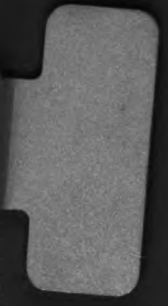
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>







М К Т  
Инвентарь № 91  
М. Д.  
Кв. 104/8

Биогр. С. 439 \* (2)

# РУССКІЕ ЛЮДИ.

---

ТОМЪ II.









# РУССКІЕ ЛЮДИ.

---

ЖИЗНЕОПИСАНІЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВЪ,

ПРОСЛАВИВШИХСЯ СВОИМИ ДѢЯНИЯМИ

НА ПОПРИЩѢ НАУКИ, ДОБРА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ.

---

Съ портретами, гравированными на стали по рисункамъ  
А. Шарлеманя.

2  
ТОМЪ ВТОРОЙ.



---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ и МОСКВА.

ИЗДАНИЕ КНИГОПРОДАВЦА И ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

---

1866.

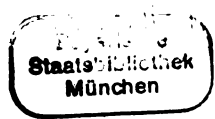
ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО  
НА УЛУ МОГЛЕВСКОЙ И КАКОПЕРСКОЙ, № 7/2.

ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО

ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО

ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО

ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО



ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО

ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО

**ВЪ ТИПОГРАФИИ Ф. С. СУЩИНСКАГО.**

На углу Могиловской и Какоперской, № 7/2.



## МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ

# Г Л И Н К А

(1804 — 1857).

Михаилъ Ивановичъ Глинка родился, въ 1804 году, мая 20-го, утромъ на зарѣ, въ селѣ Новоспасскомъ, принадлежавшемъ родителю его, капитану въ отставку, Ивану Ивановичу Глинкѣ. Имѣніе это находится въ двадцати верстахъ отъ города Ельни, Смоленской губерніи. Оно расположено по рѣкѣ Деснѣ (близъ ея истока), и въ недалекомъ разстояніи окружено непроходимыми лѣсами, сливающимися съ знаменитыми брянскими лѣсами. Вскорѣ по рожденіи Глинки, мать его, Евгенія Андреевна (урожденная Глинка же), принуждена была предоставить первоначальное воспитаніе сына бабкѣ его, Ѳеклѣ Александровнѣ (матери его отца), которая перенесла его въ свою комнату. Съ нею, кормилицею и нянею, провелъ онъ около трехъ или четырехъ лѣтъ, выдаясь весьма рѣдко съ родителями.

Глинка былъ ребенкомъ слабого сложенія, золотушнаго и нервнаго расположенія. Бабка его, женщина преклонныхъ лѣтъ, почти всегда хворала, а потому въ комнатѣ ея (гдѣ обиталъ и онъ) было, по крайней мѣрѣ, не менѣе двадцати градусовъ по Реомюру. Несмотря на это, Глинка не выхо-

диль изъ шубки. На свѣжій воздухъ выпускали его очень рѣдко и то въ теплое время. Нѣтъ сомнѣнiя, что это первоначальное воспитанiе имѣло сильное влiянiе на развитiе его организма, и объясняетъ его неопределимое стремленiе къ теплымъ климатамъ.

Бабушка баловала внучка до невѣроятной степени. Ему ни въ чемъ не было отказа. Несмотря на это, онъ былъ ребенкомъ кроткимъ и послушнымъ, и только, когда тревожили его во время занятiй, становился недотрогой, что отчасти сохранилось до конца его жизни. Однимъ изъ любимыхъ его занятiй, было ползать по полу, рисуя мѣломъ деревья и церкви. Малютка былъ весьма набоженъ, и обряды богослуженiя, особенно въ дни торжественныхъ праздниковъ, наполняли душу его живѣйшимъ поэтическимъ восторгомъ. Выучась читать чрезвычайно рано, онъ не рѣдко приводилъ въ умиленiе свою бабу и ея сверстницъ, чтенiемъ священныхъ книгъ. Музыкальная способность его выражалась въ это время страстию къ колокольному звону (резвону). Онъ жадно вслушивался въ эти рѣзвiе звуки, и умѣлъ, на двухъ мѣдныхъ тазахъ, ловко подражать звонарямъ, такъ что, въ случаѣ болѣзни, приносили въ комнаты малые колокола, для его забавы.

Съ самаго малолѣтства, Глинка уже былъ слабонервенъ. Когда, за нѣсколько дней до кончины бабушки, ей приложили пластырь отвратительнаго запаха, то малолѣтнаго Глинку ни какою силою не могли принудить войти къ ней, и онъ не присутствовалъ при ея кончинѣ, несмотря на то, что очень любилъ ее. Послѣ кончины бабушки, образъ жизни мальчика нѣсколько измѣнился. Мать баловала его менѣе и старалась приучить его къ свѣжему воздуху; но эти попытки, по бѣльшей части, оставались безъ успѣха. Приставили къ нему другую няню, вдову землемѣра, по имени Ирину Федоровну, женщину простую и чрезвычайно добрую, а въ послѣдствii присоединили къ ней французженку Розу Ивановну. Сверхъ того отецъ Глинки нанялъ архитектора, который далъ малюткѣ

карандашъ и началъ свои уроки рисованія, какъ водится, съ копировки глазъ, носовъ, ушей и пр., требуя отъ него безотчетнаго механическаго подражанія. При всемъ томъ, однако же, Глинка быстро успѣвалъ. Одинъ дальній родственникъ, любознательный, бодрый и пріятнаго нрава старичекъ, не рѣдко навѣщалъ семейство молодаго Глинки, и любилъ разсказывать ему о далекихъ краяхъ, о дикихъ людяхъ, о климатахъ и произведеніяхъ тропическихъ странъ, и, видя съ какою жадностію онъ его слушалъ, привезъ ему однажды томъ книги, подъ названіемъ: *О странствіяхъ вообще*, изданную въ царствованіе Екатерины II. Въ послѣдствіи, отъ того же старичка родственника, получилъ онъ и другіе томы этого собранія путешествій. Малютка съ рвеніемъ принялся за чтеніе этой книги, сюжетомъ которой были отрывки изъ путешествій знаменитаго Васко-де-Гама, и когда дѣло дошло до описанія острововъ Индійскаго архипелага, Суматры, Явы и другихъ, то его воображеніе разыгралось до того, что онъ принялся изучать описаніе этихъ прелестныхъ острововъ и началъ дѣлать извлеченія изъ вышеозначенной книги, что и послужило основаніемъ его страсти къ географіи и путешествіямъ.

Музыкальное чувство все еще оставалось въ немъ въ неразвитомъ и грубомъ состояніи. Даже по осьмому году, когда родители его спасались, отъ нашествія французовъ, въ Орель, Глинка, съ прежнею жадностію, вслушивался въ колокольный звонъ, отличалъ трезвонъ каждой церкви, и усердно подражалъ ему на мѣдныхъ тазахъ. Всегда окруженный женщинами, играя только съ сестрою и дочерью няни Ирины Федоровой, принятой вмѣстѣ съ нею въ домъ, онъ вовсе не походилъ на мальчиковъ своего возраста; притомъ страсть къ чтенію, географическимъ картамъ и рисованію, въ которомъ онъ началъ примѣтно успѣвать, часто отвлекала его отъ дѣтскихъ игръ.

У отца иногда собиралось много гостей и родственниковъ. Это случалось въ особенности въ день его именинъ или когда

пріѣзжалъ къ нему какой либо дорогой человѣкъ, котораго онъ хотѣлъ угостить на славу. Въ такомъ случаѣ посылали обыкновенно за музыкантами, къ дядѣ его (брату матери), жившему въ восьми верстахъ отъ Новоспасскаго села. Музыканты оставались нѣсколько дней, и когда танцы за отѣздомъ гостей прекращались, то играли разныя піесы. Однажды (это было въ 1814 или 1815 году, когда Глинкѣ минуло десять или одиннадцать лѣтъ), играли квартетъ съ кларнетомъ. Эта музыка произвела на Глинку чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Онъ оставался цѣлый день потомъ въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи и былъ погруженъ въ неизяснимыя, томительно-сладкія ощущенія. Съ этого времени онъ сталъ болѣе и болѣе разсѣиваться, рисовать началъ небрежно, а однажды, на замѣчаніе учителя, что онъ все только и думаетъ о музыкѣ, сказалъ: «Что же дѣлать: музыка душа моя!»

И, дѣйствительно, съ той поры Глинка страстно полюбилъ музыку. Оркестръ его дяди былъ для него источникомъ самыхъ живыхъ восторговъ. Когда играли для танцевъ, экосесы, матрадуръ, кадрили и вальсы, онъ бралъ въ руки скрипку или маленькую флейту (piccolo), и поддѣлывался подъ оркестръ, разумѣется посредствомъ тоники и доминанты. Отецъ часто гнѣвался, что онъ не танцуетъ и оставляетъ гостей; но, при первой возможности, онъ возвращался къ оркестру. Во время ужина, обыкновенно играли русскія пѣсни, переложенныя на двѣ флейты, два кларнета, двѣ валторны и два фагота. Эти грустно-пѣжные, но вполне доступные для него звуки, чрезвычайно нравились ему, и были, конечно, первою причиною того, что въ послѣдствіи онъ сталъ преимущественно разрабатывать народную русскую музыку. Около этого времени, выписали дѣтямъ изъ Петербурга гувернантку Барвару Ѳедоровну Кламмеръ. Она была двѣца лѣтъ двадцати, высокаго роста, строгая, взыскательная. Она воспитывалась въ Смольномъ институтѣ, и взялась учить ихъ порусски, пофранцузски, понѣмецки, географіи и музыкѣ. Пошли

въ ходъ грамматики, діалоги, краткія описанія земель и городовъ и проч. Все это надлежало заучивать въ доляшку, то есть на вопросъ отвѣчать, не запинаясь, не измѣнивъ и не проронивъ ни слова. Хотя музыкѣ, то есть игрѣ на фортепіано и чтенію нотъ, ихъ учили также механически, однако же Глинка быстро въ ней успѣвалъ. Вскорѣ послѣ того дядя прислалъ къ отцу Глинки одного изъ первыхъ своихъ скрипачей, для обученія племянника игрѣ на скрипкѣ. Къ сожалѣнію, самъ учитель игралъ не совсѣмъ вѣрно, что не могло не отозваться и на ученикѣ.

Хотя Глинка любилъ музыку почти безсознательно, однакожь предпочиталъ піесы, болѣе доступныя тогдашнимъ его музыкальнымъ понятіямъ. Оркестръ, вообще, онъ любилъ болѣе всего, а изъ оркестровыхъ піесъ, послѣ русскихъ пѣсень, предпочиталъ увертюры: «*Ma tante Auorge*», Боальдіе, «*Лодонска*», Крейцера, и «*Двое слѣпыхъ*», Мегюля. Эти двѣ послѣднія игралъ онъ охотно на фортепіано, равно какъ нѣкоторыя сонаты Штейбельта, особенно рондо *L'orage*, которое исполнялъ довольно порядочно.

Въ началѣ зимы 1817 года, Глинка былъ привезенъ изъ деревни въ Петербургъ и отданъ въ новооткрытый тогда благородный пансіонъ при главномъ Педагогическомъ институтѣ, откуда выпущенъ, по окончаніи курса наукъ, лѣтомъ 1822 г. При большихъ своихъ способностяхъ, Глинка отлично учился во все время пребыванія своего въ благородномъ пансіонѣ. Онъ учился прилежно, вель себя хорошо, былъ любимъ столько же товарищами, сколько и отличаемъ профессорами. Въ 1819, 1820 и 1821 годахъ получилъ онъ на экзаменѣ похвальные листы, гравюру и другія награды. Въ рисованіи онъ, безъ сомнѣнія, дошелъ бы до нѣкоторой степени совершенства, но учителя его, академики Безсоновъ и Сухановъ, замучили его огромными головами. Требуя рабскаго подражанія оригиналу, они довели молодого Глинку до того, что онъ просто отвазлся отъ ихъ уроковъ. Математику онъ разлюбилъ, когда

дошелъ до аналитики; уголовное же и римское право ему вовсе не нравилось. Въ танцахъ онъ былъ плохъ, равно какъ и въ фехтованіи... Любимыми предметами его были языки латинскій, французскій, нѣмецкій, англійскій и потомъ *персидскій*; изъ наукъ — географія и зоологія. Онъ сдѣлалъ такіе быстрые успѣхи въ ариметикѣ и алгебрѣ, что былъ репетиторомъ послѣдней изъ нихъ. Пройдя геометрію, онъ вовсе оставилъ математику, вѣроятно потому, что въ высшихъ классахъ число предметовъ значительно увеличилось. Подобно большей части своихъ соотечественниковъ, Глинка обладалъ необыкновенною способностію къ изученію языковъ и въ послѣдствіи времени, безъ особаго труда, къ исчисленнымъ выше языкамъ, прибавилъ языки италіанскій и испанскій, которыми владѣлъ, съ такою же легкостью и мастерствомъ, какъ французскимъ или нѣмецкимъ. Англійскій и персидскій скоро были имъ забыты, по недостатку практики. Любовь же къ географіи и зоологіи была прямымъ результатомъ поэтическаго художественнаго чувства, бывшаго, въ свою очередь, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ первыхъ годовъ, проведенныхъ посреди живой природы, внѣ душныхъ улицъ города. Страсть къ предметамъ разнообразной и живой природы, въ лѣта дѣтства высказавшаяся въ жадномъ чтеніи путешествій, осталась успокоительнымъ спутникомъ Глинки во всѣ послѣдующіе годы его безпокойной жизни, и была, съ занятіемъ музыкою, такъ сказать, цѣлительнымъ бальзамомъ, посреди посѣтившихъ его горестей и печали. Въ его автобіографическихкихъ запискахъ и письмахъ о своихъ путешествіяхъ по разнымъ странамъ, прежде всего попадаются рассказы о природѣ, окружавшей его, а вмѣстѣ съ тѣмъ о птичкахъ или звѣркахъ, которыми онъ всегда любилъ наполнять одну изъ своихъ комнатъ. Еще до пансіона началъ онъ замѣчать дивное разнообразіе естественныхъ произведеній. У дяди его было много птицъ, какъ въ клѣткахъ, такъ и въ отдѣленной сѣткою части гостиной, гдѣ онѣ летали. Глинка любилъ смотрѣть на нихъ и слушать ихъ пѣ-

ніе. Родителямъ Глинки досталось потомъ, по наслѣдству отъ дяди, это множество птицъ. Въ самый годъ отъѣзда изъ деревни въ Петербургъ, у Глинки уже летали птицы въ комнатѣ, а когда онъ жилъ въ пансіонѣ (въ отдѣльной квартирѣ, съ тремя товарищами и гувернеромъ), надъ мезониномъ, гдѣ онъ былъ помѣщенъ, на большомъ чердакѣ разведены были у него разнаго рода голуби и кролики. Болѣе же всего способствовали развитію страсти его къ зоологіи, посѣщенія вунсткамеры, подъ руководствомъ преподававшаго профессора. Въ жизни Глинки, мы встрѣчаемъ множество примѣровъ о его любви къ животнымъ. Такъ, во время четырехъ-мѣсячнаго пребыванія своего на Кавказѣ, въ 1823 году, Глинка приручилъ тамъ дикихъ вожочекъ.

Въ 1826 году, воротясь въ деревню послѣ масляницы, проведенной въ Смоленскѣ, онъ завелъ у себя птицъ варакушку, ольшанку, черноголовку и другихъ, всего до шестнадцати штукъ. Весною 1844 г., передъ отъѣздомъ за границу, у него было до двадцати птицъ, свободно летавшихъ по комнатамъ, и причеиъ каждая изъ нихъ знала свою кѣтку. Во время пребыванія его въ Парижѣ, онъ каждый день много часовъ посвящалъ прогулкамъ въ Jardin des Plantes, и держалъ немало пѣвчихъ птичекъ. Путешествуя, въ 1847 году, по Испаніи, онъ завелъ въ Севильѣ до четырнадцати птицъ, которыя летали въ нарочно-отведенной для нихъ комнатѣ. Въ Варшавѣ, въ 1847 и 1849 годахъ, онъ также держалъ на волѣ до шестнадцати птицъ и зайчиговъ; также въ Петербургѣ, лѣтомъ 1855 года, у него было въ особой комнатѣ около десяти птицъ. До обѣда Глинка обыкновенно игралъ на скрипкѣ, чтобы раззадорить своихъ птицъ и заставить ихъ пѣть.

Въ запискахъ Глинки, посвященныхъ его пансіонскимъ воспоминаніямъ, самое главное мѣсто занимаетъ воспоминаніе объ одномъ изъ наставниковъ его, И. Я. Колмаковѣ. Это былъ человекъ чрезвычайно оригинальный и добрый. Глинка,

говоря о немъ, называетъ его «честнымъ музикою и добрымъ христіаниномъ». Несмотря на всѣ странности, Колмаковъ былъ обожаемъ всѣми воспитанниками, и успѣлъ заронить, въ поэтическое и благородное сердце Глинки, такую о себѣ память, что она, даже черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, горячо выразилась на многихъ страницахъ его автобіографіи.

Что касается до пансіонскихъ товарищей Глинки, то они въ школѣ уже оцѣнили, или, по крайней мѣрѣ, предчувствовали особенность натуры Глинки, призваніе ея къ дѣятельности художественной, къ жизни совсѣмъ иной, чѣмъ жизнь и дѣятельность большинства. Послѣ сухихъ репетицій, онъ предавался полету свободной импровизаціи, отдыхая за нею отъ головоломныхъ занятій и заботъ ученическихъ. Въ этихъ звукахъ, дрожавшихъ восторгомъ, высказывалъ онъ, и свои дѣтскія мечты, и свою томную грусть, и свои живыя радости... Лучшія награды за прилежаніе были для него не въ похвалѣ учителей, а въ свободной отъ ученія минутѣ, когда онъ могъ вполнѣ предаться ненасытнымъ порывамъ своей фантазіи.

Привезя своего сына изъ деревни въ Петербургъ, родители Глинки имѣли въ виду, конечно, одну цѣль: дать ему хорошее образованіе. Они ни сколько не помышляли тогда, что, изъ этого тихаго, кроткаго и прилежнаго мальчика, долженъ выйти въ послѣдствіи великій русскій художникъ; ни сколько не заботились о томъ, что ему необходимо быть теперь въ большомъ, столичномъ городѣ, для того, чтобы получить возможность расширить свой артистическій горизонтъ. По крайней мѣрѣ, въ запискахъ Глинки нигдѣ о томъ не упомянуто. Ему дали въ Петербургѣ и фортепіано и музыкальныхъ учителей, единственно потому, что уже и въ деревнѣ онъ не безъ успѣха учился музыкѣ и игралъ на фортепіано; притомъ же такія занятія непремѣнно входили въ составъ воспитанія всякаго дворянина въ Россіи. Но быстрые успѣхи, оказанные Глинкою въ самое короткое время, были необходимымъ ре-



зультатомъ его занятій, подъ руководствомъ учителей, болѣе опытныхъ, чѣмъ деревенскіе гувернеры и гувернантки. По приѣздѣ въ Петербургъ, Глинка учился играть на фортепіано у знаменитаго Фильда и, въ сожалѣнію, взялъ у него только три урока, ибо Фильдъ уѣхалъ въ Москву... Въ три взятые у него урока, Глинка выучилъ его второй дивертисементъ (e-dur), и получилъ отъ него лестное одобреніе. По отъѣздѣ Фильда, взяли въ учителя ученика его, Омана, который началъ съ нимъ первый концертъ Фильда (es-dur). Послѣ него Цейнеръ усовершенствовалъ еще болѣе механизмъ игры Глинки и даже нѣсколько самый стиль. Преподаваніе же теоріи, а именно интерваловъ съ ихъ обращеніями, шло не такъ успѣшно. Цейнеръ требовалъ, чтобы Глинка училъ его уроки въ долбяшку, а это ему надоѣло, почему онъ въ послѣдствіи взялъ въ учителя Карла Мейера, который современемъ сдѣлался его пріателемъ и болѣе другихъ содѣйствовалъ развитію его музыкальнаго таланта. Въ день выпуска изъ пансіона, въ 1822 году, Глинка сыгралъ публично амольный концертъ Гуммеля, причемъ Мейеръ акомпанировалъ ему на другомъ роялѣ...

Однажды дядя повезъ его къ знаменитому Гуммелю, въ бытность послѣдняго въ Петербургѣ. Онъ благосклонно выслушалъ, какъ молодой человѣкъ сыгралъ ему первое соло его амольнаго концерта, а затѣмъ началъ самъ импровизировать... На скрипкѣ дѣло шло не такъ удачно. Хотя учитель Глинки, первый концертистъ Бемъ, игралъ вѣрно и отчетливо, однако не имѣлъ дара передавать другимъ своихъ познаній, и когда Глинка дурно владѣлъ смычкомъ, то говорилъ своимъ исковерканнымъ, на нѣмецкій ладъ, французскимъ діалектомъ: «*Monsieur Klinka, vous ne jouerez jamais du violon*».

Зато, если усовершенствованіе игры на фортепіано не повело Глинку ни къ какимъ важнымъ результатамъ, исключая того, что дало возможность въ послѣдствіи свободно импровизировать и акомпанировать пѣнію, то совсѣмъ другіе результаты имѣла его игра на скрипкѣ: она сблизила его съ

оркестромъ. Несмотря на то, что онъ мало успѣвалъ на этомъ инструментѣ, онъ уже могъ играть въ оркестрѣ дяди. Въ 1819, 1820 и 1821 годахъ, во время вакацій, онъ посѣщалъ родителей своихъ. Оркестръ дяди мало по малу усовершенствовался и увеличился нѣсколькими мальчиками, которыхъ отецъ Глинки отдалъ въ ученье, чтобъ имѣть собственную балльную музыку. Сверхъ того, для младшихъ сестеръ, наняли гувернантку, мужъ которой, Карлъ Федоровичъ Гемпель, сынъ органиста изъ Веймара, былъ хорошии музыкантъ. Въ свободные часы онъ отправлялся съ молодымъ Глинкою въ дядѣ Аванасію Андреевичу, и вмѣстѣ восхищались музыкою... Въ концѣ 1823 года, черезъ годъ по выпускѣ изъ пансіона, занятія съ этимъ самымъ оркестромъ стали еще серіознѣе: повидимому, не слѣдуя ни чьему совѣту, а одному художественному своему инстинкту, Глинка сумѣлъ воспользоваться присутствіемъ и удобствомъ этого домашняго оркестра, почти всегда готоваго къ его услугамъ, для того, чтобъ изучить оркестрное дѣло единственно вѣрнымъ и плодотворнымъ образомъ — путемъ непосредственной практики. Чтобы добиться болѣе отчетливаго исполненія, каждый разъ, когда пріѣзжали музыканты (а приблизительно это было два раза въ мѣсяцъ, причемъ они оставались нѣсколько дней, а иногда около недѣли), прежде общей пробы, онъ проходилъ съ каждымъ музыкантомъ, исключая немногихъ лучшихъ, его партію до тѣхъ поръ, пока не было ни одной невѣрной или даже сомнительной ноты въ исполненіи. Такимъ образомъ онъ подмѣтилъ способъ инструментовки болѣеи части лучшихъ композиторовъ для оркестра (Глука, Генделя и Баха онъ зналъ только по наслышкѣ). Затѣмъ Глинка слушалъ общій эффектъ піесы, и управлялъ самъ оркестромъ, играя на скрипкѣ. Когда же піеса шла порядочно, онъ отходилъ на нѣкоторое разстояніе и слѣдилъ такимъ образомъ за эффектомъ изученной уже инструментовки. Репертуаръ состоялъ, по болѣеи части, изъ увертюръ, симфоній, а иногда игрались и концерты.

Итакъ, Глинка оправдалъ всего лучше на себѣ справедливость латинской поговорки: *discendo discimus* (уча другихъ, учимся), и если бы художественный инстинктъ и горячее стремленіе юношескихъ годовъ не подсказали ему необходимости именно такимъ образомъ воспользоваться оркестромъ дяди, вѣроятно, другаго подобнаго случая ему болѣе не представилось бы. Великимъ своимъ инструментальнымъ мастерствомъ, Глинка, конечно, прежде всего обязанъ собственному ученію надъ оркестромъ своего дяди. Изученіе оркестра и музыкальныхъ сочиненій, вообще, не было ограничено для Глинки единственно кругомъ того, что онъ слышалъ и узнавалъ въ исполненіи дядина оркестра. Петербургскіе театры и петербургское общество доставили ему много такихъ средствъ, для его музыкальнаго образованія, которыхъ у него не было бы въ деревнѣ. Во время пребыванія въ пансіонѣ и даже, вскорѣ по приѣздѣ въ Петербургъ, родители и родственники Глинки, а также и ихъ знакомые, возили его въ театръ. Оперы и балеты приводили его въ неописанный восторгъ. Надобно замѣтить, что русскій театръ въ то время не былъ въ такомъ состояніи, какъ затѣмъ, отъ постоянного пребыванія италіанцевъ. Несвѣдущіе, но напыщенные своимъ мнимымъ достоинствомъ, италіанскіе пѣвцы не наводняли тогда столицъ Европы. Къ счастью Глинки, ихъ тогда не было въ Петербургѣ, почему репертуаръ былъ разнообразный. Онъ видѣлъ оперы: *Водовозъ*, *Керубини*, *Иосифъ*, *Мегюля*, *Жюкондъ*, *Изуара*, *Красная Шапочка*, *Боальдіе*. Теноры Климовскій и Самойловъ, басъ Зловъ, были пѣвцы весьма примѣчательные, а извѣстная пѣвица наша Сандунова, хотя уже не играла на театрѣ, но участвовала въ большихъ концертахъ, и онъ слышалъ ее въ ораторіяхъ. Тогда Глинка худо понималъ серіозное пѣніе; солисты на инструментахъ и оркестръ нравились ему болѣе всего... Онъ не пропускалъ ни одного случая бывать гдѣ либо на концертѣ; кромѣ того всякій разъ, когда только было возможно, возили его къ П.

И. Юшкову, гдѣ еженедѣльно играли и пѣли. Хотя, по собственнымъ словамъ Глинки, онъ былъ тогда (то есть во время своего пансіонскаго періода и въ первые годы послѣ него, едва ли не до самой поѣздки за границу, въ 1831 г.) «чрезвычайно застѣнчивъ», такъ что нужно было все умѣнье друзей и знакомыхъ для того, чтобъ ободрять его и устраивать для него новыя знакомства, однако, несмотря на это, въ дружескихъ и пріятныхъ для него семействахъ, гдѣ онъ былъ принятъ, какъ дома, не было у него никогда недостатка, едва ли не съ самаго пріѣзда его въ Петербургъ изъ деревни, еще мальчикомъ. Эти многочисленныя знакомства имѣли для него особенно ту выгодную сторону, что онъ очень часто слышалъ и исполнялъ музыку на фортепіано, особенно въ четыре руки, и такимъ образомъ познакомился, въ этотъ періодъ времени, съ многими музыкальными произведеніями. Поступленіе на службу, въ 1824 году, по вѣдомству путей сообщенія (по желанію отца его, который съ трудомъ удовлетворялъ издержкамъ своего сына на уроки музыки и языковъ), имѣло также полезное вліяніе на разширеніе круга его музыкальнаго знакомства. Случилось, что между его начальниками и сослуживцами многіе очень любили музыку. У нѣкоторыхъ бывали даже музыкальныя собранія. Естественнымъ образомъ, Глинка искалъ этихъ знакомствъ, и развивавшійся его талантъ (по крайней мѣрѣ талантъ исполненія) скоро доставилъ ему почетное и пріятное мѣсто въ этихъ небольшихъ музыкальныхъ кружкахъ. «Мое появленіе приводило всѣхъ въ радость, говорить въ своихъ запискахъ Глинка; знали, гдѣ я, тамъ скуки не будетъ.» Въ однихъ домахъ ему удавалось слышать квартеты и квинтеты Моцарта, Гайдна и Бетговена; въ другихъ онъ игралъ много, въ четыре руки, симфоній и квартетовъ Гайдна, Моцарта и даже нѣкоторыя піесы Бетговена; но гораздо больше игралъ, въ четыре руки, увертюры и театральные отрывки Керубини, Мегюля, Россини и т. д. Такъ какъ въ то время и русская оперная труппа, весьма примѣчательная по

его словамъ, и итальянская (въ которой хотя и не было первоклассныхъ талантовъ, но было нѣсколько хорошихъ пѣвцовъ и пѣвицъ), старались давать на сценѣ все, что только было лучшаго на всѣхъ остальныхъ европейскихъ театрахъ, то Глинка скоро узналъ, и въ театрѣ, и въ четырехъ-ручномъ исполненіи на фортепіано, примѣчательнѣйшія оперы нашего столѣтія, итальянскія, французскія и нѣмецкія. Наконецъ, въ иныхъ домахъ, онъ началъ знакомиться съ пѣніемъ, и сталъ чувствовать къ нему большую охоту: до сихъ поръ, все исключительное вниманіе его, въ дѣлѣ искусства, было обращено на сочиненія и на исполненія инструментальныя.

Уже съ первыхъ минутъ собственнаго композиторства, еще въ 1822 году, Глинка началъ сочинять въ пансіонѣ, подъ вліяніемъ поэтическаго настроенія. Онъ весь предался упоительному чувству творчества, и вдругъ измѣнился во всѣхъ своихъ привычкахъ: его прилежаніе и ревность къ наукамъ значительно отъ того пострадали. Ему стоило потомъ чрезвычайныхъ усилій, нужно было употребить всѣ свои способности, и пустить въ ходъ огромную свою память, чтобы догнать товарищей. По собственнымъ словамъ Глинки, если онъ былъ выпущенъ изъ пансіона первымъ, и съ правомъ на чинъ десятаго класса, то это «отчасти за прежнія заслуги, отчасти отъ ловкихъ его увертокъ.» Такъ, напримѣръ, на выпускномъ экзаменѣ, выучивъ изъ уголовного права одну статью, онъ, на вопросъ профессора, отвѣчалъ вовсе не то, о чемъ его спрашивали, но такъ ловко, что экзаменаторъ остался доволенъ, несмотря на худо-скрытый гнѣвъ профессора правъ. Когда же, въ послѣдствіи, Глинка совершенно предался композиторству, служба и всѣ прочія занятія его естественно должны были сильно пострадать, несмотря даже на то, что служба его была вовсе необременительна. Онъ долженъ былъ находиться въ канцеляріи, ежедневно, только отъ 5 до 6 часовъ. Занятій на домъ ему не давали; дежурства и отвѣтственности не было, слѣдственно все остальное время онъ могъ

предаваться любимымъ своимъ занятіямъ, особенно музыкѣ. Но всѣ силы молодого, пламеннаго духа, для котораго таинства и восторги жизни и искусства начинали открываться одновременно, были сосредоточены теперь на одномъ этомъ пунктѣ. Все остальное должно было казаться значительно-блѣднымъ, незаслуживающимъ вниманія. Такимъ образомъ всѣ часы дня были посвящены пѣнію и музыкѣ, а для другихъ занятій не оставалось болѣе времени.

Никто изъ близкихъ къ Глинкѣ не удерживалъ его отъ занятій музыкальныхъ и отъ композиторства, по крайней мѣрѣ, нѣтъ тому слѣдовъ въ его запискахъ. Извѣстно только, изъ воспоминаній лицъ, знавшихъ Глинку въ то время, что на службѣ ему не разъ дѣлались, отъ правителя канцеляріи и отъ другихъ начальниковъ, выговоры за малое раченіе и совѣты бросить «это пустое занятіе музыкою, которая до добра не доведетъ».

Въ декабрѣ 1825 года, Глинка поѣхалъ въ деревню, къ родителямъ, по случаю помолвки старшей сестры и остановился на нѣкоторое время въ Смоленскѣ, у одного родственника своего, котораго миловидная осьмнадцатилѣтняя дочь играла хорошо на фортепіано. Во время пребыванія его у нихъ, музыка, разумѣется, была въ большомъ ходу. Въ угожденіе своей милой племянницѣ, Глинка написалъ для фортепіано варіаціи на италіанскій, въ тогдашнее время модный, романсъ: *Benedetta sia la madre*. Эти варіаціи были нѣсколько исправлены Мейеромъ, и въ послѣдствіи отданы въ печать. Такимъ образомъ это была первая піеса его сочиненія, появившаяся въ печати. Въ числѣ семействъ, жившихъ тогда въ Смоленскѣ, было семейство генерала А. Онъ любилъ жить открыто, а какъ, по случаю всеобщаго траура, танцы были запрещены, то выдумалъ дать представленіе, сообразное съ тогдашними обстоятельствами, а именно: прологъ на кончину императора Александра и восшествіе на престолъ императора Николая Павловича. Слова сочинены были

на французскомъ языкѣ гувернеромъ въ домѣ генерала. Музыка была поручена Глинкѣ. Она состояла изъ аріи, должествовавшей быть заключеніемъ пролога, съ торжественнымъ хоромъ (b-dur). Вся эта музыка была написана съ акомпанементомъ фортепіано и контрабаса.

Въ обществѣ молодыхъ людей, въ которомъ тогда жилъ Глинка, находилось нѣсколько человѣкъ, съ болѣе или менѣе сильными музыкальными дарованіями. Нѣкоторые изъ нихъ играли на инструментахъ, и почти всѣ пѣли. Лѣтомъ 1828 года, Глинка вышелъ въ отставку, въ слѣдствіе неприяностей по службѣ, и могъ уже совершенно, по своимъ артистическимъ вкусамъ и стремленіямъ, располагать своимъ временемъ. Вскорѣ были затѣяны разныя театральныя представленія (на одномъ изъ нихъ, Глинка представлялъ донну Анну, въ сценѣ интродукціи изъ моцартовой оперы «Донъ Жуанъ», въ кисейномъ бѣломъ платьѣ и рыжемъ парикѣ; на другомъ исполнялъ роль Фигаро въ «Севильскомъ Цирюльникѣ», Россини и проч.) и серенады на водѣ, съ хорами трубачей и акомпанементомъ фортепіано, поставленнаго на катерѣ, освѣщенномъ фонарями. Во всѣхъ этихъ представленіяхъ и серенадахъ, исполняемыхъ иногда съ полнымъ оркестромъ и пользовавшихся большою репутаціею у петербургскаго общества, Глинка иногда акомпанировалъ, иногда участвовалъ въ хорѣ, иногда импровизировалъ. Вскорѣ, по приглашенію нѣкоторыхъ знакомыхъ семействъ, не довольствуясь представленіями въ Петербургѣ, серенадами на Невѣ и Черной рѣчкѣ, Глинка, съ своими товарищами, число которыхъ доходило до шестнадцати человѣкъ, сталъ совершать маленькія музыкальныя путешествія въ Царское-Село и даже, за 200 верстъ, въ Новгородскую губернію, въ имѣніе графини Самойловой. Наконецъ одинъ знакомый врачъ, вникнувъ въ болѣзненное состояніе Глинки, объявилъ его отцу, что у него *«цѣлая кадрили болѣзней»*, и что, для поправленія здоровья, ему необходимо пробыть не менѣе трехъ лѣтъ за границею,

въ тепломъ климатѣ. Послѣ этого невозможно было сопротивляться долѣе, и Глинка поѣхалъ, 25-го апрѣля 1830 года, въ Италію, откуда воротился на родину черезъ четыре года, въ апрѣлѣ 1834 г. Во время этого путешествія, Глинка писалъ очень акуратно къ своимъ родственникамъ, такъ что въ течение четырехъ лѣтъ образовалось порядочное собраніе заграничныхъ его писемъ. Къ сожалѣнію, они были потомъ всѣ сожжены, какъ не заслуживавшія особеннаго вниманія. Впрочемъ, со стороны здоровья, путешествіе Глинки въ Италію было рѣшительно бесполезно. Онъ даже привезъ назадъ въ Россію свои болѣзни, только болѣе укоренившіяся въ немъ. Въ 1830 году, когда Глинка поѣхалъ впервые за границу, онъ былъ уже не начинавшій только ученикъ, испытывавшій свои силы въ сочиненіи, но уже твердо ставшій на ноги композиторъ, авторъ нѣсколькихъ такихъ произведеній, которыя навсегда сохраняютъ свое достоинство, силу и свѣжесть, авторъ съ направленіемъ, вполнѣ самостоятельнымъ и опредѣленнымъ. Его рѣшимость вдругъ покинуть Петербургъ, посреди блестящихъ успѣховъ своихъ, и ѣхать скромнымъ ученикомъ, за новою, болѣе глубокою наукою, тогда, когда онъ уже имѣлъ, по видимому, всѣ права считать себя композиторомъ, достигшимъ достаточнаго знанія и опытности — есть только доказательство глубины и истинности его таланта. Но онъ ошибся въ своихъ ожиданіяхъ, отъ Италіи, въ дѣлѣ музыкальной теоріи. Несмотря на свое четырех-лѣтнее пребываніе въ ней, онъ ничего не прибавилъ къ прежнимъ своимъ знаніямъ.

Глинкѣ не суждено было пройти полный курсъ музыкальнаго изученія со строгими контрапунктистами: а кто знаетъ? быть можетъ и къ лучшему, говоря его словами. Его пылкая натура отвергала сухой способъ ученія, невозможный уже для взрослога художника, давно начавшаго сочинять; но она не только не презирала самой науки, а напротивъ жадно стремилась овладѣть всѣми ея средствами. Глинка говоритъ, что онъ началъ сочинять, самъ не зная, какъ за это приняться и



куда идти. Такимъ образомъ можно сказать, что Глинка, болѣе всего самому себѣ, обязанъ мастерствомъ формъ и глубокимъ познаніемъ научной стороны музыки. Чего ему не показывали его учителя, то онъ самъ отгадывалъ силою, и инстинктомъ своего таланта, добывалъ необходимое ему познаніе не изъ книгъ, не изъ уроковъ, а прямо изъ тѣхъ музыкальныхъ произведеній (хотя и не очень многочисленныхъ), которыя ему удалось узнать или услышать въ молодости. Эта сила угадыванія осталась у него на всю жизнь, усвоивъ себѣ, такъ сказать, безсознательно многія формы; уже давно употребляя ихъ, онъ самъ не оцѣнялъ этого, а искалъ учителей, чтобы исполнѣ научиться тому, чѣмъ давно уже владѣлъ. Ему были нужны не учителя и не школа, а одни намеки, указанія, примѣры.

Подъ конецъ пребыванія Глинки въ Италіи (въ первой половинѣ 1833 г.), въ немъ впервые обнаружилось сознаніе своихъ силъ и истинная натура его таланта. «Въ это время, говоритъ самъ Глинка, я не писалъ, а много соображалъ.» Всѣ написанныя имъ, въ угожденіе жителей Милана, піесы (изданныя весьма опрятно) убѣдили его только въ томъ, что онъ шелъ не своимъ путемъ, и что онъ въ сущности не могъ быть италіанцемъ. Тоска по отчизнѣ навела его постепенно на мысль писать порусски... Не малаго труда стоило ему поддѣлываться подъ италіанское *sentimento brillante*, какъ они называютъ ощущеніе благосостоянія, которое есть слѣдствіе организма, счастливо устроеннаго, подъ вліяніемъ благодѣтельнаго южнаго солнца. Мы, жители сѣвера, чувствуемъ иначе: впечатлѣнія или насъ вовсе не трогаютъ, или глубоко западаютъ въ душу; у насъ или неистовая радость, или горькія слезы. Любовь, восхитительное чувство, животворящее вселенную, у насъ всегда соединена съ грустью. Нѣтъ сомнѣнія, что наша русская заунывная пѣснь есть дитя сѣвера, а можетъ быть отчасти передана намъ жителями востока, потому

что ихъ пѣсни такъ же заунывны, даже въ счастливой Андалузїи.

Подъ вліяніемъ такой рѣшимости, тоски по родинѣ и болѣзней, Глинка, въ іюль 1834 года, уѣхалъ изъ Италїи. Онъ на нѣкоторое время остановился въ Вѣнѣ, гдѣ слушалъ оркестры Ланнера и Штрауса, а самъ твердилъ на фортепіанѣ вариациі Герца. Въ Вѣнѣ провелъ онъ нѣсколько прїятныхъ дней съ знакомыми русскими семействами, много фантазировалъ и наконецъ уѣхалъ въ Берлинъ. Здѣсь случай, могущественный дѣятель въ судьбѣ человѣческой, свелъ его, въ слѣдствіе рекомендаціи одного знакомаго, съ профессоромъ Денномъ, знаменитымъ въ Европѣ теоретикомъ и бібліотекаремъ музыкальнаго отдѣленія берлинской королевской бібліотеки. Глинка сталъ брать у него уроки музыкальной теорїи, въ продолженіе пяти мѣсяцевъ, и это занятіе принесло ему величайшую пользу. Посреди всѣхъ этихъ занятій, его застигло извѣстіе о кончинѣ отца, и, въ слѣдствіе того, въ апрѣлѣ 1834 года, Глинка возвратился въ Россїю. Проживъ до іюня въ деревнѣ, онъ потомъ поѣхалъ навѣстить одного товарища по пансіону, М\*. Въ мезонинѣ дома, гдѣ нанималъ квартиру М\*, жилъ Николай Филипповичъ Павловъ, авторъ въ послѣдствїи извѣстныхъ повѣстей, недавно скончавшійся. Онъ далъ ему свой романъ: «Не называй ее небесной,» незадолго до того имъ сочиненный, который Глинка положилъ на музыку при немъ же. Сверхъ того, задала ему мысль о русской оперѣ. Словъ у него не было, а въ головѣ вертѣлась *Марїина Роца*, Жуковского, и онъ игралъ уже на фортепіанѣ нѣсколько отрывочныхъ сценъ, которыя отчасти послужили ему для оперы *Жизнь за царя*. Притомъ онъ хотѣлъ показать и публикѣ, что не даромъ странствовалъ по Италїи. У М\*, въ домѣ котораго собиралось нѣсколько семействъ высшаго московскаго общества, Глинка пѣлъ и игралъ свои сочиненія, и послѣднія, кажется, исполнялись съ акомпанементомъ струнныхъ инструментовъ. Одинъ изъ любимѣйшихъ

товарищей Глинки, М\*, о которомъ мы только что упомянули, говорить, въ своихъ воспоминаніяхъ, о Глинкѣ: «Восторгъ, который Глинка произвелъ въ Москвѣ (между художниками и любителями), своими сочиненіями, игрою и пѣніемъ, былъ имъ въ полной мѣрѣ заслуженъ. Въмѣсто любителя, какимъ прежде привыкли его почитать, мы нашли въ немъ, по возвращеніи, истиннаго художника, воспитавшаго и посвятившаго себя для любимаго искусства. Глинка уѣхалъ отъ насъ диллетантомъ, возвратился же маэстромъ».

Глинка могъ создавать свои національныя произведенія только въ Россіи. Ему необходима была и русская внѣшняя обстановка, и русское общество; ему нужны были товарищи по взглядамъ, по воспитанію, по искусству, по понятіямъ; нуженъ былъ артистическій кружокъ, полный дѣятельности и жизни. Когда Глинкѣ не доставало таковаго общества, съ его могущественнымъ, ничѣмъ незамѣнимымъ возбужденіемъ, онъ опускалъ крылья и переставалъ работать... Но если, даже въ Россіи, въ извѣстный періодъ своей жизни, онъ былъ лишень столь необходимаго для него художественнаго сообщества, то еще менѣе могъ бы онъ найти его въ чужихъ краяхъ.

Во время созиданія оперы *Жизнь за царя*, Глинка жилъ домо-сѣдомъ, тѣмъ болѣе, что склонность его къ музыкальному воспроизведенію нечувствительно усиливалась. Несмотря на это, онъ постоянно посѣщалъ вечера В. А. Жуковскаго, который жилъ тогда въ зимнемъ дворцѣ, и у котораго еженедѣльно собиралось избранное общество поэтовъ, литераторовъ, и вообще людей съ изящнымъ вкусомъ. Въ числѣ многихъ другихъ, А. С. Пушкинъ, князь Вяземскій, графъ Віельгорскій, Гоголь, Плетневъ, были постоянными посѣтителями. Гоголь при немъ читалъ свою *Женитьбу*. Иногда вмѣсто чтенія здѣсь пѣли, играли на фортепіанѣ. Когда Глинка изъявилъ свое желаніе приняться за русскую оперу, Жуковскій искренно одобрилъ его намѣреніе и предложилъ ему сюжетъ: Ивана Сусанина. Сцена въ

лѣсу глубоко врѣзалась въ воображеніи Глинки. Онъ находилъ въ сюжетѣ много оригинальнаго, характерно-русскаго. Жуковскій хотѣлъ самъ писать слова и для пробы сочинилъ извѣстные стихи: «Ахъ, не мнѣ бѣдному, вѣтру буйному» (изъ тріо, съ хоромъ, въ эпилогѣ). Занятія не позволили ему исполнить этого намѣренія, и онъ сдалъ Глинку въ этомъ дѣлѣ на руки барона Розена, усерднаго литератора, бывшаго тогда секретаремъ государя наслѣдника цесаревича. Воображеніе Глинки однако же предупредило прилежнаго либреттиста. Какъ бы по волшебному дѣйствію, вдругъ создался и планъ цѣлой оперы, и мысль противопоставить русской музыкѣ—польскую; наконецъ многія темы и даже подробности разработки, все это разомъ вспыхнуло въ головѣ его. Онъ началъ работать, и совершенно наизворотъ, а именно, началъ тѣмъ, чѣмъ другіе кончаютъ, то есть, увертюрою, которую написалъ на четыре руки для фортепiana, съ означеніемъ инструментовки. Въ теченіе весны 1835 года, то есть марта и апрѣля, по его плану, баронъ Розенъ изготовилъ слова перваго и втораго акта. Ему предстояло въ этой работѣ не малаго труда, потому что большая часть не только темъ, но и піесъ, была сдѣлана и ему надлежало поддѣлывать слова подъ музыку, требовавшую иногда самыхъ странныхъ размѣровъ. Но это не могло отвратить Розена отъ предположенной цѣли. Съ непостижимымъ успѣхомъ и въ самое короткое время, сочинялъ онъ, по заказу Глинки, извѣстное число стиховъ, опредѣленнаго заранѣе размѣра. Глинка самъ говорилъ, что «Жуковскій и другіе, для шутки, говорили, что у барона Розена, по карманамъ, были разложены впередъ уже заготовленные стихи, и мнѣ стоило сказать какаго сорта, то есть размѣра, мнѣ нужно, и сколько стиховъ, онъ вынималъ столько каждаго сорта, сколько слѣдовало, и каждый сортъ изъ особеннаго кармана...» Мысль извѣстнаго тріо есть слѣдствіе его тогдашнихъ восторженныхъ чувствъ. Минута безъ невѣсты казалась ему невыносимою, и онъ дѣйствительно чувствовалъ

высказанное имъ въ адажіо или анданте: «Не томи родимый», которое написалъ уже лѣтомъ въ деревнѣ.

Весною 1835 года, Глинка вступилъ въ бракъ, и исполненіе этого давнишняго горячаго его желанія имѣло самое благодѣтельное вліяніе на его художественную дѣятельность. Увѣдомляя мать свою о совершеніи брака и благодаря ее за данное ею на него благословеніе, онъ пишетъ: «Теперь сердце снова ожило, я чувствую, могу молиться, радоваться, плакать, музыка моя воскресла... не знаю, какими словами выразить благодарность за это счастье.

«Со мною были слова для двухъ актовъ, и я помню, что, гдѣ-то за Новгородомъ, въ каретѣ, вдругъ я сочинилъ хоръ: «Разгулялася, разсмѣялася вода вешняя по лугамъ!» Подробности деревенской жизни исчезли изъ моей памяти; знаю только, что я прилежно работалъ, то есть уписывалъ на партитуру уже готовое и заготовлялъ впередъ. Ежедневно утромъ садился я за столъ въ большой и веселой залѣ, въ домѣ нашемъ въ Новоспасскомъ (это была наша любимая комната); сестры, матушка, жена, словомъ вся семья тамъ же копошилась, и чѣмъ живѣе болтали и смѣялись, тѣмъ быстрѣ шла моя работа. Время было прекрасное, и часто я работалъ, отворивши дверь въ садъ, и впивалъ въ себя чистый бальзамическій воздухъ». Возвратившись въ августѣ въ Петербургъ, Глинка ревностно продолжалъ оперу. «Работа шла успѣшно, говоритъ онъ. Каждое утро сидѣлъ я за столомъ, и писалъ по шести страницъ мелкой партитуры». По вечерамъ, сидя на диванѣ, въ кругу семейства и иногда немногихъ искреннихъ пріятелей, онъ мало принималъ участія во всемъ, его окружавшемъ. Глинка весь былъ погруженъ въ трудъ, и хотя уже много было написано, но все таки оставалось еще много соображать. Эти соображенія требовали немало вниманія. Надлежало все пригонять такъ, чтобы вышло стройное цѣлое. Сцену Сусанина въ лѣсу, съ полясками, онъ писалъ зимою; всю эту сцену, прежде чѣмъ начать писать, онъ

съ чувствомъ читаль вслухъ, и такъ живо переносился въ положеніе своего героя, что волосы у него самого становились дыбомъ и морозъ подираль его по кожѣ. Развитие, по его плану, этой сцены вполнѣ принадлежитъ барону Розену. Глинка тогда познакомился съ Г. Я. Ламакинымъ, который, собственнымъ постояннымъ трудомъ, достигъ почетнаго мѣста между преподавателями вокальной музыки, и искренно былъ любимъ и уважаемъ знатоками. Ламакинъ и содѣйствовалъ много его труду. Нѣкоторые хорошіе знакомые устроили, для Глинки, оркестровую репетицію перваго акта его оперы въ домѣ князя Юсупова. «Оркестръ, хотя плохой, исполнилъ однако же довольно хорошо; хоромъ не исполняли, а кое-гдѣ пѣлъ я самъ (говоритъ Глинка), Б-а и В\*»; несмотря на это, эффектъ инструментовъ оказался удовлетворительнымъ. Это было великимъ постомъ 1836 г.» Хотя Жуковский не писалъ для либретто, но не измѣнилъ, однако же, внимательному участію въ трудѣ Глинки. Онъ объяснилъ машинисту и декоратору Роллеру, какъ устроить эффектно послѣднюю сцену въ Кремлѣ. Въмѣстѣ ѣздили они въ мастерскую Роллера. Жуковский внимательно все разсматривалъ, и обо всемъ разспрашивалъ. Успѣхъ вполнѣ увѣнчалъ дѣло. Въ послѣдней сценѣ вырѣзанныя изъ картона разнородныя группы отдаленной толпы обманываютъ зрѣніе, и кажутся продолженіемъ оживленной толпы народа, стоящаго на авансценѣ. Тріо съ хоромъ: «Ахъ не мнѣ, бѣдному!» написано въ концѣ лѣта 1836 года. Эта трогательная сцена сочинена Глинкою, подъ шумъ и говоръ пирующихъ друзей, когда собралось ихъ у К\* человекъ до пятнадцати. Авомпанементъ къ упомянутому тріо сначала написалъ онъ для альтовъ и віолончелей, но потомъ, по совѣту князя В. Ѳ. Одоевскаго, для однихъ четырехъ віолончелей и одного контрбаса. Князь же навелъ Глинку на мысль употребить скрипки, раздѣленные на четыре и на три партіи, въ введеніи этого тріо... Рѣшено было дать его оперу, для открытія Большаго театра (который тогда передѣлывался), и по-

тому начали производить пробы на сценѣ Большаго театра. Въ это время отдѣлывали ложи, прибывали банделабы и другія украшенія, такъ что нѣсколько сотъ молотковъ почти заглушали капельмейстера и артистовъ. Незадолго до перваго представленія, онъ встрѣтилъ императора Николая Павловича, на одной изъ репетицій. Молотки умолкли, и когда Петровъ съ Воробьевой стали пѣть очень педурно дуэтъ, государь подошелъ къ Глинкѣ, и ласково спросилъ его: «Доволенъ ли онъ его артистами?» — «Въ особенности ревностью и усердіемъ, съ которыми они исполняютъ свою обязанность», отвѣчалъ онъ. Этотъ отвѣтъ понравился государю, и онъ передалъ его актерамъ. При содѣйствіи тогдашняго директора театровъ, князя Гагарина, Глинка получилъ позволеніе посвятить оперу свою императору, и тогда, вмѣсто *Ивана Сусанина*, названа она: *Жизнь за Царя*. Наконецъ, въ пятницу, 27-го ноября 1836 года, назначено было первое представленіе этой знаменитой оперы. Невозможно описать ощущеній Глинки въ тотъ день, особенно передъ началомъ представленія. У него была ложа во второмъ ярусѣ; первый весь былъ занятъ придворными лицами и государственными сановниками. Первый актъ прошелъ благополучно. Извѣстному тріо сильно и дружно апплодировали. Въ сценѣ поляковъ, начиная отъ польскаго до мазурки и финальнаго хора, царствовало глубокое молчаніе. Глинка пошелъ на сцену, сильно огорченный этимъ молчаніемъ публики... Онъ оставался въ недоумѣніи... Появленіе Воробьевой разсѣяло всѣ его сомнѣнія въ успѣхѣ. Пѣснь сироты, дуэтъ Воробьевой съ Петровымъ, квартетъ, сцена съ поляками и прочіе нумера акта, прошли съ большимъ успѣхомъ. Въ четвертомъ актѣ, хористы, игравшіе поляковъ, въ концѣ сцены въ лѣсу, напали на Петрова съ такимъ остервененіемъ, что разорвали ему рубашку, и онъ не на шутку долженъ былъ отъ нихъ защищаться. Великолѣпный спектакль эпилога, представляющій ликованіе народа, въ Кремлѣ, поразилъ его самого. Воробьева

была, какъ всегда, превосходна въ тріо съ хоромъ. Успѣхъ оперы былъ полный. Глинка былъ въ какомъ-то чаду, и рѣшительно не помнилъ что происходило, когда опустили занавѣсъ.

Глинку сейчасъ послѣ того позвали въ боковую императорскую ложу. Государь Николай Павловичъ первый поблагодарилъ его за оперу, замѣтивъ однако, что не хорошо, что Сусанина убиваютъ на сценѣ. Глинка объяснилъ, что, не бывши на пробѣ, по болѣзни, онъ не могъ знать, какъ распорядятся, а что, по его программѣ, во время нападенія поляковъ на Сусанина, занавѣсъ должно сейчасъ опустить; смерть же Сусанина высказывается сиротою въ эпилогѣ. Послѣ императора, благодарила Глинку императрица Александра Феодоровна, а потомъ великіе князья и великая княжна Марія Николаевна.

«Милая и безцѣнная маменька», писалъ Глинка на другой день этого представленія, «вчерашній вечеръ совершились наконецъ желанія мои, и долгій трудъ мой былъ увѣнчанъ самымъ блистательнымъ успѣхомъ. Публика приняла мою оперу съ необыкновеннымъ энтузіасмомъ; актеры выходили изъ себя отъ рвенія.» Черезъ нѣсколько дней, въ письмѣ отъ 11-го декабря 1836 года, онъ писалъ ей же: «Теперь, послѣ шести представленій, я рѣшительно могу сказать, что успѣхъ далеко превзошелъ всѣ мои ожиданія, и опера моя все болѣе и болѣе нравится публикѣ. Не стану описывать всѣхъ подробностей перваго представленія, ни моихъ чувствъ. Я теперь вполне вознагражденъ за всѣ труды и старанія, и если еще не во всѣхъ намѣреніяхъ успѣлъ, то надѣюсь, что не замедлю осуществитъ и прочія мои намѣренія. Выгоды, полученныя мною до сихъ поръ отъ моего труда, суть слѣдующія: а) монаршее благоволеніе и прелестный подарокъ, за поднесеніе оперы: перстень, полученный мною, состоитъ изъ топаза, окруженнаго крупными, отличной воды, брилліантами, и цѣнится отъ 3,500 до 4,000 рублей; б) слава. Всѣми единодушно я при-



знанъ первымъ композиторомъ въ Россіи, а по мнѣнію зна-  
тобовъ, ни въ чемъ не ниже лучшихъ композиторовъ.»

Несмотря на всѣ великія достоинства своего произведенія, Глинка находилъ, что еще не всѣ его предположенія исполнены. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ перваго представленія *Жизни за Царя*, онъ уже принялся за новую оперу. Но сочиненію ея не суждено было совершиться съ тою же быстротою, свободою и спокойствіемъ, съ которыми сочинена была опера *Жизнь за Царя*. Для написанія новой оперы, ему болѣе всего не доставало времени. Вотъ, въ нѣсколькихъ чертахъ, подробности объ этомъ періодѣ его жизни. Спустя мѣсяць послѣ представленія оперы *Жизнь за Царя*, Глинка назначенъ былъ капелмейстеромъ при пѣвческомъ корпусѣ. «Милости царя нашего,» писалъ Глинка своей матери, 2 января 1837 г., «не ограничились однимъ перстнемъ; на сихъ дняхъ, по представленію министра двора, мнѣ поручена музыкальная часть въ пѣвческомъ корпусѣ. Его императорское величество самъ лично, въ продолжительной со мною бесѣдѣ, ввѣрилъ мнѣ своихъ пѣвчихъ». Въ запискахъ своихъ, Глинка упоминаетъ и подлинныя слова государя: «Глинка, сказалъ онъ ему однажды, въ декабрѣ 1836 года, я имѣю въ тебѣ просьбу и надѣюсь, что ты не откажешь мнѣ. Мои пѣвчіе извѣстны во всей Европѣ и слѣдственно стоятъ того, чтобы ты занялся ими. Только прошу, чтобы они не были у тебя италіанцами.» — «Эти ласковыя слова, говоритъ Глинка, привели меня въ столь пріятное замѣшательство, что я отвѣчалъ государю только нѣсколькими почтительными поклонами.» Въ *Запискахъ* сохранились подробности о занятіяхъ Глинки съ этимъ превосходнымъ хоромъ.

Въ послѣдствіи, въ 1838 году, Глинка получилъ порученіе отправиться въ Малороссію, для набора новыхъ сопрановъ и альтовъ, и заслужилъ столь полное благоволеніе государя, исполненіемъ этого порученія, что ему назначено было, въ 1839 году, снова ѣхать въ Малороссію, для подобнаго же набора: это предположеніе не исполнилось только по случаю

оставленія имъ службы. По обязанности капельмейстера, онъ часто находился при богослуженіи, въ придворной церкви, въ присутствіи императорской фамилии, и на большихъ и малыхъ выходахъ въ зимнемъ дворцѣ (начиная съ ноября 1838 года). Сверхъ того, Глинка иногда былъ приглашаемъ на музыкальные вечера къ императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, на которыхъ онъ почти всегда пѣлъ или игралъ на фортепіанѣ. Въ 1837 и 1838 годахъ, на патріотическихъ концертахъ, исполнялись разныя піесы Глинки и отрывки изъ его оперы. На одномъ изъ нихъ, государь сказалъ: «Глинка—великій мастеръ; жаль, если онъ при одной этой оперѣ останется.» Въ концѣ 1837 года, Глинка сочинилъ прибавочную сцену Вани къ оперѣ *Жизнь за Царя*, и, въ письмѣ 14-го декабря, писалъ своей матери: «Вчерашній день прибылъ сюда государь, и вечеромъ я имѣлъ счастье видѣть его въ театрѣ, на сценѣ: примѣтивъ меня, государь подошелъ ко мнѣ, и, обнявъ одною рукою, вывелъ меня изъ толпы, въ которой я стоялъ, и потомъ весьма долго изволилъ со мною бесѣдовать о пѣвческомъ корпусѣ, о пѣвцахъ, общалъ посѣтить театръ, когда будутъ давать мою оперу, чтобы слышать новую сцену, спрашивалъ также о вновь начатой мною оперѣ. Нѣтъ словъ выразить вамъ, какъ мнѣ драгоцѣнно это милостивое вниманіе нашего добраго государя. Какъ послѣ этого не посвятить всѣхъ силъ своихъ на его службу?»

Необыкновенный успѣхъ оперы *Жизнь за Царя* былъ причиною того, что Глинка почти невольно долженъ былъ значительно расширить кругъ своего знакомства въ петербургскомъ обществѣ, гдѣ его художественная натура и чудный исполнительскій талантъ не могли не быть сильнѣйшими магнитами для всякаго. Въ началѣ 1839 года, онъ писалъ къ своей матери: «Отъ Рождества до первой недѣли поста, жизнь моя походила на существованіе разгонной почтовой лошади: служба, балы, обѣды, ужины и концерты не только отнимали у меня все свободное время, но часто лишали возможности успокоить

себя нужнымъ отдохновеніемъ ночью. Впрочемъ, хотя этотъ образъ жизни мнѣ и не по душѣ и отнял у меня возможность продолжать начатую оперу, однако же я былъ вознагражденъ тѣмъ, что приобрѣлъ нѣсколько новыхъ и пріятныхъ знакомствъ. Но, посреди всѣхъ этихъ, столько разнообразныхъ занятій и развлеченій, главною мыслью и цѣлью оставалась новая опера. Первую мысль о *Русланъ и Людмила* подавъ Глинкѣ нашъ извѣстный комическій писатель, князь Шаховской. По его мнѣнію, роль Черномора слѣдовало писать для Воробьевой (контральта). На одномъ изъ вечеровъ Жуковского, Пушкинъ, говоря о поэмѣ своей *Русланъ и Людмила*, сказалъ, что онъ бы многое въ ней передѣлалъ. Глинка желалъ узнать отъ него, какія именно передѣлки онъ предполагалъ сдѣлать, но преждевременная кончина Пушкина не позволила ему исполнить этого намѣренія. За новый сюжетъ свой, Глинка принялся съ необыкновеннымъ жаромъ: непрекращавшійся восторгъ публики отъ первой его оперы, слава новыхъ его романсовъ, энтузіасмъ, всегда производимый его присутствіемъ и страстнымъ, горячимъ пѣніемъ во всѣхъ обществахъ, гдѣ ему случалось бывать, должны были необходимо поддерживать его художнической жаръ.

Первыми сочиненными нумерами были персидскій хоръ и маршъ Черномора. Глинка услышалъ пробу ихъ въ первый разъ въ Малороссіи, лѣтомъ 1838 года, во время поѣздки своей туда для набора малолѣтнихъ пѣвчихъ. Нѣсколько времени онъ прогостилъ тогда у одного богатаго малороссійскаго помѣщика Григорія Степановича Тарновскаго, большаго любителя музыки. У него былъ свой оркестръ, и, посреди многочисленныхъ обѣдовъ, баловъ, иллюминацій, затѣйливыхъ прогулокъ, которыми радушный хозяинъ старался доставить удовольствіе гостившимъ у него пріятелямъ и знакомымъ (въ числѣ которыхъ находился знаменитый нашъ художникъ Штернбергъ, набросавшій именно въ это время лучшія свои произведенія, юмористическія сцены малороссійской

жизни), Глинка имѣлъ возможность продолжать также свои музыкальныя занятія. Не рѣдко пѣвали у Тарновскаго хоромъ малороссійскія народныя пѣсни. Порядочный оркестръ исполнялъ многія хорошія вещи. Наконецъ вздумали обратиться и къ сочиненіямъ Глинки. «Въ портфель моемъ нашлись, говоритъ онъ, два нумера, приготовленные, не знаю когда, для Руслана—персидскій хоръ: «Ложится въ полѣ мракъ ночной», и маршъ Черномора. Обѣ эти пѣсы были хорошо исполнены; въ маршѣ Черномора мы замѣнили колокольчики рюмками, на которыхъ чрезвычайно ловко игралъ Дмитрій Николаевичъ Палагинъ» (учитель пѣнія придворной пѣвческой капеллы, сопутствовавшій Глинкѣ въ путешествіи, для исполненія возложеннаго на нихъ порученія).... «Сосѣдь Тарновскаго, мой пансіонскій товарищъ, Н. А. М\*\*\*, помогъ мнѣ въ балладѣ Финна: онъ сократилъ ее и поддѣлалъ столько стиховъ, сколько требовалось для округленія пѣсы. Мнѣ очень памятно время, когда я писалъ балладу Финна: было тепло, мы собрались вмѣстѣ, Штернбергъ, М\* и я. Пока я уписывалъ приготовленные уже стихи, М\* грызъ перо: не легко ему было, въ добавочныхъ стихахъ, поддѣлываться подъ стихи Пушкина, а Штернбергъ усердно и весело работалъ своею кистью. Когда баллада была кончена, неоднократно пѣлъ я ее съ оркестромъ.»

Разсказывая о веселомъ препровожденіи времени, съ 1837 по 1839 годъ, Глинка говоритъ: «Не столь лестны воспоминанія мои о томъ, какъ я писалъ оперу *Русланъ и Людмила*. Кромѣ пѣсь, произведенныхъ въ Малороссіи, принялся я за каватину Гориславы: «Любви роскошная звѣзда.» Это было зимою около 1838 и 1839 года. Я всегда писалъ только утромъ, послѣ чая, и отъ этой каватины меня безпрестанно отрывали.... Не помню также, когда и гдѣ написаны мною каватина Людмилы перваго акта: «Грустно мнѣ, родитель дорогой». Она была исполнена, съ хоромъ и оркестромъ, въ патриотическомъ концертѣ, весною 1839 года. Я ожидалъ

большаго успѣха; аплодировали, но не такъ дружно, какъ я привыкъ. Знаменитый скрипачъ Липинскій, стоявшій возлѣ меня, слушалъ эту каватину съ неподдѣльнымъ восторгомъ, и въ концѣ ея пожалъ мнѣ дружески руку, сказавъ: «que c'est bien russe, cette musique — là». Я писалъ оперу по кусочкамъ и урывками. Въ 1837 или 1838 году, зимою, я однажды игралъ съ жаромъ нѣкоторые отрывки изъ оперы *Русланъ*. Н. В. Кукольникъ, всегда принимавшій участіе въ моихъ произведеніяхъ, подстрекалъ меня болѣе и болѣе. Въ числѣ посѣтителей былъ Константинъ Булгаковъ. Онъ взялся сдѣлать планъ оперы и намахалъ его въ четверть часа, и, вообразите, опера сдѣлана по этому плану! Булгаковъ вмѣсто Пушкина! Какъ это случилось, самъ не понимаю. Около того же времени, меня познакомили съ Ш\*, какъ съ человѣкомъ, вполне способнымъ написать либретто для новой моей оперы. По моей просьбѣ, онъ написалъ для пробы каватину: «Любови роскошная звѣзда», и часть перваго акта. Опытъ оказался очень удовлетворителенъ, но, вмѣсто того, чтобы сообразить прежде всего цѣлое и сдѣлать планъ и ходъ піесы, я сейчасъ принялся за каватины Людмилы и Гориславы, вовсе не заботясь о драматическомъ движеніи и о ходѣ піесы, полагая, что все это можно было уладить въ послѣдствіи.»

Итакъ, вотъ все, что Глинка написалъ изъ новой своей оперы, въ теченіе 1837 и 1838 годовъ, и то урывками, съ безпрестанными помѣхами всякаго рода, и со всѣхъ сторонъ. Въ письмахъ, онъ, между прочимъ, жалуется, что необыкновенно много времени отнимаетъ у него изданіе альбома (съ сочиненіями его и другихъ русскихъ композиторовъ), который онъ долженъ былъ предпринять, для поправленія своихъ денежныхъ обстоятельствъ, еще въ 1838 году, но который вышелъ въ свѣтъ лишь въ 1839 году, и принесъ ему очень мало выгоды. Здоровье его, нѣсколько укрѣпившееся со времени возвращенія изъ чужихъ краевъ въ 1834 году, и какъ бы позволившее ему свободно вздохнуть въ продолженіе почти

трехъ лѣтъ, начало сильно разстраиваться уже въ первый половинѣ 1837 года, и съ тѣхъ поръ, до самыхъ послѣднихъ дней своихъ, Глинка никогда уже болѣе не былъ вполне здоровъ и спокоенъ, ни въ Россіи, ни за границую. Въ то же время, различныя непріятныя обстоятельства, а ровно дороговизна петербургской жизни, необходимость жить довольно открыто, немало разстроивали его. Еще въ маѣ 1837 года, онъ писалъ своей матери: «Все это вмѣстѣ довело меня до того, что мнѣ музыка и опера опостыли, и я только желаю сбыть ее скорѣе съ рукъ долой, да убраться изъ Петербурга, который, по дороговизнѣ, слишкомъ наваленъ для кошелька.»

Но это равнодушіе и охлажденіе къ музыкѣ было минутное. Правда, мы видимъ, изъ его *Записокъ* и писемъ, что, въ 1837 и 1838 годахъ, Глинка писалъ мало для своей новой оперы, а, въ теченіе всего 1839 года и первой половины 1840 года, онъ за нее вовсе не припимался. Однако же, начиная съ появленія на сценѣ оперы *Жизнь за Царя*, Глинка постоянно былъ окруженъ музыкальною атмосферою: для него пастушила тогда, въ петербургскомъ обществѣ, точно такая же эпоха моды и славы, какая существовала, въ то же самое время, въ Парижѣ, для Листа или Шопена. Онъ былъ драгоценный, желанный гость всѣхъ гостиныхъ, всѣхъ собраній. Его пѣніе, его исполненіе, были лучшимъ украшеніемъ всѣхъ вечеровъ. Онъ былъ центромъ всего, что совершалось тогда въ петербургской музыкальной жизни. Но его дѣятельность не ограничивалась однимъ исполненіемъ: онъ и производилъ много въ это время. Первою піесою, послѣ появленія *Жизни за Царя* на сценѣ, была (сверхъ прибавочной сцены къ оперѣ) фантазія *Ночной Смотръ*. Жуковский далъ ее самъ Глинкѣ, въ концѣ зимы 1836—1837 года, вскорѣ послѣ ея написанія, «и, говоритъ Глинка, она уже была готова, и я пѣлъ ее у себя, въ присутствіи Жуковскаго и Пушкина. Матушка была

еще у насъ, и искренно радовалась, видя у меня такихъ избранныхъ гостей....»

Великимъ постомъ, того же 1837 года, по просьбѣ смоленскаго дворянства, онъ написалъ польскій съ хоромъ для бала, который смоленское дворянство предполагала дать, по случаю проѣзда наслѣдника цесаревича; сочинилъ для придворныхъ пѣвчихъ херувимскую (по его собственному признанію, весьма неудачную) и два романа на слова Пушкина: «Гдѣ наша роза?» и «Ночной вефирь.» Семейныя обстоятельства принудили Глинку оставить службу, въ декабрѣ 1839 года, и совершенно кинуть ту свѣтскую жизнь, которой, съ конца 1836 года, то есть съ самаго перваго представленія *Жизни за Царя*, онъ пожертвовалъ такъ много времени.

Уже съ 1836 или съ 1837 года, между нѣсколькими художниками и литераторами составилось дружеское веселое общество, котораго, самыми замѣчательными по таланту, членами были Михаилъ Глинка и Карлъ Брюловъ, познавоившіеся впервые еще въ Неаполѣ, въ 1831 году. Если Глинка приносилъ туда съ собою все, что можетъ принести въ дружескую бесѣду пріятнаго и увлекательнаго талантливый, пламенный художникъ, въ эпоху самаго блестящаго и широкаго своего развитія, то, въ свою очередь, этому рѣдко разлучавшемуся обществу товарищей и друзей, Глинка многимъ обязанъ былъ, въ годину несчастія и печали, когда обстоятельства заставили его покинуть общество, но когда ему всего болѣе необходима была атмосфера общаго сочувствія и энтузіасма. Натура Глинки всегда нуждалась, чтобъ тавой энтузіасмъ поднималъ на своихъ крыльяхъ его вдохновеніе. Для того, чтобы творить высокое, чудесное, чтобы воплощать, въ формахъ искусства, моменты своей собственной жизни, Глинкѣ необходимо было стоять центромъ всеобщаго ожиданія и восторженности. Онъ не могъ творить свои гениальныя произведенія, подобно Баху или Бетговену, вдали отъ толпы, отъ публики, ни сколько отъ нея не завися и не нуждаясь въ ея рукоплесканіи. Ему

нужно было прежде всего быть не одному, производить очаровывающее влияние на других, а самому чувствовать, и сознавать это влияние, словомъ, какъ истинный сынъ XIX столѣтія, Глинка въ высшей степени нуждался въ симпатіи всего окружающаго его (хотя не всегда самъ ясно сознавалъ это). Многообразныя стороны его рѣдкой, многообъемлющей артистической натуры всего лучше могли быть цѣнны кружкомъ людей талантливыхъ и художниковъ, слившихся въ одну искреннюю, добрую, дружную семью, и потому онъ, въ своихъ *Запискахъ*, съ особеннымъ отраднымъ чувствомъ, вспоминаетъ о широкомъ привольѣ между доброю, милою и талантливою братією, гдѣ онъ находилъ столько жизни и поэтическихъ наслажденій. «Н. В. Кукольникъ былъ хозяиномъ нашего общества,» говоритъ Глинка въ своихъ *Запискахъ*. «Онъ приказалъ уничтожить часть стѣны въ своей квартирѣ; изъ темной комнаты, прежде тутъ находившейся, образовался альковъ, въ которомъ онъ устроилъ широкій диванъ и продолжилъ его вдоль одной стѣны прилегавшей свѣтлой комнаты. Хозяинъ жилъ въ особенной комнатѣ; мы же всѣ, то есть Н. В. К\*, я, рыцарь Коко и рыцарь Бобо (такъ въ шутку называли двухъ изъ числа общихъ пріятелей), помѣщались на диванѣ; у каждаго изъ насъ было свое мѣсто, и оставалось еще дать пристанище тѣмъ изъ пріятелей, которые, запоздавъ, желали ночевать у насъ. Карлъ Брюловъ и Яненко (живописецъ) болѣе другихъ пользовались этимъ приглашеніемъ; кромѣ ихъ посѣщали насъ часто и другіе. По утрамъ насъ всѣхъ поили чаемъ, послѣ чего остатокъ дня каждый продовольствовался своими средствами; я часто бывалъ у сестры. Вечеромъ мы сходились; тутъ шли рассказы. Иногда ужинали, и тогда это былъ праздникъ не отъ яствъ и вина (намъ не на что было лакомиться), но отъ разнообразной оживленной бесѣды. Большая часть нашей братіи были люди спеціальныя. Приходили и постороннія лица, но всегда народъ дѣльный: либо Петровъ съ могучимъ своимъ басомъ, либо Петръ Каратыгинъ, съ неистощи-



нымъ запасомъ каламбуровъ собственнаго издѣлія, или кто нибудь изъ литераторовъ, и разговоръ оживлялся, переходилъ съ предмета на предметъ, и время быстро и пріятно улетало. Иногда мы пѣвали; въ такомъ случаѣ тѣ, которые менѣе другихъ принимали участіе въ бесѣдахъ, выступали на первый планъ ... К\* иногда писалъ намъ куплеты de circonstance; мы подбирали музыку, или я сочинялъ ее, разучивалъ и управлялъ хоромъ.» Эта жизнь постоянного дружескаго общества, столько напоминающая веселую и беззаботную жизнь художниковъ въ Римѣ, есть одна изъ непремѣнныхъ потребностей художника: но какъ ея у насъ обыкновенно никогда и нигдѣ не существуетъ, потому что она не имѣетъ еще основанія ни въ нашихъ нравахъ, ни въ нашихъ привычкахъ, то тѣмъ болѣе должны были цѣнить ее тѣ художники, которыхъ случай и обстоятельства соединили здѣсь на нѣсколько счастливыхъ и веселыхъ годовъ.

Подъ вліяніемъ того счастливаго расположенія духа, которое должно было приносить ему общество братіи, какъ оно называлось, а также подъ вліяніемъ поэтическихъ ощущеній тогдашней поры своей жизни, Глинка написалъ, въ концѣ 1839 года, романсъ свой: «Я помню чудное мгновенье,» который, вмѣстѣ съ романсомъ: «Въ крови горитъ огонь желанья,» написаннымъ подъ вліяніемъ подобнаго же поэтическаго расположенія духа, принадлежитъ къ числу лучшихъ и самыхъ страстныхъ созданій Глинки. Вскорѣ послѣ того написалъ онъ вальсъ для оркестра и сочинилъ рядъ романсовъ, составляющихъ одну изъ главнѣйшихъ опоръ и основъ его славы. Кончивъ послѣднюю ноту, онъ хотѣлъ навсегда замолчать (бросивъ даже *Руслана и Людмилу*) и уѣхать надолго, сначала на югъ Россіи, а потомъ, быть можетъ, навсегда въ чужіе края. Но, по счастью, мрачное расположеніе духа у Глинки вскорѣ разсѣялось, если не совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени. Большая часть поэтовъ (Байронъ въ главѣ ихъ) имѣла минуты тяжкаго уны-

нія и разочарованія, въ которыя они прощались навсегда съ своимъ искусствомъ; но, по большей части, эти минуты унынія предшествовали періодамъ высшаго развитія силъ и созданія совершеннѣйшихъ произведеній. Такъ точно было и съ Глинкою. «Пріѣхавъ къ матушкѣ (въ Смоленскѣ), говоритъ онъ, я началъ обдумывать свои намѣренія; паспорта и денегъ у меня не было. Притомъ же, за нѣсколько дней до отъѣзда изъ Петербурга, я былъ жестоко огорченъ... Отъ совокупнаго дѣйствія размышленій и воспоминанія, я началъ, мало по малу, успокоиваться. Я принялся за работу и въ три недѣли написалъ интродукцію Руслана.» При этомъ случаѣ слѣдуетъ привести одно обстоятельство, изъ 1839 года: «По дѣлу службы, говоритъ Глинка, я присутствовалъ на обрученіи и бракосочетаніи великой княгини Маріи Николаевны. Во время обѣда, играла музыка, и пѣли теноръ Поджи, мужъ Фрецолини, и придворные пѣвчіе. Я былъ на хорахъ; стучъ ножей, вилочъ, тарелочъ поразилъ меня и подаль мысль подражать ему въ интродукціи Руслана, во время княжескаго стола, что мною въ послѣдствіи, по возможности, выполнено. На обратномъ пути изъ Смоленской губерніи въ Петербургъ, ночью, съ 14-го на 15-е сентября, меня прохватило морозомъ. Всю ночь я былъ въ лихорадочномъ состояніи; воображеніе зашевелилось, и я въ ту ночь изобрѣлъ и сообразилъ финалъ оперы, послужившей, въ послѣдствіи, основаніемъ увертюры оперы *Русланъ и Людмила*.» И такъ два нумера изъ геніальнѣйшихъ частей оперы, первая интродукція и послѣдній финалъ, были сочинены почти въ одно и то же время. Отсюда происходитъ то единство, то характеристическое родство этихъ двухъ нумеровъ, которые образуютъ собою какъ бы рамку, заключающую въ границахъ своихъ тѣ фантастическія, сказочныя сцены и картины, которыя наполнили собою всю средину оперы. Интродукція Руслана есть самое грандіозное, самое колосальное созданіе Глинки (вмѣстѣ съ заключительнымъ хоромъ изъ *Жизни за Царя*); финалъ же, по ширинѣ

формъ, по могучему размаху своему, слѣдуетъ за этими двумя нумерами. Этими двумя великими созданіями возвратился Глинка къ своей оперѣ, давно покинутой. По прїѣздѣ въ Петербургъ, Глинка вошелъ въ колею той самой жизни, которую онъ повелъ съ конца 1839 года; то есть съ того времени, когда разные домашнія обстоятельства принудили его оставить службу и измѣнить образъ жизни. Онъ отдался, для собственнаго спокойствія, отъ прежняго обширнаго круга знакомства, и ограничился небольшимъ обществомъ искренно преданныхъ ему людей; продолжалъ часто видѣться съ доброю и талантливою братією, но болѣе прежняго сталъ сидѣть долго и работать. Уже въ письмѣ, отъ 29-го сентября, онъ пишетъ къ матери. «Я совершенно перемѣнилъ образъ жизни; сдѣлавшись домохозяиномъ, избѣгаю всѣхъ случаевъ къ беспорядочной жизни. Я рѣшился, не вдаваясь въ будущее, пользоваться настоящимъ временемъ и продолжать оперу.» — «Несмотря на мои недуги,» пишетъ онъ въ письмѣ, отъ 8-го октября, «я веду жизнь тихую и покойную, а что всего лучше, беззаботную, хотя въ сердцѣ нѣсколько пусто, зато музыка меня несказанно утѣшаетъ; почти все утро работаю; вечеромъ бесѣда добрыхъ друзей меня улаждаетъ. Если пойдетъ такъ и на будущее время, опера къ веснѣ будетъ почти кончена». Въ числу тѣхъ домовъ, гдѣ Глинка въ это время былъ принимаемъ какъ родной, гдѣ онъ, въ тѣсномъ кругу избранныхъ любимыхъ людей, отводилъ душу отъ физическихъ и нравственныхъ страданій тогдашняго періода своего, принадлежалъ домъ П. В. Э\*. «Жена его,» пишетъ Глинка, «молодая и пріятной наружности дама, часто приглашала меня. Послѣ болѣзни, посылала за мною карету, обитую внутри мѣхомъ, а сверхъ того соболями шубки, чтобъ еще болѣе меня укутать. Софья Григорьевна любила музыку; я написалъ для нея романсъ: «Какъ сладко съ тобою мнѣ быть,» часто игралъ ей отрывки изъ новой моей оперы, въ особенности сцену Людмилы въ замкѣ Черномора. Мнѣ тамъ было очень хорошо: за обѣ-

домъ хозяйка сажала меня возлѣ себя съ дамами, угощала меня сама барыня, и шуткамъ и розсказнямъ конца не было. > Такимъ образомъ, зимою 1840 года, онъ въ этомъ домѣ нашелъ для себя ту отраду и тихое удовольствіе, которое, зимою съ 1838 на 1839 годъ, онъ находилъ въ знакомствѣ съ племянницами покойнаго друга своего, Е. П. Ш\*. «Меньшая изъ нихъ, Поликсена, училась у меня пѣть, а старшая, княгиня М. А. Щ\*, молодая вдова, была прелестна: хотя не красавица, но была видная, статная и чрезвычайно увлекательная женщина. Онѣ жили съ бабкою своею, и я былъ у нихъ какъ домашній, нерѣдко обѣдалъ и проводилъ часть вечера. Иногда получалъ отъ молодой княгини-вдовы маленькія записки, гдѣ меня приглашали обѣдать, съ обѣщаніемъ мнѣ порціи луны и шубки. Это значило, что въ гостиной княгини зажигали круглую люстру изъ матоваго стекла, и она уступала мнѣ свой мягкій соболій полушубокъ, въ которомъ мнѣ было тепло и привольно. Она располагалась на софѣ, я на креслахъ возлѣ нея; иногда бесѣда, иногда безотчетное мечтаніе доставляли мнѣ пріятныя минуты: мысль объ умершемъ моемъ другѣ достаточна была, чтобъ удержать сердце мое въ предѣлахъ поэтической дружбы.» Но, въ 1838 и въ 1839 году, Глинка былъ окруженъ толпою почитателей его таланта, и дружба съ племянницами покойнаго пріятеля была только дополненіемъ къ прочимъ удовольствіямъ. Не такъ было зимою съ 1840 на 1841 годъ. Въ слѣдствіе обстоятельствъ, а также и собственной рѣшимости Глинки, рады поклонниковъ и знакомыхъ его уменьшились; одни къ нему охладѣли, другіе его забыли, третьи ему надобли сплетнями и клеветами (о чемъ немало есть подробностей въ *Запискахъ* и письмахъ Глинки), и потому такое искреннее, родственное расположеніе и сочувствіе, каковое онъ находилъ въ домѣ у Э\*, не могли не быть ему тогда пріятны и не дѣйствовать благотворно на художественныя его занятія. Какъ много, въ это время, Глинка нуждался въ искренней, близкой

бесѣдѣ, чтобы залечить ею свои раны, и какъ мало онъ находилъ въ тому возможности въ тогдашней своей жизни, въ тогдашнемъ своемъ сообществѣ, видно изъ того, что въ 1840 и 1841 годахъ переписка съ матерью значительно усиливается. Глинка, прежде того мало расположенный къ перепискѣ, начинаетъ писать чаще, и рассказываетъ въ своихъ письмахъ про свою тоску, про свою хандру, про свои огорченія, даже говорить, что «мысль о смерти часто посѣщаетъ его.» Всегдашняя нѣжность и привязанность къ матери ярко выразились во время болѣзни его, въ 1840 году. «Когда я убѣдился въ опасности моей,» пишетъ онъ, «меня тревожила не мысль о смерти, ни что другое, кромѣ васъ. Я боялся умереть, чтобъ это васъ не огорчило. Я такъ скоро умереть не желалъ бы; напротивъ, борюсь съ судьбою и страданіями и, исполнѣ цѣня ваше ангельское сердце, употреблю все возможное, чтобы сохранить себя.» Единственно возможнымъ средствомъ для выхода изъ этого состоянія, ему казалась поѣздка за границу, о которой онъ началъ помышлять съ конца 1840 года. О ней онъ говорилъ своей матери почти въ каждомъ письмѣ, стараясь убѣдить ее въ необходимости этой разлуки, столько тягостной для нихъ обоихъ. Сначала онъ хотѣлъ ѣхать на три или четыре мѣсяца, потомъ на годъ или на два. Ему казалось, что, сверхъ причинъ моральныхъ, того требовало и его здоровье, наконецъ и возможность заниматься своимъ искусствомъ.

«Къ деревнѣ же, говоря откровенно (писалъ Глинка въ 1841 г.), душа моя не лежитъ... Запретить людямъ говорить нельзя—это ясно; но я терпѣть не могу ни толковъ, ни сплетень, и благодарю судьбу, что могу улетѣть изъ Россіи, гдѣ, съ моимъ характеромъ и въ моихъ обстоятельствахъ, жить не возможно. Заграничный бытъ мнѣ хорошо извѣстенъ. Тамъ сосѣдъ не знаетъ про сосѣда, и каждый живетъ по своему...»

Но скоро все измѣнилось, и, въ письмѣ отъ 18-го апрѣля того же 1841 года, Глинка уже писалъ: «Непредвидѣнныя,

важныя для меня обстоятельства совершенно овладѣли моимъ вниманіемъ (онъ описываетъ ихъ, и потомъ продолжаетъ). Теперь, какъ всегда случалось въ самыя критическія минуты моей жизни, нѣтъ при мнѣ человѣка, на котораго я могъ бы вполне положиться. III\* бы мнѣ все устроилъ, но онъ за 1,500 верстъ. Вхатъ за границу мнѣ и думать нельзя—я необходимо долженъ остаться въ Петербургѣ. . .» Такимъ образомъ, Глинка встрѣтилъ неожиданныя препятствія для поѣздки за границу, точно такъ, какъ встрѣтилъ ихъ въ 1834 году, и, по всей вѣроятности, безъ этихъ благодѣтельныхъ помѣхъ, Глинка вовсе, или по крайней мѣрѣ долго, не создалъ бы тогда *Жизни за Царя*, а теперь *Руслана и Людмилу*. Несмотря на всѣ его увѣренія въ томъ, что пребываніе за границею послужило бы только къ быстрѣйшему окончанію оперы, мы имѣемъ всѣ данныя, чтобы сильно сомнѣваться въ этомъ, и самъ Глинка, наконецъ, въ этомъ письмѣ (которое мы приведемъ ниже) сознался въ послѣдствіи, что «только въ Россіи можетъ онъ хорошо и успѣшно сочинять.» Итакъ, его счастливая звѣзда, ему самому наперекоръ, располагала его судьбою къ лучшему, и устроивала всѣ обстоятельства такъ, какъ они были необходимы, для полного торжества его гениа.

Однако же, несмотря на все это и на ту «разсѣянную жизнь,» которую Глинка велъ около начала весны (и о которой упоминаетъ въ письмѣ къ матери, отъ 24-го марта), онъ все еще находился въ печальномъ и даже мрачномъ расположеніи духа, въ слѣдствіе сильнаго разстройства нервъ послѣ тяжкой горячки. Онъ жилъ тогда у однихъ своихъ знакомыхъ. Одинъ изъ нихъ уступилъ ему свою комнату, расписанную карриатурами и чертовщиной.

«Когда, бывало (говорить Глинка), ночью карета освѣщала своими фонарями, постепенно мгновеннымъ свѣтомъ, мою комнату, странныя фигуры мелькали одна за другою, и казалось, что стоявшая на печкѣ мертвая голова насмѣшливо улыбалась. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, часто казалось,

что она смѣялась надъ моими страданіями. Тогда я спалъ дурно и предавался печальнымъ размышленіямъ о судьбѣ своей. Несмотря на это болѣзненное расположеніе духа, я продолжалъ писать оперу. Докторъ С\* пришелъ однажды, закурилъ сигару и, смотря на мою работу, сказалъ мнѣ съ самодовольнымъ видомъ: «отодрать бы тебя, братецъ, лучше бы писалъ!»

Въ февралѣ 1841 г., Глинка писалъ своей матери: «Опера немного подвинулась впередъ, и я могу сказать, что въ головѣ почти все готово, но, чтобы уписать готовое, мнѣ нуженъ тихій и отраднѣйшій пріютъ на лѣто и менѣе суровый климатъ на зиму. Если судьбѣ угодно будетъ послать мнѣ годъ такой жизни, опера будетъ готова; но ранѣе года окончить нельзя; письма бездна, а силы мои не позволяютъ работать много и постоянно.» Процессъ, который Глинка принужденъ былъ вести въ теченіе 1840 и 1841 годовъ, много отвлекалъ его отъ работы и разстраивалъ его художественное расположеніе духа. Но, наконецъ, около исхода лѣта, для Глинки устроилась та жизнь, какою онъ сталъ желать себѣ, и какою необходима ему была, для окончанія оперы: «тихій пріютъ» нашелъ онъ у сестры своей, у которой поселился въ это время. Описаніе тогдашней жизни своей, Глинка оставилъ въ нѣсколькихъ граціозныхъ строкахъ своихъ записокъ, заключивъ ихъ стихами:

Привычка въ чувство обратилась,  
А чувство въ счастье многихъ дней.

Въ концѣ лѣта, Глинка почувствовалъ необыкновенное расположеніе къ сочиненію музыки, и это расположеніе не измѣнялось. Сверхъ того, онъ началъ учиться рисованію, именно пейзажей, у ученика академіи Солнцева, и началъ рисовать порядочно, такъ что скопировалъ нѣсколько ландшафтовъ карандашомъ для его знакомыхъ. На одномъ изъ его рисунковъ карандашомъ, Карлъ Брюловъ подписалъ: «скопирована

*очень не дурно*». Ему дома было такъ хорошо, что онъ очень рѣдко выѣзжалъ, и, сидя дома, такъ усердно работалъ, что въ короткое время большая часть оперы была готова. Опера была доведена до того, что нельзя было дописывать немногаго оставшагося, безъ сценическихъ соображеній и содѣйствія декоратора и балетмейстера. Итакъ, въ апрѣлѣ 1842 года, Глинка явился съ партитурою къ директору театровъ, А. М. Геденону, который безъ всякихъ разговоровъ принялъ его оперу, приказалъ сейчасъ же приступить къ постановкѣ ея на сцену и, по желанію автора, вмѣсто единовременнаго вознагражденія 4,000 р. асс., согласился, чтобы онъ получалъ разовые, то есть десятый процентъ съ двухъ третей полного сбора за каждое представленіе. Скоро послѣ того отдали его партитуру въ театральную нотную контору, и, когда партіи главныхъ дѣйствующихъ лицъ и хоровъ были изготовлены, Глинка принялся за разученіе своей музыки.

Сверхъ нѣсколькихъ близкихъ дружескихъ домовъ, Глинка въ 1842 году началъ посѣщать и то петербургское общество, которое было оставилъ за нѣсколько лѣтъ. Это случилось слѣдующимъ образомъ: «Появленіе Листа въ Петербургѣ, въ февралѣ 1842 года, говоритъ Глинка, переположило всѣхъ дилетантовъ и даже модныхъ барынь. Меня, отказавшагося отъ свѣта съ ноября 1839 г., снова вытащили на люди и почти всѣми забытому русскому композитору пришлось снова являться въ салонахъ нашей столицы, по рекомендаціи знаменитаго иностраннаго артиста.... Кромѣ Віельгорскаго и Одоевскаго, я бывалъ съ Листомъ у Р\* и у П\*. У О\* Листъ сыгралъ à livre ouvert нѣсколько нумеровъ Руслана съ собственноручной, никому еще неизвѣстной моей партитуры, сохранивъ всѣ ноты, во всеобщему нашему изумленію. Обращеніе и приемы Листа не могли не поразить меня страннымъ образомъ, ибо я тогда не былъ еще въ Парижѣ, и о южной Франціи зналъ только по наслышкѣ. Кромѣ очень длинныхъ волосъ, въ обращеніи онъ иногда прибѣгалъ къ сладкораз-



нѣженному тону; по временамъ въ его обращеніи появлялась надменная самоувѣренность. Впрочемъ, несмотря на нѣкоторый тонъ покровительства, въ обществахъ и особенно между артистами и молодыми людьми, онъ былъ любезенъ, охотно принималъ искреннее участіе въ общемъ веселіи, и не прочь былъ покутить съ нами. Когда мы встрѣчались въ обществѣ, что случалось не рѣдко, Листъ всегда просилъ меня спѣть одинъ или два моихъ романса. Болѣе всѣхъ другихъ нравился ему: «Въ крови горить!» Онъ же, въ свою очередь, игралъ для меня что нибудь Шопена или «моднаго» Бетговена.. Я велъ тогда жизнь весьма пріятную: утромъ передѣлывалъ танцы и немногіе недоконченные нумера изъ оперы; въ двѣнадцатомъ часу утра отправлялся на репетицію въ залы театра или театральную школу; обѣдалъ я у матушки, и проводилъ въ семействѣ послѣобѣденное время; вечеромъ обыкновенно ѣздилъ въ театръ, гдѣ оставался почти все время за кулисами. Когда вечеромъ я возвращался домой, сестра Ольга встрѣчала меня со смѣхомъ, и на вопросъ мой: «чему ты смѣешься, Оline?» отвѣчала: «Вы пришли, значитъ смѣхъ будетъ.» Дѣйствительно, не проходило четверти часа, какъ я уже смѣшилъ сестру и матушку.»

Наконецъ постановка оперы была совершенно кончена. Костюмы для главныхъ дѣйствующихъ лицъ сдѣланы были по указанію Карла Брюлова. Брюловъ сообщилъ также свои соображенія о декорацияхъ Роллеру, который еще до того написалъ масляными красками эскизы декораций для *Руслана и Людмилы*.

Вотъ, наконецъ, описанное самимъ Глинкою, первое представленіе его оперы: «Назначено было 27-е ноября 1842 года для перваго представленія *Руслана и Людмилы* (день въ день и даже въ пятницу, черезъ шесть лѣтъ послѣ представленія оперы *Жизнь за Царя*). Петрова была нездорова, и роль Ратмира должна была исполнить Петрова-воспитанница, которая была талантливая, но еще слабая и неопытная ар-

тистка. Переменить было невозможно. Несмотря на мучительное чувство, овлаждавшее мною каждый раз во время первого представления моих драматических произведений, я еще не терялъ надежды на успѣхъ. Первый актъ прошелъ довольно благополучно. Второй прошелъ также не дурно, за исключеніемъ хора въ головѣ. Въ третьемъ актѣ, въ сценѣ «И зной и жаръ», Петрова-воспитанница оказалась весьма слабою, и публика замѣтно охладилась. Четвертый актъ не произвелъ эффекта, котораго ожидали. Когда (послѣ окончанія оперы) опустили занавѣсъ, начали меня вызывать; но аплодировали очень не дружно, а напротивъ усердно шикали, и преимущественно со сцены и оркестра. Возвратясь изъ театра, мы съ матушкою скрыли нашу досаду, и ласково приняли моихъ пріятелей, пріѣхавшихъ къ намъ ужинать. Второе представленіе прошло не лучше перваго. На третьемъ представленіи явилась старшая Петрова. Она исполнила сцену третьяго дѣйствія съ такимъ увлеченіемъ, что привела въ восторгъ публику. Раздались звонкія и продолжительныя рукоплесканія, торжественно вызвали сперва меня, потомъ Петрову. Эти вызовы повторялись въ продолженіе семнадцати представлений... Въ теченіе зимы, или лучше, отъ 27-го ноября до великаго поста, опера выдержала тридцать два представленія въ С.-Петербургѣ».

Глинка провелъ зиму 1842 и первую половину 1843 года, по большей части, въ прежнемъ кругу художниковъ и близкихъ друзей (въ ихъ числѣ главное мѣсто опять занималъ К. Брюловъ). Жили они беззаботно, весело, болѣею частію въ складчину, подобно тому какъ въ 1839, 1840 и 1841 годахъ. Счастливое расположеніе духа, овлаждавшее имъ, выразилось въ нѣсколькихъ новыхъ піесахъ. (Глинка никогда иначе не сочинялъ, какъ находясь въ свѣтломъ, радостномъ расположеніи духа). Онъ сочинилъ милый и весьма оригинальный романсъ: «Люблю тебя, милая роза» (написанный въ гостяхъ у одного пріятеля, ночью, послѣ театра), и романсъ «Къ вѣй»,

на слова Мицкевича, переведенныя княземъ Голицынымъ. Это одинъ изъ самыхъ примѣчательныхъ глинкинскихъ романсовъ, по красотѣ и страсти. Вообще оба романа носятъ на себѣ вполне печать той эпохи, въ которую сочинены. Это какъ будто остатки матеріаловъ отъ *Руслана и Людмилы*, не пошедшіе въ дѣло оперы. Также около этого времени, Глинка написалъ для фортепіано *Тарантелу*. Но, несмотря на эти занятія и художническое общество, въ которомъ находился, онъ не былъ счастливъ и доволенъ. Соединеніе артистическихъ и домашнихъ непріятностей произвело вскорѣ тотъ результатъ, что Глинка, по собственнымъ словамъ его, впалъ въ совершенное ко всему равнодушіе. Не мало тому способствовало, между прочимъ, открытіе въ 1843 году итальянской оперы въ С.-Петербургѣ. На ней сосредоточились всѣ музыкальные интересы. Все прочее было поглощено ею и, разумѣется, не могло быть и помину о представленіяхъ *Руслана и Людмилы*. Къ непріятностямъ и огорченіямъ артистическимъ, къ тоскѣ и скукѣ бездѣйствія, присовокупились страданія физическія. Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ причинъ, Глинка долженъ былъ приступить къ исполненію давнишняго намѣренія своего: поѣхать за границу. Глинка уѣхалъ изъ Петербурга въ іюнѣ 1844 года, и прямо направился въ Парижъ, остановившись лишь на нѣсколько дней въ Берлинѣ, гдѣ показывалъ партитуры своихъ оперъ бывшему своему учителю Дену. Глинка пробылъ въ Парижѣ до мая 1845 года. Но вскорѣ онъ началъ помышлять о поѣздѣ въ Испанію. Эта мысль заняла его тревожное воображеніе съ такою силою, что, несмотря на всѣ развлеченія и удовольствія парижской жизни, на общество друзей и искреннихъ обожателей, несмотря даже на артистическіе успѣхи, онъ не успокоился, пока не привелъ въ исполненіе этой фантазіи своей. Въ письмѣ (на французскомъ языкѣ) къ одному родственнику, отъ 2-го мая, Глинка пишетъ: «Русскіе студенты медицинскаго факультета, находящіеся теперь въ Парижѣ, устроили

въ честь меня праздниѣ и поднесли мнѣ вѣнокъ, по случаю полученія извѣстія о моемъ торжествѣ въ Россіи. Вы вѣроятно знаете, что итальянцы пѣли мои сочиненія съ величайшимъ успѣхомъ, судя по письмамъ. Это меня тѣмъ болѣе радуеть, что случилось въ одно время съ отзывами французскихъ журналовъ обо мнѣ. Я проникнуть благодарностію въ просвѣщенной и благосклонной парижской публикѣ, и на мнѣ теперь, нѣкоторымъ образомъ, лежитъ обязанность работать для Европы, работая для моего отечества. Итакъ я жду, не дождусь времени, когда пушусь въ испанское путешествіе, которое, безъ сомнѣнія, доставитъ мнѣ новыя и оригинальныя идеи.»

Наконецъ, послѣ долгой переписки съ матерью, Глинка получилъ согласіе ея на исполненіе давнишней фантазіи своей, на путешествіе по Испаніи. Онъ выѣхалъ изъ Парижа въ половинѣ мая 1845 г. Общій видъ Испаніи мало поразилъ его сначала, и не произвелъ особенно благопріятнаго на него впечатлѣнія. Но здѣсь случилось совершенно противное тому, что было при первомъ въѣздѣ его въ Петербургъ и въ Парижъ. Когда Глинка еще мальчикомъ привезенъ былъ въ первый разъ изъ деревни въ Петербургъ, городъ этотъ произвелъ на него сильнѣйшее впечатлѣніе и чрезвычайно понравился ему. Такъ было и съ Парижемъ въ 1845 году. Всѣ письма его, во время перваго пребыванія въ этомъ городѣ, наполнены похвалами Парижу. Но оба впечатлѣнія эти не сохранились, и Глинка точно такъ же мало любилъ въ послѣдствіи Парижъ, какъ и Петербургъ. Испанія же мало понравилась ему вначалѣ; за то тѣмъ болѣе и крѣпче сталъ онъ любить ее въ послѣдствіи. Глинка прожилъ въ Испаніи два года, то есть отъ половины 1845 до 1847 года. Многочисленные письма, относящіяся къ этому періоду, свидѣтельствуютъ о томъ, какъ ему хорошо и привольно было въ этой странѣ, какъ ему нравилась и ея природа, и климатъ, и люди, и обычаи, и музыка. Въ февралѣ 1846 года, Глинка вози-

мнѣ надежду исполнить свои сочиненія передъ мадридскою публикою. Изъ Гренады, онъ писалъ: «Спѣшу въ Мадридъ, чтобы начать мои музыкальныя предпріятія; уже до моего отъѣзда въ ноябрѣ, все было прилажено для моего дебюта». Но италіанская опера опять помѣшала Глинкѣ. «Вотъ опять я встрѣтился здѣсь со своими врагами (пишетъ Глинка, въ письмахъ отъ 9-го апрѣля и 6-го мая 1846 года, изъ Мадрида, на французскомъ языкѣ). Италіанцы завладѣли, со своими Лучією, Сонамбулою, Беллини, Верди, Доницетти, лучшимъ мадридскимъ театромъ и испанскою публикою, которая, какъ всѣ публики на свѣтѣ, преклоняется передъ модными идолами....» «Здѣсь теперь превосходный италіанскій театръ, который я не посѣщаю, потому что давно уже мнѣ наскутила италіанская музыка. Итакъ какъ все вниманіе публики обращено теперь на италіанцевъ, то мнѣ не приходится теперь дать мои пѣсы на театрѣ.» Такимъ образомъ, испанскія сочиненія Глинки не исполнены въ Испаніи, и только тріо «Не томи, родимый» было выполнено, въ ноябрѣ 1864 года; въ придворномъ концертѣ, въ чемъ немало помогъ Глинкѣ его пріятель, придворный фортепіанистъ, донъ-Хуанъ Гельбенцу.

Мать Глинки, бывшая въ то время уже въ преклонныхъ лѣтахъ и страдавшая глазами, сильно желала увидѣть, до смерти своей, любезнаго, дорогаго сына. Она настойчиво требовала его возвращенія въ Россію. Покоряясь ея волѣ, Глинка, повинувъ свою «благословенную Испанію», быстро проѣхалъ Европу, и, въ концѣ іюля 1847 г., былъ уже въ деревнѣ у своей матери. «Я прибылъ въ Новоспасское въ добромъ здоровьѣ (разсказываетъ Глинка въ своихъ *Запискахъ*); но скоро почувствовалъ, что аппетитъ и сонъ начали исчезать. Желая поддержать себя, я для гимнастики началъ маленькимъ топоромъ рубить лишнія липы (которыхъ было множество), чтобы дать просторъ дубамъ, вязамъ и другимъ деревьямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что я насадилъ себя, и началъ чувствовать болѣзненные ощущенія въ животѣ. Перваго сентября у меня сдѣлалось силь-

ное нервное раздраженіе, которое скоро усилилось, и невыносимо-мучительное замираніе въ животѣ терзало меня, какъ въ Венгріи, въ 1833 г.» Эта болѣзнь принудила его остаться всю зиму въ Смоленскѣ. Во все время своего пребыванія тамъ, онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи рояль, который былъ ссуженъ ему его пріателемъ. Но, несмотря на всѣ тихія удовольствія тогдашней жизни въ кругу родственниковъ, друзей и почитателей его таланта, Глинкѣ не жилось въ Россіи. При томъ его здоровье требовало климата болѣе умѣреннаго. «Каждый день я былъ на балахъ и вечерахъ, и неоднократно долженъ былъ потѣшать публику пѣніемъ и игрою на фортепiano. Эта суматошная жизнь еще болѣе раздражила мои нервы; я впалъ въ дикое отчаяніе и упросилъ сестру выпроводить меня въ Варшаву.»

Глинка уѣхалъ въ мартѣ 1847 года, и не остался празднымъ. Онъ былъ полонъ новыхъ идей и формъ, просившихся наружу. У намѣстника царства Польскаго, князя Варшавскаго, былъ свой оркестръ. Такъ какъ князь былъ очень расположенъ къ Глинкѣ, и часто приглашалъ его къ себѣ на обѣды и другія собранія, то и просилъ его заниматься этимъ оркестромъ. «Оркестръ былъ не совсѣмъ хорошъ, говоритъ Глинка въ *Запискахъ*, но для меня было все таки полезно. Я далъ капельмейстеру Поленсу испанскій танецъ *халео* (*haleo da Xeres*). Музыка эта очень понравилась свѣтлѣйшему, и онъ привязывалъ часто играть ее въ присутствіи гостей, и потомъ, по приказанію князя, танецъ «халео», подъ эту музыку, поставили на варшавскомъ театрѣ.» И однако же, несмотря на все, что настроеніе духа Глинки общало ему для будущаго, по возвращеніи его изъ чужихъ краевъ, онъ уже не произвелъ того великаго творенія, къ которому направлялись тогда всѣ силы его и котораго искала и требовала душа его. Всѣ послѣдніе годы его являются выраженіемъ этого стремленія въ мучительной борьбѣ съ безнадежностію выполненія. Доказательства тому остались столько же въ *Запискахъ*,

сколько и въ современныхъ письмахъ Глинки. Но какія же были причины этого начинавшагося обезсиленія таланта, до тѣхъ поръ столь мощнаго и смѣлаго? Одна изъ нихъ заключалась въ болѣзняхъ и годахъ, которые начинали давать чувствовать всю свою тяжесть человѣку, проведенному юность безповойную и мятежную. Еще въ письмахъ изъ Испаніи, Глинка началъ уже говорить о томъ, что чувствуетъ бремя лѣтъ на плечахъ своихъ, что не находитъ уже въ себѣ прежней живости и свѣжести впечатлѣній, что начинаетъ тучнѣть и вмѣстѣ съ тѣмъ ощущать, во всемъ существѣ своемъ, наступленіе какой-то лѣни, потребность покоя и невозмутимости. Другая причина заключалась въ той средѣ, въ которой находился Глинка. Время и смерть разлучили его съ большею частью сверстниковъ, друзей и товарищей. Ряды ихъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе рѣдѣли вокругъ него, и молодое поколѣніе, несмотря на весь свой энтузіасмъ и поклоненіе его генію, не могло замѣнить того кружка близкихъ, посреди котораго окрылялось прежде его вдохновеніе. Отсутствіе ровесниковъ было незамѣнимо, слишкомъ чувствительно. Наконецъ, даже и тотъ небольшой кружокъ энтузіастическихъ поклонниковъ его таланта, который вокругъ него оставался въ послѣдніе годы жизни, не въ состояніи былъ удовлетворять тѣмъ потребностямъ общаго сочувствія, которыя были одною изъ основныхъ чертъ его характера, хотя онъ постоянно нуждался въ чемъ бы то ни было сочувствія къ его произведеніямъ. Немногіе понимали его, но и изъ числа этихъ немногихъ, всѣ ли понимали его достаточно. Быть можетъ, неопредѣленное недовольство самимъ собою глухо грызло его. Похвалы почти шокировали его. Тѣ похвалы, на которыя онъ имѣлъ право, не доносились до него большими массами, и онъ поневолѣ оставался не доволенъ похвалами отдѣльныхъ лицъ. Сквозь всѣ учтивыя фразы, которыми онъ стряхивалъ ихъ съ себя, какъ докучную пыль, можно было, при небольшой проницательности, примѣтить, что онъ считалъ себя не только мало, но худо ашплодирован-

нымъ, и потому предпочиталъ оставаться невозмущеннымъ въ своемъ уединеніи и чувствѣ. «Что значать букеты для того, чье чело призываетъ на себя безсмертные лавры?» восклицаетъ въ одномъ мѣстѣ Листъ, глубоко понимавшій натуру и произведенія Шопена.

Глинка, съ самаго перваго появленія въ свѣтъ своей оперы *Русланъ и Людмила*, глубоко былъ уязвленъ въ своей справедливой гордости, и эта болѣзнь была ѣдче и чувствительнѣе для него всѣхъ остальныхъ душевныхъ и тѣлесныхъ его болѣзней. Есть натуры могучія, гигантскія, которыя могутъ сносить несправедливое равнодушіе и холодность массы, какъ бы не удостоивая ихъ даже взора, и продолжаютъ безостановочно свое триумфальное шествіе къ славѣ и бессмертію. Таковы были Бахъ и Бетговенъ, забытые, непризнанные въ послѣдніе годы своей жизни, именно тогда, когда создавали высшія произведенія, совершали настоящую задачу своей жизни. Но есть другія натуры, менѣе сильныя, которыя нуждаются въ томъ, чтобы рукоплесканія и восторгъ народной массы поднимали ихъ на крыльяхъ своихъ, — которыя теряютъ всю силу, всю бодрость, когда нѣтъ ни этихъ рукоплесканій, ни этихъ восторговъ. Къ такимъ натурамъ принадлежали многіе изъ благороднѣйшихъ художниковъ нашего времени, каковы Шуманъ и Шопенъ; къ числу ихъ относится и Глинка. Послѣ *Руслана и Людмилы*, послѣ всего того, что ему пришлось услышать отъ своихъ соотечественниковъ, въ благодарность за самое колоссальное проявленіе русскаго музыкальнаго искусства, онъ отдохнулъ сердцемъ и душою въ Испаніи, гдѣ ему особенно хорошо было, «быть можетъ именно потому, что тамъ никто его не трогаетъ» (какъ онъ много разъ пишетъ въ своихъ испанскихъ письмахъ). Глинка воротился на родину, съ богатымъ запасомъ новаго нетронутаго матеріала, и прежнія его страданія всѣ возобновились. Годы и усталость довершили то, что было начато такими внѣшними обстоятельствами, и онъ болѣе не могъ развернуть по прежнему крылья



свои. Артистическая же натура не замолкла въ немъ, и до послѣдней минуты его жизни художественные замыслы не покидали его фантазіи.

Съ самаго возвращенія изъ Испаніи, Глинка не жилъ уже постоянно на одномъ мѣстѣ. Безпокойная, неудовлетворенная натура его требовала частой перемѣны во всемъ и находила нѣкоторое успокоеніе въ частыхъ путешествіяхъ. Когда Глинка жилъ одинъ, онъ также часто любилъ перемѣнять квартиры, какъ Бетговенъ, какъ Шопенъ и какъ большая часть художниковъ съ тревожнымъ воображеніемъ. Проживъ нѣсколько времени въ Смоленскѣ, онъ поспѣшилъ уѣхать въ Варшаву, но и тамъ не усидѣлъ долго а, въ ноябрѣ 1848 года пріѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ и оставался до весны 1849 года, съ наступленіемъ которой опять уѣхалъ въ Варшаву.

Въ іюнѣ 1851 года, Глинка получилъ извѣстіе о смерти матери. Эта печальная вѣсть такъ поразила его, что хотя онъ и не плакалъ, однако произошло первое пораженіе въ тѣхъ самыхъ пальцахъ правой руки, которыми держалъ письмо съ этимъ извѣстіемъ. Послѣ этого онъ еще нѣсколько времени оставался въ Варшавѣ, занимаясь композиціями, но вскорѣ пріѣхалъ въ Петербургъ, чтобы взять заграничный паспортъ и отправиться въ Парижъ: жизнь въ Варшавѣ стала ему столь же тягостна, сколь и скучна. Но устроилось иначе; Глинка остался на всю зиму въ Петербургѣ, съ сестрою своею, Людмилою Ивановною Шестаковою, съ которою онъ уже давно былъ друженъ, но съ которою еще болѣе сблизился послѣ смерти матери. Своимъ неутомимымъ попеченіемъ и неуспянною заботливостію, она замѣнила ему нѣжную привязанность и попеченія матери, къ которымъ онъ привыкъ съ самаго дѣтства, и безъ которыхъ не могъ уже болѣе обходиться, сколько по привычкѣ, столько и по неизмѣннымъ требованіямъ самой природы.

Зиму, съ 1851 на 1852 годъ, Глинка провелъ не только безъ той скуки, которая его мучила въ послѣднее время его

пребыванія въ Варшавѣ, и на которую онъ не переставалъ жаловаться во всѣхъ письмахъ, но даже весьма пріятно и музыкально. Онъ былъ окруженъ обществомъ молодыхъ людей, искреннихъ и горячихъ поклонниковъ его таланта, которые высоко цѣнили счастье находиться въ близкихъ отношеніяхъ къ великому композитору, пользоваться его искреннимъ расположеніемъ, и, конечно, не пропускали ни одного случая доставлять ему музыкальныя удовольствія. Глинка нерѣдко пѣлъ свои произведенія, импровизировалъ, рассказывалъ подробности изъ своей жизни, особенно анекдоты про своего фаворита въ благородномъ пансіонѣ, Ивана Яковлевича Колмакова, и даже написалъ нѣсколько листовъ своихъ воспоминаній о немъ (которые В. В. Стасовымъ принесены въ даръ императорской публичной бібліотекѣ, вмѣстѣ съ письмами Глинки). Глинка, въ это время своего пребыванія въ Петербургѣ, излагалъ также А. Н. Сѣрову, котораго музыкальныя способности и познанія онъ весьма уважалъ, свои замѣчанія объ инструментахъ и оркестрѣ, которыя тутъ же, подъ его руководствомъ, были записываемы и въ послѣдствіи напечатаны въ Музыкальномъ и Театральномъ Вѣстникѣ 1856 г. Однимъ изъ главныхъ занятій небольшого общества, часто собиравшагося у Глинки, было исполненіе на фортепіано, въ 8 и 12 рукъ, многихъ отличнѣйшихъ музыкальныхъ сочиненій Херубини (котораго Глинка особенно любилъ), Бетговена, Глука и самого Глинки.

Зимою Глинка бывалъ во многихъ обществахъ, гдѣ для него устраивалась музыка, но всего пріятнѣе проводилъ онъ время дома, въ томъ кругу искренно-преданныхъ людей, о которомъ упомянуто выше, съ которымъ онъ самъ сблизился всею своею симпатическою душою, привыкнувъ даже всегда называть этотъ кружокъ «наша компанія», подобно тому какъ привыкъ называть именемъ «наша братія» пріятельскій кружокъ сороковыхъ годовъ.

Въ маѣ, Глинка уѣхалъ изъ Петербурга снова за границу: ему не сидѣлось долго на одномъ мѣстѣ. Но его мало

уже радовало и самое путешествіе: «Да, мой другъ,» писалъ онъ сестрѣ своей изъ Берлина, «я теперь не то, что былъ прежде. Бывало мчишься, какъ птица, и душа радуется, а теперь костямъ трудно, и какъ-то скучно.» Но цѣль путешествія была не Парижъ, а Испанія, и именно Севилья, гдѣ ему такъ хорошо было въ 1846 и 1847 году. Въ іюлѣ мѣсяцѣ пустился Глинка изъ Парижа въ это путешествіе, но мучительныя нервныя страданія, соединенныя съ такимъ же обмираніемъ, которое онъ ощущалъ прежде, привели его въ такое отчаяніе, что рѣшительно отвратили отъ намѣренія ѣхать въ Испанію, и изъ Тулузы онъ воротился въ Парижъ. Мысль о тихомъ спокойномъ житьѣ въ Россіи не повидала Глинку, во все время послѣдняго его пребыванія въ Парижѣ. Сверхъ того онъ жаждалъ снова быть съ близкими своему сердцу. «Я старѣю (писалъ онъ сестрѣ, 1-го сентября), становлюсь причудливѣе прежняго, а ты сама такъ избаловала меня, что мнѣ безъ тебя скучно (одолѣваетъ одиночество) и неловко (никто на меня не потрафитъ). Давно, очень уже давно, я мечтаю о домикѣ съ садикомъ, но съ садикомъ за домикомъ, то есть, чтобы такового съ улицы было не видно; сіе потому, что я нелюдимъ, и присутствіе постороннихъ лицъ для меня враждебно и отравило бы все.... Кромѣ комнаты для моей спальни и кабинета, желалъ бы я рядомъ съ нею комнату для птицъ, съ тѣмъ, чтобы оная птичья комната отдѣляла мою спальню отъ Педрушиной. Причина сему та, что оный Педруша зѣло преданъ механическимъ упражненіямъ и часто по утрамъ чистить, пилить, скоблить и проч., что неприязненно дѣйствуетъ на мои нервы и оскорбляетъ слухъ. Здѣсь я отдѣленъ отъ его спальни столовою и заломъ.» Кромѣ птицъ, онъ желалъ имѣть вокругъ себя много зелени и цвѣтовъ, и просилъ, ко времени приѣзда своего, выслать изъ деревни деревъ съ тридцать, апельсиновыхъ, лимонныхъ, миртовыхъ и кактусовъ grandiflora. Сверхъ того онъ назначалъ себѣ мѣстомъ жительства, на первое время приѣзда въ Пе-

тербургъ, лѣтомъ, Царское-Село, потому что мѣсто это напоминало ему счастливые дни его молодости, когда онъ тамъ гостилъ, въ 1825 или 1826 году, у княгини X\*, съ сыномъ которой былъ друженъ. Кромѣ этой безмятежной жизни, онъ не хотѣлъ имѣть въ виду ничего другаго больше.

Вскорѣ по объявленіи войны Россіи съ Франціею, Глинка уѣхалъ изъ Парижа, 4-го апрѣля 1854 г., и въ маѣ прибылъ въ Петербургъ, за нѣсколько дней до того, когда ему минуло пятьдесятъ лѣтъ. Онъ чувствовалъ въ себѣ новыя силы, и съ самаго пріѣзда не оставался празднымъ. Часто пѣлъ онъ лучшіе свои романсы для «своей компаніи», которая съ восторгомъ привѣтствовала его пріѣздъ. 2 іюня Глинка уже писалъ изъ Царскаго-Села, въ Петербургъ, Энгельгардту: «Дѣло въ томъ, чтó желаніе пилить на скрипкѣ пилить меня самого, а сіе говорю потому, что, въ послѣдніе мѣсяцы пребыванія въ Лютеціи (по просту Парижѣ), я приобрѣлъ уже въ нѣкоторомъ родѣ что то похожее на *vélocité*, а продолжая здѣсь упражняться, полагаю, могъ бы со временемъ держать секунду, не въ квартетахъ, но хотя въ акомпанементахъ вокальной музыки Гевделя, Баха и другихъ тому подобныхъ. Вотъ бы одолжили, если бы поручили, какому ни есть человѣчку, доставить мнѣ скрипку вашу.»

Въ 1855 году, въ Петербургѣ, Глинка писалъ новую оперу: «Двумужница» и очень занимался ею; по пробудившійся въ немъ жаръ не былъ достаточно поддержанъ. Онъ не получилъ оконченнаго либретта въ то время, когда оно было ему всего нужнѣе, и не дало бы остыть его загорѣвшемуся воображенію. На него нахнуло холоднымъ безучастіемъ и—жаръ его мгновенно простылъ. Глинка опять спрятался въ свою раковинку равнодушія и лѣни. Письма его стали наполняться жалобами на медленность работы либреттиста, потомъ на совершенное его отсутствіе. И это случилось съ Глинкою, котораго всѣ подобныя требованія въ прежнес время не только мгновенно были исполняемы, но и предупреждаемы, въ состав-

леніи либреттъ для котораго находили удовольствіе принимать участіе Жуковскій и Пушкинъ. Мы не будемъ приводить здѣсь отрывковъ изъ писемъ и разговоръ того времени, отрывковъ, въ которыхъ Глинка высказывалъ своей сестрѣ и «своей компаніи» негодованіе и гнѣвъ; но съ тѣхъ поръ, послѣ этой послѣдней попытки приняться за обширный трудъ, Глинка, по его словамъ, «упалъ духомъ», и въ немъ осталось одно желаніе: «уѣхать изъ ненавистнаго ему Петербурга.»

Давъ Россіи *національную оперу*, Глинка захотѣлъ дать ей и *національную гармонию* (истинную и церковную), для ея древнихъ мелодій. Онъ чувствовалъ въ себѣ и вкусъ и призваніе къ такому колоссальному труду, и хотя сознавалъ всю трудность работы, однако рѣшился поднять ее на свои плеча. Съ лѣта 1855 года, эта мысль не покидала его. Онъ требовалъ источниковъ и руководствъ, для изученія этихъ тоновъ; но какъ лучшее руководство по этому предмету, находящееся въ знаменитомъ сочиненіи Маркса, казалось ему тяжело и мало нравилось, то онъ рѣшился заняться этимъ предметомъ съ своимъ прежнимъ учителемъ, Деномъ. Между тѣмъ Глинка готовилъ матеріалы для своихъ будущихъ работъ, выпи-сывалъ изъ церковнаго обихода мелодіи, интересовавшія его, и которыя онъ желалъ положить на настоящую церковную гармонию, и сдѣлалъ нѣсколько попытокъ гармонизаціи ихъ, сообразно съ своими новыми идеями. Такимъ образомъ, онъ положилъ на три голоса: эктепію обѣдни и «да исправится,» которыя и были исполнены, съ большимъ успѣхомъ, въ вели-кій постъ 1856 годы, монашествующею братіей сергіевской пустыни (близъ Петербурга). Завятія съ Деномъ сдѣлались для него навонецъ главною цѣлію и желаніемъ предстоявшей ему заграничной поѣздки. Между тѣмъ Глинка не оставлялъ и другихъ музыкальныхъ занятій. Для коронаціи императора Александра Николаевича онъ сочинилъ *торжественный польскій* для оркестра, который и былъ игранъ въ Москвѣ, на всѣхъ дворцовыхъ балахъ, при этомъ торжественномъ случаѣ.

Польскій этотъ былъ сочиненъ Глинкою, «по окончаніи шести недѣль послѣ кончины императора Николая I.» Главная тема заимствована изъ настоящаго испанскаго болеро. «Тріо мое (на русскій мотивъ, весьма народный) наводитъ на сердобольнаго слезы умиленія, зане весьма порусски устроено.» Для коронаціи Глинка хотѣлъ также сочинить гимнъ изъ нѣсколькихъ куплетовъ. Намѣреніе это уже было рѣшено; многіе слышали изъ этой піесы превосходнѣйшіе отрывки, импровизированные Глинкою; но и здѣсь ему не написали во время общаго текста, и онъ скоро охладѣлъ къ сочиненію музыки, столь сильно его заинтересовавшей.

Навонецъ, въ послѣднихъ числахъ апрѣля 1856 года, Глинка уѣхалъ, въ послѣдній разъ, изъ Петербурга, и болѣе уже не возвращался въ Россію. Ему необходимо было разсѣяться путешествіемъ. Притомъ у него была новая музыкальная цѣль въ виду. Послѣднее намѣреніе взяло верхъ. Прибывъ въ Берлинъ, онъ не хотѣлъ уже ѣхать далѣе, прежде чѣмъ не пройдетъ всего курса науки о церковныхъ тонахъ съ Деномъ.

Въ 1856 году, 1-го декабря, Глинка продолжалъ описывать свои столько же, какъ и прежде, богатые «музыкальныя продовольствія» въ Берлинѣ, и потомъ говорить: «Въ театрѣ встрѣтился я съ Мейерберомъ, который лѣтомъ въ Спа слышалъ *Камаринскую и Польскій*, и остался мною доволенъ до такой степени, что, по его желанію, я послалъ къ нему пять піесъ изъ *Жизни за Царя*, а именно: тріо: «Не томи, родимый,» хоръ: «Мы на работу въ лѣсъ!» квартетъ: «Время къ дѣвишнику,» хоръ поляковъ: «Устали мы,» и эпизодъ изъ эпилога: «Ахъ, не мнѣ, бѣдному.» Что изъ этого будетъ? не знаю, а хлопотать не стану. Проѣздомъ былъ здѣсь графъ М. Ю. Виельгорскій: я навѣстилъ его, былъ принятъ какъ родной. Онъ былъ одинъ, и мы пробесѣдовали около часа времени. Между прочимъ онъ былъ вмѣстѣ съ Мейерберомъ въ Спа, и сказалъ ему: qu'après avoir entendu ma

musique, il en a été ébahi (услыхавъ мою музыку, онъ просто былъ пораженъ ею.)» Последнее письмо Глинки, написанное къ сестрѣ, было не менѣе радостно. Въ немъ онъ описывалъ парадный концертъ во дворцѣ короля прусскаго, 21-го (9-го) января 1857, въ которомъ, по настоянію Мейербера, исполняли тріо: «Ахъ, не мнѣ, бѣдному», изъ *Жизни за Царя*. Г-жа Вагнеръ пѣла партію Вани, и этотъ нумеръ произвелъ большой эффектъ на блестящее придворное собраніе, въ которомъ было до 800 человѣкъ. Глинка былъ въ числѣ приглашенныхъ. Мейерберъ написалъ ему самое лестное письмо, по случаю этого концерта съ его тріо, а на репетицію передъ концертомъ приглашалъ Глинку, для того, чтобы онъ самъ указалъ темпъ, выраженіе, и проч. Все это вмѣстѣ было необыкновенно пріятно Глинкѣ, и онъ, съ справедливою гордостью, упоминаетъ о томъ, что *первый изъ русскихъ музыкантовъ дебютировалъ въ Берлинѣ, передъ лицомъ истинно-музыкальной германской публики*. Наконецъ, онъ прибавлялъ тутъ же пріятное извѣстіе, что *Жизнь за Царя* собираются давать въ Берлинѣ въ томъ же, т. е. 1857 году.

Но письмо это было уже послѣднее; скоро началась окончательная его болѣзнь, отчасти состоявшая въ простудѣ, полученной при разѣздѣ послѣ этого самаго концерта, а еще болѣе въ страданіяхъ печени. Въ началѣ болѣзнь казалась незначительна, совершенно маловажна; но Глинка скоро ослабѣлъ. Давно уже истощенная его организація не могла болѣе выносить новаго напора болѣзней, и, въ ночи съ 2-го на 3-е февраля, Глинка скончался, тихо и спокойно, тогда какъ еще за день докторъ не находилъ ни какихъ опасныхъ признаковъ въ его страданіяхъ. До послѣдняго дня своего, даже не сходя съ одра болѣзни, Глинка занятъ былъ музыкальными своими работами, своими художественными предпріятіями, и много разъ просилъ Дена отослать новыя фуги его въ Петербургъ, въ «своей компаніи» и «братіи.» Съ этою постоянною мыслию о музыкѣ и о будущихъ произведеніяхъ,

его занимала только одна еще мысль, — мысль о нѣжнолюбимой сестрѣ и племянницѣ. Никого не было въ комнатѣ въ послѣднія его минуты. Онъ скончался, прижимая маленькій образъ (благословенія матери) къ губамъ своимъ. За нѣсколько часовъ до смерти, почувствовавъ приближеніе кончины, онъ началъ горячо молиться; но такъ какъ молитва скоро успокоила его, то хозяйка, полагая, что ему лучше, оставила его одного, чтобы дать ему отдохнуть. Когда же къ нему возвратились, то его не было уже въ живыхъ.

Глинка былъ сначала похороненъ въ Берлинѣ, на протестантскомъ кладбищѣ. На его похоронахъ присутствовали Мейерберъ, Рельштабъ, Денъ и нѣкоторые другія музыкальныя знаменитости Берлина, также нѣсколько русскихъ, успѣвшихъ узнать о почти неожиданной кончинѣ великаго русскаго художника. Но тѣло его не осталось въ чужой землѣ. Сестра Глинки, Л. И. Шестакова, окружившая послѣдніе годы жизни его попеченіями самой нѣжной материнской заботливости, исполнила долгъ святой братской любви и вмѣстѣ долгъ поклоненія генію своего брата, перевезя останки его изъ Берлина въ Петербургъ и возвративъ ихъ такимъ образомъ отечеству. Тѣло Глинки было привезено изъ-за границы, на пароходѣ, 22-го мая 1857 года. Въ Кронштадтѣ его встрѣтилъ нарочно для того назначенный пароходъ, перевезшій его до Петербурга, а черезъ два дня потомъ, 24-го мая, тѣло Глинки было погребено на кладбищѣ невскаго монастыря, вблизи могилъ Крылова, Гнѣдича, Баратынскаго, Карамзина, Жуковскаго.

Еще раньше того, вскорѣ по полученіи извѣстія о кончинѣ Глинки, въ придворной конюшенной церкви, была совершена панихида, причемъ пѣлъ хоръ придворныхъ пѣвчихъ, за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ находившихся подъ управленіемъ Глинки. 15-го же марта, на третьей недѣлѣ великаго поста, филармоническое общество дало, въ память



геніальнаго композитора, свосго члена, концертъ въ залѣ дворянскаго собранія. Программа концерта составлена была директоромъ общества, вмѣстѣ съ самыми близкими къ Глинкѣ людьми, принадлежавшими въ послѣднее время къ тому кружку, который онъ называлъ «своею компанією.» На этомъ музыкальномъ торжествѣ были исполнены, въ честь Глинки, самыя примѣчательныя произведенія его, во всѣхъ главныхъ родахъ. Въ концертной залѣ былъ поставленъ, на пѣдесталѣ изъ лиры, бюстъ Глинки, увѣнчанный лавровымъ вѣнкомъ.

Въ заключеніе остается сказать, что надъ могилою его поставленъ памятникъ, главная фигура котораго образована лирою посреди вьющихся орнаментовъ, надъ медаліономъ, который заключаетъ въ себѣ портретъ Глинки въ профиль. На памятникѣ изсѣчена изъ камня строчка нотъ: первые такты изъ великолѣпнаго эпизода *Жизни за Царя*: «Славься, славься, святая Русь!»

---

АЛЕКСѢЙ ЕГОРОВИЧЪ

ЕГОРОВЪ

(1765 — 1851).

Многіе помнятъ въ академіи художествъ, да и во всемъ околоткѣ академическомъ, небольшого ростомъ, но широкоплечаго, толстенькаго и еще очень бодрата старичка, который ежедневно прогуливался изъ академіи къ Исаакіевскому мосту, и изъ той же академіи къ Тучкову, попеременно, какаѣ-бы погода ни была. Та же неизмѣнная синяя шинель, или гаррикъ, какъ онъ самъ называлъ ее по старинному, съ сотнями воротничковъ, та же бѣлая пуховая шляпа, если было лѣто, или черная, если зима; но никогда не картузь, и та же тихая, мѣрная погодка, какъ бы маятника, который сошелъ съ часовъ прогуляться по набережной Невы. Что касается до погоды, то, для внимательнаго наблюдателя, этотъ старичекъ могъ съ точностію замѣнить барометръ. Если онъ выходилъ безъ зонтика, то иди смѣло, дождя не будетъ; но если съ зонтикомъ, да еще съ синимъ, — сиди дома, или одѣнься по осеннему, хоть бы ни тучки на небѣ, дождь всетаки будетъ и, того гляди, проливной.

Такимъ образомъ, старичекъ доходилъ, положимъ, хотя до угла Исаакіевского моста, гдѣ стоялъ квасникъ, торговавшій

тутъ съ незапамятныхъ временъ, и съ нимъ-то старичекъ за-  
водилъ рѣчь слѣдующаго содержанія:

— Что, любезный другъ, будетъ дождь, какъ ты думаешь?

— Будетъ, Алексѣй Егоровичъ.

— Ну, и я говорю, что будетъ, и, видишь, вышелъ съ зонтикомъ.

Квасникъ былъ дѣйствительно другъ Алексѣя Егоровича, а Алексѣй Егоровичъ былъ извѣстный нашъ художникъ *Его-  
ровъ*.

Есть люди, о которыхъ судьба всего менѣе заботится, въ первую минуту ихъ появленія на бѣлый свѣтъ. Ни день, ни годъ, ни мѣсто ихъ рожденія никѣмъ не записаны; гдѣ ужъ тутъ думать о томъ, шумно ли, съ громомъ ли встрѣчали бу-  
дущаго героя или генія, такъ ли же веселились и бражничали, какъ дѣлается это обыкновенно на крестинахъ, и кто были воспріемниками? Въ этомъ отношеніи, Егоровъ принадлежитъ именно къ числу тѣхъ, по колыбельной жизни которыхъ всего менѣе можно было бы сдѣлать заключеніе, какъ о ихъ при-  
званіи, такъ и о полномъ геніальномъ развитіи этого при-  
званія. Единственнымъ воспоминаніемъ его дѣтства былъ бо-  
гатый шелковый халатъ, красные шитые золотомъ сапоги и  
кибитка, въ которой везли его, даже неизвѣстно откуда — въ  
Петербургъ. Шелковый халатъ, шитые сапоги и татарскій об-  
ликъ красиваго мальчика, казалось бы, что тутъ общаго съ  
будущимъ замѣчательнымъ художникомъ русскимъ?

Вѣроятно, это событіе совершилось въ то время, когда ака-  
демія художествъ только что основалась, когда люди необра-  
зованные, думая — такъ говорятъ, по крайней мѣрѣ, люди па-  
мятливые, — что тамъ будутъ учить художеству, боялись отда-  
вать туда дѣтей своихъ. Въ слѣдствіе того, принуждены были  
воспитанниковъ для академіи отыскивать въ провинціяхъ, въ  
самыхъ отдаленныхъ краяхъ Россіи, и въ числѣ ихъ, неизвѣ-  
стно откуда, былъ привезенъ и Егоровъ. А воспитательный  
домъ, изъ котораго онъ поступилъ въ академію, въ 1782 г.,

августа 14-го, какъ значится въ его формулярѣ, — былъ для него только станціею въ храму Аполлона.

Въ академіи, Егоровъ росъ богатыремъ и искусства, и силы матеріальной. Послѣдняя дѣйствительно не уступала художественной. Въ послѣдствіи, уже въ Италіи, сила физическая не разъ спасала Егорова и не одинъ италіанецъ, вмѣстѣ съ своимъ кинжаломъ, вылеталъ въ его окно. Сила физическая свела и подружила, наконецъ, силача Лукина съ Егоровымъ — лучшая, кажется, рекомендація...

Егоровъ, какъ истинный талантъ, всего меньше любилъ говорить о своемъ талантѣ: мало того даже о томъ станкѣ, на которомъ работало его долотцо-самодѣльцо. Такова была его повадка. Не любилъ покойный ни знатоковъ, ни цѣнителей, не любилъ и толковать объ искусствахъ, или любилъ, да какъ-то изъ подтишка, въ одномъ словѣ, въ притчѣ и то не про всякаго. Егоровъ, какъ человекъ, отъ волосъ до мозга и отъ ногтей до сердца, былъ русскій. Въ молодости, его характеризовали физическая сила, молодечество, удалъ, красная рубаха, черная съ бѣлою полоскою балабайка, сулейка водки, вмѣсто вина сухарная вода на заливку, пѣсня заунывная или разгульная, смотря по расположенію дѣла; въ старости — разумная опытность, молчанка себѣ-на-умѣ, твердость желѣзная противъ всѣхъ гоненій и несчастій, и безукорное самодовольствіе стараго ямщика, который смотритъ въ окно на молодого, приговаривая: «ѣзжали и мы когда-то....»

Какъ художникъ, Егоровъ былъ человекъ глубоко проникнутый вѣрою и духовно-библейскимъ міромъ. Онъ не отъ другихъ зналъ, а самъ ощущалъ свое высокое призваніе, и видѣлъ въ немъ не просто призваніе художественное, а назначеніе свыше быть проводникомъ мысли, средствами, ему дарованными, и, въ каждомъ ударѣ своей кисти и карандаша, чаялъ хвалу Всевышнему. Набожный въ высочайшей степени, онъ не начиналъ ни одной картины иначе, какъ послѣ молитвы. Проникнутый своими сюжетами, онъ даже

во снѣ видѣлъ святыхъ изображенія Саваооа, Иисуса Христа, Божіей Матери и апостоловъ. На многихъ эскизахъ онъ самъ показывалъ, за тайну, внизу подпись слѣдующаго содержанія: «Такого-то числа, сію картину видѣлъ я во снѣ....» А что значать эти видѣнія, сны, какъ не свыше ниспосылаемыя вдохновенія въ душу, готовую принять ихъ?...

Въ дубраву ль мрачную вступаю,  
Все дышетъ тамъ дыханіемъ Твоимъ:  
Гудитъ ли гуль, журчитъ ли зыбь, внимаю,  
Тебѣ поетъ на арфѣ серафимъ.  
Но мигъ одинъ и улетѣлъ воздушный,  
За спневою далекою онъ исчезъ,  
И все безжизненно, бездушно —  
И вокругъ меня и въ глубинѣ небесъ.

А кто этотъ серафимъ, этотъ невѣдомый гость неба, какъ не вдохновеніе, преслѣдовавшее повсюду великаго художника и, по словамъ поэта, внушившее ему мысль и обликъ его божественной мадонны. Егоровъ писалъ и рисовалъ болѣею частію утромъ патоцахъ, и самый процессъ его художественной дѣятельности, самая его работа — была лишь продолженіемъ набожнаго ощущенія, высокой молитвы, или духовнаго восторга, въ могучихъ чертахъ карандаша или размахахъ кисти. Мѣшать ему, посѣщеніемъ мастерской, также было совѣстно, какъ бы мѣшать молиться. Разъ какъ-то онъ сдѣлалъ такой отзывъ объ одной знатной петербургской дамѣ, сильно блиставшей въ тридцатыхъ годахъ, при дворѣ и въ городѣ: «и молода, и хороша, и знатна, и богата, а теплоты нѣтъ, ходила бы смотрѣть восковыя вуэлы...» Или какъ бывало онъ гонялъ охотниковъ и охотницъ заказывать свои портреты: «убирайтесь отъ меня, какой я портретистъ, я пишу портреты, да не съ васъ... Ступайте къ Варнеку.» И дверь захлопывалась за посѣтителемъ. Или, иногда, на вопросъ: «дома ли Егоровъ?» онъ самъ высовывалъ голову и отвѣчалъ: «Егорова дома нѣтъ...»

Какъ художникъ-учитель, Егоровъ тоже имѣлъ свою особенность, по крайней мѣрѣ сравнительно съ его современниками. Онъ походилъ въ этомъ случаѣ болѣе на учителей школъ древнихъ: это былъ истинный учитель вѣка возрожденія, или первыхъ вѣковъ христіанства, какъ Пусень или Либапіусъ. Братство и дружба связывали его съ учениками, а съ тѣмъ вмѣстѣ какое-то патріархальное старѣйшинство окружало его. Ученикъ для Егорова былъ и сынъ, и другъ, и домочадецъ, которымъ онъ иногда безобидно распоряжался, какъ своимъ слугею. И не разъ раздавалось: «Миша поставь свѣчи въ подсвѣчники, вымой кисти, приготовь палитру!...» А, за обѣдомъ, Миша въ семьѣ, Миша съ нимъ, съ Мишею и дружеская бесѣда и умный толкъ о томъ, о другомъ, словомъ, о чемъ только могъ разговориться, въ добрый часъ, Алексѣй Егоровичъ Егоровъ. Способъ его ученія былъ, по большей части, указывать дѣломъ, но если ему случалось словомъ, то такимъ уже краткимъ, сжатымъ, синтетическимъ, что надъ значеніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ долго ломали голову. Какъ ни кратко говорилъ онъ, а поправлялъ еще вѣроче, и прежде чѣмъ какая нибудь фраза, присловье, поговорка, высказывались, академическая фигура была уже поправлена, а иногда заново вся обведена, да такъ, что и не ученики одни изумлялись.

Егоровъ училъ всякаго, въ комъ видѣлъ дарованіе. Пользуясь высокимъ счастіемъ быть учителемъ рисованія императрицы Елисаветы Алексѣевны, онъ въ то же время не отказывалъ въ совѣтахъ, въ урокахъ, людямъ самымъ бѣднымъ и невзысканнымъ. За то именно такъ и знали, любили и помнятъ Егорова. Удивительна была популярность Егорова, какъ въ Россіи, такъ и за границею. Въ бытность въ Италіи, онъ былъ извѣстенъ тамъ всѣмъ, отъ Кановы до послѣдняго траставеринца. Нынѣ онъ бьетъ карандашомъ Камучини, завтра вулакомъ десятокъ лазарони. Одинъ называетъ его великимъ русскимъ рисовальщикомъ, другой русскимъ медвѣдемъ. Всѣ

квартиры Рима были полны его геркулесовских подвиговъ, всѣ европейскіе альбомы его рисунковъ, изъ которыхъ за инныя онъ получалъ по сту червонныхъ, да зато ужъ и сорилъ онъ, въ свое время, пригоршнями. Не одна сила знакома привязывала къ нему итальянскихъ оборвышей, а щедрость, которая у него была въ крови, и даже въ возрастѣ зрѣломъ, здѣсь, въ Россіи, не всегда сдерживалась благоразуміемъ и расчетливостію. Нанимаетъ онъ бывало извозчика — торгуется, съѣлъ, поѣхалъ за двугривенный; пріѣхалъ — отдаетъ двугривенный, а цѣловый, или два на водку....

Онъ терпѣть не могъ курить сигаръ, а курилъ, потому только, что и табачному фабриканту ѣсть надобно... Таково было его убѣжденіе.

Вотъ перечень работъ Егорова, который былъ продиктованъ нѣкогда имъ самимъ:

«Сошествіе св. Духа, и Рождество Божіей Матери», въ Казанскомъ соборѣ; «Воскресеніе Христово», «Саваоѣ», въ преображенской церкви; «Спаситель», «Божія Матерь», «Александръ Невскій», «Праведная Елисавета», «св. мученица Екатерина», «Воздвиженіе честнаго креста», «царскія двери», «Архангелъ Гавріилъ», «Архангелъ Михаилъ», въ церкви таврическаго дворца; «Спаситель», «Божія Матерь», «Александръ Невскій», «Праведная Елисавета», «царскія двери», «Благовѣщеніе и Четыре евангелиста», въ церкви главной конюшенной; «Святая Троица», въ церкви бывшаго 2-го кадетскаго корпуса; «Спаситель», «Божія Матерь» и за престольный образъ, «Покровъ Божіей Матери», въ академіи художествъ; «Св. Троица», «Божія Матерь», «Архангелъ Гавріилъ», въ троицкомъ соборѣ; «св. Татьяна», въ церкви св. великомученицы Екатерины; «Скорбящая Божія Матерь», въ вознесенской церкви; «Спаситель», «Божія Матерь», въ сенатской церкви; «Воскресеніе Христово», «царскія двери, то есть, «Благовѣщеніе и Четыре евангелиста», «Архангелъ Гавріилъ и Архангелъ Михаилъ», въ петергофской церкви;

«Положеніе во Гробъ», въ церкви патріотическаго общества; «Александръ Невскій», «Константинъ Великій», въ церкви александровской мануфактуры; «Александръ Невскій», въ Красноярскѣ; «Спаситель», «Божія Матерь», «Двѣнадцать пророковъ», «Двѣнадцать апостоловъ», «Саваооъ», «Распятие», въ Царскомъ-Селѣ, въ дворцовой церкви; «Спаситель», «Божія Матерь», запрестольный образъ «св. Троицы», въ церкви александровскаго лица; «четыре барельефа, изображающіе благоденствіе міра», въ императорской комнатѣ царскосельскаго дворца; «Спаситель», «Божія Матерь», «св. Еватерина», «Преображеніе», «царскія двери» («Благовѣщеніе и Четыре евангелиста»), «Тайная вечеря», запрестольный образъ «Знаменіе Божіей Матери», «Александръ Невскій», «св. Спиридонъ», въ церкви бывшаго имѣнія графа Аракчеева; «Четыре евангелиста», въ Тифлисѣ; «св. Петръ», «св. Павелъ», «св. Дорофей», «св. Фролъ», «св. Лавръ», въ Новгородѣ; «Спаситель», «Божія Матерь», «царскія двери», въ церкви Полторацкой, въ Москвѣ; «Амуры, играющіе съ Сатиромъ», писанная для графа Бенкендорфа; «Воскресеніе Христово», для г. Масалова, въ Москвѣ; «Избіеніе младенцевъ», для г. Величко; «царскія двери», для князя Голицына; картина съ сюжетомъ, для котораго взятъ текстъ изъ св. писанія: «Смирися яко отроча, таковыхъ бо есть царствіе Божіе», для графа Каподистрія; «Купающаяся Вирсавія», для графа Милорадовича; «св. Андрей Апостоль», для графа Аравчеева; «Истязаніе Спасителя», «Симіонъ Богопріимецъ», «св. Іеронимъ», «Анна Пророчица», «Іоаннъ Креститель въ пустынь», въ академіи художествъ; «св. Семейство» и еще «св. Семейство», въ эрмитажѣ; картина на текстъ: «Таковыхъ бо есть царствіе Божіе», «св. Павелъ» и «св. Петръ въ темницѣ», для г. Кусова; «Образъ Михаила и Гавріила», «Воскресеніе Христа», «Моленіе о чашѣ», «Адамъ и Ева», «Обрученіе Іосифа», «Пророкъ Даніилъ во рвѣ львиномъ», Три граціи», «Аллегорія искусства», «Купающіяся Нимфы» и «Нимфа Аре-



туза», были въ мастерской покойнаго художника, но куда потомъ поступили неизвѣстно. Къ этому надо прибавить нѣсколько портретовъ и тысячи рисунковъ, хранившихся въ его портфеляхъ. Вотъ что сдѣлалъ Егоровъ своимъ карандашемъ и кистью, а еще болѣе сдѣлалъ вліяніемъ, совѣтами и наставительствомъ, составивъ эпоху исторической живописи, въ Россіи. Брюловъ, Басинъ, Завьяловъ, Марковъ, Шампинъ, Молдавскій и многіе другіе, были его учениками и каждый изъ нихъ былъ обязанъ ему.

Въ послѣднее время жизни, Егоровъ измѣнилъ кваснику и свелъ дружбу съ будочникомъ — тутъ же, у моста, и не проходило дня, чтобы изъ этой дружбы не выходило самой оргинальной шуточки. Довольно ужъ одного: представить себѣ Егорова, руки назадъ, растабарывающаго съ будочникомъ. У всякаго другаго, эта оригинальность была бы, можетъ быть, претензією, у Егорова — потребностью. Онъ любилъ толкаться въ черни, понималъ ее и умѣлъ толковать съ нею. Не чуждъ онъ былъ и другихъ круговъ общества; бывалъ и въ высшемъ, но смотрѣлъ на нихъ тоже по своему и сохраняя при этомъ всегда свою самобытность, самыя малѣйшія свои привычки. Зовутъ его обѣдать — онъ не прочь; но всетаки пообѣдаетъ прежде дома, а потомъ приодѣнется, расчешется, сядетъ въ наемную коляску и отправится къ графу Ш\*\*, къ княгини Г\*\* — куда угодно.

— Да чтожъ вы ничего не кушаете Алексѣй Егоровичъ?—  
«Я обѣдаю въ три, а теперь пять, такъ ужъ до завтра...»  
И просидитъ за обѣдомъ, ни до чего не дотрогиваясь.

Среди самой неутомимой дѣятельности художественной, его хватало на все, на самыя малѣйшія даже мелочи по домашнему хозяйству. Интересенъ чрезвычайно его дневникъ, который онъ велъ съ давнихъ временъ и куда записывалъ мельчайшія подробности своей жизни.

Послѣднія минуты жизни Егорова были страдальческія.

Крѣпкое тѣло не могло разстаться съ сильною душею. Впрочемъ, и въ послѣдніе дни, онъ все еще бодрствовалъ: какъ бы считая время, самъ заводилъ въ домѣ всѣ часы...

Послѣднее слово Егорова было: «догорѣла свѣча моя...»

Егоровъ умеръ 10-го сентября 1851 года.

---

## КАРЛЪ ПАВЛОВИЧЪ

# БРЮЛОВЪ

(1809 — 1852).

Въ 1860 году осенью, была обычная выставка въ академіи художествъ въ Петербургѣ, на Васильевскомъ острову. Главное вниманіе обратила здѣсь на себѣ несовершенно оконченная еще картина, изображающая осаду Пскова, принадлежащая кисти безсмертнаго русскаго живописца Карла Брюлова. Творецъ, какъ этой картины, такъ и многихъ другихъ, столь же гениальныхъ произведеній, Карлъ Павловичъ Брюловъ родился, въ 1809 году, въ Петербургѣ.

Въ молодости онъ не могъ вставать съ постели, одержимый сильною золотухою. Позже, по выздоровленіи, строгій отецъ Брюлова, какъ бы предчувствуя всю силу необыкновеннаго таланта въ своемъ сынѣ, болѣе и болѣе налегаль на развитіе въ немъ умѣнія рисовать, и пока малютка Карлъ не нарисуетъ условленнаго числа людей и лошадокъ, то ему не давали завтракать. Окруженный съ малыхъ лѣтъ художественными произведеніями, — отецъ его былъ художникъ не изъ дюжинныхъ, — и одолевая каждодневно, при настойчивости родителя, механизмъ, столь необходимый въ искусствѣ, онъ образовалъ такимъ образомъ изъ себя будущаго создателя картины *Послѣдній день Помпеи*.

До семи лѣтъ, Карлъ былъ слабымъ и больнымъ ребенкомъ, который почти постоянно лежалъ въ постели, но, лежа въ постели, будущій великій художникъ чертилъ грифелемъ на аспидной доскѣ все, что только представлялось его воспримчивымъ, быстрымъ глазамъ, его уже тогда сильному воображенію. По праздникамъ, когда только позволяло здоровье слабого мальчика, его возили съ братьями къ роднымъ на Пески. Его обыкновенно закутывали, какъ можно теплѣе, и клали внизъ саней подъ полость; но однако и чрезъ эту преграду ребенокъ успѣвалъ замѣчать, чрезъ какое нибудь маленькое отверстіе, всѣ предметы, на пути поражавшіе его дѣтское вниманіе, и едва пріѣзжали на мѣсто, не давая времени себя раздѣть, онъ спрашивалъ бумаги, карандашъ и принимался чертить прохожихъ, дома, вывѣски. Однажды, скучая въ гостяхъ, онъ, отъ бездѣлья, нарисовалъ комнату со всѣми ея принадлежностями, и подписалъ: «Вотъ какъ скучно!»

Поступивъ на одиннадцатомъ году въ академію, Брюловъ, въ отношеніи къ товарищамъ, оказался крайне капризнымъ, причиною чего могла быть тонкая, чувствительная, еще не окрѣпшая натура мальчика. Успѣхами своими, онъ далеко оставлялъ за собою не только сверстниковъ, но и старшихъ себя. Уже и въ ту пору онъ былъ предметомъ зависти и вѣчной ея спутницы клеветы, да и во всю его жизнь зависть и клевета не дремали, имѣя девизомъ: «онъ выше насъ; это нестерпимо; будемъ бросать въ него грязью.»

Въ той же самой академіи, въ стѣнахъ которой Брюловъ получилъ свое художественное, учебное образованіе, столь широко развитое его гениемъ, въ послѣдствіи онъ былъ профессоромъ, и въ этомъ званіи онъ оказалъ огромную услугу новому поколѣнію русскихъ художниковъ, произведя въ учебной живописи огромный переворотъ. Дѣло въ томъ, что, конечно, и до профессорства Брюлова, подъ карандашемъ и кистью Угрюмова, Лосенки, Егорова и Шебуева, рисунокъ въ нашей академіи сталъ на высокую степень античнаго изящества и

утонченности; но въ послѣдствіи менѣе даровитые художники довели эту античность въ рисунокѣ до крайней сухости и одревенѣлости: изученіе антиковъ совершенно поглощало изученіе красотъ въ живомъ тѣлѣ; между рисовальщикомъ и натурщикомъ, какъ бы невидимо и постоянно, помѣщался всегда древній Антиной или Геркулесь, смотря по возрасту натурщика. Извѣстный портретистъ Варнекъ и профессоръ Басинъ первые внушили учащимся обратить все вниманіе на близкое копированіе природы; но приверженцы безжизненно-античнаго рисунка еще составляли въ то время большинство. Профессоръ Бруни, по возвращеніи своемъ изъ Италіи, также началъ преслѣдовать жесткость и истуванность рисунка, въ которомъ жизнь была подавлена заученными и принятыми формами. Въ то время нѣкоторые изъ рисовальщиковъ колебались, и, рисуя съ природы, въ то же время, не рѣшались вдругъ разстаться съ своими заученными приемами; но пріѣздъ Брюлова изъ Италіи положилъ конецъ всѣмъ умничаньямъ и идеализаціямъ; по мнѣнію великаго живописца, слѣдовало изучать исключительно всю разнообразную прелесть самой природы.

— «Рисуйте антику въ античной галереѣ», — говаривалъ Брюловъ, — «это такъ же необходимо, какъ соль въ пиццѣ; въ натурномъ классѣ старайтесь передавать живое тѣло; оно такъ прекрасно, что только умѣйте постичь его; да и не вамъ еще поправлять его; здѣсь изучайте природу, которая у васъ предъ глазами, и старайтесь понять и прочувствовать всѣ ея оттѣнки и особенности.» Такъ силою слова и собственными примѣрами, Брюловъ снялъ повязку съ глазъ всѣхъ рисовальщиковъ академіи, преданныхъ до того заученнымъ античнымъ формамъ, которыя совершенно загоразивали отъ учащихся исходъ красоты самыхъ антикъ — природу. Въ этомъ случаѣ вліяніе Брюлова было сильно и рѣшительно, и уже никто не могъ не сознать указанной имъ художественной

истины. При немъ натуральный классъ ожилъ, и обновился, къ новой чести русской школы.

На сколько уважалъ Карлъ Павловичъ произведенія древняго рѣзца, это знаютъ лучше другихъ скульпторы, отъ которыхъ, при производствѣ статуй, онъ спрашивалъ уже не одной точности этюда натурнаго класса, но требовалъ всей правильности, строгости и чистоты античнаго рисунка.

Вліяніе его не ограничилось однимъ натурнымъ классомъ; живопись не только историческая, портретная, но и ландшафтная, и перспективная, и акварельная, воскресли и оживились съ его появленіемъ; онъ самъ далъ всему живые образцы, въ своихъ картинахъ, и тѣмъ рѣшительно уничтожилъ бывшую до него условную, принятую живопись, отъ которой до него очень немногіе отступали. Правда, что явились слѣпые подражатели живописи Брюлова; но большинство дарованій лишь разумно прозрѣло и пошло по указанному необыкновеннымъ художникомъ пути къ правдѣ и истинѣ. Тоже можно сказать и о сочиненіи эскизовъ и картинъ ученическихъ, на которые Брюловъ также обращалъ свое особенное вниманіе и выяснялъ наиболѣе отвлеченныя требованія и условія искусства самымъ нагляднымъ образомъ. Отъ учениковъ онъ постоянно требовалъ, чтобы они, въ свободное время и на прогулкахъ, заносили въ свои альбомы все, обращающее на себя вниманіе, живописностію, или представляющее трудную задачу для рисунка.

Прежде бывало академія открывала свои залы для посѣтителей, только чрезъ каждое трехлѣтіе, а въ большіе промежутки, между трехгодичными выставками, двери академическихъ галерей ржавѣли на своихъ петляхъ. Въ то время, публика, извѣщенная объявленіемъ въ газетахъ объ открытіи выставки, устремлялась въ академію, насладиться новыми трудами русскихъ художниковъ, такъ что парадный входъ академіи, въ хорошую и въ дурную погоду, постоянно вмѣщалъ въ себѣ многочисленныя толпы любопытныхъ. Въ домахъ, при

встрѣчахъ на улицахъ, въ кондитерскихъ, повсюду только и было разговоръ о выставкѣ. Но, по окончаніи выставки, публика, увлеченная другими интересами, оставляла свои художественные толки, и, до слѣдующей выставки, уже не возвращалась къ нимъ. Съ закрытіемъ выставки, академія художествъ какъ бы совершенно умирала для публики, и ея огромное прекрасное зданіе какъ бы переставало существовать для петербургскихъ жителей. Въ продолженіе каждаго трехлѣтія, рѣдко кто заглядывалъ въ залы академіи, несмотря на то, что тамъ постоянно было чѣмъ полюбоваться. Единственными посѣтителями залъ, въ то время, бывали заѣзжіе иностранцы, ученые и путешественники.

Кому же обязаны и публика, и академія обоюднымъ ознаменіемъ? Кто виновникъ ихъ сближенія? Карлъ Брюловъ! Въ 1847 году, Брюловъ былъ въ Петербургѣ, и никого не впускалъ въ свою мастерскую, гдѣ, въ тишинѣ, создавалъ небо съ его святыми, для плафона Исаакіевского собора. Здѣсь то, бывший профессоръ Брюлова, гениальный А. Е. Егоровъ, сказалъ ему: «Батюшка, Карлъ Павловичъ, каждый мазокъ твоей кисти — хвала Богу!» Алексѣй Егоровичъ постоянно говорилъ такимъ выразительнымъ образомъ, и, въ этомъ случаѣ, онъ не могъ лучше опредѣлить высшаго дара художника. Картина *Послѣдній день Помпеи*, созданная Брюловымъ подъ небомъ Италіи, во всемірной художнической мастерской, среди знаменитѣйшихъ памятниковъ искусства, — картина, которая прославила Брюлова, принесла ему рукоплесканія Европы, наполнила газеты и журналы своими описаніями, возбудила попытки создать, по этимъ описаніямъ, очерки, довела до крайней точки нетерпѣніе русской публики увидѣть ее у себя, — эта картина, появленіемъ своимъ въ Петербургѣ, распахнула всѣ двери галерей въ академіи художествъ, — и вотъ начало сближенія нашей публики съ художественнымъ міромъ, вотъ европейское посѣщеніе музеумовъ, вотъ новая заслуга гения!

Толпа посѣтителей, можно сказать, врывается въ залы

академіи, чтобы взглянуть на *Помпею*. Эта картина нужна была для нашей публики. Это произведеніе Брюлова пробу- дило еще дремавшую для искусствъ публику, бѣльшая часть которой, до той поры, посѣщала академію лишь по пригла- шенію газетъ, или входила въ нее потому, что видѣла боль- шой сѣздъ экипажей у ся парадныхъ воротъ. Но какъ только появилась картина *Помпеи*, ослѣпленная публика сперва изумилась этому необыкновенному произведенію живописи, а потомъ, проходя удивленными глазами чрезъ всѣ части кар- тины, которыя такъ рѣзко выдавались, одушевилась пролитомъ въ нихъ жизни; очарованная оптическимъ обманомъ зрѣнія, она какъ бы выразумѣла всю прелесть и увлекательность искусства, и, спуская глаза съ «*Послѣдняго дня Помпеи*», невольно переносила свой взглядъ на другія картины, висѣв- шія по стѣнамъ той же залы. Въ послѣдствіи подстревнутое любопытство посѣтителей стало уже стучаться въ двери про- чихъ залъ, гдѣ начали обращать на себя постоянное внима- ніе зрителей, и копіи съ фрескъ Рафаэля, и ряды безмолв- ныхъ, но много говорящихъ, статуй; а проходившіе по за- ламъ Бальбуса и Библіотеки, съ большею уже внимательностію вглядывались въ плафоны Шебуева и Басина. Наконецъ посѣ- щенія публики такъ участились, что академическое правленіе, желая соблюсти порядокъ, который не прерывалъ бы занятій учениковъ въ залахъ, вынуждено было опредѣлить одинъ день въ недѣлѣ, именно воскресенье, когда открывались двери га- лерей для всѣхъ посѣтителей. Вотъ блистательный триумфъ высокаго таланта! Онъ одинъ можетъ дарить публику такимъ прозрѣніемъ, и увлекать ее за собою къ изящному.

Брюловъ такъ сочувствовалъ красотѣ и всему прекрасному, какъ не сочувствуетъ иногда много развитыхъ личностей, взя- тыхъ вмѣстѣ. При такихъ условіяхъ его духовнаго склада, объясняется и весь избытокъ его фантазіи, которая не знала предѣловъ, и, безъ сомнѣнія, не могла примириться съ дѣй- ствительностію, что и было поводомъ къ его своеобразной



живни. Работая на лѣсахъ, въ куполѣ Исаакіевскаго собора, Брюловъ говорилъ: «миѣ тѣсно! я теперь расписалъ бы небо!» Изумленные ученики, спросили его: — «гдѣ жъ бы вы набрали сюжетовъ?» — «Я изобразилъ бы на немъ всѣ религіи народовъ, которыя существовали отъ сотворенія міра, и торжество надъ всѣми христіанской.»

Въ минуты восторженности, которыми можно считать почти всю жизнь великаго художника, онъ не забывалъ Того, высоее подобіе котораго онъ представлялъ на землѣ. Въ эти счастливыя ничѣмъ неоцѣнимыя минуты творчества, Брюловъ говорилъ: «За что я такъ счастливъ? За что такъ милостивъ ко миѣ Богъ?»

При высшемъ дарованіи отъ Бога, Брюловъ, съ юношескихъ лѣтъ, со всею страстію и любознательностію, отдавался чтенію, и пристрастился къ нему и ближайшихъ своихъ соотарищей. Страсть къ чтенію, въ слѣдствіе желанія ознакомиться съ исторіею челоѣчества и съ поэтическими положеніями необычайныхъ людей и героев, развивалась въ немъ, вмѣстѣ съ развитіемъ его необыкновенной воспріимчивости и вообще тонкихъ способностей, быстро соображенія и еще быстрѣйшей фантазіи. Чтеніе Вальтеръ - Скота, Шиллера, Шекспира, Державина, Пушкина, наконецъ историческихъ авторовъ, каковы Гольдсмитъ, Ранке, Нибуръ, и другіе, составляли его наслажденіе, и въ нихъ онъ почерпалъ новыя освѣжительныя силы къ созданію. По возвращеніи изъ чужихъ краевъ, часто, лежа въ постелѣ, въ глубокую ночь, — Брюловъ останавливалъ читавшаго ему ученика и объяснялъ ему красоты сочиненія. Жажда познаній въ немъ равнялась силѣ самаго творчества.

Нельзя забыть, какъ этотъ художникъ, уже завладѣвшій европейскою славою, занималъ скромное мѣсто на скамьѣ, между студентами Петербургскаго университета, съ какою ученическою внимательностію слушалъ онъ лекціи исторіи развитія и сравнительной анатоміи, у профессора С. С. Ку-

торги. Знавшіе коротко Брюлова помнятъ тѣ ночи, которыя Карль Павловичъ, по приглашенію одного молодаго астронома, проводилъ на обсерваторіи, въ зданіи академіи наукъ, на берегу Невы. Надо было видѣть, въ какомъ восторгѣ былъ нашъ славный художникъ, когда въ трубу усмотрѣлъ Сатурна, съ его кольцомъ, проходившаго черезъ меридіанъ. Благоговѣніе его предъ дивнымъ построеніемъ вселенной и предъ ея Создателемъ высказывалось какъ-то особенно краснорѣчиво. Окружавшіе молчали: говорилъ о законахъ построения міра одинъ Брюловъ; и говорилъ такъ, что и молодой астрономъ заслушался. Еще въ Болоньѣ, Брюловъ бесѣдовалъ съ астрономами, и такимъ образомъ изучалъ науки о свѣтилахъ.

Какъ часто Брюловъ бралъ въ руки кисть и карандашъ, такъ рѣдко принимался за перо; онъ считалъ наказаніемъ себѣ написать даже нѣсколько строкъ въ короткому знакомому; говорилъ же онъ такъ своеобразно, такъ увлекательно, особенно, когда рѣчь касалась искусства, что и глубокіе мыслители, и ученые, и поэты, и опытнѣйшіе художники, обращались въ слухъ и вниманіе. Логика его была ясна и чиста, и потому не удивительно, что всегда свѣтлая мысль его, облеченная въ высшія поэтическія формы, привлекала и порождала въ немъ самомъ, да и въ другихъ, новыя вереницы блестящихъ и счастливыхъ идей. Говорилъ онъ быстро и одушевленно: глаза его, заключенные глубоко въ своихъ впадинахъ, въ минуты его разговора, загорались особеннымъ огнемъ; прекрасно округленное и благородное чело обличало его геніальную породу, а игра фізіономіи не дала бы въ эти минуты возможности снять съ него портрета и лучшему портретисту.

Когда Брюловъ отдавался всею душою своимъ занятіямъ, тогда онъ забывалъ все, окружавшее его и часто налагалъ на себя постъ. Кисть его едва поспѣвала за плодовитостію его фантазіи; въ головѣ этого художника образы добродѣтели и

порока безпрестанно смѣнялись одинъ другимъ; историческія событія мгновенно разрастались въ самыхъ яркихъ краскахъ, въ страшныхъ объемахъ, и, со всѣми разнообразными оттѣнками, рисовались его воображенію. Какъ всѣ высшія поэтическія натуры, Брюловъ былъ чувствителенъ, впечатлителенъ и раздражителенъ до крайности. Совѣтъ его или замѣчаніе ученику, высказанныя всегда чрезвычайно мѣтко и сильно, глубоко залегали въ памяти юнаго художника, и передавались отъ одного другому а потому неудивительно, если, при столкновеніи съ безтолковымъ ученикомъ, знаменитый профессоръ выходилъ изъ себя и, по своей страстной энергической натурѣ, дарилъ его рѣзкими эпитетами. Противорѣчій онъ не любилъ, и, въ случаѣ упорства со стороны молодаго художника за свою идею, легко переходилъ къ худо скрываемому гнѣву и ѣдкимъ насмѣшкамъ; но, по природѣ своей, Брюловъ былъ добръ, и всегда былъ готовъ помочь совѣтомъ развивающемуся дарованію. Онъ былъ постоянно окруженъ, то одною то другою группою молодыхъ художниковъ, и, какъ самъ сознавался, предпочиталъ бесѣду съ молодежью бесѣдѣ стариковской. Чего онъ только не переговаривалъ объ искусствѣ, чего онъ не разъяснилъ имъ, въ этихъ незабвенныхъ бесѣдахъ, послѣ которыхъ взглядъ каждаго изъ слушавшихъ свѣтлѣлъ и желаніе создавать тѣснило грудь!

Первоначальныя попытки Брюлова въ живописи были слѣдующія. Первая программа, *Нарцисъ*, написанная имъ, въ настоящій ростъ, и находящаяся нынѣ въ академіи, какъ памятникъ геніальныхъ начатковъ бессмертнаго художника, обратила на себя общее вниманіе академіи. Старшій профессоръ и наставникъ Брюлова, Андрей Ивановичъ Ивановъ, не очень богатый, хотѣлъ приобрести эту программу на собственные деньги. Программа, за которую Брюловъ получилъ большую золотую медаль, имѣла сюжетомъ: *Авраамъ угощаетъ трехъ Ангеловъ*. Она также находится въ акаде-

ми, и изобличает мастера своего дѣла уже и въ то время. А каково было изученіе, каково была строгость къ самому себѣ, какова была самотребовательность со стороны Брюлова? По свидѣтельству К. П. Рабуса, товарища знаменитаго живописца и работавшаго рядомъ съ его кабинетомъ, программа, *Авраамъ и три Ангела*, передѣлывалась до восьми разъ, чему нельзя не вѣрить, взглянувъ только, какой слой красокъ покрываетъ холстъ этой картины. Брюловъ былъ отправленъ въ Италію на счетъ общества поощренія художниковъ. Тамъ-то, лицомъ къ лицу съ Рафаэлемъ\*), Микель Анджело, Перуджино, Леонардо-да-Винчи, и другими свѣтлыми искусства, геній Брюлова быстро раскинулъ крылья и божественный лучъ вполнѣ просіявшаго творчества опалилъ все существо избранника. Изъ числа работъ, произведенныхъ Брюловымъ въ Италіи, кто изъ любителей не знаетъ итальянскаго *Утра и Полдня!* Кто не вспомнитъ очаровательной картины, изображающей *Дѣтей графа Виттенштейна, съ нянею — италянкою?* Картина увлекательной красоты: *Вирсавія, вступающая, съ помощію прислужницы своей, арабки, въ ванну*, въ минуту недовольства художника своимъ трудомъ, была порвана пущенымъ въ нее сапогомъ. А сколько портретовъ, этюдовъ, акварелей, рисунковъ, картинокъ масляными красками? Изъ числа послѣднихъ двѣ, полныя простоты и граціи, принадлежатъ г. Самарину, и находятся въ Москвѣ. Кто не видалъ — *Послѣдняго дня Помпеи*, тотъ конечно слыхалъ, или читалъ объ этой картинѣ. Здѣсь невозможно описать эту картину подробно; но приведемъ мнѣніе о ней знатоковъ дѣла, римскихъ художниковъ-артистовъ, повѣствующихъ о ея происхожденіи. Извѣстный римскій историческій живописецъ Каммучини, бывшій старше Брюлова, и пользовавшійся общимъ уваженіемъ художниковъ и публики,

---

\*) Говора о Рафаэлѣ, Брюловъ выражался такъ: «Этотъ человекъ ходилъ не по землѣ.»

въ разговорахъ, относился о послѣднемъ очень небрежно, говоря, что этотъ русскій живописецъ способенъ только на маленькія вещи. Когда до слуха Брюлова коснулся такой отзывъ, имъ немедленно была нанята огромная мастерская, въ улицѣ св. Клавдія. Еще за пять лѣтъ до того, въ головѣ Брюлова, зародилась мысль *Послѣдняго дня Помпеи* и когда, спустя одиннадцать мѣсяцевъ, по Риму разнеслась вѣсть о новомъ чудѣ искусства, совершившемся въ улицѣ св. Клавдія, Каммучини, при встрѣчѣ съ Брюловымъ на улицѣ, просилъ его показать картину, о которой, говорилъ италіанецъ, «такъ много всюду кричать.» Брюловъ отвѣчалъ старому живописцу, что не стоитъ ему затруднять себя заходить къ нему въ мастерскую, потому что тамъ вещь маленькая. Такимъ образомъ Каммучини не попалъ въ студию Брюлова, и впервые увидѣлъ *Послѣдній день Помпеи* на публичной выставкѣ.

Извѣстно, что Вальтеръ - Скотъ, увидѣвъ эту картину, назвалъ ее эпопеею. По этому поводу самъ Брюловъ говорилъ не разъ: «Вотъ у меня такъ былъ посѣтитель, — это Вальтеръ-Скотъ: просидѣлъ все утро передъ картиною; весь смыслъ, всю подноготную пронибъ.»

Парижская академія почтила Брюлова почетною золотою медалію.

Послѣ чествованій Европы, Брюловъ, чрезъ Одессу, гдѣ князь Воронцовъ встрѣтилъ его пышнымъ обѣдомъ, возвратился въ Россію. Въ 1835 году, декабря 26-го, Брюловъ приѣхалъ въ Мосѣву и остановился, на Тверской, въ домѣ, бывшемъ Чашникова. По приѣздѣ, онъ тотчасъ отправился къ товарищу своему по академіи П. Т. Дурнову; а Алексѣй Алексѣевичъ Перовскій, извѣстный въ русской литературѣ подъ псевдонимомъ Антонія Погорѣльскаго, узнавъ о прибытіи знаменитаго художника, самъ перевезъ чемоданъ Брюлова, безъ вѣдома послѣдняго, на свою квартиру, въ домѣ Олсуфьева, на Тверской. Здѣсь онъ написалъ портретъ радушнаго хозяина, у котораго согласился остаться на житье; здѣсь же

онъ сдѣлалъ портретъ молодаго графа Толстаго, въ охотничьемъ платьѣ, съ собакою. Оба эти портрета превосходны, и неудивительно, потому что Брюловъ самъ сознавался, что у него «уже пять мѣсяцевъ не было висти въ рукѣ». «Наконецъ я дорвался до палитры,» говорилъ онъ, потирая руки, и вскорѣ написалъ эскизъ: *Нашествіе Гензерика на Римъ*, о которомъ видѣвшіе его отзываются съ восторгомъ, а когда А. С. Пушкинъ, посѣтивъ Брюлова, замѣтилъ ему, что картина, произведенная по этому эскизу, можетъ стать выше *Послѣдняго дня Помпеи*, то онъ отвѣтилъ: «Сдѣлаю выше Помпеи!...» Потомъ онъ нарисовалъ эскизъ *Взятіе Божіей Матери на небо*, карандашемъ, въ подарокъ графу Толстому; а другой эскизъ, съ тѣмъ же сюжетомъ, написалъ красками для А. А. Перовскаго. Еще написалъ для послѣдняго гадающую *Свѣтлану*.

Приводимъ слова Брюлова, относящіяся до его изученія образцовъ искусства и до вѣка, въ которомъ онъ жилъ. «Да, говорилъ онъ, нужно было ихъ всѣхъ прослѣдить, запомнить все ихъ хорошее и откинуть все дурное; надо было много вынести на плечахъ; надо было пережить 400 лѣтъ успѣховъ живописи, дабы создать что нибудь достойное нынѣшняго требовательнаго вѣка. Для написанія *Помпеи*, мнѣ еще мало было таланта, мнѣ нужно было пристально взглядѣться въ великихъ мастеровъ.»

Въ Москвѣ постоянно Брюлова окружали художники и любители; но Алексѣй Алексѣевичъ Перовскій, движимый рвеніемъ отстранить все то, что могло бы помѣшать занятіямъ художника, приказалъ отказывать всѣмъ близкимъ. Когда Брюловъ узналъ объ этомъ, то въ ту же минуту, не думавши захватить съ собою чемодановъ, ни даже бѣлья, пріѣхалъ въ Маковскому, жившему въ Кремлѣ, и прожилъ у него двѣ недѣли. Въ это время онъ дѣлалъ ежедневно прогулки по Кремлю, отъ котораго былъ въ восхищеніи. Впечатлѣніе, произведенное на него Успенскимъ соборомъ, онъ находилъ

сроднымъ съ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое поразило его, при первомъ взглядѣ на церковь св. Марка, въ Венеціи. «Эта масса, древность, мрачность, имѣютъ много общаго.» Онъ любовался оригинальною архитектурою теремовъ, и желалъ одного, чтобы ихъ водосточныя трубы были замѣнены драконами. Сверхъ того онъ ѣздилъ на Воробьевы горы, гдѣ былъ пораженъ видомъ Москвы, и ѣздилъ также въ Архангельское, картинною галерею котораго остался не доволенъ, напавши особенно на Давида, и на всю его сухую и безжизненную школу. Тутъ же, при воспоминаніи о живописи Рубенса, онъ говорилъ, что этотъ художникъ опрокинулъ всѣ академіи и слѣдовалъ внушенію своего генія. Живя у г. Маковского, онъ сильно страдалъ лихорадкою и головною болью, отъ которой вылечилъ его докторъ Шереметевскій, отказавшійся отъ всякаго вознагражденія. Брюловъ нарисовалъ его портретъ карандашемъ; тогда же онъ нарисовалъ карандашемъ портретъ г-жи Маковской; началъ также портретъ ея масляными красками, а когда увидѣлъ старика архитектора Таманскаго, то, сказавъ хозяину дома: «важется это хорошій человѣкъ,» нарисовалъ и его портретъ чернымъ карандашемъ. Въ это время московскій богачъ покойникъ Мосаловъ, обладавшій небольшою, но прекрасною галерею, присылалъ къ Брюлову, съ предложеніемъ сдѣлать альбомный рисунокъ за 4,000 р. асс.; но художникъ наотрѣвъ отказалъ, говоря: «Я теперь за деньги не работаю, а работаю даромъ для моихъ московскихъ друзей.» Часто бывая у Дурнова, онъ написалъ извѣстный московской публикѣ портретъ жены его; тамъ же онъ сдѣлалъ пять портретовъ, карандашемъ и красками, съ самого Дурнова и его родственницъ. Обладая удивительною способностію подмѣчать смѣшныя стороны людей, К. П. Брюловъ не пощадилъ и окружающихъ его, сказавъ имъ: «Да ужъ такія сдѣлаю карикатуры, что жены отъ васъ откажутся.»

Извѣстный скульпторъ Витали много хлопоталъ, чтобы

сдѣлать бюстъ Брюлова; но послѣдній отзывался тѣмъ, что сидѣть не можетъ. Однако Витали добился своего, и чтобы развлечь Брюлова, во время сеансовъ, ему читали книги. Съ этой поры Брюловъ поселился у Витали, который наконецъ взялъ чемоданъ художника отъ Перовскаго. Здѣсь Пушкинъ предлагалъ Брюлову сюжетъ изъ жизни Петра Великаго; но Брюловъ объяснилъ ему имъ самимъ избранный сюжетъ изъ жизни великаго монарха, и изложилъ такъ, что, по свидѣтельству Маковского, написалъ картину словами. Пушкинъ былъ пораженъ огненною рѣчью художника. При дальнѣйшемъ разговорѣ этихъ двухъ бессмертныхъ людей, А. С. Пушкинъ говорилъ К. П. Брюлову: «У меня, братъ, такая красавица-жена, что будешь стоять на колѣняхъ, и просить снять съ нее портретъ!»

Въ то же время, какъ Витали дѣлалъ бюстъ, Дурновъ рисовалъ портретъ Брюлова: «Похожъ-то, похожъ, замѣтилъ послѣдній, но карикатуренъ! Такіе портреты доступны всѣмъ дюжиннымъ живописцамъ и иногда даже дѣтямъ; но удержать лучшее лица и облагодарить его — вотъ настоящее дѣло портретиста!»

Разъ какъ-то Дурновъ хотѣлъ пошутить надъ Брюловымъ, и, указывая на посредственную живопись, сказалъ: «А вѣдъ тутъ много брюловскаго стиля?» — «Нѣтъ, отвѣтилъ Брюловъ, тутъ, Ваня, много Дурнова!»

Художникъ В. А. Тропининъ, всматриваясь въ красивую, оригинальную голову гениальнаго художника, пожелалъ написать его портретъ, и, воспользовавшись тремя сеансами, сопровождавшимися чтеніемъ, сдѣлалъ превосходный портретъ Брюлова, лучшій изъ существующихъ нынѣ.

Вечера, проведенные Брюловымъ въ домѣ Витали, были постоянно посвящены чертежамъ и разсматриванію коллекціи эстамповъ, принадлежавшей Иванчину-Писареву, который нарочно привозилъ ихъ. Онъ собиралъ сорокъ лѣтъ эту коллекцію и былъ знатокомъ въ эстампахъ; но когда Брюловъ



началъ разяснять ихъ достоинства и недостатки, то Иванчинъ-Писаревъ стоялъ передъ нимъ, какъ бы школьникомъ, внимательно выслушивая урокъ учителя. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, кто-то привезъ только что вышедшаго изъ печати *Ревизора*, Гоголя. Когда онъ былъ прочтенъ, Брюловъ, вѣ себя отъ восторга, сказалъ: «Вотъ она, истинная натура!» и самъ началъ читать комедію въ слухъ, говоря за каждое лицо особеннымъ голосомъ. Весь этотъ вечеръ былъ посвященъ Брюловымъ *Ревизору*, Гоголя.

Прогуливаясь съ своими московскими друзьями, на святой, подъ Новинскимъ, Брюловъ увидѣлъ на балаганѣ выѣску: *Панорама Послѣдняго дня Помпеи*, а внизу было выставлено имя содержательницы балагана, мадамъ Дюше. «Войдемте», сказалъ онъ, это любопытно. «Чудо!» вскричалъ онъ, увидѣвъ грубѣйшую карикатуру на свое произведеніе. Всѣ, окружавшіе его, съ нимъ вмѣстѣ поватились со смѣху. При выходѣ изъ балагана, Брюловъ замѣтилъ обладательницѣ панорамы, сидѣвшей при продажѣ билетовъ: «Нѣтъ, мадамъ Дюше, у тебя Помпея никуда не годится!» — «Извините,» отвѣтила обиженная мадамъ, «самъ художникъ Брюловъ былъ у меня, и сказалъ, что у меня освѣщенія больше, нежели у него.»

Москва, въ лицѣ художниковъ, ученыхъ и любителей искусства, чествовала великаго художника хлѣбомъ-солью. Великолѣпный обѣдъ былъ данъ въ только-что учреждавшемся въ то время художественномъ классѣ, помѣщавшемся въ бывшемъ домѣ Долгорукова, на Никитской. Любимый Москово пѣвецъ Лавровъ привѣтствовалъ славнаго гостя куплетами, сочиненными на этотъ случай. Обильный и веселый обѣдъ ознаменовался, по просьбѣ Брюлова, увольненіемъ двухъ учениковъ художественнаго класса изъ крѣпостнаго состоянія. Одинъ изъ этихъ учениковъ, Липинъ, въ послѣдствіи былъ вызванъ Брюловымъ въ Петербургъ. «Пришлите моего сынишку,» писалъ онъ въ Москву о Липинѣ.

Тогдашній градоначальникъ Москвы, князь Д. В. Голи-

цынъ, умѣвшій глубоко уважать и цѣнить дарованія и таланты, два раза посѣтилъ Брюлова, и подалъ мысль, вмѣстѣ съ московскимъ архитекторомъ М. Д. Быковскимъ, и другими почитателями таланта Брюлова, заказать ему картину Москвы 1812 г. «Я такъ полюбилъ Москву, говорилъ Брюловъ, что напишу ее, при восхожденіи солнца и изображу возвращеніе ея жителей на разоренное врагами пепелище.» Москвичи помнятъ, какъ онъ хлопоталъ собрать матеріалы для этой картины, которая, къ общему сожалѣнію, не осуществилась.

Брюловъ горячо полюбилъ Москву. Стоя на колокольнѣ Ивана Великаго, онъ, словесно, силою воображенія, рисовалъ десятки яркихъ историческихъ картинъ: и чудился ему Самозванецъ, идущій на Москву съ своими буйными дружинами; то проходилъ въ его воображеніи встревоженный Годуновъ; то доносились до него крики стрѣльцовъ, и посреди ихъ голось боярина Артамона Матвѣева; то неслись въ воздухѣ на коняхъ Дмитрій Донской и князь Пожарскій; то рисовалась оволо соборовъ тѣнь Наполеона. «Я не кончилъ портрета вашей жены», говорилъ онъ Маковскому, «чтобы имѣть случай возвратиться въ златоглавую. Славно въ Москвѣ! И еслибы мнѣ пришлось помѣститься на хлѣбахъ, то пошелъ бы къ В. А. Тропинину. Не люблю я этихъ званныхъ обѣдовъ; на нихъ меня показываютъ, какъ звѣря. По моему, лучше щей горшковъ, да каша; за то дома, между друзьями.» Съ такимъ взглядомъ на обѣды, Брюловъ, часто обманывалъ приглашавшихъ его, или являлся на пышный обѣдъ, отобѣдавъ запросто, дома. У Витали Брюловъ жилъ до самаго отъѣзда, и нерѣдко поправлялъ его лѣпныя работы. Уже взять былъ билетъ на отъѣздъ въ Петербургъ, какъ вдругъ оказалась невозможность ѣхать; вотъ какъ это случилось: въ тотъ же вечеръ у Маковского, гдѣ присутствовалъ Брюловъ, пѣлъ покойный Варламовъ; у Брюлова спросили: «почему вы не ѣдете?» — «Матушка А. Д. Соколовскаго, славная старушка, жаловалась мнѣ сейчасъ, что съ нею никто не хочетъ гулять; я

далъ слово отправиться съ нею на Воробьевы горы, и потому никакъ завтра не поѣду». Съ Карломъ Павловичемъ Брюловымъ вообще спорить было трудно. Деньги за билетъ пропали, и принуждены были взять для него другой. На прощальномъ вечерѣ у Витали, Брюловъ сдѣлалъ прекрасный рисунокъ: *Рыцарь, отвѣзжающій на конь и Дульцинея, смотрящая на него изъ окна.* «Этотъ рыцарь, говорилъ онъ, я самъ: я безпрестанно уѣзжаю.» И точно Брюловъ, живши въ Римѣ, очень часто мгновенно исчезалъ: то вдругъ очутится въ Неаполѣ, или въ Болоньѣ, или въ римскихъ окрестностяхъ. Когда былъ оконченъ рисунокъ *Рыцаря*, всѣ присутствовавшіе, кромѣ Маковского, наперерывъ выпрашивали его себѣ на память; но Брюловъ, отдавая рисунокъ Е. И. Маковскому, сказалъ: «вотъ кому!» На другой день весь близкій кружокъ друзей и почитателей Брюлова собрался въ конторѣ дилижансовъ первоначальнаго заведенія, а оттуда проводилъ знаменитаго художника до Всесвятскаго. По пріѣздѣ Брюлова въ Петербургъ, академія приготовила своему дорогому вскармленнику встрѣчу и празднество. Это было въ 1836 году, 11-го іюня. Величавыя галереи, наполненныя антиками, получили праздничный видъ; казалось, самыя статуи, игравшія важную роль въ художественномъ образованіи Брюлова, принимали участіе въ готовившемся торжествѣ. У входа помѣщались ученики, и часть ихъ составляла оркестръ и хоръ, приготовившій привѣтствіе въ стихахъ. Оркестръ духовой музыки находился въ концѣ залы. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали появленія гениальнаго мастера; наконецъ двери распахнулись: вошелъ Брюловъ, окруженный маститыми представителями академіи и всѣми ея членами-художниками. Запѣли привѣтствіе; голоса и ноты, находившіеся въ рукахъ поющихъ, дрожали отъ сильнаго душевнаго волненія; но вскорѣ оркестръ и хоръ слились въ полную гармонию, которая завершилась громкими, единодушными криками: «да здравствуетъ Брюловъ!» Полковой оркестръ загремѣлъ торжественнымъ маршемъ, и всѣ дви-

нулись, чрезъ анфиладу залъ, къ обѣденному, роскошно убранному столу, который расположенъ былъ въ той самой залѣ, гдѣ была помѣщена картина *Послѣдній день Помпеи*. Неизгладимо впечатлѣніе, когда вся шумная масса старыхъ и молодыхъ художниковъ, перешагнувъ порогъ залы, въ которой находилось знаменитое произведеніе, прямо насупротивъ двери, въ одно мгновеніе смолкла, и взоры всѣхъ устремились на создателя, созерцавшаго свой трудъ въ новомъ мѣстѣ, при новомъ освѣщеніи. Вслѣдъ за этимъ крики: «ура!» смѣшались съ шумомъ садившихся за столъ. Веселый говоръ, привѣтствія, избранныя музыкальныя піесы, исполненныя оркестромъ, поздравленія, возгласы учениковъ, громоздившихся въ сосѣдней залѣ другъ на другъ и на табуретахъ, чтобы лучше рассмотреть виновника праздника; все это сливалось въ какой-то торжественный акордъ, выражавшій удивленіе и любовь къ гению. Въ исходѣ обѣда, тостамъ не было конца. Когда встали изъ-за стола, Брюлову были представлены лучшіе ученики: онъ ихъ обласкалъ, пожималъ имъ руки, дѣлалъ вопросы, — и этого уже было довольно, чтобы великій художникъ завладѣлъ горячимъ сочувствіемъ остальной массы учениковъ. Брюловъ раскланялся, и, провожаемый ближайшими къ нему профессорами, ушелъ домой. Тутъ же инспекторъ классовъ объявилъ, что, по случаю такого торжественнаго дня, ученики могутъ идти на свиданіе съ родственниками. Мигомъ юное поколѣніе художниковъ вооружилось фуражками и полетѣло по домамъ рассказывать, каждый по своему, о незабвенномъ днѣ встрѣчи Брюлова. Нѣкоторые изъ воспитанниковъ, которые были постарше, совершенно одурѣвшіе отъ пламеннаго восторга и безвыходной радости, бросились въ ближайшую кондитерскую, съ новыми криками: «да здравствуетъ Брюловъ!» Содержатель ея принялъ мальчиковъ за сумасшедшихъ; однако дѣло разъяснилось въ пользу ихъ и хозяина, когда было спрошено нѣсколько бутылокъ шампанскаго.

Хотя въ Петербургѣ для Брюлова не было тѣхъ клима-

тических и других удобствъ, какія повсюду представлялись ему въ Италіи; но мастерская его наполнилась произведеніями, обличавшими всю многостороннюю его дѣятельность. Тамъ можно было увидѣть ангела Пери, исполненнаго божественной красоты; преклонить колѣна предъ *Распятіемъ Христа*<sup>1)</sup> и *Св. Троицею*<sup>2)</sup>, *Молитвою Божіей Матери, несомой ателами на небо*<sup>3)</sup> и *Иисусомъ во гробъ*<sup>4)</sup>. Тамъ восхищались красотами Востока въ картинахъ — *Марія*<sup>5)</sup> *между одамскими* и *Прогулка султанскихъ женъ*; тамъ воспоминаніе Брюлова рисовало красоты Италіи. Тамъ же можно было встрѣтить, чуть не живыхъ, Крылова, Кувольнива, князя Оболенскаго, г-жу Бекъ, князя А. Н. Голицына, княгиню Салтыкову и другихъ, которыхъ обезсмертила кисть Брюлова. Да и какихъ сторонъ жизни и искусства не касался гений! То представлялся ему ужасный Гензерикъ, грабившій Римъ; то видѣлось *Пробужденіе малютки, отъ летаріи, въ смертномъ домѣ*; малютки, чуждаго, посреди окружающихъ его гробовъ, страха смерти, и играющаго въ своемъ гробикѣ цвѣтами, которыми убрали младенца нѣжные родители. Эскизъ его *Невинность покидаетъ землю* — есть совершенство, по сочиненію и по краскамъ; фигуры сюжета, хотя и проникнуты одною общою, непосредственною мыслию, представляютъ два эпизода, которые дѣлать, такъ сказать, картину на двѣ половины, — нижнюю и верхнюю; внизу, на первомъ планѣ, посреди роскошной растительности, красавецъ и красавица сладострастно раскинулись на пурпурѣ; они забыли все остальное въ мірѣ — и даже чашу нектара, около нихъ опрокинутую; неподалеку алчный старикъ, пересчитывая свое золото, прячетъ его отъ постороннихъ взглядовъ; тутъ же, изъ-за дерева, зависть своими всепо-

---

1) Нылъ въ Петербургѣ, въ лютеранской петровской церкви.

2) Въ монастырѣ св. Сергія, подъ Петербургомъ.

3) Въ Петербургѣ, въ Казанскомъ соборѣ.

4) Въ домашней церкви графа Адлерберга.

5) Геронни «Вахчисарайскаго фонтана», Пушкина.

глашающими глазами, смотреть на любовниковъ и на скареда. Далѣе два друга обнимаются, и въ то же время, скрытно, готовы поразить одинъ другаго, кинжалами; на горизонтѣ война и пожаръ. Надъ всѣми этими группами, проникнутыми живымъ, блистательнымъ, страстнымъ колоритомъ, такимъ же сильнымъ, какъ самыя страсти, разстилается тихое, прозрачное, свѣтлое небо; на этомъ фонѣ художникъ изобразилъ невинность, въ образѣ молодой дѣвушки; подбирая складки бѣлаго воздушнаго покрывала, которымъ она цѣломудренно закрыта, и которое, по видимому, разстилось на всемъ окружающемъ, она отлетаетъ въ небеса, бросая послѣдній сострадательный взглядъ на землю. Гармонія тоновъ и соотвѣтственность колорита къ содержанию изумительны въ этой картинѣ.

Брюловъ ни сколько не былъ похожъ на тѣхъ художниковъ, которые, сочиняя картину на бумагѣ, приставляютъ одну фигуру къ другой, и прилаживаютъ группу къ группѣ; картина его, прежде чѣмъ являлась на холстѣ, задолго еще готова была въ головѣ его. Кто, какъ не Брюловъ, былъ поклонникомъ красоты: кто, какъ не онъ, восхищался и прекраснымъ торсомъ, и красивымъ колѣномъ натурщика; часто случалось ему говорить, по поводу какой нибудь отдѣльной красивой части натурщика: — «Смотрите цѣлый оркестръ въ ногѣ!». Но этимъ онъ еще не довольствовался: его побуждали къ созданію не однѣ отдѣльно взятые изящныя формы; онъ любилъ ихъ страстно, какъ ближайшія и совершеннѣйшія средства, для выраженія внутренней жизни, для проявленія своихъ идеаловъ.

Постоянно настроенный къ служенію искусства, Брюловъ, во всю свою жизнь, не переставалъ изучать встрѣчавшееся ему прекрасное, — да, и по природѣ своей, онъ никогда не могъ быть къ нему равнодушенъ; его тонкая наблюдательность всегда была насторожѣ; отъ его зоркаго глаза не ускользали ни случайныя игры свѣта, ни необыкновенное сліяніе тоновъ, ни стройная шея лебедя, ни красиво растущее дерево. Вся-

кій предметъ, пробуждавшій пріятное впечатлѣніе красоты, сильно напечатлѣвался въ памяти генія, а это-то самое памятованіе и способствовало художнику къ воспроизведенію такихъ красотъ, образцы которыхъ были отъ него самого за тысячи верстъ. Гдѣ былъ Брюловъ — тамъ было и изученіе. Часто, во время разговора, онъ вдругъ просилъ своего собесѣдника не двигаться съ мѣста; что же?... или лицо собесѣдника освѣтилось особеннымъ образомъ или поразило его въ этомъ лицѣ необыкновенное отраженіе, и проч. Такъ покойный академикъ Яненко\*), сидѣвшій какъ-то въ его гостиной, внезапно и сильно освѣтился лучемъ солнца. «Сиди», вскрикнулъ Брюловъ, и заставилъ Яненку снять скурткуъ и надѣть латы. Въ мгновеніе первый попавшійся подъ руку художника холстъ очутился на мольбертѣ, а чрезъ часть времени изъ-подъ кисти Брюлова явился превосходнѣйшій портретъ академика, преображеннаго въ рыцаря. Брюловъ говорилъ о Рембрандтѣ, что онъ «похитилъ солнечный лучъ.» Мы теперь можемъ сказать тоже самое о Брюловѣ: присутствіе свѣта и воздуха, въ большей части его картинъ, поразительно. Нѣкоторые упрекаютъ его въ излишней цвѣтности и рѣзости красокъ, что точно встрѣчается у него въ картинахъ, не совсемъ конченныхъ. Сильно чувствовавши краски, онъ не могъ не переносить ихъ сильно на холстъ; тѣло въ его подмалевкахъ въ высшей степени выразительно, живо, и даже въ иныхъ картинахъ нѣсколько пестро; но у него, несравненно болѣе другихъ, конецъ вѣнчалъ дѣло. Брюловъ крайне былъ възыскателемъ въ оконченности; но почему же онъ самъ не всегда доводилъ свои картины до совершеннаго окончанія? У насъ общепринято говорить, въ такомъ случаѣ, что онъ не имѣлъ на это достаточно терпѣнія. Но почему же не уживалось съ нимъ терпѣніе, когда имъ владѣеть и послѣдній изъ живописцевъ? Отвѣтимъ: посредственность рада, когда

---

\*) Это Яковъ Федосѣичъ Яненко, большая копія котораго съ Тиціана находится въ московскомъ училищѣ живописи и ваянія.

Не удается высидѣть сочиненіе картины и сплотивъ нѣсколько группъ вмѣстѣ; холодное ея вниманіе поглощено надолго однимъ сухимъ исполненіемъ предмета, и тутъ иногда доходить дѣло чуть не до чебанки кистию; но не такова плодovitая натура художника, изобилующаго вымыслами на столько, что жизни его, помноженной на десять разъ, не хватило бы на осуществленіе этихъ вымысловъ. Этотъ избытокъ фантазіи и составлялъ часто помѣху въ оконченности произведенія генія, у котораго, въ минуты дѣятельности, вся душа помѣщалась, такъ сказать, на концѣ кисти; здѣсь было не только напряженіе физическихъ силъ, здѣсь было напряженіе всего духовнаго состава человѣка. Брюловъ, писавши Помпею, доходилъ до такого изнеможенія силъ, что нерѣдко выносили его изъ мастерской. Такъ же онъ работалъ и надъ многими изъ другихъ своихъ картинъ. Такое настроеніе не всегда зависитъ отъ воли человѣка, и оно не могло повторяться часто на одномъ и томъ же предметѣ, почему охлажденіе въ собственному труду становится понятно. Высокое самонаслажденіе порождалось въ художникѣ, при первомъ приступѣ къ картинѣ; въ эти минуты творчества, когда кисть Брюлова вызывала на холстѣ невидимые до того образы, художникъ находилъ высшее удовлетвореніе въ своей дѣятельности; повторимъ, что восторженное состояніе души, истекавшее изъ стройнаго сліянія фантазіи, ума и воображенія, не могло выражаться въ той же силѣ, въ той же степени, въ послѣдствіи; чтобы при окончаніи пронивнуться вновь содержаніемъ картины, со стороны художника, требовались уже намѣренныя усилія, а, при избыткѣ фантазіи Брюлова, это было не легко. Онъ самъ лучше всѣхъ понималъ это, и потому, при подмалевкахъ картинъ, особенно большаго размѣра, онъ уже не отрывался отъ нихъ: трудясь по цѣлымъ днямъ, цѣлыя недѣли, онъ хотѣлъ, какъ бы однимъ непрерываемымъ очеркомъ кисти, скорѣе укрѣпить на холстѣ всю цѣлость обдуманной мысли.



Иные упрекают Брюлова въ эффектности. Недостойно было бы великаго мастера поддѣлываться подъ требованія публики, а если онъ, столь глубоко изучившій искусство, открылъ въ немъ новыя стороны, дотолѣ неизвѣстныя, то эта лишь новая заслуга генія. Странно было бы тамъ, гдѣ небо и земля вооружились всѣми ужасами противу человѣка, какъ это видимъ въ картинѣ *Послѣдній день Помпеи*, не употребить всѣхъ средствъ искусства, для выраженія этихъ ужасовъ. Если Брюловъ прибѣгалъ къ эффектному освѣщенію и въ портретахъ, то и это съ его стороны было дѣлаемо не безъ обдуманнхъ причинъ. Брюловъ зналъ, какую голову освѣтитъ обыкновеннымъ ровнымъ свѣтомъ, и для какой головы нужно свое особенное освѣщеніе, дабы выказать ихъ съ болѣе-выгодной, и болѣе привлекательной стороны.

На одномъ изъ пріятныхъ вечеровъ въ домѣ нашего славнаго художника графа Ѳ. П. Толстаго, въ то время, когда въ залѣ раздавалась музыка и веселый говоръ, Брюловъ сидѣлъ въ угловой комнатѣ, за письменнымъ столомъ. Передъ нимъ лежалъ листъ писчей бумаги, на которой былъ начерченъ эскизъ перомъ. Его встали въ ту минуту, когда дѣлалъ онъ на бумагѣ чернильныя бляксы, и, растирая ихъ пальцемъ, тушевалъ такимъ образомъ рисунокъ, въ которомъ никто изъ присутствовавшихъ ничего не могъ разобрать. При вопросѣ: «что вы дѣлаете, Карлъ Павловичъ?» онъ отвѣчалъ: «это будетъ осада Пскова!» и началъ затѣмъ распутывать содержаніе эскиза изъ чернильнаго хаоса: «Вотъ здѣсь будетъ въ стѣнѣ проломъ, въ этомъ проломѣ самая жаркая схватка. Я чрезъ него пропущу лучъ солнца, который раздробится мелкими отблесками по шпикамъ, панцырамъ, мечамъ и топорамъ. Этотъ распавшійся свѣтъ усилитъ беспорядокъ и движеніе сѣчи.» Вотъ съ какимъ глубокимъ смысломъ изыскивалъ Брюловъ особенность и эффектъ освѣщенія. «Здѣсь у меня будетъ Шуйскій», продолжалъ Брюловъ, «подъ нимъ ляжетъ его убитый конь; вправо мужикъ заноситъ ножъ надъ опрокинутымъ

имъ нѣмцемъ, закованнымъ въ желѣзныя латы. Влѣво изнуренные русскіе воины припали къ ковшу съ водою, которую приносить родная имъ псковитянка; тутъ ослабѣвшій отъ ранъ старикъ передаетъ мечъ свой сыну, молодому парню; центръ картины занятъ монахомъ, въ черной рясѣ, сидящимъ на пѣгомъ вонѣ: онъ благословляетъ врестомъ сражающихся. И много еще будетъ здѣсь эпизодовъ, полныхъ страсти, храбрости и душевной тревоги; зато выше — тамъ у меня будетъ все спокойно: тамъ я помѣщу въ бѣлыхъ ризахъ все духовенство Пскова, со всѣми принадлежностями молитвы и церковнаго великолѣпія. Позади этой группы будутъ видны соборы и церкви псковскіе». Многие просили Брюлова подарить имъ этотъ эскизъ, сдѣлавшійся вдругъ для всѣхъ понятнымъ; но художникъ въ ту же минуту разорвалъ рисунокъ, говоря: «изъ этого вы ничего не поймете!» Такимъ образомъ нѣкоторые любители видѣли зародышъ картины осады Пскова, въ сожалѣнію, оставшейся неоконченною.

Брюловъ вставлялъ вмѣстѣ съ солнцемъ, и тотчасъ уходилъ въ свою мастерскую, въ то время, когда былъ занятъ этою картиною. Одни сумерки заставляли Брюлова покидать кисть. Такъ длились съ небольшимъ двѣ недѣли, и художникъ до того горѣлъ желаніемъ осуществить одну изъ блистательныхъ страницъ нашей исторіи, что, казалось, хотѣлъ бы обратитъ и ночь въ день. Никто въ это время не былъ допускаемъ въ его мастерскую, несмотря ни на какія просьбы и ни на какое лицо. Брюловъ страшно похудѣлъ въ это время; словомъ, Брюловъ работалъ. Позже друзья его увидѣли эту историческую драму въ краскахъ; но, спустя нѣсколько времени, ее нельзя уже было узнать: строгій къ самому себѣ и недовольный началомъ своей картины, художникъ измѣнилъ первую мысль, снова заперся въ мастерской, и долгое время никому не былъ доступенъ. Въ длинные зимніе вечера кисть и краски художниковъ обыкновенно лежатъ на поковѣ; но Брю-

ловъ и при свѣчахъ работаль свои очаровательныя акварели, всегда отличавшіяся новизною мысли и силою чувства.

Нельзя не сказать также о декораціяхъ, писанныхъ имъ еще въ бытность его въ академіи, которыя такъ хороши, что годились бы и въ рамку. Лучшія изъ нихъ темница; нынѣ она находится въ театрѣ бывшаго перваго кадетскаго корпуса.

Брюловъ, сильно сочувствовавшій всякому успѣху науки и искусства, при изобрѣтеніи дагеротипа, до того увлекся имъ и прилежно его изучаль, что покинулъ на нѣсколько времени свою мастерскую и цѣлыя дни проводилъ около дагеротипа, въ саду академія Яненса, на Васильевскомъ островѣ.

Чтобы показать, до какихъ тонкостей была доступна Брюлову игра линій и контуровъ, и какою находчивостію обладалъ онъ, укажемъ на слѣдующій случай. Извѣстный въ Москвѣ художникъ Рамазановъ, предъ выпускомъ изъ академіи, окончилъ статую Фавна, играющаго съ козломъ, и призвалъ Брюлова взглянуть на нее. «Хорошо», сказалъ Брюловъ, «но какъ же вы не подумали объ этомъ?» и указаль въ это время, съ профиля, на пролетъ между спиною козла и двумя ногами Фауна, образовавшій равносторонній треугольникъ. Молодой Рамазановъ такъ и ахнулъ, какъ не пришло ему это прежде въ голову, и былъ въ немаломъ замѣшательствѣ, потому что не ломать же статуи, когда на другой день назначенъ былъ экзамень. «Что? испугались — небось? Бросьте вистъ винограда на спину козла; вотъ и уничтожите одинъ уголь. Да и помните, что то уже не скульптура, гдѣ встрѣчается геометрическая фигура», и гениальный наставникъ, весело смѣясь, вышелъ изъ кабинета юноши-художника.

Идетъ общая молва, что Брюловъ былъ очень скупъ; но въ правду ли былъ онъ такъ скупъ, какъ рассказываютъ? Не была ли это строгая бережливость, потому что нерѣдко Брюловъ говариваль болѣе безопаснымъ молодымъ художникамъ; «ей! берегайте лучше, это деньги трудовыя. Ухнуть ихъ не долго; но заработать трудно!»

Нерѣдко Брюловъ ожесточался противу петербургскаго климата; но прекрасныя свѣтлыя іюнскія ночи едва не приводили его въ ребяческій восторгъ; сопровождаемый молодыми художниками, онъ совершалъ тогда прогулки по Невѣ и на взморьѣ, въ нанятомъ яликѣ. Онъ любилъ похвастать своею силою и крѣпостію.

Брюловъ давно уже страдалъ болѣзнію въ сердцѣ, въ родѣ аневрисма. Эта болѣзнь оторвала его отъ работъ, которыя были ему поручены въ Исаакиевскомъ соборѣ, и заставила удалиться изъ отечества. Онъ отправился, въ 1849 году, за границу, былъ въ Брюсселѣ, провелъ нѣкоторое время въ Испаніи, наконецъ прибылъ на островъ Мадеру, благодатный климатъ котораго сулилъ ему исцѣленіе, Дѣйствительно, во время пребыванія своего на этомъ островѣ, Брюловъ началъ поправляться и чувствовалъ облегченіе отъ своего недуга; но онъ не остался тамъ, а переѣхалъ, въ 1850 году, въ Италію, въ Римъ. Была ли эта поѣздка слѣдствіемъ предписанія медиковъ или личнаго желанія художника — неизвѣстно. Въ Римѣ Брюлову стало хуже, потомъ опять лучше, благодаря водамъ мѣстечка Манціани, которыми онъ пользовался въ 1851 году. Лѣтомъ 1852 года, онъ опять отправился въ мѣстечко Манціани, отстоящее отъ Рима только въ тридцати миляхъ, но ему не суждено было найти исцѣленіе — его ждала смерть! Брюловъ умеръ отъ аневрисма, 11-го (23-го) іюня 1852 года. Когда, по распоряженію русской миссіи, переносили бранные его останки въ Римъ, на кладбище иностранцевъ, для погребенія по обрядамъ протестантской церкви, въ которой покойникъ принадлежалъ, толпа художниковъ встрѣтила его гробъ далеко за городомъ, и на рукахъ несла его до самой капеллы.

**АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ**

## **ИГУМНОВЪ**

(1761 — 1835).

Александръ Васильевичъ Игумновъ прославился, какъ знатокъ и любитель монгольской словесности. Предки его исправляли разныя должности на пограничной службѣ. Дѣдъ его былъ смотрителемъ каравановъ, отправлявшихся въ Ургу и въ Пекинъ, а отецъ, коллежскій ассессоръ Василій Игумновъ, служа переводчикомъ въ пограничномъ правленіи въ Кяхтѣ, исправлялъ должность пристава при нашихъ духовныхъ миссіяхъ, бывавшихъ въ Пекинѣ въ 1771, 1781 и 1794 годахъ, а потомъ находился, при разныхъ должностяхъ, въ Забайкальскомъ краѣ. Такимъ образомъ, съ давняго времени, Игумновъ, по службѣ своей въ восточной Сибири и по самому роду этой службы, находясь въ близкихъ сношеніяхъ съ туземными братскими и кочевыми народами, естественнымъ образомъ, былъ полезенъ отечеству своимъ глубокимъ знаніемъ края.

Александръ Васильевичъ родился въ Кударинской крѣпости, на китайской границѣ. Первые годы дѣтства провелъ онъ между монголами, говорилъ на ихъ языкѣ лучше, нежели на природномъ, жилъ въ юртѣ, одѣвался помонгольски, и баранину предпочиталъ хлѣбу. Въ 1771 году, Игумновъ всту-

пиль ученикомъ въ учрежденную тогда, въ г. Селенгинскѣ, школу монгольскаго языка, и въ 1777 году выпущенъ изъ нея толмачемъ въ пограничную канцелярію. Въ 1781 и 1782 годахъ, сопровождалъ онъ въ Пекинъ нашу духовную миссію, въ званіи переводчика, и, по возвращеніи сдѣлался извѣстенъ, какъ человѣкъ съ дарованіями, иркутскому губернатору Францу Николаевичу Кличкѣ, который доставилъ ему случай, отправиться сначала въ Москву, а потомъ въ Петербургъ. Это было первое путешествіе сибиряка въ Россію, для образованія себя.

Въ Москвѣ, Игумновъ принятъ былъ въ домъ извѣстнаго Никиты Акинѣевича Демидова, гдѣ и пользовался уроками лучшихъ учителей столицы. Пребываніе въ домѣ знаменитаго человѣка, бесѣда съ образованнѣйшими людьми тогдашняго времени, переродили, такъ сказать, этого жителя степей монгольскихъ. Онъ, перечиталъ все, что тогда было написано по-русски. Но, посреди разгара его умственныхъ занятій, необыкновенное происшествіе заставило его возвратиться на родину. Въ 1786 году, китайцы поймали нашихъ бѣглецовъ, грабившихъ въ Монголіи, передали ихъ нашему пограничному начальству, и требовали, согласно послѣднему трактату, смертной казни виновнымъ. Тщетно наши увѣряли китайцевъ, что казнь у насъ уничтожена: они были непреклонны, доказывая по своему, что законъ долженъ быть неизмѣненъ вѣки. Началась переписка. Между тѣмъ китайцы, вида, что ихъ требованіе не уважается, заперли ворота въ Маймачинѣ, и прекратили торговлю.

Игумновъ, услышавъ о такомъ важномъ происшествіи, не могъ быть равнодушнымъ. Онъ хорошо зналъ, что остановка бяхтинской торговли раззоритъ жителей Забайкальскаго края. Съ горестію оставилъ онъ занятія науками, блестящее общество, удовольствія столичной жизни, и бросился въ Иркутскъ. Здѣсь, объясняясь съ губернаторомъ, удивилъ онъ его свѣдѣніями въ дѣлѣ китайской торговли, знаніемъ обычаевъ и законовъ китайскихъ. Губернаторъ послалъ его въ Кяхту, съ

полномочіемъ, дѣйствовать, для возстановленія торговли всѣми средствами. Послѣ переговоровъ, продолжавшихся въ теченіе 1790 года, Игумновъ умѣлъ доказать китайцамъ, что преступники накажутся смертію, но головъ имъ рубить не станутъ. Въ самомъ дѣлѣ, передъ ними высѣкли вкutomъ какого-то закоренѣлаго злодѣя, и китайцы, удостовѣрившись, что преступникъ умеръ, отворили ворота въ Маймачинъ, 9-го февраля 1792 года. За это дѣло Игумновъ, по высочайшему повелѣнію, произведенъ изъ губернскихъ регистраторовъ въ коллежскіе секретари. Такая неслыханная, по тогдашнему времени, награда возродила зависть. Знакомство съ начальствомъ, занятія науками и музыкою, отвлекали его отъ прежнихъ сотоварищей, и отъ распространившейся по Сибири заразы: убивать время за картами.

Игумновъ вступилъ въ пограничную службу, и опять занялся любимымъ своимъ монгольскимъ языкомъ. Между тѣмъ завистники и люди подъяческаго образа мыслей не дремали: они выставляли повсюду связи Игумнова съ монголами, китайскими купцами, двургучемъ (начальникомъ Маймачина), и ихъ нашли опасными для блага государства. Игумновъ прослылъ за человѣка сомнительнаго на китайской границѣ. Узнавъ объ этомъ, онъ оставилъ пограничную службу, и, въ 1793 году, опредѣлился въ Нерчинскъ судьей нижней расправы.

Исполняя должность свою, по долгу присяги, и постоянно заботясь о выгодахъ общественныхъ, онъ не могъ равнодушно смотрѣть на не позволенную торговлю, которую тогда производили по всей китайской границѣ. Нерчинскій уѣздъ получалъ тогда изъ-за границы кирпичный чай, китайки, дабы, полушелковицы, мѣняя все это на скотъ. Цѣна говядины возвышалась въ уѣздѣ съ каждымъ годомъ: бѣдные терпѣли, богатые наживались, казна теряла свои выгоды. Въ этой торговлѣ участвовали всѣ чиновники. Игумновъ, обнаруживая свои мысли о злоупотребленіи, и не участвуя въ преступныхъ выгодахъ сво-

ихъ товарищей, нажилъ всеобщее къ себѣ неудовольствіе. Его разгласили вреднымъ челоѣкомъ, и это несправедливое названіе онъ унесъ съ собою во гробъ. Игумновъ зналъ эти толки, презиралъ ихъ, но страдалъ во всю жизнь: недовѣрчивость и скрытность, послѣдствія угнетенія, обнаруживались въ его характерѣ. Встрѣчая на каждомъ шагу препятствія, Игумновъ рѣшился искать другаго мѣста. Въ 1795 году, переведенъ онъ былъ въ Иркутскъ, судьей нижняго надворнаго суда. Несмотря на интриги завистниковъ, высшее начальство всегда отдавало справедливость его образу мыслей и его патриотическимъ стремленіямъ.

Преображеніе кяхтинской торговли имѣло весьма вредное вліяніе на благосостояніе восточной Сибири. Тогда не думали еще о раскрытіи внутреннихъ источниковъ промышленности: выгодная торговля съ Китаемъ останавливала всякое покушеніе измѣнить прежній образъ промышленности. Большая часть жителей, или производили торговлю, или приготавливали матеріалы для нея, или занимались перевозкою товаровъ. Жители Забайкальскаго края не имѣли поэтому возможности сбывать свои произведенія за границу. Для крестьянъ Верхнеудинскаго, Иркутскаго и Нижнеудинскаго уѣздовъ, чрезъ которые лежитъ торговая дорога, изсякъ источникъ пропитанія. Чай, китайка, сахаръ, леденецъ, даба, и прочіе китайскіе товары, необходимые тогда для жителей, вздорожали. Во всей губерніи оказалась значительная недоимка. Въ Верхнеудинскомъ уѣздѣ она возрасла до большой суммы. Въ 1797 году, высочайшимъ указомъ, повелѣно было взысывать недоимки съ губернаторовъ. Иркутскій губернаторъ, услыхавъ, отъ нѣкоторыхъ благомыслящихъ людей, объ отличныхъ качествахъ Игумнова, его дѣятельности и познаніяхъ тамошняго края, опредѣлилъ его исправникомъ Верхнеудинскаго уѣзда, вмѣнивъ въ главнѣйшую обязанность взысканіе недоимки. Игумновъ, зная всѣ источники тамошней промышленности, указалъ ихъ капиталистамъ: бѣдные поступили къ нимъ въ работники, въ прикащики, и



деньги получили оборотъ. Въ слѣдствіе этихъ благоразумныхъ мѣръ, болѣе половины недоимки собрано было въ продолженіе пяти мѣсяцевъ, и, вѣроятно, Игумновъ успѣлъ бы кончить свое порученіе, но дѣятельность его была остановлена манифестомъ о прощеніи недоимокъ. За точное исполненіе столь важнаго порученія, Игумновъ, въ 1798 году, произведенъ былъ въ коллежскіе ассессоры.

Въ томъ же году, бывшій въ Иркутскѣ генераль-кригсъ-коммиссаръ Новицкій составилъ проектъ распространенія и улучшенія суконной фабрики въ Иркутскѣ. Ему хотѣлось, чтобы фабрика снабжала сукномъ всѣ войска сибирскаго корпуса; но онъ встрѣтилъ затрудненіе въ приобрѣтеніи нужнаго для того количества шерсти. Посланные отъ фабрики комиссіонеры дѣйствовали безуспѣшно. Буряты, владѣя несмѣтными табунами овецъ, не знали выгодъ отъ продажи шерсти: имъ нужно было растолковать, истребить предрасудки, и указать на новый источникъ доходовъ; нуженъ былъ человекъ, котораго они уважали бы, и, слѣдовательно, которому вѣрили бы. Выборъ палъ на Игумнова. Гражданскій губернаторъ убѣдилъ его принять на себя должность главнаго комиссіонера по закупкѣ шерсти. Игумновъ отправился за Байкаль въ 1798 году, и закупилъ шерсти болѣе 10,000 пудовъ, по 2 р. 60 к., тогда, какъ прежде, едва могли получить шерсти до 3000 пудовъ, платя за пудъ по 3 р. Въ слѣдующемъ году онъ купилъ столько же шерсти, по 2 р. 50 к. за пудъ. Дѣйствія фабрики распространились; буряты поняли свои выгоды, и съ тѣхъ поръ фабрика снабжалась шерстію безостановочно.

Въ 1799 году, высочайше повелѣно было водворить десять тысячъ поселенцевъ за Байкаломъ, въ Нерчинскомъ уѣздѣ. Бывшій въ Иркутскѣ военный губернаторъ Леццано, видя, что новыя селенія строятся весьма медленно, сдѣлалъ Игумнова главнымъ смотрителемъ нерчинскихъ поселеній, въ полной увѣренности, что дѣла примутъ лучший ходъ. Игумновъ, приѣхавъ на мѣсто, нашель, что смотрители поселеній заботи-

лись только о своихъ выгодахъ; деньги, назначенныя на постройку домовъ, были израсходованы, неизвѣстно куда, а съ остальными ничего нельзя было предпринять. Желая непременно оправдать выборъ начальства, онъ обратился къ частнымъ средствамъ. Буряты, всегдашніе его друзья, по первому убѣжденію, пожертвовали 1000 лошадей для возки лѣса, и болѣе 1000 пудовъ ржи и пшеницы для сѣмянъ. При этихъ средствахъ Игумновъ въ первый годъ выстроилъ сто домовъ. На слѣдующій годъ, когда подрядчики за каждый домъ запросили по 40 р., онъ построилъ своими средствами положенное число домовъ, и каждый домъ обошелся въ 21 рубль. Этотъ примѣръ обнаружилъ поступки прежнихъ смотрителей; обличенные на дѣлѣ, они, въ оправданіе свое, распускали клеветы, а поступившіе на ихъ мѣста, въ чаяніи большихъ выгодъ, нашли одно жалованье, и твердили что, Игумновъ «испортилъ» выгодное мѣсто. Зная, что постоянныя занятія поселенцевъ, людей, сосланныхъ за преступленія, избавятъ ихъ отъ шалостей и злодѣяній, Игумновъ старался упражнять ихъ работами. Зимой готовили материалы для построекъ, а лѣтомъ занимались полевыми работами. Безпрерывные труды пріучали ихъ къ трудолюбію, такъ что, въ продолженіе управленія Игумновымъ поселеніями, не сдѣлано поселенцами ни одного смертоубійства, ни разбоя, ни воровства, а на третій годъ поселенцы уже снабжали хлѣбомъ даже коренныхъ жителей. Присланный, по высочайшему повелѣнію, для осмотра поселеній Иркутской губерніи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Лаба, отдалъ полную справедливость дѣятельности и безкорыстію Игумнова. Въ продолженіе этой службы, онъ произведенъ былъ въ надворные совѣтники.

Въ 1805 году, прибыло въ Иркутскъ пышное посольство въ Китай, подъ начальствомъ графа Головкина. Игумновъ поступилъ въ свиту посла, какъ искусный переводчикъ и знатокъ Монголіи и Китая. Извѣстно, что посольство возвратилось изъ перваго монгольскаго города Урги, не достиг-

нувъ своей цѣли. По отъѣздѣ посла, Игумновъ опредѣленъ былъ, въ Верхнеудинскѣ, уѣзднымъ судьей. Здѣсь рѣшился онъ основать постоянное свое пребываніе. Выполняя свои обязанности по долгу совѣсти и присяги, онъ вскорѣ нажилъ враговъ: его успѣли оклеветать передъ губернаторомъ, какъ человѣка вреднаго и при случаѣ опаснаго. Въ 1807 году, онъ переведенъ былъ ассессоромъ въ иркутскую казенную палату. Всегда покорный волѣ начальства, онъ оставилъ домъ, семейство, и пустился въ Иркутскъ, въ надеждѣ лично оправдаться передъ губернаторомъ. Но старанія его были напрасны: въ несчастію, губернаторъ былъ такой человѣкъ, который не любилъ перемѣнять мнѣній, однажды принятыхъ имъ. Видя всеобщее недоброжелательство, Игумновъ оставилъ службу, въ 1809 году, и удалился въ Верхнеудинскъ. Не имѣя ни пенсіи, ни состоянія, онъ занялся хозяйствомъ, садилъ табакъ, косилъ сѣно, пахалъ пашню, рубилъ дрова. Буряты не оставляли его и въ черные дни его жизни. Они предложили ему обучать дѣтей своихъ порусски и помонгольски. Игумновъ испросилъ у иркутской гимназіи дозволеніе открыть частную школу. Въ 1814 году, обозрѣвавшій Иркутскую губернію, извѣстный Петръ Андреевичъ Словцовъ изумился, найдя въ Верхнеудинскѣ человѣка, преданнаго монгольской литературѣ и наукамъ, но одѣтаго въ сукно туземной фабрики, и гонимаго общимъ мнѣніемъ. Словцовъ хорошо зналъ, что значило тогда общее мнѣніе въ Сибири, и людей, которые его устанавливали. Онъ ободрилъ Игумнова, и принялъ участіе въ судьбѣ его. Бесѣда умнаго человѣка оживила бѣднаго оріенталиста: онъ, до самой смерти, не могъ, безъ сердечнаго умиленія, произносить имени Словцова.

Въ 1819 году, сибирскія дѣла приняли другое направленіе. Игумновъ назначенъ былъ членомъ верхнеудинской слѣдственной комиссіи, и въ 1822 году переселился въ Иркутскъ, гдѣ жилъ до смерти своей. Въ томъ же году, онъ былъ опредѣленъ засѣдателемъ совѣстнаго суда, а по упраздненіи этого мѣста, сдѣланъ, по желанію, переводчикомъ мон-

гольскаго языка при общемъ губернскомъ управленіи. Въ теченіе послѣдней службы, онъ получилъ чины коллежскаго и статскаго совѣтника, а въ 1832 году награжденъ былъ орденомъ св. Станислава 3-й степени.

Еще въ 1787 году, по возвращеніи изъ Петербурга, Игумновъ началъ составлять *Монгольскій словарь*, когда въ Европѣ еще и не думали объ этомъ языкѣ. Расположивъ словарь по корнямъ словъ, онъ не могъ кончить своей работы; часто бывало, при внимательномъ наблюденіи, онъ находилъ нѣкоторыя слова принадлежащими другому корню; иногда пропущенное заставляло его передѣлывать нѣсколько листовъ; иногда, получивъ новую монгольскую книгу, онъ находилъ новыя слова; тогда работа начиналась снова. Стараясь подчинить монгольскій языкъ правиламъ, онъ исподволь составилъ монгольскую грамматику. Въ послѣдствіи времени, переимѣнилъ онъ форму своего словаря, и началъ составлять его по алфавиту; но этотъ трудъ, при слабости здоровья сочинителя, не былъ конченъ. Первый томъ словаря и книгу «Зерцало манджурскаго и монгольскаго слова», завѣщалъ онъ библіотекѣ иркутской гимназіи.

Преданный до энтузіазма любимому предмету, онъ нерѣдко впадалъ въ заблужденія; напримѣръ, въ одной монгольской исторіи, онъ нашелъ, что какой-то русскій діаконъ, въ XI столѣтіи, жилъ въ Монголіи, и научилъ жителей письменамъ. Убѣдясь въ справедливости этого сказанія, онъ началъ искать сходства между монгольскими и русскими буквами, и, въ 1814 году, составилъ *Сравнительную таблицу*. Стоитъ только отъ русской буквы отнять какую нибудь ея часть, или написать литеру на изнанку, или бокомъ, тогда выйдетъ монгольская буква. Если такое открытіе не имѣетъ исторической важности, по крайней мѣрѣ, оно облегчаетъ изученіе чтенія, и Игумновъ, въ нѣсколько уроковъ, научалъ читать и писать помонгольски. Страсть въ монгольскому языку въ Игумновѣ была столь велика, что онъ ввелъ даже свое пра-

вописаніе, стараясь согласить произношеніе къ письменами. Онъ выходилъ изъ себя, когда узналъ, что, въ 1817 году, переводъ евангелія поручили двумъ бурятамъ, бывшимъ его ученикамъ. Въ полной увѣренности, что это дѣло благоудное, онъ принялся переводить евангеліе, и кончилъ четырехъ евангелистовъ; но трудъ его опоздалъ: евангеліе, переведенное двумя бурятами, жившими въ Петербургѣ, вышло изъ печати прежде. Игумновъ написалъ на него огромнѣйшую рецензію, которую читали немногіе, и которая осталась между его бумагами. Всегдашняя мысль Игумнова была ввести преподаваніе монгольскаго языка въ иркутскихъ училищахъ. Въ 1822 году, онъ убѣдилъ тамошняго архіепископа Михаила открыть классъ монгольскаго языка въ семинаріи, гдѣ нѣсколько лѣтъ обучалъ онъ ему, безъ всякаго возмездія за свои труды.

Надобно было видѣть, какъ восхищался онъ, узнавъ, что монгольскій языкъ введенъ въ Казанскій университетъ, и съ какимъ жаромъ вычислялъ онъ послѣдствія, которыя произойдутъ отъ введенія монгольскихъ познаній въ европейскій міръ! Онъ увѣренъ былъ, что большая перемѣна произойдетъ въ астрономіи, медицинѣ и химіи, и весьма сожалѣлъ, что не получилъ систематическаго образованія, и что безпрерывныя занятія по службѣ часто лишали его возможности предаваться любимому предмету.

Въ 1828 году, попечитель Казанскаго учебнаго округа пригласилъ его обучать монгольскому языку двухъ студентовъ, отправленныхъ для того въ Иркутскъ. Эта новость оживила старика: онъ просиживалъ ночи, стараясь, до пріѣзда своихъ учениковъ, всевозможно облегчить способъ преподаванія; мысль, что трудность языка поселитъ въ нихъ къ нему отвращеніе, убивала Игумнова. Необыкновенные успѣхи гг. Попова и Ковалевскаго облегчили Игумнова; онъ даже рѣшился провести съ ними цѣлое лѣто за Байкаломъ, среди монголовъ. Надежда, что ученики его будутъ проводниками познаній между степями

Монголии и Европою, укрѣпляла его силы, уже ослабленные лѣтами. Не имѣя наследниковъ мужскаго пола, онъ страшился, что, по смерти его, огромная его монгольская бібліотека будетъ разстачена; но извѣстный ориенталистъ баронъ Шиллингъ, бывши въ Иркутскѣ, снялъ гору съ плечъ старика, купивъ эту бібліотеку. Игумновъ радовался, передавая любимыя книги въ вѣрныя руки, но съ нѣкоторыми сочиненіями никакъ не могъ расстаться.

Считая себя обязаннымъ иркутской гимназіи, за дозволеніе обучать дѣтей бурятовъ русской и монгольской грамотѣ, онъ, передъ смертію, завѣщалъ гимназіи 4,000 руб., съ тѣмъ, чтобы проценты съ этихъ денегъ употреблялись на учебныя пособія и платѣ бѣднымъ ученикамъ.

Игумновъ, въ молодости, занимался русскою литературою, и велъ записки о событіяхъ восточной Сибири, но молва, что онъ записываетъ происшествія для того, чтобы, при перемѣнѣ начальства, подать ябеду, разсердила его: онъ бросилъ записки свои въ огонь. Въ послѣдствіи, онъ опять принялся за нихъ, и писалъ уже съ памяти. Длинный рядъ событій, въ продолженіе 50 лѣтъ, былъ у него всегда предъ глазами.

Какъ бы въ отплату за гоненія, онъ любилъ ободрять юные таланты. Замѣтивъ мальчика съ дарованіями, онъ ласкалъ его, поощрялъ, помогалъ словомъ и дѣломъ. Найдутся въ Сибири люди, которые и теперь скажутъ, что обязаны Игумнову охотою къ ученію. Труды Игумнова были огромны, занятія единственны, но кто объ нихъ знаетъ? Множество переводовъ, записокъ о монголахъ, о ламайской вѣрѣ, хранились въ бумагахъ покойника. Правда, сочинители статей о монголахъ черпали изъ нихъ полными ведрами, но ни одинъ не указывалъ на источникъ; каждый выдавалъ за свое. Игумновъ жилъ не въ своемъ вѣкѣ. Онъ дѣйствовалъ подобно тому, какъ растеть одинокая пальма въ степи, никѣмъ не знаемая и полезная только самой себѣ. Скромность, свойствен-

ная истиннымъ талантамъ, недостатокъ одобренія, гоненія, дурное мнѣніе, останавливали его при началѣ всякаго предпріятія, а досада, что шарлатаны и хвастуны успѣвають, отнимала у него руки. Въ октябрѣ мѣсяцѣ 1835 года, Игумновъ скончался, на семьдесятъ четвертомъ году отъ рожденія.

---

## МАТВѢЙ ЯКОВЛЕВИЧЪ

# МУДРОВЪ

(1772 — 1831).

Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ происходилъ изъ духовнаго званія, отъ бѣдныхъ родителей, и, собственными своими дарованіями, прилежаніемъ и усердіемъ къ службѣ, возвысился до почестей и славы; своими же добродѣтелями, привѣтливостію и честностію, привлекъ уваженіе и любовь, которыя, даже и по смерти его, ни сколько не умалились въ памяти всѣхъ, много ли мало знавшихъ его лично. Онъ родился въ Вологдѣ, въ 1772 году, 23-го марта. Отецъ его, священникъ дѣвичьяго монастыря въ Вологдѣ, Яковъ Ивановичъ Мудровъ, былъ, по тогдашнему времени, человѣкъ просвѣщенный, хорошо изучившій языки древніе — латинскій, греческій и еврейскій; онъ очень уважалъ врачебную науку, любилъ читать творенія Гиппократа и Цельсія, давалъ врачебные совѣты бѣднымъ людямъ, исцѣлялъ ихъ простыми средствами, и былъ въ тѣсной пріязни со всѣми мѣстными врачами. Отецъ Яковъ былъ вовсе не любостыжательнъ, но весь преданъ дѣламъ милосердія: всегда готовъ былъ отдать послѣднюю сорочку, послѣднюю корку хлѣба голодной, бѣдной нуждѣ. Бывало, возвращаясь отъ дѣла служенія домой, никакъ не умѣлъ онъ отказывать просящимъ



милостыни, а такихъ въ Вологдѣ всегда великое множество: это прохожіе на поклоненіе къ соловецкимъ чудотворцамъ, бѣдные, недужные и увѣчные богомольцы, чающіе божественной помощи, въ ихъ страданіяхъ и бѣдствіяхъ. Раздавши все изъ своего кармана, онъ приводитъ къ себѣ домой тѣхъ, которымъ не могъ сдѣлать подаенія, и раздѣлялъ съ ними весьма неприхотливую трапезу свою. При такомъ образѣ жизни, само собою разумѣется, онъ претерпѣвалъ крайніе недостатки, такъ что въ праздничные великіе дни, сплошь да рядомъ, въ семействѣ его, не находилось и горсти пшеничной муки на пирогъ либо лепешку, а въ темное время жена его, Надежда Ивановна, должна была заниматься домашними дѣлами и рукодѣльями при свѣтѣ лучины. Изъ четырехъ сыновей своихъ, отецъ Яковъ оставилъ въ духовномъ званіи самаго старшаго Ивана, троихъ же, Алексѣя, Кира и Матвѣя, послѣдняго ребенкомъ еще, благословилъ въ мірское званіе, на службу царскую.

Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ первое образованіе началъ подъ руководствомъ родителя, продолжалъ въ духовной семинаріи и потомъ въ народномъ училищѣ, тогда только что открытомъ. При великихъ нуждахъ и бѣдности, безъ средствъ приобрѣтать учебныя книги, семинарское ученіе для молодаго Мудрова было весьма трудно, такъ какъ надобно было печатныя книги списывать въ тетради, да и бумаги, необходимой на то, было нелегко промышлять. Вотъ какъ онъ самъ воспоминалъ про свое дѣтство: «Когда я былъ еще мальчишкой, то почасту на улицѣ игрывалъ съ дѣтьми городского переплетчика, сдружился съ ними, хаживалъ къ нимъ въ домъ и съ любопытствомъ, бывало, посматривалъ на переплетную работу, даже и самъ нѣсколько перенялъ изъ этого мастерства. Поступивъ въ семинарію, началъ я порядкомъ переплетать тетради, сперва себѣ, послѣ и товарищамъ, и до того наторѣлъ въ этомъ дѣлѣ, что иногда помогалъ самому переплетчику. За такія послуги товарищи мнѣ плачивали, одни бу-

магою писчею, а другіе и переплетчикъ давали мнѣ малую толику деньжонокъ, которыя въ тѣ поры были мнѣ очень дороги; я привлекалъ ихъ на крайнія свои надобности, особливо же на салныя свѣчи. Вотъ, бывало, зажгу свѣчу, сяду писать вечеромъ, а матушка и подсядетъ ко мнѣ съ работою; я-то, бывало, и скуплюся свѣтомъ и застѣняю ей, а она, голубушка, сперва покричитъ на меня, потомъ примется упрашивать, и общаетъ мнѣ испечь при хлѣбахъ ржаную лепешку съ толченымъ коноплянымъ сѣменемъ, и вотъ у насъ и лады съ нею; сидимъ, бывало, молча и дѣлаемъ каждый свое». У штабъ-лекаря Осипа Ивановича Кирдана подрастали два сына, Илья и Аполлонъ, и молодой Мудровъ былъ приглашенъ учить ихъ началамъ русскаго и латинскаго языковъ за что, сверхъ весьма умѣренной платы, по рублю въ мѣсяцъ, онъ получалъ иногда и подарки, кой-какое поношенное платье, съ плечъ самаго Кирдана. Въ 1794 году, Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ собрался въ Московскій университетъ. «Будь прилеженъ къ добрымъ дѣламъ, служи государынѣ вѣрою и правдою, и Господь Богъ не оставитъ призрѣть на тебя многощедротнымъ окомъ, такъ и будешь человѣкъ», — сказалъ ему родитель, благословляя небольшимъ мѣднымъ крестомъ, какимъ осѣняютъ при духовныхъ службахъ и который къ такому дѣйствию уже не былъ годенъ по ветхости и особенно потому, что рукоятка была отломлена и затеряна. Подарилъ онъ еще старую чайную фаянсовую чашку, тоже съ отшибенною ручкою; это на случай испить воды изъ ручья дорогою, и, наградивъ двадцатю пятью копейками мѣдныхъ денегъ, примолвилъ такъ: «Вотъ, другъ мой, все, что могу тебѣ удѣлить. Ступай, учись, служи, сохраняй во всемъ порядокъ, помни бѣдность и бѣдныхъ, такъ не позабудешь насъ, отца съ матерью, и утѣшишь какъ въ этой, такъ и въ будущей жизни.» — Такъ напутствовалъ престарѣлый добродѣтельный отецъ молодаго добраго сына, который, простившись въ послѣдній разъ съ родителями, и за-

кинувъ за плечи кошель съ повлажею, пошелъ въ Москвѣ пѣшкомъ. Дорогою забрелъ онъ проститься въ знакомому Кирдану, которому, при этомъ послѣднемъ свиданіи съ добрымъ учителемъ дѣтей своихъ, вспала на умъ благая мысль отослать ихъ, подѣ надзоромъ благонаправнаго и надежнаго Мудрова, въ Москву, для образованія въ гимназій университета. Вздумано и сдѣлано: въ тотъ же день мальчиковъ собрали въ дорогу, впрягли пару лошадей въ повозку. Мудрову подарены: шелковая пара платья, шелковые чулки, козловые башмаки съ серебряными пряжками, суконный сюртукъ, такая же шинель, треугольная пуховая шляпа и шелковый французскій, чернѣй, съ большимъ бантомъ, кошелекъ для пучка; дано также рекомендательное и вмѣстѣ просительное письмо къ профессору университета Францу Францовичу Керестури, старинному пріятелю Кирдана и сослуживцу во время свирѣпствовавшей по Москвѣ чумной заразы въ 1771 году, — и къ вечеру всѣ отправлены въ путь-дорогу. «Я считалъ себя тогда великимъ богачемъ, говорилъ Мудровъ, и явился къ Францу Францовичу щеголемъ.» Добрый Керестури всѣхъ троихъ путешественниковъ привезъ въ университетъ, представилъ ихъ сперва директору, Павлу Ивановичу фонъ-Визину, а потомъ инспектору, профессору Петру Ивановичу Страхову, и въ тотъ же день всѣ трое сидѣли на скамьяхъ, въ классахъ гимназій, обѣдали въ столовой съ казенными воспитанниками и спали ночь въ казеннокоштныхъ камерахъ, на дворянской половинѣ. По тогдашнему порядку, никто не могъ поступить прямо въ университетъ, а долженъ былъ напередъ побывать въ университетской гимназій, чтобы выказать свои способности и благонаправное поведеніе. Мудровъ былъ принятъ въ ректорскій, т. е. самый верхній классъ древнихъ языковъ; а въ 1795 г. произведенъ онъ въ званіе студента, и на публичномъ торжественномъ собраніи получилъ, изъ рукъ тогдашняго куратора, извѣстнаго писателя, Михаила Матвѣевича Хераскова, шпагу. Въ 1796 г., какъ способный и благонаправный

студентъ, переведенъ онъ былъ, изъ гимназическаго ректорскаго класса, въ университетъ. Тогда онъ преданъ изученію врачебныхъ наукъ съ такою горячностію и прилежаніемъ, что отказывалъ себѣ даже въ самыхъ невинныхъ развлеченіяхъ и удовольствіяхъ. Профессоръ Цвѣтаевъ, сынъ священника въ богатомъ приходѣ Покрова, что въ Левшинѣ, самъ рассказывалъ, что онъ въ университетъ поступилъ въ одно время съ Мудровымъ и довольно дружески сблизился съ нимъ. Однажды, по окончаніи лекцій, Цвѣтаевъ вздумалъ пригласить Мудрова къ себѣ въ домъ, къ родителю своему, отобѣдать, но Мудровъ отвѣчалъ ему на это такъ: «Извините, я пришелъ въ университетъ учиться, а не веселиться; побывавъ у васъ, я долженъ бывать и у другихъ пріятелей, ихъ же много, то много же придется даромъ тратить и золотого времени.» Окончивъ курсъ теоретическихъ наукъ въ университетѣ, Мудровъ долженъ былъ, по тогдашнимъ учрежденіямъ, окончить курсъ практическихъ занятій въ московскомъ военномъ госпиталѣ, что и исполнилъ съ такимъ же усердіемъ и прилежаніемъ. Онъ былъ всегда набоженъ, и никогда не пропускалъ божественной службы въ церкви университета, почти всегда справлялъ въ ней чтеніе, напримѣръ шестопсалмія, часовъ, апостола, и читывалъ очень хорошо. Заступившій мѣсто фонъ-Визина, новый директоръ, Иванъ Петровичъ Тургеневъ, великій охотникъ самъ пѣть и читать въ церкви, и супруга его Прасковья Семеновна, весьма богомольная барыня, полюбили Мудрова, какъ за чтеніе, такъ и за его благо нравіе, соединявшееся съ наружнымъ благообразіемъ: Мудровъ былъ хорошъ, даже красивъ собою, стройнаго роста, волосы имѣлъ черные, отъ природы кудрявые, глаза большіе, черные, лицо чистое, бѣлое, съ нѣжнымъ румянцемъ; взглядъ откровенный, благородный. На первой и на страстной недѣляхъ великаго поста, когда семейство директора говѣло, постная молитвенная служба справлялась въ ихъ покоехъ, и Мудрова приглашали къ чтенію; въ это время онъ подружился

со старшимъ сыномъ директора, Андреемъ Ивановичемъ, и былъ очень обласканъ всѣмъ семействомъ.

Въ 1797 году отчаянно занемогла оспою одиннадцатилѣтняя дочь профессора и библиотекаря въ университетѣ, Харитона Андреевича Чеботарева, Софья Харитоновна. Докторъ, пріятель и товарищъ Чеботарева, профессоръ университета Ѳеодоръ Герасимовичъ Политковскій призналъ за необходимое, для строжайшаго наблюденія болѣзни, поручить больную въ неотлучный надзоръ кому-либо изъ студентовъ медицинскаго факультета, и въ этомъ случаѣ выборъ его палъ на студента Мудрова. Оспа была сплошная и сливная. Когда она назрѣла, тогда студентъ-наблюдатель отеръ каждую оспину ланцетомъ и гноевидную матерію снялъ намоченною въ парномъ молокѣ губкою. Болѣзнь протекала благополучно, почти безъ примѣтныхъ слѣдовъ; обрадованный отецъ обнялъ студента-наблюдателя и сказалъ ему: «Ты хлопоталъ о дѣвочкѣ больной, какъ лучший другъ нашъ, какъ родной братъ ей, такъ будь же ей, теперь твоими же попеченіями исцѣленной, женихомъ, а мнѣ роднымъ сыномъ.» — Мудровъ не отказался отъ предложенія. Тургеневъ и Чеботаревъ познакомили его съ многими достойными уваженія лицами, каковы, на примѣръ, были знаменитый тогдашній любитель и соревнователь русскаго просвѣщенія, Николай Ивановичъ Новиковъ, сенаторъ князь Лопухинъ, московскій почтъ-директоръ Ключаревъ и многіе другіе. Новыя знакомства открыли ему входъ въ лучшіе дома и образованнѣйшій кругъ Москвы, и здѣсь для него было, такъ сказать, практическое училище свѣтскаго обращенія. Въ 1798 году, Мудровъ, конференціею университета, удостоенъ былъ награды золотою медалію, за лучшее рѣшеніе задачи, предложенной студентамъ. Въ 1800 году, Мудровъ награжденъ былъ золотою же медалію за примѣрное похвальное поведеніе. Въ томъ же, 1800 году, послѣдовало высочайшее соизволеніе, на отпускъ лучшихъ студентовъ за границу, для усовершенствованія въ наукахъ, и Мудровъ, въ званіи кан-

дидата медицины, былъ избранъ въ это путешествіе, для образованія себя по части хирургіи. Въ первыхъ числахъ марта 1801 года, онъ выѣхалъ въ С.-Петербургъ, гдѣ засталъ роднаго брата своего, чиновника Алексѣя Яковлевича Мудрова, на одрѣ болѣзни, въ предсмертной тоскѣ, послѣ котораго остались дочь и младенецъ безъ средствъ обезпеченія. Мудровъ, съ письмомъ отъ Чеботарева, явился къ конференцъ-секретарю академіи художествъ, Александру Федоровичу Лабзину, и не только былъ принятъ и обласканъ, какъ родственникъ истиннаго, лучшаго друга, но и облагодѣтельствованъ тѣмъ, что въ этомъ бездѣтномъ семействѣ приняли его сироту-племянницу на воспитаніе, какъ родную дочь. Въ это самое время послѣдовала кончина императора Павла Петровича: отъѣздъ за границу долженъ былъ пріостановиться, а потому Мудровъ, по желанію своему, былъ временно привомандированъ къ морскому госпиталю, въ качествѣ ординатора, и получилъ на руки скорбутную палату. Онъ очень удивился, когда, при осмотрѣ первыхъ, вновь приведенныхъ при немъ больныхъ, увидѣлъ у нѣкоторыхъ всѣ признаки воспалительной горячки, съ мѣстными страданіями, у кого въ легкихъ, у кого въ печени, а между тѣмъ на скорбныхъ листахъ, въ приводномъ покоѣ, эти болѣзни названы просто скорбутомъ. По его соображеніямъ, слѣдовало бы положить больныхъ въ отдѣленіе съ горячками, и поспѣшнѣе умѣрить, кровопусканіемъ и противовоспалительными средствами, чрезмѣрное напряженіе силъ; почему онъ и почелъ за необходимое представить это все на уваженіе главному доктору, который, посмотрѣвъ на больныхъ, сказалъ ему: «Да, это подлинно горячка, только не воспалительная, а скорбутная, или просто скорбуть въ самомъ первомъ своемъ приступѣ; не совѣтую употреблять противовоспалительныя средства, лучше продолжайте противоскорбутныя.» Время показало, что и дежурный ординаторъ по приводному покою и главный докторъ судили вѣрно. «Подобныхъ случаевъ, говорилъ Мудровъ, я никогда не видывалъ въ москов-

скомъ военномъ госпиталѣ, и вотъ былъ мнѣ первый урокъ, доказавшій, что, между изученіемъ болѣзней книжнымъ или теоретическимъ, и распознаваніемъ или взглядомъ практическимъ, есть пространный промежутокъ, который успѣшно и благотворно восполняется долговременнымъ, разсудительнымъ наблюденіемъ и долготерпѣливою и осмотрительною опытностію, что постигается лишь собственными глазами непосредственно, и чего заглазно нельзя ни словами пересказать, ни перомъ описать.» — Между тѣмъ, въ 1802 году, дозволено было отправить за границу молодыхъ людей университета; всѣ назначенные кандидаты собрались въ С.-Петербургъ, и вмѣстѣ поѣхали въ предназначенный путь, въ іюль 1802 года. Въ Берлинѣ Мудровъ снискалъ себѣ особенную благосклонность знаменитаго въ исторіи медицины — Гуфеланда. Тогда, по всей Германіи, въ медицинскихъ факультетахъ, господствовала почти надъ всѣми умами браунова система. Гуфеландъ, въ такомъ же духѣ, написалъ и напечаталъ тогда первый томъ своей системы практической медицины; въ томъ же духѣ преподавалъ лекціи съ кафедръ, но въ клиникѣ, при постеляхъ больныхъ, слѣдовалъ одной лишь опытности и почти вопреки своимъ лекціямъ. Мудровъ, отъ природы откровенный и простодушный, не вытерпѣлъ и спросилъ у знаменитаго профессора, почему онъ съ кафедры говоритъ одно, а при больныхъ дѣйствуетъ иначе? — Гуфеландъ отвѣчалъ: «Въ больницѣ я обязанъ поступать, какъ велитъ мнѣ совѣсть, а на кафедрѣ я принужденъ говорить то, чего всѣ требуютъ; и если бы сталъ говорить по совѣсти, то никто не захотѣлъ бы меня слушать, и моя аудиторія опустѣла бы.» — Правдивость словъ этихъ подтвердилась предъ Мудровымъ, на самомъ дѣлѣ, въ Бамбергѣ, у профессора Рѣшлауба, самаго жаркаго послѣдователя брауновой системы, у котораго аудиторія была всегда наполнена слушателями, въ числѣ которыхъ были даже и профессора другихъ университетовъ; такъ, на примѣръ, тутъ сидѣли съ Мудровымъ,

на одной лавкѣ, Зибольдъ, Озіандеръ и другіе; но въ клиникѣ рѣшлаубовой, весьма опрятной и даже нарядной, Мудровъ не видалъ ни одного больного: жители Бамберга и окрестностей его боялись и клиники и леченія Рѣшлауба; молва народная была, что больные, какими бы легкими недугами ни были одержимы, въ этой и клиникѣ почти всегда разнемогались и умирали, потому что Рѣшлаубъ при постеляхъ больныхъ дѣйствовалъ такъ же, какъ говорилъ и на каедрѣ. Въ Гёттингенѣ, Мудровъ усердно учился у знаменитаго Августа-Готлиба Рихтера, директора и профессора клиники, и пользовался его благосклонностію; тамъ же онъ особенно подружился съ профессоромъ Бальдингеромъ. Въ Вѣнѣ, Мудровъ преимущественно изучалъ болѣзни глазъ, подъ руководствомъ профессора Беера. Въ Парижѣ, Мудровъ прожилъ четыре года, потому что былъ тамъ задержанъ военными обстоятельствами, и во все это время прилежно слушалъ лекціи, публичныя и частныя, у именитѣйшихъ профессоровъ Портала, Пинеля, Бойе и другихъ. Обучая князей Голицыныхъ русскому языку и живя у нихъ въ домѣ, онъ постоянно былъ въ кругу лучшаго парижскаго общества, гдѣ встрѣчался и знакомился съ важными лицами тогдашней Франціи. За границу Мудровъ написалъ разсужденіе, на латинскомъ языкѣ, и прислалъ въ совѣтъ Московскаго университета; здѣсь оно было одобрено, однако же не напечатано, и Мудровъ, въ 1804 году, удостоенъ былъ степени доктора медицины, а въ 1805 году, августа 2-го, повышенъ въ званіе экстраординарнаго профессора. Въ 1807 г., на возвратномъ пути въ Москву, онъ былъ, по распоряженію правительства, задержанъ въ Вильнѣ, гдѣ въ то время былъ расположенъ главный военный госпиталь всей арміи, въ которой свирѣпствовала эпидемія заразительныхъ кровавыхъ поносовъ. Ему поручено было одно изъ отдѣленій съ 1,200 больными. Мудровъ началъ свои дѣйствія съ того, что первыхъ умершихъ вскрылъ и увидѣлъ всю мокротную оболочку въ тонкихъ кишкахъ, источенную разными безобразными язви-



нами, которыя были не влажны и какъ будто припорошены тонкою, желтою пылью; судя по этимъ поврежденіямъ, онъ употребилъ особый способъ леченія, который, по его дозволенію, обстоятельно описанъ въ разсужденіи доктора Страхова, въ 1821 году.

Съ легкой руки, и даже съ перваго раза, смертность уменьшилась и вскорѣ совсѣмъ прекратилась въ его отдѣленіи, а потомъ и во всемъ госпиталѣ. За этотъ подвигъ Мудровъ награжденъ чиномъ надворнаго совѣтника и единовременно, изъ кабинета императора, выдачею 2,000 рублей, на что воспослѣдовало высочайшее соизволеніе въ концѣ 1809 года. Мудровъ тамъ сошелся съ профессоромъ Виленскаго университета, славнымъ Іосифомъ Франкомъ, тамъ же подружился и съ знаменитымъ литотомистомъ Пайоло, который былъ вызванъ изъ чужихъ краевъ, для операціи одному весьма богатому польскому помѣщику. Пайоло полюбилъ Мудрова, всегда приглашалъ его бывать ассистентомъ при операціяхъ, которыя онъ часто производилъ въ Вильнѣ, и наконецъ даже показавъ ему на трупахъ всѣ подробности и тонкости своего искусства, доставившаго мастеру славу и огромное состояніе.

Въ іюнѣ 1808 года, Мудровъ возвратился изъ путешествія въ Москву, прямо въ семейство заслуженнаго профессора Чеботарева, и первымъ долгомъ поставилъ себѣ явиться къ начальникамъ своимъ, учителямъ и лучшимъ знакомымъ. Одинъ изъ прежнихъ знакомцевъ, сенаторъ Иванъ Вл. Лопухинъ, поспѣшилъ представить новопріѣзжаго путешественника лучшимъ и важнѣйшимъ московскимъ лицамъ. Тогда же началась и въ университетѣ профессорская дѣятельность Мудрова. Съ 17-го августа того же 1808 года по 28-е іюня 1809 года, въ продолженіе академическаго курса, онъ преподавалъ науку о гигиенѣ и болѣзняхъ, обыкновенныхъ въ дѣйствующихъ войскахъ, а въ публичномъ торжественномъ собраніи университета, въ 1809 г., произнесъ рѣчь: «О пользѣ и предметахъ военной гигиены или науки сохранять здравіе военно-служа-

щихъ.» Еще въ началѣ этого года, профессоръ патологіи и терапіи и директоръ клиническаго института, докторъ Политковскій, за выслугою болѣе 25 лѣтъ и по разстроенному здоровью своему, просилъ объ увольненіи отъ службы. На это мѣсто, по рекомендаціи Политковскаго, Мудровъ былъ избранъ, апрѣля 15-го того же года, и утвержденъ въ званіи ординарнаго профессора и директора клиническаго института. Здѣсь онъ учредилъ новый порядокъ составленія и веденія скорбныхъ листовъ, или исторіи болѣзней; для образца написалъ исторіи двухъ больныхъ и собственною рукою вписалъ въ красную, съ золотымъ обрѣзомъ и украшеніями, сафьянную книгу, назначенную имъ для исторій болѣе замѣчательныхъ болѣзней. Въ сентябрѣ 1812 года, при нашествіи французовъ, Мудровъ, тогда деканъ врачебнаго отдѣленія, послѣдовалъ, вмѣстѣ съ ректоромъ и другими членами университета, въ Нижній-Новгородъ, гдѣ не оставлялъ подавать дѣятельную помощь больнымъ.

По очищеніи Москвы отъ непріятельскихъ войскъ, Мудровъ, въ 1813 году, какъ деканъ медицинскаго факультета, выказалъ особенное усердіе, при возобновленіи прежней анатомической аудиторіи, для преподаванія всѣхъ вообще предметовъ медицины, и 13-го октября, собственнымъ иждивеніемъ, торжественно открылъ медицинскій факультетъ, причемъ произнесъ: *Слово о благочестіи и нравственныхъ качествахъ гиппократова врача*, которое тогда же и напечатано. Въ октябрѣ же, принялъ должность ординарнаго профессора патологіи, терапіи и клиники въ московскомъ отдѣленіи императорской медико-хирургической академіи, гдѣ немедленно устроилъ и открылъ клиническій институтъ. Въ 1818 году, по порученію попечителя университета, князя Оболенскаго, Мудровъ составилъ два проекта медицинскаго института, на 100 воспитанниковъ, и клиническаго института, на 50 больныхъ. Этотъ вновь учрежденный при университетѣ медицинскій институтъ и возобновленный и распространенный клини-

ческий институтъ, были, въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1820 года, торжественно открыты. Мудровъ назначенъ былъ въ званіи директора обоихъ институтовъ. Мудровъ пять разъ былъ избираемъ въ деканы медицинскаго факультета, а именно, въ 1812, 1813, 1819, 1825 и 1828 годахъ; кромѣ того, за свои ученые труды, былъ принятъ членомъ весьма многихъ ученыхъ обществъ. При вышеупомянутомъ открытіи института медицинскаго и клиническаго, Мудровъ сказалъ рѣчь: *О способъ учить и учиться практической медицинѣ*, и въ этомъ сочиненіи, въ сильныхъ и даже въ рѣзкихъ чертахъ, правдиво изобразилъ трудность изученія врачебной науки, тягостное бремя обязанностей добросовѣстнаго врача и вообще все то, что двадцатипятилѣтняя опытность открыла ему, прежде какъ ученику, а потомъ какъ учителю. Тутъ онъ показалъ себя прямымъ послѣдователемъ медицины гиппократовской, непричастнымъ никакой теоріи или системѣ. Но, съ 1824 года, онъ нѣсколько началъ склоняться къ теоретическому воззрѣнію новой, образовавшейся во Франціи, медицины физиологической; ему стали нравиться сочиненія, въ которыхъ излагалось ученіе парижскаго профессора Бруссе, нѣкоторымъ образомъ подходившее къ его практическимъ наблюденіямъ; въ слѣдствіе чего онъ съ каедрой началъ преподавать лекціи въ особомъ порядкѣ. Мудровъ и въ клиникѣ началъ было слѣдовать тому же воззрѣнію, однако опыты показали, что теорія Бруссе то же, что и теорія Брауна, вывороченная наизнанку, не оправдала тѣхъ великихъ успѣховъ, которые провозглашались въ книгахъ, и нѣсколько болѣзненныхъ случаевъ, вопреки благимъ ожиданіямъ, имѣли неблагоприятный исходъ, между тѣмъ какъ такіе же случаи прежде оканчивались благополучно. Въ слѣдствіе того профессоръ Мудровъ, въ своихъ практическихъ дѣйствіяхъ, не измѣнилъ прежней преданности и покорности опыту и наблюденіямъ, и если что оставалось при немъ изъ новой системы, то развѣ одно большее, едва ли не излишнее пристрастіе къ употребленію піа-

вокъ, которыхъ, впрочемъ, онъ всегда очень любилъ, и даже, въ 1815 году, вырѣзалъ на прекрасномъ сердоликовомъ перстнѣ печать съ изображеніемъ пѣвки. Эта печатка всегда была у него самая любимая и самая употребительная. Постоянно также любилъ онъ кровопусканіе, и нерѣдко производилъ эту операцію собственными руками, особенно же у бѣдныхъ больныхъ. Въ клиникѣ Мудровъ не оскорблялся, когда медикъ, помощникъ его, отмѣнялъ назначенныя имъ предписанія кому-либо изъ больныхъ, но всегда притомъ говаривалъ своимъ слушателямъ: «На то мнѣ и помощникъ надобенъ, чтобы подмѣчалъ то, чего я не подглядѣлъ, и поправлялъ бы мои ошибки; и на старуху бываетъ проруха.» Когда же кто изъ слушателей сообщалъ, при постели больного, свое мнѣніе, профессоръ ласково принималъ въ соображеніе къ своимъ объясненіямъ, и если замѣчаніе студента ему казалось умѣстнымъ, то хвалилъ, приговаривая: «хорошо, душа, очень хорошо, и я и всѣ мы тебѣ скажемъ спасибо, что надумилъ.» Какъ богобоязливый христіанинъ, какъ добрый и воздержный семьянинъ, какъ чиновникъ, преданный долгу службы, какъ вѣрнопопдаанный, благоговѣнно чтившій и любившій государя и весь царственный домъ, Мудровъ, разставаясь съ молодыми врачами, при отпускѣ ихъ на службу, преподавалъ имъ самыя искреннія поученія: «Ступай, душа, будь скромнень, не объѣдайся мясищемъ, не пей вина и пива, бѣгай отъ картишекъ, будь покорень начальству, люби свое дѣло, свою науку, люби службу государеву, и будешь счастливъ и почтенъ.»

Въ городской практикѣ своей, онъ весьма дорожилъ совѣтами врачей старше его, особенно же своихъ прежнихъ учителей, такъ, напримѣръ, по возвратѣ изъ чужихъ краевъ, Мудровъ явился засвидѣтельствовать уваженіе бывшимъ профессорамъ въ московскомъ военномъ госпиталѣ и своимъ практическимъ наставникамъ, доктору и оператору Ивану Дорооевичу Гильтебрандту и доктору же Матвѣю

Христіановичу Пекену, и весьма былъ опечаленъ ихъ нездоровьемъ. Гильтебрандтъ почти совсѣмъ оглохъ, а Пекенъ ослѣпъ отъ темной воды, почему и былъ совершенно забытъ въ Москвѣ. Не взирая на эти недостатки и высоко оцѣнивая практическую опытность просвѣщенныхъ своихъ учителей, молодой практикъ ни мало не усомнился приглашать ихъ обоихъ на консилиумы. Самъ же онъ, призванный на консилиумы, никогда горячо не спорилъ, не порицалъ мнѣній и дѣйствій врачей, но изъяснялъ свои мнѣнія, или возражалъ тихо, вразумительно, безъ надменности, безъ насмѣшекъ; предъ больнымъ и домашними его членами никогда не поносилъ и не чернилъ поступковъ обыкновеннаго врача, пользовавшаго въ домѣ, потому что оуждать врача, предъ неврачами, онъ почиталъ заодно и тоже, что поносить самую науку врачебную; но если усматривалъ неправильныя дѣйствія какаго врача, то наединѣ дѣлалъ ему замѣчанія и даже и выговоръ, но дѣльный, ясный, безъ грубости и оскорбленія, и при всемъ томъ старался всячески оправдать врача предъ больнымъ: если же совѣтовалъ совершенную перемену леченія, то хлопоталъ всегда о томъ, чтобы новыя лекарства, по вкусу, и виду, были, сколько можно, схожи съ прежними. Съ больными своими обходился по наставленіямъ Гиппократата: онъ почиталъ весьма недобрымъ дѣломъ покидать болящаго потому лишь, что тотъ скупо заплатилъ за первое посѣщеніе; особенно же въ болѣзняхъ скоротечныхъ онъ не оставлялъ и богатаго, но скупаго больнаго, безъ помощи; и только по минованіи болѣзни дѣлалъ ему пристойное замѣчаніе о его слишкомъ-разсчетливой благодарности. Онъ былъ совершенно безкорыстенъ, благороденъ въ своей практикѣ, и не только не обижался, не досадовалъ, когда больные оставляли его и призывали къ себѣ другихъ медиковъ, но радовался тому, говоря, что самъ Богъ отводилъ его отъ хлопотъ и печалей. Только разъ Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ былъ очень сильно растревоженъ и огорченъ тѣмъ, что его оставилъ и ввѣрился другимъ, не больно свѣдущимъ

врачамъ, одинъ изъ его больныхъ, преосвященный Августинъ, архіепископъ московскій, страдавшій ипохондрією, и бывшій одиннадцатъ лѣтъ въ тѣснѣйшей дружбѣ съ Мудровымъ.

Всегда почтительный предъ начальствомъ, Мудровъ былъ снисходителенъ, кротокъ, привѣтливъ съ подчиненными своими, не терпѣлъ напраслины и лишней строгости, готовъ былъ всегда каждому оказать помощь, и добрымъ совѣтомъ и ходатайствомъ и вещественнымъ пособіемъ; молодые врачи и медицинскіе студенты университета всегда могли, въ своихъ нуждахъ, прибѣгать къ нему, и не выходили безъ пособія. Онъ любилъ науку, любилъ книги, даже съ пристрастіемъ, и собралъ обширную библіотеку; все читалъ самъ и все помнилъ; время для чтенія было у него въ каретѣ; любилъ всѣхъ тѣхъ, которые любили учиться, и библіотека его была для нихъ открыта: великое благодѣяніе молодымъ людямъ, искавшимъ получить высшія ученныя степени, и писавшимъ необходимыя для того разсужденія. Когда бравшіе у него книги возвращали ихъ назадъ, благодарили его, хвалили книги и библіотеку, тогда онъ радовался, что удалось ему пособить молодымъ людямъ. И его библіотека и его столь радушная общительность были истиннымъ, лучшимъ прибѣжищемъ для искателей прочныхъ познаній въ медицинѣ. Университетская библіотека не была еще открыта, потому что не была приведена въ порядокъ. Мудровъ не жалѣлъ книгъ, лишь бы только читали ихъ. Онъ принималъ на себя хлопоты выписывать студентамъ книги изъ чужихъ краевъ: каждый вписывалъ въ тетрадку свое имя и титулъ книгъ, ему необходимыхъ; по этой тетрадѣ Мудровъ, чрезъ московскую книжную лавку Готье, выписывалъ ихъ изъ за границы на свои деньги, съ платою за комиссію по 5 процентовъ съ рубля, и, получивъ, раздавалъ студентамъ-выписчикамъ, которые платили по разсчету — достаточные немедленно при полученіи, маломощные въ разные сроки, а многіе навсегда оставались ему должными, думаютъ, не меньше двухъ тысячъ рублей ассигнаціями, но

отъ Мудрова никогда о томъ не было слышно ни какого на-  
помянана.

Года за два съ чѣмъ нибудь до раззоренія Москвы, докторъ Мудровъ вышелъ изъ дома больнаго на подъѣздъ, бывшій на улицѣ, и хотѣлъ садиться въ карету, когда какая-то женщина, бѣдненько одѣтая, съ большою толстою книгою въ рукахъ, перешла ему дорогу. «Не продаешь ли, голубка, эту книгу?» спросилъ онъ у женщины. — Продаю-сь. — «Покажи-ка, а что цѣна?» — Десять рублей-сь. — Мудровъ посмотрѣлъ на заглавный листъ и увидѣлъ, что это рукописный переводъ латинскаго Калепинова лексикона на русскій языкъ. «На тебѣ, голубушка, деньги», сказалъ онъ женщинѣ, подавъ ей въ руку 15 рублей, и сѣлъ съ покушкою въ карету; но какъ же онъ изумился, когда, разсматривая дорогу книгу, увидѣлъ приписку: «Переведено съ латинскаго на словенорусскій языкъ трудами и начисто переписано рукою іерея Іакова Іоанновича Мудрова». Эта женщина, удивленная щедростію покупателя, успѣла, впрочемъ, спросить у лакея, кто этотъ господинъ? «Докторъ Мудровъ», сказалъ ей слуга, и вскочилъ на запятки кареты, которая помчалась къ другимъ больнымъ. Стоило бѣдной женщинѣ у перваго прохожаго спросить, гдѣ живетъ докторъ Мудровъ, и тотъ прямо ей отвѣтилъ: «ступай въ университетъ». Такъ и случилось: она пришла, узнала, что докторъ еще не воротился, дождалась его на дворѣ у крыльца, и прямо упала ему въ ноги. «Ахъ, батюшка, Матвѣй Яковлевичъ», вскричала она, «вѣдь я несчастная тебѣ не совсѣмъ чужая, я золовка твоей покойной сестрицы.» — «Богъ тебя послалъ ко мнѣ, дорогая родная моя», сказалъ Мудровъ, поцѣловалъ, обнялъ ее, и, взявъ подъ руку, привелъ въ покой, представилъ своимъ тестю и тещѣ, поручилъ женѣ позаботиться послѣднѣе о всемъ для родственницы своей, которую оставилъ у себя; потомъ присовѣтовалъ ей выучиться повивальному искусству, въ чемъ она и успѣла; — въ его домѣ, въ семействѣ, она жила, какъ близ-

кая родственница, до самой кончины своей, лѣтъ черезъ пять послѣдовавшей отъ внутренняго рака. Трудъ родителя—книгу въ кожаномъ ветхомъ переплетѣ—Мудровъ завернулъ въ дорогую, шелковый, большой платокъ и хранилъ пуце своихъ глазъ. Въ дни кручины и горести, онъ вынималъ эту свою драгоценность, раскрывалъ, цѣловалъ, пересматривалъ, дивился уму, учености, трудолюбію отца своего: печали исчезали, радость и удовольствіе заступали ихъ мѣсто въ добродѣтельномъ сердцѣ почтительнаго сына. Въ 1819 году, эта подлинно дорогая книга была переплетена въ алый сафьянный переплетъ, съ золотымъ обрѣзомъ, и, незадолго предъ кончиною своею, Мудровъ помышлялъ было снять съ этого лексикона вѣрный списокъ для печатанія; къ сожалѣнію, это намѣреніе не исполнилось.

Во время пребыванія своего въ Нижнемъ-Новгородѣ, зимою 1812 года, Мудровъ случайно увидѣлъ двухъ сиротъ, дочерей своего учителя, профессора Ѳомы Ивановича Барсукъ-Моисеева: онъ взялъ ихъ къ себѣ въ семью и озаботился о пристойномъ ихъ воспитаніи. Онъ также принялъ къ себѣ и воспиталъ сиротъ, сына и дочь, своего товарища по студенчеству, профессора Ивана Ѳедоровича Венсовича, и всѣхъ онъ любилъ, какъ своихъ дѣтей. Мудровъ былъ во всемъ умѣренъ, не прихотливъ, могъ довольствоваться малымъ, даже любилъ самый простой столъ и вообще во всемъ простоту; такъ въ его домѣ пріемныя комнаты были обшиты простыми липовыми досками; въ его кабинетѣ, въ которомъ онъ трудился и отдыхалъ, деревянныя съ конопаткою стѣны были ничѣмъ не закрыты, ни обоями, ни штукатуркою; вмѣсто форточки было особое волоковое окошко: все это было ему по сердцу, потому что, хотя нѣсколько, напоминало ему прежній бытъ его дѣтства и молодости, простую избушку родительскую. Къ утреннему чаю его, часто замѣняемому отваромъ изъ листа черной смородины, подавалась пятаковая просфора, которымъ у него не было перевода: бѣдные больные только



ими оплачивали ему за его пособия и посѣщенія. Мудровъ любилъ, чтобы всегда кто нибудь, изъ короткихъ пріятелей или друзей его, обѣдалъ у него, хотя столъ его, самый незатѣйливый, отличался патриархальною простотою и строгою трезвостію и воздержаніемъ, что однако не помѣшало злорѣчію приписывать ему пороки пьянства, обжорства, корыстолюбія. Такия клеветы выдумывали и возносили на него люди, не знавшіе ни самого Мудрова, ни обстоятельствъ его домашнихъ, или злобные его завистники.

Если можно считать въ Мудровѣ слабостію, то его одно тщеславіе и пристрастіе къ своимъ сочиненіямъ; съ примѣтною кручиною выслушивалъ онъ сужденія тѣхъ, предъ которыми читывалъ какую либо свою рукопись, и иногда долго не рѣшался дѣлать, въ своихъ выраженіяхъ, поправовъ, по предложеннымъ ему замѣчаніямъ, которыхъ самъ же отъ слушателя требовалъ. Особенно любилъ онъ и уважалъ языкъ славянскій, и дорожилъ старинными рукописями и старопечатными книгами и вообще всякою стариною. *Молитвенное слово*, сочиненное имъ, и читанное, 5-го іюля 1819 года, при освященіи основанія подъ пристройку къ зданію клиническаго института; также переведенное имъ съ нѣмецкаго языка: *Духовное врачевство, или священныя размышленія о болѣзняхъ тѣла человеческого*, остались неизданными въ свѣтъ лишь потому, что не успѣлъ онъ испросить дозволенія къ напечатанію ихъ буквами славянскими. Сверхъ уже вышеупомянутыхъ торжественныхъ рѣчей и разсужденій, онъ еще написалъ много различныхъ сочиненій, какъ по предмету медицины, такъ и нравственности; наиболѣе практическими и принесшими истинную пользу, преимущественно народной медицинѣ и понынѣ считаются слѣдующія: а) *Разсужденіе о средствахъ, вездѣ находящихся, которыми, въ трудныхъ обстоятельствахъ, при недостаткѣ аптекарскихъ лекарствъ и врачей, должно помогать больному солдату*; б) *Гипократа афорисмы*; в) *Краткое наставленіе о холерѣ и способъ, какъ предохранять себя*

*отъ оной, какъ излечивать ее, и какъ останавливать распро-  
страненіе оной.*

Самое же лучшее и любопытнѣйшее произведеніе ума его и пера заключалось въ огромномъ собраніи исторіи болъзней *всѣхъ до единого изъ болъзныхъ, которыхъ онъ пользовалъ въ продолженіе своей 22-лѣтней московской практики.* Такихъ исторій, писанныхъ сокращенно и какъ бы гіероглифическими знаками на листикахъ золотообрѣзной бумаги, съ небольшимъ 3 вершка длины и безъ малаго по 2 вершка ширины, собрано было у него болѣе 40 томовъ, изъ которыхъ многіе имѣли толщину добраго лексикона.

Всегда помнивъ отцовское, сказанное ему, послѣднее слово, состоявшее въ совѣтѣ любить порядокъ, Мудровъ, съ самаго начала своей медицинской практики, установилъ, для своихъ дѣйствій, особый порядокъ, отъ котораго ни на волосъ не отступалъ до конца своей жизни, — порядокъ, весьма недурный и очень бы не лишній всякому медику-практику, и вотъ въ чемъ онъ состоялъ. Мудровъ имѣлъ всегда при себѣ два бумажника, одинъ годовой, съ календаремъ для двѣнадцати-мѣсячныхъ тетрадокъ, а другой всегдашній, для сворбныхъ листиковъ или исторіи болъзныхъ. Въ годовой записной книжкѣ впечатывалась часть петербургскаго академическаго мѣсяцослова, а именно мѣсяцы, о затмѣніяхъ, роспись табельнымъ днямъ и роспись отхода и прихода московскихъ почтъ, и кромѣ того была шелковая изъ крѣпкаго шнура закладка, за которую закладывалась мѣсячная чистая тетрадка въ 24 листика; каждый мѣсяць тетрадка смѣнялась новою, такою же чистою, а дрежня исписанная откладывалась въ своему мѣсту, въ шкафъ. Первые листочки, числомъ шестнадцать, въ тетрадкѣ назначались днямъ мѣсяца, а именно, самый первый весь подъ первое число; затѣмъ, для каждаго числа, по страницѣ; поля или края сихъ листочковъ подрѣзывались убѣгами, или уступами, на которыхъ выставлялись цифры четныхъ чиселъ мѣсяца: 2, 4, 6 и проч. На каждой страницѣ записывались имена тѣхъ болъ-

ныхъ, которыхъ надобно было посѣщать въ то число мѣсяца, и тѣ дѣла, которыя должно было исполнить. Имена больныхъ трудныхъ подчеркивались одною, либо двумя, либо и тремя линейками, смотря по необходимости непременно быть у нихъ прежде другихъ. У кого успѣвалъ побывать, противъ тѣхъ оставалась буква б. На остальныхъ осьми листикахъ тетрадки записывалось разное не принадлежащее прямо къ практикѣ, на примѣръ, пословицы, свѣдѣнія о простонародныхъ лекарствахъ, любопытные и поучительные анекдоты и тому подобное; съ переменною мѣсяца, изъ прежней тетрадки, переписывалось въ другую, по своимъ мѣстамъ, все, что не исполнено въ минувшемъ, и что слѣдовало кончить въ новомъ мѣсяцѣ. По истеченіи года, число котораго печаталось золотомъ на переплетѣ бумажника, такая записная книжка, со всею дюжиною исписанныхъ мѣсячныхъ тетрадокъ, связывалась шелковымъ шнуромъ и ставилась въ шкапъ. Для новаго года уже была готовая новая такая же записная книжка. Другой бумажникъ, длинный, съ шестью тафтяными сумочками, содержалъ скорбные листочки больныхъ, которыхъ Мудровъ продолжалъ еще навѣщать. Посѣтивъ больнаго въ первый разъ, и изслѣдовавъ его болѣзнь, какъ бы она ни была маловажна, онъ непременно записывалъ ее на своемъ чистомъ листочкѣ, въ началѣ котораго ставилъ имя, отчество, прозваніе, чинъ, занятіе больнаго, годъ, число и недѣльный знакъ для посѣщенія; вносилъ туда опредѣлительные признаки болѣзни и все достойное замѣчанія, назначенныя имъ діету и врачебныя средства; тутъ же писалъ, такъ сказать, черновыи рецептъ, съ котораго потомъ списывалъ начисто другой рецептъ, въ обыкновенномъ видѣ, для аптеки. По его замѣчаніямъ не хорошо, когда врачъ, прописывая рецептъ, ошибается, поправляетъ, перемарываетъ и принимается писать другой рецептъ; это очень пугаетъ больныхъ, или ихъ приближенныхъ, во первыхъ потому, что возбуждаетъ подозрѣніе о нерѣшимости, или о неопытности самаго врача, или о трудности и опасности бо-

лѣзни; вовторыхъ, съ перваго разу, изъ такой неудачи рецепта, суевѣрные люди, а ихъ превеликое множество, выводятъ разныя нелѣпныя предзнаменованія несчастій; въ своей же скорбной запискѣ онъ имѣлъ полную свободу переправлять и перемарывать сочиняемый рецептъ, какъ хотѣлъ, а съ листа переписать рецептъ начисто и безъ ошибки не мудрено. Когда одинъ листикъ весь исписывался, тогда прилагался другой, съ надписью: «продолженіе болѣзни такого-то»; по окончаніи же леченія, всѣ листики этой болѣзни выкладывались изъ бумажника въ томъ той буквы, которою начиналось прозваніе больного и помѣщались въ своемъ мѣстѣ между другими, и самое прозваніе съ именемъ больного вписывалось въ реестръ, при этомъ приложенный. Всѣ скорбные листики умершаго выкладывались въ особый томъ, надписанный *mortui*; имя покойника вписывалось въ реестръ этого тома. Въ богатомъ практической вѣрностію собраніи рецептовъ доктора Мудрова было множество весьма полезныхъ и дѣйствительныхъ, объ отысканіи которыхъ Мудровъ нерѣдко получалъ отъ разныхъ лицъ просьбы, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующаго содержанія отъ нѣкоторыхъ московскихъ старушекъ: «Батюшка, Матвѣй Яковлевичъ, пришли мнѣ рецептъ зеленой мази (или краснаго спирта, или темной микстуры и т. п.), что мнѣ ты давалъ, какъ я у тебя была, очень помогло и теперь ужасъ какъ надобно.» Случалось, по такимъ запискамъ, выдавать рецепты, прописанные въ первый разъ лѣтъ за десять, за пятнадцать и всегда удовлетворительно; больные узнавали прежнее лекарство и благодарили Мудрова. Немногіе врачи въ Москвѣ обладали такимъ богатымъ собраніемъ практическихъ наблюдений, и покойный чрезвычайно дорожилъ и берегъ это безцѣнное сокровище свое, и собирался составить изъ него надлежащій сводъ, подъ заглавіемъ: *Praxis medica* («Медицинская практика»). Пригласивъ для этого важнаго дѣла въ сотрудничество профессора и медика Страхова, — Мудровъ передалъ ему весь свой безцѣнный сборникъ, чтобы приго-

товить въ печати. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1830 года, Мудровъ получилъ строгое предписаніе, чтобы, чрезъ 24 часа, по полученіи этого предписанія, отправился въ Саратовъ, въ учрежденную тамъ временную центральную комиссію для прекращенія болѣзни холеры, и на другой день, въ самую грязную и ненастную погоду, и въ опредѣленный срокъ, онъ выѣхалъ изъ своего дома. Проѣздомъ чрезъ губернской городъ Владиміръ, по желанію тамошняго гражданскаго губернатора, Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ написалъ: *Краткое наставленіе о холерѣ*, по тѣмъ свѣдѣніямъ, какія могъ имѣть объ этой новой тогда въ Россіи болѣзни. Въ концѣ декабря того же 1830 года, центральная комиссія для уничтоженія холеры прибыла въ Москву, а съ нею воротился и Мудровъ, который тогда написалъ извѣстное: *Наставленіе простому народу, какъ предохранять себя отъ холеры и лечить занемогшихъ сею болѣзнію въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ни лекарей, ни аптекъ*. Это наставленіе, по разсмотрѣніи въ медицинскомъ совѣтѣ, пущено въ ходъ, отъ имени медицинскаго совѣта, немедленно напечатано, и послѣ внесено въ XIII томъ свода законовъ (изданія 1832 года). За это «Наставленіе» и вообще за усердіе и труды по важному дѣлу прекращенія холерной эпидеміи, Мудровъ награжденъ былъ чиномъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника. Въ началѣ мая 1831 года, весь комитетъ холерный, предсѣдательствуемый Мудровымъ, былъ отозванъ въ С.-Петербургъ.

Съ великою грустію, Мудровъ оставилъ свою милую Москву, съ такою же грустію пріѣхалъ въ С.-Петербургъ, и эта печаль чрезвычайно умножилась въ немъ, когда, вопреки его желанію, настоянію и запрещенію, туда пріѣхала, за нимъ вслѣдъ, и супруга его, вмѣстѣ съ дочерью, въ то самое время, когда холера, прекратясь въ Москвѣ, начала свирѣпствовать въ Петербургѣ съ половины іюня мѣсяца. Въ разныхъ частяхъ города учреждены были временныя больницы, изъ нихъ въ Рождественской части двѣ, одна на Пескахъ, а другая у Калаш-

ниевой пристани, поручены были особенному попеченію Мудрова. Здѣсь онъ доказалъ свою огромную практическую опытность и отбѣнную вѣрность медицинскаго своего взгляда, въ скоромъ познаніи силъ большаго и степени болѣзни. Іюля 7-го, у него дома, къ обѣду, заказаны были пробныя кушанья, каша и каша, въ такомъ размѣрѣ крупы овсяной, мяса, масла и соли, въ какомъ готовилось все это въ подвѣдомыхъ ему холерныхъ больницахъ. Мудровъ, послѣ домашняго огорченія, не успѣвъ хлебнуть и шести или семи ложекъ пробной овсяной кашицы, всталъ изъ-за стола, ушелъ въ кабинетъ, и заперъ за собою дверь. Въ эту минуту холера овладѣла своимъ противникомъ; больной не хотѣлъ принимать ни лекарствъ, ни совѣтовъ, ни какихъ другихъ пособій, требовалъ только священника, но онъ опоздалъ за множествомъ требъ въ тогдашнее время. Іюля 8-го, Мудровъ вздохнулъ въ послѣдній разъ, — на шестидесятомъ году. Бренныя останки его погребены за Невой, на Выборгской сторонѣ, на холерномъ кладбищѣ, что за церковью св. Сампсонія. На могилѣ его стоитъ темный гранитный памятникъ. Родъ Мудровыхъ, по странному стеченію обстоятельствъ, пресѣлся въ 1831 году, именно отъ холеры, потому что, вскорѣ послѣ кончины Матвѣя Яковлевича, въ Вологдѣ умерли его дядя и племянникъ, тотъ и другой, равно какъ и Матвѣй Яковлевичъ, не оставивъ по себѣ наслѣдниковъ въ мужскомъ колѣнѣ.

ТИМОЕИЪ ИВАНОВИЧЪ

## ПЕРЕЛОГОВЪ

(1765—1841).

Тимоей Ивановичъ Перелоговъ родился въ 1765 году, въ селѣ Перелогѣ, Суздальскаго уѣзда Владимірской губерніи. Отецъ его, Иванъ Ивановичъ, былъ въ то время священникомъ въ этомъ селѣ, кончилъ же свое земное поприще въ санѣ іеромонаха Новоспасскаго монастыря, въ Москвѣ, подъ именемъ Іоакима. Для обученія, Тимоей Перелоговъ поступилъ въ существовавшую тогда суздальскую семинарію, гдѣ и получилъ, по тогдашнему обычаю, фамилію свою, Перелоговъ. Эта семинарія, чрезъ нѣсколько лѣтъ, по учрежденіи семинаріи Владимірской, присоединена была къ ней, почему и онъ, вмѣстѣ съ товарищами, былъ туда переведенъ. По вызову начальства, онъ изъявилъ желаніе перейти въ Московскій университетъ, куда и былъ принятъ въ 1782 году. Еще въ продолженіе курса своего, онъ отправлялъ должность камернаго студента, надзирая надъ воспитанниками гимназіи, существовавшей при университетѣ; потомъ преподавалъ математику (въ 1784 году) въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ; въ послѣдствіи же поручено ему было, въ этомъ пансіонѣ и въ самомъ университетѣ, преподаваніе французскаго и англійскаго языковъ.

Перелоговъ прибрѣлъ основныя познанія въ первомъ изъ нихъ на урокахъ преподавателя французскаго языка въ гимназiи, Бодуэня, которые посѣщались не одними учениками этой гимназiи, но и студентами университета, то соединенно съ учениками, то въ особые часы. Изъ воспоминанiй Перелогова, объ урокахъ Бодуэня, сохранилось, что они бывали обыкновенно въ послѣобѣденное время, и состояли, бѣльшею частiю, въ чтенiи французскихъ газетъ, которыя преподаватель заставлялъ своихъ слушателей переводить. Бодуэнь находилъ, что это приноситъ учащимся двоякую пользу, т. е. упражненiе въ языкѣ и познанiе современныхъ новостей. Перелоговъ долженъ былъ это преподаванiе пополнить, во многихъ отношенiяхъ, собственнымъ усиленнымъ трудомъ. Съ этою цѣлю онъ нашелъ удобнымъ помѣститься нахлѣбникомъ у другаго позднѣйшаго преподавателя французскаго языка въ академической, а послѣ въ губернской московской гимназiи, Демана, чтобы въ его семействѣ прибрѣсти особенно навыкъ къ разговору на этомъ языкѣ. Языкъ книжный Перелоговъ изучалъ между тѣмъ собственными силами. Плодомъ этихъ неимовѣрныхъ усилiй было достиженiе такихъ познанiй, что, по единоголосному мнѣнiю современниковъ, онъ считался между русскими, и вообще между не-французами, необыкновеннымъ знаткомъ языка. Онъ издалъ, для руководства слушателей своихъ, «Французскую грамматику», заслужившую не только полное уваженiе въ то время, но и донинѣ употребляемую въ нѣкоторыхъ духовныхъ училищахъ. Въ послѣдствiи эта грамматика дошла до шестаго изданiя. Перелоговъ издалъ, сверхъ того, «Французскую хрестоматию», которая выходила подъ разными заглавiями; послѣднее изданiе ея было въ 1831 году. Съ 1801 года до 1812 года, Перелоговъ былъ въ Московскомъ университетѣ лекторомъ англiйскаго языка, а потому издалъ также грамматику и хрестоматию англiйскаго языка; въ послѣдствiи онъ принималъ дѣятельное участiе въ редакцiи французскаго лексикона, составленнаго Татищевымъ и изданнаго Селива-



новскимъ, который почитается и понынѣ однимъ изъ лучшихъ французско-русскихъ лексиконовъ, преимущественно по полнотѣ своей.

Но одни современные языки не могли упрочить ему ученаго поприща. Русскій преподаватель иностраннаго современнаго языка, несмотря на пользу, которую оказываетъ ученикамъ, почти всегда, въ большей степени, нежели иностранецъ, считается, къ сожалѣнію, не вполне удовлетворительнымъ. Потому Перелоговъ долженъ былъ почитать свою службу временною. Частію эта причина, частію привязанность къ математикѣ, которую онъ уже преподавалъ въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, побудили его готовить себя къ преподаванію ея въ университетѣ.

Наставникомъ его въ математикѣ былъ профессоръ Ростъ, преподававшій, во время студенчества Перелогова, на латинскомъ языкѣ, геометрію, плоскую тригонометрію, оптику, сферическую астрономію, гномонику и механику. Преподаваніе это, вмѣстѣ съ физикою, сколько могли дойти о томъ свѣдѣнія, оставило во многихъ слушателяхъ, даже не педагогахъ, пріятныя воспоминанія. Нѣкоторые изъ нихъ дѣтямъ своимъ повторяли уроки профессора о плаваніи твердыхъ тѣлъ въ жидкостяхъ, о законахъ видѣнія и т. д. Но алгебра, столь развитая въ послѣдствіи и признанная столь необходимою при преподаваніи математики, не занимала въ большомъ размѣрѣ, въ тѣ времена, преподавателя: на нее, въ концѣ каждаго года, никогда не доставало времени, годичный курсъ обыкновенно оканчивался объявленіемъ о продолженіи алгебры въ слѣдующемъ.

Надобно было сравняться съ вѣкомъ: Перелоговъ, и изъ любви къ знанію, и по совѣстливому долгу профессорства, рѣшился на это. Конечно Московскій университетъ вообще былъ счастливъ своими преподавателями въ томъ отношеніи, что едва ли найдется одинъ, который остановился бы въ наукѣ на той точкѣ, на которой она передана была ему предше-

ственнымъ. Но Перелогову надобно было сдѣлать большой шагъ въ короткое время, вѣроятно, по оказавшейся тогда потребности въ преподавателѣ.

Къ несчастію его, лѣто того года, въ который предстояло ему наиболѣе труда, было необыкновенно жаркое: онъ могъ работать только по ночамъ. Такія усилія, при неблагоприятныхъ обстоятельствахъ, особенно, можетъ быть, при этомъ «ночеденствіи» (его собственное выраженіе), были причиною тяжелой душевной болѣзни: онъ впалъ въ глубокую меланхолію. Перелоговъ рассказывалъ, что подверженъ былъ видѣніямъ въ бодрственномъ состояніи, что не могъ идти по краю улицы, изъ опасенія, чтобы окружныя зданія на него не упали, и ходилъ непремѣнно по срединѣ мостовой и т. д. Умѣренность во всѣхъ желаніяхъ, точное исполненіе постоянной діеты и мучительно-строгое леченіе, ему предписанное, спасли его, хотя въ немъ съ тѣхъ поръ навсегда остались рѣзкіе слѣды задумчивости. Снисхожденіе начальства имѣло, безъ сомнѣнія, большое вліяніе на исцѣленіе больного: всякая другая мѣра сгубила бы его; а вниманіе къ нему поддержало на пути жизни и службы несчастнаго, готовога пасть подъ бременемъ, на него возложеннымъ. Когда Перелоговъ, въ разгарѣ своей болѣзни, пришелъ донести бывшему тогда директору университета (по словесному преданію семьи, г. Приклонскому), что онъ не можетъ нести бывшей на немъ должности преподавателя языковъ французскаго и англійскаго, то директоръ отвѣчалъ ему доброю русскою поговоркою: «черезъ силу и конь не ступитъ».

Такимъ образомъ Перелоговъ имѣлъ возможность продолжать свое леченіе, въ которомъ важную часть занимало обливаніе самою холодною водою, треніе льдомъ, движеніе на свободномъ воздухѣ и употребленіе горькихъ травъ въ различныхъ видахъ. Продолжительныя прогулки на чистомъ воздухѣ обратились у него въ привычку, долго поддерживавшую и укрѣплявшую его здоровье. Такъ, въ послѣдствіи (даже въ

старости), въ свободный день, сходить отъ Сухаревой башни, близь которой онъ жилъ, на колокольню Ивана Великаго, потомъ въ село Алексѣевское на правую водоподъемную машину, потомъ въ Зубово, въ Симоновъ монастырь и воротиться къ Сухаревой башнѣ, для него было прогулкою очень обыкновенною.

Это леченіе кончилось тѣмъ, что Тимоеей Ивановичъ Перелоговъ наконецъ съ честію могъ вступить на поприще преподаванія чистой математики. Между тѣмъ необходимость въ преподавателѣ математики пополнена была кѣмъ то другимъ; а Тимоеей Ивановичъ, съ 1807 года, исправлялъ должность помощника инспектора, въ надзорѣ за ученіемъ и поведеніемъ казенныхъ воспитанниковъ академической гимназіи при университетѣ, и продолжалъ до 1812 года преподаваніе въ университетѣ англійскаго и французскаго языковъ.

Въ этотъ достопамятный годъ, университетскимъ чиновникамъ, вмѣстѣ съ дѣлами правленія и совѣта и нѣкоторою частію библіотеки, указано было укрываться отъ нашествія непріятеля въ Нижнемъ-Новгородѣ. Перелоговъ, вмѣстѣ съ достойнымъ сочленомъ университета, другомъ и товарищемъ его по семинарскому еще ученью, профессоромъ исторіи, Н. Е. Черепановымъ, и семейства ихъ, отправились туда на трехъ лошадяхъ, въ трехъ повозкахъ, 1-го сентября. Они должны были ѣхать шагомъ, между тѣмъ какъ непріятель вступилъ въ Москву уже 2-го сентября. Счастіе ихъ, что нижегородская дорога была занята русскою арміею, иначе всякая экспедиція буйнаго фуражира, направленная по этой дорогѣ, могла быть весьма опасною для путешественниковъ.

Въ Нижнемъ ожидала ихъ новая бѣда: три лошади, привезшія двухъ профессоровъ, были наняты ими, по 100 рублей за каждую, съ пособіемъ изъ казны. Сверхъ же платы за провозъ, необходимыя путевыя издержки совершенно истощили небогатый запасъ ихъ денегъ. Бѣдные профессеры находились нѣсколько времени даже вдали отъ команды университетской,

солдаты которой могли бы помочь имъ, хотя въ домашней услугѣ. Не имѣя возможности никого нанять, два товарища, по вечерамъ, въ глубокіе сумерки, приносили по ведру волжской воды своеручно на палѣ, продѣтой сквозь дужку.

Такая крайняя бѣдность и безнадежность, вскорѣ поправили свое состояніе, имѣли сильное вліяніе на духъ Перелогова. Видя почти безъ куска хлѣба себя, жену и пятерыхъ дѣтей, онъ изнемогъ подъ бременемъ горя. Но начальство отыскало ихъ, и помѣстило, по возможности, въ зданіяхъ нижегородской гимназіи, снабдивъ почти всѣмъ необходимымъ для жизни. Какъ бы въ вознагражденіе за понесенную крайность, съ этой поры домашніа дѣла Перелогова значительно поправились. Многіе достаточные жители Нижняго, узнавъ, что въ ихъ городѣ находится безукоризненный знатокъ французскаго и англійскаго языковъ, захотѣли воспользоваться этимъ случаемъ, и пригласили его давать уроки своимъ дѣтямъ. Это доставило ему много занятій, особенно по англійскому языку, и такое изобиліе въ жизненныхъ средствахъ, какимъ и въ Москвѣ онъ не пользовался.

По возвращеніи въ Москву, въ 1813 году, оставивъ должность помощника инспектора, онъ опредѣленъ былъ къ преподаванію чистой математики въ университетѣ, въ званіи адъюнкта.

Преподаваніе Перелогова носило на себѣ печать задумчивости, которую оставилъ ему недугъ; въ немъ строгіе цѣнители не находили, можетъ быть, той живости, которая составляетъ, такъ сказать, приправу въ урокѣ точной науки, чуждой всякаго краснорѣчія. Но люди, лучше понимавшіе цѣну истины, изложенной ясно и со всею строгостію, видѣли, что его лекціи вполнѣ открывали путь къ чтенію оригинальныхъ писателей, а потому и отдавали имъ полную справедливость. Если же имъ было бы извѣстно, что это преподаваніе есть плодъ перехода, собственными силами, отъ первыхъ началъ науки до исчисленія безвѣчно малыхъ, то, конечно, они признали бы

этотъ переходъ за истинный подвигъ труженика, достойный всякаго вниманія и участія.

Точное и добросовѣстное исполненіе должности составляло отличную черту Перелогова, которая вошла у всѣхъ въ половицу. Звонокъ, возвѣщавшій начало его лекціи, никогда не застигалъ его ниже верхней ступеньки лѣстницы, ведшей въ его аудиторію, или даже на порогъ ея. Пропустить же цѣлую лекцію для него было дѣломъ почти невозможнымъ. Но однажды, именно 8-го декабря 1821 года, тогдашніе студенты дожидались Перелогова на лекцію; звонокъ пробилъ; всѣ сѣли на свои мѣста; вотъ думаютъ, тотчасъ отворится дверь, какъ всегда бывало. Въ обыкновенной болтовнѣ молодыхъ людей, проходитъ пять минутъ: профессора нѣтъ. Это крайне всѣхъ удивило; начались разныя замѣчанія, шутки. Одинъ изъ товарищей, отличавшійся особенною живостію характера, предложилъ записать этотъ день на фронтонѣ печи, подъ самымъ потолкомъ, до котораго можно было дойти по амфитеатру, круто возвышавшемуся и служившему для помѣщенія многочисленныхъ слушателей, которые собирались иногда, въ этой аудиторіи, на лекціи физики, сельскаго хозяйства и т. д. У математиковъ мѣлъ недалеко: предпріятіе тотчасъ было исполнено. Чѣмъ же кончилось глумленіе молодежи! Входитъ сторожъ съ объявленіемъ, что Тимооѣй Ивановичъ на лекціи не будетъ, по причинѣ смерти старшей любимой его дочери, скончавшейся въ этотъ день, предъ самымъ выпускомъ ея изъ Екатерининскаго института. Долго послѣ, но уже не съ улыбкою, взглядывали тогдашніе студенты на эту надпись: въ 1835 г. она была еще видна, такъ какъ мѣлъ на бѣлой стѣнѣ не бросается въ глаза, а для внимательнаго, знающаго въ чемъ дѣло, былъ видѣнъ. Это было въ угловой круглой залѣ стараго университетскаго дома, близъ бывшей аптеки, гдѣ собирается нынѣ общество испытателей природы. Но за этуо пропущенною лекціею вскорѣ послѣдовала другая, февраля 20-го 1822 года, въ день похоронъ супруги Перелогова. Эти

двѣ потери погрузили его въ глубокую скорбь; долго ходилъ онъ на Лазарево кладбище, оплакивать скромный памятникъ, съ надписью: «Дерзай дщи; вѣра твоя спасе тя». Несмотря однако же на эту горестъ, никто не запомнить третьей пропущенной лекціи.

Сверхъ университета, Тимоеей Ивановичъ Перелоговъ служилъ, съ тою же точностію, долгое время преподавателемъ математики, французскаго и англійскаго языковъ и въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ, а съ 1813 года математики и французскаго языка въ московскомъ воспитательномъ домѣ.

Во всѣхъ поступкахъ его, въ теченіе всей жизни, видны были вѣрность долгу, теплая, чистая набожность, честность безукоризненная. Онъ никогда не былъ любимцемъ толпы; но оцѣниваетъ ли она истинныя заслуги? она любитъ не понимать своихъ вумировъ. За то многіе, въ свою очередь удаляясь отъ этой толпы, когда разсѣявался для нихъ чадъ ложнаго очарованія, припоминали и припоминаютъ Тимоеея Ивановича, какъ рачительнаго и полезнаго наставника.

Въ 1825 году, Перелогову исполнился срокъ университетской двадцатипятилѣтней службы: по ходатайству начальства, онъ воспользовался пенсіею, равною полному окладу жалованья, т. е. 2,000 руб. асс. Въ слѣдствіе особеннаго представленія начальства, эта пенсія соединена была съ жалованьемъ 860 р. асс. по воспитательному дому, въ которомъ онъ продолжалъ преподавать до 1839 г. Во этотъ годъ окончилось двадцатипятилѣтняя служба его и по воспитательному дому. Не въ примѣръ другимъ, начальство нашло возможнымъ соединить обѣ пенсіи.

Но недолго пользовался Перелоговъ чистою отставкою и двойною пенсіею. Въ 1840 году онъ началъ чувствовать слабость зрѣнія: боясь лишиться того органа, который доставлялъ ему единственное наслажденіе въ чтеніи книгъ, особенно англійскихъ проповѣдниковъ, онъ рѣшился приступить

къ раціональному леченію. Врачи нашли нужнымъ поставить ему на ногѣ фонтанель; постоянная же привычка прогуливаться на чистомъ воздухѣ, даже необходимость въ этомъ, для другихъ сторонъ здоровья, была причиною, что эта фонтанель раздражилась и перешла въ аптоновъ огонь, прекратившій дни его въ 1841 году, марта 29-го, 76 лѣтъ, незадолго до заутрени на Свѣтлое Христово Воскресенье.

Тимоеей Ивановичъ Перелоговъ былъ хорошаго средняго роста, но станъ имѣлъ нѣсколько сгорбленный; съ лѣтами получилъ онъ наклонность тучнѣть; лице его было полуовальное, носъ античный, глаза каріе, волосы темнорусые кудрявые, довольно рѣдкіе. Въ молодости онъ былъ весьма красивъ.

Въ жизни этого ученаго случился патологическій фактъ, весьма любопытный и рѣдкій, отмѣченный однако въ лѣтописяхъ медицины, какъ явленіе возможное. Въ тяжкое время двѣнадцатаго года, когда Перелоговъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, окруженный семьею, изнемогалъ отъ нужды и горя, голова его посѣдѣла въ одну ночь. Но послѣ, когда благополучіе семейное возвратилось къ нему и онъ, успокоенный вкусилъ снова тишину и счастье жизни, сѣдые волосы замѣнились его обыкновенными темнорусыми и кудрявыми.

**ПЕТРЪ ИВАНОВИЧЪ**

# **СТРАХОВЪ**

(1757 — 1813).

Профессоръ Московскаго университета, Петръ Ивановичъ Страховъ, родился въ Москвѣ, въ 1757 году, отъ бѣдныхъ родителей. Предки его были дворяне города Шуи. Дѣдъ перешелъ въ духовное званіе и былъ сельскимъ священникомъ; отецъ былъ пономаремъ, сначала въ селѣ, а потомъ въ Москвѣ, при церкви Іоанна Предтечи, что въ Кречетникахъ, на Новинскомъ земляномъ валу. Въ этомъ приходѣ, родился Петръ Ивановичъ Страховъ, послѣднимъ изъ дѣтей семейства. Отецъ его гордился своимъ дворянскимъ происхожденіемъ, любилъ вспоминать о своихъ предкахъ и ихъ заслугахъ, и тѣмъ заронилъ въ трехъ сыновьяхъ своихъ желаніе приподняться, и стать повыше въ свѣтѣ. Московскій университетъ тогда только что открылся съ гимназіями, и весьма удовлетворялъ сильнымъ желаніямъ отца и сыновей. Безъ дальнихъ хлопотъ, сперва старшій братъ, а потомъ и средній, прошли чрезъ гимназію разночинскую и поступили въ гражданскую службу. Въ августѣ 1768 года записанъ былъ и Петръ Ивановичъ Страховъ въ ту же гимназію, и вскорѣ потомъ былъ принятъ на казенное содержаніе.



Природа не поскупилась и весьма щедро наградила Петра Ивановича Страхова дарами своими, и красотою тѣлесною, и добротою сердца, и благородною возвышенностію души, и свѣтлостію и острою прозорливостію ума, и рѣдкою неимовѣрно обширною памятію. Въ дѣтствѣ онъ росъ туго, но былъ всегда свѣжъ, здоровъ, чистъ тѣломъ; волосы имѣлъ кудреватые, свѣтлорусые, глаза подъ высокими бровями голубые, большіе, выразительные, взглядъ веселый, кроткій. Рано выказались въ немъ дарованія, отмѣнная понятливость и способности; на осьмомъ году возраста своего, онъ уже бойко и внятно читывалъ церковныя книги; вмѣсто родителя своего читалъ въ церкви «Часы», «Пареміи»; рано выучился онъ писать, и помогалъ отцу своему переписывать разныя лѣтописи и подобныя тому тетради, и съ того времени пріохотился къ отечественной исторіи и ко всякой русской старинѣ. Въ гимназій раскрылись его дарованія. Учителя дивились его способностямъ, и не могли нахвалиться его успѣхами и прилежаніемъ, а начальники любили его за примѣрное благо нравіе. Въ январѣ 1769 года, состоялся указъ о разборѣ священно- и церковно-служителей, съ ихъ дѣтьми, и отобраніи годныхъ изъ нихъ въ военную службу. Тогдашній архіепископъ московскій Амвросій, усердствуя этому указу, оставлялъ при семействахъ по одному сыну, а прочихъ всѣхъ записывалъ въ военную службу. Страхова ожидала та же участь; но архіерей, узнавъ отъ отца его, пономаря, ходившаго въ нѣмецкомъ платьѣ по своимъ дворянскимъ преданіямъ, что дѣдъ былъ поставленъ, въ священники, изъ дворянъ, и что сынъ учится въ гимназій, подозвавъ къ себѣ Петра Страхова, пристально посмотрѣлъ на него, потомъ благословилъ, положилъ на голову ему свою правую руку, и сказалъ: «Богъ съ тобою, поди учись, безъ службы не останешься.» Такимъ образомъ Страховъ, чрезъ нѣмецкій нарядъ отца своего, избавился отъ должности барабанщика или флейтщика. Въ 1771 году, въ вербную субботу, онъ былъ отпущенъ изъ школы въ

домъ родителя на вакацію, на двѣ недѣли, страстную и свѣтлую, но принужденъ былъ остаться слишвомъ годъ, по случаю распространившейся тогда въ Москвѣ чумы. Отецъ его, уже на святой недѣлѣ, принялъ строгія мѣры предосторожности: разложилъ на дворѣ своемъ, у воротъ, курево изъ навоза и поручилъ сыну гимназисту, чтобы ни день, ни ночь не допускалъ курево это гаснуть и останавливаться; заволотилъ наглухо ворота, калитку заперъ на замокъ, а ключъ отдалъ тому же гимназисту, и строго приказалъ ему всѣхъ приходившихъ, не впуская на дворъ, спрашивать, кто и зачѣмъ, и впускать въ калитку не иначе, какъ съ дозволенія родителя; впустивъ же, непременно каждаго старательно окуривать у костра. Старшій братъ Петра Ивановича, чиновникъ егермейстерскаго вѣдомства, заболѣлъ и умеръ въ домѣ графа Остермана; средній братъ, канцеляристъ ревизіонъ - коллегій, былъ въ качествѣ письмоводителя въ 11-й, нынѣ Серпуховской, части Москвы, при особо назначенномъ на это время смотрителѣ, за точнымъ исполненіемъ предохранительныхъ и карантинныхъ мѣръ противъ заразы. Этотъ Страховъ, письмоводитель, жилъ тогда у Серпуховскихъ воротъ, и отъ родителя своего имѣлъ приказаніе непременно доставлять каждое утро записочку, сколько наканунѣ было умершихъ во всей Москвѣ, а Страховъ гимназистъ каждое утро обязанъ былъ ходить къ брату за такими записочками. Прямая и кратчайшая дорога была ему, туда и назадъ, по Земляному валу, черезъ живой Крымскій мостъ. «Вотъ бывало, я въ казенномъ разночинскомъ сюртукѣ, изъ малиноваго сукна съ голубымъ воротникомъ и обшлагами, на голубомъ же стамедномъ подбоѣ, съ мѣдными желтыми большими пуговицами и въ треугольной поярковой шляпѣ, бѣгу отъ братца съ бумажкою въ рукѣ по валу, а люди-то, изъ разныхъ домовъ, по всей дорогѣ, и выползутъ и ждуть меня, и лишь только, завидятъ, бывало, и кричатъ: «дита, дита, сколько?» А я-то лечу, прискакивая, и кричу имъ, напримѣръ: «шестьсотъ, шестьсотъ», и добрые

люди, бывало, крестятся и твердятъ: «слава Богу, слава Богу!» — это потому что наканунѣ я кричалъ: семьсотъ, а третьяго дня: восемьсотъ! Смертность была ужасная и росла до сентября такъ, что въ августѣ было покойниковъ чуть-чуть не восемь тысячъ, въ сентябрѣ же хватило за двадцать тысячъ, въ октябрѣ поменьше двадцати тысячъ, а въ ноябрѣ около шести тысячъ. На воздвиженской недѣлѣ мы всѣ говѣли; въ субботу, въ софѣинъ день, утромъ, готовились приобщаться святыхъ тайнъ у стараго Вознесенія, что у Никитскихъ воротъ, ибо нашъ приходъ весь до одинаго двора, опричь нашего, вымеръ; вездѣ ворота и двери были настежь растворены. Въ домѣ нашего священника послѣдняя умирала старуха; она лежала зачумленная подъ окномъ, которое выходило къ намъ на дворъ, стонала и просила, ради Бога, испить водицы. Въ это время батюшка нашъ самъ читалъ для всѣхъ насъ правило ко святому причащенію, остановился, и грозно закричалъ намъ: «Боже храни, кто изъ васъ осмѣлится подойти къ поповскому овну, выгоню того на улицу и отдамъ него дьямъ!» (то есть колодникамъ, приставленнымъ, для подбирания мертвыхъ тѣлъ по улицамъ и на дворахъ). Окончивъ же чтеніе, самъ онъ вынулъ изъ помела самую обгорѣлую палку, привязалъ къ ея черному концу ковшъ, зачерпнулъ воды, и подаль несчастной. Я дивился тогда, зачѣмъ батюшка мой искалъ самую обгорѣлую палку, и вотъ, уже сдѣлавшись профессоромъ, я понялъ, что онъ предостерегалъ себя тѣмъ отъ заразы, ибо уголь признанъ теперь за лучшее средство къ очищенію воздуха, воды и вообще всего отъ нечистой вони, порчи и заразы. Отецъ мой былъ человѣкъ неученый, не физикъ, но тутъ выказалъ довольное познаніе дѣйствій природы; нашего дома зараза не коснулась. Университетъ былъ на все это время затворенъ, и гимназическое ученіе порядкомъ установилось только съ сентября 1772 года.»

Такъ Стаховъ вспоминалъ объ этомъ несчастномъ времени Москвы. Въ 1774 году, онъ окончилъ полный курсъ

гимназическаго ученія. Конференція университета затруднилась было удостоеніемъ его званія студента, по молодости, потому что онъ казался очень молодожавъ, да сверхъ того въ спискахъ ошибкою было ему убавлено около двухъ годовъ, но, по настоянію тогдашняго университетскаго начальства, это затрудненіе было оставлено безъ вниманія. «Кажется, я никогда не бывалъ такъ радъ, говорилъ Страховъ, какъ въ тотъ разъ, когда благодѣтельный Приклонскій вошелъ въ столовую, во время нашего обѣда, и приказалъ портному снять съ меня мѣрку на зеленый мундиръ, т. е. гвардейскаго цвѣта: тогда ученики дворянской гимназіи носили платья и мундиры зеленые безъ шпаги, а студенты, при зеленомъ мундирѣ, имѣли шпаги; гимназисты же разночинцы, также учителя и профессоры, имѣли мундиръ малиновый, съ золотыми дорожчатыми пуговицами и съ голубыми воротникомъ и обшлагами, на бѣломъ подбоѣ, съ голубымъ же исподнимъ платьемъ въ обыкновенные дни, и съ бѣлымъ исподнимъ платьемъ, въ торжественные праздники. Сверхъ того у профессоровъ были всѣ петлицы золотыя, у прочихъ чиновниковъ безъ петлицъ; гимназисты же отличались тѣмъ, что шпагъ не носили.»

Студентъ Страховъ избралъ себѣ факультетъ философскій; особенно онъ изучалъ древнюю литературу и краснорѣчіе. Въ то время любимѣйшимъ увеселеніемъ гимназистовъ и студентовъ бывали театральныя представленія, для чего въ Московскомъ университетѣ и былъ свой постоянный театръ, съ богатымъ гардеробомъ. Гимназистъ Страховъ, мальчикъ живой, стройный собою, красавецъ лицомъ, сперва началъ отличаться на сценѣ въ женскихъ роляхъ, и съ такимъ искусствомъ и удачею разыгралъ трагическую роль Семиры, что удивилъ и восхитилъ автора трагедіи, Александра Петровича Сумарокова, постояннаго распорядителя въ театрѣ университета. Когда же Страховъ на столько выросъ, что не могъ являться въ женскихъ роляхъ, тогда онъ сталъ отличаться и въ мужскихъ, даже перещеголялъ своихъ товарищей студентовъ Ива-

нова и Плавильщикова, чрезвычайно пристрастныхъ къ театру, которые послѣ оба поступили на публичный московскій театръ, первый подъ именемъ Калиграфова, а второй съ подлиннымъ своимъ именемъ. Знанія литературныя и драматическія особенно много развивали дарованія Страхова. Въ университетѣ онъ былъ свидѣтелемъ, какъ студентъ Верещагинъ, авторъ плохихъ одъ, пришелъ въ отчаяніе, прочитавъ оду Державина: «Съ бѣлыми Борей власами». Сумароковъ и другіе тогдашніе театральные авторы всегда предварительно разыгрывали свои сочиненія на сценѣ университетской, послѣ того дѣлали поправки, и тогда уже пускали на публичный театръ, когда признавали ихъ достойными того. Черезъ два года послѣ производства Страхова въ студенты, профессоръ Ростъ пригласилъ студента Страхова къ себѣ въ домъ, жить и учить троихъ его малолѣтнихъ сыновей. Это было молодому человѣку выгодно и полезно: пять рублей въ мѣсяцъ платы отъ профессора, да пять же рублей въ мѣсяцъ жалованія изъ университета, при всемъ готовомъ содержаніи, составляли порядочный доходъ, но, важнѣе всего и дороже, былъ удобный случай самому ему хорошо выучиться письменному и словесному употребленію новыхъ европейскихъ языковъ. Хозяинъ его, Ростъ, хотя не самый глубоко-ученый, говорилъ полатыни, погречески, понѣмецки, поголландски, пофранцузски, поанглійски, поиталіански, поиспански, всего же больше онъ былъ силенъ въ коммерческихъ дѣлахъ, былъ въ то время главнымъ агентомъ голландской компаніи, и этимъ путемъ нажилъ значительное богатство, болѣе тысячи душъ крестьянъ и нѣсколько сотенъ тысячъ рублей. У Роста, на голландскомъ жалованьѣ, было нѣсколько сотъ прикащиковъ, русскихъ людей, чрезъ которыхъ онъ дѣйствовалъ по всей Россіи, закупалъ, даже на корню, всякій хлѣбъ, пеньку, конопляное и льняное сѣмя и масло, смолу, сало, сырыя кожи, волосъ, пухъ, перо, воскъ и прочія произведенія. Все это онъ отправлялъ въ приморскіе города, на голландскіе корабли. Ростъ вель по-

стоянное, вѣрное счисленіе, когда и сколько въ Россіи было обильныхъ хлѣбныхъ урожаевъ и сборовъ прочихъ сырыхъ произведеній. Живя у Роста, Страховъ, поведеніемъ своимъ и прилежаніемъ, снискалъ его довѣренность и дружбу. Осенью 1777 года, Страховъ оплакалъ своего благодѣтеля, Александра Петровича Сумарокова, погребеннаго у задней ограды, прямо противъ святыхъ воротъ Донскаго монастыря, которую могилу Страховъ, до конца жизни своей, не переставалъ посѣщать и указывать другимъ, но могила Сумарокова нынѣ не существуетъ, такъ какъ на этомъ же мѣстѣ погребенъ былъ въ послѣдствіи профессоръ Щепкинъ.

Въ 1778 году, студентъ Страховъ подалъ прошеніе, объ увольненіи его изъ университета, въ опредѣленію на службу. Въ ту самую субботу, когда онъ ожидалъ окончательнаго разрѣшенія конференціи, въ первый разъ пріѣхалъ туда новый кураторъ, Михаилъ Матвѣевичъ Херасковъ. По всѣмъ классамъ промчалась эта вѣсть, и многіе студенты пришли въ канцелярію конференціи посмотреть на знаменитаго стихотворца. Кончилось засѣданіе. Кураторъ Мелиссино и другіе члены вышли; Херасковъ и директоръ Приклонскій оставались въ залѣ присутствія; потомъ директоръ вышелъ въ канцелярію, и спросилъ у студентовъ, не здѣсь ли товарищъ ихъ Страховъ, позвалъ его въ залу и представилъ новому куратору. Херасковъ посмотрѣлъ на Страхова и спросилъ: сумѣеть-ли онъ пофранцузски написать письмо? Молодой человѣкъ откровенно сознался, что прямо пофранцузски мыслить и писать не можетъ, но сперва долженъ сочинить порусски и перевести пофранцузски. «Ну, такъ садись теперь же, здѣсь, сказалъ кураторъ, и напиши французское письмо къ Ивану Ивановичу Шувалову, что я вступилъ сегодня въ кураторскую должность.» Страховъ сѣлъ за красный столъ и написалъ письмо довольно скоро. Херасковъ прочиталъ, остался доволенъ, подписалъ, и поручилъ директору отослать его въ Петербургъ при дѣлахъ университетскихъ, а Страхова поздра-

вилъ своимъ секретаремъ, и велѣлъ въ тотъ же день переѣхать къ нему въ домъ. Въ тотъ же вечеръ новый секретарь жилъ уже у куратора, жена котораго, Елисавета Васильевна, приняла и обласкала его, какъ бы самаго близкаго родственника. На другой день вечеромъ, Херасковъ былъ у двоюродныхъ братьевъ, князей Трубецкихъ, и взялъ съ собою къ нимъ своего секретаря. Домъ князей Трубецкихъ въ то время славился богатствомъ, изящнымъ убранствомъ, и блестящими собраніями особъ избраннѣйшаго общества. Сверхъ того здѣсь, съ вниманіемъ и уваженіемъ къ достоинствамъ талантовъ, принимались профессоры, извѣстные стихотворцы, отличные художники, музыканты, актеры, иностранные путешественники. Въ этомъ кругу, театральныя представленія были уважаемы болѣе другихъ увеселеній, и любителями разыгрывались лучшія русскія и французскія пьесы. Петръ Ивановичъ Страховъ, двадцатилѣтній, умный, стройный и красивый юноша, былъ въ княжескомъ домѣ принятъ ласково, радушно и скоро такъ ознакомился, вошелъ въ такую у всѣхъ любовь, что сдѣлался, какъ бы домашнимъ человѣкомъ, необходимымъ семьяниномъ. Здѣсь былъ для него второй университетъ пракческаго образованія въ обществѣ. Бывъ первымъ актеромъ университетскаго театра, не могъ онъ оставаться въ числѣ послѣднихъ на благородномъ театрѣ у Хераскова и князей Трубецкихъ; онъ и тутъ пріобрѣлъ себѣ славу перваго актера. «Я вовсе не имѣлъ ноть,» говорилъ онъ о себѣ, «и потому не игралъ никогда въ операхъ, но Михаилу Матвѣвичу непремѣнно хотѣлось, чтобы, въ его оперѣ *Добрые солдаты*, я игралъ первую роль молодого Пролета. Надобно было угождать доброму начальнику, и вотъ я разыгралъ ее, пополамъ съ превосходнымъ университетскимъ теноромъ Мошковымъ, тогда еще гимназистомъ. Онъ пѣлъ мои аріи за кулисами, а я лишь расхаживалъ по сценѣ, размахивалъ руками и молча раздвѣвалъ ротъ, какъ будто бы пѣлъ; нашъ капельмейстеръ, глухой Керцелли, мастерски поддерживалъ оркестромъ нашу хитрость, и послѣ

никто изъ зрителей не хотѣлъ вѣрить забавной нашей уловкѣ. Въ остальное отъ должностныхъ занятій свободное время, Страховъ переводилъ книги съ иностранныхъ языковъ на русскій, для извѣстнаго въ то время Николая Ивановича Новикова, съ листа за разныя цѣны, по важности предмета и трудности перевода. Такъ, живя еще въ университетѣ, онъ перевелъ Новикову книгу съ французскаго языка: *Тысяча и одно дурачество*, и послѣ самъ, бывало, всегда шутилъ надъ собою и говаривалъ, что прибавилъ этимъ переводомъ въ книгѣ тысяча второе дурачество. Все лѣтнее время проводилъ онъ при начальникѣ своемъ, въ подмосковномъ его селѣ Очаковѣ. Въ 1779 году, жилъ онъ тамъ въ одной комнатѣ съ поэтомъ Ермиломъ Ивановичемъ Костровымъ: оба они занимались тогда подрядными переводами для Новикова. Въ 1785 году, Страховъ получилъ весьма важное порученіе, состоявшее въ томъ, чтобы осмотрѣть нѣкоторые европейскіе университеты, гимназій и другія училища, и съ тѣмъ вмѣстѣ собрать самыя вѣрныя и точныя свѣдѣнія о состояніи заграничнаго просвѣщенія и вообще о всѣхъ усовершенствованіяхъ, какія въ Европѣ по предмету педагогикѣ тогда были сдѣланы. Довѣріе и любовь къ нему куратора Хераскова простирались до того, что онъ отпустилъ съ нимъ, въ заграничное путешествіе, роднаго своего племянника Романа Хераскова. Оба путешественника должны были явиться въ Петербургъ. Тамъ они получили, отъ графа Шувалова, графа Александра Сергѣевича Строгонова и другихъ лицъ, рекомендательныя письма къ русскимъ посламъ и посланникамъ при тогдашнихъ иностранныхъ дворахъ. Въ самый день отъѣзда за границу, Иванъ Ивановичъ Шуваловъ поздравилъ Страхова экстраординарнымъ профессоромъ. Страховъ, объѣзжая предназначенный ему кругъ путешествія, повсюду встрѣчалъ какую-то необыкновенную суетливость, какую-то во всѣхъ дѣлахъ натяжку, ожиданіе чего-то неизвѣстнаго, неприятнаго. Въ Богеміи и Моравіи московскіе путешественники встрѣтили особенное къ себѣ рас-



положеніе коренныхъ обитателей. Проѣзжая по Швейцаріи, путешественники слышали сѣтованія и жалобы на испорченность нравовъ, распространившуюся въ этой странѣ. Въ Женевѣ графъ Андрей Кирилловичъ Разумовскій познакомилъ ихъ съ лучшими учеными. Въ Парижѣ Страховъ познакомился со старикомъ аббатомъ Бартеlemi, знаткомъ древней литературы, видѣлъ въ рукописи его многолѣтній трудъ, путешествіе Анахарсиса, и тогда же обѣщаль ему непременно перевести его на русскій языкъ, лишь только увидитъ оригиналь въ печати. Съ любопытствомъ и удовольствіемъ, посѣщаль Страховъ парижскую обсерваторію, познакомился и снискаль благорасположеніе къ себѣ директора ея, Делаланда. Постоянно посѣщаль онъ также аудиторію славнаго Бриссона, который въ то время показывалъ и объяснялъ только что открытыя воздухообразныя вещества, газы. Въ Реймсѣ путешественники наши видѣли соборную церковь и знаменитое евангеліе, на которомъ короли французскіе присягали, во время своей коронаціи. Показывавшій эту книгу аббать съ благоговѣніемъ объяснялъ, что она принесена сюда какимъ то чудомъ, и какъ же удивился, когда увидѣлъ и услышалъ, что Страховъ сталъ читать ясно и скоро на языкѣ, вовсе для почтеннаго аббата непонятнымъ. На возвратномъ пути, они застали въ Берлинѣ народъ печальный, сѣтовавшій, въ необыкновенномъ движеніи: король прусскій Фридрихъ II скончался, и наслѣдникъ его затѣвалъ нападеніе на Россію. Наконецъ, въ исходѣ сентября, они возвратились въ Петербургъ.

Страховъ, по возложенному на него порученію, осмотрѣлъ за границею университеты и другія учебныя и воспитательныя заведенія. Всѣ они, по нравственному направленію, показались ему неподходящими къ духу и обычаямъ русскаго народа, и съ этой стороны нестоющими подражанія; но, по множеству кафедръ и по богатству библіотекъ, музеевъ, кабинетовъ и прочихъ учебныхъ пособій, имѣли предъ Московскимъ университетомъ большое преимущество, происходившее

отъ давности учрежденія, множества учащихся и сильныхъ денежныхъ вспомоствованій. Ему казалось особенно необходимымъ для Московскаго университета учрежденіе кафедръ наукъ камеральныхъ. Для своего собственнаго образованія, Петръ Ивановичъ Страховъ старался ознакомиться преимущественно съ лучшими знатоками древнихъ языковъ; обзрѣвалъ подробно предметы изящныхъ искусствъ и художествъ, изучалъ ихъ достоинства и красоты; вообще старался, вполне и какъ слѣдуетъ, приготовиться къ предназначенію своему, къ профессорству краснорѣчія; но обстоятельства не позволили намѣреніямъ его исполниться; кафедра эта въ университетѣ была занята другимъ, почему на первый разъ ему поручена была должность главнаго смотрителя въ благородномъ университетскомъ пансіонѣ. Въ 1787 году, наименованъ онъ былъ инспекторомъ университетской гимназіи, а въ 1789 году, по смерти профессора Роста, Петру Ивановичу Страхову поручено было читать опытную физиву. Хотя это не былъ любимый предметъ Страхова; но онъ имъ занялся съ любовію и даже увлеченіемъ, изучилъ его во всѣхъ подробностяхъ и изъ кафедры, считавшейся тогда неважною, онъ, силою своего таланта, сдѣлалъ такую, которая привлекла къ себѣ вниманіе всего просвѣщеннаго круга Москвы. Успѣхами своими, онъ возбудилъ въ нѣкоторыхъ людяхъ къ себѣ недоброжелательство и зависть, почему начались интриги противъ благонамѣреннаго и ревностнаго профессора. Потребовали отъ Страхова, уже ординарнаго профессора, разсужденія на русскомъ языкѣ: «О движеніи тѣлъ вообще и въ особенности звѣздъ небесныхъ.» Когда же оно было готово, тогда послѣдовало новое требованіе, чтобы написать это разсужденіе латински; было исполнено и это. Распустили слухъ, будто бы предсѣдательствовавшій въ конференціи кураторъ нашель въ этомъ латинскомъ сочиненіи множество грубыхъ, даже грамматическихъ ошибокъ. Такая оскорбительная молва огорчила Страхова; онъ рѣшился явиться къ куратору и неотступно просить, чтобы непременно показали, какія ошибки имъ най-

дены въ его латинскомъ разсужденіи. Кураторъ не могъ показать ни одной ошибки, всячески старался успокоить встревоженнаго профессора, и дѣло тѣмъ рѣшилось, что, спустя немного дней, Петръ Ивановичъ Страховъ открылъ первую пробную лекцію, на русскомъ языкѣ: «о свойствахъ и химическомъ сложеніи атмосфернаго воздуха и о другихъ ему подобныхъ веществахъ.» Главнѣйшее затрудненіе приэтомъ было добыть достаточное количество хрустальной посуды; однако же этому горю скоро пособилъ университетскій публичный демонстраторъ аптекарскаго искусства Гильтебрандтъ, тогдашній содержатель старой никольской аптеки. На эту вступительную лекцію, сверхъ кураторовъ, членовъ конференціи, профессоровъ, учителей и студентовъ съѣхались родные и знакомые Хераскова и князей Трубецкихъ, знатные обоого пола особы. Собраніе вышло блестящее; всѣ удивлялись, и новости предмета, и неожиданности явленій, при опытахъ, и отмѣнному дарованію профессора — изъяснять предметъ просто, легко, пріятно, и чрезвычайной ловкости его приемовъ въ произведеніи опытовъ. Въ заключеніе лекціи, студенты и гимназисты, лучшіе музыканты, приглашенные имъ, для пособія ему при опытахъ, разыграли на химической гармоникѣ нѣсколько акордовъ, и одинъ мотивъ изъ симфоніи Плейеля. Все это чрезвычайно восхитило посѣтителей; всѣ благодарили профессора, поздравляли его съ такимъ успѣшнымъ, блистательнымъ началомъ. Петръ Ивановичъ стяжалъ себѣ въ этотъ разъ громкую славу, и сумѣлъ съ достоинствомъ сохранить ее до смерти своей. Директоръ университета, П. И. фонъ-Визинъ, братъ знаменитаго литератора, послѣ этой первой лекціи, немедленно озаботился устроить, для физическаго класса, отдѣльную аудиторію амфитеатромъ, съ особымъ отдѣленіемъ для физическаго кабинета, очень бѣднаго въ то время. Въ теченіе двадцатидвухъ-лѣтнаго преподаванія физики въ университетѣ, профессоръ Страховъ руководствовался курсомъ Бриссона, который и перевелъ на русскій языкъ (три тома, напечатанные въ 1803

году), а въ 1810 г. издалъ *Краткое начертаніе физики*. Въ 1804—1808 годахъ, по желанію попечителя университета, М. Н. Муравьева, онъ преподавалъ, въ большой аудиторіи университета, публичныя лекціи физики для всѣхъ, кто желалъ изучать явленія природы. На эти лекціи съѣзжалась вся московская знать обоюго пола; чтенія были столь же блестящи, какъ и первая вступительная. Съ 1808 года, по распоряженію попечителя, графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, Страховъ постоянно замѣчалъ, по три раза въ день, измѣненія метеорологическихъ явленій, и наблюденія свои печаталъ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ, что продолжалось безостановочно, безъ малѣйшей перемѣжки даже, до самаго бѣдствія Москвы. По распоряженію начальства, съ 1800 года, онъ преподавалъ физику чиновникамъ, желавшимъ, на основаніи существовавшего тогда постановленія, приготовляться къ экзамену на производство въ чины коллежскаго ассессора и статскаго совѣтника. Слушателямъ своимъ, Петръ Ивановичъ никогда не отказывалъ въ объясненіи того, чего не могли они понять съ перваго раза, и о чемъ его спрашивали по окончаніи лекціи. Но, во время самаго чтенія, онъ не позволялъ такихъ разсросовъ.

Сверхъ преподаванія лекцій, постояннымъ и непрерывнымъ занятіемъ Страхова были опытыя изслѣдованія разныхъ, въ то время не совсѣмъ еще объясненныхъ, естественныхъ явленій: такъ, на примѣръ, онъ желалъ узнать, можетъ ли ртуть испаряться на воздухѣ, при обыкновенной комнатной температурѣ? Для этого онъ, какъ только принялъ на свои руки физическій кабинетъ, немедленно разлилъ ртуть, въ равномъ вѣсѣ, по разнымъ сосудамъ и трубкамъ; съ наивозможною точностію опредѣлилъ и записалъ вѣсъ каждаго налитаго сосуда, оставилъ на одномъ и томъ же мѣстѣ навсегда, по временамъ еще взвѣшивалъ, и въ двадцать лѣтъ не дождался сколько-нибудь примѣтнаго уменьшенія тяжести ни въ одной изъ этихъ налитыхъ ртутью посудинъ, почему и думалъ, что ртуть,

если и выпаривается при 15<sup>0</sup> Реомюра, то въ чрезвычайно безконечно маломъ количествѣ, совершенно нечувствительномъ для вѣсовыхъ инструментовъ. Не менѣе того предметомъ постоянныхъ его изслѣдованій было опредѣленіе силы и образа дѣйствія стужи при замерзаніяхъ и застываніяхъ жидкостей. Всякую зиму у него замораживалась вода въ чугунныхъ бомбахъ, гранатахъ, отверстія затыкались пробками, сухими или смазанными саломъ, или деревянными гвоздями, которые иногда обматывались вмѣстѣ съ бомбами желѣзною проволокою, причемъ оказывались многія необыкновенно любопытныя и удивительныя явленія. Напримѣръ, когда морозы бывали вѣрныя, и выставленная вода въ бомбахъ замерзала скоро, то сухія пробки сами собою выбивались, съ болѣе или менѣе сильнымъ звукомъ, подобнымъ выстрѣлу, и взлетали кверху такъ, что перебрасывались черезъ двухъ-аршинную стѣну маленькой обсерваторіи; сухіе деревянные гвозди, даже проволокою привязанные, также выбивались силою стужи и проволока разрывалась, и во всякомъ подобномъ случаѣ вода выступала изъ отверстія бомбы и торчала ледянымъ стержнемъ, болѣе или менѣе длиннымъ, смотря по степени мороза. Напротивъ того, пробки и деревянные гвозди, смазанные саломъ, почти всегда не уступали напряженію замерзавшей воды, и она распирала во всѣ стороны и разрывала бомбу на два, на три черепа, а ледяной шаръ ея оказывался внутри съ дупломъ, усыпаннымъ длинными ледяными кристалликами, призматической формы, расположенными въ разнообразныхъ направленіяхъ, которыя однако же довольно сходствовали между собою во многихъ опытахъ. Петръ Ивановичъ старался опредѣлить это постоянство въ расположеніи ледяныхъ кристалликовъ, снималъ съ нихъ вѣрные рисунки, и сберегалъ для дальнѣйшихъ сличеній, при новыхъ опытахъ. Какъ скоро наступалъ жестокой морозъ и ртуть упала въ шарикъ термометра, и застывала, Петръ Ивановичъ ни минуты не медлилъ, выходилъ на большое каменное крыльцо университетскаго глав-

наго зданія, и при всѣхъ любопытныхъ наблюдалъ явленія замерзавшей ртути, которая застывала цѣлыми стаканами и рюмками; мялась и ковалась подъ молотомъ, какъ свинець или олово, въ голомъ, къ ней прикасавшемся тѣлѣ, напримѣръ, въ пальцѣ, возбуждала мгновенное чувство жгучести, и оставляла сильные знаки озноба. Тутъ же, сравнительно, испытывалось застываніе разнаго масла: прованскаго, деревяннаго, орѣховаго, маковаго, льнянаго и коноплянаго. Дѣйствіе громовыхъ ударовъ занимало наблюдательнаго Страхова: онъ не пропускалъ ни одного случая, изъ доходившихъ до его свѣдѣнія, и неотлогательно являлся туда, осматривалъ самое мѣсто, опрашивалъ свидѣтелей, изслѣдовалъ причины поврежденій, оставшихся отъ удара. Изъ множества такихъ наблюденій, имъ собранныхъ, онъ вывелъ много важныхъ для науки данныхъ, а относительно громоотводовъ былъ того мнѣнія, что самый лучшій громовой отводъ, безопасный для зданія, долженъ состоять въ желѣзной или вообще въ металлической крышѣ, съ такими же отъ нея спусками до земли. По его мнѣнію, спуски эти надобно было дѣлать въ видѣ трубъ, по которымъ могла бы стекать съ крыши и вода въ опредѣленные для ея слива канавки, что нынѣ, какъ извѣстно, исполняется по требованію правительства, конечно не съ цѣлію предохраненія отъ громовыхъ ударовъ, но только для опрятности, чистоты и сухости города и самыхъ домовъ. Всѣ его наблюденія объяснены въ дополнительныхъ, къ бриссоновой физикѣ, четвертомъ и пятомъ томахъ, приготовленныхъ къ изданію, но погибшихъ въ пожарѣ Москвы. Въ торжественныхъ собраніяхъ университета, Петръ Ивановичъ произнесъ нѣсколько рѣчей, отличавшихся предъ прочими правильностію и чистотою слога и оригинальнію мыслей. Когда явился въ печати французскій оригиналъ *Путешествія младшаго Анахарсиса по Греціи*, Страховъ приступилъ къ переводу его на русскій языкъ, со всею заботливостію ученаго просвѣщеннаго переводчика. Каждое указаніе въ книгѣ

аббата Бартеlemi, каждую ссылку его на сочиненія древних писателей, переводчикъ свѣрялъ съ ихъ оригиналами, лучшихъ изданій, которыхъ онъ, какъ любитель и знатокъ литературы древней и новой, имѣлъ у себя полнѣйшее собраніе. Весь переводъ былъ оконченъ, повѣренъ, исправленъ; слѣдовавшій въ нему географическій атласъ Греціи выгравированъ былъ на мѣдныхъ листахъ; пять томовъ напечатаны, шестой, напечатанный же, но еще не выпущенный изъ типографіи, сгорѣлъ въ московскомъ пожарѣ; тогда же сгорѣли и прочіе томы въ рукописяхъ; также погибли и другіе ученые труды его, какъ, на примѣръ, его «Записки о наблюденіяхъ теченія большой кометы, являвшейся въ сентябрѣ 1811 году», и другіе астрономическіе труды его; также путевыя записки по Европѣ, которыхъ изданія въ свѣтъ онъ не желалъ видѣть при жизни своей, и еще больше того любопытныя по денныя записки его, веденныя имъ постоянно, со времени гимназической жизни его до дня бѣгства изъ Москвы отъ неприятеля. Тутъ ежедневно записывалъ онъ что видѣлъ, слышалъ, чувствовалъ, дѣлалъ, предполагалъ, даже свои собственные ошибки, слабости, неудачи. При этомъ погибла его обширная, въ нѣсколько тысячъ томовъ, избраннѣйшая библіотека, и собраніе рѣдкихъ и любопытныхъ русскихъ лѣтописей, грамотъ, писемъ, монетъ и другихъ вещей. Безъ преувеличенія можно сказать, что въ покояхъ профессора Страхова погибло такое же рѣдкое и неоцѣненное сокровище, какое истреблено въ музеумахъ, кабинетахъ и библіотекахъ Московскаго университета.

Въ началѣ 1803 года, высочайше утверждены были, и обнародованы предварительныя правила министерства народнаго просвѣщенія, которыми предполагалось преобразование Московскаго и Дерптскаго и учрежденіе другихъ университетовъ, въ слѣдствіе чего, въ половинѣ этого года, мѣсто четырехъ кураторовъ, Хераскова, князя Голицына, Коваленскаго и Кутузова, занялъ одинъ попечитель, Михаилъ Никитичъ Му-

равьевъ, а на мѣсто директора Тургенева предоставлено было, общему собранію или совѣту ординарныхъ профессоровъ, ежегодно избирать, изъ среды себя, ректора, что въ сентябрѣ и было исполнено. Преподаваніе лекцій съ 1-го ноября началось по новому распоряженію. Вновь избранный ректоръ, по управленію университетомъ, вступилъ въ полныя права прежнихъ директоровъ. Въ 1805 году, былъ избранъ въ ректоры Страховъ и въ этомъ новомъ званіи не мало былъ полезенъ университету. Между прочимъ онъ оказалъ услугу университету тѣмъ, что привелъ въ весьма удовлетворительное положеніе университетскую типографію, находившуюся въ то время въ совершенномъ упадкѣ и ничтожествѣ. Типографія эта приносила аренднаго дохода до 10 т. руб. асс. въ годъ, между тѣмъ какъ Страховъ возвысилъ доходы до 30 т. руб. асс. Этотъ доходъ былъ употребленъ съ весьма большою пользою, потому что этимъ приращеніемъ университетскихъ доходовъ спасена была, состоявшая при университетѣ, такъ называемая, академическая гимназія, предназначенная тогда къ закрытію. Ректоръ Петръ Ивановичъ Страховъ, лишь только вступилъ въ эту должность, употребилъ всѣ старанія и средства въ поддержанію гимназіи, которая, по мнѣнію его, въ то время была весьма необходима, какъ разсадникъ просвѣщенія, постоянно подготовлявшій способныхъ молодыхъ людей къ педагогическимъ занятіямъ. По его ходатайству, благотворитель университета, Павелъ Григорьевичъ Демидовъ, не только пожертвовалъ все необходимое, для временнаго содержанія оставшейся гимназіи и гимназистовъ, но, сверхъ того, внесъ въ сохранную казну капиталъ, для постояннаго изъ процентовъ содержанія нѣсколькихъ гимназистовъ. Лишь только устроились дѣла типографскія и, въ полугодичномъ отчетѣ о ея дѣйствіяхъ, оказался значительный доходъ университету и даже предвидѣлась надежда на гораздо большее усиленіе этой прибыли. Страховъ успѣшилъ ходатайствовать, предъ начальствомъ уни-



верситета, о предоставленіи половины этого полугодичнаго дохода въ пользу гимназіи, въ чемъ и успѣлъ: разрѣшено употреблять ежегодно по 15,000 р., изъ экономическихъ типографскихъ суммъ, на содержаніе гимназіи; ему же поручено было составленіе положенія этого учебнаго заведенія. Страховъ не замедлилъ исполненіемъ, и новое положеніе удостоилось, въ 1806 году, утвержденія министра народнаго просвѣщенія. Въ маѣ того же 1806 года, по единогласному выбору своего совѣта, Страховъ оставленъ ректоромъ; то же самое послѣдовало въ маѣ 1807 года, и на этотъ разъ противъ воли избраннаго. Такъ какъ въ первый годъ университетскаго управленія типографіею получено около 100 т. р. чистой прибыли, поступившей въ экономическую сумму, то попечитель пожелалъ, чтобы университетъ, по примѣру типографіи, принялъ въ свое полное непосредственное распоряженіе и университетскій благородный пансіонъ, но ректоръ Страховъ, утомленный трудами, ссылаясь на разстроенное свое здоровье, просилъ, въ 1807 году, объ освобожденіи его отъ ректорства, что хотя съ трудомъ, однако было исполнено, къ общему сожалѣнію всѣхъ, понимавшихъ ту пользу, какую Страховъ постоянно приносилъ университету, своими трудами и своимъ рвеніемъ къ дѣлу.

Извѣстность Петра Ивановича Страхова, при всей скромности его, распространилась повсемѣстно и многія ученые общества, не только петербургскія, но и заграничныя, прислали ему свои дипломы на званіе члена. Правительство также наградило его знаками отличія.

Петръ Ивановичъ дорожилъ пріязнію и дружбою, и умѣлъ ихъ сберегать, такъ что всякъ, полюбивъ его, никогда уже не разлюбивалъ: всѣ дорожили сами его пріязнію, ласково-стію, его мудрыми, просвѣщенными и назидательными совѣтами, по всѣмъ частямъ и отраслямъ человѣческихъ званій.

Петръ Ивановичъ пользовался такимъ довѣріемъ отъ своихъ товарищей профессоровъ, что, въ засѣданіяхъ совѣта,

большая половина ихъ не рѣшалась подписывать журналы, пока не увидятъ подписи Страхова. Дѣла, требовавшія болѣе зрѣлаго обсужденія, при отсутствіи его, откладывались до его прихода въ собраніе: «подождемте Петра Ивановича, какъ онъ скажетъ», бывалъ общій голосъ въ подобныхъ случаяхъ. При ясномъ, громкомъ, рѣчистомъ, пріятномъ голосѣ, при искусствѣ произношенія, Страховъ былъ общимъ въ университетѣ ораторомъ, и въ публичномъ собраніи произносилъ торжественныя рѣчи, которыхъ сочинители сами не могли произносить, по слабости голоса, по робости или и по другимъ причинамъ. Всѣ подчиненные любили и уважали его, не столько по боязни, сколько совѣстились нанести ему какое-нибудь неудовольствіе. Умѣя самъ повиноваться, онъ умѣлъ благородно и начальствовать, къ чему онъ созданъ былъ, такъ сказать, самою натурою, при статномъ ростѣ и при видной величественно пріятной наружности. Онъ былъ необыкновенно примѣтливъ и памятливъ: если кого онъ видѣлъ одинъ разъ, и узналъ имя, отчество и прозваніе, то никогда не забывалъ, такъ что, спустя многіе годы, свидѣвшись съ тѣмъ же лицомъ въ другой разъ, прямо называлъ по имени и отчеству. Кромѣ того онъ былъ такъ смѣтливъ, что, глядя въ глаза и въ лицо другому, казалось, читалъ во взорахъ мысли человѣка, и предупреждалъ иногда вопросомъ: «Вы, можетъ быть, думаете то-то, или такъ-то?» — При его вступленіи въ инспекторскую должность, въ гимназіи числилось до 1,200 учениковъ, а чрезъ шестнадцать лѣтъ, въ 1803 г., число ихъ возрасло до 3,300, и всѣхъ онъ зналъ въ лицо, у всѣхъ помнилъ имена и прозваніе и разныя особенности, на примѣръ, походку, цвѣтъ волосъ и проч., такъ что встрѣчавшихся ему учениковъ онъ издалека узнавалъ, и никто не могъ укрыться; если онъ заставлялъ многихъ вмѣстѣ, то, съ перваго взгляда, всѣхъ уже видѣлъ наперечетъ до единаго; всѣ знали эту его смѣтливость, и никто не бѣгалъ и не прятался отъ него. Страховъ былъ всегда чистосердеченъ, цѣломудренъ; ложь никогда

не скользила съ языка его, обманъ никогда не сквернилъ его доброй души. Всегда богобоязливый, богомольный, онъ любилъ церковное пѣніе, и, во время его ректорства, оно было въ университетѣ доведено до высшей степени совершенства. Страховъ любилъ и поощрялъ благопристойныя и полезныя увеселенія: военныя экзерциціи, музыку, театральныя представленія. Последнія называлъ онъ практическою школою, или классомъ училища свѣтскому благоприличію, а потому никогда не отказывался бывать на репетиціяхъ университетскаго театра, и, превосходно зная правила сценическаго искусства, не оставлялъ своими совѣтами.

Хотя профессоръ Страховъ не былъ живописцомъ, и даже рисовальщикомъ, но любилъ и уважалъ это искусство, и былъ истинный знатокъ, потому что глубоко изучалъ явленія природы во всѣхъ существахъ и веществахъ міра. Съ какимъ, бывало, нетерпѣніемъ ожидали его молодые люди въ картинную галерею московской Голицынской больницы, по тѣмъ днямъ, когда отворялась она для публики, и съ какимъ внимательнымъ любопытствомъ и удовольствіемъ слушали его сужденія съ лучшими московскими живописцами.

Наступилъ 1812 годъ; загорѣлась жестокая, упорная война, начатая съ великими бѣдствіями, и оконченная съ достославною честію. Всѣ чины, люди всѣхъ состояній, призваны были къ оружію, на защиту отечества: студенты, гимназисты, канцелярскіе чиновники университетскаго правленія поступили въ московское ополченіе, въ которомъ обязанность главнаго доктора принялъ на себя ординарный профессоръ анатоміи, Илья Егоровичъ Грузиновъ. Всѣ слѣшили къ Смоленску. Петръ Ивановичъ сожалѣлъ, что не имѣлъ степени доктора медицины, и, подобно Грузинову, не могъ своихъ трудовъ и усердія принести въ жертву отечеству, тогда какъ оно имѣло настоятельную нужду во врачахъ. Поле битвы придвигалось къ Москвѣ ближе и ближе; время отъ времени общія ожиданія становились тревожнѣе; многіе обыватели стали

уѣзжать изъ Москвы; даже начался вывозъ казенныхъ имуществъ, архивовъ присутственныхъ мѣстъ; воспитательный домъ закрылъ дѣйствія сохранной казны. Университетское начальство сдѣлало распоряженія о вывозѣ нѣкоторыхъ вещей; подъ физическій кабинетъ предоставлены были двѣ одноконныя подводы; профессоръ Страховъ, сообразно тому, выбралъ и отпустилъ съ этимъ обозомъ самонужнѣйшія машины, снаряды и инструменты. Самъ же онъ, не имѣя лишнихъ денегъ, сверхъ жалованья, выданнаго за мѣсяць впередъ, не имѣя въ виду мѣста, гдѣ бы могъ найти пристанище внѣ Москвы, рѣшился было оставаться, на волю Божию, въ своей квартирѣ. Августа 31-го, въ субботу, послѣ вечерни, приѣхалъ къ нему профессоръ Грузиновъ, и объявилъ, что русское войско подступило подъ Москву, къ самой Дорогомиловской заставѣ, что главная квартира главнокомандующаго, графа Кутузова, въ Филахъ; что квартира Наполеона должна быть не дальше, какъ въ селѣ Вяземахъ, верстахъ въ сорока отъ Москвы; что черезъ день онъ подступитъ подъ самую Москву, почему и совѣтовалъ ему не оставаться въ Москвѣ, но выбратъся на нѣсколько дней, пока тревога и суматоха успокоятся; что если бы французы и не были впущены въ Москву, то не меньшая могла быть опасность отъ пьяной буйной черни. Несмотря на всѣ увѣщанія, Страховъ остался при своемъ намѣреніи. Но на другой день, 1-го сентября, узнавъ, что ректоръ университета уѣзжаетъ и увозитъ съ собою казенныя деньги, свои вещи, студентовъ и гимназистовъ, всего на двадцатидвухъ подводахъ, изъ числа 180 подводъ, присланныхъ отъ главнокомандовавшаго въ Москвѣ, графа Ѳ. В. Растопчина, онъ перемѣнилъ свое намѣреніе. Послѣ многихъ затрудненій и непріятностей въ Москвѣ и въ дорогѣ, Страховъ, съ товарищемъ Брянцовымъ, кое-какъ добрался, 16-го сентября, до Нижняго-Новгорода. Учитель рисованія тамошней гимназій, П. А. Веденецкій, предложилъ безмездно особый домикъ профессорамъ. Между тѣмъ болѣзнь Петра Ивановича Страхова,

начавшаяся еще въ Москвѣ и увеличившаяся дорогою, забирала силу: постоянно онъ былъ въ жару; ему пріятна была въ квартирѣ свѣжесть воздуха; одышка не давала ему и не многихъ минутъ спокойно полежать и подремать. Онъ спалъ, сидя на постели, и облокотясь на спину стула, передъ нимъ поставленнаго. Не взирая на мучительныя страданія, Петръ Ивановичъ не хотѣлъ облѣживаться, ходилъ въ соборъ къ священной службѣ молиться, ходилъ по городу, наблюдалъ, замѣчалъ все достойное вниманія его; большое удовольствіе ощущалъ въ пріятныхъ и умныхъ бесѣдахъ съ своимъ хозяиномъ-благодѣтелемъ, и съ его сыномъ художникомъ. Совѣты и предписанія опытныхъ медиковъ не облегчали страданій больного; болѣзнь не переставала усиливаться. Все это Петръ Ивановичъ Страховъ переносилъ съ христіанскимъ смиреніемъ; безпокойную и скучную бессонницу въ долгія ночи, онъ старался разсѣвать поучительными наставленіями своему племяннику, или воспоминаніями и разказами о минувшемъ времени жизни его, или слушаніемъ, замѣчаніями и разсужденіями о томъ, что ему читалъ его родственникъ. По выходѣ французовъ изъ Москвы, получено было достовѣрное увѣдомленіе, что изъ университетскихъ зданій уцѣлѣли отъ пожара два: одно, гдѣ помѣщалась больница съ клиниками, и другое, гдѣ были квартиры ректора и нѣкоторыхъ профессоровъ, почему ректоръ поспѣшилъ въ Москву, поручивъ профессору Черепанову надзоръ за казенными вещами, также за нѣкоторыми студентами и гимназистами, остававшимися еще въ Нижнемъ-Новгородѣ, впредь до разрѣшенія высшаго начальства университета. Очень хотѣлось и профессору Страхову пуститься въ Москву, къ могиламъ родныхъ, друзей и благодѣтелей; въ началѣ декабря, онъ писалъ о томъ къ ректору, и просилъ о дозволеніи воротиться на прежнее пепелище. Отвѣта не было. Болѣзнь росла; страдалецъ ослабѣвалъ, однако же могъ ходить по комнатѣ, бродилъ даже до собора. Февраля 9-го 1813 года, послѣ полудня, онъ бо-

лѣ часу пробылъ на дворѣ, и любовался рѣдкимъ явленіемъ небеснымъ—деяти солпечныхъ знаковъ. Около солнца явились два большіе радужные круги, которые пересѣкались радужнымъ же крестомъ; въ срединѣ этого креста, сіяло солнце, а въ мѣстахъ, гдѣ онъ пересѣкался съ кругами, видѣлись кружки, подобныя солнцу, но не столь свѣтлыя. Больной сознавался, что онъ отъ роду въ первый разъ тогда видѣлъ такое полное яркое и величественное явленіе, и объяснялъ его обыкновеннымъ радужнымъ преломленіемъ и разъединеніемъ свѣтлыхъ солнечныхъ лучей во множествѣ летавшихъ по воздуху, и даже упадавшихъ на платье наблюдателя, маленькихъ, звѣздчатыхъ снѣжинокъ, весьма правильно образовавшихся изъ водяныхъ атомовъ, которые соединялись въ видѣ мельчайшихъ призматическихъ кристалликовъ. Облегченный нѣсколько въ страданіяхъ, при помощи врача, въ послѣдній вечеръ, больной слушалъ чтеніе извѣстія о побѣгѣ черезъ Березину Наполеона, и поучительно бесѣдовалъ съ своимъ племянникомъ. 12-го же февраля не стало Петра Ивановича Страхова. Онъ положенъ у сѣвернаго входа въ церковь на петропавловскомъ кладбищѣ. Черезъ пять мѣсяцевъ послѣ его погребенія, на могилѣ поставленъ былъ скромный памятникъ, донинѣ сохранившійся въ цѣлости.

**ЕФРЕМЪ ОСИПОВИЧЪ**

## **МУХИНЪ**

(1766 — 1850).

Ефремъ Осиповичъ Мухинъ, изъ небогатыхъ украинскихъ дворянъ, родился въ Чугуевѣ, въ 1766 году. Рано полюбилъ онъ медицину, и рано было ему суждено явиться дѣятелемъ, на практическомъ поприщѣ врачебнаго искусства. Едва успѣлъ онъ пробыть восемь мѣсяцевъ студентомъ харьковскаго коллегіума, какъ уже былъ откомандированъ въ елисаветградскій госпиталь (въ 1787 году), для хожденія за больными, а оттуда, по прошествіи года, посланъ въ главную квартиру генералъ-фельдмаршала князя Потемкина, гдѣ и былъ причисленъ къ главному госпиталю. Массо, докторъ фельдмаршала, замѣтилъ дарованіе молодаго русскаго студента, и ободрялъ первые опыты его въ хирургической практикѣ. Ревностно продолжалъ онъ изучать свое искусство не въ одномъ лазаретѣ, но и на полѣ битвы, подъ огнемъ непріятеля, и былъ очевидцемъ славныхъ дѣлъ нашего войска на Березанскомъ островѣ и подъ Очаковымъ, а, въ сентябрѣ 1788 года, получивъ окладъ годоваго жалованья, въ награду за усердіе свое къ службѣ, возвратился въ елисаветградскій госпиталь. Будучи обязанъ проходить лѣстницу медицинскихъ чи-

новъ съ самой нижней ступени, онъ, по экзамену, приобрѣлъ званіе подлекаря, въ существовавшей тогда при медицинскомъ военномъ госпиталѣ хирургической школѣ (въ 1789 году) и въ то же время поступилъ въ должность прозектора: такъ скоро успѣлъ уже онъ ознакомиться съ анатоміею человѣческаго тѣла, которая, съ хирургіею, всегда оставалась однимъ изъ любимыхъ его предметовъ. Въ послѣдствіи, онъ сдѣлался профессоромъ медицинской полиціи въ Московскомъ университетѣ, будучи уже докторомъ медицины и хирургіи. Въ этихъ занятіяхъ прошло много лѣтъ, и, въ теченіе этихъ многихъ годовъ, Мухинъ успѣлъ приобрести любовь и уваженіе всего университета, особенно медицинскаго факультета и прославить себя въ Москвѣ. Прослуживъ дѣятельно и усердно пятьдесятъ лѣтъ, Мухинъ, въ 1835 году, оставилъ университетъ, и службу вообще, съ почетнымъ званіемъ заслуженнаго профессора и съ пенсіею полнаго годоваго жалованія. Практическою медициною не переставалъ онъ заниматься до 80 года своей жизни, а послѣдніе три или четыре года, разставшись съ практикою, не покинувъ, впрочемъ, науки, провелъ въ смоленскомъ своемъ имѣніи, гдѣ и скончался тихо, послѣ кратковременной болѣзни, въ январѣ 1850 года, на 85 году отъ рожденія.

Вотъ краткій очеркъ жизни Мухина, человѣка въ высшей степени замѣчательнаго. Для Мухина не существовало ничего маловажнаго, ничего второстепеннаго, ни въ службѣ, ни въ наукѣ: за что ни брался онъ, все становилось въ его глазахъ предметомъ первой важности; все дѣлалъ онъ съ жаромъ, съ усердіемъ, съ глубокимъ убѣжденіемъ, въ пользѣ и необходимости своего дѣла. Отъ возлагаемыхъ на него обязанностей, не уклонялся онъ никогда, напротивъ, во многихъ случаяхъ, принималъ на себя лишнія, добровольно и безвозмездно. Даже, въ званіи первенствующаго доктора Голицынской больницы, исправлялъ онъ разныя должности, собственно лежавшія на подчиненныхъ ему врачахъ, въ особенности же свою любимую



операторскую; въ праздничные дни, пользуясь свободнымъ временемъ своихъ академическихъ слушателей, собиралъ ихъ около себя, водилъ по операціоннымъ больнымъ, и всячески старался пріохотить ихъ къ анатоміи и хирургіи. Въ это время, т. е. въ самомъ началѣ нынѣшняго вѣка, Мухинъ занималъ уже одно изъ первыхъ мѣстъ, между извѣстными и прославленными тогда практическими врачами Москвы. Трудно повѣрить, какое множество людей всѣхъ званій обращалось къ нему, за пособіемъ и совѣтомъ, а еще труднѣе объяснить, какъ находилъ онъ время и возможность успѣвать повсюду, не лишая никого изъ своихъ паціентовъ того вниманія и того участія, которыхъ въ правѣ ожидать больной отъ своего врача. И въ той же славі, при той же обширной практикѣ, является онъ профессоромъ университета. Безъ Мухина не обходился почти ни одинъ медицинскій консилиумъ; по всѣмъ концамъ необъятной Москвы были разсѣяны его паціенты, и при всемъ томъ не пропускалъ онъ ни одной лекціи, ни одного экзамена или диспута, ни одного засѣданія университетскаго правленія, совѣта или факультета, если не былъ прикованъ къ постели какою-либо важною болѣзнію, что, впрочемъ, при здоровомъ и вѣрнопомъ его тѣлосложеніи, чрезвычайно рѣдко случалось. Вакаціонное время, свободное отъ лекцій и засѣданій, употреблялъ онъ на приготовленіе къ печати различныхъ сочиненій, собственныхъ или чужихъ. По смерти его, найдены, на письменномъ его столѣ, новые, только что собранные матеріалы, для страннаго сочиненія объ эпидемической холерѣ. Словомъ, привычка къ постоянному, неусыпному труду обратилась у него во вторую натуру; самый отдыхъ его заключался почти только въ перемѣнѣ рода и образа занятій, а жить безъ дѣла и нѣскольکو часовъ для него было то же, что вовсе не жить.

Другую характеристическую черту доктора Мухина и, конечно, одинъ изъ главныхъ источниковъ всей его дѣятельности, составляла рѣдкая его любовательность. «Вѣкъ живи, вѣкъ учишь» было правиломъ, которое внушалъ онъ своимъ

слушателямъ, не только словомъ, но и примѣромъ. Чувствуя, какъ быстро подвигались медицинскія и естественныя науки въ послѣднιά десятилѣтїя, онъ употреблялъ всѣ возможныя усилїя, чтобы не остаться при томъ образованїи, которое получилъ въ осьмидесятихъ годахъ прошедшаго вѣка. Въ зрѣлыхъ уже лѣтахъ, началъ онъ заниматься новѣйшими языками, и, къ чести своей, умѣлъ овладѣть ими въ такой степени, что не только совершенно свободно читалъ на нѣмецкомъ, французскомъ, отчасти и на италїанскомъ языкахъ, но даже объяснялся понѣмецки о предметахъ своей науки, безъ примѣтнаго затрудненїя. Ежегодно умножалъ онъ свою библіотеку, новыми и старыми сочиненїями (за два дня до смерти, писалъ еще онъ, 84-лѣтній старецъ, въ Москву, чтобы ему немедленно выслали новое изданїе «Химїи Либига»), много почерпалъ изъ иностранныхъ періодическихъ изданїй, а немногочисленные того времени русскїе журналы, посвященные врачевнымъ и естественнымъ наукамъ, перечитывалъ, сколько извѣстно, всѣ. Если частныя свѣдѣнїя, собираемые такимъ образомъ, не всегда дожились въ строгій систематическій порядокъ, и довольно часто имѣли характеръ отрывочныхъ, случайныхъ приобрѣтенїй, то нельзя было не дивиться, съ одной стороны, огромной массѣ этихъ частныхъ, а съ другой — необыкновенной легкости и смѣтливости, съ которыми у Мухина тотчасъ находилось для нихъ практическое приложенїе въ дѣлу. Мухинъ былъ практикъ по преимуществу: мало цѣны имѣло для него то отвлеченное знанїе, которое навсегда остается однимъ знанїемъ, одною вывѣскою кабинетной учености; по его убѣжденїю, всякое истинное знанїе должно было вести къ полезному умѣнїю, увеличивать сумму нашихъ практическихъ способностей, а практическая способность никогда и нигдѣ не должна была оставаться праздною. «Если Богъ далъ намъ талантъ, который я въ себѣ чувствую и другїе признають, то мы не въ правѣ оставлять талантовъ скрытыми, а обязаны употреблять на пользу ближняго, по крайней возможно-

сти», такъ отвѣчалъ онъ одному изъ благородныхъ пациентовъ, удивлявшемуся неумолимой его дѣятельности. Какъ видно изъ этихъ словъ, Мухинъ не думалъ скрывать, что самъ считаетъ себя за отличнаго практика: онъ гордился и утѣшался мыслію, что ему дана болѣе чѣмъ обыкновенная способность къ медицинѣ, и что присутствіе этого дара подтверждалось общимъ признаніемъ. Но никогда не желалъ онъ владѣть имъ, какъ своею исключительною собственностію, напротивъ, отъ души ненавидя всякую идею о какой-либо монополіи, о какихъ-либо секретяхъ въ области науки, онъ ревностно старался передать своимъ слушателямъ все свое любознаніе, всю свою страсть къ медицинѣ; а съ тѣмъ вмѣстѣ указать и на средства къ утоленію этой духовной жажды. Каждымъ новымъ приобрѣтеніемъ, спѣшилъ онъ подѣлиться со своею аудиторією, употребляя на то минутъ десять, въ началѣ или въ концѣ своей лекціи; рѣдко проходила лекція безъ подобнаго прибавленія: это была какая нибудь новая мысль, поразившая профессора своею вѣрностію или своею оригинальнію; какое нибудь открытіе, не дошедшее еще до большинства слушателей; фактъ изъ его собственной практики; анатомико-практической препаратъ, анатомическій или хирургическій инструментъ, снарядъ для опытовъ физическихъ или химическихъ; интересное для медика животное или растеніе; библиографическая рѣдкость или каталогъ новѣйшихъ сочиненій, по той или другой части медицины. Будучи профессоромъ анатоміи, онъ постоянно заботился о доставленіи анатомическому театру такого числа труповъ и анатомическихъ инструментовъ, чтобы каждый студентъ имѣлъ полную возможность упражняться въ практикѣ трупосѣченія. Управляя университетскою аптекою, онъ старался сдѣлать изъ нея настоящую *практическую школу* фармаціи. Обративъ особенное вниманіе на недостатокъ въ учебныхъ пособіяхъ и руководствахъ, Мухинъ настаивалъ на томъ, чтобы извѣстнѣйшія иностранныя сочиненія, на латинскомъ языкѣ, доходившія до Москвы въ неболь-

шомъ числѣ экземпляровъ и продававшіяся дорогою цѣною, были перепечатаны на счетъ университета и уступались воспитанникамъ по цѣнѣ, которая дѣлала бы ихъ доступными для каждаго; слушателей же своихъ онъ побуждалъ въ переводамъ съ новѣйшихъ иностранныхъ языковъ на русскій: такимъ образомъ, въ непродолжительный рядъ годовъ, были перепечатаны и переведены разныя сочиненія знаменитѣйшихъ того времени германскихъ и французскихъ медиковъ-писателей, и изданы подъ непосредственнымъ надзоромъ Мухина, который просматривалъ каждый корректурный листъ и, гдѣ казалось ему нужнымъ, прибавлялъ свои замѣчанія и дополненія. Въ началѣ двадцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія, Мухинъ представилъ своимъ слушателямъ, какъ полезно было бы, для казеннокоштныхъ воспитанниковъ медицинскаго института, завести, независимо отъ большой университетской библіотеки, свою собственную, какъ много выгодъ доставила бы она и своекоштнымъ студентамъ, и какъ легко можно было бы положить ей основаніе, малыми добровольными приношеніями. Отъ слова до дѣла было не далеко; профессоръ самъ предложилъ институту первый даръ книгами и деньгами; его примѣру послѣдовали многіе изъ учениковъ, по мѣрѣ силъ и средствъ; каждая лепта принималась съ равною благодарностію, и нынѣ эта библіотека, начавшаяся немногими десятками книгъ, заключаетъ въ себѣ болѣе 9,000 томовъ. Умножать число поклонниковъ и служителей медицины было всегда однимъ изъ ревностѣйшихъ желаній Мухина. Онъ сердился не на шутку, впрочемъ иногда и вовсе понапрасну, когда молодой человекъ изъ его слушателей, по какой бы то ни было причинѣ, оставлялъ медицинскій факультетъ; напротивъ, съ живѣйшею радостію, принималъ каждаго даровитаго студента, который изъ другаго факультета просился въ отдѣленіе врачебныхъ наукъ: если бы то зависѣло отъ него одного, онъ былъ бы готовъ всѣ четыре факультета обратить въ медицинскій.

Съ этою любовію къ труду и съ этою любовію къ наукѣ,

равнялось въ немъ одно чувство: любовь къ отчизнѣ. Мухинъ былъ русскимъ въ душѣ, такъ точно какъ былъ онъ въ душѣ врачемъ: все, что только составляетъ принадлежность русскаго человѣка, — все, что отзывается роднымъ духомъ, — отъ важнѣйшихъ началъ жизни нашего народа до послѣднихъ его привычекъ, преданій, повѣрій, пословицъ и поговорокъ, — все было ему дорого, все близко къ его сердцу. Эта привязанность ко всему отечественному, которую выражалъ онъ, при каждомъ случаѣ, съ обычнымъ своимъ жаромъ и увлеченіемъ, нерѣдко подавала поводъ подозрѣвать, и даже гласно обвинять его, въ невниманіи или нерасположеніи ко всему чужому. Не вдаваясь въ подробныя разсужденія, для опроверженія этихъ обвиненій, ограничиваемся однимъ вопросомъ: какъ согласовать съ ними ту справедливость, которую отдавалъ Мухинъ дарованію и прилежанію каждаго студента и каждаго молодого врача, безъ всякаго различія его націи и вѣроисповѣданія: то усердіе и постоянство, съ которыми, онъ, слѣдуя любимой своей пословицѣ, весь вѣкъ учился у современныхъ ему иностранныхъ писателей; то благоговѣйное уваженіе, съ которымъ произносилъ онъ имена Линнея, Галлера, Блюменбаха и другихъ мужей науки? Все дѣло въ томъ, что Мухинъ, непритворно радуясь каждой встрѣчѣ съ замѣчательнымъ дарованіемъ, радовался вдвойнѣ, если это дарованіе принадлежало его соотечественнику; что онъ не могъ дождаться той минуты, когда наши университеты, со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ отношеніяхъ, сравниются съ лучшими изъ иностранныхъ, и замѣстятъ всѣ свои каеедры профессорами изъ среды собственныхъ своихъ питомцевъ; что, для ускоренія этой минуты, онъ былъ готовъ на всякую возможную для его жертву. Такъ, напримѣръ, въ 1804 и 1805 годахъ, узнавъ о стѣсненномъ положеніи нѣсколькихъ молодыхъ ученыхъ, находившихся за границею, для усовершенствованія себя въ наукахъ, онъ оказалъ имъ услуги, которыя, по обстоятельствамъ, можно было назвать истиннымъ бла-

годѣніемъ. Въ 1812 году, онъ отказался отъ своего профессорскаго жалованья, въ пользу четырехъ отличныхъ лекарей, не имѣвшихъ средства приготовиться къ экзамену на степень доктора и къ занятію адъюнктскихъ мѣстъ. Въ обоихъ случаяхъ ожиданія его не были обмануты: ободренные и поддержанные имъ молодые люди съ честью приобрѣли свои дипломы, и вскорѣ потомъ поступили въ число академическихъ преподавателей.

Тѣ, которые знали Мухина въ частной жизни, любили въ немъ умнаго, пріятнаго собесѣдника, и хвалили его занимательную, живую, веселую рѣчь. Этими качествами отличалось и преподаваніе его съ кафедры. Письменный его языкъ былъ правда нечистъ, отрывистъ и небреженъ до крайности: въ сочиненіяхъ его вездѣ видѣнъ человѣкъ, торопящійся высказать свою мысль, и мало заботящійся о систематическомъ ея округленіи, занятый содержаніемъ излагаемаго и совершенно равнодушный къ формѣ изложенія. Самыя лекціи его, если разсматривать ихъ со стороны расположенія, отнюдь не отличались строгимъ порядкомъ и точною послѣдовательностію; онѣ болѣе походили на свободную бесѣду о различнѣйшихъ медицинскихъ предметахъ, чѣмъ на систематическое изложеніе одного изъ нихъ. За ними необходимо было слѣдить внимательнымъ слухомъ, ибо записывать ихъ не было возможности. Но всегда были онѣ излагаемы живо, обильно, непринужденною рѣчію, часто приправлены красивымъ словомъ и обыкновенно украшены любопытными анекдотами, изъ сферы собственныхъ опытовъ и наблюденій преподавателя. Во всѣхъ этихъ анекдотическихъ фактахъ, высказывался человѣкъ бывалый, много видѣвшій собственными глазами, много работавшій собственною рукою, много извѣдавшій въ поучительной, но строгой и суровой школѣ практической жизни. И надобно помнить объ этой школѣ, которую немногимъ дано пройти и выдержать съ успѣхомъ, чтобы вполне понять и оцѣнить покойнаго Мухина, отдать досто-

инствамъ его всю должную честь, и простить его недостатки, которые, по преимуществу, были недостатками системы и формъ. Надобно помнить, какъ неполны и несовершенны были средства къ изученію медицины, вообще, семьдесятъ лѣтъ назадъ; какъ были тяжелы методы преподаванія, въ сравненіи съ нынѣшними; какъ трудно было неопытному и неприготовленному воспитаннику харьовскаго коллегіума соединить въ себѣ необходимыя теоретическія занятія съ тѣми обязанностями, которыя возложила на него преждевременная его практика. Часто, въ началѣ своего поприща, онъ былъ принужденъ открывать и изобрѣтать то, что давно уже было найдено, — разгадывать, что давно было разъяснено въ извѣстныхъ, но для него еще недоступныхъ, учебникахъ, — предлагать самой натурѣ вопросы, на которые уже былъ данъ отвѣтъ скрытою для него наукою. Какую же твердость духа, какую силу воли нужно было имѣть, чтобы, отъ состоянія бѣднаго студента, для котораго степень подлекаря составляла еще далеко недостигнутую степень, самимъ собою подняться до высшей академической степени, чтобы, изъ неизвѣстнаго лекарскаго помощника въ отдаленномъ углу Россіи, безъ денежныхъ средствъ, безъ покровителей, безъ настоящихъ учебныхъ пособій, сдѣлаться знаменитѣйшимъ столичнымъ врачомъ, смѣлымъ, счастливымъ операторомъ, профессоромъ академіи и университета. Сколько хорошихъ, но обыкновенныхъ, дарованій погубило бы невосвратно, при этой невозможности послѣдовательнаго, методическаго развитія! Сколько доброй, но не желѣзной, воли было бы преломлено и сокрушено подъ давленіемъ столь тяжелыхъ обстоятельствъ! Но это самое давленіе, дѣйствуя на натуру энергическую и своеобразную, вызываетъ ее только на усиленное противудѣйствіе, заставляетъ ее познать весь объемъ своихъ силъ и, внутреннимъ своимъ богатствомъ, восполняетъ недостатокъ внѣшнихъ пособій, и такимъ образомъ производитъ такого самостоятельнаго, оригина-

нальнаго чловѣка, котрымъ вышелъ Мухинъ, изъ своей борьбы съ нуждою, съ лишеніями, съ препятствіями всагаа рода, и котрымъ, можетъ быть, не вышелъ бы онъ никогда, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ.

---



**АНТОНЪ АНТОНОВИЧЪ**

## **ПРОКОНОВИЧЪ-АНТОНСКІЙ**

(1753 — 1843).

Малороссія, родина многихъ даровитыхъ мужей нашего отечества, была родиною и Антона Антоновича Прокоповича-Антонскаго. Имя Прокоповичей уже славилось въ нашей духовной литературѣ. Въ происхожденіи своемъ, онъ соединилъ два сословія: отецъ его былъ дворянинъ и съ тѣмъ вмѣстѣ священникъ въ Черниговской губерніи, какъ то нерѣдко бывало въ Малороссіи. Кіевская академія была мѣстомъ его образованія. Въ 1773 году, вступилъ онъ въ нее, конечно уже не отрокомъ, а зрѣлымъ юношею, и учился въ ней разнымъ языкамъ и наукамъ, какъ сказано въ его послужномъ спискѣ. Академія процвѣтала тогда, попеченіями и щедростію митрополита Гавріила Кременецкаго, который улучшилъ положеніе учителей и обогатилъ ея бібліотеку. Ректоромъ и профессоромъ богословія былъ Никодимъ Панкратевъ, а за нимъ Кассіанъ Лехницкій. Георгій Щербачкій преподавалъ философію. Грамматика, пѣніе и риторика слѣдовала постепенно по классамъ. Сверхъ греческаго языка и латинскаго, которому учили съ низшаго класса, усилено было преподаваніе языковъ новыхъ, особенно француз-

скаго. Было намѣреніе усилить и естественныя науки. Академія, своими малыми средствами, своимъ экономическимъ устройствомъ, могла внушить Антонскому ту бережливость и образовать въ немъ ту хозяйственную распорядительность, посредствомъ которыхъ онъ умѣлъ изъ малаго извлекать многое. Въ 1782 году, онъ перешелъ изъ академіи въ Московскій университетъ, гдѣ былъ студентомъ, вмѣстѣ съ братомъ своимъ, Михаиломъ Антоновичемъ, на иждивеніи дружескаго ученаго общества. Товарищами его были Матвѣй Десницкій (въ послѣдствіи митрополитъ Михаилъ) и Степанъ Глаголевскій (послѣ митрополитъ Серафимъ). Антонскій слушалъ лекціи въ медицинскомъ и философскомъ факультетахъ. Въ 1783 году, изъ медицинскаго факультета, по каедрѣ профессора химіи и медицинской практики, получилъ онъ серебряную медаль; тогда же, вмѣстѣ съ братомъ своимъ Михаиломъ, Подшиваловымъ, Сохацкимъ и другими, является онъ въ числѣ издателей *Поконющагося Трудомълюбца*. Въ 1785 году, Антонскій получилъ вторую серебряную медаль, изъ факультета философскаго; въ 1786 году, вновь изъ медицинскаго, серебряную, первую. Въ 1784 году произведенъ онъ былъ бакалавромъ учительскаго института; былъ репетиторомъ университетскихъ гимназистовъ, въ латинскомъ риторическомъ классѣ, и предсѣдателемъ въ собраніи университетскихъ питомцевъ. Въ 1787 году, его опредѣлили секретаремъ по дѣламъ университета при кураторѣ Мелиссино. Въ томъ же году, поступилъ онъ въ университетскій благородный пансіонъ, для обученія натуральной исторіи, и преподавалъ ее тамъ пятнадцать лѣтъ. Въ 1788 году, марта 7-го, сдѣланъ адъюнктомъ, съ занятіемъ въ университетѣ каедры энциклопедіи и натуральной исторіи.

Антонскій понималъ, что ученые должны болѣе и болѣе сближаться между собою, что разъединеніе ихъ вредно для науки, и ослабляетъ ея вліяніе на общество, что совокупное дѣйствіе ученаго сословія, въ виду всѣхъ, возбуждаетъ уваженіе къ университету, въ разныхъ кругахъ, и движетъ соревно-

ваніємъ въ молодыхъ поколѣніяхъ. Внутри университета, по мѣрѣ силъ своихъ и вліянія, онъ старался распространять также эту общительную силу. Ученые мужи, не кланявшіеся другъ другу, по странной враждѣ или даже антипатіи къ какой нибудь наукѣ, въ его кабинетѣ сближались между собою. Онъ являлся между ними миротворцемъ, посредникомъ. Поддерживать человѣка даровитаго, сохранить его на мѣстѣ для науки, онъ вмѣнялъ себѣ не только въ честь, но и въ строгую обязанность. Такъ, въ преданіяхъ университетскихъ сохранялось долго, какъ поддерживалъ онъ и сберегъ на каедрѣ пылкаго Мерзлякова. Выставить впередъ дарованіе, дать ему ходъ, украсить имъ университетъ — это было также его дѣло.

Литературная дѣятельность Антонскаго была обращена болѣе на педагогическіе предметы. Таковы его: *Чтенія для сердца и разума*, учебныя пособія, въ числѣ двадцати, изданныя имъ для воспитанниковъ университетскаго пансіона. Такова его рѣчь: *О воспитаніи*, произнесенная имъ на актѣ университета, въ томъ же самомъ 1798 году, въ іюль мѣсяцѣ, когда воспитанникъ его, Жуковскій, въ концѣ того же года, получилъ первую золотую медаль съ похвѣльнымъ листомъ. Разсужденіе все пронизуемо мыслию о важности воспитанія; авторъ какъ будто желалъ внушить эту мысль своимъ соотечественникамъ, когда выражался такимъ образомъ: «возврати всю силу и важность воспитанію; сдѣлай его какъ бы священнымъ нѣкимъ предметомъ, и тогда не нужно будетъ ни столько врачей, ни столько блюстителей законовъ.»

Нельзя не обратить вниманія на классическій слогъ, какимъ написано разсужденіе. Простота соединена въ немъ съ точностію и силою. Справедливо заняло оно мѣсто въ числѣ образцовыхъ сочиненій своего времени. Надобно сказать, что Антонскій былъ въ числѣ старѣйшихъ двигателей того же направленія, какое окончательно дано было русскому языку и слогу гениемъ Карамзина. Въ *Чтеніяхъ для сердца и разума*, еще съ 1785 года, слѣдовательно за семь лѣтъ до появле-

ніа Карамзина на поприщі літератури, замѣтно то же стремленіе облизити нашу літературную рѣчь съ разговорною, упростити языкъ, дати ему характеръ бесѣды общезитія. Въ этомъ изданіи Антонскій открылъ поприще для друга своего Подшивалова, извѣстнаго переводчика Мейснеровыхъ Повѣстей, который, по справедливости, можетъ быть названъ замѣчательнымъ даровитымъ предшественникомъ карамзинскаго періода.

Но и въ літературѣ, какъ въ наукѣ, Антонскій не столько любилъ выставляти себя, сколько возбуждати другихъ къ общественному дѣйствію. И здѣсь онъ тотъ же двигатель силы общей, а не своей личной. Дѣятели отъ себя и дѣятели отъ всѣхъ равно необходимы: въ послѣднихъ еще болѣе самоотверженія и безкорыстія. Два средства были у Антонскаго для подобнаго дѣйствія. Первое — *Общество любителей русской словесности*, учрежденное при университетѣ, въ которомъ являлись передъ лицомъ публики люди науки и слова, уже опытные; второе — *Собраніе питомцевъ университетскаго благороднаго пансіона*, которое служило разсадникомъ для юныхъ літературныхъ дарованій, и по времени было зародышемъ перваго. Съ 1811 года, когда Антонскій занялъ мѣсто предсѣдателя въ обществѣ, издано двадцать шесть томовъ трудовъ его, которые представляютъ очевидную лѣтопись его полезной дѣятельности. Они раздѣлялись на два отдѣленія: прозаическое и стихотворное. Въ первомъ отдѣленіи помѣщено много ученыхъ филологическихъ сочиненій, имѣющихъ всегдашнее достоинство. Здѣсь профессоръ Снегиревъ началъ свои археологическія излѣдованія о пословицахъ русскихъ, празднивахъ и другихъ любопытныхъ предметахъ изъ народной жизни. Здѣсь положено начало составленію словаря областныхъ нашихъ нарѣчій. Здѣсь помѣщались образцовые переводы изъ древнихъ классиковъ, какъ, на примѣръ, переводъ Цицероновыхъ парадоксовъ, профессора Давыдова и переводъ сочиненій Тацита: О нравахъ и о положеніи Германіи, А. С. Хомякова. Здѣсь воздавалась должная память членамъ, ко-

торыхъ смерть отнимала у общества; напримѣръ, воспоминаніе И. И. Давыдова о покойномъ Саларевѣ, который сначала былъ украшеніемъ университетскаго пансіона, а потомъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ общества, рано похищеннымъ смертію у науки и словесности. Въ отдѣленіи стихотворномъ, особенно сначала, мы находимъ имена Жуковскаго, Пушкина. Мерзляковъ постоянно помѣщалъ свои лирическія произведенія и переводы изъ древнихъ; Шатровъ свои переложенія псалмовъ. Послѣдніе отголоски Капниста, который, изъ своей Обуховки, велъ постоянныя сношенія съ обществомъ, и князя И. М. Долгорукаго, также раздавались здѣсь. А. И. Писаревъ и М. А. Дмитріевъ тутъ начали свое поприще. Являлись многія дарованія, къ которымъ общество всегда было гостеприимно. Засѣданія по вечерамъ имѣли торжественный характеръ, и привлекали много публики. По обычаю времени, чтеніе начиналось псалмами для того, чтобы настроить слушателей къ думамъ, болѣе важнымъ, и кончалось баснею, чтобы, подъ конецъ, развеселить ихъ. Здѣсь раздавались голоса лучшихъ чтецовъ общества, къ числу которыхъ принадлежалъ особенно Кокоскинъ. Иногда читали Плещеевъ и Яковлевъ, которые сами не дѣйствовали, а только мастерски передавали произведенія другихъ. В. Л. Пушкинъ, подъ конецъ засѣданія, всегда угощалъ слушателей чтеніемъ какой нибудь басни.

Душою и двигателемъ всѣхъ этихъ занятій былъ Антонскій. Своими рѣчами онъ отрывалъ торжественныя засѣданія. Въ рѣчи 1811 года, говоренной при открытіи общества: *О преимуществахъ и недостаткахъ російскаго языка*, Антонскій прекрасно указалъ членамъ на главныя ихъ занятія. Въ 1812 году, іюля 7-го, онъ говорилъ рѣчь въ годичномъ торжественномъ собраніи; также въ 1813 году, торжествуя послѣ непріятеля возобновеніе общества. Главная задача предсѣдателя состояла въ томъ, чтобы всѣхъ согласить къ одному дѣйствию. Здѣсь общительный, миротворный характеръ Прокоповича обнаруживался во всей своей силѣ. Само-

любіе есть вмѣстѣ и важное орудіе для общественнаго дѣла, и самый опасный врагъ единопущія. Самолюбіе же писателей вошло въ пословицу. Надобно было искусно возбудить его въ однихъ, остановить въ другихъ, избѣжать неприятныхъ столкновеній, которыя могли бы нанести вредъ мнѣнію, каковымъ пользовалось общество. Надобно было знать характеры: тотъ пылокъ, тотъ холоденъ и любить раздражить пылаго, а дѣйствія обоихъ важны и необходимы. Не легко было также отмахиваться отъ литературныхъ шмелей, отъ этихъ охотниковъ всюду навязываться съ своими произведеніями. Предварительный комитетъ служилъ оградю противъ этого и рѣшалъ, что читать передъ публикою и чего нельзя. Чистую любовь къ литературѣ, живое участіе къ ея современному движенію, Антонскій сохранилъ до самаго конца своей жизни. Всѣ журналы онъ выписывалъ, и всѣ прочитывалъ со вниманіемъ. Изъ разговоровъ его видно было, что онъ зналъ всѣ подробности литературныхъ отношеній своего времени. Ни одна замѣчательная книга не укрывалась отъ его взоровъ.

Переходимъ къ третьему поприщу Антонскаго, главному во всей его жизни, къ поприщу любимому, на которомъ онъ сосредоточилъ всѣ свои силы, къ университетскому пансіону, основанному, въ 1770 году, кураторами Меллисино и Херасковымъ. Въ 1787 году, онъ занялъ должность преподавателя естественной исторіи въ этомъ заведеніи и преподавалъ ее пятнадцать лѣтъ. Здѣсь встаетъ привести слова, изъ его разсужденія «О воспитаніи», которыя показываютъ, какъ онъ самъ смотрѣлъ на эти занятія: «Между физическими науками, исторія природы для дѣтей гораздо полезнѣе, нежели какъ обыкновенно думаютъ. Ясность понятій зависитъ отъ яснаго представленія различій, отличающихъ одно понятіе отъ другаго. Молодые люди то скорѣе понимаютъ, что ближе къ чувствамъ и болѣе дѣйствуетъ на воображеніе. Въ естественной исторіи, по методу новѣйшихъ натуралистовъ, изъясняются отличительные и непремѣняемые знаки, отдѣляющіе роды и виды, и опредѣ-

ляющіе каждое нераздѣльное. Дѣти, учась приводить въ порядокъ существа, и разбирая примѣты ихъ, нечувствительно получаютъ навыкъ приводить и самыя понятія свои въ нѣкоторый порядокъ, и чрезъ то доставляютъ имъ большую степень ясности и опредѣленности.»

Съ 1791 года, Антонскій былъ уже инспекторомъ благороднаго пансіона и написалъ новое для него постановленіе. Съ тѣхъ поръ постоянною его мыслию было составить лучшія учебныя руководства для своего заведенія. Послѣ московскаго разгрома, въ 1812 году, Антонскій, въ 1814 году, возобновилъ университетскій пансіонъ, учредилъ въ немъ снова порядокъ, доставилъ заведенію многія экономическія и учебныя пособія. Между тѣмъ какъ пансіонъ помѣщался въ наемномъ домѣ, Антонскій, на счетъ пансіонской суммы, отстроилъ новый каменный домъ, на мѣстѣ прежняго дома межевой канцеляріи, и, въ 1815 году, 1-го іюля, перемѣщено было заведеніе въ готовое зданіе на Тверской, насупротивъ дома Бекетова. Въ 1818 году, даны были новыя права заведенію, по которымъ оно могло выпускать своихъ воспитанниковъ съ чинами десятаго, двѣнадцатаго и четырнадцатаго классовъ. Права эти были приобрѣтены постоянными двадцати-шестилѣтними трудами инспектора, который тогда могъ праздновать серебряную свадьбу съ своимъ любимымъ училищемъ. Въ то время получилъ онъ и званіе директора пансіона.

Антонскій не щадилъ трудовъ и усилій для того, чтобы поставить это заведеніе, несмотря на малыя его средства, на самую высшую степень достоинства. Для того онъ пользовался случаями, какіе ему предлагали университетъ и литературное общество. Посредствомъ связей своихъ, онъ достигъ того, что всѣ лучшіе профессора преподавали свои науки и въ университетскомъ пансіонѣ. Возвышенный въ званіе директора, Антонскій умѣлъ избрать себѣ ревностнаго помощника въ профессоръ Давыдовъ, который былъ инспекторомъ пансіона.

Своею ученостію онъ много улучшилъ и возвысилъ учебную часть заведенія; своею неутомимою дѣятельностію онъ оживлялъ духъ въ ученикахъ. Какими средствами хозяинъ пансіона сосредоточивалъ около него всѣхъ извѣстнѣйшихъ ученыхъ университета и всѣ юныя дарованія? Средства у заведенія были скудныя; богатаго жалованья предлагать оно не могло. Его власть, его воля, его дружелюбіе со всѣми, его готовность каждому оказать услугу, и уваженіе общественное, какими онъ пользовался, объясняютъ эту загадку.

*Общество любителей русской словесности* имѣло свои публичныя засѣданія въ залѣ университетскаго пансіона. Это придумано было не безъ цѣли: собраніе ученыхъ и литераторовъ, и чтеніе ихъ произведеній, дѣйствовали нравственно и эстетически на питомцевъ пансіона и возбуждали ихъ къ литературной дѣятельности. Художники-чтецы давали ученикамъ уроки хорошаго чтенія и произношенія, Антонскій же обращалъ и на это особенное вниманіе. Такъ говорятъ онъ въ своемъ разсужденіи «О воспитаніи»: «Есть много искусствъ, кои, кажется, забыты и коихъ однакожъ не надлежало бы оставлять при воспитаніи: таково, напримѣръ, искусство хорошо читать и хорошо произносить. Оно послужило бы равнымъ украшеніемъ и тому и другому полу; но его не такъ легко пріобрѣсти, какъ многіе думаютъ. Чтобы тономъ голоса изобразить различныя положенія души и сердца, изобразить игру страстей, и, вообще, чтобы дать жизнь тому, что читаешь— для сего надобно имѣть самому душу и сердце, надобно имѣть тонкое чувство и образованный умъ; но навыкъ и ученье едва ли тутъ не дѣйствительнѣе всего? Хорошій органъ есть неоцѣненный даръ природы, коего нельзя достать отъ рукъ человѣческихъ; но недостатки его можно поправить усиліемъ. Искусный мастеръ искусно можетъ играть и на дурномъ инструментѣ.» Засѣданія общества служили для учениковъ пансіона средствомъ, къ сближенію съ лучшимъ свѣтскимъ кругомъ, который посѣщалъ эти публичныя чтенія. Старшіе вос-



питанники, какъ молодые хозяева, имѣли обязанность принимать и усаживать ихъ. Иногда, конечно весьма рѣдко, лучшія произведенія питомцевъ пансіонскаго собранія читались и въ высшемъ обществѣ. Это была награда дарованію и искусству.

*Собраніе благородныхъ воспитанниковъ университетскаго пансіона* принадлежитъ также исторіи русской словесности. Вспомнимъ, что оно основано Жуковскимъ и его товарищами, и что здѣсь написано было имъ: *Сельское кладбище*, съ котораго начинается новая эпоха въ отечественномъ стихѣ. Основано было оно, конечно, въ подражаніе *Обществу университетскихъ питомцевъ*, которое существовало еще до вступленія Антонскаго въ университетъ, а въ самый годъ его вступленія, въ 1782 году, выпускало ежемѣсячное изданіе: *Вечернюю Зарю*. Сила общительная дѣйствовала тогда благородно и полезно въ университетской молодежи. Изданіе служило продолженіемъ *Утреннему Свѣту*, и отличалось своимъ важнымъ и строгимъ характеромъ. Разсужденія философскаго и даже богословскаго содержанія явятся въ немъ на первомъ планѣ. Оно посвящено было кураторамъ университета: Шувалову, Мелиссино и Хераскову. За *Вечернею Зарю* послѣдоваль *Покоящійся Трудолюбивъ*, въ 1784 году, также изданіе періодическое, продолжавшееся и въ 1785 году. Антонскій былъ тогда уже предсѣдателемъ въ *Собраніи университетскихъ питомцевъ*. Имена издателей объявлены были послѣ краткаго предисловія—и здѣсь мы находимъ старшаго брата Антонскаго, Михаила Антоновича, Василія Сергѣевича Подшивалова, за нимъ Антона Антоновича, Павла Аванасьевича Сохацкаго и другихъ. Характеръ изданія тотъ же: философско-богословскій, важный, строгій. Можно замѣтить статьи педагогическія, особенно въ началѣ. Изданіе посвящено «любезнѣйшему отечеству и всѣмъ вѣрнымъ сынамъ его.» За *Покоящимся Трудолюбивымъ* послѣдовало *Дѣтское Чтеніе для сердца и разума*. Антонскій издалъ первыя четыре части. Здѣсь уже, на самомъ

первомъ планѣ, является направленіе педагогическое и литературное. Изданіе посвящено благородному російскому юношеству. Слогъ необыкновенно простъ и легокъ. Рука даровитаго Подшивалова вездѣ видна. Это изданіе продолжалось до 1789 года. Въ немъ участвовалъ послѣ и Карамзинъ. Начальныя буквы имени друга его Петрова, «А. П.», видны подъ переводомъ одной драмы, съ французскаго. *Дѣтское Чтеніе* было вмѣстѣ и дѣтскою школою самаго Карамзина, гдѣ онъ выработалъ свой слогъ. Первые четыре части, изданныя Антонскимъ, отличались особенно тѣмъ, что каждый номеръ журнала начинался стихомъ изъ евангелія. Издатели, въ предисловіи, такъ объясняютъ происхождение этого обычая: «Желая воспитывать дѣтей нашихъ, какъ можно лучше, стараемся мы узнавать всякіе добрые обычаи, ведущіеся въ честныхъ фамиліяхъ, и подражать имъ, если позволяютъ на то наши обстоятельства. Напримѣръ, мы узнали похвальное обыкновеніе одного отца, который всякое воскресенье давалъ дѣтямъ своимъ вытверживать по одному стиху изъ священнаго писанія. Это обыкновеніе намъ столько полюбилось, что мы также въ листахъ нашихъ будемъ помѣщать по одному такому стиху, и совѣтуемъ вамъ по воскресеньямъ выучивать ихъ наизусть и никогда изъ памяти не выпускать.» Этотъ обычай въ пятой части продолжался только въ теченіе первыхъ трехъ номеровъ, но затѣмъ прекратился.

Литературная дѣятельность Антонскаго и его университетскихъ товарищей принимала болѣе и болѣе педагогическое направленіе, и, трудами своими по этой части, онънискалъ себѣ законное право стать во главѣ такого заведенія, которое, подъ его управленіемъ, въ послѣдствіи сдѣлалось уже исторически-извѣстнымъ. Къ тому же мы видимъ, какъ Антонскій, въ средѣ университетскаго товарищества, могъ воспитать самъ въ себѣ общественную силу и перелить ее въ духъ того заведенія, которымъ послѣ управлялъ.

Собраніе пансіонское имѣло свой уставъ, сочиненный во-

спитанниками и утвержденный ихъ наставникомъ. Съ уваженіемъ, позднѣйшіе ученики смотрѣли на эту рукопись, на ея подписи, имѣвшія тогда для нихъ уже историческое значеніе, и особенно на имя Жуковскаго, которое красовалось между всѣми. Въ первоначальномъ устройствѣ этого общества, участвовали, сверхъ Жуковскаго, Воейковъ, двое Кайсаровыхъ, Андрей и Михайлъ, изъ которыхъ одинъ писалъ протоколы засѣданій, двое Тургеневыхъ, Андрей, рано умершій, и Александръ, котораго, въ 1845 году, схоронили въ Москвѣ, Сергѣй Родзянка, Офросимовъ, Сухотинъ, и другіе. Мерзляковъ участвовалъ также весьма дѣятельно въ этихъ засѣданіяхъ.

Собраніе, начиная съ 1802 до 1808 года, издало шесть томовъ *Утренней Зари*. Здѣсь Мерзляковъ помѣстилъ, сверхъ другихъ своихъ лирическихъ стихотвореній, *Преложеніе Моисеевой пѣсни по прохожденіи Чермнаго Моря* (1805) и переводъ *Гораціева Посланія къ Пизонамъ* (1808). Стихи его означены буквою М. Только при «Посланіи къ Пизонамъ, Горація», объявлено, что оно переведено обучающимъ въ университетскомъ благородномъ пансіонѣ русскому слогу, профессоромъ Алексѣемъ Мерзляковымъ. Здѣсь помѣщены и первые опыты Жуковскаго: «Человѣкъ», «Сельское кладбище», подражаніе Греку, напечатанное Карамзинымъ въ его *Вѣстникъ Европы*, и «Стихи, сочиненные въ день моего рожденія къ моей лирѣ и къ друзьямъ моимъ, къ поэзіи». Самъ Антонскій, въ 1807 году, напечаталъ здѣсь свое разсужденіе: «О воспитаніи». Дашковъ, въ послѣдствіи министръ юстиціи, является здѣсь съ своимъ скромнымъ переводомъ съ французскаго. Въ *Утренней Зарѣ*, въ первый разъ, появились литераторы, сдѣлавшіеся извѣстными въ послѣдствіи: Свиньинъ, бывшій потомъ издателемъ *Отечественныхъ Записокъ*, Грамматинъ, издатель *Слова о Полку Игоревѣ*, Милоновъ, извѣстный своими остроумными сатирами. Басни Петина, помѣщенные въ первыхъ годахъ, отличались замѣчательною простотою. Нельзя не назвать Родзянку и Соковнина, рано по-

гибшихъ для литературы: Антонскій долго тужилъ обѣ нихъ. Въ 1809 году, выданы были: *Избранныя сочиненія изъ Утренней Зари*, въ двухъ томахъ, изъ которыхъ одинъ содержалъ въ себѣ прозу, другой стихи. Въ 1810 году *Собрание пансіона* издало труды свои, подѣ заглавіемъ: *Въ удовольствіе и пользу*. Здѣсь дѣятельнѣ всѣхъ является даровитый Саларевъ. Здѣсь Милоновъ разстается съ своими пансіонскими друзьями, и, въ трогательныхъ стихахъ, выражаетъ чувства благодарности своему наставнику и другу. Здѣсь одинъ изъ ученыхъ, уже дѣйствовавшихъ тогда въ университетѣ и пансіонѣ, помѣстилъ свое разсужденіе: *О началъ и постепенномъ приращеніи языка и изобрѣтеніи письма*, составленное имъ изъ сочиненій Смита, Куръ-де-Жебелена, Кондиліака, дю Марсе, Руссо, Бозе, Баттѣ, Жирара. Здѣсь явились другія молодыя дарованія: Аркадій Родзянка, Чаплинъ, Андрей Раевскій, которыхъ послѣ отвлекло отъ словесности другое поприще. Здѣсь же печаталъ свои первые опыты и Дмитріевъ (М. А.) По возобновеніи пансіона, труды воспитанниковъ приняли названіе *Каліоны*, которая стала выходить съ 1815 года. Здѣсь опять являются Саларевъ, Аркадій Родзянка; къ нимъ присоединились Михаилъ Родзянка, Чюриговъ, Поповъ, Сушковъ; затѣмъ — Познанскій, Бобрищевъ-Пушкинъ, даровитый Мансуровъ, шедшій по слѣдамъ Жуковскаго, памятный своимъ прекраснымъ переводомъ маттисоновыхъ твореній, Вердеревскій, въ послѣдствіи переводчикъ Горація, Философовъ, болѣе прославившійся своими пародіями и комическими опытами, Брусвичъ, остроумный Писаревъ (А. И.), который блистательно развилъ свои дарованія въ пансіонѣ, послѣ посвятилъ ихъ русскому театру и рано скончался. Антонскій, посредствомъ своихъ связей въ обществѣ, умѣлъ всегда приглашать къ засѣданіямъ почетныхъ посѣтителей. И. И. Дмитріевъ весьма часто въ нихъ присутствовалъ, съ любовію смотрѣлъ на развивающіяся дарованія и не скучалъ преніями юношей. Преніе питомцы пансіона, успѣвшіе принести уже

честь заведенію, которое ихъ воспитало, всегда считали обязанностью посѣтить своего воспитателя и собраніе. Такъ приѣзжали сюда Кайсаровъ, Тучковъ, Свинынъ. Засѣданія продолжались отъ шести часовъ вечера до десяти, а иногда и долѣе. Участвовавшіе въ нихъ ужинали позже. Преніе, начатое во время засѣданія, продолжалось и за ужиномъ.

Отъ собранія перейдемъ къ характеру и духу самого училища. Преподаваніе наукъ имѣло въ университетскомъ пансіонѣ энциклопедическій характеръ, соотвѣтствовавшій духу времени. Специальность заключалась развѣ въ томъ литературномъ образованіи, рассадникомъ котораго было собраніе. Нѣкоторые изъ учениковъ шестнадцати лѣтъ оканчивали полный учебный курсъ пансіона, но каждый, кто чувствовалъ призваніе къ наукѣ, долженъ былъ еще образовать въ себѣ особенную специальность, уже самъ собою, въ слѣдствіе своего призванія. Антонскій употреблялъ всѣ средства, какія зависятъ отъ воспитателя, чтобы водворить въ сердцахъ питомцевъ духъ религіи. Ежедневно, послѣ утренней молитвы, отличные ученики, поочередно, читали апостолъ и евангеліе, какіе въ тотъ день читались въ церкви. Директоръ и инспекторъ нерѣдко спрашивали учениковъ, сидѣвшихъ за чайнымъ столомъ, о томъ, что было прочтено. Читать молитвы утреннія и вечернія поручаемо было лучшимъ ученикамъ всѣхъ классовъ, поочередно. Быть въ числѣ такихъ чтецовъ считалось отличіемъ. Всѣ классы начинались молитвою: «Царю Небесный,» и оканчивались: «Достойно есть.» Въ классѣ греческомъ молитвы читались на греческомъ языкѣ. Въ теченіе шести недѣль послѣ Пасхи читалось троекратно: «Христосъ Воскресе,» и «Святися, Святися,» въ заключеніе. Въ 1819 году, устроена была съ большимъ вкусомъ и освѣщена съ торжествомъ церковь въ зданіи пансіона. Служеніе въ храмѣ совершалось всегда съ особеннымъ благолѣпіемъ. Надзиратели и воспитанники составляли хоръ, который пѣлъ по праздникамъ. *Библейское общество*, соединявшее въ себѣ сонмъ мо-

сковскаго духовенства, собиралось въ залѣ пансіона, и ученики его были допускаемы въ этия засѣданія.

Императоръ Александръ, 18-го августа 1816 года, посѣтилъ университетскій пансіонъ и произнесъ въ немъ слова: «Истинное просвѣщеніе основано на религіи и евангелии.» Слова эти написаны были золотыми бueвами на доскѣ, и выставлены въ торжественной залѣ. Нерѣдко повторялись они въ публичныхъ рѣчахъ воспитанниковъ. Печатные труды старшихъ и отличныхъ учениковъ были всѣ исполнены религіознаго чувства. Они раздавались въ награду ученикамъ, составляли одно изъ любимыхъ чтеній для младшихъ товарищей, и питали постоянно въ нихъ то же самое чувство. Сверхъ того, въ самомъ разсужденіи воспитателя «О воспитаніи», разсужденіи, которое непрерывно бывало въ ихъ рукахъ, воспитанники могли читать его собственныя слова: «Мудрости! добродѣтели!... Но что онѣ, если религія не озаритъ ихъ, религія, освящающая всѣ наши дѣла, желанія, мысли; религія, преобразующая, обновляющая внутреннаго человѣка, возносящая его надъ всѣмъ браннымъ, ничтожнымъ, и отверзающая предъ нимъ врата неба!» Мерзляковъ, своими лирическими произведеніями, изученіемъ библейскаго языка, преложеніемъ псалмовъ, укрѣплялъ въ питомцахъ то же религіозное чувство. Прокрадывались иногда въ пансіонъ тайкомъ и не позволенныя для юнаго возраста книги. Западало въ душу питомцевъ и тяжкое сомнѣніе, наносимое извнѣ постороннимъ вліяніемъ. Но все, чѣмъ только можно было предупредить послѣднее, не было упущено изъ вида. Надзоръ за выборомъ чтенія былъ строгъ. Пустыхъ романовъ, воспламеняющихъ воображеніе, не давали въ руки. Когда же случайно заставляли его за такую книгою, то она беспощадно летѣла въ огонь. Антонскій такъ говоритъ объ этомъ въ своемъ разсужденіи: «Воспитатели и наставники! помыслите, какое сильное вліяніе имѣютъ на умъ, сердце, нравы, характеръ, на самое счастье и несчастье дѣтей, первыя, получаемыя ими впечатлѣнія, первыя понятія,

первые уроки — и вы найдете, что нѣтъ ничего пагубнѣе, какъ позволять имъ читать, безъ разбора, всякую попадающуюся въ руки книгу, или говорить при нихъ все, что ни вздумается. Сколько отъ одного сего погибло дарованій, и сколько сердець развратилось!» Но, вырывая изъ рукъ безполезныя или вредныя книги, наставники удовлетворяли молодой жаждѣ къ чтенію книгами полезными. Высшій классъ и особенно собраніе — имѣло отличную библіотеку, гдѣ были всѣ произведенія русской словесности и классическія сочиненія, на языкахъ древнихъ и новыхъ. Пятый и четвертый классы имѣли отдѣльныя библіотеки, которыя составились на добровольныя пожертвованія самихъ учениковъ. При каждой библіотекѣ былъ свой библіотекаръ. Сверхъ того инспекторъ и лучшіе надзиратели были также богаты книгами и не скупились на нихъ для воспитанниковъ. Журналы: *Вѣстникъ Европы*, *Сынъ Отечества*, *Соревнователь просвѣщенія и благотворенія*, и нѣкоторые иностранныя журналы, переходили въ руки учениковъ изъ рукъ наставниковъ. Всякая минута, свободная отъ трудовъ по классамъ и собранію, отдавалась чтенію. Читали за чаемъ, за обѣдомъ, за ужиномъ. Даже въ обязанность вмѣнялось принести за столъ книгу. Чтеніе водворяло тишину и благочиніе въ залѣ. Здѣсь иногда неутомимый директоръ или его помощникъ подкрадывался невидимкою къ какому нибудь чтецу, который весь погруженъ былъ въ чтеніе романа на самыхъ любопытнѣйшихъ его страницахъ, и внезапно исчезалъ романъ, какъ пріятный сонъ, изъ рукъ чтеца. Одни природные дворяне принимались въ университетскій пансіонъ. Какія правила внушала наставникъ своимъ благороднымъ питомцамъ, относительно возвышенныхъ обязанностей сословія, которому они принадлежали, можно видѣть изъ отрывка рѣчи, произнесенной однимъ изъ старшихъ товарищей о томъ, каковъ долженъ быть благородный воспитанникъ: «Благородство происхожденія есть ничто, когда оно не уврачается благородствомъ духа. Знат-

ность предковъ есть тяжкое бремя для того, кто, собственными достоинствами, не умѣетъ поддержать ее. Чѣмъ выше степень, занимаемая нами въ обществѣ, тѣмъ добродѣтели и пороки наши виднѣе; тѣмъ примѣръ нашъ благотворнѣе, или пагубнѣе. Чѣмъ важнѣе званіе, нами носимое, тѣмъ кругъ дѣятельности нашей обширнѣе; свѣдѣнія наши должны быть многообразнѣе; тѣмъ болѣе требуется отъ насъ времени, вниманія, труда, пожертвованій. Юный россъ! здѣсь, въ семъ храмѣ наукъ, потщись образовать душевныя и тѣлесныя свои способности; здѣсь потщись устроить себя на служеніе отечеству, и докажи, современемъ, что благородство твое не въ титулахъ, не въ знатности предковъ, но въ сердцѣ твоемъ, въ дѣлахъ твоихъ, въ заслугахъ.» Что касается духа общежитія учениковъ въ учебномъ заведеніи, то вотъ слова Антонскаго, изъ которыхъ увидимъ, какъ онъ самъ представлялъ себѣ идеаль этого духа между своими учениками. «Подите, взгляните въ ихъ общество,» говоритъ Антонскій (т. е. въ добрый кругъ молодыхъ товарищей по ученію), «гдѣ съ большимъ благоговѣніемъ и энтузіасмомъ произносятся имена знаменитыхъ героевъ, философовъ, благодѣтелей челоувѣчества, Суворовыхъ и Румянцевыхъ, о которыхъ часто не знаютъ въ цѣломъ домѣ и учитель-иноземецъ и ученикъ его? — гдѣ съ большимъ жаромъ говорится объ отечествѣ, о будущей службѣ, о славѣ, которую молодые друзья общаются раздѣлить вмѣстѣ такъ же, какъ теперь раздѣляютъ свои забавы? — У нихъ все общее: всѣ охотно помогаютъ другъ другу, и увѣряются заблаговременно въ необходимости взаимнаго вспомошествованія: они уже — граждане, члены общества, и въ маленькомъ кругу своемъ вмѣщаютъ начала тѣхъ важныхъ обязанностей, на которыхъ основываются огромныя общества. Самыя забавы ихъ — наставительны. Дитя, играя одно, не наслаждается своею игрою и не будетъ умѣть вмѣстѣ: въ семъ заключаются первыя черты того будущаго неощеннаго искусства — живучи для себя, жить для другихъ.



Тутъ взаимная уступчивость, взаимныя пожертвованія, тутъ справедливость и честность вперяются безъ уроковъ, сами собою! — Тутъ истинная дружба, божественное чувство, столь мало извѣстное въ свѣтѣ — гораздо высшее нежели самыя родственныя связи, и столько рѣдкое, даже между родными — чувство, предполагающее необходимо твердость характера, вѣрность и безкорыстную доброту сердца! и замѣьте, что воспитанные въ публичныхъ училищахъ гораздо болѣе способны къ дружеству, и сохраняютъ его вѣчно. Счастливое время! кто бы не хотѣлъ возвратить тебя!....» Заведеніе, въ лучшемъ кругу учениковъ, оправдывало намѣренія и желанія наставника. Конечно, не всѣ могли подходить къ этому идеалу, но успѣхъ уже былъ великъ, когда къ нему приближались избранные.

Ученики любили пансіонъ, любили въ немъ колыбель своего ума, чувствъ, познаній и слова. Съ грустью и слезами оставляли они его и товарищей. Въ рѣчахъ, въ стихахъ питомцевъ пансіона, непрерывно найдете обращеніе къ друзьямъ, къ мирному крову воспитанія. Это не общія мѣста, а искреннія излиянія вѣрнаго чувства, которое на самомъ дѣлѣ соединяло всѣхъ одною прекрасною связію. Въ Антонскомъ, какъ педагогъ, былъ одинъ талантъ, рѣдкій, который не всякому дается: это даръ проицанія, даръ умѣнія отгадывать способности. Можно соединить въ себѣ, и ученость глубокую и разнообразную, и возвышенныя силы ума, и обширныя познанія въ педагогикѣ, но безъ этого дара Божія не успѣешь на томъ трудномъ поприщѣ, которое проходилъ Антонскій. Да, у него былъ этотъ глазъ, проникавшій въ душу и мѣтко попадавшій въ цѣль свою. Дарованіе открывалъ онъ съ разу, тотчасъ же давалъ ему ходъ, и ставилъ его на видъ. Вотъ что, по его теоріи, самъ онъ называетъ первымъ правиломъ воспитателя:

«Первымъ правиломъ воспитатель долженъ поставить себѣ то, чтобы заблаговременно изслѣдовать способности воспитан-

ника, смотрѣнію его ввѣреннаго, и, сообразно силамъ и дарованіямъ молодаго человѣка, размѣрять труды объ немъ и старанія. Никто не родится въ свѣтъ, не получивъ къ чему-нибудь способности. Если верховное существо удаляется отъ надлежащей мѣры своихъ благодѣяній, то больше въ излишествахъ, нежели въ недостаткахъ. Исторія знаменитыхъ людей свидѣтельствуетъ, что многіе изъ нихъ, долго почитавшись ни къ чему неспособными, вдругъ, отъ одного счастливаго случая, возблистали дарованіями своими, и имя ихъ содѣлалось безсмертнымъ. Сталь не прежде даетъ искры, какъ по прикосновенію къ ней кремня. Внутренняя склонность всегда готова раскрыться въ насъ; надобно только удачно тронуть ее.»

Антонскій понималъ, что училище цвѣтеть и славится дарованіями и трудолюбіемъ учениковъ, а потому дарованіямъ трудолюбивымъ всегда готовы были у него и первыя мѣста и первыя награды. Время оправдало и даръ проищанія и труды воспитателя. Двадцать лѣтъ спустя по основаніи пансіона, Антонскій принялъ его подъ свое начальство и въ теченіе тридцатитрехъ лѣтъ правилъ имъ неуспшно. Не всякое училище имѣетъ такую исторію, какую имѣлъ университетскій пансіонъ. Не всякое владѣетъ такимъ сокровищемъ преданія, какъ пансіонская доска именъ отличныхъ учениковъ, которые на разныхъ поприщахъ оправдали надежды наставниковъ. Въ исторіи училищъ, въ памяти ихъ преданій, заключается та нравственная основа, на которой должна утверждаться самобытность учебнаго заведенія. Соберемъ теперъ въ одно черты, которыя, въ совокупности, могутъ дать понятіе о нравственной фізіономіи Антонскаго, какъ педагога. Первая изъ нихъ — даръ проищанія, умѣніе отгадывать способности, даръ Божій въ педагогѣ, который былъ причиною того, что онъ умѣлъ находить людей въ университетѣ, и развивать дарованія въ пансіонѣ. Умъ его былъ умъ практическій, чуждый отвлеченныхъ теорій, устремлявшій его болѣе къ дѣлу жизни, умъ хозяйственный, распорядительный, умъ педагога и земле-

дѣльца. Волю имѣлъ онъ твердую, непреклонную, которую прежде всего упражнял на самомъ себѣ и на своей собственной жизни. Духъ общительности, вынесенный имъ, можетъ быть, изъ кievской бурсы, но развитый особенно въ университетской средѣ, во времена неутомимаго Новикова, служилъ въ немъ источникомъ для многихъ полезныхъ дѣйствій. Есть еще одна черта, которая опредѣляетъ его нравственный характеръ и знаменуетъ всю его жизнь. Эту черту прекрасно выразилъ одинъ изъ его почитателей, на его погребеніи, слѣдующими словами: «онъ зналъ всему мѣру въ жизни.» Въ самомъ дѣлѣ, къ нему шель девизъ одного изъ семи греческихъ мудрецовъ: «ничего лишняго». Антонскій самъ сознавалъ въ себѣ это любимое свое правило и, выразивъ его въ своемъ разсужденіи, «О воспитаніи», не даромъ подчеркнул слова *во всемъ есть мѣра*: преступая предѣлы ея, мы всегда уклоняемся отъ праваго пути. Знать мѣру всему въ жизни есть, конечно, высшая мудрость житейская, первое условіе для разумнаго употребленія времени и другихъ средствъ, данныхъ намъ для жизни, а слѣдовательно и первый залогъ ея долговѣчности.

Въ послѣднее время жизни своей, Антонскій посвящалъ большую часть своей дѣятельности Московскому обществу сельскаго хозяйства. При самомъ основаніи общества, онъ принималъ участіе въ его совѣщаніяхъ, и въ 1823 году избранъ былъ начальникомъ перваго отдѣленія, завѣдывавшаго учеными трудами и изданіемъ журнала общества. Въ 1824 г., по представленію президента общества, князя В. Д. Голицына, всемиловѣйше пожалована была ему золотая табакерка съ брилліантами. Въ 1840 году, 21-го декабря, за постоянное участіе въ двадцатилѣтнихъ трудахъ общества и ревностное исполненіе обязанностей начальника перваго отдѣленія, получилъ золотую медаль. Въ 1845 году, онъ былъ избранъ вторымъ вице-президентомъ общества и начальникомъ четвертаго отдѣленія, завѣдывавшаго земледѣльческою школою. Онъ занялся

устройствомъ школы, какъ опытный педагогъ и хозяинъ. Въ 1846 году, апрѣля 12-го, всемилостивѣйше былъ пожалованъ ему орденъ Станислава первой степени, по случаю празднованія двадцатипятилѣтняго юбилея общества, и орденскіе знаки переданы были ему въ день торжества юбилея, 21-го мая.

При этомъ торжествѣ, Антонскій произнесъ рѣчь и внесъ въ общество 3,000 р. сер., изъявивъ желаніе, чтобъ, на проценты съ этого капитала, содержимъ былъ постоянно въ школѣ одинъ воспитанникъ, свободнаго состоянія, бѣдныхъ родителей, преимущественно изъ дворянъ, который подавалъ бы надежду быть полезнымъ для науки сельскаго хозяйства. 1847 года, января 27-го, въ годичномъ собраніи общества, по предложенію президента, князя С. И. Гагарина, въ уваженіе двадцатипятилѣтнихъ трудовъ, постоянно посвященныхъ обществу въ званіи члена совѣта, начальника перваго и четвертаго отдѣленій и вице-президента, пожертвовавшаго 3,000 р. сереб., при юбилеѣ общества, опредѣлено сохранить въ залѣ общества портретъ Антона Антоновича Антонскаго, и это общее желаніе членовъ было изъявлено 84-лѣтнему старцу, съ искренними поздравленіями отъ его сотрудниковъ, почитателей и учениковъ, присутствовавшихъ въ засѣданіи. Антонскій, до самой кончины своей, принималъ участіе въ изданіи земледѣльческаго журнала общества, обращая особенное вниманіе на ясность и правильность слога въ хозяйственныхъ статьяхъ.

Зиму проводилъ онъ въ домѣ своемъ, въ Леонтьевскомъ переулкѣ; лѣтомъ жилъ въ деревнѣ, близъ монастыря Хотькова. Въ 1848 году, 6-го іюля, его не стало: Антонскій умеръ 85 лѣтъ отъ роду, и похороненъ въ донскомъ монастырѣ.

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧЪ

## ГРАНОВСКІЙ

(1813 — 1855).

Имя Грановскаго — одно изъ самыхъ симпатическихъ русскихъ именъ; по словамъ Каткова: «Грановскій обладалъ удивительною силою притяженія. Его всегда ровный, всегда ясный и общительный характеръ дѣйствовалъ освѣжительно на всѣхъ приближавшихся къ нему. Его уважали люди всѣхъ мнѣній, и трудно сказать, какъ много потеряли въ немъ его товарищи, его слушатели и все юное поколѣніе, черпавшее въ его урокахъ, въ его бесѣдахъ, такъ много прекрасныхъ и живительныхъ возбужденій. Къ сожалѣнію, онъ писалъ мало, и все написанное имъ не можетъ дать и малѣйшаго понятія о томъ богатствѣ, которое заключалось въ его природѣ, и которое расточалъ онъ въ окружавшей средѣ.»

Говорятъ что лицо — вывѣска человѣка. Это истина старая, «старая, какъ самый свѣтъ», говорятъ французы, но, тѣмъ не менѣе, это — истина. Лицо — Грановскаго можетъ служить неопровержимымъ доказательствомъ ея справедливости. Оно вполнѣ было вывѣскою души: оно было такъ же хорошо, какъ и душа его. Подъ словомъ красоты, мы здѣсь разумѣемъ не ту румяную, причесаную, правильную до при-

торности красоту, а красоту духовную, слѣдовательно тотъ смыслъ, который заключается въ красотѣ, то выраженіе, которое ее одушевляетъ. У Грановскаго голова была довольно велика; носъ нѣсколько толстъ; губы крупны; но всѣ эти, если хотите, недостатки сглаживались общимъ выраженіемъ лица, черными задумчивыми, можно сказать, ласкающими глазами, высокимъ лбомъ, темными, почти черными, вьющимися волосами, ниспадавшими до воротника сюртука, и густыми, соединенными одна съ другою, бровями. Въ молодости волосы его были чрезвычайно темны и густы, потомъ стали мало по малу рѣдѣть, и, наконецъ, въ послѣднее время жизни, у Грановскаго верхняя часть черепа совсѣмъ почти обнажилась; только затылокъ и виски еще украшались остатками кудрей, въ которыхъ пробивалась сѣдина. Ростъ Грановскаго былъ нѣсколько выше средняго. Походка его была неровная; онъ даже нѣсколько покачивался, когда ходилъ; сложенъ онъ былъ довольно плотно. Голосъ Грановскаго не отличался звучностію. Онъ иногда даже прерывался въ серединѣ рѣчи; лекціи свои потому онъ читалъ довольно тихо; но самое выраженіе его голоса было въ высшей степени симпатично и пріятно. Привыкнувъ разъ къ его голосу, слушатель невольно чувствовалъ потребность слышать его, какъ можно чаще. Вся наружность Грановскаго производила впечатлѣніе, въ высшей степени отрадное. «Грановскій» — говоритъ историкъ Соловьевъ, въ своемъ воспоминаніи о покойномъ профессорѣ, — «принадлежалъ къ числу тѣхъ немногихъ людей, которыхъ, встрѣтаясь съ ними разъ, нельзя забыть, сошедши съ которыми, тяжело разстаться. Природа одарила его наружностію, какою долго ищутъ художники: лицо его представляло рѣдкое соединеніе мужественной красоты, съ выраженіемъ глубокомыслія и вмѣстѣ благодушія, сочувствія, которое влекло къ нему съ неотразимою силою; его легко было найти въ толпѣ, не справляясь, гдѣ онъ: въ ту сторону, гдѣ находился онъ, обращалось много глазъ, туда сильнѣе было движеніе.»

Прекрасной и честной наружности Грановскаго вполне соответствовала и душа его — прекрасная и честная, магнетически привлекавшая къ нему. Отличаясь необыкновенною скромностію, которая, впрочемъ, не походила ни сколько на униженіе, а была исполнена достоинства, Грановскій не любилъ красоваться, не любилъ тщеславія, не любилъ лести. Съ товарищами онъ былъ кротокъ, уступчивъ, но только въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло не касалось убѣжденій, которыя онъ берегъ, какъ святыню, и не уступалъ никому, даже близкимъ друзьямъ. Ощущая въ своей душѣ сильную потребность чистой, святой любви, Грановскій способенъ былъ горячо привязаться къ человѣку; полюбивъ разъ, онъ считалъ жертвы, приносимыя имъ во имя этого чувства, дѣломъ самымъ естественнымъ. Цѣня высоко правду, онъ не любилъ лжи и преслѣдовалъ беспощадно всякую несправедливость, ни сколько не скрывая своего отвращенія къ ней. Благодаря этимъ качествамъ, онъ былъ любимъ не только товарищами, студентами, знакомыми, но и людьми, которые его очень мало знали, или вовсе его не знали, а только слышали о немъ. Доказательствомъ сказаннаго могутъ служить слова профессора Соловьева: «Теплое и разумное слово Грановскаго ласкало человѣка, къ которому обращалось, было всегда желаннымъ, дорогимъ, подаркомъ. Грановскій былъ щедръ на эти подарки, какъ самый общительный, сочувствующій человѣкъ; но съ этою щедростію соединялась большая разборчивость. Онъ принадлежалъ къ числу людей, мнѣніе которыхъ дорого цѣнится, и былъ судьбою строгимъ, при опредѣленіи нравственнаго благородства. Такіе люди, какъ Грановскій, заставляютъ многихъ внутренне охорашиваться. И друзья, и недрузья, прежде чѣмъ сдѣлать, прежде чѣмъ сказать что нибудь, задавали себѣ вопросъ: «что скажетъ объ этомъ Грановскій?» Сдѣлавши что нибудь, по ихъ мнѣнію, порядочное, люди, вовсе неблизкіе Грановскому, спѣшили ему первому сообщить о своемъ дѣлѣ, получить отъ него одобреніе, произвести на него выгодное

впечатлѣніе, и этимъ впечатлѣніемъ повѣрить достоинство своего дѣла».

Что же касается студентовъ, то Грановскій вполне умѣлъ съ ними обращаться. Въ этомъ обращеніи не было и тѣни чванства, высокомерія; говоря, бесѣдуя со студентами, онъ становился на равную ступень съ ними: профессоръ въ немъ тогда совершенно исчезалъ, а оставался человѣкъ. Въ эти бесѣды онъ вносилъ тонкое, деликатное чувство; не терпя самохвальства, смѣясь надъ аристократическими взглядами на науку, онъ, въ то же время, умѣлъ и ободрить студента, навести его на путь правды, указать ему разрѣшеніе вопроса, который занималъ его. Грустно было ему сидѣть на экзаменѣ, когда какой нибудь студентъ, не зная билета, вмѣсто исторіи, сочинялъ сказку, или, не понимая вовсе науки, оказывался совершеннымъ невѣждою. Въ такихъ случаяхъ Грановскій отвѣчалъ молчаніемъ: это была его молчаливая оппозиція. Студенты хорошо понимали, что означало это краснорѣчивое молчаніе, и боялись его. Не видя, кажется, большой пользы въ переходныхъ экзаменахъ, Грановскій не былъ на нихъ строгъ и требовалъ отъ студента немногого; только пошлая нелѣпость возмущала его и дѣлала иногда строгимъ. Вообще онъ желалъ, чтобы студенты любили науку для науки, а не для экзаменовъ, не для правъ и чиновъ. Помогая студентамъ совѣтами, онъ съ удовольствіемъ помогалъ имъ и дѣломъ, давая, для прочтенія, изъ своей библіотеки рѣдкія сочиненія. Несмотря на то, что онъ самъ жилъ трудами и не имѣлъ лишнихъ средствъ, онъ готовъ былъ дѣлиться со студентами и деньгами. Одинъ изъ слушателей Грановскаго, извѣстный послѣднему даже очень мало, по выходѣ изъ университета, долго оставался безъ мѣста, и, не имѣя средствъ къ жизни, терпѣлъ большую нужду. Однажды, онъ отправился въ университетъ и встрѣтился тамъ съ Грановскимъ, который, увидѣвъ его, заговорилъ съ нимъ и сталъ спрашивать объ его дѣлахъ. Бывшій студентъ откровенно описалъ ему свое грустное



положеніе. Тогда Грановскій, держа его за пуговицу куртки, просилъ его не унывать, не падать духомъ и надѣяться на лучшее будущее. Послѣ этого они разстались. Возвратясь домой, означенный студентъ нашелъ въ карманѣ своего жилета сторублевую ассигнацію. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что деньги эти были положены Грановскимъ.

Вобщемъ мнѣніе всего Московскаго университета то, что въ Грановскомъ была рѣдкая готовность дѣлиться деньгами, доходившая до такого самопожертвованія, что у него ничего не было завѣтнаго, когда нужно было сдѣлать доброе дѣло, что онъ всегда съ радостію помогъ бы каждому изъ студентовъ, если бы только его попросили. Такое убѣжденіе не могло явиться, вѣроятно, если бы не было основано на извѣстности многихъ добрыхъ дѣлъ Грановскаго. Случалось, что студентъ съ отчаяніемъ рассказывалъ товарищамъ о своей бѣдности, и горько жаловался на то, что не знаетъ, гдѣ достать денегъ. «Обратись къ Грановскому: онъ не откажетъ,» говорили ему обыкновенно на это товарищи. Таковъ былъ незабвенный московскій профессоръ Грановскій, столь рано умершій, но успѣвшій собою доказать, что наука, опираясь на добро, тѣмъ пріобрѣтаетъ себѣ двойную силу.

Личный характеръ Грановскаго и прекрасныя качества его души, впрочемъ, не могли одни составить ему той блистательной извѣстности, которою онъ пользовался; основаніемъ его славы, по всей справедливости, можно назвать его преподаваніе, его лекціи. Обладая обширнымъ образованіемъ и будучи знакомъ со многими языками, дававшими ему возможность въ подлинникѣ изучать лучшіе историческіе источники, Грановскій чрезвычайно искусно умѣлъ пользоваться своими знаніями при преподаваніи исторіи. Его свѣтлый, въ высшей степени логическій, умъ никогда не запутывался въ лабиринтъ ихъ, а бралъ изъ нихъ для лекціи только то, что было дѣйствительно живо, характеристично, рельефно. Онъ былъ врагъ всякаго ученаго педанства, не терпѣлъ темноты въ изложеніи, и старался

постоянно читать, какъ можно популярнѣе. Къ лекціямъ онъ почти никогда не приготовлялся нарочно: онѣ составлялись у него въ головѣ очень быстро. Взошедши на кафедру, Тимоѳеѣ Николаевичъ Грановскій обыкновенно, обращаясь къ студентамъ, произносилъ: «Милостивые государи»; затѣмъ слѣдовала небольшая пауза, въ продолженіе которой составлялся у него въ головѣ планъ лекціи. Эта пауза, впрочемъ, не превышала двухъ или трехъ минутъ. Подумавши немного, онъ начиналъ читать по памяти лекцію, не имѣя въ своихъ рукахъ ни одной записки, ни одного клочка бумажки. Память Грановскаго была, дѣйствительно, изумительна: онъ не ошибался ни въ годахъ, ни въ собственныхъ именахъ. Передъ очеркомъ исторіи каждаго государства, онъ дѣлалъ обыкновенно географическій очеркъ мѣстности, занимаемой этимъ государствомъ. Особенно хороши были его лекціи о народахъ юныхъ, исполненныхъ силъ и жизни. Прекрасная характеристика германцевъ, въ первое появленіе ихъ на сценѣ исторіи, конечно, осталась въ памяти всѣхъ его слушателей. Грановскій умѣлъ очерчивать не только цѣлыя народы, но и отдѣльныя личности. Въ слѣдствіе своей склонности къ поэзіи, къ чудесному, онъ былъ жаркимъ поклонникомъ великихъ людей, постоянно отстаивалъ ихъ значеніе въ исторіи, постоянно указывалъ на необходимость появленія ихъ въ извѣстное время. Читая лекціи, Грановскій не могъ оставаться равнодушнымъ къ событіямъ, которыя онъ передавалъ: голосъ его дрожалъ, глаза дѣлались задумчивыми и грустными, когда онъ говорилъ о нравственномъ паденіи извѣстнаго народа или какого-нибудь отдѣльнаго историческаго лица, и, наоборотъ, глаза его блестѣли, голосъ дѣлался звучнѣе, когда онъ рассказывалъ о какомъ-нибудь великомъ, благородномъ подвигѣ, сдѣланномъ народомъ или отдѣльнымъ лицомъ. Необыкновенною живостію отличались тѣ его лекціи, въ которыхъ онъ говорилъ о своихъ, такъ сказать, любимыхъ личностяхъ. Тогда лекціи его дѣлались блистательными импровизаціями, исполненными остроумія, поэзіи и огня; тогда изъ

профессора онъ дѣлался художникомъ. Чтенія его нравились не только студентамъ, но и людямъ, совершенно незнакомымъ съ наукою, чуждымъ университету. На публичныя его лекціи, читанныя въ университетѣ, стекалось много народа. На этихъ лекціяхъ Грановскаго обыкновенно встрѣчали рукоплесканіями, и такимъ же образомъ провожали его.

Мѣстомъ рожденія Тимоѳея Николаевича Грановскаго былъ городъ Орель; дѣтство же его прошло, большею частью, въ Погорѣльцѣ, сельцѣ Болховскаго уѣзда, Орловской губерніи. Сельцо это было благопріобрѣтенное имѣніе дѣда Грановскаго, перешедшее потомъ къ отцу его. Тимоѳеи Николаевичъ родился 9-го марта 1813 года. Первыя впечатлѣнія онъ получилъ отъ своего дѣда, который пользовался въ Орлѣ репутаціею отличнаго законника и ходатая по дѣламъ. Дѣдъ чрезвычайно ухаживалъ за маленькимъ внукомъ; даже, не желая разставаться съ нимъ и ночью, онъ влалъ малютку спать съ собою. Въ домѣ дѣда, Грановскій провелъ свои первые годы дѣтства. Любимецъ дѣда, онъ могъ сдѣлаться его баловнемъ; но дѣло рѣшилось иначе. На закатѣ дней, старику пришлось испытать сильное нравственное потрясеніе, которое разстроило его умственные способности. Несмотря на свое болѣзненное состояніе, дѣдъ сохранилъ прежнюю привязанность къ любимому внуку; лучше сказать, у него и осталась только эта привязанность. Онъ охотно допускалъ къ себѣ старшаго внука, и даже любилъ видѣть его около себя. Когда старику, по совѣту врача, нужно было отправиться на Кавказъ, для леченія своей болѣзни, то онъ не иначе согласился ѣхать, какъ съ внукомъ. Дѣтское воображеніе послѣдняго, по пріѣздѣ на Кавказъ, было сильно поражено рассказами о горцахъ; въ послѣдствіи, возвратившись уже домой, когда за столомъ заходилъ разговоръ объ ихъ нападеніяхъ, мальчиѣ не иначе рѣшался гулять послѣ обѣда, какъ вооружившись столовымъ ножомъ. Впрочемъ это впечатлѣніе не удержалось въ

немъ долго; оно испарилось, какъ испаряются часто впечатлѣнія дѣтства.

Такъ прошло около трехъ лѣтъ, т. е. до самой смерти дѣда; послѣ чего Тимоеей Николаевичъ безраздѣльно принадлежалъ своей семьѣ, до самаго вступленія въ пансіонъ, то есть до тринадцатилѣтняго возраста. Грановскіе жили, вообще, очень открыто и первое время даже роскошно; много выѣзжали сами и много принимали у себя. Такимъ образомъ мальчикъ рано сталъ видѣть людей, и привыкъ обращаться съ ними. Между тѣмъ для него наступилъ тотъ возрастъ, когда полагаются первыя сѣмена образованія, посредствомъ болѣе или менѣе правильнаго ученія. Домашняя школа Грановскаго мало отступала отъ общаго обычая того времени. Обыкновенно тогда въ богатыхъ домахъ первое образованіе дѣтей поручалось иностраннымъ гувернерамъ, и Грановскій также, какъ и другія дѣти, какъ только сталъ подростать, поступилъ подъ надзоръ гувернера. Лица мѣнялись нѣсколько разъ; но ходъ занятій оставался одинъ и тотъ же, до самаго поступленія мальчика въ пансіонъ. Разумѣется, главное мѣсто въ этомъ образованіи занимало изученіе иностранныхъ языковъ. По рассказамъ самаго Грановскаго, ученіе было несвязно, недостаточно, однако и не было совершенно безуспѣшно. Это видно изъ того, что, еще не совсѣмъ вышедши изъ дѣтскаго возраста, онъ уже довольно бѣгло говорилъ поанглійски и пофранцузски. Особенно же сильно въ это время развилась въ Грановскомъ страсть къ чтенію. На первое время она могла быть удовлетворяема средствами домашней библіотеки; въ ней были книги чрезвычайно разнороднаго содержанія, начиная отъ *Всемірнаго путешествія аббата Деллапорта* и оканчивая *Положеніями Жилбласа* \*). Мальчикъ читалъ книги съ жадностію, глотая ихъ; часто онъ не могъ оторваться отъ шкафа и, снявши книгу

---

\*) Въ книгѣ Деллапорта, изданной въ половинѣ XVIII вѣка, содержится множество невѣрностей, которыя крайне смѣшны нынѣ, когда литература путешествій представляетъ много превосходнаго.

съ полви, тутъ же прочитывалъ ее, стоя на колѣняхъ. Понятно, что это было для молодаго ума какъ бы окошко въ новый ему незнакомый мѣръ. Но средства домашней библиотеки вскорѣ истощились, и мать Грановскаго стала доставать ему книги, безъ всякаго, впрочемъ, выбора, у сосѣднихъ помѣщиковъ, имѣвшихъ библиотеки. Въ числѣ книгъ, попавшихся тогда Грановскому, были и сочиненія Вальтера-Свота, любимаго писателя юности, отличающагося богатствомъ фантазіи и умѣніемъ живо и увлекательно воспроизводить картины средневѣковой жизни. У Грановскаго сохранилось до конца жизни глубокое уваженіе къ шотландскому романисту. Онъ всегда отзывался о немъ съ большою любовію, и отъ него производилъ начало многихъ лучшихъ ощущеній своей юности, между прочимъ первое живое впечатлѣніе отъ рыцарства. Изъ личныхъ вліяній, дѣйствовавшихъ на Грановскаго, самое благотѣльное принадлежало его матери. Анна Васильевна, урожденная Чернышъ, родомъ малороссіянка, была женщина рѣдкаго сердца; дѣти въ ней имѣли не только мать, но и истиннаго друга, къ которому довѣрчиво обращались со всѣми своими вопросами и желаніями. Тимошей Николаевичъ, какъ старшій, былъ ближе другихъ къ матери. Вліанію ея, онъ въ послѣдствіи приписывалъ все, чтò только было въ немъ хорошаго. Вообще, первое его развитіе и первоначальное воспитаніе бросили много хорошихъ сѣмянъ въ его душу, которая рано начала любить людей и рано почувствовала потребность быть любимою ими. Въ дѣтствѣ, въ свободное отъ уроковъ время, Грановскій особенно любилъ возиться съ птицами. Ловля ихъ была самымъ пріятнымъ для него занятіемъ. Но ничему не предавался онъ съ такою охотою и увлеченіемъ, какъ тѣмъ играмъ, которыя имѣли видъ военныхъ упражненій. Набравъ толпу крестьянскихъ мальчиковъ, отдѣляемыхъ имъ лакомствами, которыя отнималъ у себя, онъ ставилъ ихъ въ строй, предпринималъ съ ними походы, велъ осады городовъ, давалъ сраженія. Изъ этого, впро-

чемъ, нельзя выводить заключенія, чтобы будущій историкъ имѣлъ наклонность къ военному искусству и военной службѣ. Эта страсть скорѣе доказывала, что въ ребенкѣ много было живой, горячей крови, что натура его требовала движенія, жизни и дѣятельности; къ тому же, нужно замѣтить, что въ дѣтяхъ много общаго, и что страсть къ военнымъ играмъ свойственна почти всѣмъ мальчикамъ. Сверхъ того, восторженное чтеніе романовъ Вальтеръ-Скота, гдѣ представлено много картинъ осадъ и сраженій, естественнымъ образомъ, способствовало къ тому, что мальчикъ, съ воображеніемъ пылкимъ, любилъ представлять себѣ эти дѣянія и пользовался возможностью, такъ сказать, ставить ихъ на сцену. Эти чтенія заронили въ Грановскомъ любовь къ картинности и вѣрности историческихъ описаній, бывшую столь привлекательною въ послѣдствіи для восхищавшихся его лекціями слушателей. Несмотря на то, что Грановскому исполнилось тринадцать лѣтъ, въ семействѣ еще не составилось тогда опредѣленнаго плана его воспитанія. Тимоѣя Николаевича отвезли въ Москву, и помѣстили въ одинъ изъ лучшихъ въ тогдешнее время частныхъ учебныхъ заведеній, въ пансіонъ Кистера.

Грановскій, во время своего пребыванія въ этомъ пансіонѣ, пользовался точно такъ же, какъ и въ домѣ родителей, всеобщю любовію. Онъ не любилъ ссоръ и всегда старался мирить своихъ товарищей, если они ссорились между собою. Когда, черезъ нѣсколько лѣтъ по выходѣ изъ пансіона, Грановскій (въ 1836 году) встрѣтился въ Москвѣ съ докторомъ Кистеромъ, то послѣдній отъ радости прослезился. Оставивъ пансіонъ и живя въ деревнѣ, Грановскій сильно скучалъ; его натура требовала дѣятельности. Къ счастью, онъ еще не сидѣлъ постоянно дома, а иногда ѣздилъ съ матерью по Орловской губерніи, гдѣ у нихъ были знакомые и родные. Разъ даже ему удалось съѣздить въ Малороссію, къ бабушкѣ, которая жила тамъ постоянно. Дорогою они заѣзжали въ Нѣжинъ, гдѣ жила тетка Грановскаго (родная

сестра его матери), съ своимъ семействомъ. Тутъ онъ провель очень пріятно время и получилъ въ подарокъ карманные часы. Первые часы! Съ какою пріятностію долженъ былъ онъ чувствовать ихъ въ карманѣ, и какъ неохотно бы, конечно, онъ разстался съ ними, даже въ случаѣ крайности! Однако, у Грановскаго вышло иначе: ему хотѣлось непременно привезти что нибудь, въ подарокъ доброй и умной гувернанткѣ своихъ сестеръ. Въ это время подвернулся какой-то еврей, и Грановскій продалъ ему свои часы за 15 р. (ассигнаціями). Таеъ мало было у него завѣтнаго, какъ скоро ему хотѣлось исполнить то или другое сердечное желаніе.

Когда Тимоѳею Николаевичу исполнилось осьмнадцать лѣтъ, то положено было отправить его въ Петербургъ, и тамъ опредѣлить въ гражданскую службу. Дѣйствительно, это семейное рѣшеніе вскорѣ было приведено въ исполненіе. Первое время, по приѣздѣ въ Петербургъ, Грановскій поселился въ домѣ своего родственника Бодиско; вслѣдъ затѣмъ онъ былъ записанъ на службу въ какой-то департаментъ. Но могла ли душа, стремившаяся ко всему прекрасному и высокому, ужиться съ условіями канцелярской жизни. Естественно, что у молодого человѣка вдругъ явилась мысль о поступленіи въ университетъ. Это намѣреніе Грановскій поспѣшилъ сообщить своему семейству. Отецъ былъ противъ этого намѣреніе; но мать поддерживала, сколько могла, желаніе сына, и своимъ согласіемъ, кажется, окончательно рѣшила его выборъ. Вскорѣ послѣ того, именно лѣтомъ въ 1831 году, скончалась мать Тимоѳея Николаевича. Это несчастіе поразило любящаго сына, тѣмъ болѣе, что онъ къ нему вовсе не былъ приготовленъ. Въ его годы и въ его положеніи, не могло быть потери, болѣе чувствительной; въ одно время онъ лишился самой глубокой своей привязанности и самой твердой своей опоры, не говоря уже о матеріальной помощи, которая болѣе всего зависѣла отъ матери. Нѣкоторое время горе сильно давило его, тѣмъ болѣе, что оно не могло быть ни

съ вѣмъ раздѣлено. Удаленный отъ семьи и еще не видя тогда около себя преданныхъ друзей, онъ самъ съ собою долженъ былъ пережить самыя трудныя минуты. Даже въ переписькѣ съ старшею сестрою, онъ едва смѣлъ искренно касаться поразившаго ихъ общаго несчастія. Молодое чувство его было сильно потрясено, и не находило себѣ ни какого исхода. Въ письмѣ къ своей теткѣ, называя свою покойную мать ангеломъ-хранителемъ, онъ увѣрялъ, что будетъ достойнымъ ея сыномъ. Въ это время особенно озабочивала его участь сестеръ и брата; не было жертвы, которую онъ не принесъ бы имъ. Тогда же у него явилась мысль доказать свою любовь къ семейству не однимъ словомъ, но и дѣломъ. Разъ задумавши какое нибудь дѣло, онъ не любилъ откладывать его исполненія. Именно, въ декабрѣ 1831 года, онъ уступилъ сестрамъ имѣніе, доставшееся ему послѣ смерти матери, въ Малороссіи. Это было сдѣлано Тимоеемъ Ниволаевичемъ въ то время, когда онъ самъ крайне нуждался въ средствахъ. Въ послѣдствіи, въ 1833 году, онъ взялъ на свое попеченіе младшаго брата Платона. Смерть матери прервала на время занятія Грановскаго, оставившаго службу и готовившагося въ вступительному экзамену въ университетъ. Прийдя нѣсколько въ себя послѣ ужаснаго удара, онъ съ удвоенною энергіею принялся за прежнія занятія. Въ отношеніи матеріальномъ, положеніе его было въ высшей степени затруднительно: не получая денегъ изъ дома холоднаго къ дѣтямъ отца, онъ часто оставался безъ обѣда, и питался однимъ картофелемъ. Несмотря, однако, на такія трудныя обстоятельства, несмотря на свое, можно сказать, безпомощное состояніе, Грановскій достигъ цѣли, и взялъ, такъ сказать, студенческій мундиръ съ боя. Въ сентябрѣ 1832 года, онъ былъ принятъ въ юридическій факультетъ Петербургскаго университета. По всѣмъ извѣстіямъ, этотъ выборъ зависѣлъ не столько отъ его воли, сколько вызванъ былъ необходимостію. Къ математикѣ онъ не чувствовалъ особенной склонности, а къ фа-



культету словесныхъ наукъ онъ находилъ себя не довольно приготовленнымъ, по недостаточному знанію древнихъ языковъ. Главное, впрочемъ, состояло для него не столько въ той или другой отрасли наукъ, сколько вообще въ университетскомъ образованіи, и онъ былъ уже счастливъ тѣмъ, что нашелъ въ нему доступъ. Университетскія занятія Грановскаго шли ровно, послѣдовательно и безъ всякаго замедленія. Лекціи тогда читались поутру и послѣ обѣда; но собственно работать студенты начинали лишь съ приближеніемъ экзаменовъ. Тутъ начиналось, такъ сказать, сплошное зазубриванье всего, что было прочитано съ кафедръ въ продолженіе учебнаго года. Студентъ только тогда и былъ спасенъ, если могъ, съ буквальною вѣрностію, передать все слышанное имъ отъ преподавателя. Нѣкоторые изъ слушателей того временъ простирали свою ревность до того, что отваживались на заучиваніе наизусть цѣлыхъ печатныхъ томовъ (какъ, на примѣръ, «Исторіи Греціи», Арсеньева) и, по ихъ же собственному увѣренію, благополучно достигали своей цѣли. Въ послѣдствіи, въ устройствѣ нашихъ университетовъ, произошло много внѣшнихъ и внутреннихъ перемѣнъ; не такъ было при Грановскомъ, когда онъ учился.

Грановскій также долженъ былъ слѣдовать обыкновенному тогда порядку въ ходѣ университетскихъ занятій, то есть зазубривать все; но онъ не доходилъ никогда до бесплоднаго заучиванія наизусть цѣлыхъ печатныхъ сочиненій. Довольно важную эпоху въ его университетской жизни, какъ видно изъ писемъ его къ сестрѣ, составило слѣдующее событіе. Нѣкто Василій Максимовичъ (не знаемъ фамиліи этого благодѣтеля), уѣзжая на лѣто изъ Петербурга, оставилъ, въ распоряженіе Грановскаго, значительную часть своей библіотеки, 250 томовъ разныхъ сочиненій «и въ томъ числѣ весь Вальтеръ-Скотъ — позавидуи», какъ писалъ Грановскій къ сестрѣ, отъ 10-го мая 1833 года. Это пріобрѣтеніе, хотя временное, было для него сущій кладъ. Теперь ему представился прекрасный случай пополнить недо-

статей образованія, чтеніемъ полезныхъ книгъ. Особенно же прилежно онъ принялся за романы Вальтера-Скота, котораго любилъ еще въ дѣтствѣ. Въ университетѣ, онъ также прочелъ англійскихъ поэтовъ, Соути и Кольриджа, и познакомился съ французскими историками, изъ которыхъ ему особенно нравился Огюстенъ Тьерри, даровитый и блистательный авторъ «Завоеванія Англій норманнами.» Такимъ образомъ, уже на студенческой скамьѣ, опредѣлился довольно ясно характеръ будущихъ занятій и будущей дѣятельности Грановскаго

Наконецъ, въ 1835 году, Грановскій оставилъ Петербургскій университетъ, выдержавъ послѣдній экзаменъ съ честью, и получивъ степень кандидата правъ. Тогда уже его хотѣли отправить за границу, для усовершенствованія въ наукахъ; но это предположеніе почему-то не состоялось. Съ университетомъ онъ разстался не безъ сожалѣнія: его тамъ очень любили, и профессоры, и товарищи. Не имѣя необходимыхъ средствъ къ жизни, Грановскій вступилъ на службу въ морское министерство, секретаремъ въ одинъ изъ департаментовъ. Въ это же время онъ сталъ писать для журнала «Библіотека для Чтенія», издававшася тогда подъ редакцію Сенковскаго. Но ни служба, ни поставка срочныхъ статей въ журналъ, не могли удовлетворить Грановскаго: его душа искала другой дѣятельности, шире и плодотворнѣе. Къ счастью, онъ нашелъ исходъ для себя. Одинъ изъ его хорошихъ пріятелей, орловскій помѣщикъ, К. В. Ржевскій, присовѣтывалъ ему искать каеедры исторіи въ Московскомъ университетѣ. Когда же Тимошей Николаевичъ изъявилъ свое на то согласіе, то Ржевскій рекомендовалъ его графу Сергѣю Григорьевичу Строганову, бывшему тогда попечителемъ московскаго учебнаго округа. Дѣло такъ шло успѣшно, что Грановскій, уже въ 1836 году, былъ отправленъ за границу, для приготовленія къ профессорской каеедрѣ. Бѣольшую часть времени, проведеннаго за границею, Грановскій пробылъ въ Берлинѣ, который въ

тогдашнюю эпоху славился своимъ университетомъ и профессорами. Выбравъ себѣ предметъ — исторію, Тимоѳеѣ Николаевичъ съ большимъ жаромъ принялся заниматься ею; руководителемъ его въ этихъ занятіяхъ былъ одинъ изъ первоклассныхъ нѣмецкихъ историковъ, Леопольдъ Ранке. Занимаясь своею любимую наукою и слѣдя за всѣми явленіями въ литературѣ, Грановскій, въ то же время, посѣщалъ и общество. Онъ нашель въ Берлинѣ нѣсколько домовъ, въ которыхъ можно было пріятно проводить вечера. Въ этихъ домахъ онъ познакомился съ знаменитою своимъ умомъ Беттиною фонъ-Арнимъ, женою прусскаго министра, извѣстнымъ Варнгагеномъ фонъ-Энзе, и славнымъ юристомъ Гансомъ. Пробывъ почти три года въ Германіи, Грановскій, въ 1839 году, возвратился въ Россію. Въ Москвѣ онъ явился въ графу Строгонову, который назначилъ его въ университетъ преподавателемъ средней и новой исторіи. Въ это время Московскій университетъ, благодаря многимъ счастливымъ обстоятельствамъ, достигъ высшей своей славы. Сотни юношей, жаждавшихъ знанія, стремились, изъ всевозможныхъ уголковъ Россіи, изъ самыхъ отдаленныхъ ея провинцій, въ Москву, съ цѣлью поступить въ университетъ. И онъ радушно открывалъ имъ двери своихъ аудиторій и радушно приглашалъ ихъ воспользоваться великими богатствами науки.

Вступленіе Грановскаго на профессорскую кафедру случилось именно въ самую свѣтлую, блистательную эпоху университета. Неудивительно, что Тимоѳеѣ Николаевичъ вполне въ нему привязался и всего себя посвятилъ ему. Конечно, онъ не имѣлъ причины въ этомъ раскаяваться, потому что университетъ много далъ ему хорошихъ минутъ, доставилъ ему много чистыхъ наслажденій. Ни одному профессору не выпадало такой завидной участи, какъ Грановскому: одно его слово приводило юношей въ восторгъ, одинъ его упрекъ, сказанный шепотомъ, былъ для студентовъ тяжелѣе и невыносимѣе всѣхъ дурныхъ балловъ, наказаній и начальственныхъ

распеканій. Онъ понималъ все могущество своего вліянія на студентовъ, и, не злоупотребляя имъ, старался только, при помощи его, внушать своимъ слушателямъ чистое, нравственное чувство и любовь къ знанію. Грановскій, будучи въ университетѣ, чувствовалъ, что онъ вполне на своемъ мѣстѣ, и потому не искалъ для себя другой дороги, другаго дѣла. Было одно время, когда онъ подвергся многимъ непріятностямъ; но это его не смутило, и онъ, какъ чистый сердцемъ, бодро переносилъ годину испытаній. Онъ твердо вѣровалъ въ высокое значеніе того подвига, къ совершенію котораго онъ былъ призванъ. А подвигъ этотъ начался въ 1839 году и прерванъ былъ только въ 1855 году, его смертью.

Въ послѣдніе годы жизни, Тимоѣей Николаевичъ сталъ очень часто хворать. Впрочемъ, предъ своею смертью, въ 1855 году, онъ чрезвычайно оживился, и съ особенною любовью приступилъ къ давно уже начатому труду: къ составленію «Учебника всеобщей исторіи», для юношества. Въ это же время онъ дѣятельно принялся составлять, при помощи своихъ товарищей, программу *Историческаго Сборника*, который онъ намѣревался издавать періодически, въ видѣ журнала. Еще за два дня до смерти, Грановскій слушалъ чтеніе этой программы съ одобрительнымъ взглядомъ, и подтвердилъ еще разъ, что надобно, какъ можно скорѣе, приступать къ самому дѣлу. Черезъ нѣсколько дней, онъ надѣялся стать на ноги и очень охотно говорилъ о своемъ намѣреніи ѣхать въ Петербургъ, чтобы испросить дозволеніе на изданіе сборника. Но всѣ эти благія намѣренія и прекрасныя надежды прервала смерть: 4-го октября 1855 года, въ десять часовъ, скончался Грановскій, имѣя отъ роду только 42 года, слѣдовательно въ лучшую пору своего развитія, въ пору цвѣтущаго мужества, въ пору зрѣлости. Трудно себѣ представить всю великость той утраты, которую понесъ университетъ, потерявъ Грановскаго, которую понесло и московское общество, столь любившее даровитаго историка. Объ уваженіи и любви,

которыми пользовался Грановскій со стороны своихъ товарищей и слушателей, можно судить лучше всего по его похоронамъ. Наванунѣ ихъ, студенты задумали украсить цвѣтами гробъ, въ которомъ будетъ лежать тѣло Тимоева Николаевича, и усыпать ими, вмѣсто обычнаго ельнива, его послѣднюю дорогу. За мыслію слѣдовало скорое исполненіе. Сейчасъ же составила подписка и сдѣланы были всѣ нужныя приготовленія. Въ самой день похоронъ, въ университетскую церковь собрались товарищи покойнаго, его слушатели и даже много людей постороннихъ, знавшихъ его по наслышкѣ. Приглашеній не дѣлали: всѣ явились сами. Народа собралось столько, что довольно большая университетская церковь съ трудомъ вмѣщала въ себѣ присутствовавшихъ. Гробъ преимущественно окружали студенты. Имъ въ послѣдній разъ хотѣлось взглянуть на черты своего наставника. Весь въ зелени и розахъ, эмблемахъ вѣчной жизни и вѣчной юности, послѣднихъ знакахъ любви учениковъ, покоился среди храма холодный трупъ Грановскаго. Трудно было вѣрить, что Грановскій замолкъ навсегда, что онъ окончилъ свой расчетъ съ жизнію. Но смерть безжалостна и не отдаетъ того, что разъ пожато ею. Оставалась одна молитва, которая, какъ таинственная связь, могла еще соединять живыхъ съ отсутствующимъ, съ перешедшимъ въ вѣчность. Умилительно было видѣть, какъ въ храмѣ, при гнѣніи вѣра: «Со святыми упокой», новергались на колѣни многіе изъ присутствовавшихъ, преимущественно юные слушатели покойнаго.

По окончаніи отпѣванія, гробъ, вынесенный изъ церкви товарищами Грановскаго, профессорами, былъ принятъ студентами, которые, по дорогѣ, усыпанной цвѣтами, донесли его на рукахъ до могилы, чрезъ все огромное разстояніе, отдѣляющее пятницкое кладбище отъ университета. Шествіе при похоронахъ развертывалось на версту. Съ покойнымъ соединялъ провожавшихъ не матеріальный интересъ, а то глубокое чувство уваженія, которое они къ нему чувствовали за его

подвиги въ наукѣ, за его добрую жизнь, за его доброе сердце. Когда гробъ былъ опущенъ въ могилу и засыпанъ землею, товарищъ и другъ Грановскаго, профессоръ Кудрявцевъ\*), трогательнымъ голосомъ, прерываемымъ слезами и рыданіями, сказалъ небольшую рѣчь о покойномъ. Но ея никто не слышалъ, потому что всѣ плакали, всѣ рыдали....

---

\*) Кудрявцевъ не долго пережилъ Грановскаго. Смерть Кудрявцева была также тягостною утратою для науки вообще, и для Московскаго университета въ особенности.

---

**МИХАИЛЬ ГРИГОРЬЕВИЧЪ**

**ПАВЛОВЪ**

(1793 — 1840).

Михаиль Григорьевичъ Павловъ родился, въ 1793 году, въ Воронежской губерніи, на деревенскомъ погостѣ, гдѣ отецъ его былъ священникомъ. Молодой Павловъ, первоначально, обучался философскимъ и богословскимъ наукамъ въ воронежской семинаріи, и, по окончаніи курса, получивъ увольненіе изъ духовнаго званія, поступилъ, въ 1813 году, въ число студентовъ Харьковского университета, а въ слѣдующемъ году переведенъ, по собственному желанію, въ московское отдѣленіе медико-хирургической академіи. Медицина, особенно практическія занятія ею, не понравились Павлову, почему онъ и находился въ академіи только въ продолженіе того времени, пока слушалъ преимущественно науки приготовительныя; когда же слѣдовало заняться изученіемъ наукъ медицинскихъ, то Павловъ перешелъ въ математическое отдѣленіе Московскаго университета, въ которомъ преподавались пространно различныя отрасли естествовѣдѣнія, особенно его привлекавшія. Но, сознавая ли пользу знанія наукъ, входящихъ въ кругъ медицины, и для незанимающихся ею, или не желая оставить однажды начатаго изученія ея\*), Павловъ, обладавшій обширнымъ умомъ

---

\*) Здѣсь гсгати вспомнить любимое изрѣченіе Павлова, что только недоконченный трудъ остается безъ вознагражденія.

и смѣлый въ предпріятіяхъ, шелъ въ университетѣ по двумъ отдѣленіямъ: математическому и медицинскому. Многоразличныя и трудныя занятія по этимъ отдѣленіямъ не только не ослабили успѣховъ его, но, напротивъ того, доставивъ его уму нужное обиліе въ пищѣ, дали ему возможность развиться вполне. Въ 1815 году, Павловъ кончилъ блистательно университетскій курсъ и получилъ отъ обоихъ отдѣленій награжденія, за сочиненныя имъ диссертациі, отъ математическаго золотую, а отъ медицинскаго серебряною медалями. Такимъ образомъ Павловъ обратилъ на себя особенно благосклонное вниманіе университетскаго начальства, которое сначала опредѣлило его въ кабинету натуральной исторіи, а потомъ, по полученіи имъ степени доктора медицины, отправило его, въ 1818 году, за границу, для усовершенствованія себя въ естественной исторіи и въ сельскомъ домоводствѣ. Князь Голицынъ, управлявшій тогда Москвою и основавшій общество сельскаго хозяйства, содѣйствовалъ путешествію Павлова, и былъ постояннымъ покровителемъ этого ученаго. За границею Павловъ слушалъ лекціи извѣстныхъ ученыхъ того времени, особенно сельское хозяйство у знаменитаго Тэра, котораго оцѣнилъ по достоинству, и полюбилъ душою. По возвращеніи въ Москву, въ 1820 году, онъ читалъ въ университетѣ лекціи минералогіи и сельскаго домоводства, сначала въ должности экстраординарнаго, а потомъ и ординарнаго профессора. Въ послѣдствіи, онъ былъ избранъ въ члены училищнаго комитета, въ члены комитета для испытанія гражданскихъ чиновниковъ, въ члены комиссіи для охраненія отъ холеры университета и заведеній, ему подвѣдомыхъ. Сверхъ сказанныхъ предметовъ, Павловъ читалъ въ университетѣ попеременно физіку, технологію, лѣсоводство и сельское хозяйство, которыми преимущественно занимался съ особенною любовію и успѣхомъ до кончины своей. Самостоятельность въ мнѣніяхъ и поступкахъ, смѣлость въ предпріятіяхъ, были отличительными чертами его характера. Сознвая силы своего ума, Павловъ,



раздражительный отъ природы, разилъ немилосердно своихъ противниковъ. При такихъ качествахъ, нельзя было ожидать, чтобы Павловъ присталъ въ поклонникамъ какой-либо иностранной знаменитости: можно было предугадать, что если онъ издастъ что-либо въ свѣтъ, то конечно не рабскій переводъ и не безотчетное подраженіе. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ сочиненія этого профессора носятъ на себѣ рѣзкую печать самобытности и несомнѣннаго дарованія. По возвращеніи изъ-за границы, онъ смѣло и блистательно выступилъ на ученое поприще, лекціею *«О главныхъ системахъ сельскаго хозяйства, съ примаровленіемъ къ Россіи»*, статьею *«О способахъ изслѣдованія природы»*, и потомъ рѣчью *«О побудительныхъ причинахъ совершенствовать сельское хозяйство въ Россіи, преимущественно предъ другими отъѣями народной промышленности и о мѣрахъ, существенно къ тому относящихся»*, сочиненіями, въ которыхъ молодой ученый обнаружилъ новый и обширный взглядъ на многіе предметы и свѣтлыя о нихъ понятія. Въ одномъ мѣстѣ своей рѣчи, по поводу вредныхъ послѣдствій отъ трехпольной системы и необходимости замѣнить ее плодоперемѣнною, онъ говоритъ: «Но эти временныя выгоды трехъ-полевой системы ничтожны въ сравненіи съ вредными отъ нея послѣдствіями. И естественно ли это, что въ Россіи, гдѣ находится столько различія въ почвѣ и климатѣ, господствуетъ одинъ порядокъ въ нивоводствѣ? Улучшенія, сдѣланныя въ новѣйшія времена нѣкоторыми изъ мыслящихъ хозяевъ, такъ мало измѣняютъ это однообразіе, что это обширнѣйшее пространство земной поверхности, составляющее сцену російскаго хозяйства, представляется однимъ полемъ, обрабатываемымъ по одному плану. Что у насъ осталось стараго отъ повареннаго искусства до костюма, отъ физическаго до нравственнаго воспитанія? Все измѣнилось; одно сельское хозяйство остается въ прежнемъ видѣ; въ немъ только дорожатъ стариною. Такое постоянство дѣлало бы честь, если бы принятая система была всѣхъ извѣстныхъ со-

вершениѣйшая; но она угрожаетъ подрывомъ единственному основанію, на коемъ утверждается сельское хозяйство, ослабляя плодородіе земли. Плодопереѣнная система, какъ надежнѣйшая въ поддержанію онаго, должна трехъ-полевою замѣнить безусловно» и т. д. Въ этихъ и другихъ истинахъ, высказанныхъ профессоромъ уже за тридцать лѣтъ предъ симъ, видны практическій взглядъ и благоразумная осторожность, необходимая въ такомъ важномъ и трудномъ дѣлѣ, какъ сельское хозяйство. Тѣмъ же характеромъ ясности и свѣтлости взгляда запечатлѣны и другіе труды Павлова: *Земледѣльческая химія, Основанія физики, Курсъ сельскаго хозяйства*. Нѣсколько лѣтъ сряду, Михаилъ Григорьевичъ издавалъ два журнала: *Атеней* и *Русскій Земледѣлецъ* и при первомъ еще *Записки для сельскихъ хозяевъ, заводчиковъ и фабрикантовъ*, съ цѣлію ознакомить соотечественниковъ съ современнымъ состояніемъ сельскаго хозяйства, примѣненнаго въ русскому быту и мѣстнымъ потребностямъ. Въ этихъ журналахъ содержится много оригинальныхъ статей самого издателя.

Какъ достойный и ревностный послѣдователь знаменитаго Тэра, Павловъ вполне созналъ важное значеніе естествознанія въ дѣлѣ сельскаго хозяйства. Не вдаваясь въ крайности и безъ педантизма, онъ постоянно, хотя иногда и неравнодушно, высказывалъ основательныя, удобоприложимыя къ дѣлу научныя истины, съ благодарнымъ жаромъ защищалъ ихъ предъ своими противниками, и такимъ образомъ незамѣтно сближалъ практику съ теоріею. Имѣя въ виду такое благое стремленіе, Павловъ издалъ земледѣльческую химію, назвавъ ее приготовительною частію науки сельскаго хозяйства, которая безспорно служила тогда путеводительною звѣздою каждому любознательному агроному, заключая свѣдѣнія, заимствованныя изъ естественныхъ наукъ и примѣненные въ сельскому хозяйству. Также удачно понялъ профессоръ задачу теоріи въ своемъ курсѣ сельскаго хозяйства, неоконченномъ, предисловіе въ которому онъ заключаетъ слѣ-

дующими словами: «Признакъ рациональных хозяйствъ — современность, съ печатью мѣстности. Девизъ ихъ: Вѣкъ живи, вѣкъ учись. Но вѣкъ учиться можетъ только тотъ, кто ученію своему положилъ начало. Это начало въ сельскомъ хозяйствѣ есть наука. Представить ее въ современномъ состояніи, съ возможными примѣненіями къ Россіи, вотъ назначеніе издаваемого курса! Соотвѣтственно назначенію, курсъ начинается подробнымъ изложеніемъ свѣдѣній изъ естественныхъ наукъ, служащихъ сельскому хозяйству основаніемъ, безъ коихъ современное рациональное сельское хозяйство непонятно; если же для нѣкоторыхъ кажется понятнымъ, то это обманъ, лестный для самолюбія обманывающихся, но вредный для самаго дѣла.» Всѣ практическія примѣненія, Михаилъ Григорьевичъ Павловъ старался озарить свѣтомъ науки. «Сельское хозяйство», говоритъ онъ, «чтобы быть наукою, должно быть рациональнымъ; безотчетное же выполненіе нѣкоторыхъ приѣмовъ, въ нему относящихся, есть грубое ремесло, а исполнитель не болѣе, какъ машина». — «Что такое теорія въ сельскомъ хозяйствѣ?» продолжаетъ онъ. «Спорящіе о теоріи и практикѣ подъ именемъ первой обыкновенно разумѣютъ самую науку сельскаго хозяйства. А поелику наука есть знаніе дѣла въ отношеніи къ началамъ, на которыхъ оно основано, въ отношеніи къ способамъ, которыми производится, и въ отношеніи къ условіямъ, при которыхъ удовлетворяетъ цѣли своей: то кому и гдѣ такая теорія можетъ быть лишнею? Практика есть произведеніе теоріи въ дѣйствіе. Гдѣ же враждебность между теоріею и практикою? напротивъ практика безъ теоріи быть не можетъ: такъ велика между ними связь!»

Во всѣхъ сочиненіяхъ Павлова, видно стремленіе подчинить отдѣльныя данныя науки общему здраво обсужденному началу, видна тѣсная связь между частями ея, видна необыкновенная логическая послѣдовательность, ясное и легкое изложеніе предмета. Эти достоинства привлекали на лекціи покойнаго большое число слушателей, и снискали ему ихъ ува-

женіе. Многіе еще помнят университетскія лекціи его, по возвращеніи въ Москву, на которыхъ, по множеству слушателей, часто трудно было найти себѣ мѣсто. Его публичные курсы сельскаго хозяйства, читанные нѣсколько лѣтъ сряду въ Московскомъ университетѣ, были прилежно посѣщаемы любителями.

Ученая дѣятельность Павлова не замыкалась въ стѣнахъ университетскихъ аудиторій. Ученія его заслуги и испытанная опытность на поприщѣ сельскаго хозяйства побудили Московское общество сельскаго хозяйства пригласить его къ занятію мѣста директора Земледѣльческой школы и учебнаго Опытнаго хутора, подвѣдомственныхъ обществу. Управляя этими учебными сельско-хозяйственными заведеніями, Павловъ доставилъ имъ извѣстность. Онъ образовалъ многихъ отличныхъ учениковъ Земледѣльческой школы; на Опытномъ же хуторѣ онъ обращалъ особенное свое вниманіе на лучшую обработку земли, усовершенствованными земледѣльческими орудіями: самъ устроилъ, сообразно мѣстнымъ потребностямъ, плужокъ, который и понынѣ называется плужокъ Павлова; распространилъ травосѣяніе и разведеніе корнеплодныхъ растений; ввелъ различные сѣвообороты, строгую отчетность въ хозяйствѣ и т. д., и результаты своихъ замѣчательныхъ наблюденій и практическихъ трудовъ на хуторѣ, къ которымъ постоянно и охотно допускалъ своихъ слушателей и другихъ любителей сельскаго хозяйства, сообщалъ въ вышеприведенныхъ журналахъ публикѣ. Такая неутомимая учено-практическая дѣятельность даровитаго и энергическаго профессора-агронома должна была возбудить въ нашемъ обществѣ живое сочувствіе къ общепользному дѣлу и много способствовать къ распространенію необходимыхъ сельско-хозяйственныхъ свѣдѣній въ нашемъ отечествѣ, что и было на самомъ дѣлѣ. За нѣсколько лѣтъ до кончины, Павловъ отказался отъ завѣдыванія хуторомъ Московскаго общества. Онъ, однако, не могъ отрѣшиться отъ родной ему практической дѣятельности, и

завель, на собственномъ иждивеніи, Земледѣльческое училище, въ которое принимались помѣщичьи крестьянскіе мальчики учиться современному сельскому хозяйству, примѣненному къ русскому быту и къ мѣстнымъ потребностямъ.

Въ Россіи, представляющей всѣ разнообразія климатическихъ условій Европы, весьма ощутителенъ былъ недостатокъ въ преподавателяхъ сельскаго хозяйства, которые разносили бы свѣтъ науки въ отдаленныя отъ столицы части государства, и способствовали бы тѣмъ совершенствованію и успѣхамъ сельскаго хозяйства, коренной отрасли народной промышленности и богатства въ Россіи. А потому правительство положило образовать достаточное число ученыхъ агрономовъ, чтобы потомъ разослать ихъ во всѣ части нашего отечества. По высочайше утвержденному проекту, предположено было устроить при Московскомъ университетѣ агрономическій институтъ на четырнадцать студентовъ втораго отдѣленія философскаго факультета, которые, по окончаніи полнаго курса сельскаго хозяйства, могли бы поступить въ учителя этой науки въ разныя учебныя заведенія, а отличные отправиться въ сосѣднія съ Россіею государства, для дальнѣйшаго своего образованія. Эту важную должность образователя агрономовъ для всей Россіи правительство ввѣрило Михаилу Григорьевичу Павлову, котораго достоинства и ученость ему были извѣстны. Много надеждъ полагали на него; многое могъ бы онъ выполнить; но Павлову уже суждено было providѣніемъ кончить земное поприще. Въ ночи на 3-е апрѣля 1840 г., Михаилъ Григорьевичъ Павловъ почувствовалъ сильный приступъ крови къ верхней части груди, и черезъ часъ скончался на 47 году отъ роду. Профессоры сельскаго хозяйства и технологіи, каковы Желѣзновъ, Ильенковъ, Кочетовъ, Ходецкій, согласно предположенію, образовались подъ руководствомъ извѣстнаго профессора и знатока сельскаго хозяйства, Степана Михайловича Усова, при Петербургскомъ универси-

тетѣ, и были отправлены потомъ правительствомъ за границу, для довершенія своего образованія.

Заслуги Павлова оцѣнены современниками по достоинству. Раннюю утрату его близко приняли къ сердцу Московскій университетъ, Московское общество сельскаго хозяйства и вся наша просвѣщенная публика, которую профессоръ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, посвящалъ въ знанія сельскаго хозяйства. Въ этомъ отношеніи, всего лучше привести слова русскаго вельможи, покойнаго князя Голицына, который, представляя портретъ Павлова Московскому обществу сельскаго хозяйства, выразился: «Въ лицѣ основателя теоріи земледѣлія въ Россіи, въ лицѣ покойнаго Павлова, мы понесли для науки великую потерю. Оставляя портретъ его въ залахъ засѣданія, мы отдадимъ торжественную дань признательности памяти покойнаго профессора, такъ много трудившагося для нашего общества, для науки, для отечества.»

ГРИГОРІЙ САВВИЧЪ

## СКОВОРОДА,

украинскій философъ.

(1726—1794).

Въ началѣ прошедшаго столѣтія, въ сельцѣ Лернухахъ, Лубенскаго округа, Кіевскаго намѣстничества (по нынѣшнему, въ Лубенскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи), жилъ казакъ Савва Скворода съ женою. Честные, правдивые, страннопріимные люди были — казакъ Скворода и его жена. И порадоваль ихъ Богъ сыномъ Григоріемъ. Это случилось въ 1726 году.

Добрый и умный былъ мальчикъ Григорій, богомольный и благочестивый, едва ли не съ самыхъ пеленокъ; бывало, пономарь только что отворить сельскую церковь, а онъ, малютка, уже подтягиваетъ на врылось дьячку; придетъ домой, такъ распѣваетъ чистымъ, тоненькимъ голоскомъ стихъ Іоанна Дамаскина: «Образу златому».

— Савва, сказала однажды Сквородиха мужу своему, — отдадимъ сына въ науку.

— Ой? отдадимъ — отвѣчалъ Скворода.

И отдали они сына въ кіевское училище. Вскорѣ отличные успѣхи Григорія въ наукахъ обратили на себя вниманіе тогдашняго кіевскаго митрополита Самуила Миславскаго, а охота и способность къ музыкѣ были причиною выбора его

въ придворную пѣвческую, при восшествіи на престоль императрицы Елисаветы Петровны. Гришу отвезли въ Петербургъ, гдѣ въ капеллѣ онъ прилежно занимался, обращая на себя ласковое вниманіе регента и всѣхъ набольшихъ; но страсть къ познаніямъ превозмогла въ немъ любовь къ искусству. Когда императрица посѣтила Кіевъ, пѣвчій Григорій Скворода былъ также въ числѣ придворныхъ пѣвчихъ; однако возвратиться въ Петербургъ не захотѣлъ. Получивъ увольненіе, съ чиномъ придворнаго уставщика, онъ началъ учиться прилежно, потому что чувствовалъ, что «ученье свѣтъ, а неученье тма.» Скворода усердно изучалъ все, что только можно было изучить въ то время въ кіевской семинаріи; но любознательный умъ его не довольствовался тѣми знаніями, какія онъ въ то время могъ приобрѣсти въ Кіевѣ; онъ постигалъ, что познаніямъ нѣтъ границъ, и что истина не односторонна. Онъ хотѣлъ многое видѣть, чтобъ многое знать. Судьба предназначила ему изъ горькаго извлекать сладкое, то есть, онъ долженъ былъ, большими трудами и лишеніями, приобрѣтать необходимое для того, чтобы добывать себѣ сладкія для него знанія; но онъ не ропталъ на эту судьбу.

Въ то время генералъ Вишневскій, отправленный отъ двора въ Венгрію, желалъ имѣть, для находившейся тамъ греко-россійской церкви, человѣка, знающаго церковное пѣніе. Григорій Скворода, извѣстный уже по искусству своему въ музыкѣ и въ познаніи нѣмецкаго, латинскаго и греческаго языковъ, былъ представленъ генералу, которому юноша понравился съ перваго раза, и вотъ пламенное желаніе его исполнилось: онъ поѣхалъ въ Венгрію. Вишневскій, оцѣнивъ его достоинства и умъ, далъ ему средства совершить путешествіе въ Вѣну, въ Пресбургъ и въ другія мѣста Австріи. Но ему не мѣста любопытны были, а ученые люди Германіи. Ихъ только хотѣлъ онъ видѣть и слышать. Благодаря знанію латинскаго и нѣмецкаго языковъ, Сквородѣ легко было исполнить свое желаніе, а умомъ приобрѣсти пріязнь



извѣстнѣйшихъ въ то время людей. Обогащенный познаніями, и сочетавъ религіозность свою съ идеями германской философіи, онъ возвратился въ отечество. Здѣсь однако, къ горю своему, ученый и добрый Сковорода убѣдился, что соотечественники его еще слишкомъ далеко отстали отъ того просвѣщенія, которое тогда уже роскошно было развито въ Германіи. Сердце его болѣло и страдало, при зрѣлищѣ невѣжества и предрасудковъ, которые характеризировали тогдашнее общество. Въ усердіи своемъ, онъ желалъ, какъ можно скорѣе, разсѣять мракъ невѣжества, какъ можно успѣшнѣе уничтожить предрасудки. Онъ, съ любовью къ соотечественникамъ, старался представить имъ всю привлекательность наукъ, всѣ чудеса открытій, все дивное строеніе вселенной; но могли ли одинъ свѣточъ озарить ночь, лежавшую надъ цѣлою странкою?

Глаза, не привыкшіе еще къ блеску свѣта, боялись его. Умъ и вроткій нравъ Григорія находили повсюду ему друзей, а понятія и познанія его обращали во враговъ этихъ же самыхъ друзей.

По возвращеніи Сковороды изъ чужихъ краевъ, переяславскій епископъ пригласилъ его въ учителя поэзіи въ городское училище. Желая совершенствовать науку, Сковорода написалъ «Разсужденіе о поэзіи и руководство къ искусству оной.» Это разсужденіе показалось необычайнымъ; новая метода и правила были отвергнуты, а Сковорода, какъ нововводитель, изгнанъ былъ изъ училища. Не имѣя состоянія, посреди всѣхъ недостатковъ, онъ не терялъ бодрости духа; не имѣя ничего кромѣ умной головы, добраго сердца и носильнаго платья, даже не имѣя самой скромной избы, гдѣ могъ бы преклонить голову и отдохнуть, — онъ, среди этого горя, невыносимаго для всякаго другаго, былъ счастливъ, и беззаботно гостилъ тамъ и сямъ. Въ это время богатый малороссійскій помѣщикъ Тамара пригласилъ бѣднаго ученаго къ себѣ въ домъ, чтобъ учить всему тому, что самъ знаетъ, его единственнаго и бало-

ваннаго сына — недоросля, который мастерски умѣлъ гонять голубей, ловить воробьевъ въ силки и травить собаками деревенскихъ ребятишекъ. Учене не шло въ голову этому барченку, какъ ни старался новый учитель внушать ему, кроткими увѣщаніями и примѣромъ, любовь къ полезнымъ занятіямъ. Замѣчая это, отецъ сталъ строго взыскивать съ нестарательнаго сына; но баловница маменька расплакалась, раскричалась, увидѣвъ ослиную шапку на своемъ миломъ сынкѣ. Оказалось, что папка эта была изобрѣтеніемъ новаго учителя, и вотъ госпожа Тамара или панна Тамара объявила мужу, что если учитель не будетъ немедленно прогнанъ, то она съ сыномъ уѣдетъ и потребуетъ обратно все свое приданое. Панъ Тамара струсилъ — и бѣдный Скворода лишился мѣста.

По приглашенію намѣстника сергіевской лавры, въ послѣдствіи извѣстнаго ученостію епископа черниговскаго Кирилла, Скворода опредѣлился учителемъ въ лаврѣ, но скоро струснулъ онъ по родинѣ и оставилъ московское училище. Онъ не былъ рожденъ быть дѣтскимъ учителемъ. Добродушный, ясный душою, снова сталъ гостить онъ тамъ и самъ. Въ 1759 году, опредѣлился Скворода въ учителя въ харьковскій коллегіумъ. Прошелъ годъ. Епископъ Іоасафъ Миткевичъ, полюбившій его за познанія, тишину души и самоотверженіе отъ суеты жизни, свойственное только посвятившимъ себя на служеніе Богу, предложилъ ему вступить въ монашество. Скворода выслушалъ сдѣланное ему, чрезъ игумена Гервасія, предложеніе, подошелъ къ нему, и, вмѣсто отвѣта, испросилъ благословеніе на путь, и отправился въ пустынную деревню Сторицу, въ окрестностяхъ Бѣлгорода, къ одному изъ друзей своихъ. Этимъ нѣмымъ отвѣтомъ, на сдѣланное ему предложеніе вступить въ монашество, онъ какъ бы хотѣлъ выразить, что и въ свѣтской жизни можно быть чистымъ и добродѣтельнымъ, и что сохранить чистоту сердца при всѣхъ соблазнахъ мірскихъ едва ли не почетнѣе, чѣмъ въ уединеніи

монастырскомъ, за огромными стѣнами, отдѣляющими отъ всего житейскаго.

Между тѣмъ слухъ, о необыкновенной добродѣтельной и страннической жизни его и наставительныхъ бесѣдахъ, разнесся повсюду. Всѣ любопытствовали видѣть его, всѣ знакомились съ нимъ, предлагали свои дома, свою дружбу. Скворода уступалъ тщеславію людей; довѣрчивый, повѣрялъ имъ и себя и умъ свой; но они, какъ дѣти, скучали уроками: образецъ благочестиваго разума, какъ живой упрекъ суетной жизни, становился для нихъ нестерпимъ. Скворода, подобно цѣткѣ *не тронь меня*, сжимался отъ привосновенія равнодушія, и бѣжалъ въ Харьковъ, думая найти тамъ людей, болѣе приготовленныхъ слушать его бесѣды, основанныя на созерцаніи и изученіи природы, при постоянной любви къ Богу.

Въ Харьковѣ познакомился онъ съ М. И. Ковалевскимъ, молодымъ человѣкомъ съ свѣтлою душою, способною понимать его. Въ немъ нашель онъ, и друга себѣ, и послѣдователя понятій своихъ о мірѣ и благѣ. Какъ ни любилъ его Ковалевскій, но долго съ недовѣрчивостію внималъ его ученію: оно слишкомъ противорѣчило первымъ внушеніямъ. Его учили, что счастье состоитъ въ удовлетвореніи желаній, въ беззаботности и роскоши жизни, а Скворода говорилъ, что истинно счастливое состояніе человѣка заключается въ ограниченіи желаній, въ отверженіи всякаго излишества, въ обузданіи прихотливой воли, въ трудолюбіи, и въ исполненіи обязанностей, не по страху, но по совѣсти. Его учили, что одно состояніе людей лучше другаго, а Скворода говорилъ, что каждое состояніе, исполняя цѣль промысла о благѣ общемъ, есть добро, и Богъ, раздѣляя общество людей на члены, соединилъ ихъ взаимными потребностями и ни одного не обидѣлъ. Только сыны противные, говорилъ онъ, не внимающіе ни закону промысла, ни закону природы, вступая въ состояніе по страстямъ, обманчивымъ видамъ и прихотямъ, не любезны Господу, верховному раздателю дарованій. Ковалевскій

сначала хотя любилъ внимать Сквородѣ, однако боялся слушать его; любилъ сердце его и дичился его разума; почиталъ его правила жизни и не могъ согласить ихъ съ своими понятіями; уважалъ добродѣтели его и устранялся мнѣній; видѣлъ чистоту нравовъ его и не сознавалъ правоты ихъ; желалъ быть другомъ его, но не ученикомъ и послѣдователемъ его ученія. «Трудно изгладить первыя впечатлѣнія», говорилъ самъ Ковалевскій; но они изгладились въ немъ. Ковалевскій, томимый бореніемъ понятій, однажды увидѣлъ сонъ: на ясномъ небѣ золотыя начертанія именъ трехъ отроковъ, вверженныхъ въ пещь огненную, Ананія, Азарія и Мисаила; отъ этихъ трехъ словъ сыпались, на смотрящаго на небо съ воздѣтыми руками Сквороду, искры; нѣкоторыя, упавая и на ученика его, т. е. самого Ковалевскаго, производили въ немъ легкость, спокойствіе, бодрость, довольствіе духа. Ковалевскій, знавшій, что сны ничто иное, какъ проявленіе часто въ видимой формѣ тѣхъ мыслей, которыя поражали насъ въ теченіе дня, — разсказалъ этотъ сонъ добродѣтельному старцу, своему духовнику, священнику, у котораго жилъ въ то время. «Молодой человекъ, сказалъ ему духовникъ, слушайся этого добродѣтельнаго человекъ: онъ поставленъ отъ Бога быть руководителемъ и наставникомъ».

Съ этой поры Ковалевскій предался вполнѣ дружбѣ и наставленіямъ Сквороды, который такъ пояснялъ значеніе этого сна: «Три отрока, говорилъ онъ ему, вверженные въ пещь огненную, три великія способности человекъ: умъ, воля и дѣяніе, не покоряющіяся злomu духу мірскому, не сгорающія отъ огня любострастія, но хранимыя духомъ святымъ въ непорочности сердца и души.»

Въ 1764 году, Скворода пріѣхалъ съ другомъ своимъ, Ковалевскимъ, въ Кіевъ. Многіе изъ родственниковъ и знакомыхъ, бывшіе тогда монахами въ печерской лаврѣ, видя добродѣтельную жизнь Сквороды, склоняли его вступить въ монашество: «Полно бродить по міру, святая лавра приметъ

тебя, какъ мать чадо; ты будешь столбъ и украшеніе обители.» — «Нѣтъ, возразилъ Скворода, не мнѣ грѣшному скрывать сердце въ ризѣ; желаю только скрыть его въ волѣ Господней.»

Въ бытность Скворода въ Харьковѣ, губернаторъ Е. Н. Щербининъ, наслышавшись о Сквородѣ, призвалъ его однажды къ себѣ, и, въ разговорахъ съ нимъ, спросилъ: «добрый человѣкъ, для чего не изберешь ты себѣ ни какого извѣстнаго состоянія.» — «Миръ подобенъ театру,» — отвѣчалъ Скворода — «чтобъ представлять на немъ, съ успѣхомъ и похвалою, должно брать роли по способностямъ; потому что дѣйствующее лицо пріобрѣтаетъ похвалу, не по значительности роли, но за удачную игру; неспособный представлять удачно какое либо лицо, вромѣ простоты и смиренія, я самъ избралъ эту роль и доволенъ собою: трудъ при врожденной склонности — есть удовольствие.»

Увлекаемый любовью къ уединенію, Скворода, по возвращеніи изъ Кіева, поселился на пасѣкѣ Гужвинской, близъ Харькова, принадлежавшей помѣщикамъ Земборскимъ, которыхъ онъ любилъ за ихъ добродушіе. Посреди лѣса, въ уединенной хижинѣ, онъ оградилъ духъ свой безмолвіемъ и предался на свободѣ размышленію. Здѣсь написалъ онъ первое полное свое сочиненіе «*Наркиза, познай себя,*» и «*Асханъ, о познаніи самого себя.*»

Приглашенный богатыми помѣщиками Сошальскими въ деревню ихъ Гусинеу, онъ полюбилъ и мѣсто и хозяевъ, и поселился у нихъ, также на уединенной пасѣкѣ. Въ 1770 году, поѣхалъ Скворода съ ними въ Кіевъ, и поселился у родственника ихъ, Іустина, начальника китоевской пустыни. Прошли три мѣсяца, проведенные имъ съ удовольствіемъ. Однажды, спускаясь по горѣ на Подоль, почувствовалъ онъ запахъ мертвыхъ труповъ. Онъ не могъ идти далѣе, возвратился домой, и, изгоняемый какимъ-то безпокойствомъ изъ Кіева, несмотря на убѣдительныя просьбы отца Іустина, от-

правился, на другой же день, въ городокъ Ахтырку, гдѣ и остановился, по знакомству, у тамошняго архимандрита Бенедикта. Не прошло нѣсколькихъ дней, какъ получили извѣстіе о чумѣ, открывшейся въ Кіевѣ. Что онъ чувствовалъ запахъ труповъ, какъ будто предвѣщавшій несчастье Кіеву, въ этомъ нѣтъ чуда: вѣроятно, чума давно уже таилась въ Кіевѣ, но простолюдины скрывали ее, и погребали чумныхъ тайно, чему было много примѣровъ.

Сковороду можно было назвать *украинскимъ деревеннымъ, странствующимъ философомъ*. Повсюду онъ былъ гостемъ и нигдѣ хозяиномъ; ничего въ мірѣ не называлъ онъ своимъ, кромѣ всякаго пріобрѣтеннаго имъ познанія, и, какъ истинный мудрецъ, земнымъ богатствомъ считалъ только мудрость.

Замѣчательнѣйшее сочиненіе Сковороды — это «*Начальная дверь ко христіанскому благонравію*». Это сочиненіе возбудило противъ него гоненія духовенства тогдашняго времени, заставило Сковороду удалиться изъ Кіева и вести скитальческую жизнь. Тѣмъ не менѣе это сочиненіе и нѣсколько проповѣдей положили основаніе славѣ и уваженію, которыми пользовался Сковорода повсюду, гдѣ только его знали. Строгая добродѣтель и примѣрные правила еще болѣе увеличили эту любовь и это уваженіе къ нему. Впрочемъ Сковорода не искалъ ни славы, ни уваженія, но ему сладка была любовь народная. Онъ жилъ самъ собою и никогда не заботился ни о похвалѣ, ни о порицаніи. Сверхъ славянскаго, русскаго и украинскаго языковъ, онъ зналъ нѣмецкій, греческій и латинскій, и на всѣхъ прекрасно говорилъ и писалъ. Онъ могъ бы составить себѣ подарками порядочное состояніе; но что ему ни предлагали, сколько ни просили, онъ всегда отказывался, говоря: «дайте неимущему!» и самъ довольствовался только сѣрою свиткою, которая была обыкновенною его одеждою. Эта сѣрая свитка, чоботы про запасъ и нѣсколько свитковъ сочиненій, вотъ въ чемъ состояло все его имущество. Задумавши странствовать или переселиться въ другой домъ,

онъ складывалъ въ мѣшокъ свой убогій скарбъ, и, перекинувши его черезъ плечо, отправлялся въ путь съ двумя своими неразлучными спутниками, палкою-журавлемъ и флейтою. И то, и другое были собственнаго руководѣля. Скворода съ наслажденіемъ игралъ на флейтѣ, начавъ музыкальное свое воспитаніе, еще въ домѣ отца своего, *сопилкою*. Тамъ, онъ отправлялся съ раннаго утра въ рощу или на берегъ рѣчки, и наигрывалъ на сопилкѣ священные гимны. Мало по малу усовершенствовалъ онъ инструментъ свой до того, что могъ успѣшно передавать имъ голоса и трели пѣвчихъ птицъ, первыхъ его учителей въ музыкѣ. Музыка и пѣніе сдѣлались постояннымъ занятіемъ Сквороды. Онъ не оставлялъ ихъ и въ старости. За нѣсколько лѣтъ до кончины, проживая въ Харьковѣ, онъ любилъ посѣщать домъ одного старичка, гдѣ собирались бесѣды добрыхъ, простодушныхъ стариковъ, подобныхъ хозяину. Бывали вечера музыкальные, и Скворода занималъ въ такихъ случаяхъ всегда первое мѣсто, пѣлъ примо, и, за слабостью голоса, вытягивалъ трудныя соло на своей флейтѣ, какъ называлъ Скворода сопилку, имъ усовершенствованную. Впрочемъ Скворода игралъ и пѣлъ, не оставляя своей задумчивости и какъ бы нѣкоторую суровость. Фантазій и симфоній его носили преимущественно характеръ печальный и унылый. Рѣдко, очень рѣдко, Скворода измѣнялъ своей важности, а если и измѣнялъ, то въ такихъ только случаяхъ, когда дѣйствительно трудно было не развеселиться. Приэтомъ, онъ былъ застѣнчивъ, и не могъ терпѣть, когда передъ нимъ величали его достоинства. Онъ терялся, когда передъ нимъ являлся внезапно кто нибудь изъ давно желавшихъ видѣть его и разливался въ привѣтствіяхъ. Такъ случилось, однажды, въ домѣ Пискуновскаго, старика, любимаго Сквородою. Это было вечеромъ, во время ихъ обыкновенной стариковской бесѣды. Молча, съ глубочайшимъ вниманіемъ, слушали старики рассказы и правоученія старца, который на этотъ разъ говорилъ съ необыкновеннымъ краснорѣчіемъ. Прошелъ часъ, дру-

гой, и ничто не мѣшало восторгу разсказчика и слушателей. Вдругъ дверь съ шумомъ растворяется, половинки хлопаютъ, и молодой Х-въ, франтъ, недавно изъ столицы прѣѣхавшій, вбѣгаетъ въ комнату. Скворода, при появленіи столь ему чуждаго лица, немедленно умоляетъ, будто оглушенный ударомъ грома. «И такъ, — восклицаетъ Х-въ, — я наконецъ достигъ того счастья, котораго столь долго и напрасно жаждалъ. Я вижу, наконецъ, великаго соотечественника моего, Григорія Саввича Сквороду! Позвольте!....» и подходит къ Сквородѣ. Старецъ нашъ вскакиваетъ, сами собою складываются крестомъ на груди его костлявыя руки; горькою улыбкою искривляется тощее лицо его; черные впалые глаза скрываются за сѣдыми нависшими бровями, самъ онъ невольно изгибается, будто желая поклониться, и вдругъ прыжокъ, и, говоря дрожащимъ голосомъ: «Позвольте!..... Тоже позвольте!» исчезаетъ изъ комнаты. Хозяинъ за нимъ, просить, умоляетъ — нѣтъ! — «Съ меня смѣются!» отвѣчаетъ Скворода, и убѣгаетъ. И съ тѣхъ поръ онъ не хотѣлъ видѣть г. Х - ва.

Скворода постоянно гостилъ у помѣщиковъ: Тевяшева, Донецъ-Захаржевскаго, Щербинина, Ковалевскаго, гостилъ въ монастыряхъ: старохарьковскомъ, харьковскомъ училищномъ, ахтырскомъ, сумскомъ, святогорскомъ, сѣвнянскомъ, и пр. и пр., но преимущественно любилъ Харьковъ, и часто посѣщаль этотъ городъ. Повсюду, выбиралъ онъ уединенный уголь, жилъ просто, самъ былъ себѣ слугою. Повсюду, любилъ людей и повсюду ненавидѣлъ ихъ пороки.

Подъ конецъ дней своихъ, отправился онъ въ село Хотетово, въ двадцати пяти верстахъ отъ Орла, къ другу своему, который предлагалъ ему домъ свой, какъ мирную пристань послѣ долгаго странствованія; но не прошло трехъ недѣль, и Скворода возжелалъ снова возвратиться къ любимицѣ своей, Украинѣ: въ ея сырой землѣ, какъ въ объятіяхъ, хотѣлъ онъ кончить жизнь, и, несмотря на убѣжденія, погоду, болѣзнь,



трудность пути, поѣхалъ. «Останься!» — умолялъ его другъ. — «Духъ мой велитъ мнѣ ѣхать,» отвѣчалъ Скворода. А духу своему онъ никогда не противился.

Приѣхавъ въ Курскъ, онъ остановился отдохнуть отъ пути у тамошняго архимандрита Амвросія; отсюда отправился далѣе, въ Гусинку, любимое свое пустынножительство; но, въ концѣ пути, почувствовалъ побужденіе ѣхать въ Ивановку, слободу Ковалевскаго. Здѣсь и кончилъ онъ свой путь, въ 1794 году. Предъ кончиною, завѣщалъ онъ предать тѣло свое землѣ, на возвышенномъ мѣстѣ, близъ рощи и гумна, и начертить на могильномъ камнѣ: «Миръ ловилъ меня, но не поймалъ.» Современники Сквороды рассказываютъ, что въ Ивановѣ у него была небольшая *кѣмнатка*, окнами въ густой садъ, отдѣльная, уютная. Впрочемъ онъ бывалъ въ этой комнатѣ рѣдко: обыкновенно или бесѣдовалъ съ хозяиномъ, или ходилъ по саду и по полямъ. Скворода не переставалъ любить жизнь уединенную, бродячую. Вотъ сохранившійся въ памяти харьковцевъ рассказъ о его кончинѣ. Былъ прекрасный лѣтній день. Къ помѣщику собралось много сосѣдей поиграть и повеселиться; послушать *богомудра*, т. е. Сквороду, было также въ предметѣ. Всѣ любили слушать его рассказы и его дружественныя наставленія. За обѣдомъ Скворода былъ необыкновенно веселъ и разговорчивъ, даже шутилъ, рассказывалъ про свое былое, про свои странствія, испытанія. Изъ за обѣда всѣ встали, обвороженные его краснорѣчіемъ. Скворода скрылся. Онъ пошелъ въ садъ. Долго ходилъ онъ по излучистымъ тропинкамъ, рвалъ ягоды, и раздавалъ ихъ работавшимъ въ саду деревенскимъ мальчикамъ. Такъ прошелъ день. Подъ вечеръ, хозяинъ самъ пошелъ искать Сквороду и пашель подъ развѣсистую липю. Солнце уже заходило: послѣдніе лучи его пробивались сквозь чащу листьевъ. Скворода заступомъ рылъ яму, узкую, длинную могилу. — «Что это, другъ Григорій, чѣмъ

это ты занять?» — спросилъ хозяинъ, подошедъ къ старцу. — «Пора, другъ, кончить странствіе», отвѣчалъ Скворода, «и такъ всѣ волосы слетѣли съ бѣдной головы отъ истязаній! Пора успокоиться.» — «И, братъ, пустое! Полно такъ шутить! Пойдемъ.» — «Иду; но я буду прежде просить тебя, мой благодѣтель, пусть здѣсь будетъ моя послѣдняя хранина....» — Они пошли въ домъ; но Скворода не долго въ немъ остался. Онъ ушелъ въ свою *кѣмнатку*, переодѣлся, умылся, помолился Богу, и, подложивъ подъ голову свитки своихъ сочиненій и сѣрую свиту, легъ, сложивъ наврестъ руки на груди. Долго его ждали къ ужину: Скворода не явился. На другой день къ чаю тоже, къ обѣду тоже. Это изумило хозяина. Онъ рѣшился войти въ его комнату, куда Скворода не любилъ, чтобъ входили другіе, исключая его самого, почему самъ мелъ, и самъ мылъ полъ и бѣлыя стѣны своей горенки. Отворивъ дверь особеннымъ ключемъ, отворившимъ всѣ двери дома, Ковалевскій подошелъ къ кровати, чтобъ разбудить друга; но Скворода лежалъ уже холодный, окостенѣлый, бездыханный.....

Онъ оставилъ послѣ себя много сочиненій, нравственно-философскихъ, и писемъ на русскомъ, латинскомъ и эллинскомъ языкахъ; нѣкоторыя изданы, другія хранятся въ рукописяхъ, въ нѣкоторыхъ домахъ Малороссіи, гдѣ, несмотря на то, что уже семьдесятъ лѣтъ прошло послѣ его смерти и едва ли живы еще люди, которые его знали, — имя Григорія Сквороды громко отъ Харькова до Кіева, преимущественно между простолюдинами, которые, съ набожнымъ уваженіемъ, вспоминаютъ его скромную жизнь, его довольство тѣмъ, чѣмъ, казалось бы, нищій не подовольствуется, его нѣжную любовь къ людямъ, особенно къ дѣтямъ, его совѣты, его участіе въ семейныхъ радостяхъ и горестяхъ, его утѣшенія въ домашнихъ скорбяхъ, его рассказы о той жизни, которая уготована послѣ смерти всѣмъ людямъ, проводившимъ жизнь честно и добродѣтельно. Леча душевно, онъ нерѣдко лечилъ и тѣлесно,

благодаря своему знанію природы и правильному употребленію разныхъ травъ. Скворода былъ также превосходный пчеловодъ, и вездѣ, гдѣ только онъ находился на пасѣкахъ. ройба была сильная и обильная.

---

**КНЯЗЬ АНТЮХЪ ДМИТРИЕВИЧЪ**

# **КАНТЕМЕРЪ**

(1708 — 1744).

Старинный слогъ его достоинствъ не умалить :  
Порокъ не подходи! сей взоръ тебя умалить!

**Державинъ**

(къ портрету князя Кантемира).

Въ отечествѣ нашемъ до Петра Великаго было барство, гордое своими предками, деспотическое со своими слугами, презиравшее остальные сословія за то только, что они не бояре, тщеславное своими богатствами и невѣжественное до того, что грамотность считало вещь, для себя неприличною. Сверхъ того присутственныя мѣста, называвшіяся судами и приказами, были наполнены приказными, изучившими, вдоль и поперекъ, всѣ тонкости крючкотворства и ябеды, и видѣвшими въ законѣ не идею справедливости, а средство нажить деньги. Было тогда въ Россіи купечество, котораго единственною цѣлію было скорѣйшее обогащеніе себя всѣми возможными средствами, и законными, и незаконными. Были слуги (холопы), униженно и съ подобострастіемъ кланявшіеся въ ноги своимъ господамъ, рабы безотвѣтныя въ ихъ присутствіи, но вознаграждавшіе себя за глазами всевозможными обманами и обирадываніемъ своихъ же бояръ-владѣтелей, а съ тѣмъ вмѣ-

стѣ дерзкіе и нахальные со всѣми, имѣвшими, къ горю своему, нужду въ ихъ барахъ. Были крестьяне-земледѣльцы, отдававшіе, въ видѣ податей, земскихъ сборовъ и различнаго рода повинностей, свою послѣднюю трудовую копѣйку на благостояніе бояръ, у которыхъ они были собственностію. Наконецъ, было тогда духовенство, стоявшее, по образованію, или скорѣе по учености, выше остальныхъ сословій, но и оно не было изъято отъ общихъ недостатковъ, преимущественно любостязанія и разныхъ непохвальныхъ дѣйствій, свойственныхъ прочимъ сословіямъ.

Все это, конечно, не могло вдругъ переродиться и переѣлаться, почему начало преобразованій русскаго государства и русскаго народа представляло собою дикую смѣсь невѣжества и грубости, которыя насильно стирались просвѣщеніемъ. Но какъ оно не могло вдругъ подѣйствовать, то долго боролось съ предрасудками и невѣжествомъ, потому что они приняли только новыя формы, можетъ быть, болѣе европейскія, чѣмъ прежнія азіатскія, въ сущности же нисколько не измѣнились.

Въ это замѣчательное время родился въ Константинополѣ, въ 1708 году, князь Антіохъ Кантемиръ. Отецъ его, Дмитрій Кантемиръ, былъ молдавскій господарь, который, въ 1711 году, вступилъ въ русское подданство. Во время прутскаго похода, онъ заключилъ союзъ въ Петромъ Великимъ противъ турокъ. Походъ Петра былъ не удаченъ, и турки, заключивъ миръ, требовали выдачи Кантемира, находившагося тогда въ русскомъ лагерѣ. Петръ Великій поручился за безопасность Кантемира, и, по чувствамъ чести, благородства и челоуѣволюбія, ни за что не хотѣлъ измѣнить данному слову, и скорѣе соглашался уступить всю страну до Курска, чѣмъ выдать союзника. Это обстоятельство побудило Кантемира вступить въ русскую службу, и принять русское подданство. Онъ участвовалъ въ персидскомъ походѣ, какъ хранитель походной типографіи. Вмѣстѣ съ нимъ былъ сынъ его, вывезенный имъ

въ Россію на четвертомъ году. Одинъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, князь Дмитрій Кантемиръ доказалъ, заботами о воспитаніи сына, ясный взглядъ свой на образованіе. Обезпеченное состояніе его поставило дѣтство Антіохъ въ лучшее положеніе относительно средствъ, нежели какое досталось на долю другаго замѣчательнаго ребенка того времени, Ломоносова, и Антіохъ умѣлъ воспользоваться этимъ преимуществомъ. До 1723 г., когда умеръ отецъ его, онъ воспитывался подъ вліяніемъ ученаго грека Анастасія Кондоиди и подъ руководствомъ отца, который, несмотря на свои служебныя занятія, не оставлялъ занятій съ сыномъ. Въ запискахъ того времени находятся свидѣтельства о томъ, какъ много и разумно заботился князь Дмитрій Кантемиръ о воспитаніи своего сына. Передъ своею кончиною, онъ далъ дѣтямъ послѣднія наставленія и убѣдительно просилъ ихъ заботиться о своемъ образованіи. Какъ первоначальное направленіе въ дѣлѣ воспитанія бываетъ самое сильное, то понятно, что Антіохъ Кантемиръ, и по смерти отца, не измѣнилъ его желаніямъ. Превосходя своихъ братьевъ природными способностями, онъ усердно продолжалъ свое начатое образованіе, несмотря на то, что, по смерти отца, остался въ большой нуждѣ. Все имѣніе, по интригамъ, перешло къ брату его, Константину, и Антіохъ, записанный еще ребенкомъ, въ 1719 году, солдатомъ въ Преображенскій полкъ, съ трудомъ существовалъ своимъ малымъ жалованіемъ. Въ 1728 году, его сдѣлали поручикомъ гвардіи. Любя науки, молодой князь Кантемиръ сталъ посѣщать лекціи открывшейся тогда академіи наукъ, увлекся лекціями профессора Гросса, читавшаго нравственную философію, занялся этимъ предметомъ, и остался вѣренъ ему въ продолженіе всей своей жизни. Понятно, что Кантемиръ, стоявшій, по своему образованію, выше большинства молодыхъ людей того времени, не могъ сочувствовать тогдашней русской жизни. Хотя свѣтлыя идеи преобразования уже начали развиваться въ Россіи, однако была еще сильна

противоположная партія людей стараго вѣка, непріязненно смотрѣвшихъ на нововведенія правительства; много было людей, которые, принявъ по необходимости форму образованія, въ сущности, не измѣнили своихъ старыхъ убѣжденій. Сильные люди того времени, князь Меншиковъ, а потомъ князья Долгоруковы, не отличались любовью къ наукамъ; это были русскіе бояре въ полу-европейской формѣ. Подобныя явленія не могли не возмущать Кантемира: недостатки тогдашняго общества могли служить превосходнымъ матеріаломъ для сатиры. И вотъ, въ 1729 году, появилась первая его сатира, въ стихахъ, подъ заглавіемъ: *На хулящихъ ученіе или къ уму моему*. Но не надобно думать, чтобъ Кантемиръ имѣлъ серьезную идею явиться карателемъ современныхъ заблужденій: сатира была имъ написана, какъ онъ самъ говоритъ, для одного препровожденія времени. Онъ не желалъ даже выпустать ее въ свѣтъ. Это была первая попытка его на литературномъ поприщѣ. Участіе двухъ духовныхъ лицъ, — Теофана Прокоповича и Оеофила Кролика, которые написали стихотворныя посланія къ нему, на русскомъ и латинскомъ языкахъ, доставило Кантемиру знакомство съ тогдашними покровителями просвѣщенія: князьями Черкасскимъ и Трубецкимъ и съ принцемъ Гессенъ-Гомбургскимъ. Кантемиръ началъ пріобрѣтать литературную извѣстность: онъ написалъ воззваніе къ императрицѣ Аннѣ Иоанновнѣ «О возстановленіи самодержавія», которому угрожала партія временщиковъ. Вскорѣ послѣ того, въ слѣдствіе интригъ князя Голицына, по поводу пожалованія Кантемиру императрицею «1,030 крестьянскихъ дворовъ», онъ, для удаленія отъ двора, былъ посланъ, въ 1732 году, резидентомъ въ Лондонъ. Жизнь Кантемира при дворѣ Георга II, короля англійскаго, была продолженіемъ его прежней жизни. Онъ не увлекся пышностію и шумомъ британскаго двора: оставшись вѣрнымъ другомъ науки, онъ обыкновенно затворялся въ кабинетъ, гдѣ и проводилъ все свободное время «между греками и латинами», какъ онъ

самъ выражается въ одной изъ своихъ сатиръ. Здѣсь онъ перевелъ, съ латинскаго языка, письма Горация, съ греческаго творенія Анакреона, а съ французскаго «Разговоры о множествахъ міровъ», Фонтенеля и персидскія письма, Монтескье. Фонтенель и Монтескье были литературныя знаменитости тогдашняго времени. Въ слѣдствіе усиленныхъ письменныхъ занятій, у Кантемира разстроилось зрѣніе, и онъ ѣздилъ въ Парижъ лечиться. Въ то время, какъ онъ трудился при британскомъ дворѣ и въ кабинетѣ, въ Россіи у него остался сильный врагъ — хитрый и подозрительный графъ Остерманъ, тогдашній министръ иностранныхъ дѣлъ, который считалъ его своимъ соперникомъ на дипломатическомъ поприщѣ. Этимъ объясняется невниманіе правительства къ заслугамъ Кантемира: онъ былъ какъ будто забытъ. Черезъ шесть лѣтъ, его назначили камергеромъ, и перевели посланникомъ въ Парижъ, опять по интригамъ Остермана, думавшаго этимъ назначеніемъ его запутать и погубить. Въ Парижѣ Кантемиръ попалъ между двухъ огней: съ одной стороны его встрѣтили интриги кардинала Флери, тогдашняго министра Людовика XV, а съ другой — интриги Остермана, изъ Петербурга. Нужно было много ловкости, чтобъ не поссориться съ тѣмъ и съ другимъ, и достигнуть цѣли, т. е. выгодъ Россіи. Политика Кантемира отличалась уклончивостію, скромностію и осторожностію; но, и при этихъ качествахъ, Кантемиръ вытерпѣлъ много непріятностей, вліяніе которыхъ не уничтожалось даже наслажденіемъ ученыхъ бесѣдъ съ его французскими друзьями, Монтескье, Мопертюи и аббатомъ Гуаско. Разстроенное здоровье и трудность занимаемаго мѣста при дворѣ французскомъ, заставили Кантемира, по смерти императрицы Анны Іоанновны, просить объ отставкѣ. Онъ былъ такъ остороженъ, что послалъ свою просьбу не на имя Бирона, а къ одному изъ своихъ друзей, съ припискою пустить ее въ ходъ тогда только, когда духовная покойной государыни останется въ силѣ, а иначе предать огню. Послѣднее было



исполнено. Вліяніе Бирона кончилось съ его наденіемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и положеніе Кантемира улучшилось: ему прислали чинъ тайнаго совѣтника, а князь Черкасскій (тогдашній канцлеръ) предложилъ ему руку своей дочери. Но Кантемиръ отказался отъ блестящей партіи, изъ опасенія потерять спокойствіе, которымъ онъ дорожилъ болѣе всего, думая посвятить себя наукамъ, почему и просилъ о назначеніи его президентомъ академіи наукъ, находя, что лучшаго мѣста онъ не можетъ имѣть, для принесенія истинной пользы Россіи. Это назначеніе, дѣйствительно, было бы очень полезно для русскаго просвѣщенія. Кантемиру послѣдовалъ отказъ на просьбу его о президентскомъ креслѣ въ академіи, почему онъ нашелъ необходимымъ остаться въ Парижѣ, гдѣ, утомленный долгою болѣзнію, скончался, 11-го апрѣля 1744 года, тридцатишести лѣтъ отъ роду. Тѣло его, по завѣщанію, перевезено въ Москву, и похоронено, безъ всякой пышности, подлѣ могилъ отца и матери, на Нивольской улицѣ, въ греческомъ монастырѣ.

Кантемиръ былъ благородный, умный, скромный, образованный человѣкъ, посвящавшій наукамъ все время, свободное отъ служебныхъ занятій. Обстоятельства заставили его быть политикомъ, но этотъ путь не развилъ въ немъ честолюбія; онъ, по прежнему, остался скроменъ въ своихъ требованіяхъ, по прежнему искалъ наслажденія въ тишинѣ и въ спокойствіи, а не среди волненій и перемѣнъ государственной жизни. Настроеніе духа его было ученое; но любовь Кантемира къ наукѣ не была тѣмъ сильнымъ, главнымъ побужденіемъ, которое составляетъ у другихъ людей задачу всей жизни: онъ любилъ науку, потому что она составляла необходимую потребность образованнаго человѣка, потому что занятіе ею было по его характеру, потому, наконецъ, что въ ней видѣлъ онъ развлеченіе и отдохновеніе отъ заботъ государственной жизни. Каковъ же былъ характеръ Кантемира? Отвѣтъ намъ даетъ онъ самъ, въ одной изъ своихъ сатиръ:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто малымъ доволенъ,  
Въ тишинѣ знать прожить, отъ суетныхъ волеиъ  
Мыслей, что мучать другихъ, и топчетъ надежду  
Стезю добродѣтели, къ концу неизбѣжну.  
Небольшой домъ, на своемъ построенный полѣ,  
Дастъ нужное моеи умѣренной волѣ,  
Не скудной, не лишней кормъ, и средню забаву,  
Гдѣ бъ съ другомъ честнымъ я могъ, по моему праву  
Выбраннымъ, въ лишны часы прогнать скуки бремя,  
Гдѣ бъ отъ шуму отдалеиъ, прочее все время  
Проводить межъ мертвыми греки и латинцы,  
Изслѣдуя всѣхъ вещей дѣйства и причины,  
И учась знать, образцомъ другихъ, что полезно,  
Что вредно въ правахъ, что въ нихъ гнусно или любезно:  
То одно желаніа мои составляетъ.

Изъ этого признанія видно, что умѣренность во всемъ составляла идеалъ жизни Кантемира.

Литературная дѣятельность Кантемира была довольно разнообразна. Онъ переводилъ съ греческаго, съ латинскаго и съ французскаго, писалъ сатиры, письма, басни и эпиграммы; но изъ всѣхъ его произведеній только однѣ *сатиры* выдвигаютъ его изъ ряда современныхъ ему писателей. Смотри на Кантемира, какъ на сатирика, мы обратимъ вниманіе на одну эту сторону его литературной дѣятельности.

Кантемиръ написалъ всего *девять сатиръ* \*), въ которыхъ выставляеть людскіе недостатки и пороки. Не всѣ сатиры имѣютъ одинаковое достоинство.

Первая сатира обращена къ хулителямъ просвѣщенія. Враги преобразования, не смѣя прямо возстать противъ желѣзной воли Петра Великаго, не могли также отречься отъ

---

\*) Заглавія его сатиръ слѣдующія: 1) На хулящихъ ученіе или къ уму моему. 2) Объ истинномъ благородствѣ. 3) О различіи страстей человѣческихъ. 4) Объ опасности сатирическихъ сочиненій. 5) На человѣческія злопріавія вообще. 6) Объ истинномъ блаженствѣ. 7) О воспитаніи. 8) На безстыдную нахальчивость. 9) На состояніе свѣта сего, или къ солнцу.

своихъ основныхъ убѣжденій, отъ вкоренившихся обычаевъ и привычекъ, а потому выразили свою оппозицію рядомъ глухихъ толковъ и разсужденій о вредѣ образованія. Эту современную черту выразилъ Кантемиръ въ своей сатирѣ. Онъ начинаетъ обращеніемъ къ уму своему, которому совѣтуетъ оставаться спокойнымъ, на томъ основаніи, что труденъ и невыгоденъ путь писателя. Правда, говоритъ онъ, у насъ есть надежда наукамъ на просвѣтителя монарха, но много есть такихъ людей, которые, похваливъ изъ страха нововведенія царя, въ душѣ остаются прежними невѣждами, и стараются очернить, и уничтожить ихъ дѣйствія. Мы видимъ рядъ невѣждъ, доказывающихъ, съ полнымъ убѣжденіемъ, что науки вредны и ведутъ только ко всеобщей гибели. Прежде всѣхъ выступаетъ на сцену ханжа Критонъ, говорящій о томъ, что ученіе разрушаетъ набожность и религіозность въ народѣ.

Критонъ съ четками въ рукахъ ворчитъ и вздыхаетъ  
И проситъ свята душа съ горькими слезами  
Смотрѣть, сколь сѣмя наукъ вредно между нами:  
Дѣти наши, что передъ тѣмъ тихи и покорны  
Праотеческимъ шли слѣдомъ, къ божіей проворны  
Службѣ, съ страхомъ слушая, что сами не знали,  
Теперь, къ церкви соблазну, Библию честь \*) стали,  
Толкуютъ, всему хотятъ знать поводъ, причину,  
Мало вѣры подая священному чину;  
Потеряли добрый нравъ, забыли пить квасу,  
Не прибьешь ихъ палкою къ соленому мясу;  
Ужъ свѣчекъ не владутъ, постныхъ дней не знаютъ,  
Мірскую въ церковныхъ власть рукахъ лишпу чають \*\*).  
Шенча, что тѣмъ, что мірской жизни ужъ отстали,  
Помѣстья и вотчины всема не пристали.

Ясно, къ какому сословію обращается въ этихъ словахъ Кантемиръ. Но, несмотря на ѣдкость правды, высказанной имъ

---

\*) Читать.

\*\*\*) Считаютъ, полагаютъ.

въ лицѣ монаха Критона, въ чести русскаго духовенства, мы видимъ, что между нимъ нашлись люди, сознававшіе эти недостатки въ своемъ сословіи, и одобрявшіе указанія сатирика; доказательствомъ тому служатъ стихотворныя посланія знаменитаго Теофана Прокоповича и Теофила Кролика, въ которыхъ высказывается ихъ благодарность дѣлу преобразования. Далѣе Кантемиръ рисуетъ стариннаго свупаго дворянина, доказывающаго, что глупъ тотъ, кто старается донскаяться, посредствомъ ученія, до причины и свойства вещей, потому что тѣмъ онъ не прибавитъ лишняго гроша въ свою казну, не узнаетъ, сколько въ годъ врадеть у него прикащикъ, не умножитъ числа бочекъ съ виннаго завода; что прежде люди, не зная латыни, больше хлѣба жали, а, перенявъ чужой языкъ, потеряли свой хлѣбъ; что доктора, рассказывая намъ разныя басни объ устройствѣ нашего тѣла, только даромъ обогащаются; что вмѣсто астрономическихъ наблюдений и вычисленій, гораздо удобнѣе справиться въ часовникъ — которое число и когда восходитъ и заходитъ солнце; что сосчитать деньги можно и безъ математики и что, наконецъ, только то знаніе полезно и прилично людямъ, которое можетъ научить ихъ, какъ увеличить доходъ и уменьшить расходы. Выпишемъ здѣсь двѣ строчки, поражающія своею мѣткостью:

Доводомъ рѣчь утверждать — поддыхъ то есть дѣло,  
Знатныхъ есть, хотя и не зная, только спорить смѣло.

До какой степени были вѣрны дѣйствительности эти слова, можно судить изъ того, что еще и въ наше время случается слышать, хотя, въ счастію, рѣже, подобныя разсужденія....

Затѣмъ является русскій эпикуреецъ, румяный Лука, который говоритъ, что наука разрушаетъ общество. Но какое общество? То, которое было тогда на Руси. Вотъ что говоритъ онъ:

Что же пользы иному, когда я запрუსя  
Въ чуланъ, для мертвыхъ друзей \*) живущихъ липуся?  
Когда все содружество, вся моя ватага  
Будеть чернило, перо, песокъ да бумага?  
Въ веселіи, въ пирахъ, мы жизнь должны проводить;  
И такъ она не долга, на что ее коротати \*\*),  
Крушиться надъ книгою и повреждать очи?  
Не лучше ли съ кубкомъ дни прогулять и ночи?...

Вторая сатира Кантемира осмѣиваетъ зависть и гордость злонаправныхъ дворянъ, и указываетъ на то, въ чемъ должно заключаться истинное благородство. Передъ нами барство съ его надутою спѣсью, съ его непроницаемымъ невѣжествомъ, съ его завистью къ лицамъ, отмѣченнымъ довѣренностью Петра Великаго, и возвышеннымъ имъ, какъ бы на зло не вполне искорененнымъ идеямъ о мѣстничествѣ. Эти черты представлены Кантемиромъ въ формѣ разговора, между любителемъ добродѣтели Филаретомъ и дворяниномъ Евгеніемъ. Филаретъ спрашиваетъ Евгенія, отчего онъ свученъ и, приводя отъ себя разныя причины, наконецъ доходитъ до истины: дворянинъ, съ пышными именами предковъ, забыть, а люди, ничтожные по происхожденію, возвышены.... Обиженный русскій дворянинъ отвѣчаетъ:

.... Кто лаптами торговалъ, кто продавалъ соли,  
Кто горшкомъ съ подовыми\*\*\*) истеръ, бѣдный, плечи,  
Кто извозничалъ въ Москвѣ, кто лигъ сальны свѣчи, —  
Тотъ честенъ, славенъ, богатъ, тотъ въ чинахъ сіяетъ;  
А во мнѣ благородство стонетъ, въздыхаетъ....

«Мой родъ, продолжаетъ онъ, существовалъ еще за 700 лѣтъ и былъ чудомъ свѣта: одинъ изъ предковъ былъ князь, другой полководецъ, прадѣдъ былъ славенъ умомъ, а отецъ?»

\*) Т. е. сочиненія греческихъ и римскихъ писателей.

\*\*\*) Сокращать.

\*\*\*) Пирогамъ. Здѣсь на Меншикова.

кто же того не знаетъ? онъ во всемъ былъ великъ, и въ судѣ, и на войнѣ: однѣхъ медалей, цѣпей золотыхъ наградныхъ, что осталось. Я ихъ въ стаканы перелилъ, чтобъ не заваялись, отъ себя замѣчаетъ Евгенийъ. Въ наукахъ онъ былъ великъ, въ библіотекѣ его собраны были книги разныя, самыя что ни на есть лучшія. Одна изъ нихъ, помню, славная была *о пикетѣ*.

«Я было хотѣлъ убрать имъ стѣны,  
«Да мышей побоялся, всегда онъ тлѣны!

«Потому и промѣнялъ книги на четверку лошадей отличныхъ, да шесть сшилъ кафтановъ нарядныхъ. Разсуди же послѣ того: каково мнѣ, имѣя такихъ славныхъ предковъ, самому славы не имѣть?...»

Третья сатира, слабѣе всѣхъ, описываетъ рядъ пороковъ людскихъ, но въ этихъ портретахъ, свойственныхъ всѣмъ націямъ, нѣтъ красокъ, собственно русскихъ. Въ прочихъ шести сатирахъ вездѣ преслѣдуется невѣжество, ханжество, взяточничество и прочіе пороки, при постоянномъ изображеніи современныхъ Кантемиру значительныхъ лицъ, подъ именами Менандра, Херона, Ксенона, служащихъ маскою Меншикову, Остерману, Долгорукову. Многіе изъ этихъ портретовъ, при всей нещеголеватости и некрасивости языка и неправильности стиха, отличаются тою особенностію, что могутъ быть примѣнены не къ одному тогдашнему времени. Напримѣръ:

Народъ весь, зная того въ государствѣ силу,  
Поутру, сквозь тѣсны передни, пасилу  
Къ нему кто, кто подступалъ; просьбы и поклонны,  
Какъ Юпитеръ, принималъ и кивкомъ на оны  
Однимъ весь отвѣтъ давалъ.....  
Вдругъ съ богатствомъ вся его слава улетѣла,  
И какъ прежде презиралъ весь свѣтъ подъ собою,  
Такъ передъ всѣми ползаетъ ужъ низко, головою  
Землю бя.....

МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

## ЛОМОНОСОВЪ

(1711 — 1765).

Ломоносовъ тоже учинилъ на трудномъ поприщѣ словесности, что Петръ Великій на поприщѣ гражданскомъ. Петръ Великій пробудилъ народъ, усыпленный въ оковахъ невѣжества; онъ создалъ для него законы, силу военную и славу; Ломоносовъ пробудилъ языкъ усыпленного народа; онъ создалъ ему краспорѣзие и стихотворство; онъ испыталъ его силу во всѣхъ родахъ и приготовилъ для грядущихъ талантовъ вѣрные орудія къ успѣхамъ.

БАТЮШКОВЪ.

Представьте Ломоносова, окруженного Херасковымъ, Петровымъ, Поповскимъ, Державиннымъ и другими мужами знаменитыми, составляющими честь, красоту, триумфъ россійской словесности. Всѣ они явно и чистосердечно вмѣняли во славу называть себя *учениками* Ломоносова; всѣ перепяли его языкъ; отливали, такъ сказать, изъ приготовленнаго имъ матеріала свои творенія; болѣе или менѣе ему подражали въ самомъ ихъ образованіи; короче всѣ ему обязаны.

МЕРЗЛЯКОВЪ.

Ломоносова повсюду величаютъ *архангельскимъ мужикомъ*, *архангельскимъ рыбакомъ*, между тѣмъ какъ родиною его было собственно село Денисовское, недалеко отъ Холмогоръ, уѣзднаго города Архангельской губерніи. Дней рожденія въ крестьян-

янскомъ быту не помѣчаютъ, да и годы не всегда запоминаютъ, почему неудивительно, что день рожденія Ломоносова намъ неизвѣстенъ. И того довольно, что не забыть, по крайней мѣрѣ, годъ его рожденія, 1711, тотъ самый, въ которомъ войска наши съ Петромъ Великимъ находились при рѣкѣ Прутѣ въ самомъ затруднительномъ и бѣдственномъ положеніи.

Какъ прошли первые дѣтскіе годы Ломоносова, про то не сохранилось никакихъ извѣстій; только съ десятилѣтняго возраста начинаются кой-какія свѣдѣнія, собранныя частью изъ собственныхъ его разсказовъ, при разныхъ случаяхъ, а частью отъ его земляковъ. Въ десять лѣтъ, такъ какъ Богъ надѣлилъ его здоровьемъ и силами, началъ онъ, по крестьянскому обычаю, помогать въ работѣ отцу-рыбаку; возилъ на галіотѣ разные запасы, казенные и частныхъ лицъ, изъ Архангельска въ Пустозерскъ и въ Соловецкій монастырь; лѣтомъ и осенью ѣзжалъ съ отцомъ на рыбную ловлю въ Бѣлое и Сѣверное моря.

По вечерамъ зимою онъ принялся учиться грамотѣ, говорить, у своего сельскаго дьячка; къ ученію былъ очень понятливъ, такъ что черезъ два года скоро и внятно читалъ на клиросѣ приходской церкви. Инаго мальчика удовлетворили бы эти успѣхи, но Ломоносовъ былъ не изъ числа такихъ. Разъ дѣти сосѣда Дудина сказали ему, что у дѣда ихъ есть какія-то двѣ мудренныя книги, въ которыхъ содержатся не молитвы, а что-то другое. Извѣстіе это подстрекнуло его любопытство, и онъ, разными угожденіями товарищамъ, успѣлъ достать себѣ эти книги: то были грамматика Смотрицкаго и ариметика Магницкаго. Ломоносовъ принялся читать; мудроно: хитрости грамматикѣ и ариметикѣ не даются съ разу безъ наставника и указателя. Трудности однако возбуждали большее рвеніе въ умномъ мальчикѣ; онъ не выпускалъ книгъ изъ рукъ. Злая мачиха, матери онъ рано лишился, начала сердиться, жаловаться отцу, что Мишутка сидитъ попусту за книгами.



Отецъ принявъ сторону мачихи: Ломоносовъ уступилъ ихъ желанію, оставилъ свои книги, но потихоньку, спрятавшись въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ, еще усерднѣе учился по этимъ книгамъ. Наконецъ, одолѣвъ онъ эти двѣ книги, которыя въ послѣдствіи называлъ вратами своей учености; но ему попадаетъ еще новая книга — Псалтырь, Симеона Полоцкаго. Съ этою книгою ему не трудно было совладать: это стихи, въ которые переложены были священныя псалмы пророка Давида. Чтеніе ихъ было не трудъ, а наслажденіе. Не читавши ничего кромѣ церковныхъ книгъ, Ломоносовъ находилъ прекрасными и переложенія Полоцкаго.

Выучивъ свои три книги, Ломоносовъ захотѣлъ знать еще больше, ему хотѣлось учиться, а учиться было не у кого: въ семьѣ крайнее невѣжество, сельскій причетъ тоже не отличался ученостію. Онъ сталъ допытывать у своего учителя, какъ же и гдѣ можно учиться; учитель дивился его охотѣ и сказалъ, что научиться многому нельзя безъ латинскаго языка, а латинскій языкъ преподають только въ далекихъ городахъ: Москвѣ, Кіевѣ, Петербургѣ.

Глубоко запали въ душу юноши слова учителя объ этихъ далекихъ городахъ; ни днемъ, ни ночью онъ не разставался съ мыслию объ нихъ: пробраться въ которойнибудь изъ этихъ городовъ — стало любимымъ, непреодолимымъ его желаніемъ. Но, какъ и съ кѣмъ попасть туда, вотъ что затрудняло юнаго холмогорскаго рыбака, жаждавшаго знаній. Обыкновенный въ жизни рыбаковъ случай вызвалъ его на смѣлую рѣшимость, передъ которой исчезли для него всѣ трудности исполненія задуманнаго плана.

Въ 1728 году въ селѣ Денисовскомъ собирался въ Москву обозъ съ рыбою; собрался, и утромъ въ морозный день потянулся по дорогѣ московской. Ломоносовъ съ любопытствомъ и безпокойствомъ слѣдилъ за его сборами и отправленіемъ, а въ душѣ окончательно рѣшился тайно уйти за нимъ въ Москву. Ночью, когда дома всѣ спали, онъ надѣлъ двѣ ру-

башки, нагольный тулупъ, не позабылъ захватить свои любимыя книги, грамматику и ариметику, и потихоньку удался изъ родительскаго дома. На семидесятой верстѣ догналъ онъ своихъ земляковъ, которые подивились безумному побѣгу сына Василя Дороеева, какъ водится, пожурили его хорошенько, но, послѣ усиленныхъ просьбъ бѣглеца, позволили ему идти съ обозомъ.

Въ сильную стужу три недѣли Ломоносовъ шель съ обозомъ по дорогѣ къ желанному городу; на четвертой онъ былъ уже и въ бѣлокаменной, златоглавой Москвѣ, куда звалъ его какой-то тайный внутренній голосъ, гдѣ онъ думалъ найти указанное учителемъ средство, для удовлетворенія своей благородной жажды знаній. Первую ночь проспалъ Ломоносовъ въ обшешняхъ у рыбаго ряда. На утро проснулся онъ такъ рано, что всѣ товарищи его еще спали. Въ Москвѣ Ломоносовъ не имѣлъ ни одного знакомаго человѣка; отъ рыбаковъ, съ нимъ прѣхавшихъ, не могъ ожидать онъ никакой помощи; занимались они продажею рыбы своей, вовсе о немъ не помышляя. Овладѣла душею его скорбь; онъ началъ горько плакать; палъ на колѣна, обративъ глаза къ ближней церевви, и молилъ усердно Бога, чтобы его призрѣлъ и помиловалъ.

Богъ услышалъ его молитву и послалъ ему благодѣтеля въ одномъ изъ земляковъ, который былъ дворецкимъ въ какомъ-то домѣ. Этотъ безвѣстный дворецкій, по должности своей, пришелъ къ землякамъ закупать рыбу для баръ, и земляки между дѣлъ рассказали ему, что съ ними прибылъ сынъ Василя Дороеева, и прибылъ тайно отъ отца, Богъ знаетъ зачѣмъ — говорить, учиться въ московской школѣ, вотъ мы теперь не знаемъ, что съ нимъ и дѣлать. Подивился дворецкій своему молодому земляку, подумалъ, и взялъ его къ себѣ въ барскій домъ: авось какъ нибудь дѣло уладимъ, у меня есть въ Заиконоспасской школѣ старый знакомый монахъ, можетъ быть, онъ и возьметъ его туда. Дѣйствительно, скоро сбылись предположенія добраго дворецкаго; тронули сердце

монаха простосердечные рассказы его о бѣглецѣ изъ далекой Архангельской губерніи, и мальчикѣ Михаилѣ Доросеевѣ, прозванный въ школѣ Ломоносовымъ, принять былъ въ училище.

Въ 1728 году, когда Ломоносову было 17 лѣтъ, посадили его за давно желанную латинскую азбуку, и онъ съ жаромъ принялся за латинскій языкъ: успѣхами его не могли довольно любоваться учителя. И было чѣмъ любоваться: въ одинъ годъ прошелъ онъ три класса, а черезъ два года ученія сочинялъ уже латинскіе стихи: дарованіями его Богъ не обидѣлъ, а прилежанія и усердія не занимать ему было стать. Бывало, товарищи рѣзвятся, шалятъ, а онъ сидитъ за книгами, учитъ то, чего и не задавали. Товарищи смѣются надъ нимъ: «вишь какой болванъ пришелъ латыни учиться», — а онъ отмалчивается, и все читаетъ, да учится. Конечно, и за нимъ въ школѣ водились грѣшки: дошли до насъ стихи, сочиненные имъ, въ наказаніе\*) за какой-то школьный проступокъ:

Услышали мухи  
Медовые духи;  
Прилетѣвши, сѣли,  
Въ радости заглѣли;  
Едва стали ясти,  
Попали въ напасти:  
Увязли до ноги.  
Ахъ! плачутъ убоги,  
Меду полизали,  
А сами пропали.

Да водились грѣшки, но не лѣность. Много успѣлъ онъ у своихъ учителей, такъ что черезъ шесть лѣтъ ему показалось мало наукъ и въ Спасской школѣ: онъ сталъ проситься на годъ въ Кіевскую академію, о мудрости и учености кото-

---

\*) Въ то время, въ наказаніе за проступки, задавали выучить что-либо трудное и скучное, написать стихи и проч.

рой до него доходили слухи. Странна и неумѣтна показала-  
лась такая просьба его ректору, Стефану Калиновскому, но  
онъ уважилъ ее, и отпустилъ его посмотреть кievское училище.  
Пришелъ Ломоносовъ въ Кіевъ, сѣлъ на парту (скамью) въ  
классѣ Миткевича; послушалъ, послушалъ — видитъ, что кiev-  
скій профессоръ, въ своихъ лекціяхъ философіи, говоритъ о  
томъ же и такъ же, какъ и московскій: не разъясняетъ яв-  
лений природы, не учитъ физикѣ, которой молодой человекъ  
сильно жаждалъ. Пересталъ московскій студентъ философіи по-  
сѣщать лекціи кievскаго профессора, а сталъ ходить въ библио-  
теку читать тѣ книги, которыхъ не видѣлъ въ Москвѣ, пере-  
читалъ всѣ до срока, и собрался опять въ Москву, недоволь-  
ный Кіевомъ. На ту пору въ Спасской школѣ получена была  
бумага изъ Петербургской академіи наукъ, которою требо-  
валось въ академическую гимназію 20 учениковъ, которые  
столько знали бы, чтобъ могли слушать у профессора лекціи,  
и съ пользою проходить высшія науки. Въ то время двадцати  
такихъ учениковъ не нашлось во всемъ Заиконоспасскомъ учи-  
лищѣ; набрали только двѣнадцать; въ числѣ ихъ назначили  
и студента философіи Михаила Ломоносова.

Итакъ все шло тогда по желанію Ломоносова: мало ему  
науки въ Москвѣ и Кіевѣ, — посылають въ Петербургъ въ  
академическую гимназію. Вотъ здѣсь наконецъ удовлетво-  
рится его жажда знанія: тутъ столько ученыхъ нѣмцевъ,  
выписанныхъ изъ-за границы собственно для науки. Однако  
не такъ вышло на дѣлѣ: ученые нѣмцы почему-то лекцій  
не читали, а члены академической команды находили спра-  
ведливѣе не давать денегъ на содержаніе прибывшимъ изъ  
Москвы юношамъ, жаждавшимъ пріобрѣтенія знаній. Такимъ  
образомъ спасскіе школьники, пріѣхавшіе съ Ломоносовымъ,  
бѣдствовали, терпѣли крайнюю нужду, и, при всей своей  
терпѣливости, вошли въ сенатъ съ челобитною на такое съ  
ними обращеніе. Но Ломоносову пришлось потерпѣть съ то-  
варищами не долго: 18-го марта 1736 года, вышелъ каби-

нетскій указъ объ отправленіи его, съ товарищемъ Виноградовымъ и какимъ-то Рейзеромъ, въ одинъ изъ заграничныхъ университетовъ. Исполненіемъ указа впрочемъ не торопились: правитель канцеляріи академіи наукъ, Шумахеръ, получивъ деньги на дорогу студентамъ, истратилъ ихъ на какія-то другія потребности, и тѣмъ замедлилъ отправку ихъ до осени. Въ сентябрѣ оставили Петербургъ назначенные учиться за границую студенты. На дорогу дали имъ отъ академіи инструкцію: по ней имъ слѣдовало заниматься, сверхъ наукъ, языками латинскимъ и французскимъ, не оставляя упражненій и въ русскомъ. Мѣстомъ окончательнаго образованія назначенъ былъ Марбургскій университетъ, въ которомъ преподавалъ тогда философію знаменитый Христіанъ Вольфъ, ученикъ славнаго Лейбница.

Поселившись въ Марбургѣ, Ломоносовъ распредѣлилъ свои занятія по академической инструкціи: посѣщалъ лекціи, занимался науками и языками. Опыты его занятій хранятся донынѣ въ академическомъ архивѣ: именно — его *рапортъ*, на нѣмецкомъ языкѣ, *разсужденіе*, на латинскомъ, *объ измѣненіи твердаго тѣла въ жидкое*, и *переводъ Фенелоновой оды о пріятностяхъ сельской жизни подъ кровомъ музъ*. Единственнымъ свидѣтельствомъ его занятій остается аттестатъ профессора Вольфа, данный ему 29-го іюня 1739 года, и *Похвальная ода*, написанная по случаю взятія Хотина. Вѣсть о славной побѣдѣ, одержанной русскими войсками въ 1739 году, дошла до Ломоносова и въ Марбургѣ. Слава русскаго оружія наполнила душу его искреннимъ восторгомъ, который высказался звучными ямбами въ торжественной одѣ.

Современники Ломоносова были удивлены и поражены. Повсюду расточались похвалы новымъ стихамъ; сама императрица раздавала экземпляры оды своимъ придворнымъ, благосклонно отзываясь о способностяхъ *сочинителя изъ архангельскихъ рыбаковъ*. Президентъ академіи торжествовалъ; первый присяжный цѣнитель оды, адъютантъ Ададуровъ, который

прежде другихъ провидѣль въ юномъ Ломоносовѣ стихотворца, былъ въ восхищеніи, получая поздравленія своихъ товарищей: вкусъ его признанъ общимъ судомъ двора и образованнаго столичнаго общества.

А что же приобрѣлъ отъ всѣхъ этихъ похвалъ самъ сочинитель оды? Ровно ничего: ему шло прежнее скудное содержаніе, по прежнему его не покидала тяжелая нужда, которая увеличивалась еще болѣе отъ несвоевременной и безпорядочной присылки денегъ изъ Петербурга. А онъ еще увлекся любовію къ дочери небогатаго портнаго, у котораго жилъ, и, несмотря на свою и ея бѣдность, безразсчетно женился въ 1740 году. Расходы женатаго увеличились; жена его, хотя изъ нѣможь, вышла не мудрая хозяйка: то въ долгъ, другое въ долгъ, наконецъ долги выросли до того, что кредиторы стали грозить Ломоносову тюрьмою. Уплатить долговъ было нечѣмъ; пособій ждать неоткуда; за постороннія занятія браться было некогда: нужно было еще учиться металлургіи и химіи у знаменитыхъ тогдашнихъ профессоровъ въ Германіи. Тогда Ломоносовъ рѣшился покинуть жену, дочь, и тайно отъ нихъ бѣжать въ Россію.

Весною 1741 года, не простившись съ ними, онъ вышелъ изъ Марбурга, и направилъ путь въ Голландію, чтобы оттуда моремъ добраться до Петербурга. На дорогѣ случилось съ нимъ приключеніе, которое едва не отняло у Россіи дорогаго нашего ученаго, если бы не помогла ему всегдашняя его отвага. Недалеко отъ Дюссельдорфа, Ломоносовъ остановился на постояломъ дворѣ какой-то деревни, и нашелъ тамъ веселую пирушку прусскаго офицера, вербовавшаго рекрутъ. Веселая компанія радушно пригласила его принять участіе въ пирушкѣ. Не подозрѣвая умысла, Ломоносовъ не отказался отъ приглашенія, и послѣ рюмки за рюмкою путешественникъ нашъ опьянѣлъ до безпамятства. Что съ нимъ дѣлали, онъ не помнилъ: проснувшись, онъ увидѣлъ на шеѣ красный галстухъ, а въ карманѣ нашелъ нѣсколько монетъ, и услы-

халь, что солдаты называютъ его товарищемъ. Опъ сталъ противорѣчить, но вахмистръ возразилъ: «Развѣ ты проспалъ, или уже забылъ, что ты вчера при насъ принялъ королевско-прусскую службу, ударилъ по рукамъ съ поручикомъ, взялъ задатокъ, и пилъ здоровье нашего полка?» Понявъ марбургскій бѣглець свою ошибку, смекнулъ, что противорѣчиемъ ничего не возьмешь, не избавишься отъ званія прусскаго рейтара, и задумалъ дѣло поправить хитростью. Отведенный съ товарищами въ крѣпость Везель, рейтаръ Ломоносовъ притворился весельчакомъ, полюбившимъ солдатскую жизнь; притворство было до того искусно, что товарищи повѣрили и ослабили бдительный за нимъ надзоръ. То было и нужно; выбравъ ночь потемнѣе, Ломоносовъ вылѣзъ въ заднее окно крѣпости, доползъ до вала, спустился въ ровъ, переплылъ его безъ шума, а тамъ, въ мокромъ платьѣ, пустился бѣжать за прусскую границу. Начало свѣтать; въ крѣпости замѣтили побѣгъ новобранца, и раздался пушечный выстрѣлъ. Бѣглець слышитъ этотъ выстрѣлъ, наконецъ видитъ уже погоню, напрягаетъ всѣ свои силы, и, благодареніе Богу, перешагнувъ прусскую границу!

Погоня до того напугала Ломоносова, что онъ не рѣшился зайти въ первую деревню, а прошелъ въ ближній лѣсъ, и до того утомился, что проспалъ ночь, какъ убитый. Проснувшись на другой день, онъ отправился въ дальнѣйшій путь, называя себя саксонскимъ студентомъ. Такимъ образомъ онъ дошелъ до Амстердама, и явился къ русскому повѣренному въ дѣлахъ, который отправилъ его въ Гаагу къ нашему посланнику, графу Головкину. Графъ принялъ его благосклонно, снабдилъ всѣмъ нужнымъ, и на кораблѣ отправилъ въ Петербургъ. Передъ отъѣздомъ, Ломоносовъ послалъ письмо въ Марбургъ къ женѣ, извѣстилъ о своемъ мѣстопробываніи и просилъ не писать къ нему до новаго письма. На пути въ Петербургъ онъ видѣлъ страшный сонъ, который сильно испугалъ его: онъ видѣлъ, будто бы отецъ его потонулъ близъ

того необитаемаго острова, на которомъ въ дѣтствѣ онъ бывалъ съ нимъ на рыбной ловлѣ. Въ послѣдствіи сонъ оправдался вполнѣ, потому что, дѣйствительно, по собраннымъ свѣдѣніямъ, оказалось, что въ этотъ самый день, на этомъ самомъ мѣстѣ, видѣнномъ во снѣ, погибъ Василій Дороеевъ, крестьянинъ села Денисовскаго.

Въ 1741 году, Ломоносовъ возвратился въ Петербургъ, и явился въ академію, дѣлами которой правилъ тогда секретарь ея, извѣстный Шумахеръ. Онъ принялъ его благосклонно: въ видѣ испытанія, поручилъ ему привести въ порядокъ и описать академическій музей, и давалъ переводить статьи для примѣчаній въ *Санктпетербургскимъ Академическимъ Вѣдомостямъ*. Порученія были исполнены удовлетворительно, и Шумахеръ содѣйствовалъ къ избранію Ломоносова въ адъюнкты академіи. До этого назначенія, Ломоносовъ успѣлъ обратить на себя вниманіе двора. Онъ воспользовался коронованіемъ императрицы Елисаветы Петровны, и воспѣлъ ее въ одѣ:

О, слава женъ во свѣтѣ славныхъ,  
Россіи радость, страхъ враговъ,  
Краса владѣтельница державныхъ!  
Всякъ кровь свою пролить готовъ  
За многія твои доброты,  
И къ подданнымъ твоимъ щедроты.  
Твой слухъ плѣнилъ и тѣхъ людей,  
Что странствуютъ среди звѣрей,  
Что съ лютыми пасутся львами;  
За честь твою возстанутъ съ нами.

Но стихотворствомъ Ломоносовъ занимался рѣшительно только въ часы, свободные отъ трудовъ научныхъ; главнѣйшими же предметами его упражненій были: физика, минералогія и химія, при постоянномъ изслѣдованіи законовъ отечественнаго языка, для котораго онъ написалъ ту *грамматику*, которая, при всѣхъ недостаткахъ своихъ, служила однако образцемъ для позднѣйшихъ грамматиковъ русскихъ.



Знаменитый покровитель наукъ и ученыхъ своего времени, Ив. Ив. Шуваловъ, совѣтоваль Ломоносову заниматься исключительно словесностію, писать оды и рѣчи риторическія. На это Ломоносовъ отвѣчалъ, что онъ пристрастился къ наукамъ, что онъ служить для него сердечнымъ успокоеніемъ, и что, разставшись съ ними, будетъ чувствовать несносное мученіе.

Въ 1746 году, Ломоносовъ пожалованъ былъ профессоромъ химіи. Между тѣмъ онъ продолжалъ сочинять ежегодно по одѣ и писалъ, отъ времени до времени, *Похвальные слова* въ прозѣ, изъ которыхъ замѣчательнѣе другихъ Елисаветѣ и Петру Великому. Первое изъ этихъ словъ увѣнчалось полною признательностію императрицы, которая подарила Ломоносову дачу Коровалдай, на Финскомъ заливѣ. Ломоносовъ, облеченный въ званіе профессора, члена географическаго департамента и начальника гимназіи, читалъ лекціи физики, химіи и металлургіи, дѣлалъ разнообразныя физическія опыты и изслѣдованія, изобрѣлъ разные инструменты, давалъ частныя лекціи въ правилахъ русскаго стихотворства, самъ изучилъ составленіе разноцвѣтныхъ стеколъ, и преподавалъ другимъ, по образцамъ дошелъ до искусства мозаичнаго, произведя прекрасный мозаическій портретъ Петра Великаго и изображеніе полтавскаго сраженія. Все это дѣлалъ онъ первый изъ русскіихъ, и все объявлялъ тотчасъ первый на отечественномъ языкѣ. Чтобы короче ознакомиться съ кипучею дѣятельностію этого неутомимаго служителя наукъ, надобно прочесть рапортъ его, поданный президенту академіи наукъ, графу Разумовскому. Во всѣхъ работахъ имъ всегда руководило одно желаніе: чтобъ выучились соотечественники его, и показали тѣмъ свое достоинство. Ему мѣшали товарищи, останавливали спорами, задерживали проволочками; напримѣръ, ему надобились для опытовъ инструменты, а ихъ бывало нельзя получить, оттого, что какой нибудь Таубертъ захватилъ въ свое вѣдѣніе всѣхъ мастеровыхъ и заставляетъ ихъ работать, въ угожденіе нѣкоторыхъ знатныхъ лицъ, а не для того, чтобы профессоры могли

ими пользоваться. Когда Ломоносовъ управлялъ гимназіею, ему пужны бывали для ея же дѣль деньги, а бывало канцелярія академіи придирается къ отчету, не выдаетъ денегъ: ей нужды нѣтъ, что гимназисты ходятъ въ изодранныхъ сапогахъ. Въ географическомъ департаментѣ Ломоносовъ хлопочеть, настаиваетъ поскорѣе отпечатать карты Россіи, а ихъ не одобряють, его просьбы проходятъ молчаніемъ, а сѣвшать канцелярскими дѣлами, до наукъ не относящимися. Ломоносовъ не жалѣлъ ни трудовъ, ни силъ, чтобъ уничтожить препятствія, одолѣть недоброхотовъ и способствовать разможенію ученыхъ въ Россіи.

Не довольствуясь этою личною дѣятельностію, онъ излагалъ свои мысли и изслѣдованія въ различныхъ сочиненіяхъ, гдѣ являются во всей силѣ его необыкновенныя дарованія. Въ ученіи о природѣ, стоя наравнѣ съ славнѣйшими заграничными учеными, онъ часто являлся выше ихъ: такъ явленіе сѣвернаго сіянія у Ломоносова удовлетворительнѣе объясняется, нежели у другихъ того времени ученыхъ. И не однимъ объясненіемъ явленій природы посвящалъ онъ свои труды и способности. У насъ не было исторіи, онъ первый написалъ сколько нибудь систематическую исторію, которая была руководствомъ въ теченіе всего прошлаго столѣтія; у насъ стихосложеніе, увлекшись польскимъ ученіемъ, сбилось съ настоящаго пути, приняло силлабическій ладъ, Ломоносовъ, своею теоріею и примѣромъ, обратилъ его къ законному природному ладу — тоническому. У насъ въ сочиненіяхъ лучшихъ людей господствовала смѣсь языка русскаго съ славянскимъ, господствовало неразумное пристрастіе къ употребленію иностранныхъ словъ; Ломоносовъ положилъ границы между русскимъ и славянскимъ языками, указалъ вѣрное средство избавиться отъ нелѣпостей, входящихъ изъ языковъ чужеземныхъ, и такимъ образомъ сдѣлался образователемъ новаго литературнаго языка. Словесность наша скудна была формами образованныхъ литературъ; Ломоносовъ сталъ писать оды, трагедіи, надписи,

идилліи и поэмы, и, такимъ образомъ, водворилъ у насъ разнообразныя формы образованныхъ литературъ.

При жизни своей, Ломоносовъ имѣлъ много завистниковъ, Всего болѣе не доброжелательствовалъ ему трудолюбивый, но бездариѣйшій человѣкъ, знаменитый уродливостію своихъ стиховъ, Василій Кирилловичъ Тредьяковскій, творецъ *Телемахида*. Онъ ненавидѣлъ Ломоносова, и, будучи человѣкомъ правилъ низкихъ, всѣми средствами преслѣдовалъ Ломоносова, восхищая, своими нападками на этого знаменитаго человѣка, другаго его врага, извѣстнаго уже тогда Сумарокова. Честный и благородный душею, Ломоносовъ не вступалъ въ литературную перестрѣлку съ врагами своими, чувствуя свое превосходство. Онъ отзывался объ нихъ, что *они хвалятъ его своею хулою*. Впрочемъ враги его имѣли иногда и поводъ къ тому, чтобы порицать нѣкоторые его поступки. Главнѣйшимъ поводомъ была слабость Ломоносова къ горячимъ напиткамъ, отъ чего лицо его было всегда багровое. Современники Ломоносова передали позднѣйшимъ потомкамъ, что однажды императрица Елисавета прислала Ломоносову, за одну его оду, возъ мѣдныхъ монетъ, самыхъ мелкихъ, полупекъ и денегъ, но блестящихъ, прямо съ монетнаго двора. Всего тутъ было тысячу рублей, что въ настоящее время могло бы выразить сумму въ полторы тысячи рублей серебромъ. Обрадованный подаркомъ, стихотворецъ велѣлъ выложить всю груду мѣди подлѣ кровати своей, не счелъ сколько было тутъ денегъ, купилъ небольшой желѣзный ковшечъ, черпалъ имъ ежедневно въ грудѣ мѣдныхъ денегъ, и, насыпавъ ими всѣ карманы, отправлялся въ *кабачекъ*, то есть въ заведеніе, въ родѣ нынѣшнихъ кондиторскихъ, гдѣ продавались вино, водка, ратафія, наливки, пиво съ приличною закускою, преимущественно соленою. Ломоносовъ былъ чрезвычайно всныльчивъ, но добръ и благотворителенъ; такъ онъ способствовалъ, усерднымъ ходатайствомъ своимъ, тому, что вдова и сынъ профессора Рихмана, убитаго грозою въ 1753 году, были пристро-

ны правительствомъ. Сверхъ того Ломоносовъ обратилъ вниманіе Шувалова на молодаго студента — Попова, изъ котораго въ послѣдствіи вышелъ русскій писатель и ученый своего времени. Вообще безпечный къ матеріальнымъ потребностямъ, какъ большая часть людей гениальныхъ, Ломоносовъ не зналъ почти никогда счета своимъ деньгамъ, при первой возможности располагалъ своими средствами, и спѣшилъ дѣлиться ими съ нищею братіею.

Однажды, въ прекрасный лѣтній день, императрица Екатерина II призвала къ себѣ И. И. Шувалова, и сказала ему: «Знаешь ли куда мы поѣдемъ съ тобою? Къ твоему другу, Ломоносову. Я хочу сколько нибудь поддержать его, и надѣюсь, что мое посѣщеніе послужитъ для этого лекарствомъ.» Вскорѣ въ смиренному жилищу Ломоносова подѣхалъ придворный экипажъ. Императрица послала спросить: «могутъ ли любопытные посѣтители видѣть господина профессора химіи и физики?» Ломоносовъ нисколько не предугадывалъ, кто будутъ эти посѣтители, велѣлъ просить ихъ къ себѣ, а между тѣмъ надѣлъ парадный кафтанъ. «Папенька! Императрица здѣсь!» вскричала дочь Ломоносова, которая увидѣла въ окно, какъ она выходила изъ кареты, и безъ памяти бросилась къ отцу своему. — «Какъ?... что ты вздоришь?» въ тревогѣ отвѣчалъ Ломоносовъ, и едва успѣлъ броситься къ дверямъ, едва успѣлъ отворить ихъ, какъ передъ нимъ явилась императрица. За нею шелъ Иванъ Ивановичъ Шуваловъ. Ломоносовъ упалъ передъ нею на колѣни, и преклонилъ голову. Императрица, улыбаясь, протянула къ нему руку, и сказала очаровательнымъ голосомъ:

— «Здравствуйте, господинъ Ломоносовъ! Я пріѣхала къ вамъ, какъ ученица къ учителю, и увѣрена, что вы не станете скрывать отъ меня вашихъ занятій. Покажите мнѣ свою лабораторію, свою фабрику; но прежде всего познакомьте меня съ своимъ семействомъ.»

Это неожиданное посѣщеніе, эти милостивыя слова, смѣ-

шали поэта до такой степени, что онъ не могъ ничего выговорить; наконецъ, слезы сверкнули на глазахъ его, и онъ произнесъ:

— «О, государыня!... Для чего не могу я раскрыть передъ вами своего благоговѣющаго сердца?...»

— «Я вижу его, господинъ Ломоносовъ!... Но приведите мнѣ прежде всего ваше семейство.»

Черезъ минуту смиренная Христина и молодая дочь Ломоносова были передъ императрицею. Она тотчасъ узнала, по выговору, что Христина нѣмка, и заговорила съ нею понѣмецки, спросила о мѣстѣ ея рожденія, хотѣла знать, помнитъ ли она свою родину, счастлива ли она, и сказала наконецъ, что, какъ жена челоувѣка, который служитъ украшеніемъ Россіи, она конечно любитъ свое новое отечество. Христина отвѣчала на все это съ добротою и умиленіемъ, а такія чувства облагораживаютъ самыя простыя слова. Императрица, по видимому, была довольна, и, обратившись къ Ломоносову, сказала:

— «Ну, господинъ Ломоносовъ! Теперь покажите мнѣ ваши ученые занятія.»

— «Умоляю ваше величество быть снисходительными къ моимъ слабымъ ничтожнымъ трудамъ!»

— «Оставьте мнѣ судить, важны они или нѣтъ! Прежде всего желала бы я видѣть ваши мозаическія работы.»

Ломоносовъ просилъ императрицу перейти въ другую комнату, которая служила ему, и ученымъ кабинетомъ, и мастерскою. Тамъ онъ представилъ ей много образцовъ мозаическихкихъ составовъ и разныхъ принадлежностей къ нимъ, также начатыя и оконченныя работы; но этого казалось не довольно императрицѣ. Она хотѣла видѣть самую правильную печь и осмотрѣла ее. При ней должны были произвести даже нѣкоторыя работы. Императрица любовалась всѣмъ, разспрашивала о всемъ съ умомъ и знаніемъ, такъ что это даже изумляло Ломоносова. Потомъ она обратилась къ его физическому и химическому кабинету. Тутъ Еватерина опять показала свои

знанія, но съ такимъ искусствомъ, что Ломоносовъ долженъ былъ объяснять многое, и производить опыты, не для удовлетворенія одного любопытства, но для подтвержденія многихъ истинъ науки. Любимая теорія его о теплотѣ и электрическихъ явленіяхъ послужила поводомъ къ занимательному и продолжительному разговору, такъ что Ломоносовъ забывалъ даже присутствіе великой императрицы: онъ видѣлъ гениальную женщину, и былъ отъ того еще краснорѣчивѣе, говорилъ еще увлекательнѣе. Такъ прошли два часа, достоимятные въ жизни Ломоносова. Императрица изъявила ему свое полное удовольствіе. Восхищенный Ломоносовъ не имѣлъ словъ благодарить ее, и испросилъ позволеніе поднести сочиненные имъ въ это же время экспромптомъ стихи. Императрица милостиво приняла ихъ, и велѣла самому автору прочитать вслухъ. Онъ произнесъ:

Геройство съ кротостью, съ премудростью щедроты,  
Соединенныя монаршески доброты,  
Въ благоговѣніи, въ восторгѣ зрять сей домъ,  
Рожденнымъ отъ наукъ усердствуя плодомъ.  
Блаженства поваго и дней златыхъ причита,  
Великому Петру во слѣдъ Екатерина  
Величествомъ своимъ снисходить до наукъ  
И славы праведной усугубляеть звукъ.  
Коль счастливъ, что могу быть въ вѣчности свидѣтель,  
Богиня, коль твоя велика добродѣтель!

— «Благодарю, благодарю за все, господинъ Ломоносовъ!» — сказала Екатерина. — «Вы видите, какъ я уважаю васъ!» — прибавила она.

— «Государыня! чѣмъ могу я доказать вамъ свою безпредѣльную преданность и невыразимую благодарность?»

— «Я скажу вамъ это!» — отвѣчала Екатерина съ большею важностію. — «Храните сами себя! Теперь вы конечно увѣрены, что отъ меня можете ожидать всего; но я хочу, чтобы вы сами хранили себя! Это мое желаніе, господинъ Ломоносовъ, и я увѣрена, что вы исполните его. Не правда-ли?»

— «Ваши слова для меня священны, всемилостивѣйшая государыня!» отвѣчалъ Ломоносовъ, который понялъ все значеніе словъ Екатерины.

Между тѣмъ она уже шла къ дверямъ; все семейство провожало ее. Она вновь оборотилась къ Ломоносову, и прибавила:

— «Я всегда уважала васъ, господишъ Ломоносовъ, но, послѣ сегодняшняго посѣщенія, уважаю еще больше. Будьте увѣрены въ моей милости, и помните, что вы имѣете во мнѣ внимательную покровительницу.» Императрица вошла въ карету, еще разъ милостиво вивнула головою Ломоносову, и блестящее явленіе исчезло.

Въ самомъ дѣлѣ, Ломоносовъ не вдругъ опомнился послѣ этого посѣщенія. Онъ не вѣрилъ чувствамъ своимъ, не вѣрилъ, чтобы смиренное его жилище было озарено присутствіемъ императрицы. Въ восторгѣ, въ умиленіи сердца, упалъ онъ передъ образомъ, и молилъ Бога за великую государыню!... Это облегчило его. Онъ сталъ вспоминать, со своею женою и дочерью, о малѣйшихъ подробностяхъ счастливаго для него событія, которое надолго осталось народнымъ преданіемъ во всей Россіи: *Екатерина удостоила посѣщеніемъ Ломоносова!*...

Ломоносовъ былъ однако же вѣренъ слову, которое далъ императрицѣ, и послѣ ея убѣжденій оставилъ свою пагубную страсть. Но эта страсть до такой степени обладала имъ, что, не удовлетворяя ея, онъ сдѣлался грустенъ, молчаливъ, не приступень.

Для единственной дочери его нашелся женихъ, прекрасный человекъ, Константиновъ, бывшій въ то время придворнымъ бібліотекаремъ. По русскому обычаю, на радостномъ пиршествѣ, надобно было выпить. Ломоносовъ удерживался, даже отказывался, когда его убѣждали выпить одну рюмку, но наконецъ не устоялъ противъ искушенія. За рюмкою пошла другая, и несчастная страсть его загорѣлась съ новою силою: онъ уже не могъ противиться ей, и въ началѣ 1765

года былъ въ полномъ разгулѣ. Почти каждый день оканчивался у него весельемъ, прискорбнымъ для свидѣтелей. Между тѣмъ императрица не переставала наблюдать за нимъ. Узнавъ о новомъ приступѣ несчастной страсти, она рѣшилась пробудить его отъ усыпленія, и приказала ему написать стихотвореніе на одинъ торжественный случай, съ тѣмъ, чтобы онъ явился съ нимъ лично къ ней, въ назначенный день.

Ломоносовъ получилъ приказъ; но до срока оставалось еще нѣсколько дней, и онъ отложилъ свою работу. «Еще будетъ время, напишу!» сказалъ онъ, и проводилъ дни по прежнему. Наступилъ назначенный срокъ: Ломоносовъ не написалъ оды, и не могъ явиться къ императрицѣ. Это огорчило ее, и она приказала ему явиться къ себѣ на другой же день. Поэтъ ужаснулся, когда его пробудили этимъ приказаніемъ. Мгновенно освободился онъ отъ чада своего бурнаго веселія, и не спалъ всю ночь. Мысль, что онъ не исполнилъ воли своей высокой благодѣтельницы, поразила его не страхомъ, а угрызеніемъ совѣсти, стыдомъ. Онъ чувствовалъ прѣзрѣніе къ самому себѣ. Съ неизъяснимымъ чувствомъ вопель онъ во дворецъ. О немъ тотчасъ доложили, потому что было уже приказано. Императрица велѣла позвать его въ свой кабинетъ, гдѣ была одна. Лицо его выражало все, что чувствовала душа, такъ что, при первомъ на него взглядѣ, Екатерина увидала это, и когда онъ уналь передъ нею на волѣни, преклонивъ голову, она сказала:

— «Господинъ Ломоносовъ! Я вижу, что вы сами вполне чувствуете свой проступокъ. Хорошо! Я не стану упрекать васъ; только требую непремѣннаго слова, что вы отказываетесь отъ своей страсти навсегда!»

— «Всемиловѣйшая государыня! Даю вамъ клятву, въ присутствіи всемогущаго Бога!»

— «Я довольна этимъ, потому что увѣрена въ васъ. Встаньте!... И вамъ ли, господинъ Ломоносовъ, доводить себя до напоминаній?... На васъ обращены взоры цѣлаго оте-



чества! Вы краса русской учености, образец русскаго ума!— Вы будете послушны моему убѣжденію. Въ этомъ даю за васъ слово отечеству. Не введите же меня въ парѣваніе!»

— «Не умѣю выразить своихъ чувствъ, всемиловѣйшая государыня!... Позвольте мнѣ, виновному, оправдать милосердіе ваше будущими моими поступками.»

— «Я желаю этого; прошу васъ объ этомъ! Знаете ли, что я дорожу вами не меньше какой нибудь области моихъ владѣній! Будьте увѣрены, что я забочусь о васъ, и оправдайте мое вниманіе.»

— «Ваши неизрѣченныя милости, государыня, не могутъ быть оправданы, если бы даже я пролилъ за васъ всю кровь свою, до послѣдней капли. Но я сдѣлаю, что только возможно для челоуѣка!»

— «Для Ломоносова! — прибавила императрица. — Въ этихъ словахъ я узнаю прежняго Ломоносова. Нѣтъ, вы не обманете меня! Снова ручаюсь за васъ.»

Аудиенція кончилась; она сдѣлала на Ломоносова глубокое впечатлѣніе. Онъ рѣшился свято исполнить свое слово, хотя и предчувствовалъ, что это будетъ стоить ему жизни. Въ самомъ дѣлѣ, на другой же день овладѣлъ имъ сильный недугъ, неизбежное слѣдствіе слишкомъ быстро перелома. Черезъ нѣсколько дней болѣзнь усилилась, и начала возбуждать опасенія. Объ этомъ донесли императрицѣ. Узнавъ причину его болѣзни, она приказала сказать, что разрѣшаетъ его отъ даннаго слова, и что онъ долженъ слушать только совѣтовъ медика. Подлѣ постели Ломоносова сидѣлъ пріятель его, Штелинъ, когда пришли отъ императрицы. Услышавъ волю ея, Ломоносовъ сказалъ: «Изъявите всю мою признательность всемиловѣйшей государынѣ, но доложите, вмѣстѣ съ тѣмъ, что не воспользуюсь ея позволеніемъ. Я не достоинъ жизни, если эта жизнь должна поддерживаться снисхожденіемъ въ моимъ слабостямъ. Да теперь уже и поздно: смерть въ груди моей!»

— «Но императрица желаетъ, чтобы употреблены были всѣ средства для пособія вамъ», сказалъ посланный.

— «Благодарность мою за ея попеченія унесу я въ престолу Всевышняго! Но я не житель міра сего!... Скоро все для меня кончится.»

Опечаленный придворный ушелъ, а Ломоносовъ, видя, что въ глазахъ старика Штелина блистаютъ слезы, сказалъ, улыбаясь.

— «О чемъ грустишь ты, пріятель? Неужели о моей смерти?»

Штелинь отвѣчалъ, собравшись съ духомъ:

— «Я еще надѣюсь на Бога, что вы останетесь жить, Михайль Васильевичъ.»

— «Нѣтъ, вижу, что мнѣ скоро умереть. На жизнь смотрю равнодушно, и сожалѣю только о томъ, что не успѣлъ довершить того, что началъ для пользы отечества, для славы наукъ и для чести академіи. Къ сожалѣнію, вижу теперъ, что мои благія намѣренія исчезнутъ вмѣстѣ со мною.»

У Ломоносова было немного друзей при жизни, но явилось много почитателей, когда окончилась эта многотрудная, блистательная, славная жизнь. Зрѣлище было поучительно и прекрасно. Богатые раззолоченные экипажи останавливались передъ жилищемъ Ломоносова, и великолѣпные господа выходили изъ нихъ изъявить свое участіе славному соотечественнику, сами не подозревая, что отдають этимъ дань умирающему генію, котораго не умѣли они чтить при его жизни. Императрицѣ доставлялись ежедневныя извѣстія о состояніи Ломоносова, котораго, можетъ быть, она лучше всѣхъ понимала. Другъ Ломоносова, Виноградовъ, не отходилъ отъ постели больного, и, вмѣстѣ съ женою и дочерью его, заботился о немъ, какъ нѣжный братъ. Но ни попеченія дружбы и любви, ни желанія почитателей, ничто не могло перемѣнить рѣшенія судьбы.

Апрѣля 4-го 1765 года прекратилась полезная жизнь Ломоносова. Погребеніе профессора академіи, статскаго совѣт-

ника и кавалера Михаила Васильевича Ломоносова было столь же пышно, какъ бы погребеніе какого нибудь сановника государственнаго. Знатнѣйшее духовенство и первые чины государства сопровождали въ Невскій монастырь бранные останки Ломоносова. Враждовавшій съ нимъ при жизни и незадолго до его смерти помирившійся съ нимъ, Сумароковъ шелъ за гробомъ его.

На могилѣ Ломоносова воздвигнуть, канцлеромъ графомъ Михаиломъ Илларионовичемъ Воронцовымъ, памятникъ изъ бѣлаго каррарскаго мрамора. Императоръ Павелъ I, уважая заслуги Ломоносова, исключилъ, въ 1796 году, изъ подушнаго оклада и освободилъ отъ рекрутскаго набора племянника его, рожденнаго отъ родной сестры, Головиной, крестьянина Архангельской губерніи, Холмогорскаго уѣзда, Матигорской волости, Петра, съ дѣтьми и потомствомъ ихъ. Послѣ Ломоносова не осталось сыновей. Въ городѣ Холмогорахъ воздвигнуть ему памятникъ какъ уроженцу Холмогорскаго уѣзда.

Въ апрѣлѣ 1865 года, спустя сто лѣтъ послѣ кончины Ломоносова, вся Россія праздновала эту годовщину, панихидами по усопшемъ поэтѣ и ученомъ, обѣдами и собраніями, въ воспоминаніе его славныхъ заслугъ для Россіи. Съ высочайшаго разрѣшенія открыта была подписка по всей Россіи, для собранія капитала, на учрежденіе стипендій въ память Ломоносова и на изданіе его жизнеописанія, доступнаго для всего народа русскаго.

АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ

## СУМАРОКОВЪ

(1718—1777).

Въ Россіи до Сумарокова не было настоящихъ театральныхъ піесъ на русскомъ языкѣ, а были опыты драматической литературы въ духовномъ родѣ, съ сюжетами, извлеченными изъ ветхаго, и, отчасти, новаго завѣта, написанные, на латинскомъ, греческомъ и славянскомъ языкахъ, нѣкоторыми знаменитѣйшими проповѣдниками XVIII и даже XVII вѣка. Духовныя представленія разыгрывались преимущественно въ семинаріяхъ. Сумароковъ первый изъ русскихъ сталъ переводить трагедіи знаменитыхъ тогдашнихъ французскихъ писателей: Расина, Корнеля, Кребильона, Вольтера. Онъ же первый сталъ подражать этимъ трагикамъ, и писать трагедіи русскія, которыя русскаго имѣли только имена дѣйствующихъ лицъ и названія самыхъ піесъ, точно такъ же какъ и французскіе авторы того времени выводили въ своихъ трагедіяхъ людей небывалыхъ и невозможныхъ, искажали историческую правду, и актеровъ, съ греческими и римскими именами, заставляли выражаться подобно тогдашнимъ маркизамъ и герцогинямъ. Таковъ былъ духъ и вкусъ времени. Сумароковъ, естественно, шелъ съ общимъ потокомъ, а потому, не уважая Шекспира,

поклонялся всѣмъ французскимъ тогдашнимъ посредственностямъ. Но за Сумароковымъ остается заслуга *созданія русской драматической литературы, а также правильнаго устройства русскаго театра.*

Сумароковъ родился въ 1718 году, должно быть, гдѣ нибудь по близости Петербурга, потому что онъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній сказалъ:

Гдѣ Вильманстрандъ, я тамъ по близости рожденъ,  
Какъ былъ Голицынымъ край финскій побѣжденъ.

Отецъ его, дѣйствительный тайный совѣтникъ, былъ для того времени очень образованъ, зналъ нѣсколько иностранныхъ языковъ, и заботился о образованіи своего сына. Онъ его любилъ, старался внушать ему нравственныя правила жизни, самъ занимался съ нимъ, и ознакомилъ его съ русскимъ языкомъ и его драматическими правилами. Это было особенно важно въ то время, когда ни въ одномъ изъ учебныхъ заведеній Россіи русскому языку не учили, основываясь на томъ, что всякій русскій и безъ того знаетъ свой языкъ, — а какъ знаетъ, о томъ не разсуждали.

Въ 1731 году, по предложенію графа Миниха, находившаго, что въ русскомъ войскѣ нѣтъ офицеровъ, достаточно образованныхъ и приготовленныхъ къ военной службѣ, былъ основанъ первый кадетскій корпусъ, наименованный тогда *офицерскимъ училищемъ*, или *рыцарскою академію*. Молодые рыцари, или будущіе офицеры, попросту кадеты, принимались изъ дворянъ. Въ 1732 году, т. е. на четырнадцатомъ году отъ роду, былъ отданъ туда и Александръ Сумароковъ. Ученіемъ тогда, повидимому, не слишкомъ обременяли: у кадетъ времени свободнаго было очень много. Сумароковъ, помня уроки отца, продолжалъ любить русскій языкъ, и читать книги. Впрочемъ не онъ одинъ въ корпусѣ любилъ въ то время литературу: воспитанники корпуса, князь Репнинъ, князь Про-

зоровскій графъ П. И. Панинъ, графъ Каменскій, Херасковъ, Н. П. Елагинъ, Порошинъ, Мелиссино, братъ куратора, и другіе юноши, прославившіеся въ послѣдствіи, во времена екатерининскаго царствованія, читали книги, переводили, писали стихи и отдавали на общій судъ свои произведенія. Къ этому юношескому кружку, который справедливо можно назвать разсадникомъ людей екатерининскаго вѣка, часто присоединялся и бессмертный Александръ Васильевичъ Суворовъ, въ молодости тоже любившій заниматься литературою и даже печатавшій свои произведенія. Онъ ихъ подписывалъ двумя буквами: А. и С., т. е. Александръ Суворовъ, а Новиковъ, въ послѣдствіи издавшій полное собраніе сочиненій Сумарокова, принялъ эти двѣ буквы за подпись послѣдняго, т. е. *Александръ Сумароковъ*, и напечаталъ, по ошибкѣ, въ девятой части своего изданія, «Разговоръ въ царствѣ мертвыхъ Александра съ Геростратомъ» и «Разговоръ Монтесумы съ Кортесомъ о томъ, что благость и великодушіе необходимы героямъ», двѣ статьи, принадлежащія римникскому герою, принявъ ихъ за сочиненія Сумарокова.

Хотя въ рыцарской академіи, какъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ того времени, не учили русскому языку, но успѣхами своихъ питомцевъ на литературномъ поприщѣ начальство любило похвалиться, и поэтому каждый годъ, въ день коронаціи, императрица Анна получала отъ корпуса поздравленія въ стихахъ. Поэзіи въ этихъ стихахъ, разумѣется, не было; но уже однѣ рифмы, да мѣрныя строки тогда много значили, а тутъ еще часто иные авторы пускались на разныя, очень забавныя, стихотворныя хитрости. Между стихами, подносимыми государынѣ, были писанные кадетами, и, между прочимъ, къ новому 1740 году, она получила двѣ оды поздравительныя отъ кадетскаго корпуса, *сочиненныя чрезъ Александра Сумарокова*, которому тогда было около 22 лѣтъ отъ роду. Оды эти были лишены почти всякой поэзіи, языкъ ихъ былъ темень и тяжелъ; но это не мѣшало имъ въ то время нра-

виться. Имя Сумарокова вдругъ стало извѣстно при дворѣ. Вскорѣ тамъ же появились его первыя пѣсенки, которыя сначала пѣлись только между кадетами; онѣ вышли изъ стѣнъ корпуса; ихъ узнало общество; музыкантъ Бѣлиградскій написалъ къ нимъ музыку, и вотъ въ лучшихъ гостинныхъ и даже при дворѣ, дамы и кавалеры, на лютнѣ, модномъ инструментѣ того времени, стали распѣвать оригинальныя русскія пѣсни кадета Александра Сумарокова. А онъ, поощренный своею раннею извѣстностію и товарищами, любителями литературы, продолжалъ писать, и работать надъ своимъ некрасивымъ стихомъ. Много, вѣроятно, было написано имъ въ это время; но всѣмъ, написаннымъ въ продолженіе девяти лѣтъ, онъ остался не доволенъ, и сжегъ всѣ свои произведенія, завѣщая поступать такъ каждому начинающему писателю.

Выпущенный въ офицеры, Сумароковъ сначала служилъ при фельдмаршалѣ Минихѣ; потомъ, по вступленіи на престолъ Елисаветы Петровны, при графѣ Алексѣѣ Григорьевичѣ Разумовскомъ. Служба не мѣшала ему заниматься литературою. Оставивъ корпусъ, онъ много читалъ. Расинъ обратилъ на себя его особенное вниманіе: онъ увлекся имъ, и рѣшился быть драматическимъ писателемъ, тѣмъ болѣе, что онъ страстно полюбилъ придворные спектакли въ Эрмитажѣ, на которыхъ ему случалось бывать, и гдѣ, на французскомъ языкѣ, выписанною изъ Парижа труппою, разыгрывались пьесы современныхъ французскихъ драматурговъ. Послѣ нѣсколькихъ опытовъ, въ 1747 году, онъ написалъ свою первую трагедію *Хоревъ*. Сношенія его съ корпусомъ, въ которомъ онъ воспитывался, не прерывались: у него тамъ было много знакомыхъ офицеровъ и кадетъ; его сочиненія читались тамъ съ наслажденіемъ. *Хоревъ*, первая русская оригинальная трагедія, обратила на себя вниманіе больше всѣхъ другихъ произведеній Сумарокова. Общество пропустило печатнаго *Хорева* безъ вниманія, а кадеты читали и перечитывали его, переписывали, де-

кламировали, восхищались каждымъ монологомъ, каждымъ стихомъ, наконецъ стали разыгрывать изъ него нѣкоторыя сцены. Въ концѣ 1749 года, Сумароковъ получилъ отъ кадетъ приглашеніе присутствовать на ихъ корпусномъ спектаклѣ. Онъ охотно согласился, и, вѣроятно, думая увидѣть, какъ бывало при немъ, какія нибудь дѣтскія піесы и услышать чтеніе какихъ нибудь стиховъ, спокойно ѣхалъ въ корпусъ и такъ же спокойно занялъ свое мѣсто передъ сценою. Но занавѣсъ поднялась, и на сценѣ заговорили языкомъ ему знакомымъ, — языкомъ его трагедіи. Сумароковъ прислушивается, глядитъ; ему не вѣрится. Передъ нимъ Оснельда, любящая Хорева, передъ нимъ самъ Хоревъ, Кій, Астрада. Онъ думаетъ, что это одна сцена; но проходитъ цѣлый актъ, другой, третій; словомъ, онъ увидѣлъ на сценѣ свою трагедію, полную, безъ выпусковъ, сыгранную съ особенною любовію и даже съ искусствомъ. Сумароковъ себя не помнилъ: обнималъ, благодарилъ офицеровъ. Успѣхъ его трагедіи былъ полный. Горячій, пылкій Сумароковъ былъ этимъ событіемъ такъ взволнованъ и обрадованъ, что прямо изъ театра поскакалъ къ Разумовскому, и передалъ ему свою радость. Графъ, знавшій любовь императрицы Елисаветы къ театру, поспѣшилъ, на другой же день, сообщить ей, что наканунѣ въ Петербургѣ съ большимъ успѣхомъ разыграна была кадетами русская оригинальная трагедія, сюжетъ которой заимствованъ изъ отечественной исторіи. Государыня немедленно дала приказаніе, чтобъ кадеты сыграли *Хорева* во дворцѣ, въ ея присутствіи. Для этого представленія назначенъ былъ день 8 января (1750 года). Костюмы дѣйствующимъ лицамъ были приготовлены самые богатые. Елисавета Петровна приказала, не жалѣя, выдавать на нихъ, изъ дворцовыхъ кладовыхъ, бархатъ, парчу, атласъ и драгоценные каменья. Когда актерамъ пришло время одѣваться, она сама взялась за туалетъ Оснельды, роль которой игралъ молоденькій кадетъ Свистуновъ, и убрала его для женской роли превосходно: и богато, и красиво. Сумароковъ самъ не-



однократно репетировалъ роли съ актерами. *Хоревъ* былъ поставленъ уже подъ личнымъ его надзоромъ. Онъ тѣмъ болѣе могъ рассчитывать на успѣхъ его и не ошибся въ расчетѣ: успѣхъ былъ такой, что Сумароковъ счелъ себя равнымъ Расину. Зрители восхищались, плакали, сочувствуя страданіямъ Оснельды и Хорева; государыня, разстроганная до нельзя, призвала въ себѣ въ ложу автора, и много благодарила его за доставленное удовольствіе. Весь дворъ непрерывъ хвалилъ трагедію. На другой день въ городѣ только о ней и говорили, только ее и читали, переписывали, и разучивали.

Сумароковъ, вслѣдъ за *Хоревымъ*, поставилъ *Гамлета*, конечно, вовсе не похожаго на шекспировскаго, потомъ *Синава и Трувора*, потомъ *Артистону*. О *Синавѣ и Труворѣ* заговорили за границу: эту піесу перевели на французскій языкъ. Лагарпъ, знаменитый критикъ того времени, написалъ разборъ ея и надѣлилъ новыми пальмами русскаго драматурга, приписавъ произведенію его множество такихъ достоинствъ, какихъ въ немъ вовсе не было: до того французскій критикъ восхищался историческою вѣрностію, ничего не понимая, разумѣется, въ русской исторіи. Но все это вскружило голову самолюбивому и черезчуръ пылкому Сумарокову. Онъ самъ перевелъ эту критику на русскій языкъ, и окончательно увѣрился въ величіи своего таланта. Онъ имѣлъ недостатокъ сердцемъ принимать всѣ впечатлѣнія, и не любилъ подвергать ихъ оцѣнѣ холоднаго разсудка. Имъ восхищались въ Россіи, его хвалили за границу, онъ самъ находилъ произведенія свои прекрасными: все это дѣлало его вполнѣ счастливымъ; ему и на умъ не приходило, что въ сущности его произведенія, можетъ быть, вовсе не такъ гениальны, какъ о нихъ говорятъ.

Сумароковъ писалъ одну театральную піесу за другою, и сочинилъ даже комедію: «*Трисотиниусъ*», въ которой старлся выставить, въ каррикатурномъ видѣ, педанта-ученаго,

долженствовавшаго представлять въ каррикатурѣ Тредьяковскаго, творца «Телемахиды» и прочихъ произведеній, чтеніемъ которыхъ императрица Екатерина II наказывала тѣхъ почитателей Эрмитажа, кто, забывая запрещеніе, говорилъ тамъ пофранцузски. Сумароковскія піесы продолжали разыгрывать при дворѣ кадеты; постояннаго же русскаго театра, съ правильно организованною труппою все еще не было. Вскорѣ, на счастье Сумарокова, одновременно съ нимъ, первымъ русскимъ драматургомъ, явился и первый русскій актеръ по призванію — *Федоръ Григорьевичъ Волковъ*. Ярославская труппа Волкова разыграла во дворцѣ *Хорева* прекрасно; его повторили черезъ нѣсколько дней. Потомъ та же труппа дала еще нѣсколько представленій. Послѣ *Синава*, роль котораго исполнялъ Волковъ, императрица Елисавета была такъ тронута, что не могла удержаться отъ слезъ. Она призвала къ себѣ автора, Сумарокова, осыпала его похвалами и подарила ему перстень.

Сумароковъ, разумѣется, былъ чрезвычайно счастливъ. Но не одна награда государыни должна была его радовать: такіе актеры, какъ Волковъ и Дмитревскій, окончательно упрочивали успѣхъ его піесъ. Какъ эти піесы, сами по себѣ, ни нравились публики, но при хорошихъ актеряхъ онѣ много выигрывали. Государыня любила игру кадетъ, но никогда не была такъ тронута *Синавомъ*, какъ при игрѣ новыхъ, болѣе искусныхъ актеровъ.

30-го августа 1756 года, сенатъ получилъ указъ императрицы *объ учрежденіи постояннаго російскаго театра*, съ наименованіемъ его *императорскимъ*. Ему предназначено было помѣщаться въ головнинскомъ дворцѣ, на Васильевскомъ островѣ, тамъ, гдѣ въ настоящее время находится академія художествъ. Вскорѣ онъ былъ перенесенъ къ Лѣтнему саду, близъ котораго и донинѣ существуетъ мостъ, отъ того носящій названіе Театральнаго. На этомъ мѣстѣ теперь огромный домъ г-жи Офросимовой. На содержаніе театра было ассигновано 5,000 р. въ годъ, а директоромъ его назначенъ

былъ бригадиръ Александръ Петровичъ Сумароковъ. Жалованья ему, сверхъ его бригадирскаго оклада, велѣно было выдавать 1,000 руб.

Люди, съ такою любовію къ театру, какъ Сумароковъ и Волковъ, должны были много способствовать его улучшенію. Они не жалѣли своихъ трудовъ, и, помогая другъ другу въ одномъ и томъ же дѣлѣ, очень подружились. Между тѣмъ какъ Сумароковъ заботился объ усовершенствованіи петербургскаго театра, Волковъ былъ посланъ съ тою же цѣлію въ Москву и успѣшно велъ свое дѣло. Вскорѣ изъ московскаго театра лучшіе артисты перешли на петербургскую сцену. Сумароковъ продолжалъ писать для сцены оперы, балеты, комедіи и даже написалъ драму въ одномъ дѣйствіи: *Пустынникъ*.

Александръ Петровичъ Сумароковъ, сверхъ своихъ занятій по театру, издавалъ журналъ: *Трудолюбивая Пчела*, и большую часть оригинальныхъ статей для него писалъ самъ, потому что хорошихъ сотрудниковъ въ то время было очень трудно найти. Статьи эти были преимущественно критическаго содержанія. Авторъ рѣзко, не стѣсняясь ничѣмъ, высказывалъ то, что лежало у него на душѣ. Всѣ недостатки современнаго общества, всѣ язвы, таившіяся въ немъ, бичевалъ онъ безпощадно своею безпощадною рѣчью. Много правды печаталось на страницахъ его журнала; но зато, по раздражительности своего характера, онъ часто говорилъ личности, нападалъ несправедливо, а нападки его были всегда довольно сильны. Неправый гнѣвъ, по добротѣ души его, скоро въ немъ проходилъ, а печатныя строки оставались. Его даже любили подразнить нарочно, и тѣмъ вызвать на новыя сердитыя выходки. Онъ этого не замѣчалъ и пріобрѣталъ себѣ враговъ, которые готовы были надѣлать ему всевозможныя непріятности. Правда, въ числѣ этихъ враговъ, было много людей, вполне заслуживавшихъ презрѣнія благороднаго человѣка. Александръ Петровичъ, гдѣ и когда только могъ, возставалъ противъ всякой неправды. Особенно доставалось отъ него подьячимъ. Еще въ корпусѣ

онъ получилъ къ нимъ большое отвращеніе: ему часто приходилось имѣть съ ними дѣло, и видѣть ихъ корыстолюбіе и вопіющую несправедливость.

Таково было впечатлѣніе, произведенное подъячими на Сумарокова еще въ дѣтствѣ, и съ тѣхъ поръ, во всѣхъ своихъ комедіяхъ, во всѣхъ своихъ критикахъ, онъ неотступно, болѣе, чѣмъ на кого либо, нападалъ на подъячихъ, въ общемъ смыслѣ этого слова, затрогивая не только мелкихъ писцовъ и чиновниковъ, но и большихъ безчестныхъ господъ. Онъ никогда не хотѣлъ бояться, и никогда не хотѣлъ щадить. Въ одной изъ своихъ статей, Сумароковъ приводитъ притчу о томъ, какъ обнаженная Истина просила Юпитера поразить беззаконниковъ-подъячихъ. Юпитеръ ударилъ по нимъ громомъ: много погибло душъ неправедныхъ. Жены подъячихъ подняли страшный плачь; Истина возрадовалась, но не надолго. Мелкихъ беззаконниковъ громъ поразилъ, а крупные, сильные подъячіе продолжали спокойно мучить неправдою людей, и наслаждаться всѣми благами жизни.

Истина снова обратилась къ Юпитеру. «Что ты сдѣлалъ?» говорила она ему, малое зло уничтожилъ, большое оставилъ». Юпитеръ наивно отвѣчалъ, что онъ никакъ не думалъ, чтобы такіе большіе господа были тоже нечисты душою. Сумароковъ не подражалъ этому Юпитеру. Хотя журналъ его скоро прекратился, но онъ не переставалъ писать свои обличительныя статьи, и вооружать противъ себя большинство общества.

Изъ числа остроумныхъ и чисто обличительныхъ статей Сумарокова, осталось намъ одно стихотвореніе, подъ названіемъ «Синица». Языкъ его очень устарѣлъ. Вотъ оно:

«Прилетѣла на берегъ синица  
Изъ-за полночнаго моря,  
Изъ-за холоднаго океана.  
Спрашивали гостейку пріѣзжу,  
За моремъ какіе обряды:  
Воеводы за моремъ правдивы;

Дьякъ тамъ цузами не ѳздить,  
Дьячиха алмазовъ не носятъ,  
Дьячата гостинцевъ не просятъ,  
За носъ тамъ писцы судей не водятъ.  
Сахаръ подьячій покупаетъ;  
За моремъ подьячїе честны,  
За моремъ въ подрядахъ не крадутъ;  
За моремъ почетные люди  
Шеи назадъ не загиваютъ;  
Денегъ за моремъ въ землю не прячутъ.  
Деревень на карты тамъ не ставятъ,  
Людьми тамъ не торгуютъ.  
За моремъ старухи не брюзгливы;  
Добрыхъ людей не злословятъ;  
За моремъ бездѣльники не входятъ  
Въ дома, гдѣ добрые люди.  
За моремъ люди не морочатъ,  
Изъ избы сору не выносятъ;  
За моремъ ума не пропиваютъ,  
Сильные безсильныхъ не давятъ,  
Предъ большихъ бояръ лампадъ не ставятъ  
Учатся за моремъ и дѣвки;  
За моремъ того не болтаютъ:  
Дѣвушка-де разума не надо;  
Надобно ей личико да варядъ,  
Надобны румяны да бѣлилы;  
Тамъ языкъ отцовскій не презрѣнье;  
Тамъ не страпствуютъ затѣмъ по свѣту,  
Чтобы, воздухомъ чужимъ нектати  
Головы пустыя набивая,  
Пузыремъ надутымъ возвращаться.  
Вздора тамъ ораторы не мелютъ;  
Стихотворцы вирши не кропаютъ;  
Мысли у писателей тамъ ясны,  
Рѣчи у писателей согласны;  
За моремъ невѣжда не пишетъ,  
Критики злобой не дышетъ;  
Гордости за моремъ не терпятъ,  
Лести за моремъ не слышно,

Подлости за моремъ не видно,  
За моремъ нѣтъ тунеядцевъ:  
Всѣ люди за моремъ трудятся,  
Всѣ тамъ отечеству служатъ,  
Лучше работающій тамъ крестьянинъ,  
Нежели пышный тунеядецъ».

Сумароковъ не только своими литературными нападеніями нажилъ себѣ много враговъ, но онъ былъ очень непріятенъ въ обращеніи, не умѣя владѣть собою. Хотѣлось ли ему надъ чѣмъ подсмѣяться, — онъ не скупился на насмѣшки, часто самыя ѣдкия и злыя, даже если въ душѣ не чувствовалъ ни малѣйшей злобы. Такъ, одному Чертову, хлопотавшему для него по какому-то тяжелому дѣлу, съ которымъ онъ былъ въ очень хорошихъ отношеніяхъ, но фамилія котораго вдругъ ему показалась очень странною, онъ такъ окончилъ письмо: «Съ истиннымъ почтеніемъ имѣю честь быть не вашимъ покорнѣйшимъ слугою, потому что Чертовымъ слугою быть не намѣренъ, а просто слуга Божій Александръ Сумароковъ».

Въ какой-то праздникъ, въ Москвѣ, онъ пріѣхалъ къ губернатору Архарову съ поздравленіемъ, и привезъ съ собою нѣсколько экземпляровъ только что отпечатанныхъ своихъ стиховъ. Поздоровавшись съ хозяиномъ и гостями, онъ всѣмъ присутствующимъ роздалъ по экземпляру привезенныхъ имъ стиховъ, и остановился въ недоумѣніи предъ однимъ незнакомымъ для него лицомъ. Архаровъ сказалъ ему, что это полицейскій чиновникъ, другъ его дома, и очень хорошій человекъ. Сумароковъ и ему любезно предложилъ свои стихи. Завязался общій разговоръ. Сумароковъ сталъ съ кѣмъ-то спорить; новый знакомецъ, полицейскій чиновникъ, вздумалъ ему противорѣчить. Александръ Петровичъ началъ на то сердиться, и до того разгорячился, что озлобился противъ бѣднаго чиновника, вскочилъ со стула, подбѣжалъ къ нему, и сказалъ: «Прошу покорнѣйше отдать мнѣ мои стихи: этотъ

подароуж не по вамъ, а завтра для праздника я вамъ пришлю возъ сѣна или куль муки».

Подобныя выходы его были еще рѣзче, когда что либо затрогивало одну изъ его слабыхъ струнъ — ненависть къ подьячимъ, взяткамъ, разнаго рода злоупотребленіямъ, или уязвлялась его авторское самолюбіе. Онъ, напримѣръ, не могъ хладнокровно слышать, если въ какомъ нибудь домѣ людей называли «хамовымъ отродьемъ». Стоило услышать ему эти два слова, онъ краснѣлъ, и, забывая, въ досадѣ, проститься съ хозяевами, убѣгалъ изъ ихъ дома.

Однажды онъ былъ на подмосковной дачѣ Волынскаго. Былъ Троицынъ день; простой народъ веселился, гулялъ и пѣлъ русскія пѣсни. Полиція вздумала вмѣшаться, и, ни съ того, ни съ сего, унимать развеселившихся мужиковъ, грубо ихъ расталкивал. Сумарокова это раздосадовало: онъ всво- чилъ на какую-то скамью и закричалъ, что было силы, полицейскимъ: — «Наша матушка-царица бережетъ народъ, а вы что тутъ вздумали озорничать!» Пріятели, бывшіе съ нимъ, съ трудомъ могли его увести. Онъ долго не могъ успокоиться и все твердилъ: «Да развѣ можно позволять полиціи такъ расталкивать народъ! Вѣдь это такіе же люди, какъ и мы».

Какъ-то, послѣ концерта во дворцѣ (это уже было въ царствованіе Екатерины II), онъ пришелъ на половину наследника престола, великаго князя Павла Петровича, и разговаривалъ съ его воспитателемъ, графомъ Панинымъ, о Бецкомъ и о близкомъ Бецкому человѣкѣ Кювильи. Бецкій былъ извѣстный вельможа царствованія Екатерины, а Кювильи былъ его любимцемъ; тѣмъ не менѣе, Сумароковъ не затруднился сказать:

— «Это такая бестія, этотъ Кювильи, и такая невѣжа, что другаго въ Россіи не найдется.» — «Какъ же это такъ, отвѣчалъ Панинъ, онъ очень много помогаетъ Бецкому въ дѣлѣ воспитанія русскаго юношества.» — «Да въ чемъ помогаетъ-то! Вы, графъ, вѣдь по одной наружности судить не будете. А по»

моему такъ Кювильи отсюда надо метлами выгнать, а Бецкаго отдать подъ присмотръ дѣльнаго человѣка, да опредѣлить на его мѣсто смотрѣть, чтобъ мальчишки были хорошо одѣты и комнаты у нихъ были вычищены. Еще, прибавилъ онъ, есть у Бецкаго Таубертъ, этотъ все ему говорить, что въ училищѣ надо дѣтей воспитывать на языкѣ нѣмецкомъ, а Бецкій говоритъ: надо на французскомъ воспитывать. А помоему и Бецкій и Таубертъ оба дураки, потому что русскихъ дѣтей надо на русскомъ языкѣ и воспитывать и учить.»

Подобныя выходки доказываютъ, что Александръ Петровичъ не боялся сильныхъ міра сего.

Послѣ перваго представленія новой трагедіи Сумарокова, *Дмитрій Самозванецъ*, одна московская барыня, должно быть, очень мало понимавшая въ дѣлѣ искусства, прямо изъ театра пріѣхала къ сестрѣ поэта и, усѣвшись на диванъ, съ восторгомъ стала рассказывать ей про успѣхъ новой пьесы ея брата.

— «Ну, ужъ какъ же весело было, матушка, вашему братцу, говорила она. — Въ театрѣ такъ-то хлопали, что, мнѣ кажется, всѣ руки пообколотили себѣ.»

Въ это самое время въ комнату вошелъ Сумароковъ. Лицо у него покраснѣлось, такъ и сіяло отъ удовольствія; рыжеватый парикъ свалился на одинъ бокъ; испанскимъ табакомъ, который онъ постоянно нюхалъ, были щедро засыпаны бѣлыя кружевныя манжеты и камзолъ. Анна Петровна, сестра его, поспѣшила ему сообщить, что вотъ ея гостыя въ восторгѣ отъ новой его трагедіи. Ему это, разумѣется, было очень пріятно. Онъ съ веселою улыбкою подсѣлъ къ гостѣ, и спросилъ ее: — «Что же, сударыня, вамъ больше всего понравилось?» И ждетъ услышать, чтонибудь очень пріятное. — «А какъ стали плясать, мой батюшка, такъ ужъ лучше чему же и быть!» наивно отвѣчала она. Такого отвѣта Сумароковъ никакъ не ожидалъ. Онъ вскочилъ со стула, толкнулъ его такъ, что тотъ едва не упалъ, и закричалъ сестрѣ, не стѣсняясь присутствіемъ



озадаченной гостью, и чуть ли не показывая на нее пальцем: — «Охота тебѣ, сестра, принимать къ себѣ такихъ дурь!» Потомъ схватилъ шляпу, и уѣхалъ, въ великомъ удивленію гостью, которая думала угодить ему.

Авторское самолюбіе его было невѣроятно щекотливо. Успѣхи его драматическихъ произведеній, переводъ на французскій языкъ его *Синава*, лестная критика Лагарпа, безпрестанные комплименты Вольтера, съ которымъ онъ былъ въ перепискѣ, приглашеніе лейпцигскаго ученаго общества быть его членомъ, — все это до того вскружило ему голову, что онъ не зналъ цѣны своему таланту, и недосыгаемо высоко ставилъ свои заслуги отечеству.

Онъ писалъ императрицѣ Екаторинѣ, что только отъ того и не хочетъ еще умереть, что не успѣлъ, къ чести своего отечества, сдѣлать второе изданіе своихъ сочиненій. Когда, подъ конецъ своей жизни, онъ захотѣлъ путешествовать по Европѣ, а денегъ у него не было, то, разсчитавъ, что на эту поѣздку ему нужно было 12,000 руб., задумалъ просить ихъ у правительства, а долгъ, по возвращеніи, хотѣлъ уплатить деньгами, вырученными продажею описанія своего путешествія. «Ежели бы, писалъ онъ по этому случаю, такимъ перомъ, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило Россіи, ежели бы она и триста тысячъ рублей на это безвозвратно употребила.»

Однако, всѣ эти странности, и безграничное смѣшное самолюбіе, дѣлая его человѣкомъ крайне непріятнымъ, даже неслыханнымъ, не лишали характеръ его благородства, и не мѣшали ему быть чрезвычайнымъ добрякомъ. Нечего уже и говорить о томъ, сколько истинно глубокой скорби причиняла ему потеря любимыхъ имъ людей, какъ онъ жалѣлъ, о Волковѣ и Троепольской, лучшей актрисѣ русскаго театра. Вообще Александръ Петровичъ былъ чрезвычайно чувствителенъ. Однажды, ѣдучи въ каретѣ, онъ увидѣлъ нищаго въ самой жалкой одеждѣ, съ лицомъ, выражавшимъ глубочайшее страданіе.

Александръ Петровичъ велѣлъ вучеру остановиться, быстро вскочилъ изъ кареты и хотѣлъ дать нищему денегъ; но денегъ съ нимъ не оказалось: тогда онъ стащилъ съ себя дорогой кафтанъ, сорвалъ кружевные манжеты, отдалъ бѣдняку все это, и поспѣшно вскочилъ въ карету, не желая выслушивать благодарности.

Крашенинниковъ, одинъ изъ ученѣйшихъ русскихъ людей XVII — XVIII вѣка, совершившій путешествіе въ Камчатку, и, въ замѣчательномъ сочиненіи (переведенномъ въ послѣдствіи на нѣкоторые иностранные языки), прекрасно описавшій посѣщенные имъ страны, умеръ въ самой ужасной бѣдности. Дѣти его, въ полномъ смыслѣ слова, остались безъ куска хлѣба и безъ всякаго пріюта. Имъ оставалось одно средство къ существованію — просить милостыню. Всѣ позабыли о нихъ, и никто не думалъ оказать помощь этимъ несчастнымъ страдалцамъ. Одна теплая душа Сумарокова отозвалась на ихъ страданіе: въ своей комедіи *Опекунъ*, онъ вставилъ въ рѣчь одного изъ дѣйствующихъ лицъ слѣдующія слова:

.... «А честнаго то человѣка дѣтки пришли милостыню просить, которыхъ отецъ ѣздилъ до китайчатова царства и былъ въ камчатномъ государствѣ и объ этомъ государствѣ написалъ повѣсть; однако, сказку то его читаютъ, а дѣтки то его ходятъ по міру, а у дочекъ то его крашенинныя бострохи, да и тѣ въ заплаткахъ, даромъ то, что отецъ ихъ въ камчатномъ былъ государствѣ, и для того то, что онѣ въ крашенинномъ платьѣ таскаются, называютъ ихъ *Крашенинниками*.»

Напоминая о нихъ своими сочиненіями, онъ хлопоталъ и о пособіи имъ. Слова Чужехвата, стихи Сумарокова, напомнили о жалкомъ существованіи дѣтей полезнаго человѣка, а хлопоты его достигли своей цѣли: государыня улучшила положеніе бѣдныхъ сиротъ.

Но эта пріятная сторона его характера легко ускользала отъ вниманія современниковъ, видѣвшихъ въ немъ человѣка

безпокойнаго, неуживчиваго и смѣшнаго. Кто на него не сердился, тотъ не могъ надъ нимъ не посмѣяться. Невозможно было удержаться отъ смѣха, видя передъ собою высокаго, стройнаго мужчину, довольно пріятной наружности, всегда щегольски разодѣтаго, постоянно суетящагося, готоваго изъ-за всякой бездѣлицы разсѣрдиться до невозможности. Въ обоихъ карманахъ камзола у него лежалъ нюхательный табакъ: онъ, то изъ одного, то изъ другаго, вынималъ его горстями, поспѣшно нюхалъ, и обильно посыпалъ имъ свой щегольскій нарядъ и особенно тонкія кружевные манжеты. Трудно было удержаться отъ смѣха, видя, какъ этотъ безпокойный чловѣкъ, почти безъ всякой причины, выходилъ изъ себя, гонялся по деревнѣ за своимъ камердинеромъ со шпагою въ рукахъ, и съ разбѣгу попадалъ въ грязный прудъ. Иногда онъ забавно бѣсился на мухъ, надоѣдавшихъ ему, топалъ на нихъ ногами, кричалъ, и съ наслажденіемъ терзалъ несчастныхъ насѣкомыхъ, попадавшихся ему въ руки. Смѣшно было слушать его напыщенное самовосхваленіе. Кто не желалъ ему зла, тотъ не могъ надъ нимъ не смѣяться, и никто не мѣшалъ его врагамъ вредить ему, гдѣ только можно было. Но онъ не боялся борьбы; нѣкоторыя связи и расположеніе къ нему императрицы Екатерины поддерживали его, хотя еще и при Елисаветѣ Петровнѣ враги его успѣли уже сильно уязвить его чувствительное самолюбіе. Вотъ какъ это было:

Вступивъ въ управленіе театромъ, онъ желалъ возвысить званіе актеровъ, и испросилъ для нихъ, а также и для лицъ, служащихъ при театрѣ, разрѣшеніе носить шпаги — знавъ, который отчасти ставилъ ихъ наравнѣ съ дворянами. вмѣстѣ съ актерами надѣли шпаги и копійсты театральной канцеляріи, которыхъ самъ директоръ (Сумароковъ) училъ писать, и которыхъ онъ очень любилъ за ихъ добросовѣстность и трудолюбіе. Недоброжелатели Сумарокова подняли дѣло о шпагахъ копійстовъ, говоря, что имъ нельзя позволить носить ихъ. Напрасно покровитель копійстовъ защищалъ ихъ, утверж-

дая, что они ничѣмъ не хуже подъячихъ: у копистовъ шпаги отобрали. Сумароковъ былъ сильно и разсерженъ и оскорбленъ, а ко всякаго рода оскорбленіямъ онъ, по своему характеру, былъ очень чувствителенъ. Онъ даже далъ себѣ слово не писать больше для театра, но слова своего не сдержалъ: любовь къ театру не давала ему покоя.

Со смертію императрицы Елисаветы Петровны, онъ было сильно приунылъ, не зная, что ожидаетъ его при новомъ государѣ; но Петръ III и Екатерина благоволили къ нему, и, оправившись отъ перваго недоумѣнія, онъ позволялъ себѣ, даже не разъ, въ своихъ сочиненіяхъ, подавать полезные совѣты Екатеринѣ.

«Какъ членъ общества — говорилъ онъ, между прочимъ, обращаясь къ ней — я желаю, чтобы законы исправлены были: на что нѣтъ закона или не ясенъ законъ, на то сочиненъ бы былъ новый, ясный, положительный.» Государыня, впрочемъ, не сердилась на него за подобные совѣты. Несмотря, однако, на ея расположеніе къ нему, онъ былъ отрѣшенъ отъ должности директора театровъ, вѣроятно, по интригамъ своихъ многочисленныхъ враговъ, борьба съ которыми уже начинала его тяготить. Онъ сталъ ослабѣвать, а они смѣлѣе дѣйствовали противъ него.

Сумароковъ въ это время жилъ въ Москвѣ. Вольный московскій театръ содержалъ тогда италіянецъ Бельмонти. Около 1770 года, въ Россіи появилась драма Бомарше, автора *Свадьбы Фигаро* и *Севильскаго Цирюльника* — *Евгенія*, ни мало не похожая на піесы классической школы. Въ Парижѣ она единственно по этой причинѣ не имѣла ни какаго успѣха. Въ Россіи нашелся молодой человекъ, Пушкинъ, принадлежавшій къ высшему московскому обществу, который перевелъ ее на русскій языкъ, и хотѣлъ поставить на сцену. Петербургскій театръ *Евгеніи* не принялъ; зато Бельмонти поставилъ ее на московскомъ, и остался очень доволенъ, потому что она была принята превосходно и доставила ему прекрасный сборъ. Су-

марковъ, видя рѣдкій успѣхъ этой драмы, при ея незаконномъ, т. е. не классическомъ характерѣ, возмущился, сталъ на нее нападать, и написалъ Вольтеру письмо, въ которомъ выражалъ свое неудовольствіе на новую драму, и спрашивалъ объ его мнѣніи. Лъстивый фернейскій анахоретъ-философъ отвѣчалъ ему самымъ сладкимъ письмомъ, въ которомъ спѣшилъ исполнѣ съ нимъ во всемъ согласиться. Тогда, подкрѣпленный словами Вольтера, Сумароковъ рѣшительно возсталъ противъ *Евгеніи*, и бранилъ Бомарше на чѣмъ свѣтъ стоитъ. Но его не слушали: Бельмонти по прежнему давалъ піесу на своемъ театрѣ; московская публика по прежнему наполняла театръ во время этихъ спектаклей, и по прежнему усердно ей рукоплескала. Тогда Александръ Петровичъ написалъ не только рѣзкую, даже дерзкую статью, и противъ драмы, и противъ актеровъ, и противъ публики, умышленно называя переводчика *подъячмъ*: худшаго названія онъ не могъ придумать. «Ввелся—писалъ онъ—у насъ новый и пакостный родъ слезныхъ драмъ. Такой скаредный вкусъ не приличенъ въу великой Екатерины... *Евгенія*, не смѣя явиться въ Петербургъ, вползла въ Москву, и какъ она скаредно ни переведена какимъ-то *подъячмъ*, какъ ее скверно ни играютъ, а имѣетъ успѣхъ. Подъячій сталъ судьей Парнаса и утвердителемъ вкуса московской публики! Конечно, скоро будетъ преставленіе свѣта! Но неужели Москва скорѣе повѣритъ подъячему, нежели г. Вольтеру и мнѣ?»

А Москва, дѣйствительно, и на этотъ разъ не повѣрила ни ему, ни Вольтеру. Все московское общество, всѣ актеры и содержатель театра, Бельмонти, до того были раздражены подобными выходками Сумарокова, что рѣшились хорошенько проучить его и порядкомъ отомстить за обиды. Чувствуя приближеніе грозы, онъ заключилъ съ Бельмонти письменный договоръ, по которому итальянецъ обязывался: ни подъ какимъ видомъ не давать на своемъ театрѣ его трагедій, обязуясь за нарушеніе договора поплатиться всѣми собран-

ными за спектакль деньгами. Но это обязательство ни мало не помѣшало недоброжелателямъ Сумарокова привести въ исполненіе свои планы. Они просили Салтыкова, московскаго губернатора, приказать Бельмонти представить «Синава и Трувора», потому что, какъ говорили они, это было желаніемъ всей Москвы. Салтыковъ, ничего не подозрѣвавшій и привыкшій дѣйствовать по военному, отдалъ Бельмонти такой приказъ. Бельмонти былъ, разумѣется, очень радъ; обиженные актеры тоже; они рѣшились исказить свою игрою трагедію, на сколько это было возможно. Сумароковъ, прочитавъ афишу, въ которой было объявлено представленіе «Синава», на театрѣ Бельмонти, пришелъ въ бѣшенство и написалъ Бельмонти письмо; но это не помогло: въ назначенный вечеръ театръ наполнился враждебною Сумарокову публикою; занавѣсъ поднялась; едва актеры успѣли нарочно дурно выговорить нѣсколько словъ, раздались свистки, крики, стукъ ногами, ругательства, и все это продолжалось очень долго. Никто не слушалъ трагедіи. Публика старалась исполнить все то, въ чемъ ее упрекалъ Сумароковъ. Мужчины ходили между кресель, заходили въ ложи, разговаривали, громко смѣялись, хлопали дверьми, грызли у самаго орchestra орѣхи, и шумѣли какъ бы на площади съ вучерами. Извѣстіе объ этомъ ужасномъ фіаско потрясло все существо несчастнаго Сумарокова. Онъ приходилъ въ бѣшенство; страшная невыносимая тоска и отчаяніе овладѣвали его душою. Не зная, что дѣлать, онъ ходилъ по комнатѣ, плакалъ, перечитывалъ послѣднее письмо Вольтера о драмѣ Бомарше, и наконецъ сѣлъ писать стихи, въ которыхъ хотѣлъ излить свое горе. Вскорѣ онъ написалъ императрицѣ жалобу на Салтыкова, а она, не зная, зачѣмъ московская публика непременно желала видѣть «Синава», отвѣчала ему слѣдующимъ письмомъ:

«Господинъ Сумароковъ! чрезвычайно удивило меня письмо ваше, отъ 20-го января, а еще болѣе письмо отъ перваго февраля. Какъ мнѣ кажется, и въ томъ и другомъ заключаются

жалобы на Бельмонти, который однако только исполнилъ повелѣніе графа Салтыкова. А фельдмаршалъ только желалъ видѣть представленіе одной изъ вашихъ трагедій. Это дѣлаетъ вамъ честь. Вамъ бы слѣдовало сообразоваться съ желаніемъ перваго правительственнаго лица въ Москвѣ; но если ему заблагоразсудилось приказать, чтобы эта трагедія была играна, то надлежало исполнить его волю безпревословно. Я думаю, что вы лучше всѣхъ знаете, какого уваженія достойны люди, служившіе со славою и убѣленные сѣдинами. Вотъ почему совѣтую вамъ избѣгать впредь подобныхъ споровъ. Такимъ образомъ вы сохраните спокойствіе души, необходимое для произведеній вашего пера; а мнѣ всегда пріятнѣе будетъ видѣть представленіе страстей въ вашихъ драмахъ, нежели въ вашихъ письмахъ.

«Вамъ благосклонная *Екатерина.*»

Письмо это было перетолковано въ Москвѣ въ самую неблагоприятную для Сумарокова сторону, а онъ написалъ эпиграмму на толки враждебнаго ему общества, не понявшаго словъ Екатерины. Вотъ эта эпиграмма:

На мѣсто соловьевъ кукушка здѣсь кукуетъ  
И гнѣвомъ милости Діаннины толкуетъ.  
Хотя разносится кукушечья молва,  
Кукушкамъ ли понять богинины слова?  
Въ дубровѣ сей поютъ безмозглыя кукушки,  
Которыхъ пѣсни всѣ не стоятъ ни полушки.  
Лишь только закричитъ кукушка на суку,  
Другія всѣ за ней кричатъ «куку! куку!»

Но и общество, въ свою очередь, въ долгу не оставалось. Случилось такъ, что въ Москву въ это время пріѣхалъ Гавріиль Романовичъ Державинъ, тогда еще унтеръ-офицеръ. Его попросили написать эпиграмму, въ отвѣтъ на кукушку, и онъ написалъ сороку, окончивъ ее такъ:

Сорока что совреть,  
То все слыветъ сорочій бредъ...

и, подписавъ ее буквами Г. Д., пустилъ ходить по Москвѣ. Сумароковъ отыскивалъ автора этой эпиграммы, напалъ было на какого то несчастнаго *Гавріила Дружержукова*, который насилиу отъ него отдѣлался, и никакъ не думалъ, что это былъ Державинъ, съ которымъ онъ встрѣчался очень дружелюбно. Московское общество подсмѣивалось надъ его ошибкою, и старалось поддразнивать его еще болѣе.

Вскорѣ появился Фонъ-Визинъ, съ своимъ «Бригадиромъ», и, несмотря на полное совпаденіе характера своихъ произведеній съ критическимъ и сатирическимъ направлениемъ Сумарокова, не упустилъ случая посмѣшить своихъ знакомыхъ, передразнивая его съ большимъ искусствомъ. Фонъ-Визина вездѣ принимали радушно, съ удовольствіемъ слушали его «Бригадира», и чуть ли не съ большимъ удовольствіемъ глядѣли на каррикатурное представленіе и безъ того смѣшной личности отживающаго писателя. Скоро Бельмонти сдалъ театръ князю Урусову, который еще менѣе италіянца церемонился съ Александромъ Петровичемъ Сумароковымъ. Онъ, безъ его позволенія, давалъ его піесы, часто въ искаженномъ видѣ, не думая даже о вознагражденіи автора; мало того: онъ отнял у него постоянную даровую ложу въ театрѣ, и грозилъ даже не пускать его въ партеръ. Кто-то сталъ въ это время перепечатывать сочиненія Сумарокова безъ его вѣдома, искажая ихъ, сколько было возможно, для того, чтобъ досадить ему. Семейныя же непріятности, давно тяготѣвшія надъ нимъ, какъ нарочно, въ это время усилились.

Былъ у него зять, идеаль порочнаго человѣка, обладавшій однимъ изъ тѣхъ характеровъ, существованію которыхъ почти невозможно вѣрить: такъ они безобразны. Лъстивый до подлости передъ лицами, въ которыхъ нуждался, онъ былъ до крайности грубъ съ остальными, и положительно жестокъ съ своими вѣрными людьми, которыхъ иначе не называлъ, какъ своими злодѣями, ничѣмъ ихъ не кормилъ, не хотѣлъ одѣвать; а между тѣмъ посылалъ ихъ красть дрова для себя



на рѣкѣ, и за всякую бездѣлицу готовъ былъ ихъ наказывать самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. У него впрочемъ было только четыре наказанія: четками, подѣ бока кулаками, кошками и въ вѣчныя кандалы. Для денегъ онъ радъ былъ сдѣлать всевозможныя подлости. Деньги, самымъ близкимъ своимъ родственникамъ, онъ давалъ только за большіе проценты, и каждому должнику своему, приходившему къ нему, предлагалъ класть по два рубля въ кружку съ прорѣзью, говоря, что онъ это собираетъ для своихъ людей, — въ сущности же вопилъ для себя. Онъ былъ величайшимъ ханжею, носилъ всегда четки, по которымъ молился, и которыми билъ слугъ. Сумароковъ не могъ удержаться, чтобы не выставить этого негодя въ комедіи. Когда онъ писалъ *Опекуна*, то Чужехватова, одного изъ лицъ этой комедіи, скопировалъ съ зятя. Послѣдній чрезвычайно на него озлобился, и сумѣлъ отомстить. По смерти отца Сумарокова, онъ поссорилъ Александра Петровича съ матерью, которая даже видѣтъ сына не хотѣла, и, подружившись съ сестрою писателя, которая тоже, кажется, не отличалась особенно смиреннымъ характеромъ, устроилъ такъ, что ему изъ наслѣдства досталась самая ничтожная часть, да и ту онъ рисковалъ потерять, будучи безъ своего вѣдома замѣшанъ добрымъ этимъ родственникомъ въ одно противозаконное дѣло. Сверхъ того, зять съ сестрою подали на него просьбу, въ которой просили даже о наказаніи его публично, утверждая, что онъ написалъ пасквиль на мать, и прибилъ его на заборѣ ея дома. Пасквиль, дѣйствительно, существовалъ; но онъ былъ написанъ не Александромъ Петровичемъ, раздражительнымъ, безпокойнымъ, но благороднымъ, и неспособнымъ на такой низкій поступокъ. Не видя исхода изъ этого тяжелаго положенія, Сумароковъ написалъ длинную просьбу государынѣ, въ которой изложилъ всѣ свои обстоятельства, безобразный характеръ своего зятя, и просилъ императрицу поручить разобрать дѣло не по крючкамъ, а по совѣсти. Эти семейныя потрясенія сильно его ослабили,

а дома для него, кажется, тоже было мало радости. Потерявъ свою первую жену (бывшую фрейлину императрицы Екатерины, когда она еще была великою княгиней), онъ женился чуть ли не на своей кухаркѣ. Для человѣка развитаго, образованнаго и умнаго, такая подруга жизни была въ тягость.

Прихоть одного богатаго барина, извѣстнаго эксцентрика Демидова, стала грозить ему окончательнымъ раззореніемъ. Демидовъ далъ ему подъ залогъ дома въ Москвѣ, въ которомъ Александръ Петровичъ постоянно жилъ, 2,000 рублей, и, какъ богачъ, извѣстный своею щедростію и прихотливою расточительностію, ни мало не думалъ о деньгахъ, данныхъ имъ крайне нуждавшемуся въ нихъ писателю. Но Демидовъ, какъ извѣстно, былъ прихотливъ, и часто прихоти его доходили до уродства. Неизвѣстно для чего вздумалось ему подать вексель Сумарокова ко взыскаіію въ магистратъ. Чиновники, подьячіе, которыхъ такъ ожесточенно преслѣдовалъ Александръ Петровичъ, рады были въ свою очередь преслѣдовать его, и напали на него. Денегъ у него не было: описали его единственный домъ; домъ стоилъ около 16,000 р.; его оцѣнили въ 941 руб. съ полупекою. Чтобъ дополнить сумму, описали остальное его имущество: рылись даже въ его бумагахъ, и самыя вниги его отдали подъ присмотръ какаго то канцеляриста. Напрасно Сумароковъ отдавалъ въ уплату долга драгоценнѣйшія вещи свои: двѣ табаверки, одну подаренную ему великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ, а другую подаренную Разумовскимъ, который самъ получилъ ее отъ Елисаветы Петровны; напрасно къ этимъ вещамъ, съ избыткомъ покрывавшимъ демидовскій долгъ, присоединялъ другія дорогія вещи: ихъ оцѣнили за безцѣнокъ, а домъ назначили въ продажу.

Сумароковъ рѣшительно упалъ духомъ, и уже не имѣлъ силы возстать. Жизнь его казалась ему такъ мрачна и душна, что онъ, желая забыть горе, и ни въ чемъ иномъ не видя исхода, принялся къ несчастію за чарку. Страсть къ пьянству въ

немъ развилась быстро. Государыня просила его воздержаться, и взяла съ него слово бросить вино. Онъ нѣсколько времени вѣрпился, но однажды, придя къ одному изъ родныхъ своихъ и увидя на окнѣ у него бутылку съ наливкою, соблазнился ея запахомъ. Вспомнилъ онъ, что на душѣ у него темно и тяжело, что водка заставляла его забывать этотъ мракъ и тяжесть душевную, но вспомнилъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что она дѣлала изъ него существо, недостойное имени человека. Подъ вліяніемъ такихъ мыслей, онъ стукнулъ съ досады кулакомъ по бутылкѣ и разбилъ ее. Но это не помѣшало слабохарактерному старику обратиться къ другимъ бутылкамъ, и къ несчастію доходить до крайности.

Одинъ, безъ близкихъ и друзей, умеръ Сумароковъ въ Москвѣ, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1777 года. Никто изъ родныхъ, кромѣ дальнаго родственника Юшкова, не пришелъ отдать ему послѣдняго долга; похоронить его было не на что; денегъ послѣ него не осталось. Московскіе актеры приняли на свой счетъ его погребеніе, и на рукахъ донесли его гробъ до кладбища Донскаго монастыря. Могилы его тамъ теперь уже нельзя отыскать, потому что въ послѣдствіи въ ней погребенъ профессоръ Московскаго университета Щепкинъ.

---

**ДЕНИСЪ ИВАНОВИЧЪ**

**ФОНЪ-ВИЗИНЪ**

(1745 — 1792).

Родъ Фонъ-Визинныхъ происходитъ отъ знаменитыхъ предковъ, бывшихъ въ разныхъ земляхъ владѣтелями городовъ. Одинъ изъ нихъ, баронъ Петръ Фонъ-Визинъ, рыцарь ордена меченосцевъ, взятъ былъ русскими въ плѣнъ, и съ тѣхъ поръ фамилія эта поселилась въ Россіи; въ царствованіе Алексѣя Михайловича, внукъ барона Петра принялъ греко-россійское вѣроисповѣданіе. Во время осады Москвы Владиславомъ, одинъ изъ Фонъ-Визинныхъ (Денисъ), не щадя своей жизни, проявилъ примѣры мужества и самоотверженія, и доказалъ тѣмъ, что онъ былъ уже русскимъ въ душѣ и на дѣлѣ, а не только потому, что родился въ Россіи, или исповѣдывалъ господствующую въ ней вѣру.

Одинъ изъ потомковъ этого Дениса, Иванъ Андреевичъ, былъ человѣкъ добродѣтельный и истинный христіанинъ, ненавидѣлъ лихоимство и, находясь на службѣ въ такихъ мѣстахъ, гдѣ люди наживаются, ни какихъ подарковъ никогда не принималъ. «Государь мой, говорилъ онъ приносителю, сахарная голова не есть резонъ для обвиненія вашего соперника; извольте ее отнести назадъ, а принести законное дока-

зательство вашего права.» Характера онъ былъ вспыльчиваго, но очень кротко обходился со своими людьми. Дурныхъ людей въ домѣ его не было. Несмотря на свою вспыльчивость, Иванъ Андреевичъ никогда ни съ кѣмъ не ссорился. По крайней мѣрѣ, его сынъ не помнилъ никогда ничего подобнаго. Умѣя управлять самимъ собою, Иванъ Андреевичъ искусно управлялъ и своими дѣлами: имѣя не болѣе пятисотъ душъ, живя въ обществѣ съ хорошими дворянами, воспитывая восьмерыхъ дѣтей, онъ умѣлъ постоянно жить безъ долговъ и умереть безъ нихъ; но это все ничего въ сравненіи съ тою жертвою, которую онъ принесъ для своего брата. Братъ его вошелъ въ неоплатные долги, и не было надежды спасти его; но судьба, въ видѣ беззубой семидесятилѣтней старухи, чрезвычайно богатой, вздумавшей выйти замужъ за молодаго и красиваго Ивана Андреевича, улыбнулась задолжавшему молодому человѣку. Старуха эта, еще дѣвица, настоятельно требовала, чтобы Иванъ Андреевичъ женился на ней, обѣщаясь, въ награду за это, выкупить изъ бѣды его брата. Благородный и нѣжно любящій брата, И. А. Фонъ-Визинъ, не пожалѣлъ своей ранней молодости, полной свѣжести и красоты, для спасенія брата соединилъ свою судьбу съ судьбою старухи, и двѣнадцать лѣтъ заботливо пошилъ ея дряхлость, ухаживая за этою женщиною, какъ за матерью, помня только, что она спасла его добраго, честнаго брата.

Добрыя дѣла, конечно, не для того совершаются, чтобъ непременно быть награжденными, такъ или иначе: это значило бы пускать капиталъ добра на проценты, и дѣлать добро изъ разчета, что вовсе не похристіански. Иванъ Андреевичъ чувствовалъ награду за свой подвигъ въ томъ, что онъ спасъ собою брата, человѣка семейнаго, и не помышлялъ ни о какой иной наградѣ отъ провидѣнія. Старуха умерла, оставивъ ему большую часть своего состоянія. Господь наградилъ Фонъ-Визина вторымъ, счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ, супружествомъ. Мать нашего знаменитаго Дениса Ивановича была жена добродѣтельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразум-

ная и домъ ихъ былъ тотъ, отъ котораго, за добродѣтель хозяевъ, благодать Божія никогда не отнималась. Въ этомъ благословенномъ домѣ родился, въ 1745 году, и провелъ самую нѣжную пору своей жизни, Денисъ Ивановичъ. Мать тѣшила его своими ласками, а отецъ, на сколько могъ, самъ способствовалъ развитію его юнаго ума.

Фонъ-Визинъ не помнилъ себя безграмотнымъ, потому что съ четырехъ лѣтъ стали его учить азбукѣ. Едва онъ выучился грамотѣ, какъ отецъ сталъ заставлятъ его читать священное писаніе во время домашней службы, которая отправлялась нерѣдко въ благочестивомъ домѣ Фонъ-Визинныхъ. Чтеніе это, конечно, принесло пользу ребенку. Ему не позволяли читать безъ толку: «Перестань молотъ», говорилъ ему отецъ, когда онъ черезчуръ торопился: «или ты думаешь, что Богу пріятно твое бормотанье.» И ребенокъ съ сознаниемъ переставалъ спѣшить, и начиналъ читать тихо, внятно. Но тѣмъ не менѣе, многое не было доступно его пониманію, и очень вѣроятно, что таковой родъ чтенія скоро опротивѣлъ бы ему, еслибъ заботливый отецъ не подмѣчалъ каждый разъ его недоумѣнія и не объяснялъ всѣхъ мѣстъ, непонятныхъ для мальчика. Такимъ образомъ, онъ одновременно и развивалъ его умъ и пріохочивалъ къ чтенію. Часто, сверхъ того, занималъ онъ своихъ дѣтей разсказами, и разсказы эти дѣйствовали не на одно воображеніе Дениса, не на одинъ его умъ, а дѣйствовали и на чувство.

Изъ собственныхъ «Записокъ» знаменитаго Фонъ-Визина видно, что въ дѣтскомъ возрастѣ чувствительность его была безпримѣрна. Однажды отецъ его, собравъ всѣхъ своихъ дѣтей, сталъ разсказывать имъ исторію Іосифа Прекраснаго. Въ разсказѣ его не было ни какого украшенія; но какъ повѣсть эта, описывающая продажу Іосифа братьями, сама собою весьма трогательна, то на глазахъ маленькаго Дениса очень скоро навернулись слезы, а потомъ началъ онъ рыдать безутѣшно. Іосифъ, проданный своими братьями, растерзалъ

дѣтское сердце, и Денисъ, не имѣвъ возможности остановить рыданія своего, оробѣлъ, думая, что слезы его сочтены будутъ знакомъ его глупости. Отецъ спросилъ его, о чемъ онъ такъ рыдаетъ? «У меня разболѣлся зубъ», отвѣчалъ мальчикъ. Тогда отвели Дениса въ дѣтскую комнату и начали лечить здоровый зубъ. — «Батюшка», сказалъ тогда мальчикъ, «я всклепалъ на себя зубную болѣзнь, а плакалъ я оттого, что мнѣ жаль стало бѣднаго Іосифа». Отецъ похвалилъ его нѣжную чувствительность и хотѣлъ знать, для чего онъ тотчасъ не сказалъ ему правды. — «Я постыдился», отвѣчалъ маленькій Фонъ-Визинъ, «да и побоялся, чтобы вы не перестали рассказывать исторіи.» — «Я ее, конечно, доскажу тебѣ», возразилъ отецъ его. И, дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней онъ сдержалъ свое слово и видѣлъ снова опытъ чувствительности Дениса.

Еще ранѣе этого случая чувство его проявилось очень сильно. Когда его отняли отъ кормилицы, ему было тогда третій годъ, и отецъ съ участіемъ спросилъ его: «Грустно тебѣ, другъ мой?» Тогда малютка очень нелюбезно, но тѣмъ не менѣе энергично, отвѣчалъ, затрепетавъ отъ дѣтскаго гнѣва и огорченія: «А такъ-то грустно, батюшка, что я и тебя и себя теперь же вдавилъ бы въ землю». Это злобное выраженіе чувства не мѣшало однако ни сколько существованію добрыхъ качествъ его сердца, и хотя онъ боялся, чтобы чувствительность его не была принята за глупость, но этого никогда не случалось, тѣмъ болѣе, что умъ его, въ своемъ развитіи, едва ли уступалъ чувству, и прежде его проявлялся въ ребяческихъ хитростяхъ. По крайней мѣрѣ, такъ говоритъ самъ Фонъ-Визинъ. Хитрости эти не всегда однако мальчику удавались. Такъ, между прочимъ, извѣстно, что тетка его часто воила ему, его братьямъ и сестрамъ, игорныя карты для забавы. Онъ очень полюбилъ карты съ красными задками. Множество хитростей употреблялъ маленькій Фонъ-Визинъ, чтобы получить эти милыя карты съ красными задками, но какъ хитрости эти рѣдко удавались, то онъ перешелъ въ уныніе, и,

для полученія желаемого, рѣшился употребить другой способъ, и чистосердечно открыться самой тетушкѣ о причинѣ своей печали. Но и тутъ, по привычкѣ хитрить, не обошелся онъ безъ хитрости: оставшись съ ней вдвоемъ, онъ соорилъ лицо такое печальное и простодушное, что тетушка сама спросила, о чемъ онъ тужить? и плутишка-племянникъ открылся въ своемъ горѣ. Откровенность удалась: тетушка похвалила племянника, и стала привозить ему отдѣльно отъ братьевъ колоду картъ съ красными задками. Мальчикъ пришелъ въ восторгъ и тогда же почувствовалъ, что идти прямою дорогою выгоднѣе, нежели лукавыми путями. «Но должно признаться,» продолжаетъ онъ, «что въ теченіе жизни я не всегда держался этого правила; не скрою однако же и того, что, во время младенчества моего, имѣя отца благоразумнаго и справедливаго, удавалось мнѣ чаще получать желаемое, слѣдуя чистосердечію, нежели прибѣгая къ лукавству». Слѣдовательно, несмотря на свое заключеніе, что прямая дорога выгоднѣе лукавой стези, онъ таки прогуливался и по послѣдней, въ случаѣ необходимости.

Какъ видно, уже ребенкомъ, Фонъ Визинъ былъ сильно чувствителенъ, даже раздражителенъ, и далеко не глупъ. Отецъ сдѣлалъ для него все, что могъ сдѣлать, но, понимая, что, при своихъ небольшихъ средствахъ, имѣя большое семейство, онъ не можетъ доставить сыну такого образованія, которое считалъ необходимымъ, успѣшилъ воспользоваться благодѣтельнымъ открытіемъ перваго русскаго университета въ Москвѣ. Это знаменательное для Россіи событіе совершилось 24 января 1755 года, въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, и въ томъ же году, то есть на двѣнадцатомъ году отъ роду, поступилъ Денисъ Фонъ-Визинъ въ университетъ, куда въ то время принимали уже такихъ молодыхъ юношей. Тамъ выучился онъ изрядно полатынѣ, научился нѣмецкому языку, получилъ ввусъ въ словеснымъ наукамъ, но большихъ познаній вынести оттуда вонечно не могъ, потому что въ то время въ университетѣ Московскомъ учили менѣе, чѣмъ нынѣ



учать въ посредственной губернской гимназіи. Одинъ учитель былъ трезваго поведенія и только по временамъ приходилъ въ классъ въ нетрезвомъ видѣ, другой — пилъ мертвую чашу, третій, не думая много о познаніяхъ учениковъ своихъ, заботился только о томъ, чтобъ они на экзаменѣ хорошо отвѣчали, и заботился объ этомъ впрочемъ очень оригинально, а именно: наканунѣ экзамена изъ латинскаго языка, являлся обыкновенно онъ, для подготовленія воспитанниковъ къ предстоявшему испытанію, и вотъ въ чемъ состояло это приготовленіе: «Учитель нашъ», говорятъ Фонъ-Визинъ, «пришелъ въ кафтанѣ, на которомъ было пять пуговицъ, а на камзолѣ четыре; удивленный этою странностію, я спросилъ учителя о причинѣ.» — «Пуговицы мои вамъ кажутся смѣшны,» говорилъ онъ; — «по онѣ стражи вашей и моей чести (много чести оставаться невѣждами и обманывать добрыхъ людей), потому что на кафтанѣ значать пять склоненій, а на камзолѣ — четыре спряженія. Итакъ, продолжалъ онъ, ударяя рукою по столу: — извольте слушать всѣ, что говорить стану. Когда стануть спрашивать о какомъ нибудь имени, какого склоненія, тогда примѣчайте, за которую я пуговицу возьмусь: если за вторую, то смѣло отвѣчайте втораго склоненія. Со спряженіями поступайте, смотря на мои камзольныя пуговицы, и никогда ошибки не сдѣлаете». Но еще лучше состоялось присужденіе экзаменной медали за успѣхи въ наукахъ. Учитель географіи только потому былъ учителемъ въ университетѣ, что ему покровительствовалъ инспекторъ, а вовсе не потому, чтобъ онъ зналъ географію, и слѣдовательно легко повѣрить, что, когда одного его ученика спросили: «куда впадаетъ Волга?» онъ отвѣчалъ: «въ Черное море». Спросили другаго; онъ, вѣроятно, сообразилъ, что если не въ Черное, то, конечно, въ Бѣлое, и отвѣчалъ, что въ Бѣлое. Затѣмъ экзаменаторъ спросилъ Фонъ-Визина, и онъ наивно отвѣчалъ: «Не знаю». — Медаль за отличные успѣхи была единогласно присуждена ему за то, что, вмѣсто того, чтобъ соврать, сва-

залъ откровенно о своемъ незнаніи. Сообщая въ «Запискахъ» своихъ этотъ едва вѣроятный для нашего времени анекдотъ, Фонъ-Визинъ очень справедливо замѣчаетъ, что заслужилъ бы ее изъ класса практическаго нравоученія, а никакъ не изъ географическаго.

Съ подобными учителями, да еще съ ребяческою лѣнностію, трудно было учиться небезпорядочно и еще труднѣе было приобрѣсти порядочныя познанія. Ихъ Фонъ-Визинъ въ университетѣ и не приобрѣлъ, исключая латинскаго и нѣмецкаго языковъ; но зато въ университетѣ же приобрѣлъ онъ любовь къ литературнымъ занятіямъ и нѣкоторый навыкъ въ нихъ. Первымъ его опытомъ былъ переводъ съ нѣмецкаго языка басенъ Гольберга. Книгопродавецъ, по порученію котораго онъ сдѣлалъ этотъ переводъ, далъ за него Фонъ-Визину, вмѣсто денегъ, на пятьдесятъ рублей мѣдью книгъ, далеко неизбраннаго содержанія, — книгъ, которыя въ послѣдствіи крайне не нравились автору, но въ то время конечно доставили ему не мало удовольствія и не мало повредили ему, совративъ его умъ съ настоящаго направленія.

Около той же поры стала въ юношѣ развиваться любовь къ сатирѣ, и любовь эта проистекла изъ основныхъ свойствъ его характера и ума. Онъ былъ вспыльчивъ по наслѣдству отъ отца; но сердце у него было предоброе и истинно благородное. Онъ меньше боялся обидѣть высшихъ себя, чѣмъ тѣхъ, которые не могли ему отмстить. Естественно, что все дурное и злое непріятно дѣйствовало на его чувствительную душу, какъ противорѣчившее его искренней любви къ добру. Въ умѣ своемъ, отъ природы чрезвычайно стройномъ, онъ находилъ прекрасное оружіе противъ того, что было смѣшно, нелѣпо, невѣжественно, глупо. Подмѣчаніемъ чужихъ недостатковъ и пороковъ, особенно смѣшныхъ и странныхъ, Фонъ-Визинъ чрезвычайно потѣшался, хотя впрочемъ природная его доброта часто заставляла его сожалѣть о своихъ ѣдкихъ насмѣшкахъ, направляемыхъ иногда даже противъ друзей. Ему, при всемъ

умѣ его, доступна была и лесть, на удочку которой онъ иногда, какъ всѣ люди, попадался. Такъ въ послѣдствіи онъ сожалѣлъ, что одинъ изъ его товарищей, писавшій плохіе стихи и боявшійся насмѣшекъ его остраго ума, расхваливалъ первые сатирическіе его опыты, и такимъ образомъ поддерживалъ въ немъ расположеніе къ насмѣшкамъ.

Отличаясь своимъ остроуміемъ въ обществѣ, гдѣ его уже начинали за то не любить и бояться, Фонъ-Визинъ успѣлъ обратить на себя вниманіе начальства своими познаніями. На первомъ торжественномъ актѣ въ университетѣ, ему поручили произнести рѣчь на латинскомъ языкѣ. Темою этой рѣчи было показать «щедрость и прозорливость ея императорскаго величества, всецѣдой музѣ основательницы и покровительницы». Сверхъ того директоръ Московскаго университета, Иванъ Ивановичъ Мелиссино, отправилъ Фонъ-Визина въ Петербургъ, въ числѣ десяти наилучшихъ учениковъ, для представленія куратору, знаменитому Ивану Ивановичу Шувалову. вмѣстѣ съ Фонъ-Визинимъ, въ числѣ десяти учениковъ, отправленныхъ напоказъ, были Потемкинъ и Булгаковъ, люди, доказавшіе послѣ, что Мелиссино умѣлъ выбрать лучшихъ воспитанниковъ напоказъ.

Когда юношей этихъ представляли Шувалову, у него былъ Ломоносовъ. Ласковый кураторъ, по какому то странному случаю, выбралъ именно Фонъ-Визина, чтобы представить его этому великому мужу русскаго слова и науки. Ломоносовъ спросилъ у Фонъ-Визина, чему онъ учился. «Полатынѣ», отвѣчалъ будущій сатирикъ, и знаменитый писатель много и умно говорилъ о пользѣ латинскаго языка. Рѣчь Ломоносова навсегда врѣзалась въ памяти юноши, и встрѣча эта произвела на него сильное впечатлѣніе.

Но, сверхъ этого впечатлѣнія, многое еще ожидало Фонъ-Визина въ Петербургѣ. Блескъ, шумъ и веселье двора, гдѣ онъ былъ на куртагѣ, рѣшительно вскружили его молодую голову, а дворецъ ему показался жилищемъ существа безсмер-

тнаго. Однако, какъ ни понравился ему дворецъ, театръ восхитилъ его еще болѣе. Слушая на сценѣ шутки талантливаго тогдашняго актера Шумскаго, молодой Фонъ-Визинъ хохоталъ, забывая всякое приличіе; довольно пошлая піеса *Генрихъ и Пернилья* казалась ему гениальнымъ произведеніемъ, а актеры — великими людьми, знакомства съ которыми онъ желалъ, какъ высшаго благополучія. И какова же была его радость, когда онъ узналъ, что всѣ эти великіе люди знакомы въ домѣ его дяди. И, дѣйствительно, у дяди своего познакомился онъ съ актеромъ Волковымъ, основателемъ русскаго театра, надолго подружился съ славнымъ Дмитревскимъ, и знакомства эти окончательно укрѣпили въ душѣ его любовь къ театру, побудившую его въ послѣдствіи написать двѣ замѣчательныя піесы. Посѣщеніе петербургскаго театра припесло ему еще пользу въ томъ отношеніи, что тамъ сошелся онъ съ какимъ то молодымъ баричемъ, который былъ съ нимъ очень любезенъ, но, узнавъ, что Фонъ-Визинъ не говоритъ пофранцузски, сдѣлался съ нимъ холоденъ и дерзокъ, такъ какъ въ тѣ времена знаніе французскаго языка и, главное, попугайное болтаніе на немъ, составляло непремѣнную принадлежность хорошаго воспитанія. Самолюбивый Фонъ-Визинъ обидѣлся, пустилъ въ дѣло свое остроуміе, и колкими шутками унял пустаго барича. Но самолюбіе молодого человѣка было сильно уязвлено, и онъ рѣшился немедленно заняться французскимъ языкомъ, рѣшился и, что значитъ сила воли, направленная ко всему полезному, черезъ два года Фонъ-Визинъ уже переводилъ Вольтера, правда очень плохими стихами, но это не мѣшало ему знать основательно французскій языкъ.

Окончивъ курсъ, Фонъ-Визинъ оставилъ университетъ, а въ немъ добрую память о себѣ. Общество, въ которое онъ вступалъ, уже знало отчасти его по нѣкоторымъ литературнымъ трудамъ, обратившимъ на себя вниманіе публики, именно по переводамъ *Гольберговыхъ басенъ*, *Жизни Сафо*, *Альзиры* и нѣкоторыхъ другихъ, которыми началъ Фонъ-Ви-

зинъ свое литературное поприще. Служебную же каріеру началъ онъ сержантомъ семеновскаго полка; но военная служба ему не нравилась: ходить въ караулъ и на ученье казалось ему несноснѣе, чѣмъ работать въ кабинетѣ, и потому онъ съ величайшею радостію принялъ предложеніе вице-канцлера князя Голицына перейти служить въ иностранную коллегію, гдѣ занятія были ему по душѣ и работа шла успѣшно. Графъ Воронцовъ, бывшій въ то время канцлеромъ иностранныхъ дѣлъ, очень полюбилъ Фонъ-Визина, и, въ награду за хорошую службу, возложилъ на него, на первый случай, чрезвычайно лестное и пріятное порученіе: отвезти герцогинѣ шверинской екатерининскую ленту. Въ то время Фонъ-Визинъ былъ еще очень молодъ, но сумѣлъ себя держать при иностранномъ дворѣ такъ ловко и умно, что заслужилъ всеобщее расположеніе. Особенно же важно было для него расположеніе нашего посланника при шверинскомъ дворѣ, потому что оно приготовило ему, по возвращеніи на родину, чрезвычайно благосклонный пріемъ у начальниковъ.

Къ несчастію, въ то время, когда такъ счастливо служилось Фонъ-Визину въ иностранной коллегіи, кабинетъ-министру Ивану Перфильевичу Елагину понадобился дѣльный человѣкъ, хорошо знающій русскій языкъ и также знакомый съ иностранными. Елагину, какъ человѣку, занимавшемуся литературою, Фонъ-Визинъ былъ уже извѣстенъ, и потому не удивительно, что, въ октябрѣ мѣсяцѣ 1763 года, появился высочайшій указъ: «Переводчику Денису Фонъ-Визину, числясь при иностранной коллегіи, быть для нѣкоторыхъ дѣлъ при нашемъ статскомъ совѣтникѣ Елагинѣ». И переводчикъ Денисъ Фонъ-Визинъ перешелъ къ статскому совѣтнику Елагину. Впрочемъ въ канцеляріи кабинетъ-министра занятія соответствовали вкусу молодого человѣка. И тутъ начальникъ его очень полюбилъ, такъ какъ Елагинъ, сверхъ всѣхъ хорошихъ качествъ своихъ, любилъ покровительствовать литераторамъ, а въ то время литераторы очень нуждались въ по-

кровительство сильныхъ людей. Не лишнимъ оно было для Фонъ-Визина, и, казалось, судьба распорядилась очень хорошо, нѣсколько измѣнивъ родъ его службы. Но, въ большому огорченію Фонъ-Визина, у новаго начальника оказался секретарь и любимецъ его, Лукинъ, человѣкомъ очень недоброжелательнымъ для новаго сослуживца. Чувствовалъ ли Лукинъ превосходство ума Фонъ-Визина надъ своимъ собственнымъ, опасался ли онъ его соперничества, какъ литератора, и если опасался, то весьма основательно, потому что комедіи Лукина, имѣвшія въ свое время значительный успѣхъ, давнымъ давно навсегда забыты, между тѣмъ какъ комедіи Фонъ-Визина едва ли подвергнутся подобной же участи, только Лукинъ, гдѣ могъ, дѣлалъ непріятности Фонъ-Визину, до глубины души огорчалъ молодаго человѣка, и служба у Елагина дѣлалась чрезвычайно тягостною для него. Фонъ-Визинъ хотѣлъ даже вовсе оставить ее, несмотря на недостатокъ средствъ въ жизни, но дѣло какъ то обошлось безъ отставки: онъ ограничился отпускомъ. Въ отпускъ поѣхалъ онъ въ Москву, къ своей родной семьѣ, которую горячо любилъ и безъ которой сильно тосковалъ въ Петербургѣ, тосковалъ, несмотря на свѣтскія удовольствія, окружавшія его, тосковалъ, несмотря на литературныя занятія, за которыми старался забыть оскорбленія Лукина. Ни свѣтъ, ни литература не могли ему замѣнить ни отца, ни матери, ни нѣжно любимой сестры.

Однако эту свободу употребилъ онъ съ большою пользою. Возвратясь въ Петербургъ послѣ годоваго отпуска, онъ привезъ съ собою переводъ поэмы Битобе, *Иосифъ*, производившей въ то время большой эффектъ, и свою первую оригинальную комедію, *Бригадиръ*, пріобрѣтшую блистательную извѣстность. Бибииковъ и графъ Григорій Григорьевичъ Орловъ были первыми лицами, восхитившимися, и самую комедію, и чтеніемъ автора. А читалъ онъ замѣчательно хорошо, чрезвычайно удачно мѣняя голосъ, интонацію и превосходно передавая, такимъ образомъ, характеръ дѣйствующихъ лицъ. Вос-

хищенный *Бригадиромъ*, графъ Орловъ сказалъ о немъ государынѣ Екатеринѣ, которая сама пожелала слышать чтеніе Фонъ-Визина, и, на придворномъ балу въ Петергофѣ, графъ передалъ автору волю ея величества. Государыня приказала ему быть у себя послѣ бала, и въ Эрмитажѣ прочесть свою комедію.

Балъ кончился. Фонъ-Визинъ отправился въ Эрмитажъ, и, несмотря на свою обычную смѣлость, сильно оробѣлъ, увидавъ себя въ обществѣ великой государыни. Чтеніе по этому случаю шло сначала очень дурно. Но взоръ отечественной благотворительницы и нѣсколько ея ласковыхъ словъ совершенно ободрили автора: онъ прочелъ комедію съ своимъ обыкновеннымъ искусствомъ, и даже осмѣлился шутить въ разговорѣ съ государынею, которая, очастлививъ его всемилющѣйшимъ привѣтствіемъ, позволила ему подойти къ рукѣ.

Не прошло и три дня послѣ этого, какъ воспитатель наследника престола, графъ Никита Ивановичъ Панинъ, которому Фонъ-Визинъ никогда еще не былъ представленъ, самъ обратился къ нему съ просьбою прочесть *Бригадира* при дворѣ великаго князя Павла Петровича. Это было началомъ знакомства нашего автора съ замѣчательнымъ государственнымъ человѣкомъ. Начало было самое благопріятное для Фонъ-Визина, какъ и всѣ ихъ послѣдующія отношенія.

Когда Денисъ Ивановичъ явился къ графу, въ Петербургѣ, тотъ не только ласково принялъ его, но даже, въ разговорахъ съ нимъ, старался, повидимому, узнать образъ мыслей и характеръ молодаго человѣка, что доставило не мало удовольствія послѣднему. Великому князю графъ представилъ его, какъ человѣка отличныхъ качествъ и рѣдкихъ дарованій. Павелъ Петровичъ, тогда еще почти ребенокъ, обошелся съ Фонъ-Визинымъ чрезвычайно хорошо и просилъ прочесть комедію. Фонъ-Визинъ прочелъ ее послѣ обѣда за столомъ наследника, къ которому былъ тогда же приглашенъ. Черезъ нѣсколько минутъ послѣ начала чтенія, Фонъ-Визинъ, удачнымъ подража-

тельнымъ тономъ своего чтенія, произвелъ во всѣхъ слушателяхъ громкій хохоть. Болѣе всѣхъ дѣйствующихъ лицъ вниманіе графа Никиты Ивановича Панина возбудила бригадирша. «Я вижу, сказалъ онъ Фонъ-Визину, — что вы очень хорошо нравы наши знаете, ибо бригадирша ваша всѣмъ родня: никто не можетъ сказать, что таеую Акулину Тимоеевну не имѣтъ или бабушкою, или тетушкою, или какоюнибудь свойственницею». По окончаніи чтенія, графъ Никита Ивановичъ разсуждалъ о комедіи. Разсужденія эти были самыя лестныя для Фонъ-Визина, такъ же какъ и отзывъ юнаго великаго князя, хохотавшаго отъ души и подмѣчавшаго всѣ мѣста, наиболѣе удачныя и наиболѣе остроумныя. Прощаясь съ авторомъ, графъ Панинъ сказалъ: «вы можете ходить къ его высочеству и при столѣ оставаться, когда только хотите», и тогда же пригласилъ его къ себѣ на слѣдующій вечеръ, разумѣется, съ *Бригадиромъ*. У графа Панина Фонъ-Визинъ произвелъ еще болшій эффектъ, потому что, сверхъ искуснаго чтенія, онъ чрезвычайно забавлялъ общество, мастерски передразнивая тогдашняго академика А. П. Сумарокова, не только голосомъ, но и тономъ, такъ что и самъ Сумароковъ не могъ бы сказать ипаго, какъ то, что Денисъ Ивановичъ говорилъ его голосомъ.

Съ этого дня Фонъ-Визинъ не имѣлъ рѣшительно покоя, благодаря своему таланту. Его наперерывъ приглашали на обѣды и вечера, безъ конца осыпали похвалами и привѣтствіями. Самое блистательное общество составляло кругъ его слушателей: отъ Никиты Ивановича онъ перешелъ въ домъ Петра Ивановича Панина, отъ Панина къ Чернышеву, отъ Чернышева къ Строгонову, отъ Строгонова къ Шувалову, отъ Шувалова къ графинѣ Румянцовой, отъ графини Румянцовой къ Бутурлиной, отъ Бутурлиной къ Воронцовой. Путешествуя такимъ образомъ съ своею комедіею, изъ одного знатнаго дома въ другой, третій, четвертый и десятый, попалъ онъ на обѣдъ къ графу \*\*\*, чрезвычайно умному человѣку,



но безбожнику и вольнодумцу. Вольнодумство тогда было въ большомъ ходу, и очень понятно, потому что въ эту пору въ Россіи съ ума человѣческаго только что снимались оковы, такъ что умственная жизнь только что возрождалась въ нашемъ обществѣ. Очень естественно, что, не зная, какъ пользоваться свободою, не зная какъ принимать новыя идеи, умы того времени часто шли по совершенно ложному пути и тѣмъ выше считали себя, чѣмъ болѣе отдалялись отъ прежнихъ понятій и идей. Многие зашли уже слишкомъ далеко, и отвергали все, что до нихъ признавалось даже священнымъ, не давая себѣ труда подумать, что отвергнутое было истинно, а принятое — ложно. Отвергали въ то время обряды, отвергали необходимость религіи, отвергали самое существованіе Бога, и, разъ отвергнувъ святыню, не стѣснялись въ насмѣшкахъ надъ нею. Это безобразное состояніе умовъ, поддерживаемое вліяніемъ несовсѣмъ понятой французской философіи того времени, и довольно удачно, по крайней мѣрѣ, по внѣшности, перенятой французской образованности, было достойнымъ братомъ, по своимъ нелѣпнымъ проявленіямъ, упорному невѣжественному старовѣрству. Вліянію этого вреднаго вольнодумства поддался и юный Фонъ-Визинъ, какъ молодой членъ молодаго еще общества, и всего болѣе какъ членъ блестящей свѣтской компаніи молодыхъ людей аристократовъ, но самаго недостойнаго образа мыслей, проводившихъ время въ брани и насмѣшкахъ надъ всѣмъ, что было святаго. Въ брани и попойкахъ, Фонъ-Визинъ не участвовалъ — у него духу не хватало, а во второмъ упражнялся съ успѣхомъ и, можетъ быть, дошелъ бы и до злосчастія сдѣлаться богохулителемъ, еслибъ не случилось ему обѣдать у стараго безбожника графа\*\*\*. Пользуясь своею старостію, графъ ничѣмъ не стѣнялся и говорилъ такія вещи, отъ которыхъ волосъ дыбомъ становился. Разсужденія его были ошибочныя, а безуміе явное, но совсѣмъ тѣмъ они такъ поколебали душу молодаго писателя, что онъ даже испугался и сталъ искать возможности возвратиться къ

тѣмъ убѣжденіямъ, которыя вынесъ изъ дома родительскаго.

Въ это время дворъ переселился въ Царское Село, кабинетъ-министръ также, а съ нимъ и Фонъ-Визинъ. Въ свободное время, гуляя по великолѣпнымъ царсвосельскимъ садамъ, онъ предавался размышленіямъ, имѣвшимъ цѣлю обратить умъ его на путь истины. Въ одну изъ такихъ прогулокъ случилось ему встрѣтиться съ тайнымъ совѣтникомъ Тепловымъ, человекомъ чрезвычайно просвѣщеннымъ и умнымъ. Разговоръ, завязавшійся между ними, дошелъ и до предмета размышленій Фонъ-Визина. Тепловъ похвалилъ намѣреніе молодого человека утвердиться серьезнымъ размышленіемъ въ истинахъ вѣры, и посоветовалъ ему прочесть очень хорошую современную книгу о бытіи Божіемъ\*). Сочиненіе это, дѣйствительно, было полезно Фонъ-Визину, и такъ ему понравилось, что онъ непременно хотѣлъ перевести его на русскій языкъ; но Тепловъ отклонилъ его отъ этого намѣренія, а совѣтовалъ лучше сдѣлать изъ него извлеченіе, на томъ основаніи, что въ извлеченіи легче, чѣмъ въ переводѣ, можно будетъ передѣлать, по указанію синода, нѣкоторыя мѣста, а синодъ, говорилъ онъ, непременно будетъ притѣснять переводчика. «Вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстенъ переводъ г. Поповскаго *Опытъ о человецѣхъ?*» спросилъ Тепловъ. Фонъ-Визинъ отвѣчалъ утвердительно, прибавивъ, что очень высоко цѣнить эту книгу. «Но какія неприятели, какія затрудненія встрѣтилъ бѣдный переводчикъ, продолжалъ Тепловъ, при напечатаніи своей книги. Попы стали переправлять переводъ его и множество стиховъ исковеркали, а дабы читатель не почелъ ихъ стиховъ за переводчиковы, то напечатали они ихъ нарочно крупными буквами, какъ будто бы читатель самъ не могъ различить поповскихъ стиховъ отъ стиховъ Поповскаго.» Убѣжденный этимъ разказомъ и еще болѣе тѣмъ, что оберъ-прокуроромъ синода былъ

---

\*) Это было извѣстное сочиненіе Кларка, изданное въ послѣдствіи и на русскомъ языкѣ.

Петръ Петровичъ Чеб....., который въ гостиномъ дворѣ громгласно разсказывалъ ту нелѣпость, что Бога нѣтъ, Денисъ Ивановичъ послѣдовалъ совѣту Теплова и сдѣлалъ извлеченіе, а не переводъ. Религіозныя понятія его были уяснены этою книгою, и онъ ни разу, въ продолженіе всей послѣдующей своей жизни, не усомнился ни въ одной изъ божественныхъ истинъ христіанской вѣры.

Тотъ же самый *Бригадиръ*, который завелъ Фонъ-Визина въ общество стараго безбожника, далъ ему случай сойтись и съ людьми, истинно любившими литературу, и умѣвшими здраво судить о вещахъ. Это были Майковъ, Херасковъ и Волковъ, съ которыми автору часто приходилось встрѣчаться въ домѣ Мятлева, человѣка также далеко не дюжиннаго. Въ этомъ обществѣ Фонъ-Визинъ былъ очень коротокъ. Умъ его, не чувствуя ни каковаго стѣсненія, могъ сповойно расправлять крылья, и явился въ настоящемъ свѣтѣ. Нигдѣ не былъ онъ такъ забавень, остеръ и логичень, въ спорахъ и разсужденіяхъ своихъ, какъ въ этомъ обществѣ. Несмотря на его частыя насмѣшки и колкія шутки, никто не сердился на него, и ни у кого, послѣ бесѣды съ нимъ, не оставалось злобы на сердцѣ, напротивъ всякому было весело и легко. И самому Денису Ивановичу было весело и легко, и потому, что собесѣдники его были люди очень хорошіе и интересные, и потому, что въ этомъ же обществѣ встрѣчалъ онъ женщину, замѣчательную своимъ необыкновенно добрымъ сердцемъ и весьма обширнымъ умомъ но не красотою. Она была замѣчательно образована. То была госпожа Приклонская, которая сама очень любила бесѣдовать съ остроумнымъ и сильно начитаннымъ Д. И. Фонъ-Визинымъ, который Приклонскую любилъ всею силою души, а она управляла имъ по своему произволу. Въ то время, когда въ обществѣ *Бригадиръ* доставлялъ ему бездну похвалъ и знакомствъ, когда, съ часу на часъ, росла его извѣстность, на служебномъ его поприщѣ произошла значительная перемѣна. Елагинъ, который хотя и любилъ его, да любовь свою огра-

ничиваль только желаніемъ видѣть его каждый день у себя, и вовсе не думаль о наградахъ для своего подчиненнаго, который былъ не чуждъ честолюбія, да и отчасти нуждался въ нихъ, получилъ другое назначеніе, и Фонъ-Визинъ перешель къ графу Панину. Сближеніе съ этимъ государственнымъ человѣкомъ было чрезвычайно полезно для Фонъ-Визина, какъ въ отношеніи умственнаго развитія, такъ и въ отношеніи служебной каріеры, и, конечно, онъ ничего не потеряль, разставшись съ Елагинимъ, всегда предпочитавшимъ ему Лукина и тѣмъ неумышленно надѣлавшимъ много непріятностей Фонъ-Визину. Хотя Лукинъ и потеряль уже свое вліяніе на Елагина; но кто могъ поручиться, что не появится другой, который вновь овладѣеть расположеніемъ начальника и надѣлаеть вновь бѣды чувствительному Фонъ-Визину?

Панинъ же былъ иной человѣкъ. Любимчиковъ у него не было, а достойныхъ онъ умѣль наградить. Когда графъ окончилъ воспитаніе великаго князя Павла Петровича, императрица щедрою рукою осыпала его милостями и между прочимъ пожаловала ему 9,000 душъ крестьянъ. Безкорыстный Панинъ, желая подѣлиться своимъ богатствомъ съ людьми недостаточными, подарилъ тремъ секретарямъ своимъ около 4,000 душъ. Въ числѣ этихъ трехъ секретарей былъ и Фонъ-Визинъ, получившій на свою долю 1,180 душъ. Ему это было очень пригодно: онъ любилъ жить хорошо, и былъ большой щеголь, а средства его были очень ограниченныя. Къ тому же, онъ былъ уже тогда женатъ на вдовѣ Хлоповой, изъ вупеческаго рода Роговиковыхъ.

Какъ писатель, онъ еще ранѣе своей женитьбы приобрѣль извѣстность значительно больше прежней, написавъ *Недоросля*, успѣхъ котораго въ обществѣ едва ли не превзошелъ успѣха *Бригадира*. Что же касается до литературныхъ достоинствъ, то конечно *Недоросль* оставилъ далеко за собою первую комедію Фонъ-Визина. Едва ли русское общество того времени могло себѣ представить существованіе лучшихъ ко-

медій. Въ *Недоросль* многое забавляло, многое поучало, хотя поученія эти и были немного скучны, но зато прямо говорили объ умѣ автора, а между строками тогда еще читали плохо. Наконецъ въ *Недоросль* зрители видѣли лица совершенно естественныя, чуть ли не своихъ знакомыхъ и друзей. Чего же больше имъ было желать? Это полное довольство князь Потемкинъ, нѣкогда товарищъ Фонъ-Визина по университету, высказалъ Фонъ-Визину, выходя изъ театра послѣ перваго представленія новой его комедіи: «*Умри, Денисъ*», сказалъ онъ ему, «или больше ничего не пиши.» Къ несчастію, слова князя таврическаго были словами пророческими. Съ тѣхъ поръ Фонъ-Визинъ, хотя и писалъ, но новыя произведенія его были далеко слабѣе предшествовавшихъ, и оттого они были слабѣе, что авторъ хотя и прожилъ двадцать лѣтъ послѣ словъ Потемкина, но почти всѣ эти двадцать лѣтъ жизнь его была не жизнь, а страданіе. Она была немногимъ лучше смерти.

Биографическія свѣдѣнія о Фонъ-Визинѣ за эти двадцать лѣтъ можно почерпнуть изъ писемъ, писанныхъ имъ изъ путешествій, которыхъ онъ совершилъ въ продолженіе этого времени четыре: три за границу и одно въ Остзейскія губерніи. Первое путешествіе предпринялъ онъ для поправленія здоровья жены. Черезъ Германію, онъ проѣхалъ во Францію, и, съ подробностію описывая послѣднюю, сильно обидѣлъ ее. Вообще онъ не любилъ щадить иностранныхъ государствъ, съ которыми ему приходилось лично знакомиться, несмотря на то, что его вездѣ очень хорошо принимали. Къ Италіи, впрочемъ, которая была цѣлю его втораго путешествія, онъ былъ снисходительнѣе, чѣмъ къ Франціи. Если италіяпцамъ и не отведено особенно почетнаго мѣста въ его письмахъ, то, по крайней мѣрѣ, изящныя искусства Италіи довели его до восхищенія, и какъ будто помирили съ посѣщенною имъ страню.

А, между тѣмъ, въ этой самой странѣ, и еще въ Римѣ, ему пришлось выдержать апоплексическій ударъ, который повторился въ сильнѣйшей степени, по возвращеніи его въ

Москву. Параличъ совершенно разбилъ его: языкъ сталъ плохо повиноваться, ноги и руки едва двигались. Къ тому же и денежные обстоятельства его сдѣлались плохи. Съ большимъ трудомъ могъ онъ устроить свои дѣла такъ, чтобъ они ему позволили отправиться за границу. Но и эта послѣдняя поѣздка, предпринятая съ цѣлю поправить здоровье, не много принесла ему пользы. Хотя карлсбадскія воды и облегчали временно страданія его, но ему еще далеко было до совершеннаго исцѣленія. А ему не хотѣлось умирать, не хотѣлось болѣть. Не поправясь за границею, ѣздилъ онъ въ Ригу, Бальдону и Митаву. Во время этой поѣздки, переходилъ онъ отъ одного врача къ другому, страдалъ и отъ болѣзни и отъ леченія, которымъ съ нимъ не церемонились; но и самыя жестокія средства не облегчали его ни сколько. Приблизился смертный часъ Фонъ-Визина, и онъ умеръ 1-го декабря 1792 года.

Въ 1791 году умеръ бывшій школьный товарищъ Фонъ-Визина, знаменитый князь Тавриды, Потемкинъ. Извѣстіе это глубоко тронуло Фонъ-Визина, который дрожащею рукою написалъ слѣдующую «памятную замѣтку»: «Всѣмъ знающимъ меня извѣстно, что я страдаю отъ слѣдствія удара апоплексическаго; не болѣе какъ въ теченіе года, поразили меня четыре такія удара; но Господь, защитникъ живота моего, всегда отвращалъ вознесшюся на меня злобу смерти; его святой волѣ угодно было лишить меня руки, ноги и части употребленія языка: *наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде*. Но сіе лишеніе почитаю я дѣйствіемъ безконечнаго его ко мнѣ милосердія; ибо, вспоминая, что лишился я пораженныхъ членовъ въ самое то время, когда, возвратясь изъ чужихъ краевъ, упоенъ былъ мечтою о моихъ знаніяхъ, когда безумное на разумъ мой надѣяніе изъ мѣръ выходило, и когда, казалось, представлялся случай къ возвышенію въ суетную знаменитость, тогда Всевидѣцъ, зная, что таланты мои могутъ быть болѣе вредны, нежели полезны, отнял у меня способы изъясняться словесно и письменно, и просвѣ-

тилъ меня въ разсужденіи меня самого. Съ благоговѣніемъ ношу я наложенный на меня крестъ, и не престану до конца жизни моей восклицать: *Господи! благо мнѣ, яко смирилъ мя еси!* Имѣя очень мало подробностей, относящихся до второй половины его жизни, сообщимъ еще разсказъ очевидца о послѣднемъ вечерѣ, проведенномъ Фонъ-Визинимъ на землѣ. Объ этомъ повѣствоваль извѣстный нашъ писатель И. И. Дмитріевъ, оставившій въ запискахъ своихъ много интересныхъ подробностей о личности и характерѣ Державина, и между прочимъ разсказъ о встрѣчѣ у поэта съ Фонъ-Визинимъ.

«Черезъ Державина же, говоритъ Дмитріевъ, я сошелся съ Денисомъ Ивановичемъ Фонъ-Визинимъ. По возвращеніи изъ его бѣлорускаго помѣстья, онъ просилъ Гавріила Романовича познакомить его со мною. Я не знавалъ его въ лицо, какъ и онъ меня. Назначенъ былъ день свиданія. Въ шесть часовъ пополудни пріѣхалъ Фонъ-Визинъ. Увидя его въ первый разъ, я вздрогнулъ и почувствовалъ всю бѣдность и тщету человѣческую. Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Онъ не могъ владѣть одною рукою, равно и одна нога одеревенѣла; обѣ поражены были параличемъ; говорилъ съ крайнимъ усиліемъ и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ; но большіе глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшвался: говорили о произведеніяхъ Фонъ-Визина, говорили о *Душенькѣ*, Богдановича. Приэтомъ Денисъ Ивановичъ какъ будто хотѣлъ съ перваго раза вывѣдать свойства ума и характера своего новаго знакомаго. Тутъ же была, по его желанію, прочитана его комедія *Гобмейстеръ*. Въ продолженіе чтенія авторъ, глазами, киваніемъ головою, движеніемъ здоровой руки, поддѣрживалъ силу тѣхъ выраженій которыя самому ему нравились.

«Игривость ума не оставляла его и при жестоко болѣз-

ненномъ состояніи тѣла. Несмотря на трудность разсказа, онъ заставлялъ насъ не однажды смѣяться. Во всемъ уѣздѣ, пока онъ жилъ въ деревнѣ, удалось ему найти только одного русскаго литератора, городскаго почтмейстера. Онъ выдавалъ себя за жаркаго почитателя Ломоносова. — «Которую же изъ одъ его признаете вы лучшею?» — «Ни одной не случилось читать», отвѣтствовалъ ему почтмейстеръ. — «Зато, продолжалъ Фонъ-Визинъ, доѣхавъ до Москвы, я уже не зналъ, куда мнѣ дѣваться отъ молодыхъ стихотворцевъ. Отъ утра до вечера, они вокругъ меня роились и жужжали. Однажды докладываютъ мнѣ: пріѣхалъ трагикъ. Принять его, сказалъ я, и черезъ минуту входитъ авторъ съ пучкомъ бумагъ. Послѣ первыхъ привѣтствій и оговорокъ, онъ проситъ выслушать трагедію его въ *новомъ* вкусѣ. Нечего дѣлать, прошу его садиться и читать. Онъ предваряетъ меня, что развязка драмы его будетъ необыкновенная: у всѣхъ трагедіи оканчиваются добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ, а его героиня умретъ естественною смертію. И, въ самомъ дѣлѣ, заключилъ Фонъ-Визинъ, героиня его, отъ акта до акта, чахла, чахла и наконецъ изчахла».

«Мы разстались съ Фонъ-Визинымъ въ одиннадцать часовъ вечера а на утро онъ былъ уже въ гробѣ».

Жена Фонъ-Визина, послѣ его смерти, осталась въ большой нуждѣ, и если бы не семейство Клостермана, съ которымъ авторъ, при жизни своей, былъ очень друженъ и имѣлъ нѣкоторыя коммерческія сдѣлки, то едва ли она не дошла бы до совершенной нищеты, по причинѣ множества долговъ, оставленныхъ покойнымъ авторомъ *Недоросля* и *Бригадира*, потому что и самый вдовій пенсіонъ ея былъ поглощенъ этими долговыми обязательствами.



ГАВРІИЛЪ РОМАНОВИЧЪ

## ДЕРЖАВИНЪ

(1743 — 1816).

Гавріилъ Романовичъ Державинъ былъ татарскаго происхожденія: одинъ изъ предковъ его, мурза *Багримъ*, выѣхавшій изъ Золотой Орды, на службу русскаго великаго князя Василя Іоанновича Темнаго, имѣлъ четырехъ сыновей: Нарбека, Кегла, Акинеа и *Державу*. Послѣдній былъ родоначальникомъ фамиліи *Державиныхъ*. Отецъ поэта былъ человекъ очень недостаточный: по раздѣлу съ братьями, получилъ онъ 10 душъ крестьянъ, а за женою своею, урожденною Козловою, взялъ ихъ только 50; служебная его каріера была не особенно блистательна; здоровье было тоже плохо; онъ получилъ чахотку отъ удара копытомъ въ грудь. При такихъ не слишкомъ-то веселыхъ обстоятельствахъ, родился у него, въ 1743 году, старшій сынъ, котораго назвали Гавріиломъ. Но и сынъ этотъ родился не на радость родителямъ: онъ былъ до того худъ и слабъ, что ежеминутно должно было опасаться за его жизнь, для поддержанія которой употребляли всѣ доступныя имъ средства, лечили чѣмъ могли, и даже запекали въ хлѣбъ, слѣдую обычаю того края. Запеканіе ли въ хлѣбъ помогло, натура-ли свое взяла, только Гавріилъ Державинъ

сталь крѣпнуть, рости и благополучно перенесъ переѣздъ изъ Казани въ городъ Яранскъ (Вятской губерніи), куда, по дѣламъ службы, переселился его отецъ. Въ то время, въ 1744 году, явилась на небѣ замѣчательная комета, съ огромнымъ хвостомъ и шестью загнутыми лучами. На нее обратили вниманіе ученые; она произвела много толковъ и даже волненій въ народѣ, между прочимъ и заставила выговорить груднаго ребенка Державина первое слово: увидя ее, онъ протянулъ свою рученку, и твердо и ясно выговорилъ слово: *Богъ*.

Скоро у него родился другой братъ, котораго мать любила болѣе его! Это впрочемъ не мѣшало и ей, и отцу, заботиться о томъ, чтобы обучать, чему было можно, своего первенца. Но, при скудныхъ средствахъ, да еще въ такихъ удаленныхъ отъ столицы городахъ, каковы Яранскъ, Ставрополь и Оренбургъ, гдѣ Державинимъ приходилось жить въ это время, трудно было дать дѣтямъ хорошее образованіе. Отецъ былъ почти постоянно занятъ службою; мать же преимущественно наблюдала затѣмъ, чтобы дѣти ея занимались чтеніемъ духовныхъ книгъ, стараясь всѣми мѣрами пріохотить ихъ къ тому подарками и ласкоствами, а читать и писать ихъ обучали церковники: другихъ учителей тогда въ тѣхъ мѣстахъ не водилось.

Въ то время существовалъ законъ, по которому всѣхъ недорослей изъ дворянъ, достигшихъ семи лѣтъ, слѣдовало представлять губернаторамъ. Гавріила Державина, когда ему минуло семь лѣтъ, представили оренбургскому губернатору, Ивану Ивановичу Неплюеву, и послѣ представленія отдали въ обученіе къ единственному учителю, имѣвшемуся въ Оренбургѣ, Іосифу Розе. Этотъ Іосифъ Розе былъ сосланный въ ваторжную работу нѣмецъ, необразованный, грубый, безнравственный. Не имѣя ни малѣйшаго понятія о грамматикѣ нѣмецкаго языка, которому онъ только и могъ обучать, онъ однако очень исправно умѣлъ наказывать своихъ учениковъ такъ, что объ этихъ наказаніяхъ, въ запискахъ своихъ, Державинъ не хо-

тѣмъ и упоминать: такъ они были отвратительны. Все преподаваніе нѣмца состояло въ томъ, что онъ заставлялъ учениковъ выучивать наизусть слова и разговоры, а иногда и копировать съ образцовъ, очень впрочемъ красиво писанныхъ его собственною рукою. Каторжникъ и невѣжда Розе былъ хорошимъ каллиграфомъ. Однако, какъ ни было плохо подобное обученіе, Державинъ вынесъ изъ него очень порядочное знаніе нѣмецкаго языка, потому что съ малолѣтства любилъ учиться, и вообще любилъ заниматься всѣмъ полезнымъ. Чуть свободный часъ выпадетъ, онъ за картинки: то рисуетъ, то раскрашиваетъ ихъ. На этомъ поприщѣ у него руководителей рѣшительно нивого не было, да и образцовъ порядочныхъ не удавалось видѣть, и поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ съ любовію занимался раскрашиваніемъ, чернилами и жженою охрою, грубыхъ лубочныхъ картинъ, изображавшихъ богатырей, у которыхъ головы съ пивной котель, и что этими произведеніями суздальской и собственной живописи онъ облѣпилъ стѣны своей дѣтской комнатки. Такимъ образомъ, съ нѣмецкими прописями, да лубочными картинками, прожилъ онъ до 1754 года, когда отецъ его возилъ въ Москву, думая довести до Петербурга, и записать тамъ въ кадетскій корпусъ или въ артиллерію; но бѣдному старику не удалось исполнить своего намѣренія.

Въ Москвѣ у него не достало денегъ, чтобъ доѣхать до Петербурга; пріѣхавъ же въ деревню, онъ вскорѣ скончался. Тяжело было положеніе его вдовы. Бѣдность и злые люди одолѣли ее. Она была въ такой крайности, что не могла заплатить 15 рублей долга, который оставилъ ей мужъ, а сосѣди отнимали у ней угодыя, строили мельницы на ея землѣ, затапливали луга ея и задаривали судей; ей же нечѣмъ было ихъ задаривать, а просьбы ни сколько не помогали. Чтобы гдѣ нибудь отыскать какое либо правосудіе, должна была эта бѣдная женщина, съ малыми сыновьями, ходить по судьямъ, стоять у нихъ въ переднихъ у дверей по нѣсколько часовъ, дожи-

даясь ихъ важнаго выхода; по когда они и выходили, то никто не хотѣлъ выслушать бѣдняжку порядочно: всѣ съ жесто-восердіемъ проходили мимо, и она должна была ни съ чѣмъ возвращаться домой, со слезами, въ крайней горести и печали. Такое горькое положеніе матери не могло не пробудить, въ душѣ двѣнадцатилѣтняго умнаго и живаго ея сына, глубокаго состраданія къ ней и негодованія противъ людей, огорчавшихъ ее, противъ корыстныхъ и несправедливыхъ судей. Иначе и быть не могло. Но если душевно сынъ страдалъ за мать, то и мать, въ свою очередь, несмотря на свои хлопоты, горе и недостатки, сильно заботилась о воспитаніи дѣтей. Она отдала ихъ учиться арифметикѣ и геометріи, сперва къ гарнизонному школьнику Лебедеву, а потомъ артиллеріи штыкъ-юнкеру Полетаеву; но ни тотъ, ни другой не отличались особенными познаніями и немногому обучили Державина. Арифметикѣ учили они его безъ правилъ и доказательствъ; изъ геометріи научили только фигуры чертить, а для чего чертились эти фигуры, не умѣли пояснить. Въ 1757 году, мать Державина повезла старшаго сына, Гавріила, въ Петербургъ, располагая отдать его тамъ въ корпусъ или артиллерію, какъ желалъ того ея покойный мужъ; но сѣ пришлось очень долго прожить въ Москвѣ, гдѣ она много хлопотала, отыскивая доказательства дворянскаго происхожденія сыновей. Благодаря одному ея родственнику, Дятлову, доказательства были присканы; но въ Петербургъ ей ѣхать уже было нельзя: зимній путь пропадалъ, а лѣтній въ то время былъ слишкомъ дорогъ для нея. Пришлось снова возвратиться въ Казань, гдѣ, на ея счастье, въ 1758 году, открылась гимназія, въ которую она и записала своихъ сыновей. Въ гимназіи этой положено было обучать латинскому, французскому и нѣмецкому языкамъ, арифметикѣ, геометріи, танцованію, музыкѣ, рисованію и фехтованію; но учителя были плохіе, и обученіе шло очень нетолково. Державинъ любилъ учиться, и, по обращенію съ нимъ гимназическаго начальства, нельзя предполагать, чтобы онъ

лѣнился въ гимназiи, а, между тѣмъ, онъ въ ней не выучился ни латинскому, ни французскому языкамъ, доказательство, что преподаванiе было плохо. Въ гимназiи преимущественно обращалось вниманiе на то, чтобы воспитанники могли себя ловко и развязно вести въ обществѣ; ихъ заставляли на кафедрѣ, при многочисленныхъ слушателяхъ, говорить рѣчи, сочиненныя учителями, разыгрывать трагедiи Сумарокова, танцовать и фехтовать на экзаменахъ. Несмотря на такое поверхностное образованiе, время, проведенное Державиннымъ въ гимназiи, было далеко не бесполезно, для развитiя его умственныхъ и душевныхъ силъ. Тамъ впервые пробудилась въ немъ любовь къ чтенiю и поэзiи. Онъ прочелъ тогда оды Ломоносова, трагедiи Сумарокова, пользовавшiяся въ то время большимъ почетомъ, *Артемиду*, повѣсть героическую, переведенную съ латинскаго, и мифологическими изъясненiями умноженную, *Василiемъ Тредьяковскимъ*, *Приключенiя маркиза Г.*, переведенныя Елагинимъ, и *Телемака* — сочиненiя, въ то время чрезвычайно замѣчательныя, которыя произвели впечатлѣнiе на молодого гимназиста, и заставили его взяться за перо. Однако стихи ему трудно давались; выходили плохи. Онъ ихъ уничтожалъ, никому не показывая, и до насъ вовсе не дошли его гимназическiе опыты. Это прекрасная черта въ мальчикѣ: недовѣрiе къ своему умѣнiю, основанное на инстинктѣ хорошаго вкуса, руководившаго будущаго поэта. Если бы Державинъ не былъ строгъ къ первымъ своимъ ученическимъ опытамъ въ поэзiи, то въ послѣдствiи легко могъ бы сдѣлаться ничтожнымъ стихоплетомъ, какими дѣлаются тѣ, которые восхищаются своими дѣтскими стишками, и считаютъ ихъ достойными чтенiя, даже въ печати. Но если въ то время были неудачны и неизвѣстны его занятiя стихотворныя, то онъ обратилъ на себя вниманiе директора гимназiи, Михаила Ивановича Веревина, способностiю къ рисованiю. Въ послѣдствiи, въ запискахъ своихъ, признавался Державинъ, что выучиться рисовать хорошо онъ не могъ, но, имѣя охоту и много рисуя,

онъ непремѣнно набилъ бы себѣ руку. Между прочимъ ему удалось очень хорошо снять простымъ перомъ копию съ гравированнаго портрета императрицы Елисаветы Петровны. Копія эта такъ понравилась Веревкину, что онъ представилъ ее главному куратору, Ивану Ивановичу Шувалову, а когда поѣхалъ, въ 1759 году, къ нему, въ Москву, съ отчетами объ успѣхахъ воспитанниковъ гимназiи, то повезъ напоказъ нѣсколько геометрическихъ чертежей и карты Казанской губернии, разукрашенныя ландшафтами и различными фигурами, изображавшими, весьма остроумно, костюмы разнонародныхъ жителей казанскихъ. Эти чертежи и карты были нарисованы, по приказанiю директора, лучшими учениками гимназiи, въ числѣ которыхъ болѣе другихъ рисовалъ Державинъ.

По представленiи этихъ рисунковъ Шувалову, всѣ гимназисты, трудившіеся надъ исполненiемъ ихъ, были въ награду записаны солдатами въ различные гвардейскіе полки. Тогда для молодежи это почиталось великою честью. Державину Веревкинъ сказалъ, что онъ зачисленъ кондукторомъ въ инженерный корпусъ. Всѣ отличившіеся юноши надѣли новые мундиры, оставаясь впрочемъ по прежнему въ казанской гимназiи \*). Въ томъ же самомъ году приказано было директору

---

\*) Случалось нерѣдко въ тѣ времена видѣть, какъ нянька и дядька выведутъ на «променады», какъ тогда въ высшемъ кругу называлось, дѣтей знатныхъ родителей. Теперь, если бы на улицахъ увидѣли такой маскарадъ, то подумали бы, что рассказываетъ по городу семейство фигляровъ, потѣшающее народъ, для приглашенiя толпы на представленiе; а между тѣмъ разряженная, въ фижмахъ и напудренная нянька несетъ на рукахъ двулѣтняго мальчугана, также съ напудренными булями, прикрытыми мѣховымъ гусарскимъ кольбакомъ съ красною лопастью, украшенною галуномъ; на крошкѣ доломанъ и мантия, опушенная бобримъ или соболемъ, а на боку жестяная сабля, чтобъ не порѣзался настоящимъ; на ножкахъ желтые сафьянные сапожки, съ серебряными шпорами тогдашней формы. Это сынокъ какогонибудь графа или князя, записанный рядовымъ въ лейбъ-гвардiю гусарскій *эскадронъ* (эскадронъ). Вычурно одѣтый *казакомъ* везетъ въ зеленой колясочкѣ другаго мальчугана, лѣтъ четырехъ, одѣтаго въ кирасирскую форму того времени и также напудреннаго; на головѣ шляпа съ галуномъ, а на самомъ снiи мундиръ конногвардейскаго рейтара, съ золотымъ орломъ на груди; ножки обуты въ мягкія ботфорты. Дядька-губернёръ, во французскомъ кафтанѣ, ведетъ за

Веревкину, занимавшему также мѣсто члена губернской канцеляріи, снять планъ Чебоксаръ и отмѣтить дома, построенные въ этомъ городѣ противъ правилъ, установленныхъ правительствомъ. Учитель геометріи въ гимназіи къ тому времени умеръ, и Веревкинъ замѣнилъ его при исполненіи порученія тѣмъ, что взялъ съ собою молодого Державина, какъ болѣе другихъ знакомаго съ геометріею, и еще нѣкоторыхъ изъ его товарищей, подчинивъ впрочемъ послѣднихъ первому. Но какъ было взяться за дѣло? У нихъ не было ни познаній, ни практичности, ни инструментовъ, необходимыхъ для исполненія порученія. Обратились гимназисты за совѣтами къ начальнику: онъ зналъ столько же, сколько и они, но изобрѣлъ чрезвычайно оригинальное средство отыскивать дома, противозаконно построенные. Ширина улицъ, утвержденная правительствомъ, была въ восемь сажень. Веревкинъ и приказалъ надѣлать нѣсколько рамъ, длиною въ шестнадцать, а шириною въ восемь сажень, оковать ихъ желѣзомъ, и носить по улицамъ на цѣпяхъ: гдѣ рама не проходитъ, значитъ, тамъ улица и дома не на мѣстѣ стоятъ. На этихъ домахъ мѣломъ надписывалось: «ломать». Страхъ обуялъ мирныхъ жителей Чебоксаръ; каждый боялся за свой домъ, да и промышленность остановилась: задерживали барки, и людей, тащившихъ ихъ бичевою, сгоняли носить по улицамъ тяжелыя рамы. Нечего было дѣлать: воевода и бургомистръ должны были прибѣгнуть къ господину ревизору Веревкину, котораго какъ то и умилили.

Планъ былъ наконецъ снятъ, но въ огромнѣйшихъ размѣрахъ, такъ что во всемъ городѣ Чебоксарахъ не нашлось комнаты, въ которой его можно было бы развернуть, а потому увезли его въ Казань, съ трудомъ уложивъ въ телѣгу, и привавъ прессомъ.

---

руку семигѣтнаго преображенскаго солдата, въ зеленомъ мундирѣ, съ краснымъ камзолемъ и красными же штанами, при черныхъ штблетахъ и при бѣлой португѣ, со шпагою назадъ.

Вскорѣ послѣ этого Веревкинъ получилъ порученіе отъ главнаго куратора описать развалины Болгаръ, города Золотой Орды, и отыскать тамъ сколько возможно болѣе древностей. Веревкинъ снова взялъ съ собою Державина и, скоро соскучивъ работою, оставилъ его одного съ нѣсколькими помощниками; юноши рылись въ развалинахъ и описывали ихъ. Порученіе было очень успѣшно окончено Державиннымъ, тѣмъ болѣе, что это занятіе, отыскивать древнія вещи въ развалинахъ нѣкогда знаменитой и богатой орды, было занимательно.

Это было въ 1761 году. Въ томъ же году скончалась императрица Елисавета Петровна, а въ 1762 пришлось Державину разстаться и съ гимназіею, и съ Казанью, и начать совершенно новую жизнь. Въ февралѣ мѣсяцѣ 1762 года, получаетъ онъ бумагу изъ канцеляріи преображенскаго полка. Это былъ паспортъ отъ полка на время отпуска, даннаго ему для продолженія наукъ, срокомъ на два года, считая съ 1760 года. Державинъ былъ крайне удивленъ, впервыхъ, тѣмъ, что отпускъ ему прислали тогда, когда уже срокъ вышелъ, а ввторыхъ, что прислали ему паспортъ отъ преображенскаго полка, въ которомъ онъ никогда не хотѣлъ, да и не могъ, служить по своему ограниченному состоянію. Однако нечего дѣлать: надо было явиться въ полкъ. Державинъ поѣхалъ въ Петербургъ, и тотчасъ по приѣздѣ отправился въ преображенскія казармы и представилъ свой паспортъ дежурному въ тотъ день маіору Тевутьеву. Маіоръ былъ человекъ добрый; но на службѣ строгій, взыскательный и грубый. Увидавъ, по представленной ему бумагѣ, что Державинъ опоздалъ явиться къ сроку, онъ, не церемонясь, захохоталъ и закричалъ: «О, братъ, просрочилъ», а затѣмъ приказалъ вѣстовому отвести вновь явившагося въ полевую канцелярію, гдѣ ему произвели формальный допросъ о причинѣ просрочки. Державинъ отвѣчалъ, что онъ не зналъ не только о своемъ отпускѣ, но даже о зачисленіи въ преображенскій полкъ, а считалъ себя записаннымъ въ инженерный корпусъ, какъ ему о томъ



и говорилъ Верекинъ, почему и имѣлъ мундиръ инженерный, а не преображенскій. Ему повѣрили. Однако, по справкамъ оказалось, что онъ былъ записанъ Иваномъ Ивановичемъ Шуваловымъ въ преображенскій полкъ, отъ котораго и былъ ему написанъ отпускъ; но бумага эта была оставлена въ канцеляріи полка, и только когда вступилъ на престолъ Петръ III, и приказалъ собрать всѣхъ отпускныхъ, вспомнили объ отпускѣ Державина, срокъ котораго уже кончился.

Такъ началъ Державинъ свое служебное поприще. Денегъ у него было немного, знакомыхъ въ Петербургѣ вовсе не было, и потому онъ долженъ былъ жить въ казармахъ съ сдаточными солдатами, изъ которыхъ нѣкоторые были даже женаты. Ни музыкою, ни рисованіемъ онъ заниматься не могъ, а за книги и за перо брался только по ночамъ, когда сожители его засыпали. Но, подобно тому какъ и въ гимназіи, ему мало нравились произведенія собственнаго пера; какъ и въ гимназіи, онъ болѣею частію скрывалъ ихъ отъ другихъ, и только переложенныя имъ въ стихи простонародныя побасенки насчетъ каждаго полка приобрѣли нѣкоторую извѣстность въ кругу его товарищей. Этими побасенками началъ онъ въ то время литературныя занятія; въ послѣдствіи же пытался переложить въ стихи Телемака. Французскаго языка онъ не зналъ и дѣлалъ это переложеніе съ русскаго перевода. Замѣчательно, что въ то же самое время, когда Державинъ, молодой солдатъ преображенскаго полка, перелагалъ Телемака, тѣмъ же самымъ занимался и профессоръ элоквенціи, членъ академіи наукъ Василій Кирилловичъ Тредьяковскій. Какъ былъ переводъ Державина, неизвѣстно: онъ до насъ не дошелъ, да и не былъ конченъ. Хотя стихи Державина въ то время оставались неизвѣстными, тѣмъ не менѣе его перо принесло еще и тогда ему нѣкоторую пользу. Жены его товарищей-солдатъ часто обращались къ нему съ просьбою написать грамотку, въ роднымъ въ деревню. Молодой солдатъ, исполняя ихъ просьбы, и тѣмъ располагая къ себѣ ихъ са-

михъ и мужей ихъ, своихъ товарищей, сумѣлъ извлечь изъ этого существенную для себя пользу. Будучи простымъ солдатомъ, онъ долженъ былъ не только ходить въ строй на ученье, но и на всѣ случавшіяся въ ротѣ работы, какъ-то: для чищенія каналовъ, для привозки изъ магазина провіанта, на вѣсти къ офицерамъ и на караулы въ полковой дворъ и во дворцы, для разгребанія снѣга около сѣвжей и усыпанія пескомъ учебной площадки. Чтобы избавиться отъ болѣе тяжелыхъ изъ этихъ обязанностей, онъ сказалъ солдатскимъ женамъ, что будетъ имъ грамотки писать, но чтобы зато мужа ихъ разгребали за него снѣгъ, ходили за провіантомъ, стояли въ караулахъ и посыпали площадку. Такимъ образомъ, Державинъ избавился отъ этихъ не слишкомъ для него занимательныхъ обязанностей, а солдаты за него не только съ удовольствіемъ ихъ исправляли, но и полюбили его, благодаря небольшимъ суммамъ денегъ, которыми онъ ссужалъ ихъ при нуждѣ, полюбили до того, что когда Петръ III объявилъ гвардіи походъ въ Данію, то они выбрали Державина своимъ артельщикомъ, поручивъ ему всѣ артельные деньги и закупку нужныхъ вещей и припасовъ для похода. Приобрѣтая расположеніе солдатъ, Державинъ не забывалъ о томъ, чтобы обратить на себя вниманіе начальства; вель онъ себя чрезвычайно исправно и очень усердно занимался изученіемъ экзерсциі, даже платилъ деньги флигельману, которому было поручено учить его ружейнымъ приемамъ и фронтовой службѣ. Едва прошло три мѣсяца послѣ поселенія Державина въ Петербургъ, когда въ этомъ городѣ совершилось великое событіе для Россіи. 28 іюня 1762 года вступила на престолъ императрица Екатерина Алексѣевна. Державину суждено было сдѣлаться въ послѣдствіи громкимъ пѣвцомъ ея царствованія; ему же суждено было видѣть взволнованный Петербургъ, въ первыя минуты воцаренія государыни, провожать ее съ полкомъ въ Петергофъ и въ ту же ночь стоять на часахъ въ петергофскомъ дворцѣ. Глубоко врѣзался въ его памяти об-

разъ великой государыни, ѣхавшей передъ войсками въ преобразенскомъ мундирѣ, верхомъ на бѣломъ конѣ. Вотъ какъ, черезъ двадцать лѣтъ, говорилъ Державинъ, въ своей одѣ «Изображеніе Фелицы», обращаясь къ живописцу:

Одѣнь въ доспѣхи, въ брони златы  
И въ мужество ея красы,  
Чтобъ шлемъ блисталъ на ней пернатый,  
Зефиры вѣяли власы;  
Чтобъ конь подъ ней главой крутился  
И бурно бразды опѣналь,  
Чтобъ Нордъ съдой ей удивился  
И обладать собой избралъ.

Между вступленіемъ на престолъ императрицы и ея коронаціею, Державинъ ѣздилъ не надолго въ отпускъ, изъ котораго прямо пріѣхалъ въ Москву въ сентябрѣ. Тамъ щеголялъ онъ въ своемъ преобразенскомъ мундирѣ на голштинскій образецъ, короткомъ съ золотыми петлицами, съ желтымъ камзоломъ, съ претолстою косою, дугою выгнутою, и пуклями, какъ грибы подлѣ ушей торчащими, изъ густой сальной помады слѣпленными, но щеголялъ недолго: всѣ эти мундиры были въ пріѣзду государыни замѣнены новыми, красивѣйшими. Присутствуя на всѣхъ празднествахъ по случаю коронаціи, при которыхъ только онъ могъ присутствовать въ мундирѣ солдата преобразенскаго полка, исполняя всѣ обязанности службы, неразлучныя съ этимъ мундиромъ, разнося по ночамъ повѣстки офицерамъ, Державинъ вздумалъ было поѣхать за границу. И. И. Шуваловъ, которому Державинъ былъ извѣстенъ, благодаря Веревкину, собирался въ то время оставить Россію на нѣсколько лѣтъ. Державинъ обратился къ нему съ письмомъ, въ которомъ изъявлялъ желаніе сопровождать его въ путешествіи, явился къ вельможѣ въ пріемную утромъ, виѣстѣ съ другими, и подалъ ему письмо. Шуваловъ прочелъ его, сказалъ, чтобъ онъ другой разъ зашелъ къ

нему, и очень вѣроятно взялъ бы его съ собою. Но зато, что Шуваловъ любилъ заниматься науками и отличалъ ученыхъ людей, его считали въ Москвѣ чуть не богоотступникомъ и даже колдуномъ, знавшимъ съ злыми духами. Такъ на него смотрѣли многіе, и, въ числѣ прочихъ, тетка Державина, Феодора Савишна Блудова, которой было поручено сестрою наблюдать за поведеніемъ племянника. Узнавъ о его желаніи ѣхать съ Шуваловымъ за границу, она пришла въ неописанный ужасъ и погрозила ему чуть не проклятіемъ матери, если онъ не прекратитъ своихъ сношеній съ Шуваловымъ. Нечего было дѣлать: Державинъ, скрѣпя сердце, въ другой разъ къ Шувалову не пошелъ, и остался въ Москвѣ, продолжая стоять въ караулахъ и разносить повѣстки офицерамъ. Въ одну изъ служебныхъ прогулокъ ему случилось зайти съ повѣсткою къ князю Козловскому, который писалъ стихи. Когда Державинъ пришелъ къ нему, онъ читалъ въ слухъ одну изъ своихъ трагедій, также поэту того времени, В. И. Майкову. Вѣстовой вошелъ въ комнату офицера-стихотворца, и передалъ приказаніе; князь снова принялся читать, но солдату-поэту очень хотѣлось послушать чтеніе, какъ онъ тогда по своимъ понятіямъ считалъ, пріятнаго стихотворца, и потому остановился въ дверяхъ. Князь это замѣтилъ. «Ступай, братецъ служивый, съ Богомъ», сказалъ онъ тогда, обращаясь къ Державину. «Что тебѣ попусту зѣвать? Вѣдь ты ничего не смыслишь». Возражать не позволяла дисциплина: солдатъ молча повернулся и ушелъ, хотя таившійся въ этомъ солдатѣ будущій славный поэтъ готовъ былъ открыть своему командиру, что имѣетъ одинаковый съ его сіятельствомъ вкусъ къ стихамъ.

Долго бы, можетъ быть, пришлось послужить Державину рядовымъ, несмотря на все его рвеніе къ службѣ, если бы онъ самъ не старался всѣми мѣрами выдвинуть себя впередъ. Когда онъ увидѣлъ, что многіе изъ товарищей его были произведены въ вапралы, а о повышеніи его начальство и

не думало, подалъ онъ своему маіору, графу Алексію Григорьевичу Орлову, письмо, въ которомъ говорилъ о своихъ познаніяхъ, о своей службѣ и даже прописалъ имена всѣхъ товарищей, обогнавшихъ его въ чинахъ. Графъ, прочитавъ письмо, сказалъ: «посмотримъ», и скоро представилъ его въ капралы. Получивъ первый чинъ, Державинъ взялъ годовой отпускъ и поѣхалъ въ Казань, порадовать старушку-мать. Въ 1767 году, благодаря приобрѣтенному имъ покровительству полковаго секретаря Неклюдова, онъ былъ произведенъ въ каптенармусы, и снова не надолго ѣздилъ въ отпускъ, для свиданія съ матерью, которая, отправляя его обратно въ Петербургъ, дала ему денегъ, для покупки на ея имя у Таптыковыхъ 30 душъ крестьянъ въ Вятской губерніи. Таптыковы жили въ Москвѣ, гдѣ Державинъ и остановился для совершенія купчей крѣпости; дѣло это какъ то замѣшкалось. Державинъ зажилъ въ Москвѣ, закутилъ и проигралъ деньги, давши ему матерью для покупки деревни. Онъ занялъ денегъ у двоюроднаго брата, Блудова, крестьянъ купилъ на свое имя, и отдалъ ихъ, вмѣстѣ съ имѣніемъ матери, подъ залогъ занятыхъ денегъ. Положеніе было пехороее. Для того ли, чтобъ забыть горе, или чтобы попытать счастья въ игрѣ, онъ сталъ ѣздить изъ трактира въ трактиръ, завелъ знакомства съ не совсѣмъ честными московскими игроками и, играя, дошелъ до такой крайности, что не только нечего проигрывать было, но едва доставало средствъ на хлѣбъ и на воду, которыми онъ питался, да на полшечную сальную свѣчу, при свѣтѣ которой онъ писалъ стихи. А между тѣмъ срокъ отпуска давно кончился, и, не позаботясь о немъ, относительно служебныхъ обстоятельствъ, полковой секретарь Неклюдовъ, не миновать бы ему бѣды — суда и разжалованія въ солдаты арміи. Однако же, рано или поздно, по ѣхать въ Петербургъ ему было необходимо. Съ этою цѣлію онъ занялъ у одного знакомаго, котораго мать просила ссудить сына деньгами, въ случаѣ особенно большой его крайности, 50 рублей, и поса-

валъ съ ними въ Петербургъ; но въ Твери встрѣтился съ однимъ изъ своихъ пріятелей, которому проигралъ всѣ деньги. Тогда онъ снова занялъ 50 рублей у садовника, везшаго изъ Астрахани къ двору виноградныя лозы; но и эти деньги не пошли ему впрокъ: онъ ихъ снова проигралъ въ новгородскомъ трактирѣ. У Державина оставался всего одинъ рубль, крестовикъ, полученный отъ матери, который онъ до этихъ поръ берегъ, какъ зеницу ока. Въ это время въ Москвѣ начиналась моровая язва, и, чтобы попасть въ Петербургъ, надо было прожить, не доѣзжая до него, двѣ недѣли въ карантинѣ. Такой арестъ показался нетерпѣливому Державину слишкомъ долгимъ; главное — жить было нечѣмъ; занять, видно, не у кого было, выигрывать не на что, а играть безъ денегъ онъ не хотѣлъ. Тогда онъ объяснилъ карантинному начальнику, что съ нимъ вещей ни какихъ нѣтъ, исключая сундука, набитаго его сочиненіями, и что если сундукъ составляетъ единственную причину его задержанія, то пусть сожгутъ его. Страшное авто-да-фе совершилось тогда надъ всѣми юношескими произведеніями Державина, и онъ безъ задержанія проскакалъ въ Петербургъ. Нельзя не обвинить поэта за такую горячность, за такую непослѣдовательность въ поступкахъ. Мы уже не говоримъ о безразсудной игрѣ въ карты. Если Державинъ возилъ съ собой всѣ свои сочиненія и переводы, значитъ онъ дорожилъ ими, а если дорожилъ, то не слѣдовало уничтожать ихъ изъ-за какихъ нибудь двухъ недѣль въ карантинѣ. Это выказываетъ недостатокъ положительности въ характерѣ, а онъ тогда былъ уже не мальчикъ: ему было 27 лѣтъ. Это случилось въ 1770 году.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, онъ занялъ у своего пріятеля, Киселева, 80 рублей, выигралъ наконецъ на нихъ двѣсти, и заплатилъ всѣ свои долги. Вообще замѣтно, что на игру онъ смотрѣлъ, какъ на средство для прожитка: довольно грустные уроки, полученные имъ въ Москвѣ, Новгородѣ и Твери, не перемѣнили, должно быть, его взгляда на этотъ предметъ.

На слѣдующее лѣто (въ 1771 году) ему пришлось въ лагерѣ исправлять должность фельдфебеля. Офицеры и командиръ роты, въ которую его назначили, службы рѣшительно не знали, да и не хотѣли ею заниматься. Фельдфебелю были они обязаны тѣмъ, что смотры были хороши, а, между тѣмъ, по возвращеніи изъ лагеря, нѣкоторые изъ нихъ противились, по различнымъ причинамъ, производству его въ офицеры. Но друзья его, офицеры преображенскаго полка, Неклюдовъ, Протасовъ и Толстой, объявили, что если кто либо дурно отзовется о Державинѣ, то они, въ свою очередь, ни о комъ хорошо не отзовутся. Офицеры эти имѣли голосъ въ полку, и, въ началѣ января 1772 года, Державинъ былъ произведенъ въ прапорщики. Средства его въ то время были крайне ограничены. Нѣкоторые необходимые для обзаведенія предметы, какъ, на примѣръ, сукно и позументъ, были ему отпущены изъ казны въ счетъ жалованія. Онъ продалъ сержантскій мундиръ и купилъ англійскіе сапоги; взялъ въ долгъ старую карету у Окуневыхъ (тогда каждый офицеръ гвардіи необходимо долженъ былъ имѣть карету); занявъ небольшую сумму денегъ, купилъ еще кое-какія вещи, и, такимъ образомъ, устроился если небогатымъ, то, по крайней мѣрѣ, приличнымъ, по тогдашнему, образомъ.

Пока Державинъ привыкалъ къ своему новому положенію, на востокѣ Россіи поднималась гроза — бунтъ пугачевскій. Въ 1779 г. въ Петербургѣ уже носились слухи, что на Яикѣ (нынѣ Уралѣ) появился бѣглый казакъ Емельянъ Пугачевъ, выдававшій себя за императора Петра III, что онъ уже собралъ довольно многочисленную шайку такихъ же разбойниковъ, какъ и онъ самъ, и производитъ неистовства, предавая огню и мечу все, что добровольно не покорялось ему. Въ концѣ ноября 1779 года, былъ балъ во дворцѣ; на балѣ этомъ присутствовалъ генералъ-аншефъ Александръ Ильичъ Бибиковъ, одинъ изъ замѣчательныхъ людей вѣка Екатерины, исполнившій въ свою жизнь не мало чрезвычайно важныхъ порученій,

и, между прочимъ, усмирившій, въ 1763 году, взбунтовавшихся заводскихъ крестьянъ въ Казани. Къ несчастію, о немъ вспоминали тогда только, когда имѣли въ немъ нужду; остальное время вельможи и даже сама государыня обращалась съ нимъ холодно и сухо. Въ упоминаемую эпоху Бибиговъ тоже былъ, какъ будто, забытъ; но, на балѣ во дворцѣ, Екатерина подошла къ нему съ ласковою улыбкою, и объявила, что назначаетъ его въ Казань, для усмиренія поднявшагося въ той странѣ мятежа. Бибиговъ съ радостію взялся за новое порученіе, и сказалъ государынѣ три строки изъ русской пѣсни, примѣнивъ ихъ къ своему положенію:

Сарафанъ ли мой, дорогой сарафанъ,  
Вездѣ ты, сарафанъ, пригожаешься,  
А не надо сарафанъ — и подъ лавкою лежишь.

Въ помощь ему было назначено нѣсколько офицеровъ изъ преображенскаго, семеновскаго и измайловскаго полковъ, а указомъ по военной коллегіи велѣно было отрядить подъ команду его и потребное число войскъ. Державинъ узналъ о новомъ порученіи, возложенномъ государынею на Бибигова. Ему давно хотѣлось побывать на войнѣ, да все какъ то не удавалось. А между тѣмъ довольно сильное честолюбіе, желаніе отличиться, и наконецъ врожденная горячность и живость характера, не давали ему покоя. На этотъ разъ онъ рѣшился попытать счастья, и, не будучи назначенъ въ число офицеровъ для сопровожденія Бибигова, не будучи даже знакомъ съ этимъ генераломъ, поѣхалъ къ нему и объявилъ свое желаніе, сказалъ, что онъ уроженецъ Казани и что, зная хорошо тотъ край, можетъ принести нѣкоторую пользу въ предпринимаемомъ дѣлѣ. Бибиговъ сначала отказалъ ему; но Державинъ остался у него, говорилъ довольно долго, и, вѣроятно, въ разговорѣ старался выказать свои достоинства, потому что сумѣлъ понравиться Бибигову, который хотя, прощаясь съ нимъ, и ничего ему не общалъ, но, тѣмъ



не менѣе, въ тотъ же вечеръ принялъ его въ число своихъ офицеровъ, и приказалъ ему черезъ три дня быть готовымъ къ отъѣзду. Державину собраться было недолго. Налегѣ въ нагольномъ тулупѣ, купленнымъ имъ за три рубля ассигнаціями, поскакалъ онъ черезъ Москву въ Казань, и, приѣхавъ туда въ самый праздникъ Рождества, принялся за дѣло. Товарищи его, богатые гвардейскіе офицеры, имѣя много знакомыхъ, веселились во время праздниковъ, и мало думали, какъ объ исполненіи порученія, такъ и о томъ, чтобы отличиться. У Державина не было ни связей, ни знакомыхъ: веселиться было негдѣ, и потому, скромно проводя время съ своею матерью, разузнавалъ онъ отъ проѣзжавшихъ мужиковъ, гдѣ и что дѣлаютъ мятежники. Видя, что дѣло принимаетъ очень серіозный оборотъ, онъ донесъ Бибикову о собранныхъ имъ свѣдѣніяхъ и доказалъ, что надо дѣйствовать. Бибиковъ далъ ему важное порученіе, за исполненіе котораго онъ принялся горячо. Вообще, во время дѣйствій противъ Пугачева, Державинъ усердно хлопоталъ, всѣми мѣрами старался выказать усердіе, едва не попалъ въ руки самозванца, который однажды погнался было за нимъ, но поворотилъ, увидя пистолеты въ рукахъ Державина; поссорился даже съ саратовскимъ комендантомъ за то, что онъ не хотѣлъ возводить укрѣпленій въ своемъ городѣ, когда непріятель былъ уже близко. Повидимому, Державинъ своею дѣятельностію не очень то любъ былъ Пугачеву, потому что послѣдній назначилъ 10,000 рублей тому, кто доставитъ ему Державина живаго, или мертваго.

Едва ли Державинъ имѣлъ тогда много времени заниматься поэзіею, среди своихъ военныхъ распоряженій; но стихотворенія его, извѣстныя подъ именемъ *Читалагайскихъ Одь*, должно полагать, были написаны въ этотъ промежутокъ времени. Еще нельзя не упомянуть о написанной тогда же *Одь на смерть Бибикова*, замѣчательной, какъ выраженіе личныхъ чувствъ поэта. Въ знакъ глубокой горести, онъ написалъ оду

даже безъ риѣмъ, желая облечь этимъ стихи въ трауръ. Бибиковъ умеръ, дѣйствительно, не вовремя: его и вообще можно было пожалѣть всѣмъ русскимъ, а Державину въ особенности. Послѣ смерти его, Державинъ попалъ между двухъ огней, между двухъ начальниковъ. Потемкинъ, родственникъ Таврическаго, былъ назначенъ начальникомъ секретной комиссіи, казанской и оренбургской, а графъ Панинъ — главнокомандующимъ. Особенно непріятно было положеніе Державина послѣ поимки Пугачева. Державину нужно было извѣстить объ этомъ и Панина, и Потемкина. Случилось такъ, что Панинъ узналъ объ этомъ событіи не отъ посланнаго Державина къ нему самому, а чрезъ посланнаго къ Потемкину, и, думая, что Державинъ хотѣлъ прежде его извѣстить начальника комиссіи, чтобъ угодить ему, какъ родственнику любимца императрицы, страшно разсердился на него. Но Державинъ рѣшился, во что бы ни стало, пріобрѣсть расположеніе графа. Съ этою цѣлью, когда получилъ онъ приказаніе отъ Потемкина явиться къ нему, въ Казань, то и заѣхалъ, хоть это было и не по дорогѣ, въ Симбирскъ, гдѣ въ то время находился графъ Панинъ. Подъѣзжая къ Симбирску рано утрому, встрѣтилъ онъ этого пышнаго генерала, ѣхавшаго съ большимъ поѣздомъ на охоту. Державинъ не хотѣлъ явиться къ нему въ дорожномъ костюмѣ, и потому свернулъ въ сторону. Пріѣхавъ въ городъ, онъ немедленно явился къ генералу князю Голицыну, котораго очень удивило смѣлое желаніе незнатнаго офицера явиться къ раздраженному главному начальнику. «Какъ», спросилъ Голицынъ, «вы здѣсь, за чѣмъ?...» Державинъ отвѣчалъ, что ѣдетъ, по предписанію Потемкина, въ Казань, но разсудилъ засвидѣтельствовать прежде свое почтеніе главнокомандующему. «Да знаете ли вы», возразилъ князь, «что онъ недѣли съ двѣ публично за столомъ болѣе ничего не говоритъ, какъ о томъ, что дожидается отъ государыни повелѣнія повѣсить васъ вмѣстѣ съ Пугачевымъ?» Державинъ отвѣчалъ, что отъ царскаго гнѣва нигдѣ нельзя уйти, и что

если его должно повѣсить, то уже конечно нашли бы его вездѣ, заѣхалъ ли бы онъ теперь въ Симбирскъ, или не заѣхалъ. «Хорошо», сказалъ князь, «но, любя васъ, я все-таки вамъ совѣтую къ нему не являться; поѣзжайте лучше къ Потемкину, и ищите его покровительства». Но Державинъ не послушалъ добраго совѣта. Ему было мало милости Потемкина; онъ хотѣлъ непремѣнно завладѣть расположеніемъ Панина, и, когда графъ возвратился съ охоты, то явился къ нему и объяснилъ, что, проѣзжая мимо Симбирска, по предписанію генерала Потемкина, явился засвидѣтельствовать свое почтеніе главнокомандующему. Графъ, не говоря впрочемъ ничего непріятнаго, очень гордо и сухо обошелся съ нимъ, и спросилъ, видѣлъ ли онъ Пугачева. Державинъ сказалъ, что видѣлъ самозванца, когда послѣдній погнался было за нимъ. Панинъ, любившій похвалиться своею властію надъ Пугачевымъ, приказалъ полковнику Михельсону привести его. Вотъ какъ описываетъ эту сцену Державинъ: «Черезъ нѣсколько минутъ представленъ самозванецъ въ тяжелыхъ оковахъ, по рукамъ и ногамъ, въ замасленномъ, поношенномъ, скверномъ тулупѣ. Лишь пришелъ, то и сталъ передъ графомъ на колѣни. Лицемъ онъ былъ кругловатъ, волосы и борода окомелькомъ, черные, склоченные, росту средняго, глаза большіе черные на соловомъ лазурѣ, какъ на бѣльмахъ. Отъ роду 35 или 40 лѣтъ (Пугачеву было тогда 32 года). Графъ спросилъ: «Здоровъ ли, Емельянъ?» — «Ночи не сплю, все плачу, ваше графское сіятельство!» — «Надѣйся на милосердіе государыни,» и съ этимъ словомъ приказалъ отвести его обратно туда, гдѣ онъ содержался».

Когда Пугачева увели, Панинъ, съ бывшими при немъ офицерами, пошелъ ужинать, а Державинъ, считая себя въ правѣ сидѣть за столомъ вмѣстѣ со всѣми, послѣдовалъ за обществомъ, хотя и не былъ приглашенъ. Это не понравилось графу. Примѣтя Державина за ужиномъ, онъ нахмурился, заморгалъ по привычкѣ глазами и всталъ изъ-за стола, ска-

завъ, что забылъ отправить куріера къ государынѣ. Цѣль Державина, какъ видно, еще далеко не была достигнута. На другой день утромъ онъ явился въ пріемную главнокомандующаго вмѣстѣ съ другими офицерами. Черезъ нѣсколько часовъ графъ вышелъ изъ кабинета, въ сѣроватомъ атласномъ широкомъ шлафроѣ и въ французскомъ большомъ колпакѣ, перевязанномъ розовыми лентами. Гордо, не говоря ни съ кѣмъ, прошелся онъ по пріемной и, разумѣется, не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на Державина; но послѣдній подошелъ къ нему, взялъ его за руку, и сказалъ, что, зная о неудовольствіи на него графа, желаетъ съ нимъ объясниться. Гордый графъ, неожиданный такого смѣлаго поступка отъ своего офицера, разкричался на него, припомнилъ саратовскіе безпорядки, и велѣлъ идти за собою въ кабинетъ. Державинъ, выслушавъ съ почительнымъ видомъ окрикъ генерала, отвѣчалъ ему: «Все это правда, ваше сіятельство. Я виноватъ пылкимъ моимъ характеромъ, но не ревностною службою. Кто бы сталъ васъ обвинять, что вы, бывъ въ отставкѣ, на повоѣ, изъ особенной любви къ отечеству и приверженности къ высочайшей государынѣ, приняли на себя въ столь опасное время предводить войсками противъ злѣйшихъ враговъ, и не пада своей жизни? Такъ и я, когда все погибло, забывъ себя, внушалъ въ комендантѣ и во всѣхъ долгъ присяги относительно обороны города».

Такое ловкое оправданіе, основанное на сравненіи съ самимъ Панинымъ, подѣйствовало, и тронуло послѣдняго до слезъ. Онъ усадилъ Державина, и тутъ же обѣщалъ ему покровительство. Вопедшіе въ это время въ кабинетъ главнокомандующаго генералы не могли понять причины такой быстрой перемѣны; Державинъ уже вмѣшался въ общій разговоръ, и, когда рѣчь зашла о счастливой охотѣ прошлаго дня, онъ очень вкрадчиво замѣтилъ графу, что успѣхъ ея приписываетъ себѣ.

— Какъ? спросилъ графъ.

— По русской пословицѣ, ваше сіятельство, «какова встрѣча, такова и охота.» При самомъ выѣздѣ изъ города, я васъ встрѣтилъ и сердцемъ пожелалъ вамъ удачной охоты.

Графу это понравилось. Онъ разсѣялся, и, выходя изъ кабинета, пригласилъ Державина къ обѣду, а за столомъ только съ нимъ однимъ говорилъ. Послѣ обѣда, бывшаго, какъ водилось, въ часъ пополудни, въ шесть часовъ, генералы и офицеры снова собрались къ графу; онъ снова долго и милостиво бесѣдовалъ съ Державинимъ, который былъ тогда конечно наверху блаженства. Но блаженство это продолжалось недолго. Когда графъ сѣлъ играть въ вистъ, Державинъ, думая угодить ему, выказавъ усердіе къ службѣ, сказалъ, что, не желая оставаться празднымъ, онъ тотчасъ же ѣдетъ къ Потемкину и что если у графа есть какія порученія, то онъ въ обязанность вмѣнитъ ихъ исполнить. Такое выраженіе усердія къ службѣ не понравилось графу. Имя Потемкина непріятно подѣйствовало на его слухъ: онъ видимо измѣнился въ лицѣ, сурово отвѣчалъ, что порученій не будетъ, и навсегда сдѣлался недоброжелателемъ Державина, который очень раскаявался въ послѣдствіи, что не поласкалъ долѣе самолюбія графа, тѣмъ болѣе, что и Потемкинъ на него сильно разгнѣвался за то, что онъ прежде, чѣмъ явиться къ нему, заѣзжалъ къ Панину. Такимъ образомъ, желая угодить обоимъ начальникамъ вдругъ, Державинъ не угодилъ ни тому, ни другому.

Слѣдствіемъ таковой неловкой политики было то, что Державинъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, узналъ, какъ Панинъ описалъ его самыми черными красками государынѣ, а бывший тогда подполковникомъ преображенскаго полка знаменитый Григорій Александровичъ Потемкинъ, вѣроятно, въ слѣдствіе навѣтовъ своего родственника, тоже неслишкомъ былъ расположенъ къ своему подчиненному. Вмѣсто награды, онъ получалъ по службѣ однѣ непріятности, и наконецъ, раздосадованный на судьбу, неблаговолившую къ нему въ то

время и въ денежномъ отношеніи, обратился съ просьбою о награждѣ къ своему подполковнику. Въ просьбѣ этой Державинъ выписалъ всѣ свои заслуги, всѣ опасности, которымъ подвергался во время дѣйствій противъ Пугачева, упомянулъ о разореніи во время военныхъ дѣйствій его имѣнія, и не забылъ даже перечислить всѣхъ своихъ сверстниковъ, которые были награждены, а сдѣлали, какъ говорилъ онъ, гораздо меньше его. Потемкинъ обѣщалъ исполнить его просьбу, но не исполнилъ. Державинъ еще разъ напомнилъ ему, и вновь ничего не получилъ. Тогда онъ, чрезъ статсъ-секретаря Безбородку, подалъ государынѣ просьбу. Въ ней исчислилъ онъ, еще съ большею подробностію, нежели въ просьбѣ къ Потемкину, всѣ свои заслуги, изъ которыхъ, правду сказать, далеко не всѣ были такъ важны, какъ онъ думалъ, приложилъ приказы начальниковъ своихъ, въ которыхъ объявлялись ему благодарности, жаловался на предпочтеніе сверстниковъ, говоря, что онъ одинъ остается незнагражденнымъ, такъ что, наконецъ, въ декабрѣ 1776 года, былъ призванъ къ Потемкину, спросившему его: «какой награды онъ желаетъ?» Сперва Державинъ говорилъ, что ему довольно благорасположенія государыни, но потомъ объявилъ, что желаетъ чина армейскаго полковника и награжденія деревнями. Потемкинъ обѣщалъ доставить ему и то и другое, приказалъ составить объ этомъ дѣлѣ докладную записку, и наконецъ, въ 1777 году, Державинъ былъ награжденъ, хотя и несовсѣмъ по желанію. Онъ получилъ триста душъ крестьянъ въ Бѣлорусской губерніи, но, вмѣсто чина полковника — чинъ коллежскаго совѣтника, съ переводомъ въ гражданскую службу, чему онъ сильно противился. Къ этому же времени онъ значительно поправилъ свои денежные обстоятельства, единственно карточною игрою. Еще въ 1776 г. было ему выдано изъ казны 7,000 р., вмѣсто потребованныхъ имъ 25,000 р., за убытки, понесенные имѣніемъ его во время войны. На эти 7,000 р. онъ очень хорошо обзавелся; заплатилъ долги; на оставшіеся отъ всѣхъ этихъ расхо-

довъ 50 рублей выигралъ 40,000 р.; выпутался окончательно изъ долговъ и зажилъ не хуже самыхъ богатыхъ товарищей. Вновь полученныя триста душъ окончательно упрочили его благосостояніе. Постоянно заботясь о своей служебной карьерѣ, Державинъ въ то время хотя и писалъ стихи, но печаталъ ихъ рѣдко, безъ подписи, и вообще былъ мало извѣстенъ, какъ поэтъ. Нѣкоторыя изъ его произведеній того времени, какъ, напримѣръ, *Петру Великому*, хотя и нравились публикѣ, однако большинство этихъ произведеній, дѣйствительно, не заслуживали вниманія.

Державинъ въ это время всѣми силами старался подражать Ломоносову, не чувствуя, что его поэтической талантъ несравненно выше таланта Ломоносова, не понимая, что подобное подраженіе свыввало его собственныя поэтическія силы. Зато, съ 1777 года, поэзія его приняла совершенно другой характеръ. Правда, и новыя произведенія его не были сразу оцѣнены публикою, хотя нѣкоторыя лица изъ среды ея, какъ, напримѣръ, Дмитріевъ, превосходившія другихъ поэтическимъ вкусомъ, удивлялись, какъ мало обращаютъ вниманія на такія превосходныя стихотворенія; но, тѣмъ не менѣе, съ тѣхъ поръ талантъ Державина сталъ самобытенъ и высокъ; поэтъ откинулъ миеологическую дребедень и всякія свойственныя тому времени притязанія на церемонное знакомство и сношенія съ олимпійскими богами и музою, въ которой онъ хотя и взывалъ, но далеко не для того, чтобы призвать ее дѣйствительно на помощь, а такъ, по старой привычкѣ, для того, чтобы пошутить: «приди», говоритъ онъ, «во мнѣ, муза»....

Приди, или въ облакѣ спустился,  
Или хоть въ саняхъ прокатися  
На легкихъ рѣзвыхъ шестерней  
Оленяхъ бѣлыхъ, златорогихъ:  
Какъ ѣздить барни зимой  
Въ странахъ сибирскихъ, хладомъ строгихъ.

Такое безцеремонное приглашеніе музѣ прокатиться, какъ барынь, на оленяхъ, причлось бы прежде стихотворцами, да чуть ли и не самимъ Державинымъ, къ числу уголовныхъ преступленій; но теперь онъ далъ полную свободу своей мысли и чувству, стремился къ простотѣ и старался подражать природѣ. Причиною такой благопріятной пережѣны была отчасти прочитанная имъ около того времени эстетика умнаго Батте, который подражаніе природѣ ставилъ въ искусствѣ выше всего остальнаго. Благодаря идеямъ, находящимся въ этомъ прекрасномъ сочиненіи, и собственному наконецъ пробившемуся на свѣтъ вкусу, Державинъ попалъ на настоящую дорогу. Впрочемъ, кромѣ книги Батте, этому, полагать можно, не мало способствовала тихая семейная жизнь, доставлявшая ему много счастья и, если можно такъ выразиться, разогрѣвшая его, потому что, въ апрѣлѣ 1778 года, онъ женился на Екатеринѣ Яковлевнѣ Бастидоновой, мать которой была кормилицею великаго князя Павла Петровича, а отецъ камердинеромъ императора Петра III. Екатерина Яковлевна была, дѣйствительно, женщина любящая, умная, и хотя она и получила въ пансіонѣ самое обыкновенное образованіе, но, по своей любознательности, очень обогатила своей умъ въ послѣдствіи. По выходѣ замужъ, она много трудилась надъ изученіемъ русской и французской литературы, старалась отъ своихъ знакомыхъ приобрѣсти нѣкоторыя познанія въ музыкѣ и архитектурѣ и, вообще, благодаря собственному желанію и умному образованному обществу, которымъ она была окружена, чрезвычайно развила умъ и вкусъ. Въ довершеніе всего, она отлично вышивала по соломѣ. Одна изъ комнатъ дома Державиныхъ была вся убрана соломенными обоями, работы хозяйки. Сверхъ того, она превосходно рисовала. Одно изъ стихотвореній Державина, *Счастливое Семейство*, посвященное Ржевскому, было написано поэтомъ на оборотѣ листа, на которомъ супруга его изобразила въ силуэтахъ все дружественное имъ семейство Ржевскихъ.



Державинъ всегда съ восторгомъ говорилъ о Екатеринѣ Яковлевнѣ, и постоянно называлъ ее въ нѣкоторыхъ стихахъ и даже разговорахъ Пльнирою. И онъ ни мало не ошибался: плѣнивъ его сердце, она сумѣла доставить ему полное благополучіе. Состояніе его, благодаря счастливому окончанію одного дѣла въ сенатѣ, нѣкоторымъ покупкамъ и безденежному приобрѣтенію \*) населенной земли на Днѣпрѣ, доходило до 1,200 душъ. Казалось лучшаго нельзя было требовать, а между тѣмъ на службѣ Державину сильно не счастливо было. Очутясь въ статской службѣ, онъ рѣшилъ, что ему должно исвать знакомства между знатными людьми, могущими доставить хорошее мѣсто. Для этого онъ познакомился съ княземъ Александромъ Алексѣевичемъ Вяземскимъ, бывшимъ тогда въ большой милости у государыни, и занимавшимъ мѣсто генераль-прокурора. Вяземскій, дѣйствительно, доставилъ ему мѣсто въ сенатѣ, и Державинъ старался, какъ можно болѣе, расположить въ свою пользу князя и все его семейство, изъ чего видна въ Державинѣ вовсе не поэтическая способность поддѣлываться подъ людей значительныхъ. Онъ и въ карты игралъ съ генераль-прокуроромъ, и читалъ ему книги, за которыми они оба дремали, и писалъ стихи, въ которыхъ воспѣвалъ любовь княгини къ своему супругу, зная очень хорошо, что этой любви и въ поминѣ не было, и, дѣйствительно, сумѣлъ расположить къ себѣ все это семейство. Черезъ нѣсколько времени, Вяземскій далъ ему мѣсто еще лучшее, оставивъ впрочемъ подъ своимъ начальствомъ. Однако, вскорѣ между ними завелись различнаго рода неудовольствія. Державинъ перессорился со многими ближайшими начальниками, чѣмъ навлекъ на себя нерасположеніе генераль-прокурора. Причиною этого нерасположенія была отчасти и знаменитая ода *Фелица*. Неприятности съ высшимъ начальникомъ дошли нахо-

---

\*) Тогда императрица разрѣшила Потемкину, а Потемкинъ — губернаторамъ, раздавать даромъ вновь приобрѣтенныя крымскія и днѣпровскія земли.

нецъ до того, что, въ 1784 году, Державинъ принужденъ былъ выйти въ отставку. Во время службы онъ получилъ чинъ статскаго, а при отставкѣ — дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и, что всего важнѣе, узналъ, что государыня, подписывая указъ объ его производствѣ и увольненіи, сказала статсъ-секретарю графу Безбородкѣ: «Скажите ему (то есть, Державину), что я имѣю его на замѣчаніи. Пусть теперь отдохнетъ, а какъ надобно будетъ, то я его позову». Изъ этихъ словъ онъ не могъ не заключить, что государыня къ нему расположена. Этимъ расположеніемъ онъ былъ обязанъ отчасти своей служебной дѣятельности, а главнѣйшмъ образомъ появившейся въ 1783 году его *Фелиць*, лучшей изъ его одъ, по простотѣ изложенія, по теплотѣ чувства, по мѣткимъ сатирическимъ намекамъ на современное общество. Въ этомъ стихотвореніи были безпощадно осмѣяны многія современныя дѣла, но проявлено особенное почитаніе къ государынѣ. Ясно, что стихотвореніе это не могло быть напечатано, да и въ рукописи не могло быть безопасно для автора распространяемо, заключаая въ себѣ очень много подробностей, относительно образа жизни и образа дѣйствій всего высшаго общества того времени, а дѣйствія, въ одѣ описанна вѣрно и правдиво, были и некрасивы и не приносили чести тѣмъ лицамъ, которыя ими отличались. Державинъ хранилъ рукопись *Фелицы* въ тайнѣ, а между тѣмъ *Фелица* была прочтена императрицею, мигомъ распространилась въ тысячахъ тысячъ копій и доставила много славы автору. Вотъ какъ это было.

Императрица имѣла обыкновеніе въ свободные часы заниматься литературою и, между прочимъ, въ видѣ правоученія для любимаго своего внука, великаго князя Александра Павловича, написала сказку о «Царевичѣ Хлорѣ», которому волшебница Фелица помогла найти *розу безъ шиповъ*, то есть, добродѣтель. Эта сказка подала Державину мысль написать обращеніе къ государынѣ, которую онъ тогда искренно считалъ верхомъ совершенства человѣческихъ добродѣтелей. Въ

этомъ обращеніи онъ называетъ ее Фелицею и просить указать ему, какъ и царевичу младому Хлору способъ

Взойти на ту високу гору,  
Гдѣ роза безъ шиповъ растеть,  
Гдѣ добродѣтель обитаетъ...

просить у нея наставленія,

Какъ пишно и правдиво жить,  
Какъ укрощать страстей волненье  
И счастливымъ на свѣтѣ быть.

Затѣмъ онъ съ удивленіемъ исчисляеть всѣ достоинства Фелицы, и сравниваетъ ихъ съ своими дурными наклонностями, съ порочными привычками. Но всѣ эти недостатки, взводимые мурзою (поэтъ въ *Фелицѣ* называетъ себя киргизъ-кайсацкимъ мурзою) на самого себя, принадлежали собственно всему тогдашнему современному обществу, или, вѣрнѣе сказать, многимъ извѣстнымъ въ государствѣ и при дворѣ важнымъ особамъ, на примѣръ, блистательному временщику Потемкину, гордому Вяземскому и другимъ. На примѣръ трудно было не узнать Потемкина, когда поэтъ говоритъ:

Или въ пиру я пребогатомъ,  
Гдѣ праздники для меня даютъ,  
Гдѣ блещетъ столъ серебромъ и златомъ,  
Гдѣ тысячи различныхъ блюдъ:  
Тамъ славный окорокъ вестфальскій,  
Тамъ звѣнья рыбы астраханской,  
Тамъ пловъ и пироги стоятъ,  
Шампанскимъ вафли запиваю,  
И все на свѣтѣ забываю  
Средь винъ, сластей и аромать.

Орлова изображала слѣдующая строфа:

Или музыкой и пѣвцами,  
Органомъ и волынкой вдругъ,

Или кулачными бойдами  
И пляской веселю мой духъ;  
Или о всѣхъ дѣлахъ заботу  
Оставя, ѣзжу на охоту,  
И забавляюсь ласкъ псовъ;  
Или надъ несконными брегами  
Я тѣпшусь по ночамъ рогами  
И греблей удалыхъ гребцовъ:

А Вяземскій, тогдашній начальникъ Державина, могъ  
быть узнанъ всѣми въ слѣдующихъ стихахъ:

Иль, сидя дома, я проважу,  
Играя въ дураки съ женой;  
То съ ней на голубятню лажу,  
То въ жмурки рѣзвимся порой;  
То въ свайку съ нею веселюся,  
То ею въ головѣ ищуся;  
То въ книгахъ рыться я люблю,  
Мой умъ и сердце просвѣщаю:  
Полкана и Бову читаю,  
За Библией, зѣвая, сплю.

Во всѣхъ же обращеніяхъ къ Фелицѣ, т. е. къ самой  
Екатеринѣ, сыплются безчисленныя похвалы, которыя можно  
было бы назвать самою грубою лестью, если бы не было из-  
вѣстно, что Державинъ въ это время писалъ отъ полноты  
чувствъ и съ искреннимъ убѣжденіемъ:

Неслыханное также дѣло,  
Достойное Тебя одной,  
Что будто Ты народу смѣло  
О всемъ, и въявь, и подъ рукой,  
И знать! и мыслить позволяешь,  
И о себѣ не запрещаешь  
И быль, и небыль говорить;  
Что будто самымъ кроводиамамъ,  
Твоихъ всѣхъ милостей зондамъ,  
Всегда склоняешься простить.

Далѣе, хвала вѣвъ Екатерины, поэтъ порицаетъ прежнія времена, говоря:

Тамъ съ именемъ Фелицы можно  
Въ строкѣ описку поскоблить,  
Или портретъ неосторожно  
Ея на землю уронить \*);  
Тамъ свадебъ шутовскихъ не парать,  
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарять,  
Не щелкаютъ въ усы вельможъ;  
Близья насѣдами не клохчуть,  
Любимцы въявь имъ не хохочуть,  
И сажей не мараютъ рожъ \*\*).

Написавъ это стихотвореніе въ 1782 г., Державинъ рѣшился прочесть его только двумъ своимъ пріателямъ, Львову и Капнисту, которые рѣшили, что, по причинѣ намековъ на сильныхъ царедворцевъ того времени, а отчасти и по причинѣ слышномъ, какъ имъ тогда казалось, свободного и простаго обращенія къ императрицѣ, въ которому тогда еще не привыкли, стихи эти не должны быть извѣстны ни свѣту, ни двору. Авторъ согласился съ этимъ. Много времени прошло; никто изъ его близкихъ знакомыхъ не видалъ, и не слыхалъ *Фелицы*. Почти черезъ годъ, какъ-то утромъ, зашелъ къ нему въ кабинетъ знакомецъ и сослуживецъ его, Осипъ Петровичъ Козодавлевъ (въ послѣдствіи онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ), жившій съ нимъ въ одномъ домѣ. Державинъ въ это время, разбирая свои бумаги, вынулъ ихъ изъ бюро вмѣстѣ съ листомъ, на которомъ была написана *Фелица*. Козодавлевъ, увидя эти стихи, упросилъ Гавріила Романовича дать ему ихъ на нѣсколько минутъ, чтобъ прочесть своей тетевѣ,

---

\*) Императрица Екатерина II отмѣнила строгія наказанія за ошибки въ всеподданѣйшихъ просьбахъ, и помиловала какого-то бѣднаго чиновника, уронившаго въ присутственномъ мѣстѣ ея портретъ, за что въ прежнія времена подвергали казни.

\*\*) Это все намеки на свадьбу въ *Ледяномъ домѣ*, время императрицы Анны Іоанновны, и разныя грубыя шутки былаго времени при дворѣ.

Пушкиной, страстно любившей стихи вообще, и державинскіе въ особенности. Державинъ уступилъ просьбамъ Козодавлева и черезъ два часа получилъ стихи обратно. Но, видно, Козодавлевъ показалъ ихъ не одной Пушкиной, да и успѣлъ, кажется, списать копію. Черезъ нѣсколько дней Державинъ получилъ приглашеніе отъ И. И. Шувалова пріѣхать къ нему. Гавріилъ Романовичъ отправился. Шуваловъ съ озабоченнымъ видомъ сказалъ ему, что князь Потемкинъ хочетъ прочесть написанные имъ стихи, и потому онъ, Шуваловъ, хотѣлъ спросить автора, отсылать ихъ князю или нѣтъ.

— Какіе стихи? спросилъ Державинъ.

— «Мурзы къ Фелицѣ.»

— Развѣ вы знаете ихъ? Какъ они могли попасть къ вамъ?

— Козодавлевъ далъ мнѣ ихъ по дружбѣ, отвѣчалъ Шуваловъ изумленному поэту, который затѣмъ спросилъ:

— Какъ же князь Потемкинъ-то узналъ о нихъ?

— А вотъ какъ, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ: — вчера обѣдали у меня Стрекаловъ, графъ Безбородко, графъ Заводовскій и еще нѣсколько любителей литературы. Когда стали говорить, что у насъ не пишутъ еще легкихъ и пріятныхъ стиховъ, я прочелъ имъ ваши стихи, а Стрекаловъ, чтобы подслужиться князю Потемкину, рассказалъ ему всё, что тамъ сказано насчетъ его. Не переписать ли и не выбросить ли тѣхъ стиховъ, которые до него относятся?

— Нѣтъ, отвѣчалъ, нѣсколько подумавъ, Державинъ — потрудитесь ваше сіятельство отослать ихъ, какъ они есть. Если мы чтонибудь выкинемъ, то покажемъ, что дѣйствительно былъ умыселъ на личное оскорбленіе князя, чего у меня и въ умѣ никогда не было, а писаны стихи для забавы на счетъ всѣхъ человѣческихъ слабостей, и больше ничего.

Послѣ этого Державинъ уѣхалъ домой и попросилъ своего пріятеля Львова предупредить князя Безбородку, статсъ-секретаря императрицы, на случай, если государыня потребуеъ

къ себѣ новую оду, что одою этою поэтъ не хотѣлъ никого оскорбить. Львовъ передалъ просьбу Державина Безбородкѣ. Неизвѣстно, читалъ ли Потемкинъ тогда *Фелицу*; только о ней на время замолчали.

Въ 1783 году, княгиня Екатерина Романовна Дашкова предприняла изданіе журнала *Собесѣдникъ любителей русскаго слова*, въ который допускались только произведенія оригинальныя. Журналъ этотъ имѣлъ цѣлю придать какъ можно болѣе жизни русскаго литературѣ, развить мысль и вкусъ русскаго общества. Больше всѣхъ трудилась для журнала императрица. Кромѣ своихъ сказокъ, остроумныхъ отвѣтовъ Фонъ-Визину и нѣкоторыхъ другихъ мелкихъ статей, она постоянно помѣщала въ *Собесѣдникъ* свои *записки о русской исторіи*.

Козодавлевъ, зная, что княгиня Дашкова съ удовольствіемъ принимаетъ хорошіе русскіе стихи, не спросясь Державина, доставилъ ей *Фелицу*, и на первой страницѣ перваго нумера *Собесѣдника* была напечатана: *Ода къ премудрой киргизъ-кайсацкой царевнѣ Фелицѣ, писанная нѣкоторымъ татарскимъ муззою, издавна поселившимся въ Москвѣ, а живущимъ по дѣламъ своимъ въ Санктпетербургѣ. Переведена съ арабскаго языка 1782 г.* Но какъ въ *Собесѣдникъ* переводы не допускались, то въ выноскѣ и было сказано: «Хотя имя сочинителя намъ и неизвѣстно, но извѣстно намъ то, что сія ода точно сочинена на російскомъ языкѣ.» По воскресеньямъ княгиня обыкновенно ѣздила къ государынѣ съ докладомъ, и въ первое же воскресенье, по отпечатаніи *Собесѣдника*, отвезла ей книжку этого журнала. Въ понедѣльникъ, по приказанію императрицы, Дашкова снова пріѣхала къ ней, и застала государыню, за чтеніемъ *Собесѣдника*, въ слезахъ. «Кто написалъ и откуда вы взяли это стихотвореніе?» спросила она Дашкову о *Фелицѣ*. Дашкова, не зная, чему приписать этотъ вопросъ, не рѣшалась, какъ ей отвѣчать; но Екатерина, видя ея замѣшательство, предупредила ее: «Не опасайтесь, сказала великая государыня, я только васъ о томъ спрашиваю, кто бы такъ ко-

ротко могъ знать меня, и умѣлъ такъ хорошо меня описать, что, видишь, я плачу!» Тогда Еватерина Романовна сообщила ей, что авторъ *Фелицы* — Державинъ, и насакала о немъ много хорошаго. Нѣсколько дней спустя, въ то время, когда Гавріиль Романовичъ обѣдалъ у начальника своего, князя Вяземскаго, почтамтскій куріеръ привезъ ему пакетъ съ надписью: *Изъ Оренбурга отъ киргизской царевны мурзѣ Державину*. Въ пакетѣ была великолѣпная золотая табакерка, осыпанная брилліантами, и наполненная 500 червонцами. Державинъ показалъ посылку своему начальнику, чтобы не навлечь на себя подозрѣнія во взяточничествѣ, и спросилъ его совѣта, принять табакерку или нѣтъ. Сначала Вяземскій сердито проворчалъ: «Что за подарки отъ киргизцевъ!» но, увидѣвъ модную французскую отдѣлку табакерки, улыбнулся, и сказалъ: «Хорошо, братецъ, вижу и поздравляю. Возьми, когда жалуютъ.» Однако, князь никакъ не могъ простить подчиненному, что ода была представлена императрицѣ не черезъ него, какъ будто онъ когда нибудь рѣшился бы представить ее, и едва ли простилъ бы ему намеки на него, въ *Фелицѣ*, тѣмъ болѣе, что, Вяземскій каждую сатирическую піесу *Собесѣдника* принималъ на свой счетъ, и сильно косился на этотъ журналъ, несмотря на дѣятельное участіе въ немъ самой императрицы. Словомъ, *Фелица* послужила однимъ изъ поводовъ къ раздору между генераль-прокуроромъ и его подчиненнымъ; но государыня хотѣла видѣть послѣдняго. Поэтъ былъ представленъ ей въ одно воскресенье, въ кавалергардской залѣ зимняго дворца. Увидѣвъ приближавшуюся императрицу, Державинъ сталъ на колѣни, и съ благоговѣніемъ поцѣловалъ протянутую ему руку. Впрочемъ, государыня не сказала ему ни слова, но посмотрѣла на него такъ пронизательно, что онъ во всю свою жизнь не могъ забыть этого взгляда. Съ тѣхъ поръ *Фелицу* всѣ стали читать. Многіе удивлялись смѣлости поэта; многіе сердились за намеки на нѣкоторые личности; многіе же, вслѣдъ за импера-



трицею, поняли истинныя достоинства поэмы. Какъ бы ни было, но слова, сказанныя государынею при докладѣ объ отставкѣ Державина, были слѣдствіемъ милости, которую она оказывала ему за *Фелицу*.

По выходѣ въ отставку, въ 1784 году, Державину удалось окончить одну изъ своихъ лучшихъ философическихъ одъ. Еще въ 1780 году, въ первый день пасхи во дворцѣ, у всенощной, онъ почувствовалъ желаніе написать оду, прославляющую Бога, и тогда же, возвратясь домой, написалъ первыя строфы знаменитой оды *Богъ*, которая начинается величественными стихами:

О ты, пространствомъ безконечный,  
Живый въ движеніи вещества,  
Теченьемъ времени превѣчный,  
Безъ лицъ, въ трехъ лицахъ божества!  
Духъ всюду сущій и единый,  
Кому нѣтъ мѣста и причины,  
Кого никто постичь не могъ,  
Кто все собою наполняетъ,  
Объемлетъ, зиждетъ, сохраняетъ,  
Кого мы называемъ — Богъ!

Но потомъ, занятый службою и развлекаемый свѣтомъ, Державинъ не имѣлъ времени окончить ее, а между тѣмъ чувствовалъ сильное желаніе переложить на бумагу свои высокіе поэтическіе помыслы о божествѣ. Наконецъ, по выходѣ въ отставку, Державинъ рѣшился въ уединеніи окончить оду, и, разставшись съ женою, поѣхалъ въ свое бѣлорусское имѣніе. Однако, доѣхавъ до Нарвы, Державинъ увидѣлъ, что дорога зимняя пропадаетъ, да притомъ ему пришло въ голову, что въ крестьянскихъ избахъ (въ Бѣлоруссіи у него имѣніе было оброчное), безъ господской усадьбы, неудобно будетъ писать стихи, потому нанялъ въ Нарвѣ, у одной нѣмки, комнату со столомъ, оставилъ своихъ людей на постояломъ дворѣ, и,

запершись, писалъ оду «Богъ» нѣсколько дней сряду. Не докончивъ послѣдняго куплета почью, онъ уснулъ передъ разсвѣтомъ и вскорѣ проснулся, чувствуя, что его окружаетъ какой-то свѣтъ: его воображеніе было, дѣлительно, такъ разгорячено, что ему казалось, будто стѣны его комнаты сіяли. Онъ заплакалъ, и, сознавая все непостижимое величіе воспѣваемого, прекрасно окончилъ оду сознаніемъ собственнаго безсилія:

Непознанный, непостижный:  
Я знаю, что души моеи  
Воображенія безсилны  
И тѣни начертать Твсей;  
Но если славословить должно,  
То слабымъ смертнымъ невозможно  
Тебя ничѣмъ инымъ почитать,  
Какъ имъ къ Тебѣ лишь возвышаться,  
Въ безмѣрной разности теряться  
И — благодарны слезы лить.

Въ Нарвѣ же окончилъ онъ свое *Видѣніе Мурзы*, въ которомъ оправдывался передъ обвиненіями, взводимыми на него за *Фелицу*. Здѣсь, между прочимъ, замѣчательны слѣдующіе стихи:

Довольно нажилъ я враговъ!  
Иной отнесъ себѣ къ безчестию,  
Что не деруть его усовъ;  
Иному показалось больно,  
Что онъ насѣдкой не сидитъ;  
Иному очень своевольно  
Съ тобой Мурза твой говорить;  
Иной вмѣнялъ мнѣ въ преступленье,  
Что я посланницей съ небесъ  
Тебя бытъ мыслилъ въ восхищенъ,  
И лилъ въ восторгъ токи слезъ.  
И словомъ: тотъ хотѣлъ арбуза,  
А тотъ соленыхъ огурцовъ;

Но пусть имъ здѣсь докажетъ муза,  
Что я не изъ числа льстецовъ;  
Что сердца моего товаровъ  
За деньги я не продаю,  
И что не изъ чужихъ амбаровъ  
Тебѣ варяды я крою;  
Но, вѣнценосца добродѣтель!  
Не лести я пѣлъ и не мечты,  
А то, чему весь міръ снисдѣтель:  
Твои дѣла суть красоты.  
Я пѣлъ, пою и пѣть ихъ буду,  
И въ шуткахъ правду возвѣщу;  
Татарски пѣсни изъ-подъ спуду,  
Какъ лучъ, потомству сообщу;  
Какъ солнце, какъ луно поставлю  
Твой образъ будущимъ вѣкамъ;  
Превознесу тебя, прославлю;  
Тобой безсмертень буду самъ.

Возвратясь въ Петербургъ, Державинъ собирался съѣздить въ Казань, но не успѣлъ. Вскорѣ была открыта новая губернія, Олонецкая; генераль-губернаторомъ ея былъ назначенъ Тутолминъ, а гражданскимъ губернаторомъ государыня предложила быть Державину. Онъ не отказался; но и на этомъ мѣстѣ ему не удалось послужить мирно: онъ много хлопоталъ, много суетился, принесъ нѣкоторую пользу, хотя и не сдѣлалъ ничего необыкновеннаго, навлекъ на себя много неприятностей, поссорился съ Тутолминымъ, и былъ переведенъ гражданскимъ же губернаторомъ въ Тамбовъ. Тамъ онъ нашелъ необразованное и скучающее общество, которое взялся развеселить и образовать. Для этого онъ назначилъ у себя по воскресеніямъ балы, по четверткамъ музыкальные вечера; часто устраивалъ домашніе спектакли, различные праздники и въ своемъ же домѣ завелъ классы грамматики, арифметики, геометріи и танцовъ для взрослыхъ. Особенно заботилась обо всемъ этомъ супруга его. Общество дѣйствительно ожило; но самому Державину и въ Тамбовѣ, какъ и

въ Петрозаводскѣ, не посчастливилось по службѣ: и тутъ онъ много ссорился, много получалъ непріятностей, хотя сначала былъ въ очень хорошихъ отношеніяхъ съ Гудовичемъ, бывшимъ въ Тамбовѣ генераль-губернаторомъ, но въ послѣдствіи не поладилъ съ нимъ, былъ отрѣшенъ отъ должности, и отданъ подъ судъ. Не малаго труда стоило ему оправдаться, но удалось, тѣмъ болѣе, что онъ былъ дѣйствительно правъ. По окончаніи суда, Державинъ долго оставался безъ мѣста, несмотря на свои старанія у лицъ, имѣвшихъ большое значеніе и вліяніе на государыню, которая, принимая на аудіенціи Державина, послѣ его оправданія, замѣтила ему, что его неуживчивость и постоянныя ссоры съ начальниками и сослуживцами не слишкомъ ей нравятся. Тѣмъ не менѣе, въ декабрѣ 1791 года, императрица назначила Державина статсъ-секретаремъ, а въ 1793 году сенаторомъ. И при исполненіи этихъ должностей, какъ и предъидущихъ, Державинъ пріобрѣлъ новыхъ враговъ при дворѣ и въ сенатѣ. Но былъ ли онъ дѣйствительно виноватъ? Онъ служилъ и трудился добросовѣстно, но часто горячился не у мѣста, любилъ заискивать расположеніе нужныхъ людей, что едва ли нравилось всѣмъ, имѣвшимъ съ нимъ дѣло, и, стараясь всегда поступать согласно съ совѣстію, придавалъ слишкомъ много важности своимъ трудамъ и поэтому надоѣдалъ другимъ мелочами, которымъ приписывалъ излишнее значеніе. Главная ошибка Державина была въ томъ, что онъ, повидимому, слѣдуя побужденію своей чести, старался должности, ему поручаемыя, исполнять съ полнымъ усердіемъ и оставлялъ тогда литературу, между тѣмъ какъ императрица имѣла въ виду, давая ему мѣста спокойныя, предоставлять ему возможность болѣе писать стихи, чѣмъ дѣловыя бумаги. Такимъ образомъ государыня, долго благоволившая къ нему, стала оказывать явную холодность и нерасположеніе: во первыхъ, имѣя его своимъ статсъ-секретаремъ, она узнала его безпокойный характеръ, который ей не понравился; во вторыхъ недоброжелатели Державина, ко-

торыхъ было не мало между людьми, окружавшими государыню, наговаривали ей на него. Несмотря на то, когда Гавриилъ Романовичъ, раздосадованный постоянными неприятностями по службѣ и интригами, направляемыми противъ него, подалъ государынѣ прошеніе объ увольненіи въ отставку, она разгнѣвалась и не исполнила просьбы. Державинъ предполагалъ, что причиною неблаговоленія къ нему императрицы были отчасти нѣкоторые намеки на человѣческія слабости и нравственныя поученія, которыми онъ пересыпывалъ свои оды; онъ думалъ, что государыня, сознавая въ себѣ присутствіе многихъ человѣческихъ слабостей и недостатковъ, принимала эти намеки и поученія на свой счетъ. Если это предположеніе и было справедливо, то едва ли Державинъ дѣйствительно хотѣлъ давать уроки нравственности императрицѣ; если же онъ это дѣлалъ, думая ей угодить, какъ угодили *Фемисю*, то сильно ошибся въ расчетѣ, какъ ошибался не разъ изъ черезчуръ сильнаго желанія понравиться кому нибудь. *Фемисю* онъ писалъ не по заказу сильныхъ міра сего и собственнаго честолюбія: онъ писалъ ее единственно изъ удовольствія выразить набопившіяся въ душѣ чувства, только для себя одного; онъ писалъ ее, не имѣя въ виду учить кого бы ни было, и получить какую бы ни было награду, даже благосклонный взглядъ. Онъ не думалъ тогда объ этомъ. Теперь было не то: и государыня въ своемъ поэтѣ нашла безокойнаго, не чуждаго честолюбія вельможу, и самъ поэтъ въ своей богоподобной *Фемисю*, которую зналъ издавека, сталъ отрывать недостатокъ за недостаткомъ. Исторія рѣшить, на сколько правъ Державинъ, сказавъ въ своихъ запискахъ, что «сія мудрая и сильная государыня если въ сужденіи строгаго потомства не удержитъ по вѣчность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своимъ окружающимъ, а паче своимъ любимцамъ, какъ бы боясь раздражить ихъ, и потому добродѣтель не могла, такъ сказать, съвозъ сей заказокъ пробиться и воз-

несть до надлежащаго величія». Въ послѣдніе годы жизни императрицы, Державинъ, дѣйствительно, такъ думалъ о пей. Въ душѣ его не оставалось болѣе той теплой любви, того высокаго уваженія, которымъ было проникнуто посланіе мурзы. Хотя онъ написалъ въ то время *Изображеніе Фелицы*, и подраженіе вышло хорошо, но далеко слабѣе оригинала, а государыня желала, чтобъ онъ постоянно писалъ стихи, подобные одѣ, заставившей ее плавать. Державинъ запирался по цѣлымъ недѣлямъ у себя въ кабинетѣ, начиналъ много разъ одно и то же стихотвореніе, каждый разъ, по своей привычкѣ, на новомъ листѣ бумаги, набрасывалъ листы цѣлыми кипами; но напрасно. Все, что писалъ онъ тогда, по его собственному выраженію, выходило холодно, натянуто и обыкновенно, какъ у прочихъ цеховыхъ стихотворцевъ, у которыхъ одни слова, а не мысли. Иногда только, вдохновясь какимъ нибудь великимъ событіемъ, на примѣръ, взятіемъ Измаила или Варшавы, извлекалъ онъ снова изъ своей лиры нѣсколько звуковъ во славу государыни, вмѣстѣ съ громкими гармоническими звуками во славу Россіи и ея сыновъ; но, вообще, несмотря на часто повторяемыя просьбы, не могъ доставлять государынѣ стиховъ, которые могли бы ей нравиться такъ, какъ понравилась *Фелица*. Наконецъ, по совѣту супруги, онъ поднесъ государынѣ написанныя имъ прежде, большею частію неизвѣстныя ей, стихотворенія, переписанныя набѣло Екатериною Яковлевною. Къ этому собранію стихотвореній было имъ написано: *Посвященіе Екатеринѣ*. Но и это приношеніе не возвратило ему прежней милости императрицы. Первые два дня она читала поднесенныя ей произведенія Державина, потомъ передала всю тетрадь, неизвѣстно зачѣмъ, князю Безбородкѣ и больше никогда не упоминала и не спрашивала о нихъ.

Въ это время Державинъ написалъ свое превосходное, особенно по мыслямъ, и смѣлое стихотвореніе: *Вельможа*, которое было направлено на князя Потемкина. Вотъ нѣко-

торныя строфы, взятыя изъ разныхъ мѣстъ этой обширной поэмы.

Кумпръ, поставленный въ позоръ,  
Несмысленную чернь прельщаетъ.  
Се глыба грязи позлащенной!  
И вы, безъ благости души и,  
Не всё-ль, вельможы, таковы?

Для возлюбившихъ правды гласъ  
Лишь добродѣтели прекрасны:  
Онѣ суть смертныхъ похвала.  
Калигула! твой конь въ сенатѣ  
Не могъ сіять, сія въ златѣ:  
Сіютъ добрыя дѣла.

Осель останется осломъ,  
Хотя осипь его звѣздами;  
Гдѣ должно дѣйствовать умомъ,  
Онѣ только хлопаютъ ушами.

Какихъ ни вымышляй пружинъ,  
Чтобъ мужу бую умудриться;  
Не можно вѣкъ носить личинъ  
И истина должна открыться.

Я князь — колю мой сіять духъ;  
Владѣлецъ — колю страстями владѣю;  
Боляринъ — колю за всѣхъ болѣю,  
Царю, закону, церкви другъ.

Вельможу должны составлять  
Умъ здравый, сердце просвѣщено;  
Собою примѣръ онъ долженъ дать,  
Что званіе его священно,  
Что онѣ орудье власти есть,  
Всѣхъ царственныхъ подпора зданій;  
Вся мысль его, цѣль словъ, дѣваній  
Должны быть — польза, слава, честь.

Вельможи! славы, торжества,  
Иныхъ вамъ нѣтъ, какъ бытъ правдивымъ,  
Какъ блюстѣть народъ, царя любить,  
О благѣ общемъ ихъ стараться,  
Змѣей предъ трономъ не сгибаться,  
Стоять — и правду говорить.

Въ 1794 году Державинъ лишился первой супруги. Не переставая любить свою Плѣниру и уважать ея память, онъ не могъ переносить скуку одинокой жизни. Дѣтей у него не было, а, между тѣмъ, онъ чувствовалъ въ свободные часы потребность отдохнуть душою, дома, среди семьи, отъ всѣхъ хлопотъ и непрятностей, которыми изобиловала его служба, и потому онъ рѣшился вторично вступить въ бракъ. Въ это время пріѣхала въ Петербургъ, съ графинею Штейнбокъ, своею родственницею, Дарья Алексѣевна Дьякова, его старинная знакомая, добрая и умная дѣвушка, къ которой онъ былъ очень расположенъ, какъ другъ, и на привязанность которой могъ рассчитывать, помня одинъ изъ ея разговоровъ съ покойною ею супругою. Послѣдняя сказала однажды Дьяковой, что ей было бы очень пріятно видѣть ее замужемъ за извѣстнымъ поэтомъ Ив. Ив. Дмитриевымъ, который былъ очень коротокъ въ домѣ Державиныхъ. «Нѣтъ», отвѣчала Дьякова, «найдите мнѣ такого жениха, какъ вашъ Гаврилъ Романовичъ, такъ я пойду за него, и надѣюсь, что буду съ нимъ счастлива.» Всѣ присутствующіе разсмѣялись, не думая, чтобы когда нибудь этотъ разговоръ могъ имѣть серіозныя послѣдствія, а онъ ихъ дѣйствительно имѣлъ. Въ январѣ 1795 года, то есть черезъ шесть мѣсяцевъ послѣ смерти своей жены, Державинъ женился на Дарьѣ Алексѣевнѣ Дьяковой. Ему было тогда пятьдесятъ одинъ годъ; Дарьѣ Алексѣевнѣ тридцать; они достаточно знали и уважали другъ друга, чтобы жить счастливо и спокойно. Дарья Алексѣевна покоила старость поэта, очень успѣшно занималась улучшеніемъ его состоянія и значительно увеличила его.



Въ 1796 году, ноября 8-го, въ девятомъ часу утра, скончалась Екатерина Великая. Наслѣдникъ ея, императоръ Павелъ, вступивъ на престолъ, назначилъ Державина на важное мѣсто, и хотя удалилъ его отъ должности черезъ нѣсколько недѣль, однако не лишалъ своего благоволенія. Павелъ подарилъ ему перстень за *Оду на рожденіе великаго князя Михаила Павловича* и табакерку за *Оду на мальтійскій орденъ*, котораго самъ былъ гроссмейстеромъ. Кромѣ того, при императорѣ Павлѣ, Державинъ получилъ нѣсколько орденовъ; въ 1799 году, съ чиномъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, мѣсто президента коммерцъ-коллегіи, а черезъ два мѣсяца послѣ того мѣсто государственнаго казначея. Императоръ Александръ Павловичъ назначилъ его министромъ юстиціи, но не надолго. Черезъ годъ по назначеніи въ эту должность, Державинъ вышелъ въ отставку и болѣе не возвращался на поприще государственной службы. Проводя время среди любимыхъ имъ и расположенныхъ къ нему людей, онъ отдыхалъ послѣ своей служебной дѣятельности. Впрочемъ, и внѣ службы, при самомъ концѣ жизни, онъ сохранилъ, съ любовію къ поэзіи и живостію, необыкновенныя нетерпѣніе и вспыльчивость. Въ подтвержденіе этого вотъ что говоритъ Т. С. Аксаковъ, въ своей *Семейной хроникѣ*.

«Я увидѣлъ,» говоритъ Аксаковъ, «довольно краснорѣчивый опытъ нетерпѣнія, вспыльчивости и неумѣнія владѣть собою престарѣлаго поэта. Однажды, Карамзинъ увѣдомилъ его запискою, что въ такой-то день, въ семь часовъ вечера, прійдетъ и прочтетъ отрывокъ изъ «Исторіи Государства Россійскаго.» Державинъ пригласилъ многихъ знакомыхъ, большею частію людей почтенныхъ уже по однимъ своимъ лѣтамъ; не знаю почему, меня прислалъ онъ звать не болѣе, какъ за полчаса до условленнаго начала чтенія. Я былъ дома, и поспѣшилъ явиться. Бьетъ семь часовъ — Карамзина нѣтъ; въ Державинѣ сейчасъ обнаружилось нетерпѣніе, которое возрастало крещендо съ каждою минутою. Проходитъ полчаса, и

нетерпѣніе его перешло въ безпокойство и волнсіе; онъ не могъ сидѣть на одномъ мѣстѣ и безпрестанно ходилъ взадъ и впередъ по своему длинному кабинету, между сидѣвшими по обѣимъ сторонамъ гостями. Нѣсколько разъ хотѣлъ онъ послать въ Карамзину спросить его, будетъ онъ или нѣтъ; но Дарья Алексѣевна его удерживала. Напопецъ бьетъ восемь часовъ, и Державинъ въ досадѣ садится писать записку. Я стоялъ педалеко отъ него и видѣлъ, какъ онъ перемарывалъ слова, вычеркивалъ цѣлыя строки, рвалъ бумагу и начиналъ писать снова. Къ счастью, въ это самое время принесли письмо отъ Карамзина. Онъ извѣстился, что его задержали, писалъ, что онъ все надѣялся, какъ нибудь пріѣхать, и потому промѣшвалъ, и что проситъ Гавріила Ромаповича назначить день и часъ для чтенія, когда ему угодно, хотя послѣзавтра. Очень жалѣю, что я не списалъ этой записки или не оставилъ ея у себя. Державинъ, показавъ многимъ изъ гостей, отдалъ потомъ мнѣ; я прочелъ, положилъ въ карманъ и забылъ. Я возвратилъ ее черезъ нѣсколько дней. Въ семи или восьми строчкахъ этой записки Карамзина, дышала такая простота, такое кроткое спокойствіе, такое искреннее сожалѣніе, что онъ не могъ исполнить своего обѣщанія. Казалось, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое нибудь неудовольствіе въ сердцѣ; но не то было съ Державинымъ: онъ никакъ не могъ такъ скоро совладѣть съ своею досадою, ни съ кѣмъ не говорилъ, безпрестанно ходилъ, и всѣ гости въ нѣсколько минутъ нашлись припужденными разъѣхаться.»

То, что рассказываетъ Аксаковъ, происходило въ февралѣ или мартѣ 1816 года, а 9 іюля того же года поэтъ скончался, 74 лѣтъ, на берегу Волхова, въ новгородскомъ имѣніи своемъ Звангѣ, гдѣ, по выходѣ въ отставку, онъ обыкновенно проводилъ лѣто. Достойно вниманія, что, за нѣсколько дней до кончины своей, смотря на *Рѣку времени*, извѣстную историческую карту, Державинъ написалъ на аспидной доскѣ нѣ-

сколько строкъ. Вотъ эти послѣдніе стихи Державина, хранящіеся подъ стекломъ въ петербургской публичной библиотекѣ:

Рѣка время, въ своемъ теченьи,  
Уносить всѣ дѣла людей,  
И топить въ пропасти забвенья  
Народы, царства и царей,  
А если что и остается,  
Черезъ звуки лиры и трубы,  
То вѣчности жерломъ пожрется,  
И общей не уйдетъ судьбы....

По завѣщанію Державина, бранные останки его преданы землѣ въ Хутынскомъ монастырѣ, находящемся въ девяти верстахъ отъ Новгорода, гдѣ часто посѣщалъ онъ друга своего, епископа Евгенія (въ послѣдствіи кievскаго митрополита и знаменитаго духовнаго оратора). «Здѣсь такъ хорошо, говоривалъ Державинъ, сидя на балконѣ кельи Евгенія, что я хотѣлъ бы навсегда здѣсь остаться.» Желаніе Державина исполнилось. Огромный гранитъ лежитъ на могилѣ его. Урна и надпись указываютъ посѣтителю Хутынскаго монастыря то мѣсто, гдѣ покоится Державинъ.

Много лѣтъ спустя послѣ смерти Державина, воздвигнули ему памятникъ въ Казани, родинѣ его.

На Фонтанѣ, въ Петербургѣ, близъ Измайловскаго моста, есть огромный домъ купца Тарасова, выстроенный на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Державина, въ которомъ, до смерти своей, въ 1842 году, жила его вдова, всѣми уважаемая, а бѣдными и несчастными горько оплаканная. Дарья Алексѣевна оставила огромное состояніе. Удѣливъ часть его родственникамъ, она опредѣлила остальное на разныя благотворительныя учрежденія. Въ Званѣѣ положила она основать особенный пріютъ для воспитанія молодыхъ дѣвицъ. Домъ Державина съ садомъ, имъ самимъ насажденнымъ, не былъ пощажень новымъ хозяиномъ.

НИКОЛАЙ МИХАИЛОВИЧЪ

## КАРАМЗИНЪ

(1766 — 1826).

Всѣ, знавшіе Карамзина, единогласно утверждаютъ, что онъ отличался прекрасными сторонами характера, любилъ мирныя пренія, искренно радовался противорѣчію, никогда не сердился и не утомлялся въ продолженіе этихъ душевныхъ бесѣдъ. Чѣмъ болѣе онъ забывалъ личную славу, тѣмъ уважавшіе его усерднѣе вспоминали о ней. Едва ли человѣку, много видѣвшему, случалось встрѣтить писателя, менѣе самолюбиваго и болѣе благосклоннаго къ рождающимся талантамъ. Чего не дѣлалъ Карамзинъ для Пушкина, то умѣряя порывы этого своенравнаго генія, то горячо вступаясь за увлекавшагося юношу, и заботливо пролагая ему новые пути къ достиженію родной ему славы и знаменитости? Въ этомъ отношеніи многіе и многіе остались у Карамзина въ долгу! Не говоря о достоинствѣ Карамзина, какъ историка, стоитъ только взглянуть на его великія заслуги русскому слову, чтобы признать въ немъ высокое историческое лицо, одно изъ лучшихъ украшеній русской исторіи. *То, что сдѣлалъ Сперанскій въ пользу нашего законовѣдѣнія, нашего государственнаго и дѣловаго слога, то самое совершенно Карамзинымъ на*

*поприщъ отечественной словесности и исторіи*, сказалъ извѣстный Стурдза. Въ трудахъ этихъ двухъ необыкновенныхъ людей проявляется какое-то параллельное шествіе, логическій переходъ отъ преобразования къ преобразованіямъ, всегдашняя разборчивость вѣрнаго вкуса и благоразумная смѣлость нововводителей, постоянно благоговѣющихъ къ старинѣ и къ святынямъ.

Первое воспитаніе, совершившееся подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ ревнителей просвѣщенія съ отливомъ XVIII столѣтія, сообщило юношескому уму Карамзина направленіе не во всемъ вѣрное, сбивавшееся на стезю модной тогда филантропіи, частью изнѣженной, частью лицемерной. Но путешествіе по западу, заданное въ урокъ Карамзину по окончаніи ученія, хотя и сблизило юношу съ призрачными мечтателями Германіи и Швейцаріи, не могло, однако же, одолѣть въ немъ природнаго здраваго русскаго смысла. Путешествіе, напротивъ, доставило ему случай видѣть вблизи и осязать умомъ много блестящихъ призраковъ, которыми плѣнялось его воображеніе. Карамзинъ никогда не переставалъ учиться; наставляя другихъ, онъ мало по малу переходилъ отъ пріятнаго къ полезному, отъ мелкихъ произведеній къ важнѣйшимъ, шель, такъ сказать, объ руку съ своими читателями, смиренно воспитывая ихъ и себя. Его *Исторія Государства Россійскаго* подобна зданію огромному, высота котораго обличаетъ глубину и многотрудность прочнаго основанія. Время опровергло очень немногіе изъ его догадокъ: добросовѣстность историка даетъ читателямъ ключъ, къ отысканію ошибокъ его, въ богатомъ запасѣ его примѣчаній. Конечно, розысканія его не всѣ вполне удовлетворительны. Но то, что ускользнуло отъ его взора, приводится теперь въ стройный составъ трудами новѣйшихъ изслѣдователей. А нравы, языкъ, обычаи древней Руси какъ занимали его! Съ какимъ усердіемъ любилъ онъ недосказанныя слова лѣтописцевъ, и писалъ картину русскаго народа въ разныя времена, вопреки несправедливой укоризнѣ тѣхъ, которые ста-

рались увѣрить, что Карамзинъ, занявшись государствомъ, забылъ о народѣ. Этотъ обдуманнй укоръ впервые вышелъ изъ устъ знаменитаго Гумбольдта; и неудивительно, потому что и величайшему естествоиспытателю, роющемуся въ утробѣ земной, недосугъ заняться ея поверхностію. Но то удивительно, что бѣглое слово, мимолетомъ сказанное остроумнымъ иностранцемъ, впрочемъ мудрымъ изыскателемъ природы, это слово подхватили русскіе, и на немъ пытались соорудить историческое зданіе, лучше и полнѣе карамзинскаго труда.

Иные упрекали исторію Карамзина и за то, что авторъ вывелъ изъ творенія своего певѣрныя и одностороннія заключенія. Одинъ ревностный читатель безсмертнаго его труда однажды выразилъ ему самому это замѣчаніе. Карамзинъ отвѣчалъ на это вопросомъ: «Вы, можетъ быть, правы; но скажите мнѣ, какое впечатлѣніе производить на васъ моя исторія? Если оно несогласно съ моимъ мнѣніемъ, то въ этомъ я не вижу бѣды. Добросовѣстный трудъ повѣствователя не теряетъ своего достоинства, потому только, что читатели его, узнавъ съ точностію событія, разногласятъ съ нимъ въ выводахъ. Лишь бы картина была вѣрна; пусть смотрятъ на нее съ различныхъ точекъ.»

Николай Михайловичъ Карамзинъ былъ живой примѣръ безпримѣрнаго добродушія, незлобія и даровитости ума; онъ началъ и открылъ для насъ періодъ народнаго самосознанія. До него Россія походила на тѣ полярныя страны, въ которыя должно пробираться по сугробамъ и глубокимъ снѣгамъ, при багровомъ отливѣ сѣверныхъ сіяній или въ полуночномъ мракѣ. Онъ проложилъ и разработалъ дороги къ знанію прошедшаго, а безъ этого знанія нравственная жизнь и доблесть какого бы ни было народа поглощается долупреклоннымъ влеченіемъ къ веществу или раболѣпствомъ ко всему чужеземному. Такая заслуга выше всѣхъ заслугъ, особенно, когда человѣкъ не ниже великаго писателя. Горе тому, кто нечистою жизнію порочить изящество своихъ умственныхъ произведеній! Но Карамзинъ,

и въ семейномъ кругу, и на службѣ отечеству, и въ скромной храмшѣ ученаго, и въ сношеніяхъ съ миромъ и людьми, оправдывалъ аксіому Цицерона, гласящаго, что ораторъ долженъ быть *vir bonus*.

Родословныя извѣстія о Карамзинныхъ доходятъ до XVI столѣтія. Семейное преданіе, сохранившееся до этихъ поръ, говоритъ, что предокъ ихъ былъ татарскій мурза, называвшійся Кара-Мурза. Табъ, по крайней мѣрѣ, рассказывалъ нашъ историографъ своимъ дѣтямъ о происхожденіи рода Карамзинныхъ. Николай Михайловичъ Карамзинъ былъ дворянскаго происхожденія, и родился, 1-го декабря 1766 г., въ селѣ Михайловкѣ (Пресображенскомъ), принадлежавшемъ родителямъ его и находящемся въ Оренбургской губерніи. Въ послѣдствіи жилъ онъ въ дѣтствѣ въ Симбирской губерніи, гдѣ, равномерно, было у Карамзинныхъ поселенное имѣніе.

Находясь въ родительскомъ домѣ, молодой Карамзинъ не могъ получить основательнаго первоначальнаго образованія; не могъ употребить времени своего дѣтства на ученіе полезное. Но виною въ томъ не онъ, не его родители, а тогдашній вѣкъ. Все стараніе отца Карамзина было обращено потому на развитіе нравственнаго воспитанія сына. Впрочемъ, тогдашнее воспитаніе, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, имѣло и нѣкоторыя выгоды, изъ которыхъ главная была та, что въ то время въ воспитаніи русскомъ было болѣе національности. Молодой Карамзинъ съ самаго нѣжнаго возраста былъ осужденъ на жизнь одинокую. Отецъ его былъ вдовъ. Карамзинъ лишился матери очень рано, какъ это видно изъ одного стихотворенія, въ которомъ онъ говоритъ:

Ахъ! я не зналъ тебя!... ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась,  
Среди веселыхъ ясныхъ дней,  
Въ жилище мрака преселилась  
И въ первый жизни часъ наказанъ былъ судьбой!

Смиренію и застѣнчивости молодого Карамзина содѣй-

ствовало и то, что онъ былъ сирота, потому что самый заботливый отецъ не можетъ замѣнить матери. У Карамзина было три брата: Федоръ, Александръ и старшій Василій Михайловичъ, котораго онъ очень любилъ, и съ которымъ постоянно переписывался.

Чувствительность, наслѣдіе матери, развилась въ Карамзинѣ очень рано, и осталась отличительнымъ его свойствомъ на всю жизнь. Карамзинъ, въ дѣтствѣ, былъ обучаемъ нѣмецкому языку симбирскимъ пятидесятилѣтнимъ врачомъ, изъ нѣмцовъ, который имѣлъ добродушную и привлекательную фізіономію, несмотря на свой горбъ. Онъ говорилъ тихо; въ глазахъ и на устахъ его сіяли кротость и человѣколюбіе.

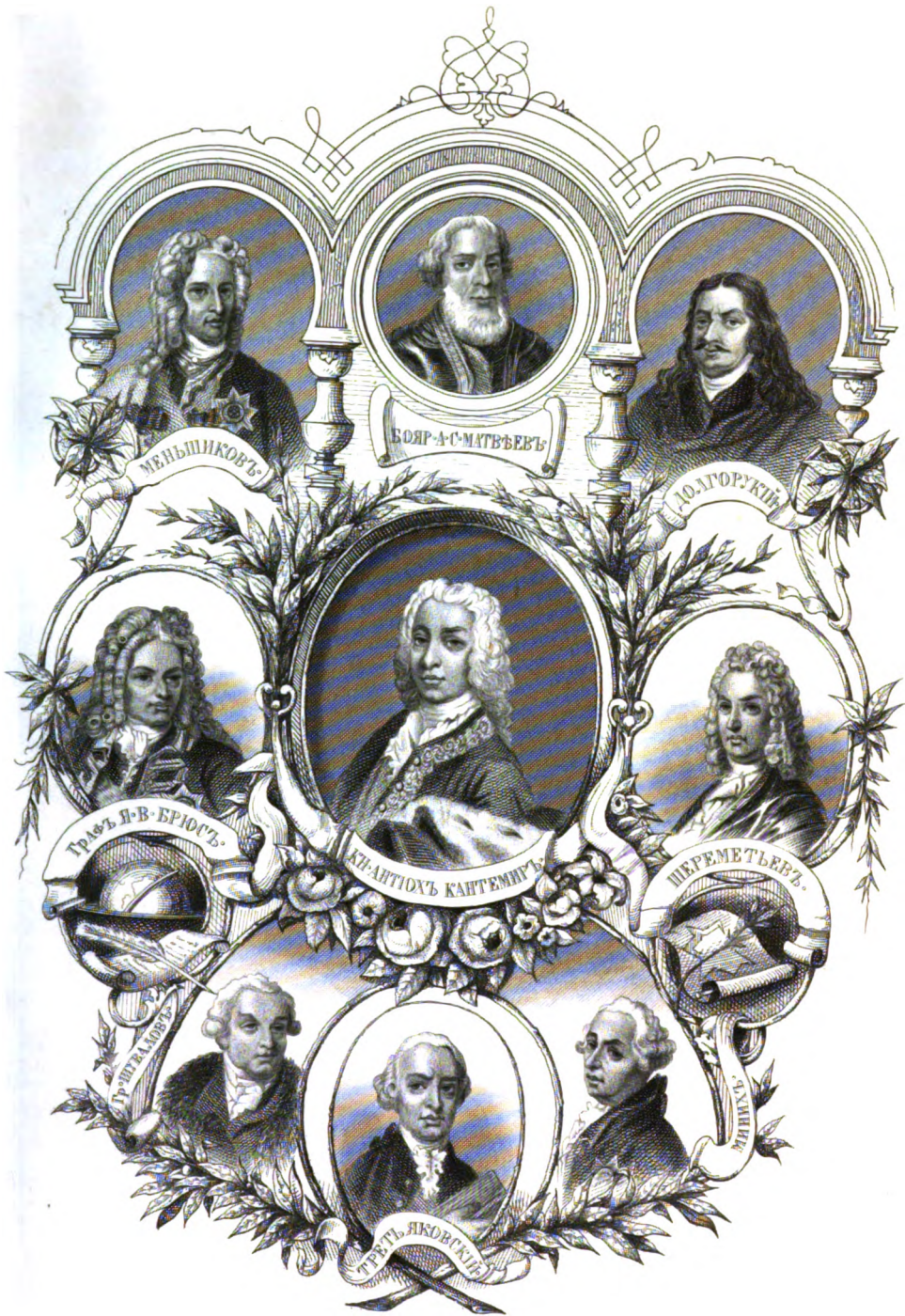
Въ лѣтахъ молодости Карамзинъ написалъ романъ: *Рыцарь нашего времени*, въ которомъ онъ, подъ именемъ *Леона*, описалъ свое дѣтство. Въ первой главѣ говорится, что Леонъ родился въ маѣ, на берегахъ Свѣяги (что несправедливо). Отецъ его (Михаилъ Егоровичъ) былъ отставной капитанъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, ни бѣденъ, ни богатъ; былъ въ турецкой и шведской кампаніяхъ, и, возвратившись на родину, женился на сосѣдкѣ, дѣвицѣ лѣтъ двадцати. — Глава пятая. Первый ударъ рока. Леонъ лишается матери на седьмомъ году. Глава шестая посвящена описанію успѣховъ Леона въ ученіи, которое началось у дядька, разумѣется съ *Часовника*. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, Леонъ уже читалъ всѣ церковныя книги; потомъ учился гражданской азбукѣ. Какъ нѣкогда знаменитый французскій писатель Руссо началъ свое образованіе чтеніемъ всѣхъ книгъ безъ разбора, какія только находилъ въ отцовской бібліотекѣ, такъ и Леонъ проложилъ себѣ путь къ желтому швапу, въ которомъ находились книги покойной его матери. Но какими книгами наполненъ былъ этотъ швапъ? Тутъ было собраніе русскихъ старинныхъ переводовъ половины XVIII вѣка, французскихъ и нѣмецкихъ романовъ, въ числѣ которыхъ были: *Даура, восточная повесть*; *Семизъ и Дамаскина*; *Мирамондъ* и *Исто-*













*рія Лорда* N. Леонъ съ жадностію бросился на эти сокровища русскаго слова. Изъ восьмой главы мы узнаемъ о ветеранахъ, собиравшихся въ домъ отца Леона, отъ которыхъ молодой человекъ набрался «русскаго духа и благородной дворянской гордости». Глава десятая заключаетъ въ себѣ описаніе знакомства Леона съ графинею N, у которой онъ учился пофранцузски, а потомъ, несмотря на свой дѣтскій возрастъ, влюбился въ нее.

Вся эта исторія, болѣею частію, вымыселъ; но, среди описаній, созданнымъ воображеніемъ молодого автора, есть кое что истинное, справедливое и вѣрное.

Въ ранней юности молодой Карамзинъ попалъ въ Москву, гдѣ существовалъ уже тогда университетъ, а при немъ находился и пансіонъ извѣстнаго профессора Шадена. Старикъ капитанъ, отецъ Карамзина, слѣдуя совѣтамъ друзей, отдалъ сына въ этотъ пансіонъ. Шаденъ не могъ, при самомъ началѣ, не замѣтить въ молодомъ ученикѣ прекрасныхъ свойствъ; вскорѣ же Шаденъ открылъ въ Карамзинѣ и рѣдкія способности. Въ пансіонѣ особенное вниманіе было обращено на изученіе языковъ; молодой Карамзинъ прилежно занялся ими, вскорѣ сдѣлалъ значительные успѣхи, и приобрѣлъ еще болѣе расположеніе къ себѣ Шадена, который сталъ водить его съ собою къ иностранцамъ, жившимъ въ Москвѣ, для того, чтобы Карамзинъ могъ усовершенствоваться во французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Карамзинъ вполне оправдалъ ожиданіе Шадена, прекрасно владѣлъ языками французскимъ и нѣмецкимъ, и былъ однимъ изъ лучшихъ учениковъ въ пансіонѣ. Шаденъ давалъ ему читать лучшія иностранныя сочиненія, писанныя для дѣтей. Карамзинъ читалъ басни Геллерта, и восхищался ими. Сверхъ языковъ французскаго и нѣмецкаго, Карамзинъ учился еще греческому, латинскому, англійскому и италіянскому.

Къ счастью Карамзина, Шаденъ былъ одинъ изъ благо-

роднѣйшихъ людей, и притомъ, рѣдкость въ иностранцѣ, пламенно любилъ Россію, свое второе отечество.

Окончивъ курсъ ученія въ пансіонѣ, Карамзинъ, по совѣту Шадена, посѣщаль университетскія лекціи, и притомъ съ пользою. Здѣсь онъ приобрѣлъ довольно основательныя свѣдѣнія въ исторіи отечественной и всеобщей; порядочно изучилъ исторію иностранныхъ литературъ, теорію изящной словесности, и читаль образцовыхъ писателей Германіи, Франціи и Англій, въ подлинникахъ. Познанія Карамзина въ философіи ограничивались логикою и психологіею. Если прибавить къ этому познанія въ языкахъ греческомъ и латинскомъ, то нельзя не сознаться, что Карамзинъ былъ очень хорошо образованъ для своего времени, тѣмъ болѣе, что довольно основательно зналъ все, чему учился.

Шадену хотѣлось, чтобы Карамзинъ, окончивъ университетское ученіе, отправился усовершенствоваться въ Лейпцигскомъ университетѣ. Карамзинъ и самъ имѣлъ это въ виду, но неизвѣстно, отчего именно не исполнилъ любимѣйшаго своего желанія: вѣроятно, препятствіемъ тому были денежные средства, а можетъ быть и смерть отца, послѣдовавшая около того времени. Въ запискахъ Карамзина находимъ слѣдующія строки, писанныя имъ изъ Лейпцига:

«Здѣсь то, милые друзья мои, желалъ я провести свою юность; сюда стремились мысли мои за нѣсколько лѣтъ предъ симъ; здѣсь хотѣлъ я собрать нужное для исканія той истины, о которой съ самыхъ младенческихъ лѣтъ тоскуетъ мое сердце! Но судьба не хотѣла исполнить моего желанія. Воображая, какъ бы я могъ провести тѣ лѣта, въ которыхъ, такъ сказать, образуется душа наша, и какъ я провелъ ихъ, чувствую горестъ въ сердцѣ и слезы въ глазахъ. Нельзя возвратить прошедшаго!»

Карамзинъ съ дѣтства отличался необыкновеннымъ даромъ слова; онъ говорилъ съ чрезвычайною легкостію и пріятностію и, рассказывая самыя обыкновенныя вещи, обра-

щаль на себя всеобщее вниманіе. Шаденъ, замѣтивъ это обстоятельство, давалъ ему читать лучшихъ французскихъ авторовъ, чтобъ образовать его вкусъ, и уже предвидѣлъ въ Карамзинѣ литератора. Окончивъ свое образованіе, Карамзинъ жилъ въ Москвѣ; но какъ въ то время можно было сдѣлать каріеру только военною службою, то и былъ записанъ въ гвардію въ преображенской полкъ, подпрапорщикомъ, чтобъ имѣть доступъ въ высшій кругъ. Карамзинъ отправился въ Петербургъ, вѣроятно, въ 1782 году. Здѣсь онъ познакомился съ Иваномъ Ивановичемъ Дмитріевымъ. Вотъ какъ происходила первая ихъ встрѣча: однажды Дмитріевъ, будучи еще и самъ гвардіи сержантомъ, возвратился съ прогулки; слуга его, встрѣтивъ его на крыльцѣ, сказалъ, что кто то пріѣхавшій изъ Симбирска ждетъ его. Дмитріевъ увидѣлъ передъ собою миловиднаго, румянаго юношу, который съ пріятною улыбкою вручилъ Дмитріеву письмо отъ его родителя. Стоило только услышать имя Карамзина, и они уже были въ объятіяхъ другъ друга. Стоило имъ сойтись три раза, и они уже стали короткими знакомыми. Едва ли не съ годъ они были неразлучны; склонность ихъ къ словесности, можетъ быть что-то сходное и въ нравственныхъ качествахъ, укрѣпляли ихъ связь съ каждымъ днемъ болѣе: они давали взаимный отчетъ въ своемъ чтеніи. Между тѣмъ Дмитріевъ показывалъ иногда Карамзину мелкіе свои переводы, которые были напечатаны особо и въ тогдашнихъ журналахъ; слѣдуя его примѣру, Карамзинъ принялся и самъ за переводы. Первымъ опытомъ его былъ *Разговоръ австрійской Маріи-Терезіи съ нашею императрицею Елисаветою, въ Елисейскихъ поляхъ*, переведенный имъ съ нѣмецкаго языка. Дмитріевъ совѣтовалъ ему показать переводъ этотъ книгопродавцу Миллеру, который покупалъ и печаталъ переводы, платя за нихъ, по произвольной оцѣнкѣ и согласію съ переводчикомъ, книгами изъ своей книжной лавки. Скоро послѣ этого съ радостнымъ и торжественнымъ видомъ Карамзинъ

вбѣжалъ къ Дмитріеву, держа въ рукахъ по два томика фильдингова «Томаса Ионеса», въ небольшомъ форматѣ, съ картинами, въ переводѣ Харламова. Это было первымъ возмездіемъ за словесные труды его. — Послѣ того Карамзинъ перевелъ геснерову идиллію *Деревянная нога*.

Военная служба была не по нраву Карамзину. По смерти отца, онъ вышелъ въ отставку поручикомъ, потому что ему не на что было шить хорошій офицерскій мундиръ, и уѣхалъ въ Симбирскъ. Вскорѣ туда пріѣхалъ и Дмитріевъ. Карамзинъ между тѣмъ уже успѣлъ составить себѣ въ Симбирскѣ извѣстность человѣка образованнаго, владѣвшаго весьма разнообразными познаніями. «Я нашелъ его, пишетъ Дмитріевъ, играющимъ ролю надежнаго на себя свѣтскаго человѣка: рѣшительнымъ за вистовымъ столомъ, любезнымъ и занимательнымъ въ дамскомъ кругу, и политикомъ передъ отцами семейства, которые, хотя и не привыкли слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладила однако же въ немъ прежней охоты къ словесности; при первомъ нашемъ свиданіи съ глазу на глазъ, онъ спросилъ меня: занимаюсь ли я по прежнему переводами? Я сказалъ ему, что недавно перевелъ изъ книги, *Картина смерти*, сочиненія Каррачіоли, разговоръ выходца съ того свѣта съ живымъ другомъ его. Онъ удивился странному моему выбору, и дружески совѣтовалъ мнѣ бросить эту работу, убѣждая тѣмъ, что, по выбору перевода, судятъ и о свойствахъ самого переводчика, и что я выборомъ моимъ, конечно, не заслужу завиднаго о себѣ мнѣнія. А я, примолвилъ онъ, думаю переводить изъ Вольтера, съ нѣмецкаго. — Что же такое? — *Благо быма*. — Какъ! эту дрянъ! и еще подложную? вскричалъ я, повторяя его же заключеніе, и оба земляка схватились.»

Разсѣянная свѣтская жизнь Карамзина продолжалась не долго. Иванъ Петровичъ Тургеневъ, будучи въ Симбирскѣ, уговорилъ Карамзина ѣхать съ нимъ въ Москву. Тамъ онъ познакомилъ его съ знаменитымъ Николаемъ Ивановичемъ



Новиковымъ, основателемъ, или, по крайней мѣрѣ, главною пружиною *Дружескаго типографическаго общества*. Въ этомъ дружескомъ обществѣ и началось образованіе Карамзина, не только авторское, но и нравственное. Въ домѣ Новикова, онъ имѣлъ случай быть въ кругу людей степенныхъ, соединенныхъ дружбою и просвѣщеніемъ, и слушать знаменитаго тогда профессора философіи Шварца. Между тѣмъ Карамзинъ знакомился и съ молодыми учеными, окончившими только что учебный курсъ. Новиковъ занималъ этихъ молодыхъ ученыхъ переводами книгъ съ разныхъ языковъ. Въ числѣ ихъ, по всей справедливости, отличнѣйшимъ почитался Александръ Андреевичъ Петровъ. Онъ знакомъ былъ съ древними и новыми языками, при глубокомъ знаніи отечественнаго слова; одаренъ былъ необыкновеннымъ умомъ и способностію къ здоровой критикѣ; но, къ сожалѣнію, ничего не писалъ для публики, а упражнялся только въ переводахъ.

Карамзинъ полюбилъ Петрова, хотя они были не во всемъ сходны между собою: одинъ пылокъ, откровененъ и безъ малѣйшей желчи; другой же угрюмъ, молчаливъ и по временамъ насмѣшливъ; но оба питали равную страсть къ познаніямъ, въ изящному, имѣли одинаковую силу ума, одинаковую доброту въ сердцахъ, и это заставило ихъ прожить долгое время въ тѣсномъ согласіи подъ одною кровлею, у Меншиковой башни, въ старинномъ каменномъ домѣ, принадлежавшемъ *Дружескому обществу*. Скромное жилище молодыхъ словесниковъ раздѣлено было тремя перегородками; въ одной комнатѣ стоялъ на столѣ, покрытомъ зеленымъ сукномъ, гипсовый бюстъ профессора Шварца, умершаго не задолго передъ тѣмъ, а другая освящалась Иисусомъ на Крестѣ, подъ покрываломъ чернаго вѣра.

Новиковъ, видя, что молодой Карамзинъ можетъ въ послѣдствіи служить средствомъ для его ученыхъ и литературныхъ плановъ, совѣтовалъ ему заняться литературою, и тотчасъ же предложилъ ему работу, переводы разныхъ иностран-

ныхъ сочиненій педагогическаго содержанія, которые раздавались при московскихъ газетахъ, подъ заглавіемъ *Листокъ для дѣтскаго чтенія*, а потомъ печатались отдѣльными книжками. Карамзинъ нашель, что занятія, предложенныя Новиковымъ, могутъ ему быть очень полезны, и что, переводя съ иностранныхъ языковъ, онъ не только ближе познакомится съ иностранною литературою, но со временемъ сдѣлается отличнымъ переводчикомъ. Притомъ, такъ какъ до того времени въ Россіи не издавалось ничего подобнаго, то не было сомнѣнія, что это первое предпріятіе должно было увѣнчаться успѣхомъ, и доставить молодому человѣку средства отправиться въ послѣдствіи за границу. Карамзинъ приступилъ въ литературнымъ трудамъ, имѣя не болѣе девятнадцати лѣтъ; товарищемъ его по изданію *Дѣтскаго чтенія* былъ А. А. Петровъ. Въ теченіе пяти лѣтъ (съ 1785 до 1789 года), Карамзинъ издалъ съ Петровымъ двадцать частей *Дѣтскаго чтенія*. Изданіе это обратило на себя всеобщее вниманіе, по своему языку, по разнообразію предметовъ, и было перепечатываемо четыре раза. Карамзинъ явился вдругъ журналистомъ и педагогомъ, потому что на *Дѣтское чтеніе* надобно смотрѣть, какъ на періодическое изданіе, посвященное юношеству. Карамзинъ былъ редакторомъ, и въ то же время самъ писалъ для своего изданія. Какъ редактору, ему должно отдать полную справедливость за выборъ статей, довольно занимательныхъ и разнообразныхъ, сколько позволяли тогда матеріалы. Все *Дѣтское чтеніе* состоитъ собственно изъ статей педагогическаго и нравственнаго содержанія, переведенныхъ съ англійскаго, французскаго и нѣмецкаго языковъ. Кое гдѣ встрѣчаются и небольшія оригинальныя статейки. Какъ подъ статьями переводчики не подписывали имени, то нельзя сказать, какія статьи принадлежатъ Карамзину, и какія другимъ, тѣмъ болѣе, что Карамзинъ, какъ редакторъ, заботясь о чистотѣ языка, давалъ всему изданію общій колоритъ; поэтому почти всѣ статьи *Дѣтскаго чтенія* написаны однимъ языкомъ.

Начавъ такимъ образомъ свое литературное поприще, Карамзинъ показалъ, чего можно было ожидать отъ него въ послѣдствіи. Уже въ этомъ изданіи онъ началъ открывать красоты русской рѣчи, которую столь усердно обезобразили наши писатели XVIII столѣтія. Молодой литераторъ благоговѣлъ предъ Ломоносовымъ, уважалъ Сумарокова, но не подражалъ ни одному, ни другому, потому что не имѣлъ способности подражать тому, что было противно его природному, чистому и вѣрному вкусу. Публика восхищалась слогомъ Карамзина, въ статьяхъ *Дѣтскаго чтенія*. Этотъ журналъ съ своимъ названіемъ, которое должно было бы отталкивать отъ него взрослыхъ читателей, занимательностію и общепольностію своихъ предметовъ, привлекъ къ себѣ въ ту пору вниманіе всей Россіи. *Дѣтское чтеніе* сдѣлалось чтеніемъ всѣхъ. Это изданіе было первою заслугою будущаго исторіографа, потому что чистыя, нравственныя правила, изложенныя увлекательнымъ для того времени языкомъ, неважѣтно проникали въ душу читателей, особенно читательницъ, и мало по малу дали совершенно иной цвѣтъ всему обществу. Это полезное періодическое изданіе прекратилось въ 1788, а въ слѣдующемъ году молодой редакторъ его уже путешествовалъ по Европѣ.

Въ какомъ обществѣ жилъ Карамзинъ въ Москвѣ до своего отъѣзда за границу — положительно неизвѣстно, однако можно судить съ вѣроятностію, что, сверхъ дома профессора Шадена, у котораго Карамзинъ былъ принятъ какъ свой, онъ посѣщалъ также Тургеневыхъ, съ которыми былъ весьма близокъ; наконецъ, сошедшись съ Новиковымъ, проводилъ иногда время въ ученыхъ собраніяхъ, бывавшихъ тогда у этого ученаго. Изъ школьныхъ товарищей Карамзина мы знаемъ только А. А. Петрова. Передъ отъѣздомъ за границу, Карамзинъ былъ уже не прежній милый юноша, читавшій все безъ разбора, плѣнявшійся славою война; но молодой ученый съ пламеннымъ рвеніемъ къ усовершенствованію въ себѣ человѣка. Тотъ же веселый нравъ, та же любезность, но между тѣмъ

главная мысль, первыя желанія его стремились въ высокой цѣли.

Молодой Карамзинъ путешествовалъ на свой собственный счетъ, уступивъ часть имѣнія, приходившагося ему по смерти отца, старшему брату, Василию Михайловичу. Въ половинѣ мая 1789 года, Карамзинъ уѣхалъ изъ Москвы въ Петербургъ, а оттуда — за границу. Во время своего путешествія онъ велъ путевыя записки, въ видѣ писемъ къ друзьямъ. Въ послѣдствіи онѣ были изданы, подъ заглавіемъ: *Письма русскаго путешественника*. Изъ писемъ Карамзина мы видимъ всю сущность его души въ различныхъ обстоятельствахъ. Изъ Петербурга Карамзинъ отправился въ Кенигсбергъ. Приѣхавъ туда и осмотрѣвъ всё его достопримѣчательности, Карамзинъ рѣшился побывать у первой германской знаменитости, у философа Канта. Но какъ явиться къ этому великому философу, не имѣя ни рекомендательныхъ писемъ, ни общихъ знакомыхъ? Карамзинъ поступилъ въ этомъ случаѣ какъ человѣкъ свѣтскій. Вспомнивъ русскую пословицу, что «смѣлость города беретъ», онъ прямо отправился къ славному германскому мыслителю, и Карамзину открылись двери въ кабинетъ Канта. Первыя слова Карамзина были: «я русскій дворянинъ, путешествую для того, чтобы познакомиться съ нѣкоторыми славными учеными мужами, и для того прихожу къ Канту». Философъ попросилъ его сѣсть, сказавъ: «я писалъ такое, что не можетъ нравиться многимъ; рѣдкіе любятъ метафизическія тонкости». Съ полчаса говорили они о разныхъ предметахъ: о путешествіяхъ, о Китаѣ, объ открытіи новыхъ земель. Карамзинъ дивился историческимъ и географическимъ свѣдѣніямъ Канта, которыя одни могли бы загроздить магазинъ человѣческой памяти. Наконецъ Карамзинъ навелъ разговоръ на нравственную природу человѣка. Кантъ разоблачилъ передъ Карамзинымъ міръ, совершенно для него новый. Этотъ разговоръ до того подѣйствовалъ на Карамзина, что онъ держался его, какъ фундамента всего своего умственнаго зданія

во всю свою жизнь. Отъ нравственной философіи разговоръ перешель къ самымъ философамъ, особенно къ современнымъ: говорили о Лафатерѣ, Боннетѣ, Мендельсонѣ и другихъ, и перешли къ врагамъ Канта. «Вы ихъ узнаете, сказалъ Кантъ Карамзину, и увидите что они всѣ добрые люди». Разговоръ продолжался три часа. Карамзинъ замѣтилъ въ своихъ запискахъ, что «Кантъ говоритъ скоро, тихо и невразумительно; и потому надлежало мнѣ слушать его съ напряженіемъ всѣхъ нервовъ слуха». А вслѣдъ за тѣмъ: «домику у него маленький, и внутри приборовъ немного. Все просто, кромѣ его метафизики».

Оставивъ Канта, послѣднюю кенигсбергскую достопримѣчательность, Карамзинъ съ нетерпѣніемъ легълъ въ молодую столицу Пруссіи, Берлинъ. Городъ этотъ произвелъ пріятное впечатлѣніе на молодого путешественника, такъ какъ и до этихъ поръ поражаетъ онъ всѣхъ русскихъ путешественниковъ, не видавшихъ еще прочихъ городовъ Европы; но въ послѣдствіи очарованіе это проходитъ. Письма Карамзина изъ Берлина весьма замѣчательны. Изъ нихъ мы видимъ, какъ онъ былъ любознателенъ, смѣтливъ и наблюдателенъ. Познакомившись со всѣми достопримѣчательностями Берлина, Карамзинъ желалъ также познакомиться съ тамошними литературными знаменитостями, и началъ съ поэта, старика Рамлера, нѣмецкаго Горація, игравшаго въ свое время важную роль. Карамзинъ явился къ нему такъ же, какъ и къ Канту. Рамлеръ принялъ его ласково, говорилъ съ нимъ о литературѣ и искусствахъ, далъ ему понятіе о состояніи современной германской литературы, такъ что Карамзинъ тогда съ восторгомъ восклицалъ: «Рамлеръ самый почтенный нѣмецъ!» На другой день Карамзинъ пошелъ къ Морицу, извѣстному въ то время психологу, къ которому питалъ большое уваженіе. Морицъ, скопивъ отъ профессорскаго дохода нѣсколько луидоровъ, ѣздилъ въ Англію, а потомъ въ Италію. Подробное и оригинальное описаніе перваго его путешествія, Ка-

рамзинъ читалъ съ неизъяснимымъ удовольствіемъ. Онъ пробылъ у Морица часъ, въ продолженіе котораго говорилъ съ нимъ объ удовольствіяхъ путешествія. Профессоръ весьма краснорѣчиво и увлекательно рассказывалъ о древностяхъ Италиі, о практическомъ направленіи англичанъ, объ энергіи нѣмецкаго языка, о своей ссорѣ съ Кампе, славнымъ въ то время нѣмецкимъ педагогомъ....

Изъ Берлина Карамзинъ уѣхалъ въ Дрезденъ, знаменитый между прочимъ своею картинною галлереею, и, насладившись изящными произведеніями живописи, отправился въ Лейпцигъ, центръ тогдашней германской учености. Приѣхавъ въ Лейпцигъ, Карамзинъ тотчасъ же постарался ознакомиться съ тамошними учеными, и началъ знакомство съ Река, профессора лейпцигскаго университета, человѣка молодаго, но пользовавшагося въ то время большимъ уваженіемъ за свои свѣдѣнія. Отъ него перваго Карамзинъ узналъ о славѣ «*Анахарсиса*», сочиненіи аббата Бартелеми, потому что геттингенскій профессоръ Гейне, одинъ изъ первыхъ знатоковъ греческой литературы и древностей, своею рецензіею, помѣщенной въ «Геттингенскихъ Ученыхъ Вѣдомостяхъ», прославилъ это сочиненіе во всей Германіи. Вторымъ литературнымъ знакомствомъ Карамзина было знакомство его съ Платнеромъ. «Никто изъ лейпцигскихъ ученыхъ такъ не славенъ, говоритъ въ запискахъ своихъ Карамзинъ, какъ докторъ Платнеръ». Главное достоинство философскихъ сочиненій Платнера была легкость изложенія самыхъ отвлеченныхъ истинъ; вотъ почему онъ такъ нравился Карамзину. Платнеръ встрѣтилъ Карамзина словами: «Я уже слышалъ о васъ отъ г. Клейста», и ввелъ его въ свой кабинетъ. Онъ былъ въ тотъ день очень занятъ; поэтому просилъ Карамзина побывать у него на другой день, и, провожая его, между прочимъ, спросилъ: «какой или какимъ наукамъ вы особенно себя посвятили?»— «Изящнымъ», отвѣчалъ Карамзинъ, покраснѣвшій. На слѣдующій день, онъ пошелъ слушать лекцію доктора Платнера объ эстетикѣ. Окон-

чивъ лекцію и уходя изъ аудиторіи, Платнеръ обратился къ Караманну, и пригласилъ его въ себѣ послѣ обѣда, обѣщая пойти съ нимъ ужинать въ такое мѣсто, гдѣ Карамзинъ увидитъ всѣ литературныя знаменитости Лейпцига. Въ назначенный часъ Карамзинъ пришелъ къ Платнеру. «Вы, конечно, поживете съ нами?» спросилъ онъ. — «Нѣсколько дней», отвѣчалъ Карамзинъ. — «Только! а я думалъ, что вы пріѣхали пользоваться Лейпцигомъ. Здѣшніе ученые почили бы за удовольствие способствовать вашимъ успѣхамъ въ наукахъ. Вы еще молоды, и знаете нѣмецкій языкъ. вмѣсто того, чтобы переѣзжать изъ города въ городъ, лучше было бы вамъ пробыть подолѣе, въ такомъ мѣстѣ, какъ Лейпцигъ, гдѣ многіе изъ вашихъ единосемцевъ искали просвѣщенія и, надѣюсь, не тщетно». Платнеръ давалъ Карамзину прекрасный совѣтъ, который могъ принести ему много пользы; но Карамзинъ болѣе внималъ голосу своего сердца, нежели лейпцигскому профессору, и отвѣчалъ: «я почелъ бы за особенное счастье быть вашимъ ученикомъ, господинъ докторъ; но обстоятельства, обстоятельства!» Въ восемь часовъ вечера, Карамзинъ былъ въ гостиницѣ «голубаго ангела», куда ему предложилъ придти Платнеръ, и гдѣ должны были собраться на ужинъ извѣстнѣйшіе лейпцигскіе ученые. Платнеръ представилъ имъ молодаго путешественника, и начался аѳинско-нѣмецкій ужинъ. Платнеръ игралъ за ужиномъ первую роль, то есть, управлялъ разговоромъ. «Онъ самый свѣтскій человекъ, замѣчаетъ Карамзинъ; любитъ и умѣетъ говорить, говорить смѣло, для того, что чувствуетъ свою цѣну». На другой день, послѣ ученаго ужина, Карамзинъ былъ у поэта Вейсе, который обошелся съ нимъ ласково и просто. Разговоръ съ Вейсе былъ болѣе свѣтскій, и кружился около самыхъ обыкновенныхъ предметовъ. Черезъ три дня Карамзинъ былъ уже въ Веймарѣ, гдѣ находились тогда ворифеи германской учености: Виландъ, Гёте и Гердеръ. Прежде всего онъ пошелъ къ Гердеру, который встрѣтилъ Карамзина такъ ласково, что онъ забылъ въ немъ «ве-

ликаго духа и автора», и видѣлъ передъ собою только любезнаго, привѣтливаго человѣка. Гердеръ разспрашивалъ его сперва о политическомъ состояніи Россіи, потомъ разговоръ обратился на литературу. Услышавъ отъ Карамзина, что онъ любитъ нѣмецкихъ поэтовъ, Гердеръ спросилъ: кого изъ нихъ предпочитаетъ онъ всѣмъ прочимъ? Вопросъ этотъ привелъ Карамзина въ замѣшательство. «Клопштока», отвѣчалъ онъ, запинаясь, «я почитаю возвышеннѣйшимъ изъ германскихъ поэтовъ». Гердеръ совершенно одобрилъ мнѣніе Карамзина; похвалилъ также Виланда, а еще болѣе Гёте. Гердеръ съ восторгомъ прочелъ Карамзину небольшое стихотвореніе Гёте, написанное вполне въ греческомъ духѣ. На слѣдующій день Карамзину удалось увидѣть Виланда: «Вообразите себѣ», пишетъ онъ, «человѣка довольно высокаго, тонкаго, долголицаго, рябватаго, бѣлокураго, почти безволосаго, у котораго глаза были нѣвогда сѣрые, но отъ чтенія стали красные; таковъ Виландъ». Сначала онъ принялъ Карамзина весьма сухо. — «Я пріѣхалъ въ Веймаръ для того, чтобъ видѣть васъ», сказалъ ему Карамзинъ. — «Это не стоило труда!» отвѣчалъ Виландъ съ холоднымъ видомъ; потомъ спросилъ Карамзина, какъ онъ, живя въ Москвѣ, научился говорить по-нѣмецки? Карамзинъ отвѣчалъ, что имѣлъ случай часто говорить съ нѣмцами, которые хорошо знали свой языкъ. Между тѣмъ и гость и хозяинъ стояли, изъ чего Карамзинъ заключилъ, что Виландъ не намѣренъ его долго у себя держать. — «Конечно я пришелъ не во время», сказалъ Карамзинъ. — «Нѣтъ; впрочемъ поутру я обыкновенно чѣмъ нибудь занимаюсь», отвѣчалъ Виландъ. — «Итакъ позвольте мнѣ прійти въ другое время, назначьте только часъ. Еще повторяю вамъ, что я пріѣхалъ въ Веймаръ единственно для того, чтобы васъ видѣть». — «Чего вы отъ меня хотите?» — «Ваши творенія заставили меня любить васъ, возбуждали во мнѣ желаніе узнать васъ лично, я ничего не хочу отъ васъ, кромѣ того, чтобы вы позволили мнѣ видѣть себя». — «Вы приводите меня въ замѣшательство. Сказать ли вамъ



искренно?» — «Скажите». — «Я не люблю новыхъ знакомствъ, а особливо съ такими людьми, которые мнѣ ни почему не извѣстны. Я васъ не знаю». — «Правда, но чего вамъ отъ меня опасаться?» — «Нынѣ въ Германіи вошло въ моду путешествовать и описывать путешествія. Многіе переѣзжаютъ изъ города въ городъ, и стараются говорить съ извѣстными людьми только для того, чтобы послѣ все слышанное отъ нихъ напечатать. Что сказано было между четырехъ глазъ, то выдается въ публику, а отъ этого многіе потерпѣли. Я на себя не надѣюсь; иногда могу быть слишкомъ откровененъ». — «Вспомните, что я не нѣмецъ, и не могу писать для нѣмецкой публики. Къ тому же вы могли бы обязать меня словомъ честнаго человѣка». — «Но какая польза намъ знакомиться? Положимъ, что мы сдѣлаемся другъ другу интересны; да наконецъ не надобно ли будетъ намъ разстаться». — «Для того, чтобы имѣть удовольствіе васъ видѣть, могъ бы я прожить въ Веймарѣ дней десять. И, разставшись съ вами, радовался бы тому, что узналъ васъ — узналъ, какъ отца среди семейства, и какъ друга среди друзей». — «Вы очень искренны, иной не сказалъ бы этого напередъ. Теперь мнѣ должно васъ остерегаться, чтобы вы съ этой стороны не примѣтили во мнѣ чего нибудь худаго». — «Вы шутите». — «Ни мало. Сверхъ того мнѣ совѣстно было бы, еслибы вы точно для меня остались здѣсь жить. Можетъ быть, въ другомъ нѣмецкомъ городѣ, напримѣръ въ Готѣ, было бы вамъ веселѣе». — «Вы поэтъ, а я люблю поэзію: что бы могло быть для меня пріятнѣе, еслибы вы позволили мнѣ хотя часъ провести съ вами въ разговорѣ о сей усладительницѣ жизни нашей?» — «Я не знаю, какъ мнѣ говорить съ вами. Можетъ быть вы мастеръ мой въ поэзіи». — «О! много чести. Итакъ мнѣ остается проститься съ вами въ первый и послѣдній разъ». — Виландъ, посмотрѣвъ на Карамзина, сказалъ съ улыбкою: «Я не фізіономистъ; однако же видъ вашъ заставляеть меня имѣть къ вамъ нѣкоторую довѣренность. Мнѣ нравится ваша искренность, и я вижу еще перваго русскаго такого, какъ вы. Я

видѣлъ вашего Ш\*\*\*, острога человѣка, напитаннаго духомъ этого старика (указывая на бюстъ Вольтера). Обыкновенно ваши единосемцы стараются подражать французамъ, а вы....» — «Благодарю». — «Итакъ, если вамъ угодно провести со мною часа два, три, то приходите ко мнѣ нынѣ послѣ обѣда въ половинѣ третьяго». — «Мнѣ должно бояться». — «Чего?» — «Того, чтобы посѣщеніе мое не было вамъ въ тягость». — «Оно будетъ мнѣ пріятно, говорю я, и прошу васъ не думать, чтобы вы одни въ свѣтѣ были искренны». — «Прощайте!» — «Въ третьемъ часу васъ ожидаю». — «Буду», сказалъ Карамзинъ. «Прощайте!»

Карамзинъ пошелъ отъ Виланда прямо къ Гердеру. Сухой пріемъ Виланда такъ озадачилъ нашего путешественника, что онъ рѣшился на другой же день оставить Веймаръ. Гердеръ принялъ Карамзина съ кроткою ласкою и выраженіемъ самой патріархальной искренности. Они заговорили объ Италиі, откуда Гердеръ только что возвратился, и гдѣ остатки древняго искусства были предметомъ его любопытства. При этомъ разговорѣ Карамзину вдругъ пришло на мысль пробраться изъ Швейцаріи въ Италію, взглянуть на медіцейскую Венеру, бельведерскаго Аполлона, фэрнезскаго Геркулеса, олимпійскаго Юпитера, наконецъ взглянуть на величественныя развалины древняго Рима. Однако же Карамзину не удалось осуществить этой прекрасной мысли.

Послѣ обѣда Карамзинъ отправился къ Виланду на назначенное свиданіе. Начался разговоръ. Говоря о любви къ поэзіи, Виландъ замѣтилъ: «Еслибы судьба опредѣлила мнѣ жить на пустомъ островѣ, я написалъ бы все то же, и съ такимъ же тщаніемъ выработывалъ бы свои сочиненія, думая, что музы слушаютъ мои пѣсни.» Занимаясь въ послѣдствіи литературою, Карамзинъ помнилъ слова Виланда, и обрабатывалъ каждую фразу какъ можно тщательно. «Скажите», продолжалъ Виландъ, «потому что я начинаю вами интересоваться—скажите, что у васъ въ виду?» — «Тихая жизнь», от-

вѣчалъ Карамзинъ. — «Кто любитъ музъ и любимъ ими», сказалъ Виландъ, «то въ самомъ уединеніи не будетъ праздненъ, и всегда найдетъ для себя пріятное дѣло. Онъ носитъ въ себѣ источникъ своего удовольствія, творческую силу, которая дѣлаетъ его счастливымъ.» Наконецъ Карамзинъ расстался съ Виландомъ. — «Вы видѣли меня таковымъ, каковъ я подлинно, сказалъ онъ. Прощайте, и отъ времени до времени увѣдомляйте меня о себѣ. Я всегда буду отвѣчать вамъ, гдѣ бы вы ни были». Карамзину хотѣлось также познакомиться и съ Гёте, но пріемъ Виланда отбилъ у него охоту къ новымъ знакомствамъ, и съ этого времени онъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ дѣйствовалъ не такъ смѣло, какъ прежде. Проходя возлѣ дома, гдѣ жилъ Гёте, Карамзинъ увидѣлъ его въ окно, остановился, разсматривалъ его съ минуту, и, сказавъ: «Важное греческое лицо!» пошелъ далѣе. Наконецъ Карамзинъ, вспомнивъ опять русскую пословицу, что смѣлость города беретъ, опрометью побѣжалъ къ Гёте, но ему сказали, что Гёте рано утромъ уѣхалъ въ Іену. Оставивъ Веймаръ, Карамзинъ направилъ свой путь въ Швейцарію. Онъ проѣхалъ Эрфуртъ, Готу, Франкфуртъ, Майнцъ, Мангеймъ, Страсбургъ, и прибылъ въ Базель. Съ перваго шага на почвѣ Швейцаріи, Карамзинъ былъ пораженъ красотою природы. Пробывъ въ Базелѣ нѣсколько дней, онъ поѣхалъ въ Цюрихъ, гдѣ жилъ тогда Лафатеръ.

Съ неизъяснимымъ удовольствіемъ увидѣлъ Карамзинъ живописное мѣстоположеніе Цюриха и его цвѣтуція окрестности, зеркальное озеро, вставленное въ свѣтлозеленую рамку береговъ, на которыхъ нѣжный Геснеръ рвалъ цвѣты для своихъ пастуховъ и пастушекъ; «гдѣ душа безсмертнаго Клопштока наполнялась великими идеями священной любви къ отечеству, которая послѣ съ шумомъ волнующагося моря излилась въ его Германъ; гдѣ Бодмеръ собиралъ черты для картинъ своей *Наахиды*, и питался духомъ временъ патриархальныхъ; гдѣ Виландъ и Гёте, въ сладостномъ упоеніи, бесѣ-

довали съ музами; гдѣ Фридрихъ Штольбергъ, сквозь туманъ двадцати девяти вѣковъ, видѣлъ въ духѣ своемъ древнѣйшаго изъ творцовъ греческихъ, пѣвца боговъ и героевъ, сѣдаго Гомера, лаврами увѣнчаннаго, и пѣснями своими восхищающаго греческое юношество, видѣлъ, внималъ, и въ вѣрномъ отзывѣ повторялъ пѣсни его на языкѣ тевтоновъ.»

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, Карамзинъ пошелъ къ Лафатеру. Въ снѣгахъ Карамзинъ позвонилъ въ воловоличикъ, и черезъ минуту показался сухой, высокій, блѣдный человѣкъ, въ которомъ не трудно было узнать Лафатера. Онъ ввелъ его въ свой кабинетъ, услышавъ, что Карамзинъ тотъ самый *московитянинъ*, который выманилъ у него еще изъ Москвы нѣсколько писемъ, поцѣловался съ нимъ, сдѣлалъ ему два или три вопроса о его путешествіи, и потомъ сказала «приходите ко мнѣ въ шесть часовъ; теперь я еще не кончилъ своего дѣла. Или останьтесь въ моемъ кабинетѣ, гдѣ можете читать, и разсматривать что вамъ угодно.» Потомъ онъ показалъ Карамзину на шпаль, въ которомъ стояло нѣсколько фоліантовъ, съ надписью: *Физиологическій кабинетъ*, и ушелъ. Карамзинъ сперва не зналъ что ему дѣлать, подумалъ, сѣлъ и началъ разбирать физиономическіе рисунки. Между тѣмъ такой пріемъ оставилъ въ немъ не совсѣмъ пріятныя впечатлѣнія. Онъ невольно вспомнилъ Виланда. Лафатеръ раза три приходилъ опять въ кабинетъ, бралъ книгу или бумагу, и опять уходилъ. Наконецъ онъ пришелъ съ веселымъ видомъ, взялъ Карамзина за руку, и повелъ въ собраніе цюрихскихъ ученыхъ, къ профессору Брейтингеру, гдѣ рекомендовалъ его хозяину и гостямъ, какъ своего пріятеля.

Во все время пребыванія въ Цюрихѣ, Карамзинъ постоянно посѣщалъ Лафатера, иногда даже по нѣскольку разъ въ день; довольно часто обѣдалъ и ужиналъ въ кругу его семейства и друзей. Лафатеръ водилъ его во всѣмъ своимъ знакомымъ, старался доставить ему удовольствіе, прогуливался съ нимъ по вечерамъ, и разговаривалъ о различныхъ предметахъ. Ла-

фатеру хотѣлось, чтобы Карамзинъ, возвратившись въ Россію, издалъ на русскомъ языкѣ извлеченіе изъ его сочиненій. Лафатеръ хотѣлъ пересылать къ нему въ Москву свои рукописи, а Карамзинъ долженъ былъ собрать подписку, и увѣрить публику, что въ извлеченіи этомъ не будетъ ни одного необдуманнаго слова. Карамзинъ принялъ предложеніе Лафатера; но, по разнымъ причинамъ, не могъ исполнить даннаго обѣщанія. Наконецъ Лафатеръ до того сблизился съ Карамзиномъ, что иногда спрашивалъ его о подробностяхъ жизни, позволяя также и Карамзину предлагать ему разные вопросы, особенно письменно. Каждое утро Карамзинъ являлся къ Лафатеру съ какимъ нибудь вопросомъ, изложеннымъ на бумагѣ. Лафатеръ пряталъ бумагу въ карманъ, а къ вечеру возвращалъ ее съ отвѣтомъ, на ней же написаннымъ, оставивъ у себя копію. Карамзинъ прожилъ въ Цюрихѣ слишкомъ двѣ недѣли, и почти постоянно въ обществѣ Лафатера. Когда Карамзинъ оставлялъ Цюрихъ, то Лафатеръ не хотѣлъ прощаться съ нимъ навсегда, говоря, что онъ непременно долженъ еще разъ пріѣхать къ нему, и далъ Карамзину одиннадцать рекомендательныхъ писемъ въ разные города Швейцаріи. Наконецъ лучшія мечты Карамзина осуществились. Оставивъ Цюрихъ, онъ явился въ странѣ волшебства и восторга. Сначала Бернъ, а послѣ Тунъ, съ своимъ очаровательнымъ озеромъ, развернули передъ Карамзинымъ великолѣпныя картины своихъ мѣстностей. Душа его наполнилась невыразимыми чувствами. То природа, то историческія преданія о Вильгельмѣ Теллѣ, питали его воображеніе. Потомъ передъ нимъ открылись Унтерзеенъ, Лаутербруннеръ, Гриндельвальдъ, Госли и такъ далѣе. Спустя нѣсколько дней, Карамзинъ былъ уже на берегахъ Женевского озера. Пріѣхавъ въ Лозанну, онъ отправился обозрѣть сѣверо-восточные берега этого озера, живописно переданные въ «Элоизѣ», Руссо. Въ поляхъ, Карамзинъ былъ въ Женевѣ и велъ здѣсь жизнь, какъ самъ онъ выражается, довольно однообразную. Желая имѣть полное понятіе о французской лите-

ратурѣ, онъ читалъ французскихъ писателей, старыхъ и новыхъ, безъ различія; прогуливался; бывалъ на женевскихъ вечеринкахъ и въ оперѣ. Такъ онъ провелъ здѣсь болѣе четырехъ мѣсяцевъ (отъ начала ноября до начала марта), изучалъ окрестности Женевы, бывалъ въ Фернеѣ, и на Альпійскихъ горахъ, словомъ вполне наслаждался жизнью. Карамзинъ желалъ познакомиться съ швейцарскимъ философомъ Боннетомъ, жившимъ верстахъ въ четырехъ отъ Женевы, въ деревнѣ Жантѣ. Еще находясь въ Москвѣ, Карамзинъ читалъ сочиненія Боннета и полюбилъ его. Въ это время Боннетъ уже отказался отъ шумнаго свѣта, страдалъ болѣзнями, оглохъ и почти ослѣпъ, жилъ въ уединеніи, и почти никого не принималъ, кромѣ самыхъ близкихъ родныхъ. Карамзинъ случайно познакомился съ однимъ изъ родственниковъ Боннета, извѣстнымъ Кела, который вызвался познакомить молодаго русскаго путешественника съ почтеннымъ и полузабытымъ мыслителемъ, и, спустя нѣсколько дней, Карамзинъ увидѣлъ Боннета. Вотъ что пишетъ Карамзинъ послѣ перваго съ нимъ свиданія: «Я думалъ найти слабаго старца, обветшалую скнню, развалины великаго Боннета. Что же нашель? Хотя старца, но еще бодрого, въ глазахъ котораго блистаетъ огонь жизни, котораго голосъ еще твердъ и пріятенъ; однимъ словомъ, Боннета, отъ котораго можно ожидать второй «Палингенезиса». Боннетъ встрѣтилъ Карамзина весьма ласково. — «Вы видите передъ собою такого человѣка», сказалъ Карамзинъ, «который съ великимъ удовольствіемъ и пользою читалъ ваши сочиненія, и который любитъ и почитаетъ васъ сердечно.» Боннетъ отвѣчалъ учтивостію за учтивость. Начался разговоръ. Боннетъ совершенно очаровалъ Карамзина своимъ добродушіемъ, и позволилъ ему переводить свое сочиненіе на русскій языкъ. Вскорѣ послѣ этого Карамзинъ опять явился къ Боннету, который ему сказалъ: «вы рѣшились переводить *Созерцаніе природы*; начните же переводъ вашъ въ присутствіи автора, и на томъ столѣ, на которомъ оно было со-

чинено. Вотъ книга, бумага, чернилы, перо.» Карамзинъ исполнилъ его волю, сѣлъ въ кресла, взявъ перо и началъ переводить. Боннетъ стоялъ позади его и смотрѣлъ на работу. Окончивъ первый параграфъ, Карамзинъ сталъ читать въ слухъ. «Слышу и не понимаю», сказалъ Боннетъ съ усмѣшкою; «но соотечественники ваши будутъ конечно умнѣ меня. Эта бумага останется здѣсь, въ память нашего знакомства.» Боннетъ обѣщаль дать Карамзину новыя примѣчанія къ *Созерцанію природы*. въ которыхъ онъ сообщаетъ извѣстія о новыхъ открытіяхъ въ наукахъ, дополняетъ, объясняетъ, поправляетъ нѣкоторыя упущенія и проч. «Я человекъ», сказалъ Боннетъ, «и потому ошибался; не могъ самъ дѣлать всѣхъ опытовъ, вѣрилъ другимъ наблюдателямъ и послѣ узнавалъ ихъ заблужденія.» Карамзинъ продолжалъ посѣщать Боннета, бесѣдовалъ съ нимъ о разныхъ предметахъ и обогатилъ себя многими свѣдѣніями. Въ концѣ февраля 1790 года, Карамзинъ хотѣлъ оставить Женеву и ѣхать въ Провансъ къ мѣстамъ, воспѣтымъ Петраркою. Онъ приступилъ къ составленію плана для своего дальнѣйшаго путешествія: ему хотѣлось проѣхать въ южную Францію, увидѣть прекрасныя страны Лангедока и Прованса.

Итакъ Карамзинъ разстался съ прекрасною Швейцаріею. Онъ былъ уже въ Ліонѣ, наслаждался его окрестностями, и оставивъ этотъ городъ, рѣшился ѣхать не на югъ, какъ прежде предполагалъ, а на сѣверъ, именно въ Парижъ. Причиною тому было слѣдующее обстоятельство: товарищъ, съ которымъ Карамзинъ выѣхалъ изъ Женевы, не получилъ въ Ліонѣ векселей. Оставшись почти безъ денегъ, онъ не могъ сопутствовать Карамзину на югъ, какъ они уговорились прежде, и долженъ былъ ѣхать въ Парижъ. Карамзинъ пожертвовалъ дружбѣ личными выгодами и поѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ. Карамзинъ прожилъ въ Парижѣ почти три мѣсяца съ половиною. Во все это время, онъ изучалъ эту столицу; посѣщаль ученныя заведенія, бібліотеки, музеи, бывалъ въ

засѣданіяхъ академіи, ходилъ почти каждый день въ разные парижскіе театры, знакомился со всѣми историческими достопримѣчательностями, осматривалъ окрестности города, наблюдалъ характеръ и нравы французовъ, изучалъ ихъ литературу, словомъ хотѣлъ вполне узнать столицу народа, предписывавшаго тогда законы образованному міру. Много любопытныхъ замѣчаній о Парижѣ заключается въ *Письмахъ русскаго путешественника*, потому что Карамзинъ вносилъ въ свой дневникъ каждое впечатлѣніе, испытанное его душою въ разнообразной, живой панорамѣ, называемой Парижемъ. Однако же надобно замѣтить, что, живя въ Парижѣ, Карамзинъ не искалъ болѣе случаевъ знакомиться съ тогдашними литературными знаменитостями Франціи; то же было и послѣ, когда онъ былъ въ Лондонѣ. Въ Парижѣ и въ Лондонѣ онъ старался изучать народъ и жизнь внѣшнюю, а не одни успѣхи умственные. Въ маѣ Карамзинъ, между прочимъ, былъ въ академіи надписей. — «Нынѣшній день», пишетъ онъ въ своихъ запискахъ: «молодой снѣкъ К\*\*\*, въ академіи надписей и словесности, имѣлъ счастье узнать Бартеlemi-Платона.» Увидѣвъ его, Карамзинъ подошелъ и сказалъ: — «Я русскій, читалъ «Анахарсиса», и умѣю восхищаться твореніями великихъ, безсмертныхъ талантовъ. Итакъ, хотя въ нескладныхъ словахъ, примите жертву моего глубокаго почтенія!» Бартеlemi привсталъ, взялъ его за руку, и съ ласковымъ взоромъ отвѣчалъ: «Я радъ вашему знакомству, люблю сѣверъ, и герой, мною избранный, вамъ не чуждый». — «Мнѣ хотѣлось бы имѣть съ нимъ какое-нибудь сходство», сказалъ Карамзинъ. «Я въ академіи: Платонъ передо мною; но имя мое вовсе не такъ извѣстно, какъ имя Анахарсиса». — «Вы молоды; путешествуете и конечно для того, чтобы украсить вашъ разумъ познаніями: довольно сходства!» — «Будетъ еще болѣе, если вы позволите мнѣ иногда видѣть и слышать васъ, съ ревностнымъ желаніемъ образовать вкусъ свой. Я не поѣду въ Грецію: она въ вашемъ кабинетѣ» — «Жаль, что



вы пріѣхали къ намъ въ такое время, когда Аполлона и Музу наряжаемъ мы въ національный мундиръ! Однако же дайте мнѣ случай видѣться съ вами. Теперь вы услышите разсужденіе о самаритянскихъ медаляхъ и легендахъ; оно покажетъ вамъ скучно. Но можетъ быть мои товарищи займутъ васъ пріятнѣйшимъ образомъ.»

Засѣданіе академіи открылось. Бартеlemi сѣлъ на свое мѣсто; онъ тогда былъ деканомъ академіи. Диссертация его, въ которой дѣло шло о древнихъ медаляхъ, не могла занимать Карамзина; но, мало слушая, онъ много смотрѣлъ на автора. «Совершенный Вольтеръ», пишетъ Карамзинъ, «какъ его изображаютъ на портретахъ! Высокій, худой, съ пронизательнымъ взоромъ, съ тонкою афинскою усмѣшкою. Ему гораздо болѣе семидесяти лѣтъ; но голосъ его пріятенъ, станъ прямъ, всѣ движенія скоры и живы. Бартеlemi чувствовалъ въ жизни только одну страсть: любовь въ славу, и силою философіи своей умѣрялъ ее. Подобно бессмертному Монтескье, онъ былъ еще влюбленъ въ дружбу.»

Тутъ же Карамзинъ видѣлъ Левека, автора *Русской исторіи*, и по этому случаю говоритъ: «Русская исторія», Левека, хотя имѣетъ много недостатковъ, однако же лучше всѣхъ другихъ. Больно, но должно по справедливости сказать, что у насъ до сего времени нѣтъ хорошей русской исторіи, т. е. писанной съ философскимъ умомъ, съ критикою, съ благороднымъ краснорѣчіемъ. Тацитъ, Юмъ, Робертсонъ, Гиббонъ — вотъ образцы!»

Въ началѣ 1789 года, когда Карамзинъ оставилъ Россію, во Франціи вспыхнула революція; по мѣрѣ того, какъ онъ приближался къ Швейцаріи, страшное зарево уже видно было и въ Германіи. Французскій переворотъ былъ тогда предметомъ всѣхъ разговоровъ. Открытіе національнаго собранія, удаленіе Неккера, образованіе національной гвардіи, взятіе Бастиліи, событія 5 и 6 октября, вотъ что происходило во Франціи въ то время, когда Карамзинъ мирно разговаривалъ

съ Боннетомъ о точномъ переводѣ одного изъ его твореній. Несмотря однако же на такое смутное время, Карамзинъ отправился во Францію: ему хотѣлось побывать на югѣ, но случилось противное, и онъ попалъ въ самое средоточіе политическаго броженія. Карамзинъ видѣлъ всѣ слѣдствія октябрьскихъ событій: образованіе департаментовъ, организацію административныхъ и муниципальныхъ властей, рѣшительныя мѣры правительства относительно улучшенія финансовъ, слышалъ рѣчи Мирабо, производившія много шума и толковъ въ столицѣ. Въ началѣ іюля, Карамзинъ оставилъ Парижъ и Францію съ грустію. Отсюда онъ отправился въ Лондонъ, послѣдній предѣлъ его путешествія. Прибывъ въ Дувръ, Карамзинъ пишетъ: «Берегъ! берегъ! Мы въ Дуврѣ, и я въ Англии — въ той землѣ, которую въ дѣтствѣ своемъ любилъ я съ энтузіасмомъ, и которая, по характеру жителей и степени народнаго просвѣщенія, есть конечно одно изъ первыхъ государствъ Европы.» Лондонъ произвелъ на Карамзина весьма пріятное впечатлѣніе; ему особенно понравилась англійская чистота, такъ что, сравнивая Лондонъ съ Парижемъ, Карамзинъ отдалъ преимущество первому. Карамзинъ прожилъ въ Лондонѣ три мѣсяца. Въ это время онъ изучалъ его такъ же, какъ прежде изучалъ Парижъ, съ тою только разницею, что въ Лондонѣ болѣе углублялся въ политическія учрежденія англичанъ, въ ихъ общественный духъ и нравы. Онъ съ жаромъ привѣтствовалъ берега Англии: все англійское казалось ему превосходнымъ, не подлежащимъ сравненію съ тѣмъ, что онъ прежде видѣлъ. Однако же, мало по малу, глазамъ Карамзина начали представляться и такіе факты, по которымъ онъ могъ безъ ошибки заключить, что и Англія, какъ общество, во многомъ несовершенна, особенно же ему не нравился мрачный и безстрастный характеръ англичанъ, и тогда Карамзинъ съ удовольствіемъ вспоминалъ Парижъ и французовъ. Знакомясь со всѣмъ англійскимъ, Карамзинъ обратилъ вниманіе и на англійскую литературу; но не могъ основательно изучить ея,

потому что прожилъ въ Лондонѣ всего три мѣсяца, а въ это время ему предстояло узнать еще много разныхъ предметовъ. Но, по мѣрѣ того, какъ Карамзинъ наслаждался лондонскою жизнью, и анатомически изучалъ душевныя свойства и особенности англичанъ, кошелекъ его истощался, день ото дня становился легче и легче, и когда въ немъ остались только двѣ гинеи, Карамзинъ отправился на биржу, и поплылъ въ Россію на первомъ кораблѣ, оставившемъ Темзу.

Море сначала мучило Карамзина; онъ сильно заболѣлъ, но вскорѣ поправился, и такъ полюбилъ море, что готовъ былъ плыть хоть на край свѣта. Во время плаванія, Карамзинъ читалъ Оссіана и переводилъ изъ него. Наконецъ Карамзинъ прибылъ въ Кронштадтъ. Тутъ онъ всѣхъ останавливалъ, спрашивалъ единственно для того, чтобы говорить порусски, чтобы слышать родную рѣчь. Замѣчательно, что все путешествіе стоило Карамзину не болѣе тысячи восьми сотъ рублей ассигнаціями. Карамзинъ явился въ Петербургъ въ модномъ фракѣ, съ шиньономъ и гребнемъ на головѣ, съ лентами на башмакахъ. Дмитріевъ представилъ его Державину. Въ домѣ знаменитаго поэта, Карамзинъ, своими интересными разсказами о чужихъ краяхъ, обратилъ на себя вниманіе хозяина. «Это гений», сказалъ съ восторгомъ Карамзинъ, благодаря Дмитріева за то, что онъ его познакомилъ съ пѣвцомъ Фелицы.

Пребываніе Карамзина за границею, какъ ни было оно коротко, всетаки очень много содѣйствовало его развитію. Возвратившись изъ чужихъ краевъ, Карамзинъ, при всей своей молодости, былъ образованнѣе всѣхъ тогдашнихъ литераторовъ, московскихъ и петербургскихъ. Знаніе иностранныхъ языковъ и увлекательное обращеніе весьма рѣзко отличали Карамзина отъ прочихъ нашихъ писателей. Онъ самъ понималъ свое превосходство, и потому былъ разборчивъ въ выборѣ знакомствъ, остороженъ въ сближеніи съ людьми полуобразованными и, какъ водится, весьма самолюбивыми. Это

было главною причиною, что нѣкоторые тогдашніе московскіе литераторы смотрѣли на Карамзина съ завистію, считали его гордецомъ, старались выводить наружу его слабости и проч. Многіе обвиняли Карамзина особенно въ томъ, что онъ употреблялъ въ русскомъ разговорѣ французскія слова и цѣлыя фразы. Карамзинъ дѣлалъ это потому, что въ то время такъ говорили люди высшаго круга. Но во всѣхъ сочиненіяхъ Карамзина, писанныхъ имъ по приѣздѣ изъ за границы, нигдѣ не замѣчаемъ попытки вводить въ русскій языкъ иностранныя слова. Правда встрѣчаются два, три слова въ его *Письмахъ русскаго путешественника*, но по необходимости, потому что ихъ нельзя было замѣнить словами чисто русскими.

За что долженъ былъ приняться Карамзинъ по возвращеніи изъ за границы? Къ военной службѣ у него не было особеннаго расположенія, въ гражданской тоже. Не будучи однако же человѣкомъ достаточнымъ, Карамзинъ долженъ же былъ добывать себѣ чѣмъ нибудь средства для приличнаго существованія. Онъ вспомнилъ прежній успѣхъ *Дѣтскаго Чтенія* и рѣшился заняться литературою. Карамзину предстояла жизнь совершенно свободная, но съ другой стороны жизнь, поставившая его въ зависимость отъ случая, потому что литературныя занятія не могли совершенно обезпечить его. Однако Карамзинъ положился на свои способности, и предпочелъ этотъ невѣрный образъ жизни всякому другому. Избирая литературное поприще, Карамзинъ смотрѣлъ на него, какъ на самый пріятный родъ занятій, и притомъ какъ на самый благородный способъ доставать средства для существованія. Изъ всѣхъ родовъ литературныхъ трудовъ, Карамзинъ бывши уже пять лѣтъ редакторомъ періодическаго изданія, безъ труда рѣшился выбрать каріеру журналиста. Онъ хорошо понималъ наше тогдашнее общество, зналъ съ какою публикою будетъ имѣть дѣло, и прежде всего счелъ необходимымъ возбудить всеобщую охоту къ чтенію: Карамзинъ приступилъ

къ изданію чисто литературнаго журнала, подъ заглавіемъ *Московскій Журналъ*.

Карамзинъ очень хорошо понималъ, какъ трудно издавать журналъ, и пригласилъ нѣсколько нашихъ тогдашнихъ литературныхъ знаменитостей, особенно поэтовъ, содѣйствовать ему своими произведеніями, а впрочемъ, не слишкомъ полагаясь на обѣщанія, одинъ заготовлялъ матеріалъ для цѣлаго номера. Не имѣя дѣльныхъ сотрудниковъ, онъ долженъ былъ самъ переводить всѣ лучшія статьи изъ иностранныхъ журналовъ, а иногда дѣлать извлеченія и сокращенія изъ новыхъ иностранныхъ книгъ. Выборъ статей и общій колоритъ во всѣхъ книжкахъ *Московского Журнала* показываетъ, что Карамзинъ владѣлъ вѣрнымъ вкусомъ; но долженъ былъ иногда помѣщать въ своемъ журналѣ статьи, въ духѣ устарѣвшихъ литературныхъ собратій и читателей, не осмѣливаясь явно идти противъ общественнаго мнѣнія и ложныхъ, глубоко вкоренившихся, понятій вѣка о классицизмѣ писателей Ломоносовской школы. Это доказывается тѣмъ, что онъ помѣщалъ въ своемъ журналѣ статьи Хераскова, а при разборѣ книгъ, писанныхъ рускославянскимъ напыщеннымъ языкомъ Ломоносова, приводилъ въ образецъ красотъ слога выписки изъ его сочиненій, зная, что читатели будутъ отъ нихъ въ восторгѣ. Но, въ душѣ, Карамзинъ не одобрялъ ни этого языка, ни этихъ красотъ.

Сверхъ переводовъ, Карамзинъ помѣщалъ въ журналѣ свои путевыя записки по Европѣ, въ видѣ писемъ къ друзьямъ; писалъ рассказы или небольшія повѣсти, разборы пьесъ, представляемыхъ тогда на московскомъ театрѣ, и новыхъ русскихъ книгъ, а иногда помѣщалъ и свои стихи. Все это должно было приготовить къ сроку, и слѣдовательно статьи не могли явиться въ томъ законченномъ изящномъ видѣ, въ какомъ желалъ бы редакторъ представить ихъ читателямъ. Важнѣйшее произведеніе Карамзина, помѣщенное въ *Московскомъ Журналѣ* — *Письма русскаго путешественника*, которыми

Карамзинъ положилъ основаніе своей славы, и открылъ нашему обществу новый міръ. Они были помѣщаемы въ каждомъ номерѣ. Никакое русское литературное произведеніе прошедшаго столѣтія не принесло русскимъ читателямъ столько удовольствія и пользы, какъ эти путевыя записки. Онѣ познакомили русскихъ съ западомъ, если не вполне, то, по крайней мѣрѣ, увлекательно, и сообщили много занимательнаго о современныхъ литературныхъ знаменитостяхъ Европы. Записки эти чрезвычайно замѣчательны необыкновенною легкостью и общепонятностью разсказа. Это самый лучший матеріалъ для біографіи Карамзина—это искренняя исповѣдь его души, зеркало его помысловъ, надеждъ и вѣрованій. Сверхъ того именно это сочиненіе Карамзина имѣло послѣдствіемъ окончательное преобразование нашего книжнаго языка.

Кромѣ *Писемъ русскаго путешественника*, мы находимъ въ *Московскомъ Журналѣ* еще другія оригинальныя произведенія Карамзина, именно нѣсколько небольшихъ повѣстей: *Бѣдная Лиза*, *Прекрасная царица и счастливый карла*, *Наталія*, *боярская дочь*, и другія не замѣчательныя. Успѣхъ *Бѣдной Лизы* былъ необычайный. И могли ли не восхищаться *Бѣдною Лизою* въ то время, когда мужчины мечтали о нѣжныхъ, милыхъ пастушкахъ, а дамы, въ пудрѣ и фижмахъ, помѣшались на букволическимъ Дафнисахъ и Тирсисахъ. Лиза, бѣдная крестьянка, была если не пастушкою, то, по крайней мѣрѣ, цвѣточницею, что, по понятіямъ людей съ аркадскими идеями, почти одно и то же.

Безусловно покоряясь вліянію французской литературы, Карамзинъ помышлялъ о созданіи самобытной русской повѣсти. Читая Мармонтеля, онъ въ то же время искалъ себѣ сюжета въ русскомъ быту. *Бѣдная Лиза* была первою его попыткою. Послѣ *Бѣдной Лизы*, Карамзинъ не искалъ болѣе сюжета для повѣсти въ современномъ русскомъ быту, этомъ богатомъ источникѣ народной литературы. Думая однако же о повѣсти чисто русской, онъ обратился къ другому источнику;

принялся искать матеріалы для русской повѣсти въ нашихъ народныхъ преданіяхъ, сказкахъ, — и написалъ повѣсть *Прекрасная царица и счастливый карл*. Но эта попытка не совсѣмъ удачна. Она принесла ту пользу, что, обратившись къ исторіи, Карамзинъ нашелъ нѣсколько фактовъ, полныхъ жизни, которые и положилъ въ основаніе своей первой русской исторической повѣсти. Фантазія автора оживила эти факты картинами увлекательными, но безотчетными. Вскорѣ Карамзинъ постигъ всю бѣдность новооткрытаго источника. Молодому писателю пришелъ на мысль второй бракъ царя Алексѣя Михайловича съ Натальею Кирилловною Нарышкиною, воспитанницею боярина Матвѣева. Карамзинъ былъ восхищенъ этимъ событіемъ. Но какъ употребить его въ дѣло? Главное дѣйствующее лицо былъ самъ царь. Нечего было дѣлать. Карамзинъ далъ другой оборотъ дѣлу, и историческая истина была нѣсколько измѣнена въ повѣсти *Наталія, боярская дочь*. Въ *Листъ, отъ Наталіи, боярской дочери*, въ этихъ игрушкахъ молодой фантазіи, русскіе увидѣли у себя первые опыты романческаго слога.

Карамзинъ занимался въ это время и переводами. Переводы Карамзина съ французскаго, нѣмецкаго и англійскаго отличаются тѣмъ, что онъ тщательно придерживался подлинника, углублялся въ идиотисмы, и старался передать ихъ, какъ можно вѣрнѣе, сохраняя ихъ силу на русскомъ языкѣ.

*Московский Журналъ*, издаваемый Карамзинымъ въ теченіе двухъ лѣтъ (1791 и 1792 г.), положилъ начало новѣйшей русской литературѣ, потому что распространялъ полезныя свѣдѣнія, ратовалъ за чистоту роднаго слова, и представлялъ образецъ чистаго и легкаго русскаго языка, неизвѣстнаго до тѣхъ поръ на Руси. Посредствомъ своего журнала, Карамзинъ вводилъ въ наше общество образованный вкусъ, и своимъ пріятнымъ слогомъ приохотилъ къ чтенію даже прекрасный полъ. Всѣ съ удовольствіемъ читали прозу Карамзина, а молодые писатели — съ восторгомъ; только приверженцы ста-

рины — съ досадою. Если сравнимъ *Московский Журналъ* со всѣми періодическими изданіями, выходившими въ послѣдней четверти XVIII столѣтія, то, по справедливости, должны будемъ отдать преимущество первому. Прочіе русскіе журналы, издававшіеся въ одно время съ *Московскимъ Журналомъ*, были: 1) *Магазинъ англійскихъ, французскихъ и нѣмецкихъ модъ*, съ картинками; издавался въ Москвѣ (1791) и выходилъ одинъ годъ. 2) *Зритель*, подраженіе *Живописцу*, Новикова, издавался И. А. Крыловымъ въ Спб. (1792). 3) *Россійскій Магазинъ*, издаваемый В. Туманскимъ въ Спб. 4) *Дѣло отъ бездѣлья или пріятная забава, рождающая улыбку на чель урюмыхъ*, изданіе типографщика Рѣшетникова, гдѣ помѣщались труды университетскихъ студентовъ (въ Москвѣ). 5) *Еженедѣльникъ или собраніе разныхъ философическихъ, историческихъ, физическихъ и нравоучительныхъ разсужденій*. Изданіе, начатое въ Москвѣ, не продолжалось и году.

Срочная журнальная работа наскутила Карамзину, тѣмъ болѣе, что онъ издавалъ свой журналъ почти безъ сотрудниковъ. На второмъ году онъ рѣшился прекратить это изданіе, столь лестно принятое публикою. Приэтомъ однако Карамзинъ изъявилъ желаніе издавать нѣчто въ родѣ альманаха или сборника, и сборникъ этотъ, явившійся въ видѣ книжекъ маленькаго карманнаго формата, онъ назвалъ: *Алая*. Эта *Алая* было прекрасное собраніе статей, которыя (кромѣ двухъ, трехъ) принадлежали исключительно Карамзину. Въ первой книгѣ *Алая*, въ статьѣ *Цѣтокъ на гробъ моего Аятона*, онъ оплакивалъ смерть своего друга, Петрова, съ которымъ посѣщалъ московскій университетъ, виѣстѣ росъ, думалъ, мечталъ, радовался, и грустилъ. Карамзинъ имѣлъ истинныхъ друзей, потому что умѣлъ ихъ цѣнить. Судя по панегирику, Петровъ былъ юноша съ твердымъ характеромъ, здравымъ умомъ и вѣрнымъ вкусомъ. Все, что писалъ Карамзинъ, подвергалось предварительному разсмотрѣнію Петрова, а потомъ уже пускалось въ свѣтъ. Самъ Петровъ писалъ очень мало, и то



осталось для насъ неизвѣстнымъ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ переводовъ, напечатанныхъ частію въ *Дѣтскомъ Читеніи*, частію въ *Московскомъ Журналѣ*. Такимъ образомъ Карамзинъ жилъ съ Петровымъ до самаго 1793 года, когда долженъ былъ съ нимъ разстаться; вскорѣ послѣ этой разлуки, Петровъ заболѣлъ и умеръ.

Въ это же время Карамзинъ издалъ *Мои бездѣлки, Мармонтелевы Поэсты*, помѣщенные въ *Московскомъ Журналѣ*, прибавивъ къ нимъ нѣсколько новыхъ, и написалъ (1794) повѣсть *Юлію*, которой сюжетъ заимствованъ изъ современнаго общества. Послѣ изданія *Алаи*, Карамзинъ хотѣлъ испытать свои силы въ разныхъ родахъ поэзіи. Первые его поэтическіе опыты появились въ *Дѣтскомъ Читеніи*, потомъ въ *Московскомъ Журналѣ* и наконецъ въ *Алаи*; однако же всѣ они показываютъ, что Карамзинъ не былъ рожденъ стихотворцемъ. Его *Аониды*, т. е. собраніе разныхъ стихотвореній, которыя онъ издавалъ съ 1796—1800 годъ, подтверждаютъ это мнѣніе.

Прекративъ изданіе *Алаи*, Карамзинъ не занимался поэзію исключительно; ей приносилъ онъ въ жертву только минуты своего вдохновенія, все же остальное время употреблялъ на переводы статей различнаго содержанія, изъ сочиненій образцовыхъ писателей древнихъ и новыхъ, такъ что въ теченіе трехъ лѣтъ (съ 1795 по 1797 годъ), успѣлъ приготовить три тома, и издалъ, въ 1798 году, подъ заглавіемъ: *Пантеонъ иностранной словесности*. Этотъ трудъ Карамзина имѣетъ неоспоримое значеніе въ исторіи нашей литературы. *Пантеонъ* есть собраніе самыхъ разнообразныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ человѣческихъ знаній. Здѣсь найдете выписки изъ древнихъ классиковъ и лучшихъ тогдашнихъ иностранныхъ писателей; встрѣчаются извѣстія о литературныхъ знаменитостяхъ того времени, историческіе и географическіе отрывки, и т. д., словомъ это легкіе оттиски тогдашней иностранной литературы. Надобно замѣтить, что въ то время

эти труды Карамзина довольно значительно содѣйствовали развитію образованности средняго класса, внося въ него современныя понятія. Подтверженіемъ нашихъ словъ служить, между прочимъ, и то, что *Пантеонъ иностранной словесности* имѣлъ нѣсколько изданій.

Изъ сказаннаго видно, что, въ царствованіе императора Павла, Карамзинъ предавался исключительно переводамъ, между тѣмъ мужалъ, созрѣвалъ, размышлялъ, болѣе занимаясь, вѣроятно, чтеніемъ, и какъ только вступилъ на престолъ императоръ Александръ, Карамзинъ возвратился къ своей прежней дѣятельности съ новыми силами, съ новымъ усердіемъ къ своему дѣлу. Къ этому времени относится слѣдующее происшествіе. Одинъ недоброжелатель Карамзина, принадлежавшій къ партіи, старавшейся всячески вредить ему, сдѣлалъ на него доносъ, представляя его человѣкомъ вреднымъ для правительства, безбожникомъ. — «Знаешь ли ты Карамзина?» спросилъ императоръ Павелъ дежурнаго своего генераль-адъютанта Ростопчина, давъ ему прочесть полученную бумагу. «Знаю», отвѣчалъ Ростопчинъ, «съ отличной стороны по сочиненіямъ его, и не узнаю его въ этомъ сочиненіи». — «Я ожидаю этого», продолжалъ государь, «ибо мнѣ извѣстенъ доноситель; вотъ и рѣшеніе мое.» Произнесши эти слова, государь бросилъ доносъ въ каминъ.

Занимаясь литературою пятнадцать лѣтъ, Карамзинъ все болѣе и болѣе вырабатывалъ свой языкъ, и дошелъ до весьма важныхъ соображеній. Переступивъ за предѣлы тридцатилѣтняго возраста, онъ началъ думать о произведеніи чего нибудь замѣчательнаго и оригинальнаго, Онъ почувствовалъ потребность обратиться исключительно къ какому-нибудь роду литературы, чтобы вполнѣ выказать въ немъ свои силы. До тѣхъ поръ Карамзинъ занимался различными родами словесности, желая испытать гибкость своего таланта: писалъ повѣсти, оды, пѣсни, мадригалы и т. д.; но, вступивъ въ сферу совершеннаго развитія, и нѣсколько остывнувъ, понялъ, что и талантъ

не может съ одинаковымъ успѣхомъ пробовать себя во всемъ, а избираетъ одну какую нибудь дорогу. Помышляя о самобытности въ литературѣ, Карамзинъ становился опытиѣе, и образовалъ свой вкусъ многочисленными переводами изъ иностранныхъ писателей. Карамзинъ самъ чувствовалъ красоту своего слова, хорошо понималъ свои нравственныя силы: но онъ замѣтилъ, что остался еще одинъ родъ литературы, котораго онъ не коснулся — именно исторія. Вникнувъ въ требованія своихъ соотечественниковъ, Карамзинъ увидѣлъ, что обработка этой науки необходима, и обратился къ ней. Приступая къ этому совершенно новому для него предмету, Карамзинъ понималъ, что ему предстоитъ учиться многому. Онъ началъ свое ученіе, и съ тѣмъ вмѣстѣ, по временамъ, писалъ историческіе опыты.

Чрезвычайно замѣчательно то, что Карамзинъ весьма смѣло приступилъ къ обработкѣ отечественной исторіи, начавъ прямо съ современной исторіи, съ великаго царствованія Екатерины II. Первымъ его трудомъ на этомъ новомъ поприщѣ была исторія царствованія этой государыни, облеченная въ форму похвальнаго слова: лучшей формы авторъ не могъ и выбрать для современной исторіи. Это сочиненіе весьма замѣчательно. Карамзинъ уже вполнѣ созрѣлъ, когда взялся за историческое перо: здѣсь онъ является человѣкомъ опытнымъ, одушевленнымъ своимъ предметомъ и постигающимъ его важность.

Въ *Похвальномъ Словѣ Екатеринѣ*, Карамзинъ показалъ, что изъ него могъ выйти превосходный популярный историкъ, который всего болѣе дѣйствуетъ во имя просвѣщенія народа и въ пользу его литературы. Самое названіе его труда говорить, что это не только историческое произведеніе, но и литературное. Это самый нелъстивый панегирикъ Екатеринѣ, почерпнутый изъ глубины признательнаго русскаго сердца. Въ свое время произведеніе Карамзина было необъяснимымъ явленіемъ въ русской литературѣ. Современники не читали

еще ничего подобного. Ни одинъ изъ русскихъ историческихъ писателей, до Карамзина, не рассказывалъ отечественной исторіи такимъ плавнымъ, яснымъ и благороднымъ языкомъ. *Похвальнымъ Словомъ* Карамзинъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе, даже вниманіе самого монарха, который не могъ быть равнодушенъ въ прекрасному дарованію и къ благородному историкъ своей глубоко имъ любимой и высоко уважаемой бабки. Императоръ Александръ замѣтилъ много красоты въ этомъ трудѣ Карамзина, и своимъ свѣтлымъ и просвѣщеннымъ умомъ предчувствовалъ, что этотъ писатель будетъ украшеніемъ его царствованія, и что никто изъ современныхъ писателей не можетъ приняться за выполнение великой идеи государя, за составленіе полной исторіи Русскаго государства, въ которой Россія тогда нуждалась.

Второе историческое сочиненіе Карамзина было — *Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ*. Изданіе это, предпринятое, въ 1801 году, Карамзинымъ вмѣстѣ съ Бекетовымъ, остановилось на первой части. Бекетовъ заботился о портретахъ русскихъ писателей, а Карамзинъ составлялъ къ нимъ небольшія *біографіи*, которыя чрезвычайно замѣчательны: онѣ показываютъ, что Карамзинъ изучалъ отечественную литературу, и старался въ краткихъ очеркахъ представлять самыя характеристическія черты описываемаго лица. Въ первой части *Пантеона* помѣщены біографіи: Баяна, Нестора, Нивона, Артамона Сергѣевича Матвѣева, царевны Софіи Алексѣевны, Симеона Петровскаго-Ситіановича-Полоцкаго, Дмитрія Туптала, Θεована Прокоповича, князя Андрея Яковлевича Хилкова, князя Антиоха Дмитріевича Кантемира, Василя Никитича Татищова, Семена Климовскаго, Петра Буслаева, Тредіковскаго, Кулябки, Крашенинникова, Баркова, Гедеона, Дмитрія Сѣченова, Ломоносова, Сумарокова, Эмина, Майбова, Поповскаго и Попова.

Это были послѣдніе чисто литературные труды Н. М. Карамзина въ концѣ прошедшаго столѣтія. Въ это время

Херасковъ былъ кураторомъ московскаго университета. Карамзинъ находился въ связяхъ съ М. М. Херасковымъ: у него бывали тогда литературныя собранія, въ которыхъ участвовалъ всегда Карамзинъ. Извѣстія, очень интересныя, о частной жизни Карамзина того времени, находятся въ письмахъ одного провинціального литератора, Каменева, который любилъ литературу, пытался даже сдѣлаться писателемъ, но не успѣлъ въ этомъ. Приѣзжая въ Москву по дѣламъ торговли (онъ былъ купецъ), Каменевъ искалъ случаевъ сблизиться съ тогдашними литературными знаменитостями, почему и познакомился съ Карамзинымъ. Изъ этихъ занимательныхъ записокъ мы узнаемъ, что въ тѣ времена ветерана-литератора Хераскова звали *старостою россійской литературы*, а Карамзина *десятиникомъ*, разумѣется литературы же.

Послушаемъ самого Каменева: «Въ половинѣ 12-го часа, поѣхалъ я на Никольскую улицу, и вошелъ въ нижній этажъ зелененькаго домика, гдѣ г. Карамзинъ занимаетъ квартиру. Я засталъ его, съ Дмитриевымъ, читающаго 5-ю и 6-ю части его путешествія, которыя теперь въ петербургской ценсурѣ, и скоро, вмѣстѣ съ *Московскимъ Журналомъ*, будутъ напечатаны. Увидѣвши меня, Карамзинъ всталъ изъ вольтеровскихъ кресель, обитыхъ алымъ сафьяномъ, подошелъ ко мнѣ, взялъ за руку, и сказалъ, что Иванъ Владиміровичъ Лопухинъ давно ему обо мнѣ говорилъ, что онъ любитъ знакомиться съ молодыми людьми, любящими литературу, и, не давши мнѣ ни слова вымолвить, спросилъ: не я ли присылалъ ему переводъ изъ Казани, и печатанъ ли онъ? Я отвѣчалъ и на то и на другое, какъ можно короче. Послѣ этого начался разговоръ о книгахъ и оба сочинители спрашивали меня наперерывъ: «какіе языки мнѣ извѣстны? гдѣ я учился? сколько времени? что переводилъ? что читалъ? и не писалъ ли чего стихами?» Я отвѣчалъ, что перевелъ оду изъ Клейста.... Карамзинъ въ бесѣдѣ употребляетъ французскихъ словъ очень много; въ десяти русскихъ, есть непременно одно француз-

ское. Кромѣ того у него вырываются разныя оригинальныя мнѣнія. Такъ стихи съ римами называетъ побѣжденною трудностію; стихи бѣлые ему нравятся. По его мнѣнію, русскій языкъ не сотворенъ для поэзіи, а особливо съ римами; что окончаніе стиховъ на глаголы ослабляетъ экспрессію». Когда г. Каменевъ перебиралъ людей, имѣющихъ въ Казани свои бібліотеки, то упомянулъ о г. Москотильниковѣ, и сказалъ, что онъ трудится надъ переводомъ Тасса. — «Да не стихами ли?» спросилъ Дмитріевъ. Каменевъ отвѣчалъ, что прозою, съ перевода Лебрюнова, — и Карамзинъ призналъ этотъ переводъ за самый лучшій. Дмитріевъ хвалилъ Фонъ-Визина, Богдановича; но Карамзинъ былъ противнаго мнѣнія, и когда Дмитріевъ сталъ читать стихи изъ поэмы: *На разрушеніе Лиссабона*, переведенные, какъ онъ говорилъ, Богдановичемъ, то Карамзинъ критиковалъ стихи, называя ихъ слабыми и пр. Карамзинъ, по словамъ Каменева, росту болѣе нежели средняго, черноглазъ, носъ довольно великъ, румянецъ неровный, бакенбарды густыя. Говоритъ скоро, съ жаромъ и перебираетъ всѣхъ строго. При Каменевѣ, Карамзинъ изъяслялъ сожалѣніе, что не умѣлъ воспользоваться вещественно отъ своихъ сочиненій. Дмитріевъ росту высокаго, волосъ на головѣ мало, косъ и худоцавъ. «Они», писалъ Каменевъ, «живутъ очень дружно и обращаются просто, хотя одинъ (Карамзинъ) поручикъ, а другой (Дмитріевъ) генераль-поручикъ. Прощаясь со мною, Карамзинъ просилъ меня, чтобъ я чаще въ нему ходилъ».

Навѣстивъ Карамзина во второй разъ, Каменевъ пишетъ: «Я сдѣлалъ второй визитъ г. Карамзину, и принятъ имъ столь же хорошо, какъ и въ первый. Сѣвши въ вольтеровскія свои кресла, просилъ онъ меня, чтобы я сѣлъ на турецкій диванъ, возвышенный не болѣе шести вершковъ отъ полу, гдѣ, какъ карла передъ гигантомъ, въ уничижительнѣйшемъ положеніи, имѣлъ удовольствіе съ часъ говорить съ нимъ. Г. Карамзинъ былъ въ совершенномъ дезабильѣ:

бѣлый байковый сюртукъ нараспашку, и медвѣжки большіе сапоги — составляли его кабинетную одежду. Говоря о новыхъ французскихъ авторахъ (которыхъ я очень мало знаю), совѣтовалъ мнѣ читать ихъ, утверждая, что ничѣмъ не можно столь себя усовершенствовать въ истинѣ, какъ прилежнымъ чтеніемъ. Совѣтовалъ мнѣ сочинять что нибудь въ нынѣшнемъ вкусѣ, и признавался, что, до изданія *Московскаго Журнала*, много бумаги имъ перемарано, и что не иначе можно хорошо писать, какъ писавши прежде худо и посредственно. Комнаты его очень хорошо убраны, и на стѣнахъ много портретовъ французскихъ, италіанскихъ и другихъ писателей и ученыхъ; между ними замѣтилъ я Тасса, Метастазія, Франклина, Буфлера, Дюпати и другихъ знаменитостей. Сколь Карамзинъ ни добръ, сколь характеръ его ни кротокъ, но имѣеть многихъ непріятелей, которые изъ зависти ему вредить стараются. Нѣкто сочинилъ на него слѣдующую глупую эпиграмму:

«Былъ я въ Женевѣ, былъ я въ Парижѣ,  
Слѣсъю сталъ выше, разумомъ ниже».

А на *Бездѣлки* его также кто то состряпалъ такіе стихи:

«Собравъ свои творенья мелки,  
Французъ, изъ русскихъ, надписалъ: *Мои Бездѣлки*,  
А умъ, прочтя, сказалъ:  
«Не много дѣла,  
Лишь надпись справедлива».

«Г. Дмитріевъ, почитатель и другъ Карамзина, думая, что послѣдніе стихи сочинены Шатовымъ, отвѣчалъ на нихъ:

«Коль разумъ чтить должны мы въ образѣ Шатрова,  
Насъ, Боже упаси, отъ разума такова».

Наконецъ Камневъ сообщаетъ еще слѣдующее любопытное извѣстіе о Карамзинѣ: «На вопросъ мой Карамзину, гдѣ и какимъ образомъ усовершенствовалъ онъ себя въ русскомъ

языкъ?» отвѣчалъ онъ мнѣ слѣдующее: «Родившись въ оренбургской деревнѣ, воспитывался я въ Симбирскѣ, ходилъ въ пансіонъ и читалъ много книгъ русскихъ. Приѣхавши въ Москву, учился въ домѣ профессора Шадена нѣмецкому и французскому языкамъ. Началъ переводить, сочинять, и, къ счастью, познакомился съ Петровымъ (молодымъ человѣкомъ, котораго подъ именемъ Агатона оплакивалъ). Онъ имѣлъ вкусъ моего свѣжѣе и чище; поправлялъ мои маранія, показывалъ красоты авторовъ и я началъ чувствовать силу и нѣжность выраженій. Вознамѣрясь выйти на сцену, я не могъ сыскать ни одного изъ русскихъ сочинителей, который былъ бы достоинъ подражанія, и, отдавая всю справедливость краснорѣчію Ломоносова, не упустилъ я замѣтить стиль его дикій, варварскій, вовсе несвойственный нынѣшнему вѣку, и старался писать чище и живѣе. Я имѣлъ въ головѣ нѣкоторыхъ иностранныхъ авторовъ; сначала подражалъ имъ, но послѣ писалъ уже своимъ, ни отъ кого не заимствованнымъ слогомъ. И это совѣтую всѣмъ подражающимъ мнѣ сочинителямъ, чтобъ не всегда и не вездѣ держаться оборотовъ моихъ, но выражать свои мысли такъ, какъ имъ вѣдется живѣе. Въ «Письмахъ» Измайлова замѣтилъ я нѣсколько періодовъ, съ меня скопированныхъ, но ему простительно: онъ порусски не читалъ ничего, кромѣ *Моихъ Бездѣлокъ*.»

Въ 1801 году явилась историческая повѣсть Карамзина, *Марѳа Посадница*, имѣвшая огромный успѣхъ, преимущественно какъ литературное произведеніе. Въ 1801 же г., И. В. Поповъ, содержатель университетской типографіи, предложилъ Карамзину редакцію новаго журнала. Составленъ былъ планъ, до того неизвѣстный на Руси: соединить въ *Вѣстникъ Европы* литературу съ политикою. Имя Карамзина и стеченіе благопріятныхъ обстоятельствъ, или, другими словами, стеченіе въ Москвѣ, по случаю коронаціи императора Александра, множество губернскихъ дворянъ и купечества, были причиною невѣроятнаго успѣха этого журнала: въ первый годъ онъ



имѣлъ болѣе 1200 подписчиковъ, и, должно отдать справедливость, вполне заслуживалъ такого вниманія читающей публики. *Вѣстникъ Европы* столько же содѣйствовалъ движенію впередъ русской литературы, сколько, за одиннадцать лѣтъ до него, способствовалъ къ тому же *Московский Журналъ*. Промежутокъ времени между *Московскимъ Журналомъ* и *Вѣстникомъ Европы* не ознаменовался ничѣмъ замѣчательнымъ въ русской журналистикѣ, хоть и являлось тогда много и безцвѣтныхъ и слабыхъ періодическихъ изданій. вмѣстѣ съ этими изданіями, въ 1802 году, явился и *Вѣстникъ Европы*, которымъ по истинѣ началась у насъ новая эпоха русской журналистики. Карамзинъ положилъ журналу блестящее начало. Когда онъ оставилъ его, журналъ сейчасъ же потерялъ прежнее свое значеніе.

Для *Вѣстника* Карамзинъ большею частію работалъ одинъ. Несмотря на то онъ находилъ еще время писать иногда стихотворенія и оригинальныя статьи, которыя наполняли отдѣлъ литературы. Статьи эти были преимущественно уже историческаго содержанія. Изъ напечатанныхъ въ *Вѣстникъ Европы* замѣчательны: *О московскомъ мятежѣ въ царствованіе Алексѣя Михайловича*; *Историческія воспоминанія и замѣчанія на пути къ Троицкой лаврѣ*; *Русская старина*, и *О случаяхъ и характерахъ въ російской исторіи, которые могутъ быть предметомъ художества*.

Въ то время, когда Карамзинъ писалъ повѣсть *Марей Посадницу*, смерть похитила обожаемую имъ супругу. Съ блѣднымъ лицомъ, открытою головою, шелъ онъ около пятнадцати верстъ (отъ Свирлова до Донскаго монастыря) за печальною колесницею, положиа руку на гробницу. Друзья подошли къ нему и предложили мѣсто въ каретѣ. «Оставьте меня одного» — отвѣчалъ Карамзинъ — «приходите завтра; присутствіе ваше будетъ необходимо». Онъ не могъ облегчить тогда душевной скорби слезами: она засушила ихъ! Видъ младенца, оставшагося на его попеченіи, и убѣжденія дружбы заставили Ка-

рамзина взятыя снова за перо. Несмотря на успѣшное изданіе *Вѣстника Европы*, Карамзинъ думалъ уже оставить его при началѣ втораго года. Въ это время Карамзину пришла мысль написать русскую исторію. Онъ въ этомъ открылся другу своему, Дмитріеву, и получилъ его одобреніе. «Но я человекъ частный», говорилъ Карамзинъ Дмитріеву, «безъ содѣйствія правительства не достигну желаемой цѣли; притомъ лишусь главныхъ доходовъ моихъ: шести тысячъ рублей, которые приноситъ мнѣ *Вѣстникъ Европы*?» — «Ты ничего не теряешь, трудяся для славы отечества», отвѣчалъ Дмитріевъ. «Пиши только въ Петербургъ: я увѣренъ въ успѣхѣхъ». — «Тебѣ все представляется въ розовомъ видѣ», сказалъ Карамзинъ съ досадою. Долго спорили они; наконецъ Карамзинъ долженъ былъ уступить убѣдительнымъ словамъ друга, и сказалъ: — «пожалуй, я напишу, но, берегись, если откажутъ!»

Въ слѣдствіе того Карамзинъ объявилъ о своемъ намѣреніи въ письмѣ къ Михаилу Никитичу Муравьеву, человеку превосходныхъ правилъ, который въ то время былъ попечителемъ Московскаго университета, товарищемъ министра народнаго просвѣщенія, и однимъ изъ достойнѣйшихъ сановниковъ, окружавшихъ престолъ императора Александра.

Получивъ письмо, М. Н. Муравьевъ доложилъ о намѣреніи Карамзина государю. Императоръ Александръ, одобрилъ мысль Карамзина, велѣлъ ежегодно выдавать ему, изъ кабинета, по 2,000 рублей\*). Сумма эта въ то время, когда вообще жизнь была вдесятеро дешевле, была весьма важнымъ пособіемъ для Карамзина, который могъ теперь вполне посвятить себя любимому предмету, отечественной исторіи. Признательный къ

---

\*) Именной указъ кабинету: «Какъ извѣстный писатель, Московскаго университета почетный членъ, Николай Карамзинъ, изъявилъ намъ желаніе посвятить труды свои сочиненію полной исторіи отечества нашего; то мы, желая одобрить его въ столь похвальномъ предпріятіи, всеинтереснѣе повелѣваемъ производить ему, въ качествѣ исторіографа, по двѣ тысячи рублей ежегодно пенсіона, изъ кабинета нашего». 31 октября 1808 года.

М. Н. Муравьеву, Карамзинъ высказалъ ему свою благодарность въ новомъ письмѣ.

Въ концѣ послѣдняго нумера своего журнала того же года, Карамзинъ писалъ, что этою книжкою заключается *Вѣстникъ Европы*, котораго онъ былъ издателемъ, и что въ продолженіи его онъ не будетъ имѣть ни какого участія.

О частной жизни Карамзина въ это время, мы можемъ судить только по двумъ сохранившимся письмамъ его къ брату. Въ первомъ онъ пишетъ: «Я нанялъ прекрасный сельскій домикъ, и въ прекрасныхъ мѣстахъ близъ Москвы; бываю по большой части одинъ, и когда здорова Софьюшка, то, несмотря на свою меланхолю, еще благодарю Бога. Сердце мое совсѣмъ почти отстало отъ свѣта. Занимаюсь трудами, во первыхъ для своего утѣшенія, а во вторыхъ и для того, чтобъ было чѣмъ жить и воспитывать малютку. Мнѣ хочется до того времени выдавать журналъ, пока будетъ у меня столько денегъ, чтобъ жить безъ нужды, а тамъ хотѣлось бы мнѣ приняться за труды важнѣйшіе: за русскую исторію, чтобы оставить по себѣ отечеству не дурной монументъ. Но все зависитъ отъ провидѣнія. Будущее не наше!» (Свирлово, 6 іюня 1803 года).

Во второмъ письмѣ онъ говоритъ: «Не могу вообще жаловаться на свое здоровье, но зрѣніе мое слабѣетъ; это заставляетъ меня отказаться отъ журнала; но примусь за исторію, которая не требуетъ срочной работы.» (Москва, 29 сентября 1803 года).

Этимъ оканчивается осмнадцатилѣтняя чисто литературная дѣятельность Карамзина. Въ продолженіе этого времени способности его развились во всемъ блескѣ. Карамзинъ очистилъ нашъ языкъ, освободилъ его отъ такъ называемаго классическаго вліянія, указалъ ему настоящій путь, обработалъ слогъ, обогатилъ нашу литературу своими сочиненіями; возбудилъ участіе къ трудамъ знаменитыхъ писателей, познакомилъ съ иностранными литературами, перевелъ много

произведеній съ новыхъ языковъ, распространилъ охоту къ чтенію, коснулся современныхъ вопросовъ, рассуждалъ самостоятельно о политикѣ Европы, возбудилъ участіе къ русской старинѣ, и первый познакомилъ русскихъ съ свазаніями иностранцевъ о нашемъ отечествѣ. Этихъ заслугъ уже достаточно для славы писателя... Между тѣмъ у Карамзина всѣ эти труды были только приготовленіемъ къ дальнѣйшимъ занятіямъ. Съ этого времени начинается новый періодъ его дѣятельности, гораздо занимательнѣйшій для ума и души; съ этого времени Карамзинъ является историкомъ, краснорѣчивымъ бытописателемъ своего отечества.

Получивъ высочайшій рескриптъ, Карамзинъ приступилъ къ историческому труду. Надобно сказать, что Карамзинъ не получилъ строго классическаго образованія, слегка зналъ древніе языки и не занимался историческою критикою. Передъ нимъ стояла хаотическая груда историческихъ памятниковъ, печатныхъ и письменныхъ. Карамзину предстояло все это изучить, изслѣдовать критически, и послѣ того составить по нимъ свою исторію. Сколько потребно было времени только на одно приведеніе въ порядокъ и сличеніе этой громады фоліантовъ! Разсмотрѣніе и сличеніе одпородныхъ матеріаловъ тоже требовало не мало терпѣнія. Сначала Карамзинъ и самъ не зналъ всѣхъ предстоявшихъ ему трудностей. Онъ отъазался отъ общества, и въ уединеніи вполнѣ посвятилъ себя дѣлу, новому, многотрудному. Первые три года онъ до того былъ погруженъ въ свой предметъ, что избѣгалъ всякаго посторонняго разговора, и наскучилъ даже своимъ друзьямъ. Чѣмъ болѣе онъ углублялся въ изслѣдованія, тѣмъ яснѣе видѣлъ всю непрочность своего положенія: препятствія, о которыхъ онъ и не воображалъ, безпрестанно останавливали его. Карамзинъ нѣсколько разъ перемѣнялъ планъ своего труда; предлагалъ себѣ новыя задачи, жегъ, и снова по нѣскольку разъ переписывалъ первые томы. Часто онъ приходилъ даже въ отчаяніе, но непереклонная воля, соединенная съ удивительнымъ терпѣ-

ніемъ, давала ему возможность идти впередъ, распутывая и разсѣкая узлы. До чего другой доходилъ послѣ двадцатилѣтняго опыта и при совѣтахъ ученыхъ обществъ, то Карамзинъ схватывалъ налету, усматривалъ съ перваго раза, предугадывалъ. Между тѣмъ, онъ безпрестанно обогащался историческими свѣдѣніями, взглядъ его становился яснѣе, и онъ скавалъ, въ письмѣ къ Муравьеву, что уже не боится «ферулы шлецеровой». Карамзинъ началъ знакомиться съ бібліографіею русской исторіи и собирать историческія книги; какъ ему дозволенъ былъ доступъ во всѣ бібліотеки и архивы, то вскорѣ онъ ознакомился и съ рукописнымъ историческимъ міромъ. Излишне входить въ большія подробности о трудахъ, подъятыхъ Карамзинымъ, въ составленіи имъ 12 томовъ *Исторіи государства Россійскаго*. Чтобы представить себѣ всю трудность начала, надо привести на память слова самого исторіографа, говорившаго неоднократно, что написать первую главу, *О древнихъ народахъ, обитавшихъ въ Россіи*, ему было труднѣе, чѣмъ написать всѣ остальные томы!...

Въ 1804 году Карамзинъ женился вторично, и въ іюнѣ писалъ къ брату: «Я самъ, любезный братъ, не могу хвалиться здоровьемъ, которое мнѣ нужно и для того, чтобы живо чувствовать счастье моего супружества, и для моей пріятной, но трудной работы. Вы, по вашей дружбѣ ко мнѣ, берете участіе въ ея успѣхахъ: и такъ скажу вамъ, что я тружусь усердно; если не совершу этой работы, то, по крайней мѣрѣ, не отъ лѣни. Можетъ быть, Богъ и наградитъ меня успѣхомъ. Пишу теперь вступленіе, т. е. краткую исторію Россіи и славянъ до самаго того времени, съ котораго начинаются собственные наши лѣтописи. Этотъ первый шагъ всего труднѣе; мнѣ надобно много читать и собирать. А тамъ опишу нравы, правленіе и религію славянъ; послѣ сего начну обрабатывать русскія лѣтописи.» (Ост., 8 іюня 1804 года).

Въ сентябрѣ 1805 г., Карамзинъ писалъ къ брату: «По

отъѣздѣ Катерины Андреевны \*), я скоро занемогъ дурною лихорадкою, и былъ болѣнъ пять недѣль; совсѣмъ было высохъ и походилъ на скелета; но, слава Богу, дней черезъ десять по возвращеніи моей жены натура взяла верхъ и я началъ выздоравливать. Теперь осталась только слабость. Во всю жизнь свою я не имѣлъ еще таковой долговременной и изнурительной болѣзни. Дней въ пять она отняла у меня всѣ силы, и могла обратиться въ опасную; но возвращеніе Катерины Андреевны подѣйствовало не менѣе лекарствъ. Вообразите, что, съ исхода іюля по сей часъ, я не принимался за перо для продолженія своей исторіи! и теперь еще не пишу. Это мнѣ скорбно; но я радуюсь своему выздоровленію, какъ ребенокъ. Въ нѣкоторыя минуты болѣзни казалось мнѣ, что я умру, и для того, несмотря на слабость, разобралъ всѣ книги и бумаги государственныя, взятыя мною изъ разныхъ мѣстъ, и подписалъ, что куда возвратить. Нынѣ гораздо пріятнѣе для меня снова разбирать. Ахъ! жизнь мила, когда человекъ счастливъ домашними и умѣетъ заниматься безъ скуки». (М., 21 сент.).

Съ 1810 года начинается новая эпоха въ жизни Карамзина. Въ этомъ же году онъ сдѣлался лично извѣстенъ императору Александру. Государь уже давно желалъ видѣть Карамзина, зная его по его сочиненіямъ. Великая княгиня Екатерина Павловна, обозрѣвая въ Москвѣ оружейную палату, и встрѣтивъ тамъ Карамзина, въ первый разъ указала на него императору Александру. — Вотъ какъ самъ историографъ рассказываетъ объ этомъ своему брату, въ слѣдующихъ письмахъ: «Государь, находясь въ Москвѣ, изволилъ сказать мнѣ нѣсколько привѣтливыхъ словъ; а еще болѣе великая княгиня, къ которой, исполняя волю ея, нарочно ѣздила я послѣ въ Тверь: жилъ тамъ шесть дней, всякій день обѣдалъ во дворцѣ и читалъ по вечерамъ мою исторію великой княгини и вели-

---

\*) Вторая супруга Карамзина.

кому князю Константину Павловичу. Они плѣнили меня своею милостію. За это кратковременное удовольствіе заплатилъ я послѣ слезами о кончинѣ нашей незабвенной сестры и моею жестокою болѣзнію». (М., 15 февр.).

Во второмъ письмѣ, Карамзинъ писалъ: «Милость ко мнѣ великой княгини, великаго князя Константина Павловича и вдовствующей императрицы служить для меня не малымъ ободреніемъ въ моихъ трудахъ; отъ первой я недавно получилъ весьма лестное письмо. Императрица приказала сказать мнѣ, что она брала участіе въ моей болѣзни, и завидуетъ великой княгинѣ, которой я читаю свою исторію. Константинъ Павловичъ также отзывается обо мнѣ съ отличнымъ благоволеніемъ» (М., 28 марта).

Въ сентябрѣ 1810 года, Карамзинъ писалъ: «Совсѣмъ нечаянно встрѣтилась мнѣ необходимость съѣздить въ деревню жены моей, откуда я возвратился съ разстроеннымъ здоровьемъ и съ главною болію, которая мѣшаетъ мнѣ писать къ вамъ своею рукою... Мнѣ надлежало защищать наше имѣніе отъ межевщика и капитана-исправника; но важнаго я ничего не сдѣлалъ, кромѣ того, что видѣлъ собственными глазами наше имѣніе, за что заплатилъ я слишкомъ дорого — поврежденіемъ своихъ глазъ въ холодныя ночи. Уже три недѣли тому, какъ мы возвратились, а я не могу ни писать, ни читать.»

«Вы желаете, любезный братъ, знать объ успѣхѣ моихъ трудовъ; въ нынѣшній годъ я почти совсѣмъ не подвинулся впередъ, описалъ только княженіе Василя Дмитріевича, сына Донскаго; болѣзнь моя, несчастныя потери и грусть отняли у меня не малую часть моихъ способностей. Трудъ, столь необъятный, требуетъ спокойствія и здоровья; не имѣю ни того, ни другаго, и дѣлаюсь къ несчастію меланхоликомъ. Жаль, если Богъ не дастъ мнѣ совершить начатаго, къ чести и пользѣ общей. Оставивъ за собою дичь и пустыни, вижу впереди прекрасное и великое: боюсь, чтобы я, какъ второй

Моисей, не умеръ прежде, нежели войду туда. Княженіе двухъ Иоанновъ Васильевичей и слѣдующія времена наградили бы меня за скудность прежней матеріи.»

Въ концѣ 1810 года, Карамзинъ писалъ: «Недавно былъ я въ Твери и осыпанъ новыми знаками милости, со стороны великой княгини. Она рѣдкая женщина, умна и любезна необыкновенно. Мы прожили около пяти дней въ Твери и всякій день были у нея. Она хотѣла даже, чтобы мы въ другой разъ пріѣхали туда съ дѣтьми.» (М., 13 дек.).

Въ 1811 году, по порученію великой княгини Екатерины Павловны, Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ пригласилъ Карамзина пріѣхать въ Тверь, для прочтенія ея высочеству того, что имъ написано изъ сочиняемой имъ русской исторіи. Къ этому времени великая княгиня ожидала къ себѣ императора Александра. Она желала обратить особенное вниманіе государя на гениальнаго писателя. Карамзинъ прибылъ въ Тверь, и здѣсь, во дворцѣ великой княгини и въ присутствіи императора Александра, имѣлъ счастье читать любопытнѣйшія главы изъ своего историческаго труда.

«Русскій народъ достоинъ имѣть свою исторію,» сказалъ императоръ Александръ, и со вниманіемъ слушалъ прекрасное повѣствованіе Карамзина о борьбѣ Дмитрія Донскаго съ Мамаемъ въ то время, когда Наполеонъ готовился ворваться въ Россію, ополчивъ на нее многіе народы Европы. Великая княгиня, возлѣ которой съ одной стороны сидѣлъ государь, а съ другой историкъ, съ восторгомъ слушала дивное повѣствованіе Карамзина о прошедшихъ судьбахъ отечества. Чтеніе продолжалось до двѣнадцати часовъ ночи. Предлагаемъ письма историографа, который подробно описываетъ брату это важное событіе въ жизни скромнаго писателя, пожертвовавшаго всѣмъ для славы любезнаго ему отечества. Въ началѣ 1811 года, Карамзинъ писалъ: «Я съ женою опять былъ въ Твери, и жилъ тамъ двѣ недѣли, совершенно въ гостяхъ у великой княгини и у принца (ольденбургскаго). Они осыпали насъ ласками, и мы



всякій день бывали у нихъ по нѣскольку часовъ. Любезность и милость великой княгини трогаютъ мою душу. Принцъ имѣетъ ангельское сердце и знаніе. Часы, проведенные мною въ ихъ кабинетѣ, причисляю въ счастливейшимъ въ жизни. Теперь я возвратился въ обыкновеннымъ своимъ упражненіямъ.» (М., 28 февр.).

Во второмъ письмѣ: «Исполняя волю любезнѣйшей великой княгини, я ѣздилъ опять въ Тверь, чтобы быть тамъ представленнымъ государю, который и самъ приказалъ И. И. Дмитріеву написать ко мнѣ о желаніи своемъ видѣть меня въ этомъ городѣ. Осыпанный милостивыми привѣтствіями императора, я читалъ ему нѣкоторыя мѣста изъ моей исторіи. Онъ былъ доволенъ. Четыре раза обѣдали мы съ нимъ у великой княгини. Онъ звалъ меня и жену мою въ Петербургъ, и простился съ нами особенно въ кабинетѣ; даже предлагалъ намъ жить въ Аничковомъ дворцѣ, который отданъ великой княгинѣ. Милость велика, однако же я совсѣмъ не думаю ѣхать въ Петербургъ. Привязанность моя къ императорской фамиліи должна быть безкорыстна; не хочу ни чиновъ, ни денегъ отъ государя. Молодость моя прошла, а съ нею и любовь въ мірской суетности». (12 апр.).

Въ іюль этого же года, Карамзинъ получилъ орденъ св. Владиміра 3-й степени, исходатайствованный ему въ награду литературныхъ трудовъ И. И. Дмитріевымъ, бывшимъ тогда министромъ юстиціи. Эта неожиданная новость вооружила противъ Карамзина его недоброжелателей. Со всѣхъ сторонъ посыпались нападки на скромнаго труженика. Старый врагъ исторіографа, не успѣвъ оклеветать его прежде, писалъ къ одному тогдашнему сановнику такъ: «Ревнуя о единомъ благѣ, стремясь къ единой цѣли, не могу равнодушно глядѣть на распространяющееся у насъ уваженіе къ сочиненіямъ г. Карамзина. Вы знаете, что оныя исполнены вольподумческаго и якобинческаго яда; но его послѣдователи и одобрители теперь подняли еще болѣе голову, ибо его сочиненія одобрены

пожалованіемъ ему ордена и рескриптомъ, его сопровож-  
давшимъ. О семъ надобно очень подумать, буде не для насъ,  
то для потомства» и проч. Низкій доносъ этотъ не имѣлъ  
ни какаго непріятнаго для Карамзина дѣйствія; но огорчилъ  
его, какъ должно огорчать людей благородныхъ и возвышен-  
ныхъ всякое низкое чувство и дѣйствіе.

Въ то время какъ зависть и клевета старались дѣйстви-  
вать противъ Карамзина, онъ исполнилъ дѣло прекрасное,  
дѣло гражданской доблести, мужества, и самоотверженія. Любя  
царя всѣмъ сердцемъ, но видя и слыша, что государственное  
управленіе Россіи находится въ положеніи крайне незавидномъ,  
что господствуютъ злоупотребленія, основанныя на превышеніи  
власти, на несправедливости, на уклоненіи отъ законовъ и  
главное на корысти, Карамзинъ рѣшился составить особен-  
ную секретную записку, въ которой фактически и рѣзко  
изложилъ что было въ Россіи, въ нравственно правитель-  
ственномъ отношеніи, и что дѣлается въ современную эпоху.  
Много нужно было имѣть гражданской добродѣтели, чтобъ  
написать эту замѣчательную и достойную признательности Рос-  
сін *Записку о древней и новой Россіи*, которая сдѣлалась  
извѣстною только въ 1836 году; но не менѣе еще надо было  
имѣть мужества, чтобъ, чрезъ великую княгиню Екатерину  
Павловну, представить эту откровенную записку императору  
Александру I. Государь, прочитавъ, могъ вполне убѣдиться,  
что избранный Карамзинымъ эпиграфъ, изъ одного Давидова  
псалма, *Нысть лъсти въ языкъ моему*, совершенно вѣренъ.  
Достойно вниманія, что многое, по замѣчаніямъ Карамзина,  
переданнымъ въ этомъ откровенномъ документѣ, было испра-  
влено въ отечественномъ административномъ порядкѣ и что  
записка эта открыла на многое глаза благодушнаго и благо-  
намѣреннѣйшаго государя.

Когда въ 1812 году французы приближались къ Москвѣ,  
Карамзинъ, въ это горестное для Россіи время, часто ви-  
дѣлся съ главнокомандующимъ Москвы, графомъ Ростопчи-

нимъ, который очень любилъ и уважалъ Карамзина, и разсуждалъ съ нимъ о бѣдствіяхъ отечества. Послѣ бородинской битвы, сожалѣя вмѣстѣ съ Ростопчинимъ о значительныхъ потеряхъ нашихъ, Карамзинъ сказалъ: «Ну! мы испили до дна горькую чашу... но за то наступаетъ начало его, и конецъ нашихъ бѣдствій. Повѣрьте, графъ: обязанъ будучи всѣми успѣхами своими дерзости, Наполеонъ отъ дерзости и погибнетъ!» Свидѣтель этого разговора, А. Я. Булгаковъ пишетъ: «Казалось, что прозорливый глазъ Карамзина открывалъ уже вдали убійственную скалу святя Елены! Въ Карамзинѣ было что то вдохновенное, увлекательное и съ тѣмъ вмѣстѣ отрадное. Онъ возвышалъ свой пріятный, мужественный голосъ; прекрасные его глаза, исполненные выраженія, сверкали, какъ двѣ звѣзды въ тихую, ясную ночь. Въ жару разговора, онъ часто вставалъ вдругъ съ мѣста, ходилъ по комнатѣ, все говоря, и опять садился.»

Въ декабрѣ 1812 года, послѣ пожара Москвы, Карамзинъ, изъ Нижняго-Новгорода, писалъ: «Не знаю, гдѣ проведу остатокъ жизни, какъ буду существовать и что дѣлать. Библіотека моя обратилась въ пепель, не имѣю способовъ заниматься обыкновеннымъ дѣломъ моимъ, и не вижу, когда могу выѣхать отсюда, не получая доходовъ отъ крестьянъ. Дай Богъ, по крайней мѣрѣ, чтобы спаслось любезное отечество.»

Въ началѣ 1813 года, историографъ былъ еще въ Нижнемъ-Новгородѣ, и оттуда писалъ: «сколько происшествій! какъ не хотѣлось мнѣ бѣжать изъ Москвы! Отпустивъ жену и дѣтей, жилъ до 1-го сентября, когда наша армія оставила Москву въ жертву непріятелю. Что мы видѣли, слышали и чувствовали въ это время! сколько въ день разъ спрашивалъ я у судьбы, на что она велѣла мнѣ быть современникомъ Наполеона съ товарищами? Добрый, добрый народъ русскій! я не сомнѣвался въ твоемъ великодушіи, но хотѣлъ бы лучше писать древнюю твою исторію въ иной вѣкъ, а не на пепелищѣ Москвы. Библіотека моя имѣла честь обратиться въ пепель

вмѣстѣ съ грановитою палатою; однако же рукописи мои уцѣлѣли въ Остафьевѣ. Жаль древнихъ манускриптовъ; они всѣ сторгѣли кромѣ бывшихъ у меня. Потеря невозратимая для нашей исторіи! Университетъ также всего лишился: библіотеки, кабинета. По крайней мѣрѣ, дай намъ Богъ славнаго мира, и поскорѣе! Между тѣмъ сижу какъ ракъ на мели: безъ дѣла, безъ матеріаловъ, безъ книгъ, въ несносной праздности, и въ ожиданіи горячки, которая здѣсь и во многихъ мѣстахъ свирѣпствуетъ. Просторно будетъ въ Европѣ и у насъ. Но вы, петербургскіе господа, сія въ лучахъ славы, думаете только о великихъ дѣлахъ! Извините меланхолію бѣдныхъ изгнанниковъ московскихъ.»

Потомъ, въ томъ же году лѣтомъ, Карамзинъ писалъ уже изъ Москвы: «Съ грустью и тоскою вѣхали мы въ Москву. Думаемъ около половины августа ѣхать въ Петербургъ, чтобы печатать написанные мною томы исторіи. Едва ли могу продолжать ее. Лучше выдать, пока я живъ. Ни какихъ плановъ для будущаго не дѣлаю. Да будетъ, что угодно Всевышнему. Еще неизвѣстно, когда государь возвратится въ Петербургъ, а безъ него мнѣ нельзя печатать исторію. Слѣдовательно мы и не увѣрены, когда точно поѣдемъ туда.» Проживъ все лѣто въ окрестностяхъ Москвы, Карамзинъ рѣшился остаться на зиму въ Москвѣ, несмотря на внимательность императрицы Маріи Федоровны, которая предлагала ему квартиру въ дворцѣ въ Петербургѣ и въ Павловскѣ. Въ половинѣ 1814 года, Карамзинъ оканчивалъ дописывать княженіе Василія Іоанновича и помышлялъ ѣхать въ Петербургъ, чтобы издать тамъ свою исторію. Въ это время былъ въ жизни Карамзина небольшой замѣчательный эпизодъ. Императрица Марія Федоровна, сорвавъ въ своемъ *Розовомъ Павильонѣ* (въ Павловскѣ) розанъ, отправила его, въ знакъ памяти, къ Н. М. Карамзину, находившемуся тогда въ подмосковной извѣстнаго нашего поэта и родственника своего, князя Петра Андреевича Вяземскаго. Вотъ по этому случаю отвѣтъ Карамзина:

«Давно оставленный розами, могъ ли я ждать къ себѣ такой гостыи? Развертываю, удивляюсь, читаю остроумное письмо съ любопытствомъ, нетерпѣніемъ, и вдругъ отъ живѣйшей признательности чуть не плачу. Важный исторіографъ любитъ розою, какъ пастушокъ. Она священна; не смѣю цѣловать ея, но смѣю гордиться ею. Какимъ наградамъ позавидую? Вопреки старинной пословицѣ о розахъ, моя роза будетъ нетлѣнною; будетъ всегда благоухать для моего сердца милостію богини павловской, напоминая мнѣ прекрасный вечеръ, тихое сіяніе катящагося въ западу солнца, на лазоревомъ небѣ, бесѣдку Флоры, а въ ней добродѣтельную государыню императрицу и любезнѣйшую великую княгиню, съ благоволеніемъ внимающихъ чтенію скромныхъ стиховъ, которые только въ сію минуту сдѣлались счастливыми.»

Въ началѣ лѣта 1816 года, Карамзинъ прибылъ въ Царское Село, гдѣ императоръ предоставилъ ему для жительства одинъ изъ кавалерскихъ домиковъ. Отсюда исторіографъ писалъ слѣдующее: «Уже третью недѣлю живемъ здѣсь, и довольно пріятно. Я былъ у государя, и видѣлъ его, въ другой разъ, на балѣ, въ Павловскѣ, у императрицы. Онъ такъ милостивъ, что два раза присылалъ спрашивать о здоровьѣ жены моей, которая было занемогла отъ простуды. Царское Село есть прекрасное мѣсто и, безъ сомнѣнія, лучшее вокругъ Петербурга. Здѣсь все напоминаетъ Екатерину. Какъ перемѣнились времена и обстоятельства. Часто въ задумчивости смотрю на памятники Чесмы и Кагула.»

Окончивъ восьмой томъ своей исторіи, послѣ четырнадцати лѣтъ самой томительной и трудной работы, Карамзинъ поднесъ всѣ первые восемь томовъ (8 декабря 1816) императору Александру. Государь принялъ этотъ трудъ съ особеннымъ благоволеніемъ, повелѣлъ напечатать безъ цензуры, пожаловалъ Карамзину чинъ статскаго совѣтника, орденъ св. Анны 1-й степени, и шестьдесятъ тысячъ рублей асс. на изданіе. Въ рескриптѣ, данномъ по этому случаю, на имя

Карамзина императоромъ Александромъ, сказано: «Мы удостоверны, что сіе послужитъ вамъ ободреніемъ въ совершенію труда, который передастъ имя ваше, вмѣстѣ съ славными подвигами предковъ, потомству.» Александръ самъ предварительно разсматривалъ, въ рукописи, оконченные восемь томовъ исторіи, и сдѣлалъ нѣкоторыя замѣчанія. Съ одними Карамзинъ согласился, противъ другихъ возражалъ, высылалъ государю продолженіе своего труда въ тетрадахъ, когда императоръ уѣзжалъ изъ Петербурга.

По полученіи средствъ на изданіе первыхъ восьми томовъ «Исторіи государства Россійскаго», Карамзинъ провелъ весь 1817 годъ въ чтеніи корректуръ своего историческаго труда, какъ это видимъ изъ писемъ его къ брату.

Живя въ Царскомъ лѣтомъ, а зимою въ Петербургѣ, Карамзинъ трудился надъ печатаніемъ и изданіемъ своихъ восьми первыхъ томовъ и постоянно пользовался вниманіемъ всей царской фамилии; но, любя страстно Москву, все только и мечталъ какъ бы возвратиться ему *въ добрую старушку Москву.*

Когда императорскій дворъ отправился, въ 1817 году на зиму, въ Москву, возникавшую изъ пепла, Карамзинъ погостилъ также въ стѣнахъ древней столицы, и, по желанію императрицы Маріи Федоровны, написалъ очеркъ ея памятниковъ, подъ заглавіемъ: *Записка о московскихъ достопамятностяхъ для нѣкоторой особы, пѣавшей изъ Петербурга въ Москву.*

Достойно вниманія, что, по приѣздѣ въ Петербургъ Карамзина, самые закоренѣлые любители стариннаго слога, не вѣровавшіе въ нововведенія въ языкѣ, сдѣланныя Карамзинимъ, сблизясь съ нимъ лично, перемѣнили свои мнѣнія, и отреклись отъ своихъ полувѣковыхъ убѣжденій. Такъ А. С. Шишковъ чистосердечно и публично отрекся отъ прежнихъ своихъ невыгодныхъ мнѣній о Карамзинѣ. Не прошло мѣсяца, и маститый Шишковъ полюбилъ въ немъ человѣка, преклонилъ

главу предъ изящною чистотою его слога, словомъ, влюбился въ его творенія и въ него самаго, что впрочемъ неудивительно, потому что мудрая вротость Карамзина, его непринужденное радушіе, сильны были обезоружить противниковъ и порицателей, даже самыхъ упорныхъ. Горечь, злорадство, униженіе другихъ и высокое мнѣніе о себѣ, такъ были чужды уму и сердцу Карамзина, что въ лѣтописяхъ всеобщей литературы не возможно отыскать равнаго ему въ незлобіи.

1818 годъ увѣнчалъ Карамзина вѣчною славою. Появленіе «Исторіи государства Россійскаго» въ печати надѣлало много шума, и произвело сильное впечатлѣніе: 300 экземпляровъ разошлись въ одинъ мѣсяць, чего не ожидалъ самъ Карамзинъ. Свѣтскіе люди бросились читать исторію своего отечества: она была для нихъ новымъ открытіемъ. Древняя Россія, казалось, найдена Карамзинымъ, какъ Америка Колумбомъ. Нѣсколько времени нигдѣ ни о чемъ иномъ и не говорили, какъ о колоссальномъ, невѣроятномъ историческомъ трудѣ Карамзина. Въ февралѣ 1818 года, по выходѣ «Исторіи государства Россійскаго», Карамзинъ писалъ: «Между тѣмъ исторія моя вышла: я поднесъ ее государю, обѣдалъ у него, былъ въ кабинетѣ... По сію пору исторія расходится хорошо; осталась только половина экземпляровъ. Весьма желаю сбыть ее съ рукъ, до отъѣзда въ Москву, чтобы не тащить обоза книжнаго за собою... А мы, любезный братъ, остаемся при своемъ твердомъ планѣ ѣхать въ Москву около августа: тамъ я жить, тамъ мнѣ и умереть. Люблю государя, императрицу, и смотрю въ свою нору». Вслѣдъ за этимъ Карамзинъ писалъ: «Исторія моя вся разошлась еще въ концѣ февраля: теперь здѣшніе книгопродавцы торгуютъ у меня второе изданіе, и соглашаются дать мнѣ 50,000 р. въ пять лѣтъ; это не много, но избавитъ меня отъ хлопотъ изданія». Живя уже въ Царскомъ Селѣ, въ концѣ августа 1818 года, исторіографъ писалъ: «Нынѣшній день добрый государь нашъ уѣхалъ за границу на четыре мѣсяца. Вчера былъ онъ у насъ, въ

смиреномъ нашемъ домигѣ, чтобы проститься съ Катериною Андреевною и со мною. Всякую недѣлю мы обѣдали у него два раза. Онъ изъявляетъ ко мнѣ милостивую довѣренность въ разговорахъ. Нельзя не любить его всего душою, когда видимъ его вблизи, и слышимъ разсужденія прекрасныя.»

Въ ноябрѣ Карамзинъ удостоился получить письмо отъ королевы виртембергской Екатерины Павловны, которая и впѣ отечества продолжала переписку съ историографомъ. «Съ большимъ удовольствіемъ», писала въ нему королева, «я получила, чрезъ матушку, письмо ваше, Николай Михайловичъ; благодарю васъ за оное, какъ и за прежнее, отъ 31-го мая. Дружба и память ваша (говорю тоже какъ и вы, въ двойномъ смыслѣ) мнѣ весьма пріятны. Благодарю васъ и за участіе, которое вы берете въ умноженіи моего семейства. Богъ далъ мнѣ дочь, здоровую, милую. Вообще не знаю, чѣмъ я заслужила всѣ Его ко мнѣ милости. Счастіе мое совершенно; не имѣю другаго желанія, какъ что бы оно продолжилось. Двѣ недѣли мы здѣсь наслаждались удовольствіемъ видѣть матушку. Теперь ожидаемъ Михаила Павловича, потомъ Константина Павловича, а въ началѣ будущаго мѣсяца государя и государыню. Не боюсь наскутить вамъ, описывая мою радость: вы меня пріучили говорить съ вами откровенно. Вы ко мнѣ рѣдко пишете, и я не могу согласиться съ вами, чтобы это было къ лучшему. Пишите болѣе, и читайте менѣе конституцій Германіи. Съ тѣхъ поръ, какъ я вблизи вижу національныя репрезентаціи, я выучилась цѣнить вѣсь словъ. *Хорошіе законы, хорошо исполняемые, вотъ лучшая конституція.* Читаю вашу исторію, и наслаждаюсь ею; но, не прогибайте, печать очень худа, глаза портить; жаль, потому что книга голову наполняетъ хорошими вещами. Поклонитесь отъ меня милой вашей супругѣ, которую я всегда люблю сердцемъ. Король поручилъ мнѣ васъ благодарить за все то, что вы ему ласковаго говорите. Не забывайте меня, и вѣрьте всегда, что никто вамъ не желаетъ болѣе добра.»



Въ 1818 году Карамзинъ былъ избранъ въ члены Россійской академіи, и по этому случаю произнесъ, 5 декабря, въ академіи замѣчательную рѣчь.

Второе изданіе «Исторіи» удержало Карамзина въ Петербургѣ. Вотъ что писалъ исторіографъ къ брату, въ концѣ этого года: «Мы привязаны теперь къ Петербургу вторымъ изданіемъ исторіи. Это мнѣ грустно. Люблю быть свободнымъ. Не перестаю думать о Москвѣ. Впрочемъ отдаю себя во власть Божию. Если мнѣ опредѣлено не умереть въ Петербургѣ, то, безъ сомнѣнія, выйду изъ него. Не работа для меня опасна, а всякое внутреннее волненіе: нервы у меня такъ раздражены, какъ у женщины въ родахъ. Черезъ три дня ожидаютъ государя. Люблю его всею душею, но не позволяю себѣ мечтать о продолженіи его милостей. Я уже старъ для двора. Ни съ кѣмъ изъ ближнихъ людей государевыхъ у меня нѣтъ ни малѣйшей связи. Одинъ добрый, умный графъ Каподистрія доказывалъ мнѣ пріязнь свою, и тотъ ѣдетъ, какъ слышно, лечиться теплымъ климатомъ въ свое отечество.»

Въ 1819 году на Карамзина поступило нѣсколько доносовъ, писанныхъ личными его врагами. Узнавъ объ этомъ, онъ отвѣчалъ: «Будучи и моложе, я не хотѣлъ сражаться съ нашими литературными забіяками. Пусть они единоборствуютъ.... вступаются будто бы за Іоанна Грознаго. И тутъ ничего не предпринимаю: есть Богъ и царь! Если моя, такъ называемая, слава — мыльный пузырь, то Богъ съ нею. Желаю не сердиться, и кажется едва ли сержусь.»

Благотворительности Карамзина есть много примѣровъ. Одинъ изъ извѣстныхъ пашихъ литераторовъ сообщаетъ, въ запискахъ своихъ, что въ 1819 году однажды онъ встрѣтилъ Карамзина въ одной изъ отдаленныхъ петербургскихъ улицъ, пѣшкомъ, поутру въ восемь часовъ. Погода была самая несносная: мокрый снѣгъ падалъ комками и ударялъ въ лицо; оттепель испортила зимній путь. Только прощесь, или другая какая бѣда, могли выгнать человѣка изъ дома

въ эту пору. Карамзинъ, съ свойственною ему любезностію, хотя всего два раза мелькомъ видѣлъ этого тогда еще едва начинавшаго литератора, узналъ его, и на удивленіе, изъявленное молодымъ литераторомъ, что встрѣчаетъ его въ такую погоду, сказалъ: «Я имѣю обыкновеніе прогуливаться пѣшкомъ поутру до десяти часовъ. Въ эту пору я возвращаюсь домой къ завтраку. Если я здоровъ, то дурная погода не мѣшаетъ мнѣ: напротивъ того, послѣ таковой прогулки, лучше чувствуешь пріятность теплаго кабинета.» — «Но должно сознаться», возразилъ литераторъ, «что вы выбираете не лучшія улицы въ городѣ для своей прогулки.» — «Необыкновенный случай завелъ меня сюда», отвѣчалъ Карамзинъ. «Чтобъ не показаться вамъ слишкомъ скрытнымъ, я долженъ вамъ сказать, что отыскиваю одного бѣднаго человѣка, который часто останавливаетъ меня на улицѣ, называетъ себя чиновникомъ, и проситъ подаваніе, именемъ голодныхъ дѣтей. Я взялъ его адресъ, и хочу посмотрѣть, что могу для него сдѣлать.» Я взялся сопутствовать Карамзину. Мы отыскивали квартиру бѣднаго чиновника, но не застали его дома. Семейство его въ самомъ дѣлѣ было въ жалкомъ положеніи. Карамзинъ далъ денегъ старушкѣ, и распросилъ ее о нѣкоторыхъ обстоятельствахъ жизни отца семейства. Выходя изъ воротъ, мы встрѣтили его, но въ такомъ видѣ, который тотчасъ объяснилъ намъ причину его бѣдности. Карамзинъ не хотѣлъ обременять его упреками; онъ покачалъ только головою, и прошелъ мимо. — «Досадно,» сказала Карамзинъ, улыбаясь, «что мои деньги не попали туда, куда я назначилъ ихъ. Но я самъ виноватъ: мнѣ надлежало бы прежде освѣдомиться объ его поведеніи. Теперь буду умнѣе и не дамъ денегъ ему въ руки, а въ домъ.»

Живя въ Петербургѣ, Карамзинъ обыкновенно проводилъ лѣтнее время въ Царскомъ Селѣ. Благоволеніе императора Александра къ Карамзину было такъ велико, что императоръ самъ посѣщалъ его, находя удовольствіе въ его бесѣдѣ, ко-

торая происходила въ *зеленомъ кабинетѣ*: такъ императоръ Александръ называлъ большую аллею царскосельскаго сада. Разговаривая откровенно съ государемъ, Карамзинъ часто пользовался расположеніемъ его, и ходатайствовалъ за несчастныхъ. Когда пріѣхалъ изъ Москвы другъ Карамзина, Дмитріевъ, то, по волѣ государя, ему былъ отведенъ домъ противъ самаго жилища историографа. Дмитріевъ пришелъ къ государю, изъявить благодарность.... — «Я знаю, за что вы хотите меня благодарить», сказалъ съ улыбкою императоръ Александръ, «я хотѣлъ васъ свести глазокъ на глазокъ съ Николаемъ Михайловичемъ.»

Въ 1822 году, вскорѣ послѣ царскосельскаго пожара, когда императоръ Александръ, живя уютно въ Царскомъ Селѣ, не принималъ тамъ никого, Карамзинъ письмомъ поздравилъ императора Александра съ праздникомъ Воскресенія Христова. «Во истину воскресе!» — отвѣчалъ государь изъ Царскаго Села. — «Чистосердечно сожалѣю, что возобновленіе погорѣвшаго домашняго моего храма лишило меня удовольствія христосоваться съ уважаемымъ мною историографомъ. Прошу изъявить Екатеринѣ Андреевнѣ мою признательность, поздравить отъ меня ее, и всю вашу семью, и быть увѣреннымъ въ искренней моей пріязни.»

Въ августѣ 1822 года, императоръ Александръ, уѣзжая на конгрессъ въ Верону, взялъ съ собою въ рукописи десятый томъ *Исторіи государства Россійскаго* — царствованіе Федора Иоанновича. «Въ первые три дня моего путешествія», писалъ Александръ въ Карамзину, «имѣлъ я довольно времени, чтобы со вниманіемъ прочесть тетради, вами мнѣ доставленныя. Чтеніе заняло меня весьма пріятно и произвело во мнѣ увѣреніе, что новый томъ Россійской исторіи будетъ достойнымъ продолженіемъ прежде напечатанныхъ. Если, послѣ сего чтенія, встрѣтилъ бы я васъ на прогулкѣ нашей ежедневной въ Царскомъ Селѣ, то, можетъ быть, позволилъ бы я себѣ войти съ вами въ разсужденіе о трехъ или четырехъ выраже-

ніяхъ, возбудившихъ нѣкоторое сомнѣніе во мнѣ о ихъ правильности. Но на письмѣ сіе неудобно, и для того отлагаю до моего возвращенія, прося васъ не останавливать ни мало вашихъ приготовленій къ тисненію. Теперь ожидаю съ нетерпѣніемъ перваго фельдъегера, дабы, съ обратнымъ отправленіемъ онаго, скорѣе доставить вамъ назадъ ввѣренныя мнѣ тетради, и тѣмъ уничтожить опасенія ваши о ихъ цѣлости. Прежде, нежели заключу сіи строки, прошу васъ засвидѣтельствовать мое почтеніе Еватеринѣ Андреевнѣ. Искренно сожалѣю, что не удалось мнѣ съ обоими вами проститься въ день моего отъѣзда. Все было мною сдѣлано для сего по обыкновенію, но на сей разъ тщетно. Кончаю увѣреніемъ во всегдашней моей привязанности къ вамъ.»

Въ началѣ 1823 года, Карамзинъ писалъ къ брату: «Работаю довольно и хожу пѣшкомъ, десятый томъ моей исторіи готовъ, но я отложилъ печать его до будущей осени, чтобы кончить свою исторію Лжедмитрія.»

Въ августѣ того же года, Карамзинъ писалъ: «Я былъ дѣйствительно при дверяхъ гроба отъ моей горячки, которая, видно, давно во мнѣ готовилась, хотя и не чувствительно; ибо я въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ хвалился своимъ здоровьемъ. Я умеръ бы легко, не чувствуя смерти: но Богъ услышалъ молитвы жены моей и оставилъ меня жить до времени. Государь и императрицы оказали въ этомъ случаѣ трогательное ко мнѣ благорасположеніе. Ихъ медики лечили меня съ особенною ревностію. Теперь я оправляюсь, но все еще имѣю нѣкоторую слабость.»

Во время наводненія въ Петербургѣ, 7-го ноября 1824 года, Карамзинъ былъ еще съ своимъ семействомъ въ Царскомъ Селѣ. Сохранилось любопытное и замѣчательное письмо императора Александра къ Карамзину объ этомъ ужасномъ событіи:

«Вы знаете о печальномъ происшествіи 7 ноября! Погибшихъ много, несчастныхъ и страждующихъ еще болѣе! Мой

долгъ быть на мѣстѣ: всякое удаленія причту себѣ въ вину. Вамъ не трудно представить себѣ грусть мою. Воля Божія: намъ остается преклонить главу предъ нею.»

Сообщая И. И. Дмитріеву содержаніе этихъ достопамятныхъ строкъ, Карамзинъ писалъ: «Это любезное письмо есть историческій памятникъ. Петербургъ никогда не славилъ такъ отеческой попечительности государя, какъ въ нынѣшнемъ бѣдствіи. Народъ, слушая панихиду по потопленнымъ въ Казанскомъ соборѣ, плакалъ и смотрѣлъ на царя....»

Живя въ Царскомъ Селѣ и въ 1824 и 1825 годахъ, Карамзинъ продолжалъ свой великій историческій трудъ, котораго было въ рукахъ публики уже 11 томовъ.

Сидячая жизнь его требовала движенія, почему медики присовѣтовали ему умѣренную верховую ѣзду на лошади, не тряской и съ пріятною рысью. Тотчасъ изъ придворныхъ лошадей, превосходно выѣзжанныхъ, была выбрана для него дамская верховая лошадь, отвѣчавшая всѣмъ упомянутымъ условіямъ, и съ тѣхъ поръ жители царскосельскіе постоянно видѣли, часу въ третьемъ, Карамзина, верхомъ на бурой англизированной лошади, въ длинномъ синемъ скотугѣ, рѣдко по улицамъ города, но всего чаще въ аллеяхъ царскосельскаго парка. Вотъ что Карамзинъ въ это время писалъ о себѣ: «Я точно наслаждаюсь здѣшнею тихою, уединенною жизнью, когда здоровъ, и не имѣю душевной тревоги. Всѣ часы дня заняты пріятнымъ образомъ: въ девять утра гуляю по сухимъ и въ ненастье дорогамъ вокругъ прекраснаго не туманнаго озера, въ одиннадцатомъ завтракаю съ семействомъ и работою съ удовольствіемъ до двухъ, еще находя въ себѣ душу и воображеніе (Карамзинъ сохранилъ ихъ до послѣдней минуты); въ два часа на конѣ, несмотря ни на дождь, ни на снѣгъ: трясусь, качаюсь — и веселъ; возвращаюсь, съ апетитомъ обѣдаю съ моими любезными, дремлю въ креслахъ, и въ темнотѣ вечерней еще хожу часъ по саду, смотрю вдаль на огни домовъ, слушаю колокольчій скачущихъ по большой

дорогѣ, и не рѣдко врикѣ совы. Возвратясь свѣжимъ, читаю газеты, журналы.... книгу; въ девять часовъ пьемъ чай за круглымъ столомъ, и съ девяти до половины двѣнадцатаго читаемъ, съ женою, съ двумя дѣвцами (дочерьми), замѣчательныя мѣста изъ вальтеръ-скоттовыхъ романовъ, но съ невинною пищею для воображенія и сердца, всегда жалѣя, что вечера коротки.... Работа сдѣлалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я со влзами чувствую признательность къ небу за свое историческое дѣло! Знаю что и какъ пишу; въ своемъ такомъ восторгѣ не думаю ни о современникахъ, ни о потомствѣ; я независимъ и наслаждаюсь только своимъ трудомъ, любовію къ отечеству и человѣчеству. Ну пусть никто не читаетъ моей исторіи: она есть, и довольно для меня... За неимѣніемъ читателей, могу читать себѣ и бормотать сердцу, гдѣ и что хорошо (вотъ слова Карамзина, излившіяся въ дружескомъ чистосердечіи). Мнѣ остается просить Бога единственно о здоровѣ милыхъ и насущномъ хлѣбѣ, до той минуты «какъ лебедь, на водахъ Меандра пропѣвъ, умоляетъ навсегда\*».)> Чтобъ чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, какъ сладкое успокоеніе въ объятіяхъ отца. Въ мои веселые, свѣтлые часы, я всегда бываю ласковъ къ мысли о смерти, мало заботясь о безсмертіи авторскомъ, хотя и посвятилъ здѣсь способности ума авторству....»

Осенью 1825 года, императоръ Александръ отправился въ Таганрогъ, заботясь о доставленіи большой государынѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ спокойнаго пребыванія въ лучшемъ климатѣ. Тутъ постигла его самого преждевременная смерть (19 ноября). — Карамзинъ былъ такъ убитъ печалью, что, по полученіи этого извѣстія, въ нѣсколько часовъ до того измѣнился въ лицѣ, что, казалось, прожилъ лишніе 10 лѣтъ. «Мы не имѣли времени, писалъ онъ нѣсколько дней спустя, приготовиться къ удару: изумились и хотѣли бы плавать еще

---

\*) Стихъ Державина.

болѣе, нежели плачемъ, если бы можно было заплатить слезами всю дань любви и признательности къ незабвенному для насъ Александру. Онъ еще дѣйствуетъ на мою судьбу земную: его мать добродѣтельная, братъ \*), великия княгини вѣрятъ моей искренней, чистой къ нему любви, и видятъ меня, чтобы плакать вмѣстѣ. Объ императрицѣ Елисаветѣ едва смѣю думать; она кажется мнѣ какимъ-то лучезарнымъ ангеломъ, въ состояніи неизъяснимомъ. Сердце рвется къ ней. Я мужъ, отецъ и не надеженъ здоровьемъ; не могу рѣшиться. Впрочемъ, кому быть утѣшителемъ ея, кромѣ Бога? Что для нея теперь жизнь и призванъ самая искреннѣйшая?»

Въ декабрѣ 1825 года, въ день 14 декабря, на Петровской площади, старецъ, съ орденскою лентою по мундиру, въ шелковыхъ чулкахъ и башмакахъ, въ слегка наброшенной на плеча шубѣ, съ непокрытою головою, подходилъ къ императору Николаю, вступившему въ этотъ день на престолъ предковъ. Новый императоръ ласково разговаривалъ съ старцемъ, который былъ — Н. М. Карамзинъ.

Здѣсь Карамзинъ получилъ простуду, которая присоединилась къ давно чувствуемому имъ физическому изнуренію отъ непрерывнаго напряженія умственныхъ силъ и необыкновенныхъ трудовъ. Больной и страдающій Карамзинъ писалъ, въ 1826 году, въ Москву: «Императора Александра любилъ я какъ человѣка, какъ искреннаго, добраго, милаго пріятнаго, если я смѣю сказать. Онъ самъ называлъ меня искреннимъ другомъ. Его величіе и слава конечно давали этой связи еще особенную для меня прелесть. Не думалъ я пережить его, и надѣялся оставить въ немъ покровителя моимъ дѣтямъ. Да будетъ воля Божія! Привязанность моя къ нему осталась безкорыстною. Новый достойный государь Россіи не можетъ знать и цѣнить моихъ чувствъ, какъ зналъ и цѣнилъ ихъ Александръ. Я слишкомъ старъ, и думаю

---

\*) Императоръ Николай.

только кончить, если дастъ Богъ, двѣнадцатый томъ исторіи, чтобы куда нибудь удалиться отъ двора, въ Москву ли, или въ нѣмецкую землю для воспитанія сыновей; здѣсь ученіе дорого и не такъ легко. Впрочемъ предаюсь и тутъ въ волю Божию. Нынѣ мы живы, а завтра гдѣ будемъ? Если не Александръ, то небесный отецъ нашъ не покинетъ моего семейства, какъ надѣюсь.»

Силы Карамзина ослабѣвали. Въ началѣ весны 1826 года, онъ жилъ въ Таврическомъ дворцѣ, куда его переселили, чтобы онъ свободнѣе могъ пользоваться чистымъ воздухомъ. Между тѣмъ онъ надѣялся поправить свое здоровье путешествіемъ (въ Итали, на благословенныхъ берегахъ Арно). «У подошвы Апеннинъ допишу исторію», сказалъ онъ, и взоръ его прояснился. Императоръ Николай Павловичъ, узнавъ о его желаніи, всемилостивѣйше пожаловалъ ему на дорогу 50 тысячъ рублей асс., и повелѣлъ, для отправленія его, снарядить фрегатъ; уже готовъ былъ и фрегатъ для перевезенія его въ южную Францію.... Въ это время Карамзинъ былъ пораженъ новымъ прискорбіемъ, узнавъ о смерти императрицы Елисаветы Алексѣевны, что сильно подѣйствовало на него. Вотъ что писалъ онъ, 22 апрѣля 1826 года:

«Я опять умираю, и, къ собственному моему удивленію, остался пока между живыми, вынесши жестоую болѣзнь съ тѣломъ, уже изнуреннымъ, съ душою, смятенною происшествіями, съ сердцемъ печальнымъ. Такъ было угодно Богу! Ему же угодно было вселить въ меня и чувство необходимости ѣхать въ лучшій климатъ, для выздоровленія, что думаютъ и всѣ медики. Царь, по особенной милости, далъ мнѣ средство, и жалуетъ даже фрегатъ, чтобы плыть на немъ въ Бордо. Искренно скажу, что не безъ сердечнаго сожалѣнія оставляю Петербургъ, гдѣ государь и императрица оказываютъ мнѣ столько благоволенія; но должно опять сдѣлаться полнымъ человѣкомъ, т. е. здоровымъ. А къ вамъ, друзья московскіе, сердце и воображеніе мое обращаются съ нѣжностію:



ѣду, простясь, а возвращеніе въ рукѣ невидимой столь неизвѣстно! Между тѣмъ срокомъ полагаемъ два года.

«На сихъ дняхъ отправлю въ архивъ ящикъ съ большею частію бумагъ и книгъ, которыя еще были у меня; удерживаю, для окончанія XII тома, весьма нѣмногія; мнѣ писать еще двѣ главы: наслаждаюсь мыслию изображать характеры и дѣйствія російской исторіи, и любоваться вдаль вершинами апеннинскими. Безъ работы, хотя самой легкой, для меня нѣтъ отдыха. Для формы напишу графу Нессельроду объ удерживаемыхъ мною книгахъ и бумагахъ.

«Я еще очень слабъ; на корабль думаемъ сѣсть 8 іюня.»

Но PROVIDĖНІЮ не угодно было, чтобы исполнились его желанія. Жизнь его мало по малу угасала.... Послѣдніе дни его были озарены душевною радостію, при полученіи письма (13 мая 1826 года) императора Николая Павловича, свидѣтельствовавшего безпримѣрное благоволеніе и трогательное участіе:

«Николай Михайловичъ! Разстроенное здоровье ваше нуждается васъ покинуть на время отечество, и исцѣлить благопріятнѣйшаго для васъ климата. Почитаю за удовольствіе изъяснить вамъ мое искреннее желаніе, чтобы вы скоро къ намъ возвратились съ обновленными силами, и могли снова дѣйствовать, для пользы и чести отечества, какъ дѣйствовали донныѣ. Въ то же время, и за покойнаго государя, знавшаго на опытѣ вашу благородную, безкорыстную къ нему привязанность, и за себя самого, и за Россію, изъясляю вамъ признательность, которую вы заслуживаете, и своєю жизнію какъ гражданинъ, и своими трудами какъ писатель. Императоръ Александръ сказалъ вамъ: «Русскій народъ достоинъ знать свою исторію.» Исторія, вами написанная, достойна русскаго народа. Исполняю то, что желалъ, чего не успѣлъ исполнить братъ мой. Въ приложенной бумагѣ найдете вы изъясненіе воли моей, которая, будучи съ моей стороны одною только справедливостію, есть для меня и священное завѣщаніе импе-

ратора Александра. Желая, чтобы путешествіе было вамъ полезно, и чтобы оно возвратило вамъ силы, для довершенія главнаго дѣла вашей жизни.»

Въ этой бумагѣ заключался высочайшій указъ министру финансовъ (отъ 13-мая), которымъ государь повелѣлъ производить дѣйствительному статскому совѣтнику Карамзину, по случаю его отъѣзда за границу для излеченія своего здоровья, по пятидесяти тысячъ рублей асс. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы сумма эта, обращаемая ему въ пенсіонъ, была послѣ него производима сполна его женѣ, и по смерти ея также сполна дѣтямъ, сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ въ службу, а дочерямъ до замужества послѣдней изъ нихъ.

Семейство исторіографа, предувѣдомленное о благодѣяніи императора, заливалось слезами и не знало, какъ объявить эту радость страдалцу, лежавшему на смертномъ одрѣ. Наконецъ нѣжная супруга воспользовалась удобнымъ временемъ, когда больной подерѣпилъ нѣсколько ослабѣвавшія силы, и ему поднесли рескриптъ. Прочитавъ его, Карамзинъ сказалъ: «это доказательство, что я долженъ умереть!...» Потомъ хотѣлъ онъ видѣть приложенный указъ, на который лились благодарныя слезы. Изъ указа онъ узналъ, что ему, а послѣ смерти семейству его, императоръ жалуетъ пятьдесятъ тысячъ рублей ежегоднаго пенсіона..... Онъ не вѣрилъ глазамъ своимъ. «Это уже слишкомъ много!» произнесъ Карамзинъ. Окружающіе, проливая горькія слезы, старались успокоить его тѣмъ, что онъ получилъ отъ справедливаго монарха по своимъ заслугамъ, что государство отъ этого не потерпитъ. Карамзинъ не переставалъ повторять тѣ же слова. Растроганный такою неожиданною милостію, Карамзинъ собралъ послѣднія силы, и слабѣющею рукою выразилъ глубокую къ монарху благодарность въ слѣдующихъ строкахъ: «Рескриптъ, которымъ вы, государь, меня осчастливили третьяго дня, написанный столь прекрасно, съ такимъ благоволеніемъ, съ воспоминаніемъ о незабвенномъ Александрѣ, съ хвалою смирен-

ному историографу сверхъ его достоинства — омочилъ слезами блѣдное мое лицо. Прочитавъ указъ къ министру финансовъ, я не вѣрилъ своимъ глазамъ: благодѣяніе чрезмѣрно; никогда, скромныя мои желанія такъ далеко не простирались. Изумленіе скоро обратилось въ умиленіе живѣйшей благодарности: если самъ уже не буду пользоваться плодами таковой царской безпримѣрной у насъ щедрости, то закрою глаза спокойно: судьба моего семейства рѣшена наисчастливейшимъ образомъ. Дай Богъ, чтобы фамилія Карамзиныхъ, осыпанная милостями двухъ монарховъ, заслужила имя вѣрной и ревностной къ царскому дому. О! какъ желаю выздороветь, чтобы скорѣе возвратиться въ Петербургъ, чтобы посвятить послѣдніе дни мои вамъ, бездѣнный государь, и любезному отечеству. Вчера не могъ я писать. И нынѣ голова моя слаба. Видомъ, говорятъ, я поправляюсь, но слабость не выпускаетъ меня изъ полулюдей. Заклучу тѣмъ: милости, благодѣянія ваши ко мнѣ такъ чрезвычайны, что я и здоровый не умѣлъ бы выразить вполне моей признательности.»

20 мая, въ четвертокъ утромъ, Карамзинъ еще говорилъ объ Италіи, но вскорѣ впалъ въ совершенное разслабленіе и безпамятство, и тихо скончался, 22 мая 1826 года, во второмъ часу по полудни, на рукахъ родныхъ и друзей. «Лишенный тѣлесныхъ силъ, онъ не могъ благословить дѣтей своихъ наружными знаками,» писалъ одинъ изъ свидѣтелей его кончины; «но вся жизнь его была для нихъ благословеніемъ.»

Карамзинъ умеръ въ Таврическомъ дворцѣ, гдѣ нѣкогда жили Потемкинъ и великій Суворовъ. Прахъ Карамзина преданъ землѣ 25 мая, и покоится въ Невскомъ монастырѣ, на новомъ кладбищѣ, на правой сторонѣ отъ вѣзда въ монастырскія ворота. По желанію, изъявленному имъ предъ смертію, погребеніе происходило безъ всякихъ церемоній. Почетнѣйшія лица, пребывающія въ Петербургѣ, вельможи, ученые и литераторы, русскіе и иностранцы, присутствовали

на погребеніи. Императоръ Ниволоай, принимавшій во все продолженіе болѣзни Карамзина нѣжнѣйшее въ судьбѣ его участіе, почтилъ, наканунѣ погребенія, послѣднимъ цѣлованіемъ прахъ своего знаменитаго подданнаго. На бѣлой мраморной доскѣ, лежащей на бѣлыхъ же мраморныхъ стѣнкахъ и служащей надгробнымъ памятникомъ историографа, нѣтъ ни какой надписи; но на сторонахъ памятника начертаны: на одной дни его рожденія и кончины, а на другой, около изображенія креста, слова: «Блажени чистіи сердцемъ, яко тін Бога узрять.» Памятникъ огороженъ желѣзною рѣшеткою, за которою нѣсколько кустовъ сирени посажены друзьями покойнаго — княземъ Петромъ Андреевичемъ Вяземскимъ, Василиемъ Андреевичемъ Жуковскимъ и Александромъ Ивановичемъ Тургеневымъ. Они трое опустили въ могилу гробъ историографа.

Въ полномъ собраніи сочиненій Жуковскаго можно прочесть прекрасное описаніе послѣднихъ дней и кончины Карамзина, откуда мы узнаемъ, между прочимъ, что, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, Карамзинъ писалъ къ И. И. Дмитріеву: «Списываю вторую главу Шуйскаго: еще главы три, съ обзорѣніемъ до нашего времени, и поклонъ всему міру, не холодный, но съ движеніемъ руки на встрѣчу потомству, ласковому и не спѣсивому, какъ ему угодно. Признаюсь, желаю довершить съ нѣкоторою полнотою духа, правостію сердца и воображенія. Близко, близко, но еще можно не доплыть до берега. Жаль, если захлѣбнусь съ перомъ въ ругѣ до пункта, или перо выпадетъ изъ руки отъ какаго-нибудь удара. Но да будетъ воля Божія.»

Послѣ этой главы, Карамзинъ написалъ еще двѣ, представилъ ужасную картину состоянія Россіи въ смутное время, показалъ издали зарю освобожденія отъ враговъ; но здѣсь, пораженный болѣзнію, остановился на словахъ: «Орѣшекъ не сдавался.» Перо выпало изъ ругѣ историографа.

Карамзинъ занимался два года сочиненіемъ двѣнадцатаго тома, который долженъ былъ заключиться восшествіемъ на престолъ царя Михаила Федоровича. Неоконченный томъ напечатанъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ оставленъ авторомъ, подъ редакцію его друга, графа Дмитрія Николаевича Блудова.

---

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ

## ГНѢДИЧЪ

(1784 — 1833).

Николай Ивановичъ Гнѣдичъ родился въ 1784 году въ Полтавѣ. Первое образованіе получилъ онъ въ полтавской семинаріи, потомъ, съ 1800 года, воспитываясь въ Московскомъ университетѣ, отличался пылкостью ума, добротою сердца и былъ горячо любимъ товарищами, которыхъ увлекалъ своею пламенною любовію къ поэзіи. Въ свободное отъ ученія время, въ праздники и каникулы, онъ плѣнялъ ихъ одушевленнымъ, сильнымъ чтеніемъ писателей, особенно драматическихъ, былъ душою ихъ собраній, и, за представленіе на университетскомъ театрѣ нѣкоторыхъ трагическихъ дѣйствующихъ лицъ, осыпалъ бывалъ единодушными похвалами.

Эта любовь къ драматическимъ произведеніямъ, къ роду сильнѣйшему въ области поэзіи, болѣе другихъ удовлетворявшему возвышенную и пылкую его душу, была господствующею страстію и услаждала его въ теченіе всей жизни. Первыми опытами его въ прозѣ и стихахъ были: переводы нѣкоторыхъ трагедій съ иностранныхъ языковъ; и, если для первыхъ опытовъ выбралъ онъ не лучшее, его извиняетъ неопытность молодости, извиняетъ и то, что на волю его въ то время дѣй-

ствовали многія уважительныя причины и болѣе всѣхъ бѣдность.

Небольшое имѣніе, доставшееся ему отъ отца, душъ около тридцати, въ Полтавской и Харьковской губерніяхъ, онъ передалъ своей сестрѣ, нѣжно имъ любимой, а самъ часто терпѣлъ нужду. Изъ этого тягостнаго положенія вывелъ его безсмертный старецъ Гомеръ. Къ Иліадѣ, великому созданію генія, Гнѣдичъ питалъ любовь еще въ университетѣ, перенесъ страсть эту съ собою въ общество, и вознамѣрился перевести на русскій языкъ дивное это твореніе. Греческому языку онъ учился въ университетѣ, но болѣе усовершенствовался въ немъ самъ собою, изучая греческихъ писателей, и глубоко вникая въ каждый стихъ, въ каждый звукъ Иліады. Она была собесѣдницею, сопутницею, услажденіемъ всей его жизни. Ни болѣзни, ни страданія не охладили въ немъ этой любви: Гомеръ былъ постояннымъ предметомъ пламенныхъ бесѣдъ его. Первые опыты перевода его александрійскими стихами 7, 8, 9, 10 и начала 11 пѣсней Иліады, напечатанныхъ въ 1809 и 1812 годахъ, обратили на него вниманіе цѣнителей великаго произведенія Греціи. Чѣмъ усерднѣе занимался Гнѣдичъ этимъ трудомъ, тѣмъ болѣе и болѣе возрастало къ нему вниманіе почитателей древняго пѣснопѣвца. Отрывки его перевода дошли до слуха просвѣщенной великой княгини Екатерины Павловны, тогдашней принцессы ольденбургской, и пылая душа ея первая почувствовала достоинство перевода; и чтобъ еще болѣе утвердить переводчика въ намѣреніи продолжать прекрасный трудъ, и доставить ему нѣкоторое въ жизни пособіе, она назначила ему тысячу рублей въ годъ пенсіи, которой выдача продолжалась и сыномъ ея, принцемъ Петромъ Георгіевичемъ ольденбургскимъ, по самую смерть переводчика.

Внимательное начальство, особенно два директора императорской публичной бібліотеки, графъ Александръ Сергѣевичъ Строгановъ, въ душѣ котораго каждое помышленіе было любовь и польза отечества, каждое чувство — счастье ближ-

наго, и Алексѣй Николаевичъ Оленинъ, много способствовали Гнѣдичу въ его предпріятіи. Въ ихъ почтенныхъ семействахъ писатели начала восьмисотыхъ годовъ находили мирный радужный пріютъ, а труды ихъ — чистосердечныя одобренія, вѣрныя сужденія, и то теплое участіе, безъ котораго холодѣетъ сердце человѣческое, дремлетъ воображеніе и пустѣетъ область изящнаго. Просвѣщенные люди не столько службы требовали отъ Гнѣдича, сколько Иліады. Они знали, что пересадить подобное твореніе на почву отечественной словесности — есть служба тому же отечеству, но такая, для совершенія которой и въ теченіе цѣлыхъ столѣтій не всегда представляются достойные подвижники. Скоро Иліада удостоилась вниманія императрицы Маріи Ѳеодоровны, и чертоги безсмертной благотворительницы Россіи огласились пѣснями дивнаго Гомера, а переводчикъ, согрѣтый ея благоволеніемъ, получилъ новыя силы къ продолженію начатаго труда. При такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, Иліада подвигалась, и Гнѣдичъ былъ неутомимъ въ своемъ дѣлѣ. Но, умѣя чувствовать во всей силѣ красоты подлинника и желая передать ихъ на отечественный языкъ съ строжайшею точностію, которой какъ собственное его глубокое разумѣніе, такъ и просвѣщенные любители, знакомые съ классическою древностію, почти безусловно требовали, онъ сѣтовалъ, что александрійскій стихъ не представляетъ къ тому возможности, а *Телмахіада*, Тредіаковскаго, какъ бы нѣкое страшилище, преграждала путь къ метрамъ Греціи. Несмотря на эти преграды, одинъ просвѣщенный ревнитель русской словесности, находя въ отдаленныхъ отрывкахъ нашей отечественной поэзіи всѣ оттѣнки систематической просодіи, убѣждалъ Гнѣдича, переведшаго, по настоянію его, нѣкоторыя мѣста изъ Гомера гекзаметрами, продолжать этотъ трудъ. «Читающіе Гомера въ подлинникѣ, писалъ онъ къ нему, обрадуются, услышавъ отголосокъ его безсмертныхъ пѣсней; нуждающимся въ переводѣ отероете



вы наконецъ путь къ точному познанію красотъ древней словесности и языковъ классическихъ.»

Мы приведемъ здѣсь нѣкоторыя мѣста изъ сужденій и состязаній, возникшихъ тогда объ этомъ предметѣ въ нашей словесности. «Одна изъ величайшихъ красотъ греческой поэзіи (писаль С. С. Уваровъ въ Гнѣдичу) есть богатое и систематическое ея стопосложеніе. Тутъ каждый родъ поэзіи имѣеть свой размѣръ и каждый размѣръ не только свои законы и правила, но, такъ сказать, свой геній и свой языкъ. Гекзаметръ (шестистопный героическій стихъ) предоставленъ эпопеѣ. Этотъ размѣръ весьма способенъ къ такому роду поэзіи. При величайшей ясности, онъ имѣеть удивительное изобиліе въ оборотахъ, важную и плѣнительную гармонію. Гекзаметръ даетъ совершенное понятіе о выраженіи Горація: *loqui ore rotundo*. Всѣ эпическія поэмы грековъ писаны этимъ размѣромъ.» Потомъ, сказавъ, что римляне заимствовали всѣ метрическія формы у грековъ и гекзаметръ присвоили себѣ лучше всѣхъ другихъ частей метрической ихъ системы, изложивъ стопосложенія новѣйшихъ словесностей, не могшихъ, по бѣдности своей просодіи, присвоить себѣ метрическихъ формъ Греціи, и недостаточность александрійскаго стиха, который мы заимствовали у французовъ, онъ продолжаетъ: «Прилично ли намъ, русскимъ, имѣющимъ, къ счастью, изобильный, метрическій, просодіею наполненный языкъ, слѣдовать столь слѣпому предрасудку? Прилично ли намъ, имѣющимъ въ языкѣ эти превосходныя качества, заимствовать у иноземцевъ бѣднѣйшую часть языка ихъ, просодію, совершенно намъ несвойственную?... Возможно ли узнать гекзаметръ Гомера, когда, сжавши его въ александрійскій стихъ и оставляя одну мысль, вы отбрасываете размѣръ, оборотъ, расположеніе словъ, эпитеты, словомъ все, что составляетъ красоту подлинника? Когда, вмѣсто плавнаго, величественнаго гекзаметра, я слышу свудный и сухой александрійскій стихъ, риемою

прикрашенный, то мнѣ кажется, что я вижу божественнаго Ахиллеса во французскомъ платьѣ.»

Гнѣдичъ, при письмѣ къ С. С. Уварову, представилъ въ литературное тогдашнее общество, называвшееся *Бесѣдою Любителей Русскаго Слова*, на сужденіе, шестую пѣснь Иліады, гекзаметрами. Слѣдствіемъ этихъ сужденій, благородныхъ и ученыхъ состязаній, важныхъ въ отношеніи къ русской словесности, была непоколебимая рѣшимость Гнѣдича перевести Иліаду размѣромъ подлинника, который и Ломоносовъ почиталъ превосходнѣйшимъ, но которымъ, къ сожалѣнію, кромѣ четырехъ стиховъ, не написалъ ни одного цѣлаго стихотворенія, и тѣмъ не усвоилъ его ранѣе русской словесности. Гнѣдичъ имѣлъ довольно силы не покоряться временнымъ требованіямъ вѣка, часто причудливымъ и страннымъ. «Требованія» говоритъ онъ въ предисловіи своемъ къ Иліадѣ, «перемѣняться; вкусъ вѣка пройдетъ, между тѣмъ какъ многія тысячи лѣтъ Гомеръ не проходитъ. Это памятникъ вѣковъ, требующій отъ переводчика не новой Иліады, какъ попева; но, такъ сказать, слѣпка, который бы, сколько позволяетъ свойство языка, былъ подобенъ слѣпкамъ ваятельнымъ. Плѣненный образомъ гомерова повѣтствованія, котораго прелесть не раздѣльна съ формою языка, я началъ испытывать, нѣтъ ли возможности произвести русскимъ гекзаметромъ впечатлѣніе, какое получилъ я, читая греческій. Люди образованные одобрили мой опытъ, и вотъ что дало мнѣ смѣлость отвязать отъ позорнаго столба стихъ Гомера и Виргилія, прикованный къ нему Тредіаковскимъ.»

Довольный своею мужественною рѣшимостію, Гнѣдичъ углублялся болѣе и болѣе въ тайны гармоніи и разнообразія гекзаметра, прочиталъ и тщательно изучилъ характеръ, духъ временъ гомеровыхъ и все что когда либо написано было достойнаго вниманія на греческомъ, латинскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ объ Иліадѣ, и съ большею любовію занимался своимъ дѣломъ.

Этотъ переводъ, прекрасный даръ отечеству одного изъ просвѣщеннѣйшихъ и благороднѣйшихъ его сыновъ, если не превосходящій, то по крайней мѣрѣ равный достоинствомъ переводу знаменитаго германскаго поэта Фосса, служить и краснорѣчивѣйшимъ доказательствомъ богатства и великолѣпія русскаго языка; потому что, кромѣ Германіи, ни одинъ народъ въ мірѣ не имѣетъ *Иліады*, переведенной гекзаметрами; стѣсненныя формы и свудость другихъ языковъ того не позволяютъ.

Императорская Россійская академія, признательная къ заслугамъ достойнаго сочлена своего, сдѣлала отличное изданіе творенія и предоставила его переводчику. Оно удостоилось полного вниманія императора Николая, искреннаго поклонника красотъ греческой поэзіи; оно по достоинству оцѣнено было просвѣщенными писателями и всѣми любителями изящнаго. Въ *Литературной Газетѣ*, издаваемой тогда барономъ Дельвигомъ, было справедливо сказано: «Наконецъ вышелъ въ свѣтъ давно и такъ нетерпѣливо ожидаемый переводъ *Иліады*. Когда писатели, избалованные минутными успѣхами, большею частію устремились на блестящія бездѣлки; когда талантъ чуждается труда, а люди пренебрегаютъ образцами величавой древности; когда поэзія не есть благоговѣнное служеніе, но только легкомысленное занятіе, съ чувствомъ глубокаго уваженія и благодарности взираемъ на поэта, посвятившаго гордо лучшіе годы жизни исключительному труду, безкорыстнымъ вдохновеніямъ и совершенію единаго высокаго подвига. Русская *Иліада* передъ нами.»

Съ такимъ справедливымъ привѣтомъ вступила *Иліада* въ отечественную словесность, привѣтомъ, тѣмъ драгоцѣннѣйшимъ, что онъ, какъ извѣстно, произнесенъ устами поэта знаменитаго, Пушкина. Однако же, по тогдашнему направленію словесности нашей, *Иліада* вообще не получила того хода, и не пріобрѣла того общаго восторга, которыхъ она достойна, и которыхъ долженъ былъ ожидать ея переводчикъ. Не собравъ

общихъ, заслуженныхъ рукоплесканій, не вполне насладившись восторгами своихъ согражданъ, столь сладкими душамъ благороднымъ, Гнѣдичъ долго и мужественно носилъ въ груди своей тайное сѣтованіе, и наконецъ, какъ человекъ, не могъ скрыть его отъ искреннихъ друзей своихъ. Но Иліада, уже пережившая тысячелѣтія, сдѣлавшись достояніемъ Россіи, передастъ позднѣйшимъ вѣкамъ знаменитое имя Гнѣдича.

Кромѣ Иліады, Гнѣдичъ оставилъ намъ еще *Собраніе своихъ стихотвореній*, въ одномъ томѣ, въ 8 долу. Нельзя не согласиться съ однимъ изъ просвѣщеннѣйшихъ критиковъ, что «если глубокое, пламенное чувство, богатое воображеніе, истинная философія, основательное изученіе древнихъ, языкъ свободный, благородный и оригинальный, приспособленный ко всѣмъ видамъ поэтическаго выраженія, могутъ составить поэта, то стихотворенія Н. И. Гнѣдича даютъ ему на то неотъемлемое право. Напрасно сѣтуетъ поэтъ на жестокой свой жребій:

Печалень мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!  
Ни чьей не ласкаемъ рукою,  
Отъ дѣтства я росъ одинокъ сиротою;  
Въ путь жизни пошелъ одинокъ,  
Прошелъ одинокъ его тощее поле,  
На коѣмъ, какъ въ знойной ливійской юдогѣ,  
Не встрѣтились взору ни тѣнь, ни цвѣтокъ;  
Мой путь одинокъ я кончаю,  
И хилую старость встрѣчаю.  
Въ домашнемъ быту одинокъ;  
Печалень мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!...

«Кто передалъ своему отечеству пѣсни отца поэзіи, кто, въ изліаніяхъ души и сердца своего, открылъ сокровищницу для людей, умѣющихъ чувствовать и постигать высокое и изящное, тотъ можетъ сказать, какъ Эпаминондъ, извлекая стрѣлу изъ смертельной раны: я умираю не бездѣтенъ.»

Въ этомъ изданіи, между прочимъ, снова напечатаны простонародныя пѣсни нынѣшнихъ грековъ и *Танкредъ*, трагедія

Вольтера. Во многихъ изъ собственныхъ произведеній Гнѣдича разлита меланхолія, неизбѣжная спутница страданій, или одиночества людей, глубоко чувствительныхъ. Стихи его исполнены вообще гармоніи, мысли и силы. Между прекрасными посланіями, лирическими, элегическими и другими собственными его сочиненіями, отличное мѣсто занимаетъ идилія *Рыбаки*. Изъ переводовъ, лучшими почитаются: *Мильтонъ, ступающій на свою слѣпоту*; *Тарентинская дѣва*; *Танталъ и Сизифъ въ адѣ*, отрывокъ изъ Одиссеи; *Мелодія*, изъ сочиненій Байрона и *Сиракузянки, или праздникъ Адониса*, идилія Теоокрита. Въ прекрасномъ переводѣ послѣдней, мы получили на русскомъ языкѣ вторую идилію славнаго поэта Греціи. (Первую, *Рыбаки*, передалъ нашъ извѣстный критикъ и писатель Мерзляковъ). Не менѣе самихъ *Сиракузянокъ* драгоцѣнно для нашей словесности и краткое, но превосходное сужденіе Гнѣдича о поэзіи идиллической, помѣщенное предъ самою идиліею. «Поэзія идиллическая», говоритъ онъ, «у насъ, какъ и въ новѣйшихъ литературахъ европейскихъ, ограничена тѣснымъ опредѣленіемъ поэзіи пастушеской; опредѣленіе ложное. Изъ него истекають и другія, столь же неосновательныя мнѣнія, будто поэзія пастушеская, то есть, идилія и эклога, въ словесности нашей существовать не можетъ, ибо у насъ нѣтъ пастырей, подобныхъ древнимъ, и прочее. Идилія грековъ, по самому значенію слова, есть видъ, картина, или то, что мы называемъ сцена; но сцена жизни и пастушеской и гражданской, и даже героической.» Это сужденіе подкрѣпляется идиліями Теоокрита, неподражаемаго образца стихотвореній этого рода.

Кромѣ *Танкреда*, представленнаго на театрѣ въ 1810 году, Гнѣдичъ не разсудилъ помѣстить въ этомъ собраніи слѣдующихъ трудовъ своихъ: *Абюфаръ*, трагедія Дюсиса, напечатанная въ 1802 году; *Заговоръ Фіеско въ Генуѣ*, трагедія Шиллера, переведенная въ 1803 году, *Донъ Коррадо де Геррера*, оригинальный романъ въ 2 частяхъ, 1803 года, *Лиръ*, трагедія

Шекспира, представленная въ 1807 году и напечатанная въ 1808 г. *Лиръ* и *Танкредъ* имѣли большой успѣхъ на русскихъ театрахъ.

Природа надѣлила Гнѣдича прекрасною душою и свѣтлымъ умомъ. Довѣрчивый, пламенный и постоянный въ дружбѣ, онъ былъ отиѣнно пріятенъ въ дружескихъ бесѣдахъ. Все доброе, все изящное находило въ немъ восторженнаго любителя. Немногихъ надѣлила природа счастливою способностію такъ наслаждаться изящнымъ, какъ онъ наслаждался. Довольно было одного звука изъ твореній Гайдена или Моцарта, одного взгляда на созданіе Рафаэля или Микель-Анджело, одного счастливаго стиха великихъ поэтовъ, чтобы страстная и пылкая душа его пришла въ восторгъ и упоеніе. Съ младенческимъ радушіемъ, онъ ободрялъ литературныя начинанія молодыхъ писателей, оживлялъ ихъ дарованія, согрѣвалъ ихъ душу и воображеніе, поддерживалъ ихъ въ преодоленіи трудовъ, привѣтствовалъ при окончаніи. Зависть, какъ и всякое чувство низкое, не имѣла доступа къ его благородному сердцу: онъ обнималъ соперника въ литературѣ съ тѣмъ же благородствомъ, съ какимъ умѣлъ чтить и превосходящее дарованіе. Весьма многіе, знавшіе Гнѣдича болѣе или менѣе коротко, находили въ грустныхъ минуты жизни мѣстечко подлѣ его прекраснаго, теплаго сердца. Друзья его, раскрывая передъ нимъ сокровеннѣйшія тайны своихъ сердецъ, ему преданныхъ, находили въ немъ совѣтъ и утѣшеніе. Посланія къ нему многихъ изъ первѣйшихъ нашихъ литераторовъ доказываютъ, до какой степени онъ былъ ими любимъ. Въ словесности нашей много произведеній, которыя получили большее достоинство, большую отчетливость и красоту по его совѣтамъ. Нѣкоторые изъ лучшихъ нашихъ писателей отдавали ему на судъ свои произведенія, и умѣли цѣнить его глубокія, вѣрныя замѣчанія. Достоинно вниманія, что Гнѣдичъ въ особенности любилъ весьма строго судить самого себя, о другихъ же онъ рѣдко высказывалъ мнѣніе. Однажды, проводя вечеръ въ

одномъ дружескомъ семействѣ, въ тихомъ и совершенно безтревожномъ расположеніи духа, онъ коснулся самого себя и, между прочимъ, сказалъ: «умомъ моимъ я не всегда доволенъ: онъ не рѣдко увлекается; но душею всегда: она ни разу меня не обманула.» Эти слова, излившіяся въ минуту мирнаго откровенія дружбы, доказываютъ, какъ глубоко онъ погружался въ самого себя и какъ строго судилъ себя. Возвышенный духомъ, гордый чистотою своихъ намѣреній и поступковъ, или негодуя на какую-нибудь неправду человѣческую, а иногда единственно углубленный въ свои гомерическія думы, онъ казался развлеченнымъ и какъ бы недоступнымъ; но минута, одно слово дружбы — и чистая душа его являлась во всей своей прелести. Но послушаемъ, что онъ говоритъ самъ о себѣ (въ запискахъ его): «По естественному расположенію я ласковъ, однако же не менѣе того и суровъ, иногда оттого, что не доволенъ собою, иногда оттого, что не доволенъ другими. Не доволенъ собою бываю я оттого, что мнѣ всегда хочется достигнуть совершенства, а особенно въ стихахъ моихъ: не доволенъ другими потому, что мои свободныя, но немного строгія правила и мои пламенные чувства не могутъ легко согласоваться съ другими.»

Любовь къ драматической поэзіи и самой декламациі, наполнявшая душу Гнѣдича, еще юноши, когда онъ оглашалъ стихами русскихъ трагиковъ залы московскаго университета, сохранялась въ немъ въ продолженіе всей его жизни. Вникая болѣе и болѣе въ искусство чтенія, онъ постигнулъ, наконецъ, глубочайшія его тайны. Одаренный сильнымъ голосомъ и твердою грудью, онъ былъ превосходный чтець. Выражая и нѣжныя и сильныя чувства, онъ умѣлъ находить измѣненія голоса для безконечно различныхъ переходовъ чувствованій, и это были не холодные переливы голоса, но тоны души, согрѣтые глубокою страстію, и не рѣдко сопровождаемые обильными слезами. Не одинъ голосъ, сердце его всегда говорило. Слушая Илиаду, имъ читаемую, внимавшіе ему

слушали какую то величественную, усладительную гармонию, и переносились мысленно въ тотъ древній бытъ Греціи, когда пѣсни Гомера раздавались на площадяхъ городовъ, на поляхъ и холмахъ древнихъ ея обитателей.

Его просвѣщенной дружбѣ, постоянному и многолѣтнему участию въ изученіи и развитіи нѣкоторыхъ прекрасныхъ трагическихъ характеровъ, одолжена знаменитая трагическая наша актриса Семенова истиннымъ блескомъ той славы, которою она столь торжественно красовалась. Развивая ея прекрасный талантъ и раскрывая передъ нею тайны искусства, Гнѣдичъ довелъ ее въ роляхъ Клитемнестры, Медеи, Мeroпы и нѣкоторыхъ другихъ до той высоты, которая доступна однѣмъ избраннымъ любимицамъ Мельпомены. Изъ ея счастливыхъ природныхъ способностей, онъ сдѣлалъ все, что служило къ ихъ совершенству; изъ ея сильной, нѣжной и страстной души онъ извлекъ тѣ глубокіе звуки, тѣ вопли сердца, которые приводили то въ ужась, то въ умиленіе очарованныхъ зрителей.

Гнѣдичъ не пользовался совершеннымъ здоровьемъ даже и въ молодые лѣта. Онъ не наследовалъ его отъ родителей, а литературныя занятія, трудолюбивая, сидячая жизнь въ послѣдствіи должны были еще болѣе ослабить его здоровье. Одиночество, сильно имъ выраженное и выше приведенное въ стихотвореніи его, *Дума*, — одиночество въ свою очередь умножало его душевную болѣзнь; ему не суждено было испытать счастья супружества, котораго онъ пламенно желалъ. Но вотъ собственныя его слова:

«Долго испытывая, что такое счастье или, лучше сказать, на чемъ бы хотѣлъ я основать мое счастье, нахожу, что постоянство и однообразіе жизни, спокойствіе духа и свобода, образованность сердца и раздѣленіе чувствъ его, вотъ источники счастья, мною воображаемаго. Только воображаемаго?... Какъ я бѣденъ!

«Главный предметъ моихъ желаній — домашнее счастье.



Монихъ?... Едва ли это не цѣль и конецъ, въ которыхъ стремятся предпріятія и труды каждаго человѣка. Но увы! я бездомень, я безродень. Кругъ семейственный есть благо, котораго я никогда не вѣдалъ. Чуждый всего, что могло бы меня развеселить, ободрить, я ничего не находилъ къ пустотѣ домашней, кромѣ хлопотъ, усталости, унынія. Меня обременяли всѣ заботы жизни домашней безъ всякаго изъ нея наслажденій.»

Съ 1809 года, будучи не болѣе двадцати пяти лѣтъ, Гнѣдичъ началъ хворать, и хотя по временамъ здоровье его болѣе или менѣе возстановлялось; но почти всегда требовало врачевой помощи. Въ 1825 году, по совѣту врачей, онъ ѣздилъ на кавказскія минеральныя воды, но возвратился съ большимъ разстройствомъ; къ прежнимъ болѣзнямъ присоединился катарръ въ груди. Въ 1826 году, въ августѣ мѣсяцѣ, врачи настояли, чтобъ онъ пожилъ гдѣ нибудь въ тепломъ краю, и онъ избралъ Одессу. Воздухъ юга и морскія тепловатыя ванны принесли ему великую пользу. Возвратившись оттуда, въ 1828 году, онъ пользовался здоровьемъ, значительно возстановленнымъ, и тогда то занялся изданіемъ Иліады. Въ 1830 году, всѣ прежніе припадки начали возобновляться, и къ нимъ прибавилась еще боль въ горлѣ, начавшаяся на Кавказѣ, и явно усилившаяся. Въ 1831 году, врачи убѣдили его ѣхать въ Москву на искусственныя минеральныя воды; была и отъ нихъ нѣкоторая польза, временная: въ послѣдствіи боль въ горлѣ снова усилилась и довела его до страдальческаго состоянія. Болѣзнь его, едва ли постигнутая кѣмъ въ началѣ своемъ, упорно противилась всѣмъ усиліямъ врачевнаго искусства. «Особенную у меня раздражительность горла», говоритъ самъ Гнѣдичъ, въ запискѣ о своихъ болѣзняхъ, «должно, можетъ быть, приписать, между прочимъ, тѣмъ частымъ и необыкновеннымъ напряженіямъ его, какія я дѣлалъ, начавъ еще съ 1807 года обрабатывать трагическія роли съ бывшею актрисою госпожею Семеновою. Трудъ сей требовалъ чрезмѣрныхъ усилій, и чувства, и голоса; но я занимался имъ

лѣтъ восемнадцать постоянно и ревностно; ибо успѣхи блистательные вознаграждали за него. Голосъ мой, всегда гибкій и сильный, никогда не терпѣлъ отъ этого, грудь моя, съ молодости сильная и крѣпкая, хотя, можетъ быть, при такихъ трудахъ раздражалась до высочайшей степени, но никогда не страдала.»

Это предположеніе Гнѣдича рѣшительно разгадано и объяснено наконецъ однимъ изъ врачей, пользовавшихся его въ послѣднее время. Въ груди у него, отъ сильныхъ напряженій, за нѣсколько лѣтъ повредилась одна изъ артерій, которая и была тайною причиною раздражительности легкихъ и боли въ горлѣ. Въ южномъ благопріятнѣйшемъ для человѣка климатѣ, по словамъ того же самаго врача, несмотря на эту болѣзнь, онъ могъ бы еще долго жить, но здѣсь, въ Петербургѣ, грудь его не могла вынести непостоянства и суровости сѣвера. Въ послѣднее время его жизни, хворый и слабый, онъ пораженъ былъ свирѣпствовавшею въ городѣ болѣзнію гриппомъ, и скончался 3-го февраля 1833 года.

Одинъ изъ друзей зашелъ къ нему 2-го февраля 1833 года; это было наканунѣ его смерти. Другу сказали, что Гнѣдичъ сильно ослабѣлъ; однако же онъ диетовалъ духовное свое завѣщаніе. Онъ сидѣлъ неподвижно въ креслахъ, долго всматривался въ стариннаго друга, наконецъ, узнавши, легкимъ движеніемъ головы привѣтствовалъ его. Другу этому прочитали волю его, исполненіе которой онъ возлагалъ единственно на этого друга, въ разсужденіи книгъ его и бумагъ. Выслушавъ это мѣсто изъ завѣщанія, другъ подошелъ къ нему и сказалъ: — «Исполню, все въ точности исполню, почтенный другъ; но не позволите ли перепечатать нѣкоторыхъ прозаическихъ вашихъ сочиненій?» — «Я самъ, сказалъ онъ, не могъ выбрать изъ нихъ ничего удовлетворительнаго для меня; впрочемъ отдаю ихъ на вашу волю, дѣлайте что хотите.» Потомъ, по нѣкоторомъ молчаніи, взглянувъ на друга, тихо сказалъ: «Вспоминайте иногда обо мнѣ.» При этихъ словахъ, при голосѣ

страдальца, чувствующаго уже свое разрушеніе и спокойно ожидающаго смерти, слезы невольно повалились по лицу посятителя. Онъ благодарилъ его за чистую, искреннюю дружбу его, и благодарилъ пламенно. Сидѣвшій до сихъ поръ спокойно и неподвижно, и по временамъ нѣсколько уже забывавшійся, онъ вдругъ повернулся въ собесѣднику, схватилъ его руку, и крѣпко пожалъ ее. Казалось, вся прежняя сила возвратилась ему на минуту, чтобы послѣднимъ пожатіемъ руки проститься съ спутникомъ жизни, дѣлившимъ съ нимъ и радости ея и горести.

Этотъ благородный человѣкъ, пламенный ревнитель всего добраго, изящнаго и полезнаго, честно прешедши земное свое поприще, оставилъ отечеству превосходный переводъ величайшаго пѣвца древности, и собственныя свои произведенія, достойныя перейти въ потомству. Полтавѣ, родной странѣ своей, какъ благодарный сынъ, за первое образованіе юныхъ своихъ способностей, онъ завѣщалъ свою библіотеку, драгоцѣннѣйшее стяжаніе и наслажденіе цѣлой жизни его; бѣдному сыну любимой сестры своей — все скудное имущество свое, а друзьямъ своимъ глубокую, неизгладимую память чистѣйшей, безкорыстной дружбы и сѣтованіе объ утратѣ добрѣйшаго изъ смертныхъ.

Гнѣдичъ погребенъ на новомъ кладбищѣ Невскаго монастыря. Надгробный памятникъ поставленъ ему иждивеніемъ друзей его и почитателей, съ надписью:

*Г Н Ъ Д И Ч У,*

*обогатившему*

*русскую словесность переводомъ Омира.*

«Рѣчи изъ устъ его вѣщихъ сладчайшія меда лились.»

(Иліада. Пѣснь 1. стих. 249).

**АЛЕКСАНДРЪ СЕРГѢЕВИЧЪ**

## **ПУШКИНЪ**

(1799 — 1837).

Россия лишилась въ Пушкинѣ своего любимого, національнаго поэта. Онъ пропалъ для нея въ ту минуту, когда его созрѣваніе совершалось; пропалъ, достигнувъ до той поворотной черты, на которой душа наша, прощаясь съ кляучею, вѣногда безпорядочною силою молодости, тревожимой гениемъ, предается болѣе спокойной, болѣе образовательной силѣ зрѣлаго мужества, столь же свѣжей, какъ и первая, можетъ быть не столь порывистой, но болѣе творческой. У кого изъ русскихъ съ его смертію не оторвалось что то родное отъ сердца?

**Жуковскій.**

Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный:  
Къ нему не зарастетъ народная тропа.

**А. Пушкинъ.**

Въ іюль мѣсяцѣ 1859 года дорожная коляска, запряженная тройбою почтовыхъ коней, въ девять часовъ вечера, въѣхала на станцію Святыя Горы, находящуюся верстахъ въ пятидесяти за Псковомъ по кievскому шоссе. Два молодые путешественника вышли изъ коляски и вошли въ грязный станціонный домъ, гдѣ они плохо переночевали, какъ обыкновенно это бываетъ на нашихъ русскихъ станціяхъ. Рано утромъ молодые люди пошли къ монастырю Святигорскому. Они радовались, когда вышли изъ монастырской слободы, гряз-

ной и гадкой, и подошли къ монастырскимъ стѣнамъ, потому что дорога, отдѣляющая слободу отъ монастыря и прилежащихъ къ нему горъ, разграничиваетъ точно два разные міра: міръ тмы, грязи, суматохи — отъ міра свѣта, красоты и покоя. Истинная прелесть Святыя Горы, покрытыя рощами, пашнями, открывающія далекій видъ на холмистый Новоржевскій уѣздъ! Прахъ нашего бессмертнаго поэта Пушкина покоится за алтаремъ главной каменной церкви Святогорскаго монастыря, возлѣ самой монастырской ограды, мимо которой идетъ почтовая дорога въ Новоржевъ. Старыя липы осѣняютъ бѣлый мраморный памятникъ. Онъ стоитъ высоко на пьедесталѣ, и видѣнъ черезъ каменную ограду съ почтовой дороги. Желѣзная рѣшетка ограждаетъ памятникъ; отъ нея шага четыре до церкви, и столько же до стѣны. Лицевая сторона памятника обращена къ церкви.

Если стоишь у церковной стѣны, прямо насупротивъ памятника, то справа и слѣва, сквозь вѣтви липъ, открывается очаровательная панорама горъ, засѣянныхъ гречихою и льномъ. Сбылось желаніе Пушкина:

И пусть у гробоваго входа  
Младая будетъ жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вѣчною сіять!

Осмотрѣвъ многочисленныя достопамятности Святогорскаго монастыря, подъ руководствомъ отца-настоятеля іеромонаха Гавріила, въ высшей степени обходительнаго и радушнаго, путешественники взяли себѣ въ проводники крестьянскаго мальчика и пошли въ сельцо Михайловское. Черезъ монастырскія ворота молодые люди вышли на почтовую дорогу и, проходя мимо ограды, изъ за которой видѣлся памятникъ, они вздумали испытать, до какой степени свѣжа въ околоткѣ память о михайловскомъ помѣщикѣ. «Павлуша, кто тутъ похороненъ за оградою, знаешь ли?»

— «Знаю. Пушкинъ.» — «А кто-жь онъ таковой былъ?»  
Мальчикъ замаялся, наконецъ проговорилъ: «генералъ!»  
Чтобы не дѣлать длиннаго обхода, путники свернули съ почтовой дороги на проселочную, сквозь лѣсокъ и шли въ виду Тригорскаго и тѣхъ мѣстъ, по которымъ часто бродилъ Пушкинъ въ свое двухлѣтнее (1824 — 1826) пребываніе въ Михайловскомъ. При взглядѣ на эти озера, рощи, мельницы, невольно повторялись стихи Пушкина, «какъ будто рождала не память робкая, но сердце.» Такъ вотъ онѣ сами живьемъ тѣ восхищавшія его прелестныя картины!

Здѣсь вижу двухъ озеръ уснувшія равнины,  
Гдѣ парусъ рыбаей бѣлѣтъ иногда;  
За ними рядъ холмовъ и нивы полосаты,  
Вдали разсыпанныя хаты,  
На влажныхъ берегахъ бродяція стада,  
Овины дымныя и мельницы крылаты:  
Вездѣ слѣды довольства и труда.

Вотъ тутъ пересѣкаетъ путь дорога изъ Тригорскаго въ Михайловское. Невольно звуками Пушкина запоминаешь эту мѣстность:

На гранщѣ.....  
Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,  
Гдѣ въ гору поднимается дорога,  
Изрытая дождями, три сосны  
Стоять, поодаль двѣ другія....

Дѣйствительно, вотъ онѣ тѣ красивыя, старыя сосны, но тутъ только двѣ, гдѣ же третья? Гдѣ же

Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,  
Какъ старій холостякъ?

Онъ ужъ срубленъ, какъ объяснилъ путешественникамъ потомъ почтенный отецъ настоятель: бревно было толстое; на мельницу понадобилось.

Наконецъ вотъ онъ

Огромный запущенный садъ,  
Пріютъ задумчивыхъ дріадъ....

Длинная аллея старыхъ елей тянется отъ полуразрушенной бесѣдки до *домика Пушкина*.

Путники заранѣе навели справки, есть ли въ усадьбѣ ктонибудь изъ дворовыхъ, кто помнилъ бы Пушкина. Оказалось, живъ еще одинъ старикъ Петръ, служившій кучеромъ у Александра Сергѣевича. Отыскали Петра. Старикъ онъ лѣтъ за шестьдесятъ, еще бодрый, говоритъ хорошо, толково, и, какъ видно, очень понимаетъ, что за такой *генералъ* былъ его баринъ. «Увидѣть барскій домъ нельзя ли?» сказалося само собою, потому что здѣсь какъ то сами собою наворачиваются стихи изъ Онѣгина. — Ну покажи намъ, Петръ, сказали путники, гдѣ тутъ больше проводилъ время твой покойный баринъ,

Гдѣ почивалъ онъ, кофе кушалъ,  
Приващива доклады слушалъ?

— Э, батюшка, нашъ Александръ Сергѣичъ никогда этимъ не занимался: всѣмъ староста завѣдывалъ; а ему, бывало, все равно, хошь мужикъ спи, хошь пей: онъ въ эти дѣла не входилъ. А жилъ онъ вотъ тутъ, пожайлуте.

Вошли въ прихожую, отворили дверь въ залу.... Нѣтъ, лучше бы туда и не заглядывать!

Къ чему въ нашемъ суровомъ, всеразрушающемъ климатѣ романтическія желанія—побывать въ той самой комнатѣ, отдохнуть на томъ самомъ креслѣ, гдѣ сиживалъ Пушкинъ, гдѣ шла оживленная бесѣда его съ друзьями, гдѣ онъ слушивалъ сказки своей няни? Мы не въ Англіи. Пушкинъ не Борнсъ, чтобы его кресло хранилось какъ святыня, чтобы то оконное стекло, на которомъ нацарапано имъ четверостишіе, цѣнилось сотнями фунтовъ стерлинговъ, и всетаки, изъ поколѣнія въ поколѣніе, оставалось собственностію домовладѣльца. Мы слыш-

вомъ благовоспитаны, слишкомъ положительны, чтобъ дорожить подобными пустыками; въ нашей натурѣ, кромѣ лѣни, есть еще и практичность: мебель намъ нужна въ городѣ, въ жиломъ домѣ, а не въ пустырѣ, куда никто не заглянетъ, бревна нужны на мельницу, лѣсъ на дрова, а вовсе не на то, чтобы во время чинить историческую крышу. И вотъ прошло четверть вѣка, послѣ смерти поэта, а крыша провалилась, балки перегнили, потолокъ обрушился; подъ стропилами, на перекресткѣ двухъ жердей, въ углу сидитъ сова, эмблема мудрости, единственная поэтическая принадлежность, которую мы нашли въ жилищѣ поэта.

«Гдѣ-же тутъ былъ кабинетъ Александра Сергѣевича?»

— А вотъ тутъ все у него было: и кабинетъ и спальня, и столовая, и гостиная. (Комната въ одно окно, сажени въ три, квадратная). — Тутъ у него столикъ былъ подъ окномъ. Коли дома, таеъ все онъ тутъ бывало книги читалъ, и по ночамъ читалъ: спать, спать, да и вскочить, сядетъ писать; огонь у него тутъ безпереводно горѣлъ.

«Такъ ты его, старикъ, хорошо помнишь?»

— Какъ не помнить; я здѣсь у него кучеромъ служилъ, я его и въ Михайловское то привезъ со станціи, какъ онъ сюда изъ Одессы приѣхалъ.

«А няню его помнишь? Правда ли, что онъ ее очень любилъ?»

— Арину то Родионовну? Какъ же еще любилъ то; она у него тутъ вотъ и жила. И онъ все съ нею, коли дома. Чуть встанетъ утромъ, уже и бѣжитъ ее глядѣть: «здорова ли, мама?» онъ ее все мамѣ называлъ. А она ему, бывало, эдакъ нараспѣвъ (она вѣдь изъ за Гатчина была у нихъ взята, съ Суйды, тамъ эдакъ всѣ пѣвкомъ говорятъ): батюшка ты, за что ты меня все мамой зовешь, какая я тебѣ мать? Разумѣется ты мнѣ мать: не то мать, что родила, а то что своимъ молокомъ вскормила. И уже чуть старуха занеможетъ тамъ что ли, онъ ужъ все за нею.



Изъ развалинъ дома путники перешли въ уцѣлѣвшую баню, при которой есть чистая комната съ мебелью. Петръ промыслилъ имъ у дворовыхъ самоваръ, и за чаемъ продолжалась съ нимъ бесѣда.

— А правда ли, Петръ, что Александръ Сергѣевичъ читывалъ нянѣ свои стихи, и самъ любилъ слушать ея сказки?

«Да, да, это бывало: сказки она ему рассказывала, а самъ онъ ей читалъ ли что, не запомню: только точно, что онъ любилъ съ нею толковать. Днемъ то онъ мало дома бывалъ; все больше въ Тригорскомъ, у Прасковьи Александровны, у Осиповой то, что вотъ прошлымъ годомъ померла. Тамъ онъ все больше время проводилъ: уйдетъ туда съ утра, тамъ и обѣдаетъ, ну а къ ночи уже завсегда домой.»

— Скучалъ онъ тутъ жить то?

«Да, стало быть скучалъ; не поймешь его впрочемъ, мудреный онъ тутъ былъ, скажетъ иногда ни вѣдь что; ходилъ эдакъ чудно: красная рубашка на немъ, кушакомъ подвязана, штаны широкіе, бѣлая шляпа на головѣ: волосъ не стригъ, ногтей не стригъ, бороды не брилъ, подстрижетъ эдакъ макушечку, да и ходить. Палка у него завсегда желѣзная въ рукахъ, девять фунтовъ вѣсу; уйдетъ въ поля, палку къ верху бросаетъ, ловить ее налету, словно тамбуръ-мажоръ. А не то дома вотъ съ утра изъ пистолетовъ жарить въ погребъ, вотъ тутъ за банею, да разъ сто эдакъ и выпалить въ утро то.»

— А на охоту ходилъ онъ?

«Нѣтъ, охотиться не охотился: такъ все въ цѣль жарилъ.

— Приѣзжалъ къ нему ктонибудь въ Михайловское?

«Ѣздили тутъ вотъ, опекуны къ нему были приставлены, изъ помѣщиковъ: Р... въ, да Н... въ Н. — Н. П... ва — то онъ хорошо принималъ, ну а того такъ, бывало, скажетъ: «опять ко мнѣ тащится, я его когданибудь въ окошко выброшу.»

— Ну а слышно ли было вамъ, за что его въ Михайловское то вытребовали?

«Да говорили, что моль Александръ Сергѣичъ на слова востеръ былъ, спуску это никому не любилъ давать. Да онъ и здѣсь тоже себя не убавилъ. Ярмарка тутъ въ монастырѣ бываетъ, въ девятую пятницу передъ Петровками; ну народа много собирается и онъ туда хаживалъ, какъ есть бывало, какъ дома: рубаха красная, не брить, не стриженъ, чудно такъ, палка желѣзная въ рукахъ; придетъ въ народъ, тутъ гуляніе, а онъ сядетъ наземь, соберетъ себѣ нищихъ, слѣпцовъ, они ему пѣсни поютъ, стихи сказываютъ. Такъ вотъ было разъ, еще спервоначалу, пріѣхалъ туда капитанъ-справникъ на ярмарку: ходить, смотреть, что за человѣкъ чудный въ красной рубахѣ, да въ бѣлой широкой шляпѣ съ нищими сидитъ? Посылаетъ десятскаго спросить: кто моль таковой? А Александръ то Сергѣичъ тоже на него смотреть, зло такъ, да и говорить эдакъ скоро (рѣзко такъ онъ всегда говорилъ): «Скажи капитану-исправнику, что онъ меня не боится и я его не боюсь, а если надо ему меня знать, такъ я — Пушкинъ.» Капитанъ ничто взялъ, съ тѣмъ и уѣхалъ, а Александръ Сергѣичъ бросилъ слѣпцамъ бѣленькую, да тоже домой пошелъ».

— А ты помнишь ли, Петръ, какъ Александра Сергѣича государь въ Москву вызвалъ на коронацію? Радъ онъ былъ, что уѣзжаетъ?

«Радъ то радъ былъ, да только сначала всѣ у насъ перепугались. Да какъ же? Пріѣхалъ вдругъ ночью жандармскій офицеръ изъ городу, велѣлъ сейчасъ въ дорогу собираться, а зачѣмъ — неизвѣстно. Арина Родіоновна растужилась, навзрыдъ плачетъ. Александръ то Сергѣичъ ее утѣшать: «Не плачь, мамѣ, говорить, сыты будемъ; царь хоть куда ни пошлетъ, а все хлѣба дастъ.» Жандармъ торопилъ въ дорогу, да мы все позамѣшкались: надо было въ Тригорское посылать за пистолетами, они тамъ были оставлены; ну Архипа садовника и послали. Какъ привезъ онъ пистолеты то, маленькіе такіе были въ ящичкѣ, жандармъ увидѣлъ и гово-

рить: «Господинъ Пушкинъ, мнѣ очень ваши пистолеты опасны!» — «А мнѣ какое дѣло? мнѣ безъ нихъ никуда нельзя ѣхать; это моя утѣха.»

— А въ городъ онъ иногда ѣздилъ, въ Новоржевъ то?

«Не запомню, ѣздилъ ли. Меня разъ туда посылали, какъ пришла вѣсть, что прежній то царь умеръ\*). Онъ въ этомъ извѣстїи все сумнѣвался; очень беспокоенъ былъ; да прослышала, что въ городъ солдатъ пришелъ отпущенный изъ Петербурга, такъ за эвтимъ солдатомъ посылали, чтобъ отъ него доподлинно узнать.»

— Случалось ли тебѣ видѣть Александра Сергѣича послѣ его отъѣзда изъ Михайловскаго?

«Видѣлъ его еще разъ потомъ, какъ мы книги къ нему возили отсюда.»

— Много книгъ было?

«Много было. Помнится, мы на двѣнадцати подводкахъ везли; двадцать четыре ящика было: тутъ и книги его и бумаги были.»

Послѣ завтрака путешественники опять вышли къ дому на разрушенную терасу, отъ которой идетъ склонъ къ рѣчкѣ Сороти, и по тропинкѣ спустились къ купанію. Сороть не широка: сажень шесть не больше. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ нея, справа и слѣва, два озера: Малинецъ и Кучане, оба съ плоскими берегами. За озеромъ Кучане видны поля, мыза господина Кампїони у опушки лѣса: видъ очень хорошъ!

— Хорошо плавалъ Александръ Сергѣевичъ?

«Плавать плавалъ, да не любилъ долго въ водѣ оставаться. Бросится, уйдетъ во глубь, и — назадъ. Онъ и зимою тоже купался въ банѣ: всегда ему была вода въ ваннѣ приготовлена. Утромъ встанетъ, пойдетъ въ баню, прошибетъ купаномъ ледъ въ ваннѣ, сядетъ, окатится, да и назадъ; по-

---

\*) Въ ноябрѣ 1825 года, когда скончался Императоръ Александръ Благословенный.

томъ сейчасъ на лошадь и гоняетъ тутъ по лугу: лошадь взмылить и поидеть въ себѣ.»

Вотъ людскія, крытыя соломой. Живо представляется зимняя обстановка житія Пушкина и тѣ впечатлѣнія, которыми вызваны были стихи:

Буря мглою небо кроетъ,  
Вихри снѣжные крутя,  
То какъ звѣрь она завоесть,  
То заплачетъ какъ дитя;  
То по кровлѣ обветшалої  
Вдругъ соломой зашумитъ,  
То какъ путникъ запоздалый  
Къ намъ въ окошко застучитъ.  
Наша бѣдная лачужка  
И печальна и темна —  
Что же ты, моя старушка,  
Приумоляла у окна?

Сорвавъ съ заросшихъ травкою клумбъ два, три цвѣтка, на память о Михайловскомъ, путники простились съ старикомъ Пестромъ и часа черезъ полтора были въ вельѣ отца настоятеля Святогорской обители.

И вотъ въ какомъ запустѣніи находится домъ, въ которомъ часто жилъ первоклассный поэтъ русскій, имя котораго, какъ поэта, знаетъ всякъ тотъ, кто знаетъ читать гражданскую печать и кто хотя сколько нибудь любитъ чтеніе; поэтъ, имя котораго громко во всемъ просвѣщенномъ мірѣ и творенія котораго переведены на европейскіе языки!...

И, какъ подумаешь, что уже 29 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ какъ умеръ нашъ знаменитый поэтъ!

Мгновенно, подобно электрической искрѣ, разнесся въ Петербургѣ, 27 января 1837 года, слухъ о томъ, что, почитаемый всѣми русскими, поэтъ Пушкинъ, стихи котораго переходили изъ устъ въ уста, что этотъ Пушкинъ, за которымъ по улицамъ, гдѣ онъ показывался, слѣдовала толпа молодежи, страстно его

любившей, этот Пушкинъ, имя котораго сливалось въ понятіяхъ русскаго образованнаго человѣка со всѣмъ, что составляло славу Россіи, этотъ Пушкинъ..... страшно вымолвить, стрѣлялся на дуэли съ какимъ то офицеромъ, и, раненный смертельно, привезенъ домой. Ужасъ и горе объяли всѣхъ: знакомые, при встрѣчахъ, только и спрашивали другъ у друга подробности горькой новости; незнакомые между собою люди сходились, и дружески разговаривали, при одномъ имени о Пушкинѣ. Изъ всѣхъ концовъ города экипажи и пѣшеходы длиною вереницею стремились на Мойку, близъ Пѣвческаго моста, въ домъ княгини Волконской, гдѣ во второмъ этажѣ была квартира безсмертнаго поэта. Зеленныя сторы на окнахъ были спущены, на мостовой лежалъ густой слой соломы. Лѣстница была полна людьми всѣхъ званій, возрастовъ и состояній; но преимущественно тутъ было много юношей, которые всѣ горько плакали. Въ комнаты впускали только врачей и друзей больнаго. На лѣстницѣ слуги изустно сообщали свѣдѣнія о драгоцѣнномъ страдальцѣ. На мостовой между домомъ и каналомъ стояла толпа, такъ что для свободного подъѣзда экипажей надобно было употреблять содѣйствіе полиціи, приглашавшей публику не затруднять проѣзда экипажей. Надо было видѣть, съ какимъ участіемъ всѣ бросались къ лейбъ-медику Николаю Федоровичу Арендту, когда, отирая глаза платкомъ, онъ, разстроенный и заплаканный, садился въ карету, отвѣчая на вопросы толпы. Сначала онъ говорилъ болѣе или менѣе утѣшительно съ своею благодушною улыбкою, потомъ слова его заключали въ себѣ только одни отрывистыя воззванія къ волѣ Божіей. Наконецъ, 28 января ввечеру, Николай Федоровичъ Арендтъ, остановленный у самыхъ дверей своей маленькой кареты, сказалъ: «Нѣтъ ни какой надежды! Плохо! очень плохо!» бросился въ карету и кивнулъ кучеру: «въ Зимній дворецъ!» — Императоръ Николай Павловичъ постоянно приказывалъ освѣдомляться о знаменитомъ больномъ, почему фельдъегери и даже флигель-адъютанты

безпрестанно приѣзжали къ дому, входили на лѣстницу и вѣходили, вскорѣ получивъ нужныя свѣдѣнія. Къ нимъ также обращалась толпа, и просила свѣдѣній о состояніи Пушкина. На третьи сутки въ третьемъ часу пополудни, множество людей въ шубахъ стояли около подъѣзда, къ которому подъѣзжала карета за каретою. Вдругъ на фельдшерской тройкѣ въ пошевняхъ подскочилъ къ подъѣзду молодой флигель-адъютантъ. Не прошло и десяти минутъ, какъ тотъ же офицеръ обѣжалъ съ лѣстницы, съ видомъ разстроеннымъ; изъ глазъ его струились слезы. Нѣсколько лицъ изъ толпы обратились въ нему съ вопросомъ: «Неужели все кончено?» — «Все, все», быстро сквозь слезы отвѣчалъ молодой человѣкъ «молитесь, господа за упокой души Александра Пушкина!» — и тройка стрѣлою умчалась въ направленіи къ дворцу. Сто или полтора года человѣкъ, тутъ бывшіе, знали Пушкина только какъ великаго поэта; никто изъ этой толпы, можетъ быть, не имѣлъ случая говорить когда нибудь съ покойнымъ, а всѣ зарыдали какъ одинъ человѣкъ; всѣ въ одно мгновеніе почувствовали, что отъ жизни важдога какъ бы что то вдругъ оторвалось, словно чего то не стало такого, что доставляло утѣху и наполняло всѣхъ надеждами. Съ жадностію всѣ старались на дворѣ встрѣтить кого нибудь изъ прислуги Пушкина, чтобъ узнать о подробностяхъ его кончины, послѣдовавшей за нѣсколько минутъ до приѣзда флигель-адъютанта. Свѣдѣнія передавались съ быстротою электрическаго телеграфа; въ цѣломъ городѣ разговоръ было только о Пушкинѣ. Набожные люди отправились по церквямъ и вездѣ служили панихиды по усопшемъ знаменитомъ писателѣ; въ нѣкоторыхъ домахъ, вовсе не родственныхъ покойному, но близкихъ по любви къ отечественной литературѣ, надѣли трауръ; въ другихъ домахъ, гдѣ назначены были какія нибудь семейныя или случайныя празднества, все было приостановлено, отложено; находили, что клики и звуки веселости не умѣстны въ дни всеобщей русской печали, порожденной утратою незамѣнимаго поэта, составлявшаго славу Россіи.

Многіе поэты въ стихахъ высказали тотчасъ горестъ свою, и стихи эти, не всё, правда, одинаковаго достоинства, повторялись, списывались, передавались отъ одного другому. Въ магазинахъ по всёмъ улицамъ явились портреты Пушкина. Были даже кольца и браслеты, печатки и пр. съ изображеніемъ безсмертнаго поэта и съ словами: «29-е января 1837 года». — Смерть Пушкина обратила вниманіе русской публики на талантъ, тогда еще неизвѣстный, на Лермонтова, который, преисполненный горести, у гроба Пушкина, обливаясь горячими слезами, написалъ слѣдующее прекрасное стихотвореніе, въ одно мгновеніе тогда разнесшееся молвою и послушнѣе камъ бы надгробнымъ словомъ покойному поэту. Вотъ эти строки, полныя чувства и поэзіи неподдѣльной:

Погибъ поэтъ, невольникъ чести,  
Паль оклеветанный молвой,  
Съ свинцомъ въ груди и съ жаждой мести,  
Понизивъ гордой головой.  
Не вынесла душа поэта  
Позора мелочныхъ обидъ;  
Возсталъ онъ противъ мгибной свѣта  
Одинъ, какъ прежде, — и убить!  
Убить!..... къ чему теперь рыданья,  
Похвалъ и слезъ ненужный хоръ  
И жалкой лесть оправданья? —  
Судьбы свершился приговоръ!  
Не вы ль сперва такъ долго гнали  
Его свободный чудный даръ.  
И, для потѣхи, возбуждали  
Чуть затанувшійся пожаръ....  
Что жъ? веселитесь!.... Онъ мученій  
Послѣднихъ перенести не могъ,  
Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній,  
Увялъ торжественный вѣнокъ!....  
Его убійца хладнокровно  
Навелъ ударъ, — спасенья нѣтъ:  
Пустое сердце бьется ровно,  
Въ рукѣ не дрогнетъ пистолеть.

И что за диво?... Издалека,  
Подобно сотнямъ бѣглецовъ,  
На ловлю счастья и чиновъ,  
Заброшенъ къ намъ по волѣ рока;  
Смѣясь, онъ дерзко презиралъ  
Земли чужой языкъ и нравы;  
Не могъ падить онъ нашей славы,  
Не могъ понять въ сей мигъ кровавый  
На что онъ руку поднималъ!

Вечеромъ того же дня, то есть 29 января, начали посторонніе свободно входить въ квартиру Пушкина, гдѣ въ залѣ, скромно убранной, съ зеркалами, завѣшенными простынями, и освѣщенной тремя свѣчами въ огромныхъ канделябрахъ, обвитыхъ чернымъ крепомъ, на столѣ подъ богатымъ парчевымъ покровомъ лежалъ покойникъ, одѣтый въ своемъ обыкновенномъ темно коричневомъ сюртукѣ, съ чернымъ галстукомъ. Голова усопшаго лежала довольно высоко на подушкахъ, руки были сложены на груди и надъ руками, пальцы которыхъ были скрещены, какъ у молящагося, находился небольшой образъ, въ серебряной ризѣ, съ золотымъ вѣнчикомъ. Лицо покойнаго было изтемно бѣлое съ желтоватымъ отливомъ; глаза были хорошо закрыты какъ у спящаго, и осынены длинными рѣсницами. Темные волосы на головѣ и густыя бакенбарды на щекахъ, терявшіяся въ высокоподвязанномъ галстукѣ, окоймляли спокойное, благородное лицо. Губы были нѣсколько сжаты, но совершенно естественно, такъ что на лицѣ мертваго Пушкина читалось спокойствіе и нѣкоторая строгость, но не было ни сколько замѣтно того страдальческаго выраженія, которое свойственно лицамъ большей части людей, умершихъ послѣ такихъ мучительныхъ страданій, какія перенесъ несчастный въ послѣднія двое сутокъ своей жизни.

Подробная біографія Александра Сергѣевича Пушкина принадлежитъ перу г. Анненкова, при изданномъ въ 1855 году, полномъ собраніи сочиненій поэта. Изъ этой полной и добросовѣстной біографіи видно, что основными чертами ха-



рактера Пушкина были истинное благородство, мягкость и живость. Благородство было дано ему природою и развито образованностию. Онъ хотѣлъ быть не только чистъ отъ всего, что признавалъ низкимъ или дурнымъ, но держать себя такъ, чтобы никто не имѣлъ права сказать о немъ что нибудь дурное, по его мнѣнію. Потому каждая клевета глубоко огорчала его, какъ бы ни была глупа и нелѣпа. Даже причиною его смерти надобно считать то, что въ послѣдніе годы недоброжелатели его начали распускать относительно его разныя злобныя выдумки: щекотливое чувство собственного достоинства въ немъ было оскорбляемо, онъ не могъ выносить клеветы съ тѣмъ равнодушіемъ, какого она заслуживаетъ, и жизнь стала для него тяжела. Имѣя привычки лучшаго общества, будучи свѣтскимъ человѣкомъ, въ полномъ смыслѣ слова, Пушкинъ былъ очень обходителенъ и любезенъ въ обществѣ; но въ то же время, постоянно опасаясь несправедливыхъ толковъ, онъ старался быть осторожнымъ и иногда это доводило его до нѣкоторой скрытности даже съ короткими знакомыми. Впрочемъ, при живости своего характера, онъ не могъ выдерживать этой роли, и, забывая о ней, обнаруживалъ свои истинныя мысли и чувства. Какъ всѣ добрые и вмѣстѣ живые люди, Пушкинъ былъ вспыльчивъ; но гнѣвъ его скоро уступалъ мѣсто обыкновенной его кротости и мягкости. Все, что встрѣчалось ему въ жизни, чрезвычайно сильно дѣйствовало на его воспримчивую натуру; даже мелочи, на которыя другой не обратилъ бы вниманія, очень часто производили на него глубокое впечатлѣніе. О немъ болѣе, нежели о комъ нибудь, можно сказать, что онъ жилъ впечатлѣніями, которыя всегда приносила ему настоящая минута. Переходы отъ грусти къ веселости, отъ унынія къ беззаботности, отъ отчаянія къ надеждѣ, были у него часты и очень быстры. Въ одномъ онъ оставался всегда неизмѣненъ, въ привязанности къ людямъ, которыхъ разъ полюбилъ: трудно найти человѣка, который былъ бы такимъ вѣрнымъ и преданнымъ другомъ, какимъ былъ

Пушкинъ. Всего сильнѣе Пушкинъ привязанъ былъ душою къ поэтамъ: Дельвигу, Баратынскому и Языкову. Онъ благоговѣлъ передъ Жуковскимъ, привязанъ былъ къ А. И. Тургеневу, котораго и уважалъ глубоко какъ друга своего отца и человѣка, оказавшаго ему много услугъ въ жизни, начиная съ опредѣленія въ лицей. Князя П. А. Вяземскаго, П. А. Катенина, П. А. Плетнева и В. И. Даля, Пушкинъ нѣжно любилъ до конца своей жизни. Изъ родныхъ своихъ, онъ особенно нѣжно прилѣпленъ былъ душою къ сестрѣ своей, Надеждѣ Сергѣевнѣ, и въ мужу ея, Николаю Ивановичу Павлицеву, а также въ меньшому брату своему, Льву, пережившему его только нѣсколькими годами.

При всемъ томъ, что Пушкинъ былъ вполне порядочнымъ и свѣтскимъ человѣкомъ, привычки его всегда были очень просты. И въ жизни онъ не любилъ изысканности, принужденія, искусственности, какъ не любилъ ихъ въ литературѣ. Напримѣръ, онъ не терпѣлъ ни картинъ, ни другихъ украшеній въ своемъ кабинетѣ, и когда на время прїѣзжалъ въ Петербургъ, и останавливался въ гостиницѣ, то всегда выбиралъ скромную квартиру. Вездѣ гдѣ бы онъ не жилъ, — въ Петербургѣ, Москвѣ, Кишиневѣ, Одессѣ, въ скромномъ селѣ Михайловскомъ, своемъ родовомъ имѣннѣ Псковской губерніи, въ Тифлисѣ, въ аулахъ кавказскихъ горъ, вездѣ, куда его переносили обстоятельства страннической жизни, — онъ не чуждался развлеченій въ обществѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ часто бродилъ по окрестностямъ города, или читалъ, лежа въ постели. Замѣчательная черта особенно во вкусахъ поэта та, что онъ любилъ рѣзкіе переходы изъ одной крайности въ другую, что ему нравилось только или сильное физическое движеніе, или совершенный покой. Онъ даже писалъ первыя главы своей поэмы *Богемій Онегинъ*, лежа въ постели. Въ деревнѣ онъ вставалъ рано и тотчасъ же отправлялся въ рѣчку купаться, если дѣло было лѣтомъ, а зимою передъ завтракомъ бралъ ванну со льдомъ, потомъ все утро посвя-

щаль занятіямъ, читаль или писалъ. Послѣ обѣда, если не было гостей, онъ одинъ игралъ на бильярдѣ, а вечера проводилъ въ нескончаемыхъ разговорахъ съ своею старушкою нянею. Все это онъ разсказалъ о себѣ въ поэмѣ «Евгеній Онѣгинъ», очерчивая характеръ и образъ жизни то самого Онѣгина, то одного изъ дѣйствующихъ лицъ этой прѣмы, Ленскаго. Страсть много ходить пѣшкомъ не повидала его и въ столицѣ: такъ иногда въ то время, когда еще не существовало Царскосельской желѣзной дороги, открытой только по смерти поэта, — онъ ходилъ пѣшкомъ изъ Петербурга въ Царское Село; а когда онъ въ послѣднее время жилъ на дачѣ на Черной Рѣчкѣ, и, занимаясь тогда собираніемъ матеріаловъ для исторіи Петра Великаго, долженъ былъ каждый день посѣщать архивы, то всегда ходилъ съ дачи въ городъ и возвращался на дачу пѣшкомъ. Изумительно было распоряженіе Пушкина своимъ временемъ, способность сохранить неослабно строгую задачу жизни въ средѣ обширнаго знакомства, какое онъ имѣлъ, и между разнообразнѣйшими требованіями и наслажденіями общества, которыми никогда не пренебрегалъ. Мысль его сберегалась безъ ущерба, въ шумѣ заботъ и во всемъ ходѣ великолѣпной столичной жизни. Несмотря на непрерывную дѣятельность свою, онъ еще находилъ время и много времени для исполненія условій и необходимостей личнаго своего положенія.

Вообще Пушкинъ былъ очень крѣпкаго сложенія. Это не мѣшало ему быть мнительнымъ относительно здоровья, и въ молодости онъ воображалъ себя страдающимъ чахоткою, воображалъ даже иногда, что чувствуетъ признаки аневризма въ сердцѣ. Всѣ гимнастическія упражненія были очень любимы Пушкинымъ. Онъ ловко танцевалъ, бойко и отчаянно ѣздилъ верхомъ на самыхъ свирѣпыхъ лошадяхъ, плавалъ какъ рыба, мастерски фехтовалъ, и мѣтко стрѣлялъ, хотя въ охотѣ не находилъ особеннаго удовольствія. Впрочемъ умѣнье стрѣлять не спасло его отъ пули противника, когда въ четвертый разъ

въ жизни онъ выходилъ на дуэль, благодаря живости и неукротимости своего нрава, при всей добротѣ сердечной. Пушкинъ не отличался красивою наружностію; только черные курчавые волосы и блестящіе полные огня и ума глаза его были хороши. Но когда его лицо одушевлялось, въ увлеченіи разговора, онъ былъ истинно прекрасенъ. Пушкинъ былъ роста менѣе средняго, но довольно широкоплечъ съ хорошо развитою грудью. Цвѣтъ лица его былъ изжелта темноватый; а большія алыя губы, изъ за которыхъ виднѣлся рядъ ярко бѣлыхъ зубовъ и нѣсколько широкій, слегка даже приплюснутый носъ, обнаруживали въ немъ африканскую кровь, такъ какъ съ материнской стороны былъ онъ негритянскаго происхожденія. Волосы имѣлъ онъ темнорусые, натурально вившіеся, и въ молодыхъ лѣтахъ очень густые. При этомъ глаза у него были голубые съ длинными, черными рѣсницами. Лицо его было окованно большими, густыми бакенбардами. Сверхъ всего этого онъ отличался необыкновенно большими ногтями, всегда чрезвычайно тщательно содержимыми, щеголялъ бѣлизною и нѣжностію руки, истинно аристократическою.

Въ понятіяхъ гениальнаго Пушкина была одна странная черта, простиравшаяся изъ современныхъ ему понятій. Теперь великій писатель и у насъ, какъ вездѣ, гордится своимъ званіемъ писателя. Не такъ было въ то время, когда явился Пушкинъ, и до конца жизни сохранилась въ немъ привычка молодости думать, что имя великаго поэта не составляетъ его самаго неоспоримаго права на высокое мѣсто въ обществѣ. Онъ даже не любилъ, чтобы его считали писателемъ, и это было довольно понятно, потому что только послѣ него научилось русское общество высоко уважать поэтовъ. Но онъ любилъ ободрять молодыхъ писателей, въ которыхъ замѣчалъ талантъ. Примѣръ этому, въ числѣ прочихъ, извѣстный Губеръ, одинъ изъ хорошихъ поэтовъ своего времени, который въ запискахъ своихъ сохранилъ для насъ воспоминаніе о томъ, какое живое участіе принялъ въ немъ Пушкинъ, когда узналъ, что

Губеръ, тогда бѣдный и неизвѣстный юноша, переводить «Фауста». Гоголь встрѣтилъ въ Пушкинѣ перваго цѣнителя своихъ произведеній, и самымъ благороднымъ образомъ выказался въ дружбѣ къ Гоголю характеръ Пушкина, съ любовію ставшаго совѣтникомъ молодому человѣку, которому суждено было, по его смерти, стать его преемникомъ въ господствѣ надъ развитіемъ русской литературы и русскаго общества.

Пушкинъ имѣлъ слабость чрезвычайно гордиться тѣмъ, что онъ происходилъ отъ фамилій, игравшихъ значительную роль въ нашей исторіи, и дорожилъ памятью своихъ предковъ. Чувство это отразилось на многихъ его произведеніяхъ; но чувство это очищалось чисто историческими воспоминаніями, чисто сословнымъ уваженіемъ къ дѣяніямъ, основаннымъ на любви къ обожаемому имъ отечеству, доблести котораго составляли его наслажденіе, а изученіе этихъ доблестей пріятнѣйшее занятіе. Къ тому же онъ самъ своими дѣлами, своимъ высокимъ талантомъ озарилъ новою славою свой безукоризненный дворянскій гербъ. Впрочемъ онъ самъ иногда шутивно отзывался объ этой своей слабости, напримѣръ:

Но каюсь: новый Ходаковской,  
Люблю отъ бабушки Московской  
Я толки слушать о роднѣ,  
Объ отдаленной старинѣ.

Родъ Пушкиныхъ, не принадлежа къ числу особенно знатныхъ или могущественныхъ, съ конца XVII вѣка состоялъ на службѣ при дворѣ московскихъ царей, и нѣкоторые члены его успѣвали достигать почетныхъ званій. Трое изъ нихъ были даже боярами — санъ, который по своей важности можетъ быть сравненъ съ нынѣшними чинами полного генерала или дѣйствительнаго тайнаго совѣтника. Гавріиль Григорьевичъ Пушкинъ (въ началѣ XVII вѣка) извѣстенъ тѣмъ, что одинъ изъ первыхъ между тогдашними сановниками перешелъ на

сторону Лжедмитрія, и нашъ поэтъ далъ своему предку значительную роль въ своей исторической трагедіи *Борисъ Годуновъ*. Гораздо чаще, нежели о предкахъ по отцовской линіи, Пушкинъ упоминаетъ въ стихотвореніяхъ своихъ о предкахъ своихъ со стороны матери, Ганнибаловыхъ. Родоначальникомъ этой фамиліи былъ негръ Ганнибалъ, любимецъ Петра Великаго. Пушкинъ заботливо собиралъ всѣ свѣдѣнія о жизни этого Ганнибала, и хотѣлъ написать полную его біографію, но не успѣлъ исполнить своего намѣренія и оставилъ намъ только нѣсколько строкъ объ этомъ Ганнибалѣ, о которомъ онъ такъ высказался: «Дѣдъ моей матери, говоритъ Пушкинъ, былъ негръ, сынъ владѣтельнаго князька. Русскій посланникъ въ Константинополь какъ то досталъ его изъ Серая, гдѣ содержался онъ аманатомъ, и отослалъ его Петру Великому, вмѣстѣ съ двумя другими арапчатами. Государь крестилъ маленькаго Ибрагима въ Вильнѣ, въ 1707 году, съ польскою королевою, супругою Августа, и далъ ему фамилію Ганнибалъ. Въ крещеніи наименованъ онъ былъ Петромъ; но какъ онъ плакалъ и не хотѣлъ носить новаго имени, то до самой смерти назывался Абрамомъ. Старшій братъ его пріѣзжалъ въ Петербургъ, предлагая за него выкупъ: но Петръ оставилъ при себѣ своего крестника. До 1716 года, Ганнибалъ находился неотлучно при особѣ государя, спалъ въ его токарнѣ, сопровождалъ его во всѣхъ походахъ; потомъ посланъ былъ въ Парижъ, гдѣ нѣсколько времени обучался въ военномъ училищѣ и вступилъ во французскую службу; во время испанской войны былъ раненъ въ голову, и возвратился въ Парижъ, гдѣ долгое время жилъ въ разсѣяніи большаго свѣта. Петръ I неоднократно призывалъ его къ себѣ; но Ганнибалъ не торопился, отговариваясь подъ разными предлогами. Наконецъ государь написалъ ему, что онъ неволить его не намѣренъ, что предоставляетъ его доброй волѣ возвратиться въ Россію или оставаться во Франціи, но что, во всякомъ случаѣ, онъ никогда не оставитъ

своего прежняго питомца. Тронутый Ганнибалъ немедленно отправился въ Петербургъ. Государь выѣхалъ къ нему на встрѣчу, и благословилъ образомъ Петра и Павла, который долго хранился у его сыновей, но котораго я не могъ уже отыскать.» На этихъ историческихъ данныхъ основанъ превосходный разсказъ, которымъ начинается неоконченный романъ Пушкина, *Арапъ Петра Великаго*. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ романа, въ которомъ, судя по началу, Пушкинъ превосходно изобразилъ бы эпоху Петра Великаго, былъ избранъ Ганнибалъ. У Абрама Петровича, умершаго генераломъ въ царствованіе императрицы Елисаветы Петровны, было два сына. Старшій, Иванъ Абрамовичъ, извѣстенъ тѣмъ, что въ царствованіе Екатерины II участвовалъ въ первой турецкой войнѣ, находясь на флотѣ, дѣйствовавшемъ въ Средиземномъ морѣ; между прочимъ Иванъ Абрамовичъ отличился мужествомъ въ чесменской битвѣ, гдѣ сожженъ турецкій флотъ, и, въ 1770 году, взял Наваринъ. Пушкинъ часто упоминаетъ о немъ въ своихъ стихахъ, напримѣръ, въ слѣдующей замѣткѣ, которая одна была бы достаточна для того, чтобы сдѣлать безсмертными имена Абрама Петровича и Ивана Абрамовича:

«Гдѣ то было сказано, что прадѣдъ мой, Абрамъ Петровичъ Ганнибалъ, крестникъ и воспитанникъ Петра Великаго, генералъ-аншефъ, отецъ Ганнибала, покорившаго Наваринъ, былъ купленъ шкиперомъ... Прадѣдъ мой если былъ купленъ, то... достался шкиперу, коего имя всякій русскій произносить не всеу:

Сей шкиперъ былъ тотъ шкиперъ славный,  
Кѣмъ наша двинулась земля,  
Кто придагъ мощно бѣгъ державный  
Кормѣ роднаго ворабля.  
Сей шкиперъ дѣду былъ доступенъ,  
И сходно купленный арапъ  
Возросъ усерденъ, неподкупенъ,  
Царя наперсникъ, а не рабъ.

И былъ отецъ онъ Ганнибала,  
Предъ кѣмъ, средь гибельныхъ пучинъ,  
Громада кораблей вспылала  
И палъ впервые Наваринъ!\*

Братъ наваринскаго героя младшій сынъ арапа Петра Великаго, Осипъ Абрамовичъ Ганнибалъ, былъ отецъ матери Пушкина, Надежды Осиповны. Южная живость характера была наслѣдована Пушкинымъ отъ своего прадѣда африканца. Мы уже сказали, что черты его лица и курчавые волосы напоминали африканскій типъ его прадѣда по матери. Что касается до Абрама Петровича Ганнибала, то онъ былъ любимъ Петромъ Великимъ, какъ крестникъ, но вовсе не пользовался вліяніемъ на государственныя дѣла; Иванъ Абрамовичъ, сынъ его, былъ, храбрымъ генераломъ, но сражался, находясь подъ начальствомъ другихъ и не занималъ никогда мѣста съ самостоятельною властію. Обоихъ этихъ людей мы знаемъ преимущественно потому только, что о нихъ упоминаетъ Пушкинъ, а не потому, чтобы они замѣтнымъ образомъ участвовали въ историческихъ событіяхъ.

Сергѣй Львовичъ Пушкинъ, отецъ поэта, сначала служилъ въ гвардейскомъ измайловскомъ полку, но, вскорѣ послѣ женитьбы, вышелъ въ отставку и поселился въ Москвѣ, гдѣ, 26-го мая 1799 года, родился сынъ его Александръ. Обыкновенно на лѣто все семейство уѣзжало въ свою подмосковную деревню, Захарьино. Богатый и гостепріимный домъ Сергѣя Львовича былъ часто посѣщаемъ лучшими тогдашними писателями, потому что хозяинъ былъ человѣкъ образованный и любившій литературу, особенно, по обычаю того вѣка, французскую. Сергѣй Львовичъ даже сочинялъ французскіе стихи, легкіе и остроумные. Самыми частыми гостями его бывали Карамзинъ и Дмитріевъ. Жуковскій и Батюшковъ также посѣщали его. Александръ Сергѣевичъ былъ еще такъ молодъ въ то время, что этимъ бесѣдамъ въ домѣ его отца нельзя приписывать особеннаго вліянія на развитіе его ума



или таланта; но важно то обстоятельство, что съ самаго малолѣтства онъ уже былъ въ литературномъ кругу. Разсказываютъ, между прочимъ, что однажды, оставивъ дѣтскія игры, ребенокъ съ необыкновеннымъ вниманіемъ слушалъ разсказы Карамзина; съ такимъ же вниманіемъ слушалъ онъ иногда Дмитріева, читавшаго свои басни. Подражая примѣру отца, девятилѣтній Александръ Сергѣевичъ уже самъ писалъ небольшія французскія стихотворенія. Братъ Сергѣя Львовича, Василій Львовичъ Пушкинъ, также отчасти способствовалъ развитію склонности къ литературнымъ занятіямъ въ своемъ племянникѣ. Василій Львовичъ считался въ свое время довольно хорошимъ поэтомъ и, радуясь тому, что ребенокъ выучилъ наизусть нѣсколько его стихотвореній, твердилъ ему, чтобъ онъ читалъ русскихъ поэтовъ. Сближеніе между дядею и племянникомъ было тѣмъ легче, что Василій Львовичъ отличался чрезвычайнымъ простодушіемъ, о которомъ сохранилось много анекдотовъ. Василій Львовичъ, его дядя, игралъ не слишкомъ блестящую роль въ тогдашнемъ литературномъ мірѣ; но тѣмъ не менѣе онъ былъ коротко знакомъ съ лучшими тогдашними писателями. Отецъ великаго поэта, Сергѣй Львовичъ, также былъ пріятель со многими изъ нихъ. Эти отношенія не могли бы внушить любви къ литературѣ молодому Пушкину, если бы не была она вложена въ него самою природою, не могли бы они доставить ему съ перваго раза блистательнаго положенія въ литературныхъ кружкахъ, если бы не давалъ ему права на то его необыкновенный и очень рано развившійся талантъ, но конечно, до нѣкоторой степени, облегчили ему первые шаги на литературномъ поприщѣ. Карамзинъ и Жуковский привѣтствовали гениальнаго юношу тѣмъ съ бѣльшею любовію, что онъ являлся къ нимъ какъ человѣкъ, носящій фамилію, не чуждую для ихъ слуха.

Изъ другихъ лицъ, близкихъ по родству, особенно много обязанъ былъ Пушкинъ своей бабушкѣ, Маріи Алексѣевнѣ Ганнибалъ, которая жила въ домѣ своего зятя. Она учила

внука читать и писать порусски и была вообще очень ласкова въ нему. Когда мальчику хотѣлось избавиться отъ какого нибудь принужденія, онъ обыкновенно бѣжалъ къ бабушкѣ, садился подлѣ нея, даже залѣзалъ въ ея огромную рабочую корзину, и по цѣлымъ часамъ просиживалъ съ бабушкою, слушая рассказы ея. Марія Алексѣевна была старушка умная, много видѣвшая, много помнившая, и, конечно, многое изъ ея рассказовъ осталось навсегда въ памяти внука.

Другомъ дѣтства Пушкина была его сестра, Ольга Сергѣевна, которую онъ нѣжно любилъ до конца своей жизни. Она была только годомъ старше его, и они вмѣстѣ учились, вмѣстѣ играли; ей первой читалъ десятилѣтній мальчикъ первые свои стихи, которые, по примѣру отца, сочинялъ на французскомъ языкѣ; ей посвящено и первое изъ русскихъ его стихотвореній, извѣстныхъ намъ: оно писано въ 1814 году, когда молодому поэту не было еще пятнадцати лѣтъ.

Отецъ, дядя и бабушка имѣли нѣкоторое вліяніе на дѣтскія понятія Пушкина; но сильнѣе всѣхъ содѣйствовала развитію въ немъ воображенія его няня Арина Родіоновна, которой память увѣковѣчилъ ея воспитанникъ въ своихъ стихахъ. Арина Родіоновна была такъ привязана къ семейству Пушкиныхъ, что, получивъ вольную отпускную, не хотѣла ея пользоваться, желая умереть въ господскомъ домѣ.

Александръ Сергѣевичъ чрезвычайно любилъ ее до конца своей жизни, и, когда жилъ въ деревнѣ, постоянно бесѣдовалъ съ нею, какъ съ лучшимъ изъ своихъ друзей. Кромѣ неусыпной заботливости о своемъ питомцѣ и самой искренней привязанности къ нему, она пріобрѣла право на его благодарность особенно тѣмъ, что своими неистощимыми рассказами познакомила его съ русскою народною словесностію. Арина Родіоновна знала безчисленное множество сказокъ, и умѣла прекрасно ихъ пересказывать. Нѣкоторыя изъ лучшихъ произведеній Пушкина взяты изъ этого запаса.

Вообще, полагать надо, что очень многія описанія русскихъ

народныхъ нравовъ и обычаевъ не были бы у Пушкина такъ живы и хороши, если бы онъ не былъ съ дѣтства пропитанъ разказами изъ народной жизни. За то онъ вспоминаетъ о своей нянѣ очень часто, и всегда съ самою трогательною любовію. Онъ называетъ ее *своею первою музою*, выражая тѣмъ то, что ея разказами были навѣяны первыя его стремленія къ поэзіи.

Особенно много воспоминаній въ душѣ Пушкина оставили бесѣды съ нянею въ 1825 и 1826 годахъ, когда онъ совершенно одинъ жилъ въ селѣ Михайловскомъ, и длинные зимніе вечера проводилъ въ разговорахъ съ нянею, которая раздѣляла его одиночество: то она пересказывала ему «преданія старины глубокой», — и въ бумагахъ Пушкина сохранилось нѣсколько сказокъ, записанныхъ съ ея словъ, между прочимъ сказки *О царѣ Салтанѣ, О мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ, О купцѣ Остолопѣ и работникѣ его Балдѣ*, которыя потомъ были переложены имъ въ стихи, — то онъ самъ читалъ ей свои произведенія. «Пусть другіе поэты читаютъ кому угодно свои произведенія», говоритъ онъ въ своемъ *Отъицѣ*, вспоминая объ этихъ вечерахъ,

Но я плоды моихъ мечтаній  
И гармоническихъ затѣй  
Читаю только старой нянѣ,  
Подругѣ юности моей.

Арина Родіоновна умерла семидесятилѣтнею старушкою, въ 1828 году, въ самую блестящую эпоху восторга, возбужденнаго произведеніями ея питомца. Старушку радовала литературная слава ея Александра Сергѣевича, и она съ восхищеніемъ слышала въ своемъ деревенскомъ уединеніи мимолетныя разказы проѣзжихъ о томъ, какъ громко въ Россіи имя Александра Пушкина. Добрая старушка нарочно часто посѣщала жену знакомаго близкаго станціоннаго смотрителя, и оставалась иногда по нѣскольку дней гостить на станціи

этой, гдѣ останавливались и помѣщики дворяне, и купцы, и офицеры, и чиновники, и студенты, и кадеты, прїѣзжавшіе къ роднымъ, или по дѣламъ службы. Молодежь, читавшая громко наизусть стихи Пушкина, бывшіе тогда у всѣхъ въ устахъ, особенно восхищала и радовала ее. Она говаривала инымъ молодымъ людямъ, что тотъ, чьи стихи они теперь читаютъ, былъ ею взрянченъ, и плакала отъ удовольствія. Нѣкоторые изъ проѣзжихъ любили слушать рассказы ея, и это ей очень нравилось. А иные обѣщали, отправляясь въ Петербургъ, передать поклонъ ея Александру Сергѣевичу.

До семи лѣтъ будущій поэтъ не обнаруживалъ ни особенныхъ дарованій, ни даже той живости, которою бываютъ привлекательны почти всѣ дѣти. Онъ былъ ребенкомъ толстымъ, неповоротливымъ, лѣнивымъ, такъ что неподвижностію своею приводилъ въ отчаяніе родныхъ. Гулять и играть его заставляли почти насильно; онъ не любилъ ни бѣгать, ни рѣзвиться; сидѣть или лежать было единственнымъ его наслажденіемъ. Лѣность толстаго ребенка была такъ велика, что однажды, когда старшіе взяли его съ собою на прогулку, онъ незамѣтно отсталъ отъ общества, и усѣлся отдыхать среди улицы. Кто то, смотрѣвшій изъ окна сосѣдняго дома, увидѣлъ эту смѣшную сцену и улыбнулся. «Ну нечего скалить зубы!» съ досадою сказала ребенокъ и всталъ, а безъ этой помѣхи онъ, вѣроятно, просидѣлъ бы долго.

Между тѣмъ принялись учить его. Гувернеровъ и гувернантокъ и учителей было много; но, при лѣности и неповоротливости ребенка, учебныя его дѣла шли довольно плохо и очень медленно. Главный надзоръ за воспитаніемъ былъ порученъ французу, эмигранту, графу Монфору; кромѣ того былъ другой гувернеръ французъ, Руссло. При ихъ помощи, Пушкинъ сдѣлалъ навѣкъ говорить и писать пофранцузски такъ же легко, если еще не легче, нежели порусски. Впрочемъ, мудро было бы не сдѣлать этого навыка, потому что въ семействѣ Сергѣя Львовича, какъ и почти во всѣхъ тогдаш-

нихъ знатныхъ домахъ, иначе почти никто не говорилъ, какъ пофранцузски. За то поанглійски — въ числѣ гувернантокъ была и англичанка — Пушкинъ учился очень плохо. Этотъ языкъ онъ только въ послѣдствіи, будучи уже взрослымъ мужчиною, узналъ на столько, что могъ читать англійскія книги; понѣмецки онъ терпѣть не могъ учиться и потому не зналъ этого языка, литература котораго богата превосходными твореніями. Въ послѣдствіи, войдя уже въ зрѣлый возрастъ и понимая какихъ наслажденій лишается, отъ невозможности читать творенія Шиллера и Гёте иначе какъ въ переводахъ, онъ очень сожалѣлъ о незнаніи нѣмецкаго языка и жаловался на своихъ учителей за то, что они не довольно строго поступали съ нимъ.

Достойно вниманія, что такъ какъ въ то время преподаваніе русскаго языка считалось дѣломъ второстепеннымъ, то когда Пушкинъ учился въ родительскомъ домѣ будущаго величайшаго изъ русскихъ поэтовъ родному его языку училъ иностранецъ, и еще страннѣе, что этому иностранцу случилось быть однофамильцемъ гениальнаго нѣмецкаго поэта Шиллера. Впрочемъ, если бы этотъ почтенный господинъ Шиллеръ и превосходно зналъ порусски, то не многому могъ бы онъ научить Пушкина, потому что мальчику и его сестрѣ, воспитывавшимся вмѣстѣ, всѣ остальные предметы преподавались, по тогдашнему обычаю, на французскомъ языкѣ, и даже говорить между собою и со старшими заставляли дѣтей не иначе, какъ пофранцузски. Однако же, благодаря природному великому таланту, и врожденному русскому чувству, это ошибочное воспитаніе ни сколько не помѣшало Пушкину остаться чисто русскимъ человѣкомъ и писать порусски такъ, какъ не писалъ до него еще никто.

Вообще учебныя занятія Пушкина, и въ отцовскомъ домѣ и въ лицей, куда онъ поступилъ потомъ, не сопровождались особенно блестящими успѣхами.

Пушкинъ съ семи лѣтъ сдѣлался мальчикомъ бойкимъ, жи-

вымъ, развязнымъ; прежняя застѣнчивость и вялость уступили мѣсто рѣзвости, которая часто доходила до шаловливости. Одно сохранилось въ немъ неизмѣннымъ: какъ ученикъ, Пушкинъ всегда, до самаго окончанія курса въ лицей, былъ довольно лѣнивъ. Несмотря на то, Пушкинъ успѣлъ приобрести многостороннія познанія, безъ которыхъ нельзя сдѣлаться хорошимъ литераторомъ. Дѣло въ томъ, что Пушкинъ не любилъ только долбить уроковъ, которые надобно было каждый день готовить къ слѣдовавшимъ затѣмъ классамъ, а любознательности было въ немъ очень много. Страсть къ чтенію развилась рано, лѣтъ съ восьми или девяти. Будучи воспитанъ на французскомъ языкѣ, онъ принялся, разумѣется, за французскія книги, которыхъ у его отца было очень много. Сергѣй Львовичъ старался поощрять въ дѣтяхъ любовь къ книгамъ и часто читалъ вмѣстѣ съ ними лучшія, по его мнѣнію, сочиненія, особенно Молиера, котораго зналъ почти наизусть. Сынъ его бросился на книги съ жадностію, читалъ безъ усталости день и ночь, и, при необыкновенной своей памяти, на одиннадцатомъ году, имѣлъ множество свѣдѣній во французской литературѣ. Страсть къ чтенію сохранилась у Пушкина до конца жизни. Рѣдко можно встрѣтить человѣка, который прочелъ бы такъ много книгъ, какъ онъ. Потому и не удивительно, что онъ былъ однимъ изъ самыхъ образованнѣйшихъ людей своего времени, хотя въ шестолѣ и считался посредственнымъ ученикомъ. Вмѣстѣ съ любовью къ чтенію, въ ребенкѣ обнаружилась и страсть къ авторству. Онъ началъ сочинять стихи, когда ему было не болѣе девяти или десяти лѣтъ, и, по примѣру отца, сначала писалъ на французскомъ языкѣ; вѣроятно, также примѣръ отца внушилъ ему особенную любовь къ Молиеру, и въ числѣ первыхъ произведеній Пушкина были небольшія французскія комедіи, сочиненныя по образцу молиеровыхъ. Онъ читалъ ихъ сестрѣ. Къ сожалѣнію, эти первые опыты не дошли до насъ. Кромѣ небольшихъ комедій, Пушкинъ писалъ басни, и наконецъ вздумалъ сочинить

эпическую поэму въ шести пѣсняхъ. Сюжетомъ онъ выбралъ войну карликовъ и карлицъ при старинномъ французскомъ королѣ Дагоберѣ. Карликъ Толи, влюбленный въ карлицу Нитушь, побѣдивъ соперниковъ, долженъ былъ получить руку миниатюрной красавицы. Но эта поэма погибла, еще не достигши конца: одна изъ гувернантокъ замѣтила тетрадь, надъ которою прилежно трудился авторъ ребенокъ, унесла ее и отдала гувернеру, жалясь на непослушнаго мальчика, который «проводитъ время за сочиненіемъ подобныхъ пустяковъ». Гувернеръ началъ читать «Толіаду», какъ называлась поэма, по имени своего героя, и расхохотался. Оскорбленный авторъ вырвалъ у него тетрадь, и мгновенно бросилъ въ топившуюся печь. Мальчику исполнилось двѣнадцать лѣтъ, и родители начали думать, что пора отдать его въ какое нибудь училище. Особенно славился тогда существовавшій въ Петербургѣ іезуитскій коллегіумъ, и Сергѣй Львовичъ поѣхалъ въ Петербургъ, помѣстить сына въ это заведеніе. Но въ то самое время правительство объявило объ открытіи высшаго училища для дворянъ, Царско-сельскаго лицея. Директоромъ этого учрежденія назначенъ былъ одинъ изъ друзей Сергѣя Львовича, г. Малиновскій. Двѣнадцатилѣтній Пушкинъ былъ принятъ въ число воспитанниковъ лицея. Годы, проведенные въ лицей, остались навсегда лучшими годами жизни въ памяти Пушкина: въ лицей развился его поэтическій талантъ, въ лицей онъ встрѣтилъ друзей, особенно Дельвига, котораго всегда чрезвычайно уважалъ и любилъ. Воспитанники, удаленные отъ столицы, принужденные довольствоваться собственнымъ обществомъ, скоро свыклись между собою, и на всю жизнь остались людьми, близкими другъ другу. Но, кажется, ни въ одномъ изъ нихъ эти юношескія чувства не остались такъ живы, какъ въ Пушкинѣ. Его лирическія стихотворенія и *Евгеній Онегинъ* наполнены воспоминаніями о Царскомъ Селѣ и лицей. Нѣсколько прекраснѣйшихъ стихотвореній его написаны въ память годовщины открытія лицея.

Въ лицей, точно такъ же, какъ и дома, Пушкинъ не слишкомъ прилежно готовился къ урокамъ, и, несмотря на чрезвычайно сильную память и блестящій умъ, считался посредственнымъ ученикомъ. Но, независимо отъ школьнаго преподаванія, онъ читалъ очень много книгъ по всеобщей исторіи, французской и русской словесности. Потому шесть лѣтъ (1811—1817), проведенные имъ въ лицей, были для него не бесполезны и въ отношеніи умственнаго образованія. Что же касается поэтическаго его таланта, то онъ развивался въ это время очень быстро, и уже начиналъ приобретать извѣстность. Между товарищами Пушкина была довольно сильна любовь къ литературнымъ занятіямъ: многіе писали стихи, другіе переводили разныя прозаическія статьи съ иностранныхъ языковъ, молодые литераторы начали даже издавать рукописные журналы. Къ сожалѣнію, тетради эти, столь интересныя, затеряны и извѣстны намъ только по заглавіямъ. Такъ одинъ журналъ назывался *Лицейскій Мудрецъ*, другой *Неопытное Перо*, третій *Пловцы*, и проч.

Въ первые годы своей лицейской жизни, Пушкинъ попрежнему писалъ стихи на французскомъ языкѣ, и только около 1814 года началъ писать и порусски. *Посланіе къ сестрѣ*, первое его стихотвореніе, дошедшее до насъ, не было напечатано. Первымъ изъ появившихся въ печати произведеній его было довольно длинное *Посланіе къ другу стихотворцу*, написанное въ сатирическомъ духѣ, по образцу многихъ подобныхъ стихотвореній того времени. Оно было напечатано въ московскомъ журналѣ, *Вѣстникъ Европы*, 1814 года, въ восьмой книжкѣ. Послѣ того, стихотворенія Пушкина начали появляться въ журналахъ довольно часто и скоро обратили на себя вниманіе легкостію языка, съ которою часто соединялось и поэтическое достоинство мысли и картинъ.

Многіе изъ товарищей сначала не любили Пушкина за его эпиграммы: онъ тогда уже отличался остроуміемъ и за каждое оскорбленіе расплачивался колкимъ стихомъ, котораго



боялись не одни его сверстники, но и люди гораздо старше его лѣтами. Довольно долго эта легкая вражда мѣшала даже единодушному согласію товарищей въ томъ, что Пушкинъ превосходить ихъ всѣхъ поэтическимъ талантомъ. Но, ближе познакомаясь съ молодымъ поэтомъ, всѣ полюбили его, потому что въ душѣ Пушкинъ былъ очень добръ и чрезвычайно благороденъ. Извѣстность, которую приобрѣлъ онъ въ литературѣ, убѣдила всѣхъ въ несомнѣнности его дарованія, и въ послѣднее время лицейской жизни Пушкинъ пользовался уже между товарищами громкою славою. Изъ всѣхъ товарищей, Пушкинъ особенно былъ друженъ съ барономъ Дельвигомъ, привязанность къ которому не ослабѣла въ немъ до самой смерти Дельвига, и доставила Дельвигу большую извѣстность, какъ превосходному поэту. Только послѣ смерти Пушкина, когда уже некому было превозносить до небесъ стихи Дельвига, публика убѣдилась, что этотъ поэтъ не отличался замѣчательнымъ талантомъ. Но Пушкинъ такъ сильно былъ ему преданъ, что искренно считалъ его великимъ поэтомъ, и влияние Пушкина на мнѣніе публики было такъ сильно, что почти всѣ вѣрили этому. На самомъ же дѣлѣ баронъ Дельвигъ заслужилъ дружбу Пушкина своею любовію къ поэзій и тѣмъ, что великій поэтъ могъ откровенно и не безъ пользы говорить съ нимъ о своихъ произведеніяхъ, какъ съ человѣкомъ образованнымъ и не лишеннымъ вкуса.

Изъ событій лицейской жизни ярче всего остался въ памяти Пушкина торжественный актъ 1815 года, который былъ почтенъ посѣщеніемъ Державина, съ одобреніемъ выслушавшаго стихотвореніе юноши поэта: *Воспоминанія о Царскомъ Селѣ*.

Приблизилось и время окончанія курса (9 іюня 1817 г.). Пушкинъ былъ выпущенъ съ чиномъ десятаго класса, и чрезъ три дня опредѣленъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. Молодой человѣкъ тотчасъ же взялъ отпускъ и поѣхалъ въ село Михайловское, къ свосму семейству. Ему хотѣлось поступить

въ лейбъ-гусарскій полкъ, гдѣ онъ имѣлъ между офицерами много пріятелей, будучи еще въ лицѣ, такъ какъ полкъ этотъ стоитъ въ Царскомъ Селѣ. Не ребяческая страсть къ военной формѣ, свойственная нѣкоторымъ семнадцатилѣтнимъ юношамъ, влекла его къ этому выбору службы, а ему нравилась удалая гусарская жизнь, которую онъ рисовалъ себѣ кистию стихотвореній партизана Дениса Давыдова; его восхищала аванпостная служба со всѣми своими случайностями и опасностями; отчаянный кавалеристъ и фехтмейстеръ, Пушкинъ, которому тогда было всего 18 лѣтъ, надѣялся отличиться подъ гусарскимъ ментикомъ. Но состояніе отца его не позволило ему идти въ гусары, а въ пѣхотѣ онъ служить не хотѣлъ, и потому поступилъ, какъ уже мы сказали, въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, причемъ написалъ:

Равны мнѣ писаря, уланы,  
Равны мнѣ каски, кивера;  
Не рвусь я грудью въ капитаны  
И не ползу въ ассессора.  
Друзья! немного снисхожденья—  
Оставьте пестрый мнѣ колпакъ,  
Пока его за прегрѣшенья,  
Не промѣнялъ я на шишакъ;  
Пока гнѣвному возможно,  
Не опасаясь грозныхъ бѣдъ,  
Еще рукой неосторожной  
Въ июлѣ распахнуть жилетъ.

Нельзя умолчать о томъ, что прославившійся уже тогда поэтъ В. А. Жуковскій высоко цѣнилъ дарованія юнаго лицеиста Александра Пушкина, и, часто ѣздя въ Царское Село къ Карамзину, тамъ жившему постоянно лѣтомъ, всегда видѣлся съ Пушкинымъ, которому читалъ свои стихи, и, обстоятельство замѣчательное, всегда, возвратясь домой, передѣлывалъ каждый тотъ стихъ, который Пушкинъ съ перваго раза не могъ запомнить.

Надобно замѣтить, что пока Пушкинъ былъ въ лицѣ, его родные переселились изъ Москвы въ Петербургъ, и лѣтомъ переѣзжали жить въ село Михайловское. Пушкинъ, до 1820 года, когда долженъ былъ уѣхать на югъ Россіи, каждое лѣто проводилъ также въ Михайловскомъ.

По возвращеніи въ Петербургъ, послѣ отдыха въ деревнѣ, Пушкинъ вошелъ въ кругъ свѣтской жизни: веселый и живой характеръ его проявлялся тогда во всей силѣ; но въ то же время онъ не покидалъ своихъ литературныхъ занятій, былъ принятъ въ число членовъ Арзамаскаго общества, и въ 1819 году написалъ первую изъ своихъ большихъ поэмъ, *Русланъ и Людмила*, которая прославила его имя, и по прочтеніи которой Жуковскій подарилъ ему свой портретъ съ надписью: *Ученику побѣдителю отъ побѣжденнаго учителя.*

Вскорѣ по окончаніи поэмы *Русланъ и Людмила*, Пушкинъ былъ посланъ въ Бессарабію, и оставался на югѣ Россіи съ 1820 до 1824 года. Сначала прибылъ онъ въ Еваторинославъ, гдѣ занемогъ, такъ что долженъ былъ ѣхать на кавказскія минеральныя воды. Когда его здоровье поправилось, онъ поѣхалъ съ Кавказа въ Крымъ, осмотрѣлъ южный берегъ его, богатый живописными видами, посѣтилъ Бахчисарай, бывшую столицу крымскихъ хановъ, и въ сентябрѣ 1820 года пріѣхалъ жить въ Кишиневъ.

Въ концѣ 1820 года, Пушкинъ ѣздилъ въ Кіевъ, и по возвращеніи въ Кишиневъ, окончилъ (въ началѣ 1821 года) свою поэму *Кавказскій Пльнникъ*, начатую за нѣсколько мѣсяцевъ. Она написана подѣ вліяніемъ впечатлѣній, произведенныхъ на поэтическое воображеніе Пушкина величественною горною природою, и лучшее достоинство ея составляютъ превосходныя и живыя картины Кавказа. Съ тѣмъ вмѣстѣ на ней отразилось вліяніе знаменитаго англійскаго поэта Байрона, стихотвореніями котораго восхищалась тогда вся Европа. Однако Пушкинъ былъ такъ строгъ къ самому себѣ, что, семь лѣтъ спустя по отпечатаніи этой поэмы, онъ

писалъ, что «все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вѣрно.» Это дѣлаетъ честь строгости вкуса знаменитаго нашего поэта; но не умаляетъ достоинствъ его поэмы, *Кавказскій Пльнникъ*, послѣ которой онъ писалъ еще нѣсколько поэмъ, увлекааясь вліяніемъ Байрона, отличавшагося постоянною грустію, почему въ поэмахъ Пушкина, писанныхъ въ байроновскомъ духѣ, также отразилась отчасти эта грусть, но гораздо слабѣе, нежели у англійскаго поэта, потому что въ сущности она противорѣчила природному расположенію Пушкина, скорѣе наклоннаго къ беззаботности, любившаго жизнь и ея удовольствія, добраго и снисходительнаго.

Въ Кишиневѣ же, въ 1822 году, была написана и третья поэма Пушкина, *Бахчисарайскій Фонтанъ*, заключающая въ себѣ воспоминанія о Крымѣ, какъ воспоминанія о Кавказѣ были высказаны поэтомъ въ *Кавказскомъ Пльнникѣ*. Съ какимъ восторгомъ были приняты публикою оба эти произведенія, можно судить по тому, что черезъ нихъ Кавказъ и Крымъ стали знакомы каждому русскому, между тѣмъ какъ прежде понятія о природѣ этихъ странъ были почти у всѣхъ очень неопредѣленны. Въ половинѣ слѣдующаго года, Пушкинъ былъ переведенъ на службу въ Одессу, гдѣ прожилъ около года. Здѣсь онъ началъ писать свой знаменитый романъ въ стихахъ, *Евгеній Онегинъ*, который оконченъ былъ только черезъ нѣсколько лѣтъ. Въ Одессѣ также была написана поэма *Цыганы*, въ которой особенно хороши описанія кочевой жизни цыганъ. Содержаніемъ этому произведенію послужили такъ же, какъ и прежнимъ, воспоминанія поэта. Когда онъ ѣздилъ по Бессарабіи, то часто имѣлъ случай близко приглядываться къ цыганскому быту, и даже посвятилъ этимъ наблюденіямъ нѣсколько дней, проведенныхъ имъ въ цыганскомъ таборѣ. На югѣ Россіи, именно въ Кишиневѣ, написанъ Пушкинымъ также отрывокъ изъ поэмы, напечатанный подъ заглавіемъ *Братья Разбойники*. Остальныя части этой недописанной поэмы авторъ уничтожилъ, будучи ею не-

доволенъ; напечатанный же отрывокъ уцѣлѣлъ случайно въ рукахъ одного изъ пріятелей поэта.

Въ іюлѣ 1824 года, Пушкинъ возвратился изъ Одессы въ свое село Михайловское, гдѣ и прожилъ два года. Здѣсь будучи почти постоянно одинокъ, онъ чрезвычайно много читалъ и писалъ. Время, проведенное въ Михайловскомъ, было въ литературномъ отношеніи самою дѣятельною порою его жизни. Здѣсь написалъ онъ многія изъ главъ *Евгенія Онегина* и трагедію *Борисъ Годуновъ*.

Съ этого времени въ произведеніяхъ Пушкина уже не замѣтно увлеченія Байрономъ, подъ влияніемъ котораго задуманы прежнія его поэмы. Напротивъ, Пушкинъ проникся особенною любовію къ англійскому поэту Шекспиру, величайшему изъ всѣхъ драматическихъ писателей, и, отчасти въ подраженіе драмамъ Шекспира изъ англійской исторіи, написалъ своего *Бориса Годунова*, въ которомъ, относительно исторіи, довольно близко держался разсказа Карамзина, «незабвенной памяти» котораго и посвящена эта драма, явившаяся въ печати уже послѣ кончины знаменитаго русскаго историографа.

Въ сентябрѣ 1826 года, Пушкинъ возвратился въ Петербургъ, гдѣ съ того времени и жилъ почти постоянно, уѣзжая впрочемъ каждый годъ, на лѣто и осень, въ Михайловское, гдѣ написалъ большую часть своихъ слѣдующихъ произведеній. Но въ 1826 году, передъ возвращеніемъ въ Петербургъ изъ Михайловскаго, онъ проѣхалъ прежде въ Москву, гдѣ его встрѣтили съ восторгомъ, и гдѣ онъ прожилъ до весны 1827 года. Семь лѣтъ уже не бывалъ онъ въ свѣтскомъ обществѣ, и отъ долгой разлуки оно получило для него новую прелесть. Лѣто провелъ онъ въ Петербургѣ, а на осень уединился въ свое Михайловское. Въ 1828 году написалъ онъ, менѣе нежели въ мѣсяць, поэму *Полтава*, существеннымъ содержаніемъ которой, какъ видно уже изъ заглавія, служитъ борьба Петра Великаго съ Карломъ XII.

Эта поэма полна прекрасныхъ описаній и сильныхъ мыслей. Она — великолѣпная историческая картина въ огромной рамѣ. Хотя цѣлый день гляди на эту картину, не нагладисься достаточно, хотя ежечасно читай поэму, не начитаешься довольно, и безпрестанно будешь встрѣчать новыя красоты пера, обратившагося какъ бы въ пламенную кисть, добывающую краски свои съ самой роскошной палитры. Вообще эпоха времени Петра Великаго, повидимому, была любимую эпохою Пушкина, который уже до этого времени занимался ея изученіемъ, и еще въ 1827 году началъ большой романъ, *Арапъ Петра Великаго*, который остался неоконченнымъ. Позже Пушкинъ написалъ поэму *Мѣдный Всадникъ*, посвященную прославленію памяти державнаго основателя Петербурга: это лучшая изъ его поэмъ. Сверхъ того, въ послѣдніе годы своей жизни, онъ почти исключительно занимался собираніемъ матеріаловъ для исторіи Петра Великаго.

Въ 1829 году, онъ испросилъ разрѣшеніе сопровождать нашу армію, въ побѣдоносномъ походѣ противъ персіянъ, и, проѣхавъ черезъ Тифлисъ, присоединился къ войску на берегу Карса-Чая и видѣлъ взятіе Арзерума. Памятникомъ этой поѣздки осталось *Путешествіе въ Арзерумъ*.

Осенью 1830 года, Пушкинъ дописалъ *Отъина*, который былъ начатъ за семь лѣтъ. Романъ этотъ былъ издаваемъ въ свѣтъ отдѣльными главами, и первыя три главы, изданныя въ 1825 году, произвели необыкновенный восторгъ въ публикѣ. Многіе до того восхищались этимъ романомъ, что выучивали его наизусть. Главное достоинство *Евгенія Отъина*, сверхъ превосходныхъ стиховъ, состоитъ въ томъ, что онъ чрезвычайно вѣрно изобразилъ нравы русскаго общества. Теперь мы имѣемъ довольно много произведеній, болѣе или менѣе отличающихся этимъ достоинствомъ, хорошая повѣсть изъ русскихъ нравовъ нынѣ уже не рѣдкость; но *Евгеній Отъинъ* въ свое время былъ неслыханною и небывалою рѣдкостію. Кромѣ того, романъ Пушкина написанъ въ по-

вѣствовательной формѣ, которая гораздо легче для чтенія, нежели драматическая. *Евгеній Онегинъ* былъ первымъ романомъ, изображавшимъ, и превосходно изображавшимъ, современное русское общество. Успѣхъ его былъ, можно сказать, безпримѣренъ въ русской литературѣ, а вліяніе и на развитіе литературы и на понятія публики огромно. Осень этого года провелъ Пушкинъ въ своемъ селѣ Болдинѣ (Нижегородской губерніи), гдѣ написалъ, сверхъ послѣднихъ двухъ главъ *Онегина*, большую часть своихъ драматическихъ произведеній, именно: *Скупого рыцаря*, *Каменнаго гостя*, *Пиръ во время чумы* и *Моцартъ и Салиери*. Въ Болдинѣ также были написаны повѣсти, изданныя подъ именемъ *Повѣстей Бѣлкина*. Онѣ были первыми сочиненіями въ прозѣ, которыя напечаталъ Пушкинъ, и уступаютъ въ достоинствѣ другимъ его прозаическимъ произведеніямъ. *Скупой рыцарь* и *Сцены изъ рыцарскихъ временъ*, изображаютъ нравы среднихъ вѣковъ, а *Каменный гость* — старинные испанскіе нравы. Въ этихъ произведеніяхъ вѣрность всѣхъ подробностей тому вѣку и той странѣ, къ которой относится дѣйствіе, такъ же удивительна, какъ и поэтическое достоинство. Говорятъ, что для этого Пушкинъ изучилъ испанскій языкъ, который зналъ очень хорошо.

Въ началѣ 1831 года, Пушкинъ, находившійся тогда въ Москвѣ, былъ чрезвычайно опечаленъ извѣстіемъ о смерти самаго любимаго изъ его друзей, Дельвига. 18 февраля того же года онъ женился на Н. Н. Гончаровой, дѣвицѣ рѣдкой красоты, о которой онъ отзывался, будучи женихомъ, въ дружескихъ стихахъ, къ князю Вяземскому и къ поэту Баратынскому: «*Я весь ганчарованъ!*» Бракъ былъ совершенъ въ Москвѣ, гдѣ жило семейство невѣсты. Пушкинъ прожилъ въ Москвѣ до весны, потомъ повезъ свою супругу въ Петербургъ, и поселился на лѣто въ Царскомъ Селѣ.

Съ этого года началъ онъ заниматься собираніемъ матеріаловъ для исторіи Петра Великаго. Ему было разрѣшено

пользоваться для того государственными архивами, и онъ дѣлательно работалъ въ нихъ. Но трудъ этотъ требовалъ многихъ лѣтъ занятій, постоянныхъ и усердныхъ.

Въ 1833 году, были написаны Пушкинымъ повѣсти въ прозѣ: *Дубровский* и *Капитанская дочка*, и драматическое произведеніе въ стихахъ *Русалка*, оставшееся послѣ его смерти неоконченнымъ. Содержаніе *Русалки* взято изъ сказочнаго міра, какъ содержаніе *Руслана и Людмилы*; но между тѣмъ, какъ *Русланъ* и *Людмила* только по заглавію относятся къ старинной русской жизни, а на самомъ дѣлѣ очень мало проникнута духомъ нашей старины, въ *Русалкѣ* многія сцены превосходно изображаютъ старинную нашу жизнь въ ея истинномъ видѣ.

*Дубровский* и особенно *Капитанская дочка* должны называться лучшими изъ прозаическихъ повѣстей Пушкина. *Дубровский* изображаетъ бытъ нашихъ помѣщиковъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, а *Капитанская дочка* — эпоху пугачевского бунта, исторію котораго Пушкинъ занимался въ это время.

Въ 1833 году, написана Пушкинымъ одна изъ лучшихъ его поэмъ, *Мѣдный Всадникъ*, сюжетомъ которой послужило ужасное наводненіе, бывшее въ Петербургѣ 7 ноября 1824 года, а героемъ ея Пушкинъ сдѣлалъ Петра Великаго, памятникъ котораго, *Мѣдный Всадникъ*, въ его великолѣпной картинѣ наводненія, величественно возвышается надъ волнами и умиряетъ ихъ.

Въ 1836 году, Пушкинъ началъ издавать журналъ *Современникъ*, который, по смерти основателя, продолжалъ издаваться его друзьями, въ томъ числѣ Жуковскимъ, княземъ Вяземскимъ и П. А. Плетневымъ, а въ послѣдствіи однимъ уже Плетневымъ, передавшимъ журналъ этотъ потомъ Панаеву и Неврасову. Пушкинъ не былъ рожденъ журналистомъ, а потому журналъ его не имѣлъ ни какого вліянія на нашу литературу. Въ 1836 же году, Пушкинъ былъ огорченъ кончиною матери,



Надежды Осиповны. Проводивъ ея тѣло въ Святогорскій успенскій монастырь (въ Опочковскомъ уѣздѣ, Псковской губерніи), онъ, какъ бы предчувствуя близкую смерть, условился съ начальствомъ монастыря, чтобъ и ему была приготовлена могила рядомъ съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ положена его мать.

Въ самомъ дѣлѣ, онъ не долго пережилъ это время. Поэтъ какъ бы не дорожилъ, даже тяготился жизнію. Вообще можно сказать, что его послѣднее время было наполнено разными огорченіями, которыхъ не въ силахъ былъ переносить великій нашъ писатель, одаренный живымъ и нетерпѣливымъ характеромъ. Онъ самъ, кажется, зналъ, что такъ или иначе, но скоро расстанется съ жизнію. Рассказываютъ, между прочимъ, слѣдующій случай, обнаруживающій, что уже за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти Пушкинъ тосковалъ, и чувствовалъ тяжесть на душѣ. Товарищи Пушкина по лицу каждый годъ собирались, 19 октября, въ годовщину основанія лица, чтобы вспоминать о прошломъ, и проводить этотъ день потоварищески. Пушкинъ часто писалъ къ этому собранію стихотворенія. Такъ онъ сдѣлалъ и въ 1836 году, но не успѣлъ совершенно окончить и обдѣлать своего стихотворенія къ 19 октября и въ кругу собравшихся товарищей извинился, что прочтетъ неоконченную піесу. Помолчавъ немного, онъ вынулъ листъ бумаги и началъ:

Была пора: нашъ праздникъ молодой  
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался.

Но голосъ его задрожалъ, и слезы показались на глазахъ при этихъ словахъ. Пушкинъ положилъ бумагу на столъ, ушелъ въ уголъ комнаты, и долго сидѣлъ тамъ молча. Другой товарищъ прочелъ его *послѣднюю лицейскую годовщину*. Душевные безповойства тяготили Пушкина до такой степени, что онъ искалъ смерти, и по одному недоразумѣнію, которое можно было бы устроить, если бы Пушкинъ дорожилъ собою, вышелъ на дуэль съ французскимъ подданнымъ Дантесомъ,

или Гекереномъ, жившимъ тогда въ Петербургѣ и служившимъ въ кавалергардахъ.

Января 27-го подполковникъ Данзасъ, лицейскій товарищъ Пушкина, привезъ его домой, въ каретѣ, въ отчаянномъ положеніи. Пушкинъ былъ раненъ въ правый бокъ: пуля пробила печень и осталась въ тѣлѣ, несмотря на всѣ медицинскія пособія. Камердинеръ принялъ раненаго изъ кареты, и понесъ на лѣстницу. «Грустно тебѣ нести меня?» спросилъ его Пушкинъ. Онъ велѣлъ, въ кабинетѣ, подать себѣ чистое бѣлье и сталъ раздѣваться. Въ то время, когда его укладывали, жена, ни о чемъ не знавшая, хотѣла войти; но Пушкинъ, боясь испугать ея зрѣлищемъ крови, закричалъ громкимъ голосомъ, чтобъ она подождала входить. Жена вошла уже тогда, когда онъ лежалъ на диванѣ. «Какъ я счастливъ», произнесъ Пушкинъ, «я еще живъ и ты возлѣ меня!» Послали за врачами. «Плохо со мною!» сказалъ Пушкинъ врачамъ. Его осмотрѣли. Одинъ изъ медиковъ, хирургъ, уѣхалъ за нужными инструментами. «Что вы думаете о моемъ положеніи?» спросилъ тогда Пушкинъ Шольца, «скажите откровенно.» — «Не могу отъ васъ скрыть; вы въ опасности.» — «Скажите лучше, умираю.» — «Считаю долгомъ не скрывать и этого; но услышимъ мнѣніе Арендта и Соломона, за которыми послано.» — «Благодарю васъ,» отвѣчалъ Пушкинъ, «вы поступили честно.» Потомъ онъ потеръ рукою лобъ и прибавилъ: «Мнѣ надо устроить мои домашнія дѣла.» — «Не желаете ли видѣть кого изъ вашихъ ближайшихъ?» — спросилъ Шольцъ. — «Прощайте, друзья!» — сказалъ Пушкинъ, обративъ глаза на свою библиотеку, и, немного погодя, произнесъ: «Развѣ вы думаете, что я часу не проживу?» — «О, нѣтъ! но я полагалъ, что вамъ будетъ пріятно увидѣть когонибудь изъ вашихъ. Господинъ Плетневъ здѣсь.» — «Да, но я желалъ бы и Жуковскаго. Дайте мнѣ воды: тошнитъ.» — Шольцъ тронулъ пульсъ, напелъ его слабымъ и скорымъ, руку холодною; онъ вышелъ за питьемъ, и послалъ за Жуковскимъ, котораго не застали

дома. Между гѣмъ пріѣхали врачи, Задлеръ и Соломонъ; вслѣдъ за ними Арендтъ. Онъ съ перваго взгляда увѣрился, что не было ни какой надежды. — Начали прикладывать холодныя со льдомъ примочки на животъ и давать прохладительное питье. Это успокоило больного. Передъ отъѣздомъ Арендта, онъ сказалъ ему: «Попросите государя, чтобъ онъ меня простилъ.» Арендтъ уѣхалъ, поручивъ его Спасскому, домовому его доктору, который всю ту ночь не отходилъ отъ него. «Плохо мнѣ», сказалъ Пушкинъ Спасскому, когда послѣдній подошелъ къ нему. Спасскій старался его успокоить; но Пушкинъ махнулъ рукою отрицательно. Съ этой минуты онъ какъ будто пересталъ заботиться о себѣ, и всѣ его мысли обратились на жену. «Не давайте излишнихъ надеждъ женѣ», говорилъ онъ Спасскому; «не скрывайте отъ нея въ чемъ дѣло. Она не притворщица; вы ее хорошо знаете. Впрочемъ дѣлайте со мною что хотите, я на все согласенъ и на все готовъ.» Въ это время пріѣхали къ нему князь и княгиня Вяземскіе, А. И. Тургеневъ, графъ Виельгорской и Жуковский. Княгиня не отходила отъ жены Пушкина, состояніе которой было невыразимо: какъ привидѣніе, провравдывалась она иногда въ кабинетъ, гдѣ умирающій мужъ не могъ ее видѣть, лежа на диванѣ, спиною къ двери; но лишь только она входила въ комнату, или останавливалась у порога, онъ чувствовалъ ея присутствіе, и говорилъ: «Жена здѣсь? отведите ее.» Такъ поступалъ Пушкинъ отъ боязни, чтобы она не замѣтила его страданій, которыя (исключая двухъ или трехъ часовъ первой ночи, когда мученія превосходили всякую мѣру человѣческаго терпѣнія) онъ съ удивительнымъ мужествомъ пересиливалъ. — «Что дѣлаетъ жена?» спросилъ онъ также Спасскаго; «она бѣдная безвинно терпитъ! Въ свѣтѣ ее заѣдаютъ.» Среди мукъ, вспомнилъ онъ, что наканунѣ получилъ пригласительный билетъ на погребеніе сына Греча. «Если увидите Греча», сказалъ Пушкинъ Спасскому, «поклонитесь ему и скажите, что я принимаю душевное участіе въ его потерѣ.» У него спросили: «Желаешь ли исповѣдаться

и причаститься?» Онъ согласился охотно, и положено было пригласить священника утромъ. Въ полночь докторъ Арендтъ возвратился съ слѣдующее собственноручною запискою императора Николая Павловича къ Пушкину: «Если Богъ и не приведетъ намъ свидѣться въ здѣшнемъ свѣтѣ, посылаю тебѣ мое прощеніе и послѣдній совѣтъ: умереть христіаниномъ. О женѣ и дѣтяхъ не безпокойся: я беру ихъ на свои руки». Тронутый до глубины сердца отеческимъ понеченіемъ монарха, Пушкинъ убѣдительно просилъ Арендта оставить ему эту записку; но государь велѣлъ ее только прочесть, и немедленно возвратить. «Скажите государю», произнесъ Пушкинъ Арендту, «что жалѣю о потери жизни, потому что не могу изъяснить ему моей благодарности, что я былъ бы весь его!»

Немедленно послали за священникомъ, который говорилъ потомъ со слезами о Пушкинѣ и о благочестіи; съ какимъ онъ исполнилъ долгъ христіанскій. До пяти часовъ утра (28 января), не произошло въ его положеніи ни какой перемѣны; тогда боль въ животѣ сдѣлалась нестерпимою и сила ея одолѣла силу души: Пушкинъ удерживался отъ крика, чтобы, какъ говорилъ, жена его не услышала и не испугалась; но сильно стоналъ. Послали снова за Арендтомъ: всѣ старанія смягчить жестокую боль остались тщетными, и она продолжалась до семи часовъ утра. Въ это время несчастная жена Пушкина, въ совершенномъ изнуреніи, лежала неподвижно въ гостиной, у самыхъ дверей, отдѣлявшихъ ее отъ мужа. За минуту до перваго страшнаго крика, тяжелый летаргическій сонъ овладѣлъ ею, и этотъ сонъ, какъ будто нарочно посланный свыше, миновался съ послѣднимъ стenanіемъ за дверями. Въ семь часовъ боль утихла. Твердость Пушкина удивила врачей. Арендтъ говорилъ, что онъ былъ въ тридцати сраженіяхъ, гдѣ видѣлъ много умирающихъ, но мало видѣлъ подобнаго. Среди ужаснѣйшихъ мученій, до самой кончины, мысли страдальца были свѣтлы и память свѣжа. Еще передъ сильною болью, велѣлъ онъ подать какую то бумагу, его ру-

кою написанную, и заставилъ Спасскаго съечь ее; потомъ призвалъ Данзаса, продиктовалъ записку о нѣкоторыхъ долгахъ своихъ, и на вопросъ его: «не поручить ли онъ ему чего нибудь, въ случаѣ смерти, касательно Геверена?» — отвѣчалъ: «требую, чтобъ ты не мстилъ за мою смерть: прощаю ему и хочу умереть христіаниномъ.» Поутру, когда кончились страданія, Пушкинъ трогательно простился съ женою своею, съ дѣтьми, съ друзьями.

Жуковскій взялъ похолодѣвшую, протянутую къ нему руку его, поцѣловалъ ее, но не могъ ничего сказать. Пушкинъ махнулъ рукою, но потомъ снова подозвалъ Жуковскаго. «Скажи государю», произнесъ онъ слабымъ, отрывистымъ, но явственнымъ голосомъ, «что мнѣ жаль умереть, былъ бы весь его. Скажи, что я ему желаю счастья въ его сынѣ, счастья въ его Россіи!» — «Смерть идетъ», сказалъ онъ потомъ Спасскому, взявъ себя за пульсъ. Онъ изъявилъ желаніе проститься и съ Екатериною Андреевною Карамзиною, супругою нашего знаменитаго исторіографа; просилъ ее, чтобъ она его перекрестила; поцѣловалъ у ней руку. Между тѣмъ данный приѣмъ опіума нѣсколько его успокоилъ; въ животу, вмѣсто холодныхъ примочекъ, начали прикладывать мягчительныя. Это было пріятно страдавшему, и онъ безпрекословно сталъ исполнять предписанія врачей, которыя прежде всѣ отвергалъ упрямо, будучи испуганъ своими муками, и желая смерти для превращенія ихъ. «Худо мнѣ, братъ», сказалъ Пушкинъ, пришедшему къ нему, въ два часа, доктору Далю, извѣстному въ литературѣ подъ именемъ казака Луганскаго, съ которымъ онъ былъ очень друженъ. «Мы всѣ надѣмся, не отчаявайся и ты», отвѣчалъ ему Даль. «Нѣтъ», возразилъ Пушкинъ, «мнѣ здѣсь не житье; я умру, да видно такъ и надо.» Въ это время пульсъ его былъ полнѣе и тверже; началъ показываться небольшой общій жаръ. Поставили пивки: пульсъ сталъ ровнѣе, рѣже и гораздо легче. Замѣтивъ, что Даль превосходитъ въ бодрости другихъ, Пушкинъ взялъ его за руку и спросилъ:

«Никого тутъ нѣтъ?» — «Никого.» — «Даль, скажи мнѣ правду; скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надѣмся, Пушкинъ, право надѣмся.» — «Ну, спасибо,» отвѣчалъ онъ. Только однажды надежда обольстила его, но послѣ этой минуты онъ ей не вѣрилъ. Тогда всю ночь (на 29-е число) Даль просидѣлъ у его постели. Жуковский, князь Вяземскій и графъ Вельгорскій находились въ ближней комнатѣ. Пушкинъ продержалъ Даля за руку; часто бралъ по ложечкѣ воды или по крупинкѣ льда въ ротъ; снималъ стаканъ съ ближней полки, теръ себѣ виски льдомъ, самъ накладывалъ на животъ припарки, самъ ихъ перемѣнялъ. Онъ мучился не столько отъ боли, сколько отъ презрѣнной тоски. «Ахъ! какая тоска!» иногда восклицалъ онъ, закидывая руки на голову, «сердце изнываетъ!» Онъ просилъ Даля, чтобы поднималъ его или поворачивалъ на бокъ, или поправилъ ему подушку: и, не давъ кончить, останавливалъ обыкновенно словами: «Ну, такъ, такъ хорошо, вотъ и прекрасно, и довольно; теперь очень хорошо; или: постой, не надо, потяни меня только за руку, ну, вотъ и хорошо, и прекрасно!» — «Кто у жены моей?» спросилъ онъ Даля, утромъ 29-го января. «Много добрыхъ людей принимаютъ въ тебѣ участие: зала и передняя полны съ утра до ночи.» — «Ну, спасибо,» отвѣчалъ Пушкинъ, «однако же поди, скажи женѣ, что все, слава Богу, легко, а то ей тамъ, пожалуй, наговорять.»

Трогательное чувство народной общей скорби выразалось въ общемъ движеніи. Число приходившихъ сдѣлалось наконецъ такъ велико, что дверь прихожей (которая была подлѣ кабинета, гдѣ лежалъ умиравшій) безпрестанно отворялась и затворялась. Это безпокоило страждущаго: придумали запереть дверь, задвинули ее изъ сѣней залавкомъ и отворили другую узенькую, прямо съ лѣстницы въ буфетъ, а гостиную, гдѣ находилась жена, отгородили отъ столовой ширмами. Съ этой минуты буфетъ былъ безпрестанно набитъ народомъ; въ столовую же входили только знакомые. На лицахъ выражалось протодушное участие; очень многіе плакали. «Такое изъясненіе

общей скорби», писалъ очевидецъ, Жуковскій, въ письмѣ къ отцу Пушкина, находившемуся тогда въ Москвѣ, «меня глубоко трогало. Въ русскихъ, которымъ дорога отечественная слава, оно было неудивительно; но участіе иноземцевъ было для меня усладительною нечаянностію. Мы теряли свое, мудрено ли, что мы горевали? Но ихъ что такъ трогало? Отвѣчать не трудно. Геній есть общее добро; въ поклоненіи генію всѣ народы родня, и, когда онъ безвременно покидаетъ землю, всѣ провожаютъ его съ одинакою братскою скорбію. Пушкинъ, по своему генію, былъ собственностію не одной Россіи, но и цѣлой Европы; потому то и многіе иноземцы приходили къ двери его съ печалію собственною, и о нашемъ Пушкинѣ пожалѣли, какъ будто о своемъ».

Пушкинъ ободрялъ жену надеждою, а самъ не имѣлъ ни какой! «Который часъ?» спросилъ онъ Дая, прерывающимся голосомъ, «долго ли... мнѣ... такъ мучиться?... Пожалуйста поскорѣ...» Это повторилъ онъ нѣсколько разъ; потомъ продолжалъ: «скоро ли конецъ?...» и всегда прибавлялъ: «пожалуйста, поскорѣ.» При всемъ томъ онъ оказывалъ удивительное терпѣніе: когда тоска или боль его одолѣвали, дѣлалъ движенія руками или отрывисто вряхтѣлъ, но такъ, что его почти не могли слышать. — «Терпѣть надо, другъ, дѣлать нечего», сказалъ ему Дая; «но не стыдись боли своей, стонай: тебѣ будетъ легче.» — «Нѣтъ», отвѣчалъ онъ прерывчиво, «нѣтъ... не надо... стонать!... жена услышитъ;... смѣшно же... чтобъ этотъ... вздоръ меня... пересилилъ... не хочу...» 29 января утромъ пульсъ ослабѣлъ, и началъ упадать примѣтно; руки начали стыть. Пушкинъ лежалъ съ закрытыми глазами; иногда только поднималъ руки, чтобы взять лѣду и потереть имъ лобъ. Ударило два часа пополудни: въ Пушкинѣ осталось жизни только на три четверти часа. Онъ открылъ глаза, и попросилъ моченой моршвы; когда ее принесли, онъ сказалъ внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормитъ.» Она пришла, опустила у изголовья, поднесла ему ложечку, другую мо-

рошки, потомъ прижалась лицомъ къ лицу его. Пушкинъ погладилъ ее по головѣ, и сказалъ: «Ну, ну, ничего; слава Богу, все хорошо, поди.» Спокойное выраженіе лица его и твердость голоса обманули бѣдную жену; она вышла, какъ будто просіявшая отъ радости: «Вотъ увидите», сказала она доктору Спасскому, «онъ будетъ живъ; онъ не умретъ.» А въ эту минуту уже начался послѣдній процессъ жизни. Жуковский и графъ Віельгорскій стояли у дивана въ головахъ; Тургеневъ стоялъ съ боку. Даль шепнулъ Жуковскому: «отходить». Пушкинъ сохранялъ свѣжую память, только, передъ самою кончиною, подавъ руку Даю, и, пожимая ее, произнесъ: «Ну, поднимай же меня, пойдемъ, да, выше, выше... ну, пойдемъ!» — и въ ту же минуту, очнувшись, продолжалъ: «Мнѣ было пригрезилось, что я съ тобою лезу вверхъ по этимъ книгамъ и ползамъ! высоко... и голова закружилась.» Немного погодя, онъ опять, не раскрывая глазъ, сталъ искать руку Даю, и, потянувъ ее, сказалъ: «Ну, пойдемъ же, пожалуйста, да вмѣстѣ.» Даль взялъ его подъ мышки, и приподнялъ; вдругъ, какъ будто проснувшись, Пушкинъ быстро раскрылъ глаза, лицо его прояснилось, и онъ сказалъ: «Кончена жизнь!» повторилъ эти слова внятно и положительно; потомъ произнесъ: «Тяжело дышать, давить...» Движеніе груди, до того слабое, сдѣлалось прерывистымъ и незамѣтнымъ. Тихо и спокойно удалилась душа его, въ три четверти третьяго часа пополуудни 29 января 1837 года. «Долго», пишетъ Жуковский, «стояли мы надъ нимъ, молча, не шевелясь, не смѣя нарушить тайнства смерти, которое совершилось передъ нами во всей умирительной святинѣ своей. Когда всѣ ушли, я сѣлъ передъ нимъ, и долго одинъ смотрѣлъ ему въ лицо. Никогда на этомъ лицѣ я не видалъ ничего подобнаго тому, что было на немъ въ эту первую минуту смерти. Голова его нѣсколько наклонилась; руки, въ которыхъ было за нѣсколько минутъ какое то судорожное движеніе, были спокойно протянуты, какъ будто упавшія для отдыха послѣ тяжелаго труда. Но



что выражалось на его лицѣ, я сказать словами не умѣю. Оно было для меня такъ ново и въ то же время такъ знакомо. Это не былъ ни сонъ, ни покой; не было выраженіе ума, столь прежде свойственное этому лицу, не было также и выраженіе поэтическое; нѣтъ! какая то важная, удивительная мысль на немъ развилась; что то похожее на видѣніе, на какое то полное, глубокое удовлетворяющее знаніе. Всмотриваясь въ него, мнѣ все хотѣлось у него спросить: «*Что видишь, другъ?*» И что бы онъ отвѣчалъ мнѣ, если бы могъ на минуту воскреснуть? Вотъ минуты въ жизни нашей, которыя вполне достойны названія великихъ. Въ эту минуту, можно сказать, я увидѣлъ лицо смерти безъ покрывала. Какую печать на него положила она, и какъ удивительно высказала на немъ и свою и его тайну! Никогда на лицѣ его не видалъ я выраженія такой глубокой, величественной мысли. Она, конечно, таилась въ немъ и прежде, будучи свойственна его высокой природѣ; но въ этой чистотѣ обнаружилась только тогда, когда все земное отдѣлилось отъ него съ прикосновеніемъ смерти. Таковъ былъ конецъ нашего Пушкина.»

Января 30-го, друзья умершаго поэта положили его своими руками въ гробъ, а на другой день, вечеромъ, перенесли въ церковь. Въ оба дня комната, гдѣ онъ лежалъ, была безпрестанно полна народомъ; болѣе десяти тысячъ человекъ перебивало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали, иные долго останавливались, и какъ будто хотѣли всмотрѣться въ лицо его. «Было», говоритъ Жуковский, «что то разительное въ его неподвижности, посреди этого движенія, и что то умирительно таинственное въ той молитвѣ, которая такъ тихо, такъ однообразно слышалась среди смутнаго говора.» Отпѣваніе происходило 1 февраля, въ присутствіи многихъ сановниковъ и иностранныхъ посланниковъ. Вечеромъ гробъ былъ вставленъ въ особенный дорожный ящикъ, покрытый, какъ водится, чернымъ сукномъ съ серебрянымъ

крестомъ изъ галуна на верху, и отправленъ въ Псковскую губернію, такъ какъ, согласно желанію покойнаго, тѣло его было отвезено для погребенія въ Святогорскій успенскій монастырь, гдѣ приготовилъ онъ себѣ могилу подлѣ матери. На похороны Пушкина было пожаловано императоромъ 10,000 рублей ассигнаціями. За тѣломъ слѣдовалъ А. И. Тургеневъ, тотъ самый, который опредѣлилъ Пушкина въ лицей.

Святогорскій монастырь находится въ четырехъ верстахъ отъ любимаго Пушкинымъ села Михайловскаго, мимо котораго, по тракту, надо было вести тѣло. Мертвый мчался къ своему послѣдному жилищу мимо своего опустѣвшаго сельскаго домика, мимо трехъ любимыхъ сосенъ, имъ воспѣтыхъ. Тѣло поставили на Святой горѣ въ соборной успенской церкви, и отслужили съ вечера панихиду. Всю ночь рыли могилу подлѣ той, гдѣ покоится его мать. На другой день, на разсвѣтѣ, по совершеніи божественной литургіи, въ послѣдній разъ отслужили панихиду, и гробъ былъ опущенъ въ могилу, въ присутствіи Тургенева и крестьянъ Пушкина, пришедшихъ изъ сельца Михайловскаго отдать послѣдній долгъ доброму своему помѣщику. Надъ могилою его поставленъ памятникъ изъ бѣлаго мрамора, въ видѣ обелиска, на четырехугольномъ пьедесталѣ, сдѣланномъ на подобіе древнихъ гробницъ. На памятникѣ простая надпись: «*Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ*». Площадка могилы находится близъ церкви монастыря, по лѣвую сторону алтаря.

По высочайшему повелѣнію, долгъ Пушкина казнѣ былъ снятъ съ его имѣнія; супругъ поэта была назначена пенсія 5,000 рублей ассиг. и, сверхъ того, дѣтямъ его въ 6,000 рублей. На изданіе сочиненій Пушкина пожаловано было 50,000 рублей асс.

АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

## КОЛЬЦОВЪ

(1809—1842).

Въ 1827 году, молодой офицеръ ѣхалъ, чрезъ воронежскую степь, для свиданія съ своимъ отцомъ, прямо съ Кавказа, гдѣ удалось ему отличиться. Легкій тарантасъ быстро несъ молодаго офицера, который, проѣзжая мимо одного дерева, замѣтилъ подъ тѣнію этого дерева юношу прасола, въ красной рубахѣ канаусовой. Подъ предлогомъ раскурить погасшую трубку, путникъ вышелъ изъ экипажа и подошелъ къ огоньку. Тогда глаза его встрѣтились съ глазами молодаго прасола, который, казалось, не доволенъ былъ, что посторонній неумѣстнымъ разговоромъ прерветъ нить его мыслей. Офицеръ какъ бы понялъ мысль поэта прасола, и не сказалъ ему ни слова, но когда вдругъ вѣтерокъ, зашелестивъ зеленъя дерева, подулъ сильнѣе и сорвалъ одинъ изъ листовъ, исписанныхъ юношею въ красной рубахѣ, офицеръ жадно схватилъ этотъ листокъ, и, быстро пробѣжавъ его, не могъ не убѣдиться въ томъ, что стихи, на немъ написанные, хотя и грѣшили противъ правилъ грамматики, однако отличались необыкновенною прелестію мысли и изящностію вкуса, обнимая предметы обыкновеннаго быта, и вовсе не упоминая о

музахъ и о Геликонѣ. Въ это время товарищъ офицера не-терпѣливо позвалъ его, и мелодой воинъ, отдавая листовъ обратно юношу прасолу гуртовщику, сильно покраснѣвшему и сконфузившемуся, сказалъ: «Поздравляю мое отечество съ новымъ, замѣчательнымъ поэтомъ!».....

На дорогѣ повстрѣчали наши путешественники объѣзднаго гуртовщика, загонявшаго, при помощи собакъ, разбредшихся барановъ. Молодой человекъ не утерпѣлъ, и спросилъ этого запачканнаго и запыленнаго бородача: «кто молоденькій русский паренъ въ красной рубахѣ, который пишетъ на сѣдлѣ?» «Это хозяйскій сынъ, Алеха; на рукахъ моихъ выросъ.» — «Прекрасно, да какъ зовутъ его по фамиліи?» — «Алеха Кольцовъ.» — Тарантасъ полетѣлъ дальше. Приѣхавъ въ Воронежъ, молодой офицеръ сталъ разузнавать о прасолѣ поэтѣ Кольцовѣ, и узналъ, что въ Воронежѣ живетъ въ своемъ домѣ его отецъ, мѣщанинъ Василій Кольцовъ, торгующій баранами и посылающій сына въ степь для сопровожденія гуртовъ. Офицеръ, полный любви къ литературѣ, навѣстилъ старика, и говорилъ ему о чудномъ дарованіи его сына, чему однако отецъ, казалось, не очень то довѣрялъ и сказалъ, что ему было бы пріятнѣе, когда бы Алеха поприлежнѣе занимался своимъ прасольскимъ промысломъ, а поменьше складывалъ бы пѣсенъ, которыхъ и безъ того гибель въ пѣсенникахъ, да и дѣвушки ихъ знаютъ не мало.

Какъ бы то ни было, а этотъ Алеха въ послѣдствіи сдѣлался одною изъ поэтическихъ славъ Россіи, когда обстоятельства сложились такъ, что увлекательныя произведенія его получили извѣстность, превратившуюся въ популярность, потому что дѣйствительно Кольцовъ, какъ справедливо сказалъ Бѣлинскій, родился для той поэзіи, которую онъ создалъ. Кольцовъ былъ сыномъ народа, въ полномъ значеніи этого слова. Быть, среди котораго онъ воспитался и выросъ, былъ тотъ же крестьянскій бытъ, хотя нѣсколько и выше его. Кольцовъ выросъ среди степей и мужиковъ. Онъ не для фразы, не для кра-

снаго словца, не воображеніемъ, не мечтою, а душою, сердцемъ, кровію, любилъ русскую природу, и все хорошее и прекрасное, что живетъ въ натурѣ русскаго селянина. Не на словахъ, а на дѣлѣ, сочувствовалъ Кольцовъ простому народу въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Онъ зналъ его быть, его нужды, горе и радость, прозу и поэзію его жизни, зналъ ихъ не по наслышкѣ, не изъ книгъ, не изученіемъ, а потому, что самъ, и по своей натурѣ и по своему положенію, былъ вполне русскій человѣкъ. Нельзя было тѣснѣе слить своей жизни съ жизнію народа, какъ это само собою сдѣлалось у Кольцова. Его радовала и умиляла рожь, шумящая спѣлымъ колосомъ, и на чужую ниву смотрѣлъ онъ съ любовію крестьянина, который смотритъ на свое поле, орошенное его собственнымъ потомъ. Кольцовъ не былъ земледѣльцемъ, но урожай былъ для него свѣтлымъ праздникомъ.

Кольцовъ зналъ и любилъ крестьянскій бытъ такъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, не украшая и не поэтизируя его. Поэзію этого быта нашель онъ въ самомъ этомъ бытѣ, а не въ риторикѣ, не въ пѣтикѣ, не въ мечтѣ, даже не въ фантази своей, которая давала ему образы для выраженія уже даннаго ему дѣйствительностію содержанія. И потому, въ его пѣсни смѣло вошли и лапти, и рваные кафтаны, и исключенныя бороды, и старыя онучи, — и вся эта грязь превратилась у него въ чистое золото поэзи.

Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ родился въ Воронежѣ, въ 1809 году, октября 2-го. Отецъ его, воронежскій мѣщанинъ, былъ человѣкъ не богатый, но достаточный, промышлявшій стадами барановъ для доставки матеріала на салотопенные заводы. Одаренный самыми счастливыми способностями, молодой Кольцовъ не получилъ ни какого образованія. Воспитаніе его предоставлено было природѣ, какъ это бываетъ и не въ одномъ этомъ сословіи. Само собою разумѣется, что съ раннихъ лѣтъ онъ не могъ набраться не только какихъ нибудь нравственныхъ правилъ, или усвоить себѣ хорошія привычки, но и не

могъ обогатиться ни какими хорошими впечатлѣніями, которыя для юной души важнѣе всякихъ внушеній и толкованій. Онъ видѣлъ вокругъ себя домашнія хлопоты, мелочную торговлю съ ея продѣлками, слышалъ грубыя и не всегда пристойныя рѣчи даже отъ тѣхъ, изъ чьихъ устъ ему слѣдовало бы слышать одно хорошее. По счастію, къ благодатной натурѣ Кольцова не приставала грязь, среди которой онъ родился и на лонѣ которой былъ воспитанъ. Съ дѣтства, онъ жилъ въ своемъ особенномъ мірѣ: ясное небо, лѣса, поля, степь, цвѣты, производили на него гораздо сильнѣйшее впечатлѣніе, нежели грубая и удушливая атмосфера его домашней жизни. Предоставленный самому себѣ, безъ всякаго присмотра, Кольцовъ, подобно всѣмъ дѣтямъ любившій бродить босикомъ по травѣ и по лужамъ, чуть было не лишился на всю жизнь употребленія ногъ, и долго былъ болѣнъ, такъ что хотя его въ послѣдствіи и вылечили, однако онъ всегда чувствовалъ отзвѣвы этой болѣзни. Только необыкновенно крѣпкое сложеніе могло спасти его отъ калѣчества или и самой смерти, какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ его жизни. Такъ, напримеръ, уже старѣе шестнадцати лѣтъ, онъ, на всемъ скаку, упалъ съ лошади, черезъ ея голову, и такъ сильно ударился тыломъ о землю, что на всю жизнь остался сутуловатымъ. Но, несмотря на все это, онъ всегда былъ здоровъ и крѣпокъ.

На десятомъ году Кольцова начали учить грамотѣ, подъ руководствомъ одного изъ воронежскихъ семинаристовъ. Такъ какъ грамота ребенку далась, и онъ скоро ей выучился, то его отдали въ воронежское уѣздное училище, изъ котораго онъ былъ взятъ, пробывъ около четырехъ мѣсяцовъ во второмъ классѣ: такъ какъ онъ умѣлъ уже читать и писать, то отецъ его и заключилъ, что больше ему ничего не нужно знать, и что воспитаніе его кончено. Неизвѣстно, какимъ образомъ былъ онъ переведенъ во второй классъ, и вообще чему онъ научился въ этомъ училищѣ, потому что коротко знавшіе Кольцова лично не могли замѣтить въ немъ ни какихъ при-

знаковъ первоначальнаго образованія. Однако нельзя не замѣтить, что, при всѣхъ удивительныхъ способностяхъ Кольцова, при всемъ его глубокомъ умѣ, подобно всѣмъ самоучкамъ, образовавшимся урывками, почти тайкомъ отъ родительской власти, Кольцовъ всегда чувствовалъ, что его умственному существованію не достаетъ твердой почвы, и что, въ слѣдствіе этого, ему часто достается съ трудомъ то, что легко усваивается людьми очень недалекими, но воспользовавшимися благодѣяніями первоначальнаго обученія. Такъ, на примѣръ, онъ очень любилъ исторію, но многое въ ней было для него странно и дико, особенно все, что относилось до древняго міра, съ которымъ необходимо сблизиться въ дѣтствѣ, чтобы понимать его. Для всякаго, это въ уѣздномъ училищѣ прошелъ хотя самую краткую элементарную исторію, незамѣтно дѣлаются какъ будто родственными имена героев древности. Кольцовъ не много вынесъ изъ училища, хотя и пробылъ четыре мѣсяца даже во второмъ классѣ; это всего яснѣе видно изъ того, что онъ не имѣлъ почти ни какаго понятія о грамматикѣ и писалъ вовсе безъ орфографіи. Несмотря на то, съ училища началось для Кольцова пробужденіе умственной жизни: онъ началъ пристращаться къ чтенію. Получаемыя отъ отца деньги на игрушки, онъ употреблялъ на покупку сказокъ, и Бова Королевичъ съ Ерусланомъ Лазаревичемъ составляли его любимѣйшее чтеніе. Но вотъ особенная черта, обнаружившаяся въ Кольцовѣ удивительную фантазію: читая сказки, онъ почувствовалъ охоту составлять самому что нибудь въ ихъ родѣ. Но какъ онъ еще не имѣлъ привычки повѣрять бумагѣ все, что ни приходило ему въ голову, то его неясныя самому ему авторскія порыванія и остались при однѣхъ мечтахъ.

Десятилѣтній Кольцовъ взять былъ изъ училища отцомъ своимъ для того, чтобы помогать ему въ торговлѣ. Отецъ бралъ его съ собою въ степи, гдѣ въ продолженіе всего лѣта бродилъ его скотъ, а зимою посылалъ его съ прика-

щиками на базары для закупки и продажи товара. И такъ, съ десятилѣтняго возраста, Кольцовъ окунулся въ омутъ довольно грязной дѣйствительности; но онъ какъ будто и не замѣтилъ ея: его юной душѣ полюбили ширское раздолье степи. Не будучи еще въ состояніи понять и оцѣнить торговой дѣятельности, кипѣвшей на этой степи, онъ тѣмъ лучше понималъ и оцѣнилъ степь, и полюбилъ ее страстно и восторженно, полюбилъ ее какъ друга.

Многія піесы Кольцова отзываются впечатлѣніями, которыми подарила его степь: *Косарь*, *Могила*, *Путникъ*, *Ночлеги чумаковъ*, *Цвѣтокъ*, *Пора любви* и другія. Почти во всѣхъ его стихотвореніяхъ, въ которыхъ степь не играетъ ни какой роли, есть все таки что то степное, широкое, размашистое, и въ колоритѣ и въ тонѣ. Читая ихъ, невольно вспоминаешь, что ихъ авторъ — сынъ степи, что степь воспитала его и взлелѣяла. И потому, ремесло прасола не только не было ему неприятно, но и нравилось ему: оно познакомило его съ степью и давало ему возможность дѣлое лѣто не разставаться съ нею. Онъ любилъ вечерній огонь, на которомъ варилась степная каша; любилъ ночлеги подъ чистымъ небомъ, на зеленой травѣ; любилъ иногда цѣлые дни не слѣзая съ коня, перегоня стада съ одного мѣста на другое. Правда, эта поэтическая жизнь была не безъ неудобствъ и не безъ неудовольствій, очень прозаическихъ. Случалось дни и недѣли проводить въ грязи, слякоти, на холодномъ осеннемъ вѣтру, засыпать на голой землѣ, подъ шумомъ дождя, подъ защитою войлока, или овчиннаго тулупа. Но привольное раздолье степи, въ ясные и жаркіе дни весны и лѣта, вознаграждало его за всѣ лишенія и тягости осени и бурной погоды.

Разставаясь съ степью, Кольцовъ только мѣнялъ одно наслажденіе на другое: въ городѣ его ожидали сказки и товарищи. Симпатичная натура его рано открылась для любви и дружбы. Еще въ училищѣ, онъ сблизился съ мальчиномъ,



ровесникомъ ему по лѣтамъ, сыномъ богатаго купца. Стихотвореніе *Ровеснику* писано Кольцовымъ, кажется, этому первому другу его юности. Сблизила его съ нимъ страсть къ чтенію, которая въ обоихъ ихъ была сильна. У отца пріятеля Кольцова было много книгъ, и друзья пользовались ими свободно, вмѣстѣ читая ихъ въ саду. Кольцовъ даже бралъ ихъ и на домъ. Правда, эти книги были не что нибудь дѣльное, а разные пустые романы, переведенные отчасти съ французскаго въ былыя времена. Больше всего полюбились Кольцову изъ этихъ книгъ *Тысяча и одна ночь*. И не мудрено: арабскія сказки созданы для того, чтобы плѣнять и очаровывать впечатлительное воображеніе дѣтей и младенствующихъ народовъ. Тогда русскія простонародныя сказки потеряли для Кольцова всю свою цѣну. Ему уже не хотѣлось сочинять сказокъ: романы овладѣли всѣмъ существомъ его, и, разумѣется, у него родилось желаніе самому произвести что нибудь въ этомъ родѣ; но это желаніе опять осталось при одной мечтѣ.

Такимъ образомъ, между степью съ баранами, и чтеніемъ съ пріятелемъ, провелъ Кольцовъ три года. Въ это время ему суждено было въ первый разъ узнать несчастіе: онъ лишился своего друга, умершаго отъ болѣзни. Горестъ Кольцова была глубока и сильна: но онъ не могъ не утѣшиться скоро, потому что былъ еще слишкомъ молодъ. Чтеніе сдѣлалось его прибѣжищемъ отъ горести и утѣшеніемъ въ ней. Послѣ его пріятеля ему осталось нѣсколько десятковъ книгъ, которыя онъ перечитывалъ на свободѣ, и въ городѣ, и въ степи. До тѣхъ поръ, онъ не читалъ стиховъ, и не имѣлъ о нихъ ни какого понятія. Вдругъ нечаянно покупаетъ онъ на рынкѣ, за сходную цѣну, *Сочиненія Дмитріева*. Въ восторгѣ отъ своей покупки, бѣжитъ онъ съ нею въ садъ, и начинаетъ пѣть стихи Дмитріева. Ему казалось, что стихи нельзя читать, но должно ихъ пѣть: такъ заключалъ онъ по пѣснямъ, между которыми и стихами не могъ

тогда же не замѣтитъ близкаго сходства. Гармонія стиха и рифмы полюбилась Кольцову, хотя онъ и не понималъ, что такое стихъ, и въ чемъ состоитъ его отличіе отъ прозы. Многія піесы онъ заучилъ наизусть, и особенно понравился ему *Ермакъ*. Тогда пробудилась въ немъ сильная охота самому слагать такія же звучныя строфы съ рифмами. Кольцову было шестнадцать лѣтъ. Одному изъ его пріятелей приснился странный сонъ, повторившійся три ночи сряду. Въ молодія лѣта всякій сколько нибудь странный или необыкновенный сонъ имѣетъ для насъ какое то таинственное и пророческое значеніе. Пріятель Кольцова былъ сильно пораженъ своимъ сномъ, и разсказалъ его Кольцову, чѣмъ и произвелъ на него такое глубокое впечатлѣніе, что тотъ сейчасъ же рѣшился описать этотъ сонъ стихами. Оставшись одинъ, Кольцовъ засѣлъ за дѣло, не имѣя ни какого понятія о размѣрѣ и версификаціи; выбралъ одну піесу Дмитріева и началъ подражать ей стиху. Первый десятокъ стиховъ достался ему съ большимъ трудомъ, остальные пошли легче, и въ ночь готова была пречудовищная піеса, подъ названіемъ *Три видѣнія*, которую Кольцовъ потомъ истребилъ, какъ слишкомъ пелѣный опытъ. Но какъ ни плохъ былъ этотъ опытъ, однако же онъ навсегда рѣшилъ поэтическое призваніе Кольцова: послѣ него, онъ почувствовалъ рѣшительную страсть къ стихотворству. Ему хотѣлось и читать чужіе стихи, и писать свои, такъ что съ этихъ поръ онъ уже неохотно читалъ прозу, и сталъ покупать только книги, писанныя стихами. Въ Воронежѣ и тогда существовала небольшая книжная лавка, а потому на деньги, которыя иногда давалъ ему отецъ, Кольцовъ скоро приобрѣлъ себѣ сочиненія Ломоносова, Державина, Богдановича. Онъ продолжалъ писать, стараясь подражать этимъ поэтамъ въ механизмѣ стиха; но вотъ горе: ему некому было показывать своихъ опытовъ, не съ кѣмъ было совѣтоваться на ихъ счетъ, а между тѣмъ совѣтникъ ему былъ необходимъ. Онъ

рѣшился обратиться за совѣтами къ воронежскому книгопродавцу, наивно предполагая, что кто торгуетъ книгами, тотъ знаетъ и толкъ въ книжномъ дѣлѣ, и принесъ ему свои *Три видѣнія* и другія свои піесы. Книгопродавецъ былъ человѣкъ необразованный, но не глупый и добрый. Онъ сказалъ Кольцову, что его стихи кажутся ему дурными, хотя онъ и не можетъ ему объяснить, почему именно; но что если онъ хочетъ научиться писать хорошо стихи, то вотъ поможетъ ему книжка, *Русская Просодія*, изданная для воспитанниковъ благороднаго университетскаго пансіона. Словно какой то тайный голосъ сказалъ этому книгопродавцу, что онъ видитъ передъ собою человѣка не совсѣмъ обыкновеннаго, и, видно, его тронуло страстное юношеское стремленіе Кольцова къ стихотворству: онъ подарилъ ему *Русскую Просодію*, и предложилъ ему безденежно давать книги для прочтенія. Нечего и говорить о радости Кольцова: онъ приобрѣлъ книгу, которая должна посвятить его въ таинства стихотворства и дать ему возможность самому сдѣлаться поэтомъ, и, сверхъ того, у него очутилась подъ руками цѣлая бібліотека! Это было для него счастіемъ, блаженствомъ! Онъ избавился отъ необходимости перечитывать однѣ и тѣ же книги; новый міръ открылся передъ нимъ, и онъ бросился въ него со всѣмъ жаромъ, со всею жадностію нестерпимаго голода, и безъ разбора пожиралъ чтеніемъ и хорошее и дурное. Книги, которыя ему особенно нравились, онъ, по прочтеніи, покупалъ, и его небольшая бібліотека скоро обогатилась сочиненіями Жуковскаго, Пушкина, Дельвига.

Такимъ образомъ, въ раздольѣ этого чтенія и въ попыткахъ на стихотворство, прошло пять лѣтъ. Кольцовъ достигъ семнадцатилѣтняго возраста. Въ это время Кольцовъ возмѣлъ къ одной простой крестьянской дѣвушкѣ такую любовь, какъ бы къ родной сестрѣ, и непремѣнно хотѣлъ на ней жениться. Родители находили страсть эту вспышкою ребячества, и понимали, что, женись столь рано, мальчишъ могъ погубить

себя, да и къ тому же дѣвушка принадлежала къ семейству, родство съ которымъ было далеко не почетно въ нравственномъ отношеніи. Старики видѣли необходимость разрушить эти сношенія, которыя надо было разорвать во что бы то ни стало. Для этого воспользовались отсутствіемъ Кольцова въ степь, и когда онъ воротился домой, то уже не засталъ молодой крестьянки въ родительскомъ домѣ... Это несчастіе такъ жестоко поразило юношу, что онъ схватилъ сильную горячку. Оправившись отъ болѣзни и признавши у родныхъ и знакомыхъ деньжонокъ, онъ бросился, какъ безумный, въ степи, развѣдывать о несчастной. Сколько могъ, далеко ѣздилъ самъ, еще дальше посылалъ преданныхъ ему за деньги людей. Неизвѣстно долго ли продолжались эти розыски; только результатомъ ихъ было извѣстіе, что несчастная дѣвушка вскорѣ зачала, и умерла въ далекой сторонѣ Задонской. Это такъ подѣйствовало на Кольцова, что, въ 1838 году, несмотря на то, что онъ вспоминалъ горе, постигшее его назадъ тому болѣе десяти лѣтъ, лицо его было блѣдно, слова съ трудомъ и медленно выходили изъ его усть, и, говоря, онъ смотрѣлъ въ сторону и внизъ...

Этотъ случай сильно подѣйствовалъ на развитіе поэтического таланта Кольцова. Онъ какъ будто вдругъ почувствовалъ себя уже не простымъ стихотворцемъ, одолѣваемымъ охотою слагать размѣренныя строчки съ приемами, безъ всякаго содержанія, но поэтомъ, стихъ котораго сдѣлался отзывомъ на призывы жизни, грудь котораго носила въ себѣ богатое содержаніе для поэтическихъ изліяній. Натура Кольцова была крѣпка и здорова, физически и нравственно. Какъ ни жестокъ былъ ударъ, поразившій его въ самое сердце, но онъ вынесъ его, не закрылъ глазъ своихъ на природу и жизнь, не оглохъ къ ихъ обаятельнымъ призывамъ, не ушелъ внутрь себя, не забился въ какія нибудь сладковатыя утѣшенія, какъ это дѣлаютъ послѣ несчастія нравственно слабыя натуры. Нѣтъ, онъ взялъ свое горе съ собою, бодро и мощно понесъ

его по пути жизни, какъ дорогую, хотя и тяжкую ношу, не отказываясь въ то же время отъ жизни и ея радостей. Въ своемъ поэтическомъ призваніи, увидѣлъ онъ вознагражденіе за тяжкое горе своей жизни, и весь погрузился въ море поэзіи, читая и перечитывая любимыхъ поэтовъ, и, по ихъ слѣдамъ, пробуя самъ извлекать изъ своей души поэтическіе звуки, которыми она была переполнена. Къ тому же онъ уже не имѣлъ больше надобности носить свои стихотворенія на судъ къ книгопродавцу, потому что нашелъ себѣ совѣтника и руководителя, какового давно желалъ и въ какомъ давно нуждался. И когда постигла его утрата восторженной любви, у него, какъ бы въ вознагражденіе за нее, явился другъ. Это былъ человѣкъ замѣчательный, одаренный отъ природы счастливыми способностями и прекраснымъ сердцемъ. Натура сильная и широкая, Серебрянскій не могъ сжиться съ тѣсными формами семинарскаго образованія, почему самъ себѣ создалъ образованіе, котораго нельзя получить въ семинаріи. Дружескія бесѣды съ Серебрянскимъ были для Кольцова истинною школою развитія во всѣхъ отношеніяхъ, особенно въ эстетическомъ. Для своихъ поэтическихъ опытовъ, Кольцовъ нашелъ себѣ въ Серебрянскомъ судью строгаго, безпристрастнаго, со вкусомъ и тактомъ знающаго дѣло.

Въ самомъ дѣлѣ, только съ тѣхъ поръ, какъ Кольцовъ сошелся съ Серебрянскимъ, и прежнія его стихотворенія, и вновь написанныя, достигли той степени удовлетворительности, что стали годиться для печати. Одни изъ нихъ онъ поправлялъ по совѣту Серебрянскаго, а на счетъ удававшихся съ разу былъ спокоенъ, опираясь на его одобреніе. Но не долго пользовался Кольцовъ совѣтами своего друга. Серебрянскому надо было избрать себѣ дорогу, и не столько по влеченію, сколько по расчету, онъ предпочелъ поприще врача другимъ, чтобы не отчаяваться въ будущемъ, по крайней мѣрѣ въ кускѣ хлѣба, и поступилъ въ московскую медико-хирургическую академію.

Какъ бы ни было, но поэтическое призваніе Кольцова было рѣшено и сознано имъ самимъ. Это былъ поэтъ по призванію, по натурѣ, и препятствія могли не охладить, а только дать его поэтическому стремленію еще большую энергію. Прасолъ, верхомъ на лошади, гоняющій скотъ съ одного поля на другое, по колѣни въ крови присутствующій при рѣзаніи, или, лучше сказать, при бойкѣ скота; приващикъ, стоящій на базарѣ у возовъ съ саломъ, — и мечтающій о любви, о дружбѣ, о внутреннихъ поэтическихъ движеніяхъ души, о природѣ, о судьбѣ человѣка, о тайнахъ жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзаннаго сердца и умственными сомнѣніями, и въ то же время дѣятельный членъ дѣйствительности, среди которой поставленъ, смысленный и бойкій русскій торговецъ, который продаетъ, покупаетъ, бранится, и дружится Богъ знаетъ съ кѣмъ, торгуется изъ вопѣйки, и пускаетъ въ ходъ всѣ пружины мелкаго торгашества, которыхъ внутренно отвращается какъ мерзости: какая картина, какая судьба, какой человѣкъ!... Между людьми, ему близкими, онъ встрѣчаетъ не ласку, не привѣтъ, а грубое невѣжество, которое никакъ не можетъ простить ему того, что онъ хочетъ быть человѣкомъ. Но у него есть книги,

Много думъ въ головѣ,  
Много въ сердцѣ огня!

и онъ закрываетъ глаза на грязную дѣйствительность, не замѣчаетъ презрѣнія, не видитъ ненависти.

Слухъ о самородномъ талантѣ Кольцова дошелъ до одного молодого человѣка, одного изъ тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но слухи о которыхъ переходятъ иногда и въ общество, изъ тѣснаго кружка близкихъ къ нимъ людей. Это былъ Станкевичъ, сынъ воронежскаго помѣщика, бывшій въ то время въ московскомъ университетѣ, и пріѣзжавшій на каникулы въ свою деревню, а оттуда иногда и въ Воронежъ. Станкевичъ познакомился съ Коль-

цовымъ, прочелъ его опыты, и одобрилъ ихъ. Въ 1831 году, Кольцовъ, по дѣламъ отца своего, пріѣхалъ въ Москву, и, черезъ Станкевича, приобрѣлъ тамъ нѣсколько новыхъ знакомствъ, въ послѣдствіи довольно важныхъ для него. Въ это время двѣ или три піески его были напечатаны съ его именемъ въ одномъ впрочемъ довольно плохомъ московскомъ журналѣ. Для Кольцова, еще не смѣвшаго вѣрить въ свой талантъ, это было лестно и пріятно. Въ послѣдствіи Станкевичъ предложилъ ему на свой счетъ издать его стихотворенія. Это намѣреніе было выполнено въ 1835 году. Изъ довольно увѣсистой и толстой тетради, Станкевичъ выбралъ 18 піесъ, показавшихся ему лучшими, и напечаталъ ихъ въ маленькой опрятной книжкѣ, которая доставила Кольцову большую извѣстность въ литературномъ мірѣ. Правда, тутъ больше всего дѣйствовало волшебное слово *поэтъ самоучка, поэтъ прасолъ*, и будь эти 18 стихотвореній изданы какъ произведенія человѣка хотя бы и крестьянскаго званія по рожденію, но кончившаго курсъ въ университетѣ и уже служившаго чиновникомъ въ департаментѣ, на нихъ не обратили бы такого вниманія. Надо и то сказать, что въ этой книжкѣ видно было больше обѣщаніе въ будущемъ сильнаго таланта, нежели сильный талантъ въ настоящемъ.

1836 годъ былъ эпохою въ жизни Кольцова. По дѣламъ отца своего, онъ долженъ былъ побывать въ Москвѣ и Петербургѣ, и пробыть довольно долгое время въ обѣихъ столицахъ. Въ Москвѣ онъ коротко сблизился съ однимъ молодымъ тогда литераторомъ, Бѣлинскимъ, съ которымъ познакомился еще въ первый пріѣздъ свой въ Москву. Новый пріятель познакомилъ его со многими московскими литераторами. Эти знакомства обогатили Кольцова книгами, потому что почти каждый литераторъ спѣшилъ дарить его своими сочиненіями и изданіями. Такимъ образомъ бібліотека Кольцова въ короткое время значительно умножилась. Что же касается до чести знакомства со всѣми литературными знаме-

нитостями, большими и малыми, то нельзя связать, чтобы Кольцовъ добивался ея, или слишкомъ дорожилъ ею. Съ одной стороны, онъ былъ скромнень и робокъ, а съ другой въ немъ сильно было чувство своего человѣческаго достоинства, и потому онъ не любилъ быть на выставкѣ. По чувству деликатности и благодарности, онъ позволялъ принимавшимъ въ немъ участіе людямъ развозить его по литературнымъ знаменитостямъ; но игралъ тутъ болѣе страдательную, нежели дѣятельную роль. Онъ никакъ не могъ убѣдиться, чтобы онъ, по своимъ достоинствамъ, имѣлъ право на вниманіе чуждыхъ ему людей. Представляться кому бы то ни было въ качествѣ таланта, или литературной рѣдкости, ему было и неловко и больно. Притомъ же Кольцовъ былъ очень проницателенъ: онъ очень хорошо понималъ и видѣлъ, что одни принимали его какъ диковинку, смотрѣли на него, какъ смотрятъ на заморскаго звѣря, на великана, на карлика; что другіе, снисходя до равенства въ обращеніи съ нимъ, были въ восторгѣ отъ своей просвѣщенной готовности уважать талантъ даже и въ мѣщанинѣ, и что только слишкомъ немногіе протягивали ему руку съ участіемъ и искренностію. Нѣкоторые смотрѣли на него съ чувствомъ своего достоинства и говорили съ нимъ тономъ покровительства, а нѣкоторые только изъ вѣжливости не обращивались къ нему спиною. Все это онъ очень хорошо видѣлъ и понималъ. Одинъ знаменитый московскій литераторъ обошелся съ нимъ очень сухо, хотя и вѣжливо; потомъ, встрѣтившись съ молодымъ литераторомъ, который представилъ ему Кольцова, началъ онъ надъ нимъ подшучивать: «Что вы нашли въ этихъ стишонкахъ? какой тутъ талантъ? Да это просто ваша мистификація: вы сами сочинили эту книжку, ради шутки». Другой тоже очень извѣстный литераторъ не нашелъ ничего поэтическаго въ наружности, манерахъ и словахъ Кольцова, а напротивъ увидѣлъ въ немъ очень положительнаго человѣка, изъ чего и заключилъ, что у него не можетъ быть таланта... Это послѣднее заключеніе особенно



замѣчательно: такъ судить толпа о поэтѣ! Не находя въ себѣ довольно способности, чтобъ изъ сочиненій поэта удостовѣриться въ его талантѣ, она требуетъ отъ него, чтобы онъ показывался передъ нею не иначе, какъ въ поэтическомъ мундирѣ, т. е. съ кудрями до плечъ, съ вдохновеннымъ взоромъ, съ восторженною рѣчью, съ поэтическимъ опьяненіемъ, или безуміемъ въ манерамъ и движеніяхъ. Тогда ей легко признать его поэтомъ. Но, увы! Кольцовъ ни сколько не подходилъ подъ этотъ идеалъ поэта; онъ былъ слишкомъ уменъ, слишкомъ хорошо зналъ жизнь и людей, чтобы играть глупенькую и пошленькую роль восторженнаго. Онъ не любилъ обращать на себя вниманіе, и думалъ, что въ обществѣ особенно должно держать себя прилично, быть просто человѣкомъ, какъ всѣ, а не гениемъ, не поэтомъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ глупцевъ, которые думаютъ, что если имъ удалось скропать порядочную статейку, повѣстцу, или десятокъ стихотвореній, то всѣ должны почитать за счастье видѣть ихъ, и что кому они протянули свою руку, тотъ долженъ быть безъ ума отъ радости. Кольцовъ не былъ скоръ ни на знакомства, ни на дружбу. Когда онъ видѣлъ съ чьей нибудь стороны слишкомъ много ласки къ нему, это пугало его и заставляло быть осторожнымъ. Онъ никакъ не могъ думать, чтобы въ немъ было что нибудь особенное, за что нельзя было не любить его. «Что такое во мнѣ?» говаривалъ онъ въ такихъ случаяхъ. Но когда онъ сходилъ съ человѣкомъ, когда удостовѣрялся, что тотъ не изъ прихоти, а дѣйствительно расположенъ къ нему, и что онъ самъ можетъ платить ему тѣмъ же,—тогда раскрывалъ онъ свою душу, и на его преданность можно было положиться, какъ на каменную гору. Онъ умѣлъ любить; глубоко чувствовалъ потребность дружбы и любви, и, какъ немногіе, былъ способенъ къ нимъ: но не любилъ шутить ими...

Однако же знакомства съ литературными знаменитостями были для него не безъ пріятности. Когда онъ освобождался

отъ замѣшательства перваго представленія и сколько нибудь освоивался съ новымъ лицомъ, то оно интересовало его. Говорилъ мало, глядя немножко исподлобья, онъ все замѣчалъ, и едва ли что ускользало отъ его проницательности; это было ему тѣмъ легче, что каждый готовъ былъ видѣть въ немъ скорѣе замѣшательство и нелюдность, нежели проницательность. Ему любопытно было видѣть себя въ кругу тѣхъ умныхъ людей, которые издавна казались ему существами высшаго рода; ему интересно было слышать ихъ умныя рѣчи. Много ли наслушался онъ отъ нихъ — это другой вопросъ.

Въ Петербургѣ Кольцовъ познакомился съ княземъ Одоевскимъ, Пушкинымъ, Жуковскимъ и княземъ Вяземскимъ, былъ хорошо ими принятъ и обласканъ. Съ особеннымъ чувствомъ вспоминалъ онъ всегда о радушномъ и тепломъ приемѣ, который оказалъ ему тотъ, кого онъ съ трепетомъ готовился увидѣть, какъ божество какое нибудь — Пушкинъ. Почти со слезами на глазахъ рассказывалъ Кольцовъ объ этой торжественной въ его жизни минутѣ.

Въ 1838 году, Кольцовъ опять былъ по дѣламъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Въ этотъ разъ онъ особенно долго жилъ въ Москвѣ и до отъѣзда въ Петербургъ, и по возвращеніи изъ него, и жизнь въ Москвѣ тогда особенно полюбилась ему. Постоянно пріятное расположеніе духа было причиною, что онъ написалъ въ это время много хорошаго. Возвращеніе домой было для него довольно грустно. Онъ вдругъ почувствовалъ, что есть другой міръ, который ближе къ нему и сильнѣе манитъ его къ себѣ, нежели міръ воронежской и степной жизни. Имъ овладѣло чувство одиночества, которое преодолевалось въ немъ только любовію къ природѣ и чтеніемъ. Глазамъ его открылся другой міръ; воронежская жизнь сдѣлалась скучна; только прекрасная пора лѣта составляла всю его отраду; онъ любилъ еще степь, но уже не такъ, какъ прежде: въ первый разъ понялъ онъ, что она однообразна, что на ней весело быть на минуту, и то не одному...

Все родное Кольцова было уже не въ опустѣломъ для него Воронежѣ, а въ Москвѣ, и туда стремились всѣ его думы. Въ семействѣ своемъ, онъ горячо любилъ младшую сестру и между ними существовала самая тѣсная дружба. Кольцовъ видѣлъ въ сестрѣ много хорошаго, уважалъ ея вкусъ, и часто совѣтовался съ нею на счетъ своихъ стихотвореній, словомъ дѣлился съ нею своею внутреннею жизнію. Вѣря въ ея къ нему задушевное расположеніе, онъ дѣлалъ для нея все, что могъ. Настойчивостію, просьбами, лестію, всякими хитростями, онъ склонилъ своего отца купить ей фортепіано и нанять учителя музыки и французскаго языка. Новыя связи и отношенія, новый міръ, открывшійся ему, не ослабили этой дружбы, хотя одной ея ему было уже мало, и сердце его рвалось вдаль. Натура Кольцова была не только сильна, но и нѣжна; онъ не вдругъ привязывался къ людямъ, сходилса съ ними недовѣрчиво, сближался медленно; но когда уже отдавался имъ, то отдавался весь. Это имѣло для него гибельныя слѣдствія въ отношеніи къ нѣкоторымъ привязанностямъ. Горячо любилъ онъ своего маленькаго брата, но тотъ давно уже умеръ, къ его крайнему прискорбію. Счастливое окончаніе нѣкоторыхъ важныхъ для благосостоянія семейства дѣлъ и лестное вниманіе В. А. Жуковскаго къ Кольцову, вниманіе, которому свидѣтелемъ былъ весь Воронежъ въ 1837 году, способствовали возвышенію его въ глазахъ согражданъ. Онъ былъ необходимъ для отца; на немъ лежали всѣ торговыя дѣла, на него переведены были всѣ долги, всѣ веселя и обязательства; на его дѣятельности, его умѣньѣ и ловкости вести дѣла, лежала участь цѣлаго дома, который былъ въ такомъ положеніи, что еще нѣсколько счастливо преодолѣнныхъ препятствій, и его благосостояніе совершенно упрочивалось. Онъ же такъ полюбилъ степь! На ней началось его изученіе дѣйствительности и людей, и борьба съ ними; здѣсь была его школа жизни. Тутъ случались съ нимъ обстоятельства, не только непріятныя, даже страшныя. Разъ, въ степи, одинъ изъ работниковъ за

что то такъ озлобился на него, что рѣшился его зарѣзать. Намекнули ли объ этомъ Кольцову со стороны, или онъ самъ догадался; но медлить было нельзя, а обыкновенными средствами защищаться невозможно. Надобно было рѣшиться на трагикомедію, и Кольцова достало на нее. Будто ничего не замѣчая, онъ сталъ съ мужикомъ необыкновенно любезенъ, досталъ вина, пилъ съ нимъ, и братался. Этимъ опасность была отстранена. Только по возвращеніи въ Воронежъ, Кольцовъ снялъ съ себя маску передъ отчаяннымъ удалцомъ, требовавшимъ расчета. При этомъ расчетѣ, продолжавшемся очень долго, злодѣй имѣлъ причину и время раскаяться въ своемъ умыслѣ, а, можетъ быть, и въ томъ, что не удалось ему его выполнить.... Вотъ міръ, въ которомъ жилъ Кольцовъ, вотъ борьба, которую онъ велъ съ дѣйствительностію!... Не съ одними волками, которые стаями слѣдили за стадами барановъ, приходилось ему вести ожесточенную войну....

Около этого времени, т. е. послѣдней поѣздки его въ Москву, къ прочимъ хлопотамъ Кольцова присоединилась еще постройка новаго дома, который, по величинѣ своей, долженъ былъ давать около семи тысячъ ассигнаціями ежегоднаго дохода. Къ несчастію, не одинъ онъ былъ наслѣдникомъ этого дома, обстоятельство, которое въ послѣдствіи дорого ему стоило... Всѣ эти дѣла онъ велъ и ладилъ, и чрезъ два года довелъ на свою погибель до желаннаго конца.... Но въ это время они начали тяготить его, и въ немъ все больше и больше усиливалось отвращеніе къ нимъ. Съ послѣдней поѣздки въ Москву, эти минуты унынія, апатіи и тоски стали являться чаще. Одна надежда облегчала ихъ. По отстройкѣ дома, онъ думалъ сдать отцу приведенныя имъ въ порядокъ дѣла по степи, а самому заняться присмотромъ за домомъ и открыть въ немъ книжную лавку. Это значило бы для него примирить потребности своей натуры съ виѣшнею дѣйствительностію. Но, при всемъ своемъ знаніи жизни и людей, Кольцовъ жестоко обманывался въ своей надеждѣ.... Но пова надо

было жить какъ судьба хотѣла. Слѣдующія строки изъ письма его, въ одному изъ знакомыхъ ему петербургскихъ литераторовъ, писанныя еще въ 1836 году, представляютъ яркую картину его занятій: «Батинька два мѣсяца въ Москвѣ, продаетъ быковъ; дома я одинъ, дѣлъ много. Покупаю свиней, становлю на винный заводъ на барду; въ роцѣ рублю дрова; осенью пахалъ землю; на скорую руку ѣзжу въ села; дома по дѣламъ хлопочу съ заря до полночи.» Но тогда онъ не жаловался, а черезъ два года, въ письмахъ въ Москву въ пріятелю, сталъ сильно горевать на свое положеніе.

Такимъ образомъ прошелъ для Кольцова еще годъ, и жизнь его становилась все мрачнѣе. Свѣтлыя минуты навѣщали его рѣже и рѣже. «Пророчески угадали вы мое положеніе» (писалъ онъ, въ 1840 году, въ Петербургъ, въ пріятелю): «у меня у самого давно уже лежить на душѣ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать».

Въ это время Кольцову было сдѣлано изъ Петербурга предложеніе принять управленіе книжною лавкою, основанною на акціяхъ. Предложенія нельзя было припятъ ему потому, что, по причинѣ долга въ 20,000 руб., векселя котораго были сдѣланы на его имя, онъ не могъ выѣхать изъ Воронежа противъ воли отца. Разъ какъ то Кольцовъ зажилъ въ Москвѣ, и только что пріѣхалъ домой, какъ его зовутъ въ полицію, по векселю въ 3.000 рублей. Опоздай онъ нѣсколькими днями, и вексель былъ бы посланъ въ Москву, гдѣ онъ не имѣлъ бы ни какой возможности расплатиться по немъ.

Осенью 1840 года, Кольцову снова представился случай ѣхать въ Москву и Петербургъ. Хотя это было по двумъ тяжбымъ дѣламъ, однако онъ былъ радъ и имъ, какъ случаю вырваться изъ Воронежа, и увидѣться съ людьми, родными ему по чувству и по мысли. Это была его послѣдняя поѣздка. Московскій другъ его давно уже жилъ въ Петер-

бургѣ, и по приѣздѣ туда Кольцовъ остановился у него и прожил съ нимъ около трехъ мѣсяцовъ. Одно дѣло его было проиграно. Надо было спѣшить въ Москву поправить, и спасти другое, самое важное. Такъ какъ изъ Москвы ему надо было ѣхать домой, то онъ отправлялся въ нее съ тоскою. Его мучили тяжкія предчувствія, которыя и не обманули его. Мысль о возвращеніи въ Воронежъ ужасала его. Онъ уже колебался, не остаться ли ему въ Петербургѣ навсегда, кончивъ дѣло въ Москвѣ; но остаться безъ всего, съ одними своими средствами, начать снова поприще лавочнаго сидѣльца, прикащика, мелкаго торгаша, одна мысль объ этомъ приводила его въ бѣшенство. Онъ все надѣялся, что отецъ дастъ ему тысячь десять, на условіи отказаться отъ дома и всякаго другаго наслѣдства, и что съ этимъ небольшимъ капиталомъ онъ найдетъ возможность пристроиться въ Петербургѣ, и вести въ немъ тихую жизнь, зарывшись въ книги, и учась всему, чему не могъ учиться въ свое время. Дѣло его въ Москвѣ кончилось хорошо, чѣмъ, какъ и въ прежнихъ дѣлахъ, онъ особенно былъ обязанъ благородному участію князя П. А. Вяземскаго, снабжавшаго его рекомендательными письмами къ особамъ, доступъ къ которымъ иначе былъ бы для него невозможенъ. Новый годъ встрѣтилъ онъ шумно и весело, въ кругу своихъ московскихъ друзей и знакомыхъ. Время шло, а онъ все жилъ въ Москвѣ.

По возвращеніи домой, Кольцовъ нашелъ, по обыкновению, всѣ дѣла въ упадкѣ и въ разстройствѣ, и принялся ихъ устроить. Онъ долженъ былъ жить и трудиться безъ копѣйки въ карманѣ... Тогда имъ овладѣла одна мысль, устроить дѣла, ѣхать въ Петербургъ, куда отецъ отпускалъ его охотно, уплативъ всѣ долги по векселямъ на имя сына и рѣшившись прекратить торговлю скотомъ. Но въ это время Кольцовъ началъ дурно себя чувствовать и на страстной недѣлѣ чуть не умеръ, но однако же кое какъ оправился. Къ счастью, врачъ его былъ человѣкъ благородный и съ чувствами

нѣжными, который лечилъ его больше изъ личнаго расположенія къ нему, нежели изъ разчета. Онъ зналъ впередъ, что получить бездѣлицу, а занимался своимъ пациентомъ съ дружескимъ участіемъ. Во время самыхъ сильныхъ припадковъ болѣзни, Кольцовъ говорилъ ему. «Докторъ, если моя болѣзнь неизлечима, если вы только протягиваете жизнь, то прошу васъ не тянуть ея. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, и вамъ меньше хлопотъ.» Медикъ ручался за его излеченіе: «Когда такъ, будемъ лечиться.» Что терпѣлъ Кольцовъ, во время болѣзни, отъ близкихъ и кровныхъ, за псключеніемъ матери, принимавшей въ немъ искреннее участіе, о томъ страшно и подумать... Это усилило разстройство его здоровья. Скоро открылась боль въ груди, слабость во всемъ тѣлѣ, по ночамъ сильная испарина, разстройство желудка и желудочный кашель. По совѣту врача, Кольцовъ поѣхалъ на дачу къ одному изъ своихъ родственниковъ, чтобы тамъ купаться въ Дону. Это его немного поправило; но осень наступила прежде, нежели онъ успѣлъ кончить курсъ своего купанія, и надо было прекратить его. Вслѣдъ затѣмъ сдѣлалось воспаленіе въ почкахъ; но даже и послѣ этого онъ всетаки сталъ оправляться. До тѣхъ поръ, онъ ничего не читалъ, не писалъ, ни о чемъ не думалъ, кромѣ лекарства, леченія, обѣда и ужина; но тутъ опять принялся за свои занятія, воскресъ нравственно. Нельзя не дивиться силѣ духа этого человѣка. Правда, онъ надѣялся выздоровѣть, и не хотѣлось ему умереть; но возможность смерти онъ видѣлъ ясно и смотрѣлъ на нее прямо. Вотъ слова, которыми онъ заключилъ письмо свое къ двоимъ изъ друзей своихъ въ Петербургъ: «Ну, теперь, милые мои, пришло сказать: прощайте — на долго ли? — не знаю. Но какъ то это слово горько отозвалось въ душѣ моей. Но еще прощайте, и въ третій разъ прощайте. Если бы я былъ женщина, хорошая бы пора плакать. Минута грусти, побудь хоть ты со мною подольше.» А между

тѣмъ все письмо проникнуто бодростію духа, надеждою и даже веселостію...

Но это выздоровленіе было только отсрочкою смерти. Для возстановленія его здоровья, нужно было прежде всего спокойствіе, а онъ его не имѣлъ. Иногда ему не на что было купить лекарства; иногда у него не было ни чая, ни сахара, ни свѣчей, а иногда ему не доставалось обѣда и ужина.... Вскорѣ послѣдовала свадьба въ томъ домѣ, гдѣ онъ жилъ. «Все пачало ходить и бѣгать черезъ мою комнату; полы моютъ то и дѣло, а сырость для меня убійственна. Трубки, благовонія, курятъ каждый день; для моихъ разстроенныхъ легкихъ все это плохо. У меня опять образовалось воспаленіе, сначала въ правомъ боку, потомъ въ лѣвомъ, противу сердца, довольно опасное и мучительное. И здѣсь то я струсиль не на шутку. Нѣсколько дней жизнь висѣла на волоскѣ. Лекаръ мой, несмотря на то, что я ему очень мало платилъ, пріѣзжалъ три раза въ день. А въ эту пору, у насъ вечеринки каждый день, шумъ, крикъ, бѣготня, двери до полночи въ моей комнатѣ ни минуты не стоятъ на петляхъ. Прошу не курить — бурятъ больше; прошу не благовонить — больше; прошу не мыть половъ — моютъ.» Все это потомъ кое какъ уладилось; свадьба копчилась; больной, для спасенія жизни, прибѣгъ къ хитрости и со всѣми перемирился, попросивъ у всѣхъ извиненіе за неудовольствія, которія ему дѣлали; его оставили въ покоѣ, и онъ увидѣлъ себя точно въ раю. «Я теперь, слава Богу, живу покойно, смирно. Они меня не беспокоятъ. Въ комнатѣ тишина; самъ большой, самъ старшой. Обѣдъ готовятъ порядочный. Чай есть, сахаръ тоже, а мнѣ пока больше ничего не нужно. Здоровье мое стало лучше. Началъ прохаживаться, и два раза былъ въ театрѣ. Лекаръ увѣряетъ, что я въ постъ не умру, а весною опъ меня вылечитъ. Но силъ, не только духовныхъ, и физическихъ еще нѣтъ; памяти тоже. Волоса начали расти; съ лица зелень сошла; глаза чисты.» Въ заключеніе письма,



говоря о своемъ нравственномъ состояніи, онъ прибавилъ: «Что если, и выздоровѣвши, такимъ останусь? Тогда, прощайте, друзья, Москва и Петербургъ! Нѣтъ, дай Господи умереть, а не дожить до этого полипнаго состоянія. Или жить для жизни, или — маршъ на покой!»

Послѣднее письмо отъ Кольцова было отъ 27-го февраля 1842 года, Лѣтомъ писали къ нему, но отвѣта не было, а осенью получено было изъ Воронежа отъ незнакомыхъ людей извѣстіе о смерти Кольцова.... Онъ умеръ 19-го октября 1842 года, въ три часа пополудни, на тридцать четвертомъ году отъ рожденія.

Его похоронили на городскомъ воронежскомъ кладбищѣ.

---

ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧЪ

**КВИТКА**

(ОСНОВЬЯНЕНКО)

(1778 — 1843).

Григорій Федоровичъ Квитка родился въ 1778 году, 18-го ноября. Мѣсто рожденіе его—подгородное харьковское село Основа, принадлежавшее издавна фамиліи Донецъ-Захаржевскихъ, а потомъ перешедшее во владѣніе фамиліи Квитовъ. Отъ имени этого села, произошелъ (въ 1833 году, впервые) псевдонимъ Квитки-Основьяненко.

Въ лѣтописяхъ слободскихъ полковъ имя Квитовъ встрѣчается впервые въ 1666 году. Въ 1703 году, полковникомъ харьковскаго полка былъ Григорій Семеновичъ Квитка, прадѣдъ нашего писателя, который неуспинно заботился объ укрѣпленіи Харькова отъ набѣговъ татаръ, строилъ въ немъ новыя зданія, и помѣщалъ толпы переселенцевъ, которые тогда стекались подъ знамена слободскихъ полковъ. Сынъ этого харьковскаго полковника, Иванъ Григорьевичъ Квитка, дѣдъ писателя, въ 1743 году, 22-го ноября, грамотою императрицы Елисаветы Петровны, посланною на его имя въ изюмскій слободскій полкъ, пожалованъ былъ въ званіе полковника этого полка.

Изюмскій полковникъ, Иванъ Григорьевичъ Квитка, скончался въ 1751 году, 14-го февраля. Сынъ его, Ѳедоръ Ивановичъ Квитка, отецъ нашего автора, упоминается И. Вернетомъ, какъ радушный хозяинъ. «Я (говоритъ Вернетъ) не видалъ старика, ему подобнаго любезностію характера, рѣдкою простотою нравовъ и искусствомъ, шута, сказать полезныя истины и отмѣннымъ даромъ приноравливаться ко всякому возрасту.» Эти паввыя слова довольно ясно изображаютъ отца Основьяненка. Такой человекъ не могъ не имѣть вліянія на первые годы жизни сына. Кромѣ нашего автора, у Ѳедора Ивановича Квитки и жены его, Маріи Васильевны Шидловской, очень образованной, но гордой, самолюбивой и суровой женщины, были еще другія дѣти. Старшій сынъ, Андрей Ѳедоровичъ, былъ до вонца жизни въ числѣ первыхъ харьковскихъ магнатовъ. Около двадцати пяти лѣтъ сряду, онъ былъ губернскимъ предводителемъ дворянства. Въ окрестностяхъ и въ городѣ его иначе не называли какъ «Андрей Ѳедоровичъ», и всякъ уже зналъ при этомъ имени, о комъ идетъ рѣчь. Онъ имѣлъ счастье принимать въ Основѣ императора Александра I; смолянн бочки горѣли на всемъ разстояніи дороги отъ Харькова до Основы. Императоръ, войдя въ великолѣпный домъ Основы, съ оранжереями, бронзою, зеркалами и мраморомъ, спросилъ съ улыбкою: *Не во дворцѣ ли я?* Отецъ Основьяненка скоро умеръ; мать еще жила въ началѣ двадцатыхъ годовъ. Братъ его, Андрей Ѳедоровичъ, скончался вскорѣ по смерти нашего автора (послѣ 1843 года). Авторъ нашъ, съ первыхъ дней жизни, оказался ребенкомъ тощимъ и слабымъ. Скоро показались въ немъ признаки сильной золотухи. Эта болѣзнь такъ развивалась въ малютѣ, что онъ потерялъ зрѣніе и до пятилѣтняго возраста оставался слѣпымъ. Исцѣленіе его, по словамъ одной изъ его біографій, произошло во время поѣздки его съ матерью въ сосѣдній Озерянской монастырь на богомолье. Дитятею еще онъ пробуждался при утреннемъ звонѣ, и со слезами, бывало, просился

въ церковь. Няня понесетъ его туда, и онъ выстоитъ всю службу, несмотря на продолжительность ея, и плачетъ, если не застанетъ начала. Когда внесли его въ озеранскую церковь, малютка вдругъ спросилъ: Каковъ это образъ, маменька?— Развѣ ты видишь?— Мнѣ свѣтло! отвѣтилъ онъ, и такъ измучился. Этотъ случай оставилъ глубокіе слѣды въ душѣ ребенка, и въ послѣдствіи, вмѣстѣ съ другими событіями, особенно же въ слѣдствіе семейныхъ примѣровъ, вызвалъ довольно замѣчательное событіе въ жизни Основьяненка: поступленіе его, на двадцать третьемъ году, въ монастырь.

Въ Харьковѣ и окрестныхъ уѣздахъ, незадолго до рожденія нашего автора, появилось лицо, которому суждено было оставить глубокой слѣдъ въ умахъ современниковъ. Это былъ Скворода. Онъ появлялся во многихъ домахъ въ Харьковѣ. Онъ бывалъ, между прочимъ, и въ домѣ Квитокъ. Нашъ авторъ могъ видѣть его мальчикомъ пятнадцати или шестнадцати лѣтъ, послѣ того, какъ онъ неожиданно избавился отъ слѣпоты. Молва о Сквородѣ затронула мысли ребенка. Двѣнадцати лѣтъ уже, онъ открыто пожелалъ оставить свѣтъ для стѣпъ монастырскихъ. Въ семейной жизни Квитокъ были также преданія, способствовавшія этому направленію. Въ книгѣ, *Историко-статистическое описаніе харьковской епархіи, Москва 1852 года* (на стр. 11-й), сдѣлана выписка изъ «Фамильной лѣтописи Квитокъ», гдѣ говорится, что сестра извѣстнаго Юсафа Горленка, бѣлгородскаго епископа въ пропломъ вѣкѣ, была замужемъ за дѣдомъ нашего автора, изюмскимъ полковникомъ Иваномъ Григорьевичемъ Квиткою. Изъ этой же выписки, между прочимъ, видно, какъ горячо любилъ этотъ высоко чтимый окрестными жителями епископъ своихъ родственниковъ. Здѣсь упоминается, что онъ стоялъ на Основѣ съ іюня по августъ 1751 года. Въ 1754 году съ Иваномъ Ивановичемъ Квиткою, отправившимся ходатайствовать въ Москвѣ о возвращеніи Квиткамъ имѣнія Артемовки, отнатаго княземъ Трубецкимъ, пресвященный послалъ прося-

тельные письма къ преосвященному Платону. Наконецъ, на мысли нашего автора имѣлъ сильное вліяніе еще другой примѣръ: посвященіе въ санъ монашескій друга отца его, артиллеріи поручика Бѣлевцева, бывшаго, подъ именемъ Палладія, настоятелемъ Курскаго монастыря. Но главный примѣръ былъ пребываніе въ монастырѣ роднаго дяди его, іеродіакона Наркыза, бывшаго потомъ настоятелемъ Куряжскаго монастыря, куда поступилъ и нашъ авторъ.

Такия преданія и примѣры наполняли жизнь тихой семьи въ Основѣ, когда ребенокъ, исцѣленный отъ разстройства врѣнія, на пятилѣтнемъ возрастѣ, сталъ присматриваться и прислушиваться къ окружающему его. Жизнь его текла не весело. Учился онъ кое какъ, или почти вовсе не учился. Объ этомъ онъ говоритъ въ письмѣ къ П. А. Плетневу, отъ 15-го марта 1839 года, изъ Основы, слѣдующее: «Я и родился въ то время, когда образованіе не шло далеко, да и мѣсто не доставляло къ тому удобствъ; притомъ же, болѣзни съ дѣтства, желаніе не быть въ свѣтѣ, а, быть можетъ, и безпечность и лѣность, свойственныя тогдашнему возрасту, все это было причиною, что я не радѣлъ о будущемъ и уклонялся даже отъ того, что было подъ рукою, и чему могъ бы научиться. Выучась ставить каракульки, я положилъ, что, умѣя и такъ писать, для меня довольно; въ дальнѣйшія преимущества не пускался, и о именительныхъ, родительныхъ и прочихъ, какъ-то: о глаголахъ, междометіяхъ, не могъ слушать терпѣливо! Съ такими познаніями писатели не бываютъ. Молодость, страсти, обстоятельства, служба заставляли писать; но какъ? я въ это не входилъ. *Еще писать, писать!...*»

Склонный къ молитвѣ и уединенію, Осповьяненко, на двѣнадцатомъ году, изъявилъ непремѣнное желаніе поступить въ монастырь, но, до четырнадцатилѣтняго возраста, по неоступной просьбѣ отца и матери, оставался въ домѣ родителей въ Основѣ. По совѣту врачей, для укрѣпленія здоровья и разсѣянія, онъ былъ опредѣленъ, въ 1793 году 11-го

декабря, вахмистромъ въ лейбъ-гвардіи конный полкъ; но черезъ годъ уже, въ 1794 году, по слабости здоровья, онъ перечислился въ гражданскую службу, гдѣ и состоялъ, по 13 октября 1796 года, не у дѣлъ, при департаментѣ герольдіи. Шестнадцати лѣтъ, онъ снова перешелъ въ военную службу, и опредѣлился ротмистромъ въ сѣверскій карабинерный полкъ. Указомъ императора Павла I, отъ 5 января 1797 года, онъ определенъ въ харьковскій кирасирскій полкъ, уже въ чинѣ ротмистра, причемъ также велѣно ему явиться въ этотъ полкъ къ сроку. Это было въ 1797 году. Жизнь дома, среди воспоминаній печальнаго и болѣзненнаго дѣтства, опять возимѣла на него сильное вліяніе. Примѣры семейства и тогдашняго времени увлекли его душу, и безъ того настроенную къ уединенію. Онъ достигъ желанной цѣли, и, на двадцать третьемъ году, послѣ женитьбы старшаго брата, поступилъ въ Куряжскій монастырь послушникомъ, гдѣ и оставался, съ промежутками (когда переселялся гостить въ Основу), около четырехъ лѣтъ.

Въ годъ поступления Г. Θ. Квитки въ число монастырской братіи, харьковская епархія изъята была изъ вѣдомства бѣлгородскаго духовнаго правленія, и назначенъ былъ особый епископъ, въ санъ котораго вскорѣ и избранъ Христофоръ Сулима, бывшій на этомъ мѣстѣ съ 1799 года по свою кончину, въ 1813 году. Близость монастыря къ Харькову была всегда причиною, что тамошніе епископы избирали его любимымъ мѣстомъ для своихъ поѣздокъ въ окрестности. Епископъ Сулима тотчасъ замѣтилъ молодаго послушника, и часто бралъ его съ собою изъ монастыря въ городъ. Старожилы харьковскіе до нынѣ помнятъ, какъ Основьяненко, въ черномъ, смиренномъ нарядѣ, ѣздилъ, стоя на запяткахъ, за каретою любимаго паствою преосвященнаго. Срокъ испытанія прошелъ; но какъ ни желалъ молодой послушникъ остаться въ монастырѣ, какъ онъ ни боролся съ просьбами отца и матери, здоровье не позволило ему принять постриженія, и

онъ возвратился въ домъ родителей. Основьяненко, станувшій грудь свою ремнемъ послушника и отростившій бороду въ самомъ разгарѣ юности и страстей, не могъ долго противиться просьбамъ отца. Отецъ его началъ видимо ослабѣвать, и близиться къ гробу. Основьяненко, слѣдуя убѣжденіямъ его, снова отдалъ свои силы свѣту, трудамъ и заботамъ на пользу родины и роднаго просвѣщенія. Разсказываютъ о немъ анекдотъ. Подъ конецъ своего пребыванія въ монастырѣ, онъ бралъ на себя самыя трудныя работы: ходилъ, между прочимъ, за монастырскими лошадьми, а лошадей онъ боялся всю жизнь. Силы постоянно измѣняли ему. Однажды повезъ онъ на парѣ воловъ продавать въ Харьковъ сдѣланныя на монастырскомъ рабочемъ дворѣ бочки. Была осень, и страшная грязь наполняла харьковскія улицы. На рыночной площади возъ покачнулся и засѣлъ по ось въ грязь. Напрасно Основьяненко хлопоталъ надъ нимъ; мальчишки сбѣжались кругомъ, узнали молодого человѣка, и стали кричать: «Квитка! Квитка!» Онъ махнулъ рукою, бросилъ возъ на улицѣ и возвратился въ Основу. Съ той поры онъ уже не думалъ объ удаленіи отъ свѣта. Но впечатлѣнія долгой жизни въ монастырѣ, на прекрасной, живописной мѣстности, въ уединеніи и молитвѣ, остались на долго въ душѣ Основьяненки, и всю жизнь отзывались въ лучшихъ его сочиненіяхъ. Сюда относится большая часть элегическихъ повѣстей Основьяненка, гдѣ добрыя, свѣжія, полныя любви личности его простонародныхъ героевъ и героинь согрѣты простодушною, прямою религіозностію, каковы его знаменитыя повѣсти: *Маруся*, *Божьи дѣти*, *Сердечная Оксана* и *Ганнуся*. Кромѣ отдѣльныхъ мѣстъ въ повѣстяхъ, у него есть и статьи церковно историческаго содержанія, каковы *Краткое описаніе жизни преосвященнаго Іосафа Бѣмородскаго, Кіевъ, 1836 года*, и статья *О святой мученицѣ Александрѣ царицѣ*.

По выходѣ изъ монастыря, Квитка мало по малу опять приглядѣлся къ свѣту. Сперва впрочемъ онъ собою во мно-

гомъ напоминалъ отшельника; ходилъ въ Основѣ съ церковными вѣточами, благовѣстилъ къ обѣдни по праздникамъ, и большую часть времени проводилъ въ молитвѣ. До конца жизни въ его комнатѣ стоялъ напой съ молитвенникомъ и постоянно теплилась лампада. Здоровье Квитки совершенно поправилось. Онъ окрѣпъ и хотя вскорѣ, приготавливая домашній фейерверкъ, отъ взрыва пороха, опалилъ себѣ лицо и глаза, отчего остался на всю жизнь съ синеватыми пятнами на лбу и потерялъ лѣвый глазъ, однако началъ появляться въ обществѣ, котораго въ началѣ, по возвращеніе въ свѣтъ, дичился. Играя на флейтѣ, просиживалъ онъ тогда по цѣлымъ ночамъ въ тѣни сада, въ Основѣ. Наконецъ молодость взяла свое. Врожденная землякамъ его веселость явилась и въ немъ. Это двойственное направленіе образовало въ немъ смѣсь наивнаго и веселаго комисма съ строгою высокою религиозною нравственностію. Онъ не долго оставался празднымъ. Въ промежуткахъ 1804 и 1806 года, онъ занимался музыкою и игралъ у себя на домашнемъ театрѣ, причемъ обыкновенно выбиралъ себѣ роли самыя веселыя и трудныя. Раздавшаяся вѣсть о пародномъ ополченіи вызвала окончательно его изъ бездѣйствія. Онъ подвергся тогда уже сатирѣ одного бойкаго пересмѣшника, кольнувшего его за непостоянство характера довольно злою эпиграммою. Въ 1806 году, онъ снова, и въ послѣдній уже разъ, опредѣлился въ военную службу, по провіантской комиссіи, въ милицію Харьковской губерніи, и оставался здѣсь годъ. Въ 1807 году, Квитка вышелъ въ отставку.

Харьковъ въ это время совершенно преобразовался. Причиною тому было основаніе высшаго учебнаго заведенія, которое оживило и освѣтило цѣлый край. Въ 1805 году, 18-го января, въ Харьковѣ открытъ университетъ. Семейство Квитокъ осталось также не чуждо въ приношеніяхъ пособій для открытія университета. Основьяненко всю жизнь съ восторгомъ говорилъ объ этой заслугѣ Каразина, и въ статьѣ своей



*Харьковъ* упоминаетъ съ увлеченіемъ о дѣлѣ, которое сдѣлалось полезнымъ не только краю, но и отечеству. Университетъ былъ открытъ. Профессоры и слушатели наполнили зданіе, бывшее до того времени дворцомъ, въ которомъ оставалась императрица Екатерина II, въ свою поѣзду на югъ. Въ Харьковѣ также явились вызванные изъ за границы Каразиннымъ типографщики, переплетчики, часовыхъ дѣлъ мастера, столяры, рѣзчики, слесари, каретники, кузнецы. Харьковъ преобразился, и скоро новая умственная жизнь, возникшая въ центрѣ сѣверной Украины, на отживающихъ остаткахъ стараго общества, соединила въ тѣсный кругъ семью молодыхъ профессоровъ и, подъ предводительствомъ Основьяненка, положила начало мѣстной литературѣ. Скоро въ Харьковѣ появились разомъ два журнала. Выйдя въ отставку, въ 1807 году, Квитка оставался въ бездѣйствіи до 1812 года. Въ Харьковѣ, въ началѣ 1812 года, возникъ правильный и постоянный городскій театръ. Директоромъ театра вскорѣ явился Основьяненко и сохранилъ это званіе до 1816 года. Имѣя обыкновеніе горячо и страстно браться за всякое дѣло, онъ до того увлекся театромъ, что едва не женился на одной изъ его актрисъ, извѣстной тогдашней красавицѣ и львицѣ Преженковской. Въ 1841 году, онъ напечаталъ любопытную *Исторію харьковскаго театра, отъ старинныхъ временъ*. Званіе директора театра Основьяненко бросилъ, по случаю занятій по институту, но любовь къ сценѣ осталась въ немъ навсегда и выказалась въ послѣдствіи не одинъ разъ въ его литературныхъ трудахъ для сцены.

Въ это время, съ легкой руки Каразина, вошло въ моду заводить разныя общества съ благотворительною цѣлію. Въ 1811 году, Каразинъ учредилъ, Высочайше потомъ одобренное, «филотехническое общество». Успѣхъ «филотехническаго общества» вызвалъ у дворянъ мысль основать «благотворительное общество». Какъ успѣшны были занятія этого общества, видно изъ того, что уже на первыхъ порахъ оно по-

ложно основать, и основало на свой счетъ, *Институтъ для образованія бѣднѣйшихъ благородныхъ дѣвицъ*. Первая мысль объ учрежденіи этого института принадлежала Основьяненкѣ, который былъ въ то же время ревностнѣйшимъ членомъ и правителемъ дѣлъ благотворительнаго общества, и даже литературное или печатное поприще свое началъ статью, въ «Украинскомъ Вѣстникѣ» 1816 года, объ этомъ институтѣ. Общество благотворенія, направляемое въ своихъ дѣйствіяхъ вліяніемъ Основьяненка, собрало значительную сумму общихъ приношеній, и институтъ для дѣвицъ былъ открытъ въ 1812 году, черезъ семь лѣтъ послѣ открытія университета и черезъ годъ по открытіи «филотехническаго общества». Актъ на открытіе института подписанъ въ одинъ день съ актомъ объ ополченіи, 27-го іюля 1812 года. На Квитку возложено было открытъ институтъ 10-го сентября, что онъ и исполнилъ въ то время, когда непріятель занималъ Москву... Основьяненкѣ ввѣрено было главное управленіе дѣлами института, на который онъ принесъ въ жертву почти все достояніе свое. Вскорѣ, по ходатайству Основьяненка, императрица Марія Ѳеодоровна приняла харьковскій институтъ подъ свое покровительство. Это было въ 1818 году.

Позже, его же стараніями, открыты въ Харьковѣ: *кадетскій корпусъ*, переведенный потомъ въ Полтаву, и *публичная бібліотека* при университетѣ. Основьяненко, въ нѣкоторыхъ изъ неизданныхъ писемъ своихъ, въ 1839 году, съ восторгомъ воспоминаетъ объ этомъ времени и о заслуженномъ торжествѣ своемъ. Харьковскій институтъ имѣлъ еще особенно благое значеніе для Квитки. Черезъ отношенія къ нему, онъ узналъ одну изъ достойнѣйшихъ его классныхъ дамъ, на которой вскорѣ и женился. Супруга имѣла такое важное значеніе въ литературной жизни Основьяненка, что мы постараемся подробнѣе, словами его же собственной корреспонденціи, обрисовать ее. Около 1818 года, изъ Петербурга пріѣхала въ Харьковъ на мѣсто классной дамы одна

изъ пепиніерокъ Екатерининскаго института. Тогда Основьяненкѣ было уже *подъ сорокъ лѣтъ*. Черезъ два года по приѣздѣ своемъ въ Харьковъ, около 1821 года, классная дама вышла за Основьяненка замужъ и осчастливила его, по собственнымъ его словамъ, на всю жизнь. Это была знаменитая и почтенная *Анна Григорьевна*, имя которой часто встрѣчается въ посвященіяхъ повѣстей ея мужа, которая принимала участіе во всѣхъ заботахъ и трудахъ его, дѣлала жизнь его, выслушивала и поправляла его сочиненія, смотрѣла на его литературную судьбу, какъ на свою собственную, на его сочиненія, какъ на что то сверхестественное и когда не стало на свѣтѣ ея стараго друга, она бросила свѣтъ, и съ нетерпѣніемъ ждала минуты, когда могла за нимъ сойти въ могилу. Вотъ какъ о ней говоритъ самъ Основьяненко, въ письмѣ къ П. А. Плетневу, отъ 8-го февраля 1839 года: «Мой собственный цензоръ и критикъ мой безпристрастный, Анна Григорьевна, находитъ, что *Щирая любовь* интереснѣе *Маруси*. Не знаю, какъ въ свое время посудите; но я ей вѣрю: что было бы безъ ея руководства? Если занесусь, она меня притянетъ; если опускаюсь низко, она велитъ вылазить или оставить и приподняться; она то въ пору меня останавливаетъ въ разговорахъ, въ описаніи дѣйствій... Она судьбою дана мнѣ въ награду, не знаю за что; но только изъ того института, который здѣсь учрежденъ! Она первая прибыла сюда классная дама и наградила меня собою за всѣ заботы мои объ институтѣ! Жизнь моя колоратна; когда нибудь передамъ, хотя въ отрывкахъ, для любопытства.» При этомъ письмѣ приложено письмо Анны Григорьевны къ П. А. Плетневу, отъ 1-го февраля 1839 года, въ которомъ, между прочимъ, она пишетъ: «Я — Вульфъ, первая выпущенная въ 1817 году, и на другой годъ изъ пепиніерокъ отправленная, по волѣ императрицы Маріи Федоровны, въ харьковскій институтъ, гдѣ, находясь два года, вышла замужъ за основателя и члена сего же заведенія,

нынѣ извѣстнаго Грицька Основьяненка. Вы справедливо сказали, что я счастлива, ибо какое благо въ мірѣ можетъ сравниться съ тѣмъ неоцѣненнымъ сокровищемъ, которое я имѣю въ моемъ мужѣ — другѣ! О, какъ вы хорошо разгадали эту рѣдкую душу!»

Хлопоты по устройству института не всегда приносили одні розы нашему автору. Институтъ же былъ, какъ видимъ, причиною женитьбы Квитки. Въ это время онъ жилъ у своей матери, въ ея домѣ на Екатеринославской улицѣ, недалеко отъ Холодной горы, насупротивъ Дмитріевской церкви. Институтъ былъ тогда тоже близко, тотчасъ за церковью, и Основьяненко со службы шелъ къ матери прямо черезъ каляитку институтскаго сада. Помѣщеніе Квитки заключалось въ двухъ комнатахъ: большой, въ три окна во дворъ, и маленькой спальней, въ одно окно, выходившее въ садъ. Въ этой квартирѣ три первые мѣсяца онъ провелъ и женатый; туда ему носили, между прочимъ отъ матери, жившей по сосѣдству, въ домѣ дочери своей, чай, а обѣдалъ онъ съ матерью. Прибавимъ, что мать Квитка была въ числѣ директрисъ института. Основьяненко постоянно обѣдалъ съ матерью и сестрами, шутилъ, рассказывалъ объ институтѣ и шалуньяхъ институткахъ.

Въ домѣ жены губернскаго прокурора, г-жи Любовниковой, стали собираться по вечерамъ *для чтенія*. Эти первые *литературные вечера* собирали цвѣтъ тогдашняго харьковскаго ученаго и литературнаго свѣта, профессоровъ, студентовъ и вслѣднихъ дилеттантовъ, словомъ, все мыслящее общество маленькаго городка, гдѣ тогда было не болѣе двѣнадцати тысячъ жителей. Здѣсь сталъ появляться, со своими малороссійскими анекдотами, игрою на флейтѣ и піесами для фортепіано, своего сочиненія, и будущій Основьяненко.

Вслѣдъ за вечерами г-жи Любовниковой, открылись *литературныя чтенія* у Гонорскаго, молодаго адъютанта русской словесности. Основьяненко, появляясь здѣсь, уже не сидѣлъ

молча, а позволялъ себѣ разсуждать о тогдашней русской литературѣ. Читали однако тогда мало. Наконецъ журналъ, гордость маленькаго городка, въ началѣ 1816 года, вышелъ, и Основьяненко въ немъ съ первыхъ же поръ является прямо однимъ изъ издателей. Журналъ, который сталъ выходить при харьковской типографіи, назывался *Украинскій Вѣстникъ*. Онъ выходилъ, въ шестнадцатую долю листа, въ 1816, 1817 и 1818 годахъ. Въ концѣ четвертой и послѣдней части этого журнала за первый годъ, при извѣстіи объ изданіи его въ слѣдующемъ году, въ главѣ двухъ издателей, подписался и Основьяненко настоящимъ своимъ именемъ *Григорій Квитка*. Подъ редакцію Основьяненка и двухъ другихъ издателей, «Украинскій Вѣстникъ» тотчасъ сталъ на твердую ногу. Здѣсь, сверхъ общихъ тогдашнему времени произведеній, въ родѣ *Осенней прогулки въ день моего ангела*, печатались и дѣльныя статьи ученаго содержанія. Основьяненко печаталъ здѣсь, за подписью *Григорія Квитки*, отчеты о благотворительномъ обществѣ и объ институтѣ, и статьи юмористическія, производившія въ Харьковѣ фуроръ, подъ псевдонимомъ *Фалалея Повинухина*. Въ Харьковѣ основался другой журналъ, совершенная противоположность «Украинскаго Вѣстника», подъ названіемъ *Харьковскій Демокритъ, тысяча первый журналъ, издаваемый Василиемъ Масловичемъ*.

Издатели *Украинскаго Вѣстника*, превлонивъ оружіе, сами стали въ ряды сотрудниковъ веселаго *Демокрита* и его редактора, который впрочемъ былъ старѣе ихъ всѣхъ. Между прочимъ Основьяненко появился здѣсь съ стихотвореніями, подъ которыми вездѣ стоитъ полная его подпись *Григорій Квитка*. Эти стихотворенія: *Воззваніе къ женщинамъ* и искусныя *Двойныя акrostихи*, любопытныя тѣмъ болѣе, что авторъ писалъ ихъ почти на сороковомъ году жизни.

Женившись, Квитка, по прекращеніи *Украинскаго Вѣстника*, перенесъ свои труды въ *Вѣстникъ Европы*, издававшійся въ Москвѣ Каченовскимъ. Здѣсь онъ участвовалъ съ

1820 по 1824 годъ, продолжая печатать свои юмористическія письма подъ псевдонимомъ *Фалалей Повинухина*, и подъ другими псевдонимами. Съ этой поры начинается новая эра въ жизни Основьяненка, вызвавшая появленіе его комедій и повѣстей около 1830 года. Въ этотъ періодъ, именно съ 1827 года, Квитка является уже съ явными требованіями литературнаго мѣста, достигаетъ его и становится извѣстенъ, хотя немного поздно, именно почти на пятьдесятъ пятомъ году своей жизни. Замѣтимъ, что злые языки однако не сразу дали ходъ извѣстности нашего автора; пасквили и эпиграммы изрѣдка пускали въ него свои жала:

Быль монахомъ, быль актеромъ,  
Быль поэтомъ, быль танцоромъ!

Позже другое четверостишіе обошло далеко околотоѣ.  
Вотъ оно:

Не надивлюся я Создатель,  
Какой у насъ мудреный вѣкъ;  
Актеръ, поэтъ и засѣдатель —  
Одинъ и тотъ же человекъ!

Замѣтимъ, что эти эпиграммы очень дѣйствовали на мирную и робкую природу нашего автора. До 1827 года, когда Основьяненко написалъ комедію *Пріязнші изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ*, напечатанную только въ 1840 году, и до появленія его повѣстей на малороссійскомъ языкѣ, впервые съ псевдонимомъ *Основьяненко*, первая его повѣсть, *Харьковская Гануся*, напечатана въ 1832 году въ *Телескопѣ*, Надеждина, безъ всякаго намека на имя Основьяненка и съ подписью переводчика, Погодина. Вслѣдъ за нею, съ именемъ Основьяненко, явился *Солдатскій портретъ* въ 1833 году, въ *Утренней Звѣздѣ*.

Первыя десять лѣтъ супружеской жизни Основьяненка протекли въ городѣ, откуда онъ мало выѣзжалъ. Анна Григорьевна звала его не разъ въ Петербургъ, но онъ, любя

свою родину и родныхъ, никакъ не рѣшался. Бывшая мечтательная, кроткая, нѣжная институтка, посланная въ по-други нашему автору, первая возбудила въ немъ охоту стать вполне «литературною личностію.» Основьяненко видѣлъ въ себѣ всѣ залого для достиженія этой цѣли; но много лѣтъ еще прошло, пока онъ рѣшился и получилъ возможность ее достигнуть. Главною помѣхою были, какъ онъ самъ говорилъ, «отдаленность отъ дѣйствователей и пребываніе въ здѣшной пустынѣ, которая не лелѣяла дальнѣйшихъ разсужденій и никакъ не возбуждала охоты писать.» Бездѣтность до конца жизни еще болѣе набрасывала печальный оттѣнокъ на домашнюю жизнь супруговъ.....

Служба поглощала грустныя сѣтованія Квитки на уединенную жизнь въ провинціи, и давала ему средства разсѣяться, среди хлопотъ и постоянныхъ неизмѣнныхъ занятій. Въ 1817 году, онъ былъ избранъ въ дворянскіе предводители Харьковскаго уѣзда, и пробылъ въ этомъ званіи четыре трехлѣтія, по 1829 годъ. Въ концѣ этого срока дворянство поднесло ему торжественную благодарность, въ видѣ форменнаго акта, написаннаго въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ. Въ промежуткахъ, между служебными занятіями, Основьяненко устраивалъ въ знакомыхъ домахъ домашніе спектакли, иногда самъ игралъ на этихъ театрахъ, писалъ для нихъ ноты, игралъ на фортепіано и флейтѣ, и подъ конецъ игралъ на ней, какъ говорятъ, очень не дурно. Вскорѣ принялся онъ писать другую комедію, которая, какъ ближайшая къ его тогдашнему служебному поприщу, избѣгла участи долго ненапечатанной своей предшественницы, и вышла въ свѣтъ подъ именемъ: *Дворянскіе выборы*. За нею слѣдовалъ *Шельменко денщикъ*, имѣвшій большой успѣхъ. Въ 1832 году, именно въ годъ выхода въ свѣтъ, съ именемъ г. Погодина, первой малоросійской повѣсти Основьяненка, онъ былъ избранъ совѣстнымъ судьей Харькова, и оставался въ этой должности девять лѣтъ, до 1840 года. Успѣхъ первой попытки ободрилъ

его, и вслѣдъ за нею, съ 1834 года, появились два тома его извѣстныхъ «Малороссійскихъ повѣстей, рассказанныхъ Грицькомъ Основьяненкомъ,» который тогда объявилъ: «Написавъ нѣсколько повѣстей на малороссійскомъ языкѣ, я, по обычаю добрыхъ земляковъ моихъ, кромѣ своего настоящаго прозвища, сталъ принимать другое или по имени отца, напримѣръ Петренко, Василенко, или по мѣсту жительства, напримѣръ Зайченко, Боровенко (такая уже у нихъ натура), взялъ себѣ прозвище по мѣсту жительства; живу въ *Осноть*, и такъ да буду Основьяненко, и пошелъ такъ писаться.»

Успѣхъ этихъ первыхъ повѣстей былъ рѣдкій. Вслѣдъ за тѣмъ Основьяненко напечаталъ отдѣльно нѣсколько брошюръ, изъ которыхъ замѣчательны: оперетка *Сатанье на Гончаровкѣ* и *Листы до любезныхъ земляковъ*, родъ поучительныхъ посланій, на малороссійскомъ языкѣ, къ простонародію. За послѣднее произведеніе авторъ удостоился благодарности отъ правительства. Извѣстность украинскаго рассказащика вскорѣ дошла до Петербурга. Журналы, черезъ книгопродавцевъ, стали наперерывъ просить его сотрудничества. Жуковскій, въ проѣздъ свой черезъ Харьковъ, замѣтилъ Основьяненка, ободрилъ его совѣтомъ, писать и писать болѣе, выбирая сюжеты изъ окружающей его жизни, и привезъ переводъ нѣсколькихъ его повѣстей, въ подарокъ *Современнику*, издававшемуся тогда П. А. Плетневымъ. По поводу этого завязалась у Основьяненка переписка съ г. Плетневымъ, и началось постоянное сотрудничество въ *Современникѣ*. Съ 1838 по 1843 годъ, Основьяненко напечаталъ въ *Современникѣ* рядъ повѣстей, отрывковъ изъ романа, рассказовъ, очерковъ и воспоминаній, и собственные переводы на русскій языкъ почти всѣхъ своихъ малороссійскихъ повѣстей. Съ 1839 года, онъ является сотрудникомъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, гдѣ напечаталъ половину романа *Панъ Халляскій* и историческую монографію *Головатый*, которая пополняетъ другія подобныя же статьи автора: *Преданія о Гаркушѣ*,



извѣстномъ украинскомъ разбойникѣ, *Татарскіе набѣги на Харьковъ*. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* напечатана еще, въ 1843 году, повѣсть Основьяненка: *Двенадцатый годъ въ провинціи*. Въ 1840 году, Квитка былъ избранъ въ предсѣдателя харьковской палаты уголовного суда. Это была его послѣдняя должность: на третьемъ году исправленія ея онъ умеръ.

Жизнь Квитки въ это время текла тихо, въ семейномъ счастьи, гдѣ за нимъ, какъ за ребенкомъ, ухаживала Анна Григорьевна, и въ литературныхъ почти непрерывныхъ трудахъ. Шестидесятилѣтній старикъ, болтливый и оживленный въ кругу знакомыхъ, которые стекались къ нему въ Основу, попрежнему былъ наблюдателемъ и изумлялъ свою необыкновенною памятію, которая вызывала минувшіе годы его дѣтства и молодости, вызывала во всей свѣжести и яркости любопытнѣйшіе мемуары и историческіе рассказы. Многіе помнятъ его въ эту пору, въ темномъ стариковскомъ сюртукѣ, зеленомъ жилетѣ, галстукѣ безъ воротничковъ, съ однимъ глазомъ, глядѣвшимъ впрочемъ на свѣтъ очень зорко, и съ большою прадѣвскою золотою цѣпью черезъ грудь, цѣпью, съ которою связано было какое то таинственное событіе въ жизни его предковъ. Полное, круглое лицо его оживлялось среди рассказовъ, и особаго рода улыбка, свойственная только кореннымъ старосвѣтскимъ малороссамъ, дѣлала выразительныя черты его лица еще выразительнѣе. Его устные рассказы, извѣстные въ городѣ подъ именемъ квиткинскихъ, занимали каждый уголъ, гдѣ только появлялся Основьяненко. Жена его была умная, образованная, но не красивая женщина, воспитанная въ правилахъ строгой нравственности, совершенная пуританка, характера твердаго и малосообщительнаго. Вся жизнь ея подъ старость заключалась въ стѣнахъ домика Основы, гдѣ она, поутру отправивъ мужа на службу, всегда чопорно и даже прихотливо одѣвалась, и въ уединеніи ожидала его возвращенія къ обѣду. За обѣдомъ изъ гостей у нихъ никого не бывало. Основьяненко любилъ покушать,

особенно національныхъ блюдъ, кислыхъ пироговъ, блиновъ, варениковъ; но вообще обѣдъ его былъ скромный, какъ и вся его жизнь, не похожая на такъ называемую жизнь зажиточныхъ украинскихъ помѣщиковъ. Хозяйствомъ заниматься онъ не любилъ и довольствовался самою необходимою прислугою. Послѣ обѣда онъ обыкновенно отправлялся въ свой кабинетъ, и тогда наставали лучшіе часы въ его жизни. Онъ писалъ, нетревожимый никѣмъ, и только подъ вечеръ приходилъ прочитывать женѣ или свои свѣжія произведенія, или статьи изъ столичныхъ журналовъ. Съ женою онъ совѣтовался, слѣпо довѣрялъ ея мнѣніямъ, а когда дѣло шло въ его сочиненіяхъ о высшемъ свѣтѣ, французскомъ языкѣ и образованности, то онъ рѣшительно подчинялся ея приговорамъ. Кромѣ рѣдкихъ посѣщеній родныхъ, къ нему заѣзжали гости, большею частію проѣзжіе, знакомые съ нимъ по печати. Ихъ, какъ и равно молодыхъ людей изъ университета, которые ухаживали за его извѣстностію, онъ принималъ съ особеннымъ удовольствіемъ. Въ городѣ онъ дружбы ни съ кѣмъ не велъ, и видимо избѣгалъ всякаго общества, ему не по сердцу. Чтеніе замѣняло ему живыхъ людей. Трудный на подъемъ, онъ не любилъ движенія и мало гулялъ. Отправляясь на службу, онъ обыкновенно бесѣдовалъ съ старымъ кучеромъ Лукьяномъ, замѣчательнымъ лицомъ, отъ котораго Квитка постоянно заимствовалъ матеріалы для своихъ разсказовъ. *Лысый Лукьянъ*, какъ его вообще въ Харьковѣ звали, пользовался, въ качествѣ стараго и преданнаго служителя, какіе нынѣ весьма рѣдко встрѣчаются въ Малороссіи, правами свободнаго обращенія съ господами. Нельзя умолчать объ одной чертѣ рѣдкаго самоотверженія Квитки, котораго смиреніе, кротость, привязанность ко всему родному, скромность, доходившая до боязливости, и стойкость въ мысляхъ, составляли явленіе рѣдкое. Состояніе отца Квитки, хотя довольно значительное, не было достаточно для поддержанія требованій по мѣсту, занимаемому братомъ его (мѣсто губернскаго предводителя дворянства)

въ продолженіе девяти сроковъ, если бы оно раздѣлилось между двумя братьями поровну. Квитка-Основьяненко, безъ принужденія и малѣйшаго колебанія, отказался отъ своей части, и уже всю жизнь только довольствовался небольшимъ, въ сравненіи съ имѣніемъ брата своего, капиталомъ въ 40,000 руб. асс. Эта жертва, съ одной стороны, удовлетворяла его семейное честолюбіе, а съ другой его любовь и преданность къ брату. Старшій братъ былъ высшимъ существомъ въ его глазахъ. Замѣчательно, что Квитка во всю жизнь далѣе Харькова и его окрестностей ничего не видѣлъ. Въ молодости, кажется, его возили въ Москву, но эти было такъ рано, что не оставило въ немъ ни какихъ слѣдовъ. Болѣе всего любилъ онъ Основу.

Около этого времени Основьяненко приобрѣлъ знакомство бельетриста Е. Гребенки. Гребенка давно собирался навѣстить ветерана харьковской литературы, и переписывался съ нимъ. Проѣздомъ черезъ Украину, онъ завернулъ на Основу, и съ извозчикомъ проговорилъ объ Основьяненкѣ всю дорогу. Его радовала эта извѣстность. Подъ окномъ дома, гдѣ жилъ Основьяненко, Гребенка спросилъ у старика, читавшаго книгу: «А чи дома панъ Основьяненко?» и вслѣдъ затѣмъ вскрикнувъ, взглянувъ въ него: «Здоровъ, батьку Грицьку?» Основьяненко (это былъ онъ) медленно оставилъ книгу, преклонился изъ окна, и спросилъ прерывавшимся отъ радости голосомъ: «А чи не Гребиночка?» Молодой литераторъ встрѣтилъ полное радушіе у гостепріимнаго своего «учителя» по литературѣ, прогостилъ у него нѣсколько дней, и былъ потомъ самымъ ревностнымъ ходатаемъ по литературнымъ дѣламъ Основьяненка въ Петербургѣ, и поддерживалъ съ нимъ потомъ долго переписку. Сверхъ Гребенки, Основьяненко былъ знакомъ почти со всѣми украинскими литераторами: П. П. Гулакъ-Артемовскій, И. И. Срезневскій, А. Л. Метлинскій и вся молодежь, которая въ то время издавала въ Харьковѣ литературные сборники, до Корсуна включительно, всѣ они

окружали Основьяненко, бывали въ его домѣ, и, уѣзжая изъ Харькова, вели съ нимъ переписку.

Сначала Квитка-Основьяненко жилъ въ двухъ верстахъ отъ города, въ Основѣ, въ низенькомъ домикѣ, съ каменною оградю, на необозримоиъ и почти пустомъ дворѣ. Почти насупротивъ дома его возвышался деревянный огромный домъ брата его, владѣльца Основы. Въ 1843 году, онъ переѣхалъ въ городъ. Наружность его квартиры не представляла ничего щегольского; мебель была очень простая; тутъ не было ни какихъ комнатныхъ украшеній. Жены его почти нието никогда не видалъ въ шелковомъ платьѣ. Живя въ городѣ, Квитка часто бывалъ въ церкви, гдѣ становился на клиросъ, или въ алтарѣ, такъ что его нельзя было видѣть. Онъ былъ очень религіозенъ, и почти наизусть зналъ не только обыкновенное богослуженіе, но даже многіе праздничные каноны. Въ характерѣ его просвѣчивалось то смѣшеніе скрытности и искренности, простодушія и остроумія, которое такъ отбѣняетъ украинца. Онъ охотно давалъ свои сочиненія въ рукописяхъ знакомымъ, не оставляя у себя другаго экземпляра, и безпрестанно жаловался послѣ, что у него «зачитывали.» Недостатокъ классическаго образованія и знанія иностранныхъ языковъ онъ замѣнялъ здравымъ умомъ и любовію къ чтенію. Онъ постоянно, съ юношескимъ пыломъ, слѣдилъ за движеніемъ русской литературы, особенно непереводной. Съ рѣдкою добросовѣстностію и отсутствіемъ всякой тѣни шарлатанства, не позволялъ себѣ не только сужденій о томъ, чего не зналъ, но безъ ложнаго стыда признавался въ своемъ незнаніи; удалялся отъ разговоровъ не по немъ, и, великій охотникъ до «анекдотовъ», никогда не позволялъ себѣ говорить дурно о лицахъ, и о самыхъ извѣстныхъ чьихъ нибудь дурныхъ поступкахъ отзывался съ сожалѣніемъ, стараясь прервать разговоръ объ этомъ. Несмотря на старость, Квитка былъ крѣпокъ и свѣжъ, и только за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти началъ слабѣть.

Вслѣдъ за брошюркою на малороссійскомъ языкѣ, *Листы до любезныхъ земляковъ* (гдѣ, въ предисловіи и четырехъ листахъ посланій въ поселянамъ, онъ разбираетъ хорошія и дурныя стороны ихъ жизни), поддержанный одобреніемъ мѣстнаго начальства, онъ задумалъ продолженіе листовъ въ болѣе обширномъ видѣ. Въ началѣ 1842 года, Квитка написалъ на малороссійскомъ языкѣ *Краткую священную исторію*, которую тогда же передалъ преосвященному Иннокентію. Ручкопись по смерти автора осталась неизданною... Послѣднею завѣтною мыслию его, также неисполненною, было составленіе для простонародія *Краткаго свода уголовныхъ законовъ*, съ цѣлію выяснить поселянину послѣдствія преступленій, и предупредить горькія ошибки невѣжества.

Одинъ случай, сверхъ уже приведенныхъ здѣсь, особенно рисуетъ честность и доброту души нашего автора. Онъ былъ въ короткихъ сношеніяхъ съ г. Сумцовымъ, жителемъ Харькова, и задолжалъ ему нѣсколько тысячъ. Займодавецъ умеръ; вексель былъ какъ то порванъ. Но въ одно утро является къ нему въ село Москалевку, гдѣ онъ тогда жилъ, сынъ г. Сумцова, бѣдный студентъ, и объявляетъ, что ему нечего ѣсть, а что, помнится, Квитка былъ долженъ его отцу около 3000 руб. асс. Основьяненко усадилъ молодаго человѣка, разговорился съ нимъ, порылся въ своей памяти, и объявилъ, что точно онъ долженъ его отцу и готовъ ему уплатить...

Послѣдняя напечатанная при жизни статья Основьяненка была: *О святой мученицѣ Александрѣ царницѣ*, въ *Звѣздочкѣ* 1843 года (за іюль), съ подписью: Посвящается воспитанницамъ харьковскаго института благородныхъ дѣвицъ, 21 апрѣля 1843 года. Первая въ жизни напечатанная нашимъ авторомъ статья также была посвящена любимому институту...

8-го августа, въ пять часовъ пополудни, скончался Григорій Ѳедоровичъ Квитка. Воспаленіе, сведшее въ могилу Квитку-Основьяненка; продолжалось одиннадцать дней. Онъ спокойно приготовился къ смерти, и тихо скончался на ру-

вахъ жены, нѣкоторыхъ изъ родныхъ и близкихъ. Основьяненко жилъ шестьдесятъ четыре года безъ трехъ мѣсяцевъ и десяти дней. Могила супруговъ, на холодногогорскомъ кладбищѣ, находится почти на краю горы, надъ обрывомъ. Памятникъ надъ нею бѣлый мраморный, съ чугунною оградкою и надписью: Здѣсь повоится прахъ Григорія Федоровича Квитки-Основьяненка. Родился 18-го ноября 1778 г. Скончался 8-го августа 1843 г. И другая надпись на немъ же: Анна Григорьевна Квитка, урожденная Вульфъ. Родилась 1800 года мая 17-го дня. Скончалась 13-го января 1852 года.

ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ

## КРЫЛОВЪ

(1768 — 1844).

Забавой онъ людей исправилъ,  
Сметая съ нихъ пороковъ пыль;  
Онъ баснями себя прославилъ,  
И слава эта — наша былъ.  
И не забудутъ этой были  
Пока порусски говорятъ:  
Ее давно мы затвердили,  
Ее и внуки затвердятъ.

Кн. П. Вяземскій.

Отецъ Крылова былъ бѣдный армейскій офицеръ, по обязанностямъ службы, часто перемѣнявшій мѣсто своего жительства. Когда родился нашъ баснописецъ, отецъ его жилъ въ Москвѣ. Вскорѣ, по случаю безпокойствъ, возникшихъ отъ Пугачева (1777), отецъ Крылова принужденъ былъ отправиться въ Оренбургъ. Любопытны нѣкоторые о немъ извѣстія, переданныя потомству Пушкинымъ въ «Исторіи пугачевского бунта». «Къ счастію, въ крѣпости (Яицкой), пишетъ Пушкинъ, находился капитанъ Крыловъ, человѣкъ рѣшительный и благоразумный. Онъ, въ первую минуту безпорядка, принялъ начальство надъ гарнизономъ и сдѣлалъ нужныя распоряженія». Далѣе, описывая неудачу Пугачева на приступѣ подъ тою же крѣпостію, Пушкинъ

прибавляетъ: «Пугачевъ скрежеталъ. Онъ поклялся повѣсить не только Симонова и Крылова, но и все семейство послѣдняго, находившееся въ то время въ Оренбургѣ. Такимъ образомъ обреченъ былъ смерти и четырехлѣтній ребенокъ, въ послѣдствіи славный Крыловъ.» Надобно поэтому думать, что Андрей Прохоровичъ Крыловъ (отецъ баснописца) принадлежалъ въ свое время къ числу замѣчательныхъ людей. Затрудненіе, въ какомъ тогда чувствовали себя многіе, даже изъ начальствовавшихъ тамъ лицъ, не отняло у него ни присутствія духа, ни распорядительности, ни самаго успѣха. Надобно предполагать, что природный умъ его украшенъ былъ по возможности и нѣкоторыми знаніями. Все, что Иванъ Андреевичъ Крыловъ помнилъ, и самъ рассказывалъ, о матери своей, несомнѣнно говорить въ пользу ея мужа. По смерти Андрея Прохоровича, Крыловъ получилъ въ наслѣдство сундукъ книгъ, собранныхъ отцемъ. У человѣка, который принужденъ всегда жить по походному, это большая рѣдкость. Капитанъ Крыловъ, по окончаніи военныхъ дѣйствій противъ мятежника и сообщниковъ его, перешелъ въ гражданскую службу, и получилъ въ Твери мѣсто предсѣдателя губернскаго магистрата. Здѣсь оставался онъ до смерти своей, послѣдовавшей въ 1780 году. Заботы о первоначальномъ обученіи сына преимущественно занимали его жену. Марія Алексѣевна, мать будущаго баснописца, придумывала разные способы, чтобы заохотить ребенка учиться чтенію. Когда онъ порядочно просиживалъ весь урокъ, мать каждый разъ въ награду довала ему по нѣсколькѣ копѣекъ. Привычка прятать накопленные деньги могла у ребенка обратиться со временемъ въ корыстолюбіе. Благоразуміе матери умѣло предупредить и это послѣдствіе. Она указала сыну, какъ можно пользоваться деньгами, удовлетворяя нѣкоторымъ потребностямъ жизни. И ребенокъ охотно на собственный счетъ покупалъ разные вещи, необходимыя для его неприхотливаго наряда. Такимъ образомъ ребенокъ, благодаря умной распорядительности матери, и учился



хорошо, и одѣтъ былъ прилично на однѣ и тѣ же деньги. Но Марія Алексѣевна не въ состояніи была обучать его французскому языку. Въ домѣ тверскаго губернатора находился французъ учитель, которому позволено было допускать къ его урокамъ и постороннихъ мальчиковъ. Къ нему началъ ходить и Крыловъ. Только успѣхи его съ иностраннымъ учителемъ не такъ были счастливы, какъ съ матерью, которая и здѣсь рѣшилась употребить съ пользою первоначальное свое средство: она заставляла сына читать пофранцузски при себѣ, давая обыкновенную награду за терпѣніе и прилежаніе. Сперва онъ только наружно исполнялъ ея желаніе, выговаривая слова и не заботясь о томъ, что ничего не понимаетъ. Напослѣдокъ доброе сердце его взяло верхъ надъ легкомысліемъ: онъ принялся за лексиконъ, старался узнать смыслъ прочитываемаго и скоро началъ понимать книгу. Никогда однако же Крыловъ не заботился о томъ, чтобы вполне овладѣть языкомъ французскимъ. Въ послѣдствіи онъ хорошо понималъ французскихъ писателей, даже могъ и самъ писать пофранцузски, но у него не доставало привычки говорить свободно пофранцузски.

При смерти отца, Крылову было одиннадцать лѣтъ. Тогда еще менѣе прежняго представлялось возможности заниматься его воспитаніемъ. Вдова, съ сыномъ своимъ, оставшись безъ состоянія, не получала и пенсіи. Но мальчикъ видимо общалъ нѣкогда сдѣлаться ея подпорою. Умственные способности развивались въ немъ замѣтно. Книги, найденныя послѣ отца, привлекли къ себѣ все его вниманіе. Онъ безъ разбора перечитывалъ ихъ, и предавался игрѣ своего воображенія. Въ дѣтской головѣ его, наполненной героями древней Греціи и Рима, составлялись разные планы театральныхъ піесъ. Но, не находя въ свѣдѣніяхъ своихъ пособій къ образованію чего нибудь опредѣленнаго и полнаго, онъ никакъ не умѣлъ приготовить сноснаго сочиненія изъ этихъ матеріаловъ. На пятнадцатомъ году, онъ написалъ свою оперу *Кофейница*. Это

сочиненіе никогда не было напечатано. Въ послѣдствіи другъ Крылова, Гнѣдичъ, выпросилъ себѣ у Крылова, какъ драгоценность, рукопись дѣтскаго его произведенія, и хранилъ у себя до смерти, завѣщавъ ее по духовной, вмѣстѣ съ библіотекою своею, Полтавской гимназіи.

Нынѣ у насъ на Руси начали болѣе прежняго учиться для науки, для просвѣщенія, а не для однихъ чиновъ. Бывало родители спѣшили дѣтей своихъ помѣстить въ службу, едва успѣвъ порядочно выучить ихъ грамотѣ. Ничтожное жалованіе, назначаемое мальчику за переписку бумагъ, они считали великимъ приобрѣтеніемъ, зная, что жалованіе это естественно будетъ увеличиваться съ успѣхами въ скучной работѣ безсмысленнаго переписыванія бумагъ, настроенныхъ по формѣ. У такихъ родителей будущее дѣтей ихъ не простиралось дальше этихъ предѣловъ. Такъ случилось и съ Крыловымъ. По недостатку празднаго мѣста въ губернскомъ городѣ, мать Крылова записала сына подканцеляристомъ въ калязинскій уѣздный судъ. Это произошло въ слѣдующій годъ по кончинѣ отца его. Въ исходѣ того же года, двѣнадцатилѣтняго мальчика, по просьбѣ матери, перечислили канцеляристомъ въ тверскій магистратъ, гдѣ недавно еще предсѣдательствовалъ отецъ его. Къ счастью, нужда такъ сильно преслѣдовала вдову, что она чрезъ нѣсколько времени рѣшилась отправиться въ Петербургъ, гдѣ надѣялась выхлопотать себѣ пенсію, и найти для сына выгоднѣйшее мѣсто. Здѣсь, можно сказать, несчастіе работало въ пользу будущаго великаго писателя. Пятнадцатилѣтній поэтъ канцеляристъ привезъ съ собою въ столицу жажду къ дѣятельности и знаніямъ. Чѣмъ менѣе удалось ему развить ихъ въ первые годы, тѣмъ настоятельнѣе принялся онъ искать ихъ въ новомъ своемъ мѣстопребываніи. Будущему баснописцу, для развитія его дивнаго таланта, много помогло еще то обстоятельство, что, оставаясь столько времени въ темномъ и тѣсномъ кругу, онъ ближе другихъ писателей разглядѣлъ черты и выраженіе ко-

ренной русской жизни. Кто рано поднимается въ верхній слой общества, тотъ принужденъ бываетъ только издалека всматриваться въ бытъ народный, не воспитываясь его духомъ и ощущеніями. Самый языкъ чисто русскій не легко усвоитъ человѣку, который съ дѣтства привыкаетъ думать и составлять фразы по образу, или по разговору иностранному. Раннія впечатлѣнія, постоянно слышимый съ нѣжнаго дѣтства складъ чисто русской рѣчи, простонародные рассказы, все это способствовало тому оригинально русскому отпечатку, который составилъ характеристику позднѣйшихъ произведеній геніальнаго Крылова, сдѣлавшагося, по преимуществу, *народнымъ* поэтомъ русскимъ.

Съ 1782 года начались въ Россіи приготовленія къ устройству общенароднаго русскаго театра, который и открытъ въ 1783 году. Крыловъ прибылъ въ Петербургъ во время перваго любопытнѣйшаго движенія на нашей сценѣ.

Въ молодой головѣ Крылова образовался планъ, извлечь какія нибудь выгоды изъ перваго его сочиненія. Въ Петербургѣ жилъ иностранецъ Брейткопфъ который содержалъ типографію, торговалъ книгами и занимался музыкою, какъ страстный ея любитель и знатокъ. Къ нему рѣшился обратиться Крыловъ съ своею оперою *Кофейница*. Опера, слова которой сочинены пятнадцатилѣтнимъ юношею, показались доброму Брейткопфу любопытнымъ явленіемъ. Онъ согласился купить ее, и предложилъ автору, въ вознагражденіе за трудъ, 60 рублей. Крыловъ не соблазнился деньгами: онъ взялъ отъ Брейткопфа столько книгъ, сколько ихъ приходилось на эту сумму. Любопытенъ былъ выборъ. Крыловъ, отказавшись отъ Вольтера и Кребиліона, предпочелъ имъ Расина, Молиера и Буало. Это было основаніе библіотеки его и руководство для будущихъ его трудовъ. Въ подраженіе Расину, онъ увлекся героями Греціи и Рима; Молиеръ и Буало развили его сатирическое направленіе, которое преобладало въ немъ надъ прочими внушеніями его природы. Въ числѣ

русских писателей, современных ему, но опередивших его славою, какъ драматическій поэтъ, всѣхъ знаменитѣе былъ, въ Санктпетербургѣ, Княжнинъ. Въ это время (1784) явилась патріотическая трагедія его. Актеръ Дмитревскій, представлявшій Рослава, доставилъ сочиненію успѣхъ необыкновенный на театрѣ. Хотя Крыловъ былъ моложе Княжнина двадцатью шестью годами, и не могъ тогда пріобрѣсти еще ни какой извѣстности, однако же онъ отважился представиться творцу *Дидоны*, соединявшему въ талантѣ своемъ сатирическій характеръ и драматическое стремленіе. Недостаточное состояніе, пріискиваніе службы и литературныя знакомства не остановили любимыхъ занятій Крылова. Его взглядъ на расположеніе драмы и на дѣйствіе героев получилъ, сравнительно съ прежнимъ, нѣкоторую опытность, а вспомогательныхъ знаній накопилось еще болѣе. Тогда то написалъ Крыловъ первую свою трагедію *Клеопатру*.

Княжнинъ доставилъ Крылову знакомство съ Дмитревскимъ. Несмотря на разность лѣтъ, они близко сошлись. Въ самомъ дѣлѣ, эти два человѣка рождены были вполнѣ понимать другъ друга, несмотря на то, что Дмитревскій былъ старше Крылова тридцатью двумя годами.

Кончивъ свою *Клеопатру*, ребяческое подражаніе французскимъ трагедіямъ, которыя Крыловъ успѣлъ перечитать, онъ, изъ Измайловскаго полка, гдѣ жилъ тогда съ матерью, отправился, на Гагаринскую пристань, къ Дмитревскому. Знаменитый актеръ принялъ его ласково и сказалъ ему, что желаетъ предварительно прочесть піесу одинъ. Крыловъ вообразилъ, что у Дмитревскаго не будетъ теперь ни какого дѣла, кромѣ чтенія трагедіи его, и потому онъ почти каждый день навѣдывался о судьбѣ своего дѣтища. Надобно же было случиться, что въ теченіе не только нѣсколькихъ дней, но и нѣсколькихъ мѣсяцевъ, будущіе друзья не могли свидѣться. Чего не передумалъ сочинитель въ этой пыткѣ! Наконецъ Дмитревскій принялъ его, и объявилъ, что намѣренъ читать

трагедію вмѣстѣ съ авторомъ. Чтеніе было необыкновенно продолжительно, потому что критикъ не пропустилъ безъ замѣчанія ни одного дѣйствія, ни одного явленія, даже ни одного стиха. Онъ совершенно ясно показалъ юношѣ автору какъ ошибоченъ его планъ, отъ чего дѣйствіе не занимательно, а явленія скучны, да и самый языкъ разговоровъ не соотвѣтствуетъ предметамъ. Это можно назвать первымъ курсомъ словесности, который Крылову удалось выслушать, и гдѣ примѣры ошибокъ взяты были на каждое правило изъ его же трагедіи. Крыловъ почувствовалъ, что легче написать новую трагедію нежели исправить старую, что присовѣтовалъ ему и Дмитревскій. Такимъ образомъ эта піеса осталась навсегда въ неизвѣстности.

Новая трагедія окончена была авторомъ въ 1786 году. Надобно думать, что Дмитревскій и ее осудилъ на забвеніе: иначе она явилась бы на тогдашнемъ русскомъ театрѣ, еще крайне небогатомъ русскими піесами.

Если юноша поэтъ утѣшался произведеніями своими, то мать его еще болѣе должна была радоваться въ это время не поэтическими его занятіями, а тѣмъ, что сыну ея дали мѣсто въ казенной палатѣ, съ жалованьемъ въ годъ по 25 рублей. Чтобы постигнуть, какъ могли жить они при этихъ средствахъ, надобно представить всю бережливость бѣдныхъ людей, ограниченность ихъ желаній и бывшую тогда чрезвычайную дешевизну во всемъ. О послѣдней можно приблизительно судить по разсказу Крылова, что мать его платила тогда за прислугу женщинѣ 2 рубля въ годъ. Недолго впрочемъ Марія Алексѣевна утѣшалась сыномъ. Ему суждено было одному прокладывать себѣ дальнѣйшую дорогу къ счастію: въ 1788 году, онъ лишился матери, о которой даже въ старости не могъ вспоминать безъ сердечнаго умиленія.

Природа надѣлила Крылова умомъ дѣятельнымъ, острымъ и даже болкимъ. Въ молодости онъ увлекался всякою первою мыслію. Двадцати лѣтъ, оставшись полнымъ властелиномъ

судьбы своей, онъ, какъ по службѣ, такъ и въ литературныхъ предпріятіяхъ, безпрестанно гонялся за новостію. Это было причиною, что, быстро расширивъ кругъ знакомствъ, и пользуясь извѣстностію въ кругу писателей, онъ ничему не предавался постоянно, и долго оставался безъ существенныхъ успѣховъ на поприщѣ, какъ гражданской службы такъ и литературномъ. По смерти матери, въ томъ же году, Крыловъ опредѣлился на службу въ кабинетъ Его Императорскаго Величества, откуда, по истеченіи двухъ лѣтъ, вышелъ въ отставку съ чиномъ провинціального секретаря. Ему казалось, что періодическими изданіями и заведеніемъ собственной типографіи можно пріобрѣсти все: независимость, извѣстность и деньги; ему казалось, что это положеніе спасетъ его отъ жертвованій, сопряженныхъ съ скучными занятіями по службѣ. Обольстившись мечтательнымъ разчетомъ, молодой Крыловъ, съ 1789 по 1801 годъ, въ теченіе двѣнадцати лѣтъ, оставался безъ казенной должности, работалъ для своихъ журналовъ, хлопоталъ по содержанію типографіи и ревностно обогащалъ театр новыми піесами.

Въ 1789 году, Крыловъ соединился съ капитаномъ гвардіи Рахмановымъ, чтобы на общемъ изживеніи содержать типографію и печатать въ ней свой журналъ *Почта Духовъ*. Сверхъ легкаго, правильнаго и сильнаго языка, читателя изумляютъ въ этомъ журналѣ восемнадцатаго вѣка новыя мысли. Періодическое изданіе Крылова, *Почта Духовъ*, раздѣленное первоначально на двѣ части, выходило ежемѣсячно. Онъ пребралъ его, вѣроятно почувствовавъ, что для журнала недостаточно однохарактерныхъ статей.

Крыловъ все пріобрѣталъ случайно. Счастливыя способности помогли ему, между прочимъ, выучиться рисовать и играть на скрипкѣ. Въ числѣ мелкихъ стихотвореній, помѣщенныхъ въ полномъ собраніи его сочиненій, есть стихи въ Елисаветѣ Ивановнѣ Бенкендорфѣ. Онъ сочинилъ ихъ, посылая къ ней нарисованный имъ перомъ, на образецъ гравировки, портретъ

императрицы Екатерины II. Въ послѣдствіи лучшіе наши живописцы выслушивали сужденія Крылова о своихъ работахъ съ довѣренностію и уваженіемъ. Какъ музыкантъ, онъ въ молодыя лѣта славился въ столицѣ игрою своею на скрипкѣ, и обыкновенно участвовалъ въ дружескихъ квартетахъ первыхъ виртуозовъ. Неизмѣнная страсть къ театру дополняла его практическое образованіе.

Прекративъ изданіе перваго журнала, Крыловъ удержалъ типографію за собою и за своими въ ней участниками. Она доставляла имъ доходъ, а въ скоромъ времени понадобилась и для собственнаго его предпріятія. Съ 1792 года, онъ приступилъ къ составленію новаго журнала, подъ названіемъ *Зритель*. Изъ числа современниковъ по литературѣ, самое близкое лицо въ Крылову въ это время былъ драматическій писатель Клушинъ (умеръ въ 1804 году). Клушинъ участвовалъ и въ содержаніи типографіи его, помѣщавшейся въ нижнемъ этажѣ дома Бецкаго (нынѣ принца ольденбургскаго), и въ наполненіи *Зрителя* статьями. Это былъ человѣкъ съ несомнѣннымъ комическимъ дарованіемъ. Крыловъ, даже въ старости своей, вспоминалъ о немъ съ удовольствіемъ, и отзывался всегда съ похвалою. Прекративъ изданіе *Зрителя*, они рѣшились, съ 1793 года, печатать, въ общей ихъ типографіи, новый журналъ, *Санктпетербургскій Меркурій*, и означать на немъ имена обоихъ редакторовъ. Крыловъ, съ каждымъ преобразованиемъ періодическихъ изданій своихъ, видимо стремился къ совершенствованію ихъ занимательностію содержанія, расширеніемъ программы и сближеніемъ съ потребностями современной публики.

Изданіе *Санктпетербургскаго Меркурія* продолжалось, какъ и прежніе журналы Крылова, только годъ. Клушинъ отправился тогда за границу. Въ послѣдствіи Крыловъ написалъ для театра еще три пьесы: комедію *Худо быть близорукимъ*, оперу *Американцы* (объ 1800 года) и комедію *Услужливый* (1801). Крыловъ тогда навсегда покинулъ изданіе жур-

наловъ. Только въ 1835 году, по просьбѣ Смирдина, не принимая ни какого участія въ журналѣ, онъ позволилъ напечатать, въ объявленіи о *Библиотека для Чтенія*, будто онъ взялся быть въ томъ году ея редакторомъ. Театръ еще долго привлекалъ къ себѣ все вниманіе Крылова, и подстрекалъ его дѣятельность. Отъ сочиненія трагедій отказался онъ во время; но тѣмъ сильнѣе пристрастился онъ къ комедіямъ въ прозѣ, быстро поставляя ихъ одну за другою. Обильно было это время и мелкими стихотвореніями Крылова. Много напечатано ихъ въ его *Санктпетербургскомъ Меркуріи*. Стихотворенія эти въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прекрасны, по отдѣлѣнью языка, по движенію мыслей, и явно показываютъ силу таланта Крылова.

Съ 1795 по 1801 годъ, Крыловъ какъ бы исчезаетъ. Ни на одномъ изъ его сочиненій не осталось замѣтки, по которой можно было бы отнести его къ этому шестилѣтію. Самъ онъ не былъ тогда въ службѣ. Литераторъ уже съ извѣстнымъ именемъ, молодой человекъ, успѣвшій образовать въ себѣ нѣсколько талантовъ, за которые любятъ въ свѣтѣ, драматическій писатель, вошедшій въ дружескія сношенія съ первыми артистами театра, журналистъ, съ которымъ были въ связи современные литераторы, Крыловъ и самъ не могъ замѣтить, какъ ускользалъ отъ него годъ за годомъ посреди развлеченій столицы. Онъ участвовалъ въ пріятельскихъ концертахъ первыхъ тогдашнихъ музыкантовъ, прекрасно играя на скрипкѣ. Живописцы искали его общества, какъ человека съ отличнымъ вкусомъ. Въ дополненіе пособій по литературѣ, Крыловъ выучился поиталиански и свободно читалъ книги на этомъ языкѣ. Ему не было уже чуждо и высшее общество столицы, гдѣ въ тогдешнее время радушно принимались люди съ талантами. Но, къ сожалѣнію, въ этомъ же избранномъ обществѣ, Крыловъ встрѣтилъ одно занятіе, недостойное умныхъ и талантливыхъ людей; занятіе, поглощающее незамѣтно массу времени, именно страсть къ картежной игрѣ. Крыловъ запла-



тилъ дань и этой слабости. Онъ отыскивалъ сборища, въ которыхъ предавались игрѣ съ самозабвеніемъ. Онъ готовъ былъ съѣздить въ другой городъ, если узнавалъ, что тамъ найдутся товарищи по игрѣ. Никто не замѣчалъ, конечно, чтобы Крыловъ жадеиъ былъ къ деньгамъ; но въ молодыхъ лѣтахъ онъ игралъ съ увлеченіемъ страсти. Отъ привычки къ игрѣ люди освобождаются не вдругъ. Съ Крыловомъ было тоже. Извѣстно, что слухъ объ этой его страсти дошелъ до императора Александра Павловича. Государь тогда произнесъ многозначительныя слова: «Мнѣ не жаль денегъ, которыя проигрываетъ Крыловъ, а жаль будетъ если онъ проиграетъ талантъ свой.»

Бездѣйственная жизнь наскучила наконецъ Крылову. Вступить въ службу вновь, ему теперь уже не было трудно. Въ немъ готовы были принять участіе самыя значительныя лица. Въ 1801 году, онъ удостоился покровительства императрицы Маріи Ѳеодоровны. Государыня поручила его рижскому военному губернатору, князю Сергѣю Ѳеодоровичу Голицыну. Тогда Крылову было тридцать два года. Многіе въ эти лѣта пользуются уже значительностію по службѣ. Поэтъ занялъ мѣсто секретаря при новомъ своемъ начальникѣ. Живя въ городѣ, который былъ для него чужимъ, онъ могъ бы пристраститься къ дѣламъ службы, но привычка къ занятіямъ литературнымъ, а еще болѣе къ игрѣ въ карты, не оставила его и здѣсь. Рассказываютъ, что въ послѣднемъ отношеніи, на нѣкоторое время, онъ былъ даже очень счастливъ, выигралъ много денегъ, которыя, какъ это обыкновенно оканчивается, онъ скоро всё проигралъ. Насмѣшливый умъ его отозвался въ Ригѣ шуткою карриатурою, извѣстною только въ рукописи, подъ названіемъ трагедіи *Трумфъ*. Основаніемъ карриатуры этой служить смѣшныи выговоръ русскихъ словъ, произносимыхъ нѣмцами. Впрочемъ, Крыловъ никогда и не думалъ пускать эту піесу въ извѣстность. Она огласилась такъ же какъ оглашается все недоступное печати.

На другой годъ новой службы своей, Крыловъ произведенъ былъ въ чинъ губернскаго секретаря, а на третій еще разъ покинулъ службу. Правда ему больше и дѣлать было нечего въ Ригѣ: князь Голицынъ, испросивъ себѣ увольнение отъ должности, занимаемой имъ, отправился къ себѣ, въ деревню Саратовской губерніи. Привыкнувъ къ Крылову и полюбивъ его, онъ уговорилъ поэта переселиться съ нимъ въ новое его мѣстопробываніе. Безъ родства, ничѣмъ не связанный, мало заботясь о будущемъ, можетъ быть, и любопытствуя взглянуть на деревенскую жизнь вельможи, поэтъ охотно принялъ его предложеніе. Тамъ оставался Крыловъ три года. Несмотря на дружеское къ нему отношеніе князя, положеніе его въ домѣ вельможи нельзя было назвать совсѣмъ пріятнымъ для Крылова. Въ многолюдномъ домѣ знатнаго человѣка никакъ не избѣгнешь мелкихъ досадъ, случайныхъ столкновеній съ такими людьми, которые, не умѣя вполне оценить достоинство писателя, смотрятъ на него какъ на безполезнаго нахлѣбника. Впрочемъ Крыловъ нашелъ способъ отворотить отъ себя всякой упрекъ въ тунеядствѣ. Время, оставшееся празднымъ отъ деревенскихъ забавъ, собраній, гастрономическихъ занятій, онъ употреблялъ на пользу дѣтей князя, обучая ихъ тому, въ чемъ чувствовалъ себя свѣдущимъ. Съ молодыми князьями воспитывался тамъ и чужой мальчикъ, сынъ одного русскаго дворянина, по происхожденію носившаго финляндскую фамилію. Крылову тогда и въ голову не приходило, что этотъ ребенокъ нѣкогда будетъ удивлять лучшее наше общество своимъ остроуміемъ, своенравіемъ своимъ, ипохондрією, и приготовить для потомства любопытныя записки, въ которыхъ читатели найдутъ нѣсколько желанныхъ страницъ и о деревенскомъ саратовскомъ учителѣ. Изъ страницъ этихъ видно, что Крыловъ въ деревнѣ дѣйствительно былъ какъ бы не у себя. Въ запискахъ этихъ Крыловъ описанъ человѣкомъ уклончивымъ, тонкимъ и замѣтно угождавшимъ прихотливому вкусу хозяина, что подтверждаетъ

мысль объ его затруднительномъ положеніи, и доказываетъ гибкій, проницательный умъ его, рано постигнувшій истину, изложенную имъ послѣ въ басни *Трудолюбивый медведь*. Такъ прошли для Крылова первые годы того славнаго въ исторіи Россіи александровскаго времени, на скрижаляхъ котораго ярко сіяетъ и его имя. Въ 1806 году, онъ отправился, чрезъ Москву, къ старымъ пріятелямъ своимъ и къ старымъ занятіямъ въ Петербургъ, дружески распростившись съ княземъ Голицынымъ, который и самъ на слѣдующій же годъ долженъ былъ покинуть деревню, избранный въ главнокомандующіе третьей области земскаго войска.

Въ Москвѣ русская словесность тогда процвѣтала. Не только Дмитріевъ и Карамзинъ, преобразователи языка нашего и вкуса, влекли къ образцамъ своимъ молодое поколѣніе, но и имя Жуковскаго уже пріобрѣло извѣстность. Крылову, который остановился въ Москвѣ, такъ же, какъ и другимъ, пріятно было общество этихъ литераторовъ, которые жили только для успѣховъ ума и вкуса. Онъ особенно сблизился съ Дмитріевымъ. Желая войти съ нимъ въ такія сношенія, которыя касались бы предмета, для нихъ обоихъ равно занимательнаго, Крыловъ, въ свободное время, перевелъ изъ Лафонтена двѣ басни: *Дубъ и трость* и *Разборчивую невѣсту*. Дмитріевъ, прочитавъ ихъ, нашелъ переводъ Крылова чрезвычайно счастливымъ и достойнымъ прелестнаго подлинника. Тогда Дмитріевъ началъ уговаривать будущаго соперника своего не побидать этого рода поэзіи, который, по его мнѣнію, болѣе другихъ удался ему, и можетъ современемъ составить его славу. Крыловъ послѣдовалъ совѣту, и въ Москвѣ же перевелъ еще изъ Лафонтена басню *Старикъ и трое молодыхъ*. Переводы Крылова отражали только идею французскаго баснописца, остальное все было чисто оригинальное, русское, *крыловское*.

По возвращеніи своемъ въ Петербургъ, Крыловъ попрежнему преданъ страсти къ театру. Вѣроятно, три его новыя

піесы для сцены, которыя напечатаны въ 1807 году, подготовлены были уже прежде. Обѣ комедіи, *Модная лавка* и *Урокъ дочкамъ*, выражаютъ сильное негодованіе поэта на слѣпое пристрастіе русскихъ къ французамъ и къ ихъ языку. Всего труднѣе разгадать, чѣмъ соблазнился Крыловъ, при сочиненіи волшебной оперы своей, *Илья Богатырь*, явившейся тоже въ 1807 году въ печати и на театрѣ.

Въ Петербургѣ издавался тогда журналъ, подѣ названіемъ *Драматическій Вѣстникъ*. Въ немъ явилось нѣсколько новыхъ басенъ Крылова и одно стихотвореніе, довольно оригинальное по содержанію своему, и тѣмъ еще замѣчательное, что оно было послѣднею данію его другимъ родамъ поэзіи, кромѣ басенъ, за исключеніемъ двухъ, трехъ коротенькихъ стихотвореній, помѣщенныхъ имъ уже гораздо позже въ альманахѣ *Сѣверные Цвѣты*, по дружбѣ его къ издателю этого альманаха, барону Дельвигу. Стихи, на которые указано выше, названы *Посланіе о пользѣ страстей*. Вскорѣ явилось его замѣчательное стихотвореніе *Пушки и паруса*.

Въ числѣ образованнѣйшихъ людей того времени, принимавшихъ ближайшее непосредственное участіе въ успѣхахъ отечественной словесности и художествъ, были графъ А. С. Строгановъ и А. Н. Оленинъ. Тѣснѣйшею пріязнію Крыловъ былъ соединенъ съ домомъ А. Н. Оленина, гдѣ всѣ тогдашніе русскіе литераторы находили радушіе и участіе.

По справедливости можно сказать, что, для истинной славы своего таланта и для исторіи литературы русской, Крыловъ родился только когда ему минуло сорокъ лѣтъ. Въ это время онъ созналъ свое назначеніе, устремивъ всю поэтическую дѣятельность свою на одинъ родъ, именно на басню, и басня его полна и мудрости и граціи. И вотъ, въ 1808 году, вышло первое изданіе его *Басенъ*, въ числѣ 23. Это былъ блистательный годъ въ исторіи русской литературы. Книга была раскуплена нарасхватъ.

Всѣхъ басенъ Крылова теперь мы имѣемъ 197. Изъ этого

числа (по его собственному показанію, въ изданіи 1843 года) только 30 такихъ, которыхъ содержаніе заимствовалъ онъ у другихъ поэтовъ, а 167 принадлежать собственно ему, и по вымыслу, и по разсказу. Со времени перваго изданія басенъ Крылова до поступленія его на службу въ Императорскую публичную бібліотеку прошло четыре года. Къ театру началъ онъ охлаждѣвать, что съ лѣтами становилось замѣтнѣе. Превжій сценическій писатель, другъ Дмитревскаго, постоянный посѣтитель каждаго новаго на театрѣ представленія, пришелъ къ тому, что по десяти лѣтъ сряду не заглядывалъ въ театръ. Теперь онъ принадлежалъ къ кругу лучшихъ литераторовъ. Его талантъ вполне цѣнили самъ Державинъ. Въ 1810 году, въ домѣ пѣвца Фелицы, устроилась «Бесѣда любителей русскаго слова». Такъ какъ большею частію литераторы, участвовавшіе въ «Бесѣдѣ любителей русскаго слова», были члены Россійской академіи, то, въ концѣ 1811 года, и Крыловъ избранъ былъ въ академики. Крыловъ не нашелъ въ ученыхъ засѣданіяхъ академіи той занимательности и возбужденія, которыя сообщали бы новый полетъ его генію. Онъ рѣдко посѣщалъ академію и то развѣ въ торжественныя собранія. Открытіе Императорской публичной бібліотеки послѣдовало въ 1812 году. Ея директоромъ назначенъ былъ А. Н. Оленинъ; должности бібліотекарей и помощниковъ ихъ поручены были лицамъ, преимущественно извѣстнымъ въ литературѣ, что и послѣ соблюдаемо было нѣсколько лѣтъ. Такимъ образомъ здѣсь соединились: переводчикъ *Иліады* — Гнѣдичъ, знатокъ славянской филологіи — Востоковъ, первый въ Россіи бібліографъ — Сопиковъ, переводчикъ *Ифигеніи* и *Федры*, Расина — Лобановъ. Въ этотъ же кругъ введены были послѣ баронъ Дельвигъ и Загоскинъ. Сюда Оленинъ пригласилъ и Крылова. Сопиковъ, прежде нѣсколько лѣтъ занимавшійся книжною торговлею, какъ человекъ опытный и знавшій все, что касалось до русскнхъ книгъ, назначенъ былъ бібліотекаремъ по русскому отдѣленію, а Крыловъ помощникомъ его.

Давнишній знакомецъ поэта, Брейткопфъ, котораго жена была въ то время начальницею Екатерининскаго института, тотъ самый Брейткопфъ, который купилъ *Кобейницу*, также поступилъ на службу въ библіотеку. Удивились и обрадовались другъ другу старые знакомцы, неожиданно очутившись за однимъ дѣломъ. Въ первыхъ своихъ воспоминаніяхъ они воскресили прошлое. Дошла очередь и до *Кобейницы*. Крылову любопытно было взглянуть на рукопись своего дѣтства. Къ счастью, Брейткопфъ сохранилъ эту драгоценность. Онъ въ цѣлости передалъ ее знаменитому автору. Для жительства служащихъ отведены были квартиры черезъ домъ отъ главнаго зданія библіотеки. Съ той эпохи начинается для Крылова новая жизнь, тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До 1841 года не перемѣнилъ онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры. Въ 1816 году, когда вышелъ въ отставку Сопиковъ, умершій въ 1818 году, Крыловъ занялъ его должность и квартиру (въ среднемъ этажѣ, на углу что къ Невскому проспекту). Тутъ прожилъ онъ до послѣдней отставки, почти тридцать лѣтъ.

День учрежденія библіотеки долгое время праздновали публичнымъ собраніемъ и чтеніемъ разныхъ новыхъ произведеній русскихъ литераторовъ. Въ первый годъ Крыловъ прочиталъ здѣсь для публики свою басню *Водолазы*. Имя и талантъ его становились тогда уже народными. Въ первый годъ службы его въ библіотекѣ, императоръ Александръ I приказалъ производить ему, сверхъ жалованія по должности, 1,500 руб. ас. пенсіи изъ кабинета. Спустя восемь лѣтъ, эта монаршая милость была удвоена. Неприхотливому одинокому человѣку теперь не о чемъ была заботиться; онъ и погрузился въ свою поэтическую лѣнь.

Служба въ библіотекѣ и жизнь въ тѣсномъ и избранномъ кружкѣ, пришлись вполне по вкусу Крылова. Сверхъ выходовъ къ должности, очень легкой и неголовомной, сверхъ выѣздовъ къ обѣду въ англійской клубъ (гдѣ онъ послѣ обѣда

игралъ нѣкоторое время по привычкѣ въ карты, а подѣ вонецъ только дремалъ), и на вечеръ иногда къ Оленинымъ, Крыловъ ничего не полюбилъ какъ челоуѣкъ общественный и образованный, какъ писатель гениальный. Онъ продолжалъ, *от скуки*, сочинять иногда новыя басни, а болѣе читалъ самыя глупыя романы, особенно старинныя, читалъ не для приобрѣтенія новыхъ идей, а только убить время. Не увлекаясь ни какими замыслами, онъ отстранился отъ людей, можетъ быть, не чувствуя въ себѣ столько свѣжести силъ, чтобы съ вѣрнымъ успѣхомъ раздвигать дорогу между ними. Но онъ и тутъ не былъ позабытъ ни въ какомъ отношеніи. Новыя изданія басенъ его, число которыхъ съ каждымъ годомъ возрастало, являлись очень часто. Второе изданіе вышло въ 1816 году и раздѣлено было на пять книгъ. Въ послѣднемъ, которое предпринято и кончено самимъ авторомъ въ 1843 году, находилось уже девять книгъ. Изъ прочихъ изданій замѣчательнѣе другихъ явившіяся въ 1825 и 1834 годахъ. Одно предпринято было Сленинымъ и украшено очень хорошими гравюрами, другое Смирдинымъ, въ которомъ почти при каждой баснѣ есть по литографированной картинкѣ.

Иностранцы почти также, какъ и русскіе, чувствовали достоинство таланта Крылова. Басни его, особенно тѣ, въ которыхъ болѣе національной прелести, переводимы были на разные европейскіе языки. Особенно знаменательна была почесть, оказанная баснописцу въ его отечествѣ, въ 1831 году. Императоръ Николай, въ числѣ подарковъ своихъ на новый годъ великому князю наслѣднику (нынѣ императору Александру Николаевичу) прислалъ сыну своему бюстъ Крылова. Можно вообразить что почувствовало сердце поэта, когда до него дошло о томъ извѣстіе! Въ выраженіяхъ милостей и благорасположенія есть неуловимые оттѣнки. Здѣсь, въ безмолвномъ явленіи, высказалось все: и любовь, и урочъ, и почесть. Въ 1834 году, по повелѣнію императора Николая, пенсія въ три тысячи рублей, получаемая Крыловымъ изъ

кабинета, удвоена была суммою изъ государственнаго казначейства, «въ уваженіе заслугъ, какъ сказано въ указѣ, оказанныхъ имъ отечественной словесности.» Во всѣ остальные годы жизни, отношенія Крылова къ царскому семейству были самыя завидныя. Въ какое время и гдѣ бы ни встрѣчался поэтъ съ членами императорскаго дома, они неизмѣнно привѣтствовали его восхитительными изъявленіями ласковости и дружелюбія.

Служащіе въ публичной библіотекѣ обыкновенно дежурятъ поочереды, оставаясь въ ней сутки. Крыловъ никогда не добивался получить льготу въ этой обязанности, хотя легко могъ дойти до того, и конечно имѣлъ право не только по своему таланту, но и по лѣтамъ своимъ. Обязанность дежурства тяготела каждаго библіотекаря въ лѣтніе жары, когда ни читателей, ни важныхъ дѣлъ не было. Нѣкоторые изъ этихъ господъ дѣлались тогда очень пасмурны и не любезны. Особенно пылкій и воспріимчивый Гнѣдичъ былъ иногда до смѣшнаго не въ духѣ. Но добрякъ, какъ его называли многіе, Иванъ Андреевичъ Крыловъ, выносилъ это дежурство весьма покойно для себя и для другихъ. Онъ преспокойно усаживался съ ногами на диванѣ и убивалъ время за чтеніемъ глупѣйшихъ романовъ. Нельзя однако же сказать, чтобы онъ не озабочивался иногда и хлопотами по обязанностямъ службы. Для удобнѣйшаго размѣщенія, по безостановочной выдачѣ брошюръ, которыхъ въ русскомъ отдѣленіи оказалось гораздо болѣе, нежели книгъ, Крыловъ придумалъ футляры, въ формѣ толстыхъ книгъ, и разложилъ въ нихъ по авторамъ летучія издѣлія книжной промышленности. Особенно началъ хлопотать онъ по своей должности, когда опредѣлился къ нему въ помощники баронъ Дельвицъ, столь же безпечный чиновникъ, сколько былъ онъ и безпечнымъ поэтомъ. Крыловъ скоро догадался, что прошли для него счастливые годы, которыми онъ былъ обязанъ смышленности и трудолюбію бывшаго начальника своего, Сопикова. Это однако же не довело до ссоры двухъ поэтовъ, равно лѣ-



нивыхъ, но равно и уважавшимъ другъ въ другѣ истинное дарованіе. По возможности, они кое какъ несли вмѣстѣ общее бремя.

Домашняя жизнь Крылова еще болѣе выказывала въ немъ много особенностей. Онъ не заботился ни о чистотѣ, ни о порядкѣ. Прислуга состояла изъ наемной женщины съ дѣвочкою, ея дочерью. Никому въ домѣ и на мысль не приходило сметать пыль съ мебели и съ другихъ вещей. Изъ трехъ чистыхъ комнатъ, которыя всѣ выходили окнами на улицу, средняя составляла залу, боковая, влѣво отъ нея, оставалась безъ употребленія, а послѣдняя, угольная къ Невскому проспекту, служила обыкновеннымъ мѣстопробываніемъ хозяина. Здѣсь за перегородкою стояла кровать его, а въ свѣтлой половинѣ онъ сидѣлъ передъ столикомъ на диванѣ. У Крылова не было ни кабинета, ни письменнаго стола, даже трудно было у него отыскать бумаги съ чернильницею и перомъ. Приходившихъ къ нему, онъ дружески просилъ всегда садиться, на что не безъ затрудненія можно было согласиться опрятно одѣтому гостю. Крыловъ постоянно курилъ сигары съ мундштукомъ, предохраняя глаза отъ жара и дыма. При разговорѣ, сигара поминутно гасла. Онъ звонилъ. Дѣвочка, проходя, иногда съ пѣсенкою, изъ кухни черезъ залу, приносила безъ подсвѣчника тоненькую восковую свѣчку, накапывала воску на столъ, и ставила огонь передъ неприхотливымъ господиномъ своимъ. Форточка въ залѣ почти всегда была отворена. Крыловъ, набрасывая разныхъ зеренъ по обѣимъ сторонамъ оконницъ, привадилъ къ себѣ голубей съ Гостиного двора, и они привыкли быть у него какъ на улицѣ. Столы, этажерки, вещи, на нихъ стоявшія, и все, что ни попадалось на глаза въ комнатахъ, носило на себѣ слѣды пребыванія этихъ ежедневныхъ гостей баснописца. Утромъ Крыловъ вставалъ довольно поздно. Часто пріятели находили его въ постелѣ часу въ десятомъ. Одинъ изъ нихъ, товарищъ его по академіи, привезъ ему съ вечера въ подарокъ богато переплетенный экземпляръ пе-

ревода фенелона Телемака. Это было еще въ 1812 году. На другой день академикъ полюбопытствовалъ спросить у Крылова, понравился ли ему переводъ, которымъ поэтъ и хотѣлъ было, ложась спать, позаняться, но такъ держалъ неосторожно передъ сномъ въ рукахъ книгу, что она куда то сползла съ кровати подъ столыкъ. Переводчикъ заглянулъ за перегородку, гдѣ Крыловъ еще спалъ, и, увидѣвъ, куда попала золотообрѣзная книга его, тихонько убрался, чтобы Крыловъ и не узналъ о его посѣщеніи. Такъ, за сигарою, съ романомъ, иногда въ разговорахъ съ пріятелями, Крыловъ проводилъ время до того часа, въ которомъ надобно было отправляться обѣдать въ англійскій клубъ. Продремавъ тамъ довольно времени послѣ обѣда, иногда заѣзжалъ онъ въ Оленину, а иногда возвращался домой.

Къ постороннимъ посѣтителямъ, съ которыми не былъ связанъ искренно, литераторы ли были то, или другаго рода лица, Крыловъ вообще выказывалъ большую вѣжливость. Никогда не любилъ онъ входить въ споръ, хотя бы говорили ему совершенно противное съ убѣжденіями его. Онъ зналъ, что люди перемѣняютъ свои мнѣнія только послѣ собственныхъ опытовъ. Давно сдѣлавшись равнодушнымъ къ литературѣ, Крыловъ машинально соглашался со всѣмъ, что бы кто ни говорилъ, а между тѣмъ проницательность и чувство изящнаго у Крылова всегда оцутительны были въ высшей степени.

Менѣ всего благоразуменъ былъ Крыловъ въ употребленіи пищи. За нѣсколько лѣтъ до послѣдней болѣзни своей, испытавъ припадокъ паралича, онъ въ остальные годы строго наблюдалъ, чтобы не ѣсть много разныхъ кушаніевъ, но при двухъ, трехъ блюдахъ умѣренность не была его добродѣтелию. Извѣстно, что императрица Марія Ѳедоровна всегда покровительствовала Крылову и оказывала ему всѣ знаки благоволенія. Крыловъ лѣто проводилъ чаще въ городѣ нежели на дачѣ, выѣзжая только развѣ гостить недѣли на двѣ въ Прію-

тино, къ Оленинымъ. Государыня нерѣдко приглашала его въ Павловскъ. Крыловъ, являясь къ императрицѣ, никогда не забывалъ любимаго императрицею стариннаго обыкновенія, чтобы мужчины пудрились. Часто, принимая поэта, государыня встрѣчала его слѣдующею шуткою: «Вы, можетъ быть, пріѣхали и не совсѣмъ для меня; но это (показывая на его пудреную голову) я уже беру прямо на свой счетъ.» Въ Павловскѣ написалъ онъ свою прелестнѣйшую басню, *Василекъ*, оставивъ ее, какъ свидѣтельство глубочайшаго чувства признательности къ вѣнценосной благотворительницѣ, въ одномъ изъ альбомовъ, которые въ «Розовомъ Павліонѣ» разложены были для удовольствія посѣтителей. Однажды, за обѣденнымъ столомъ у императрицы, другой поэтъ, Капнистъ, шепнулъ Крылову: «Ты ѣшь за десятерыхъ; откажись хотя отъ одного блюда. Развѣ ты не замѣчаешь, что государыня поминутно на тебя взглядываетъ, желая поподчивать?» — Ну, а если не поподчуетъ? — отвѣчалъ Крыловъ вопросомъ, продолжая угощать себя.

Особенно весело было Крылову, когда на званомъ обѣдѣ, или ужинѣ, приготовляли для него русскія кушанья. Это обыкновенно и дѣлали всѣ изъ его друзей и близкихъ знакомыхъ. За нѣсколько лѣтъ до того, какъ Крыловъ покинулъ службу въ библиотекѣ, по пятницамъ литераторы собирались на вечера у А. А. Перовскаго. Хозяинъ каждый разъ приказывалъ подавать гостямъ ужинъ. Садились немногіе, но въ числѣ ихъ всегда бывалъ Крыловъ. Разъ, во время толковъ о привычкѣ въ ужину, одни говорили, что никогда не ужинаютъ, другіе, что давно перестали, третьи, что намѣрены перестать; Крыловъ же, накладывая на свою тарелку кушаніе щедрою рукою, примолвилъ: «А я, какъ мнѣ кажется, потеряю привычку ужинать въ тотъ день, въ который перестану обѣдать.»

2 февраля 1838 года, со дня рожденія Крылова, должно было исполниться семьдесятъ лѣтъ. Хотя еще слишкомъ за годъ передъ тѣмъ совершилось пятидесятилѣтіе со времени

появленія его *Филомелы* въ печати; но вспомнили о томъ только по случаю приближавшаго дня его рожденія. Всѣ литераторы оживились, обрадовавшись случаю отпраздновать юбилей знаменитаго русскаго баснописца. По докладѣ о томъ императору Николаю, изъ лицъ, ближайшихъ къ поэту по дружбѣ, составленъ былъ комитетъ для учрежденія праздника. Предположили, въ день рожденія Крылова, дать обѣдъ въ залѣ дворянскаго собранія. Гостей собралось около 300 человекъ. Въ Петербургѣ не было ни одного таланта, въ какомъ бы родѣ искусства онъ ни получилъ извѣстность, который не поспѣшилъ бы присоединиться въ торжеству, родственному для всей Россіи. Передъ обѣдомъ, Плетневъ и Карлгофъ поѣхали за Крыловымъ. До него не могли не дойти уже слухи о приготовляемомъ праздникѣ, но онъ ничего не зналъ опредѣлительно. Депутація нашла его уже одѣтымъ. «Иванъ Андреевичъ; сказалъ ему Плетневъ, сегодня исполнись пятьдесятъ лѣтъ, какъ вы явились посреди русскихъ писателей: они собрались провести вмѣстѣ этотъ день, достопамятный для нихъ и для всей Россіи, и просятъ васъ не отказаться быть съ ними, чтобы этотъ день сдѣлался для нихъ навсегда незабвеннымъ праздникомъ». — «Знаете что, отвѣчалъ Крыловъ, я не умѣю сказать, какъ благодаренъ за все моимъ друзьямъ, и конечно мнѣ еще веселѣе ихъ быть сегодня вмѣстѣ съ ними; боюсь только, не придумали бы вы чего лишняго: вѣдь я тоже что иной морякъ, съ которымъ отъ того только и бѣды не случалось, что онъ не хаживалъ далеко въ море». По прибытіи въ собраніе, Оленинъ привѣтствовалъ Крылова. Украсивъ звѣздою грудь поэта, министръ народнаго просвѣщенія, Уваровъ, пригласилъ его въ особенную залу, куда прибыли великіе князья Николай Николаевичъ и Михаилъ Николаевичъ, еще дѣти тогда, для поздравленія Крылова. Всѣмъ этимъ онъ былъ разстроганъ до слезъ.

Съ тѣмъ вмѣстѣ послѣдовало высочайше соизволеніе на выбитіе на счетъ казны медали съ портретомъ Крыловъ и на

открытие подписки для учреждения стипендіи, подъ названіемъ крыловской, чтобы проценты съ собранной суммы были употребляемы, на вносъ въ одно изъ учебныхъ заведеній, для воспитанія въ немъ, смотря по суммѣ, одного или нѣсколькихъ молодыхъ людей.

Въ 1841 году, Крыловъ навсегда оставилъ службу, съ пенсію въ 11,700 р. асс. Онъ переѣхалъ жить на Васильевскій островъ, въ домъ бывшій купца Блинова, что въ Первой линіи. Отсюда еще менѣе сталъ выѣзжать онъ въ свѣтъ. Даже въ англійскомъ клубѣ видали его изрѣдка. Онъ какъ будто отяжелѣлъ; тучность издавна одолѣвала его. Крыловъ самъ очень мило подшучивалъ иногда надъ нею. Въ блистательномъ маскарадѣ, бывшемъ у великой княгини Елены Павловны, гдѣ всѣ характерные костюмы подобраны были со вкусомъ и разнообразіемъ, Крыловъ, нарядившись музою Талією, произнесъ ихъ императорскимъ величествамъ стихи, и между прочимъ сказалъ:

Люблю, гдѣ случай есть пороки пощипать,  
Все лучше таки ихъ немножко унимать,  
Однако жъ здѣсь, я сколько ни глядѣла,  
Придаться не къ чему, а это жаль, безъ дѣла,  
Я право ужъ боюсь, чтобы не потолстѣла.

Послѣднюю изъ басенъ своихъ (*Вельможа*) написалъ онъ еще въ 1835 году. Онъ ее читалъ ихъ императорскимъ величествамъ также въ маскарадѣ, бывшемъ въ Аничковскомъ дворцѣ, гдѣ Крыловъ одѣтъ былъ кравчимъ, въ русскомъ кафтанѣ, шитомъ золотомъ, въ красныхъ сапогахъ, съ подвязанною сѣдою бородою. Совершенно выправленные басни, Крыловъ любилъ начисто самъ переписывать, на особомъ листкѣ каждую; только старинный почеркъ его былъ такъ неразборчивъ, что инья изъ своихъ рукописей подъ конецъ онъ и самъ никакъ не могъ разобрать.

Во всю жизнь Крыловъ пользовался завиднымъ здоро-

всемъ, благодаря той простотѣ, въ которой онъ выросъ и которая всегда много доставляетъ выгоды и преимуществъ бѣднымъ людямъ надъ богатыми. Неумѣренность въ пищѣ и сидячая жизнь не могли ослабить физической его крѣпости, приобрѣтенной имъ въ дѣтствѣ. Правда, еще задолго до послѣдней болѣзни своей, онъ два раза, въ разные эпохи, чувствовалъ легкіе припадки паралича. Но и они, миновавъ безъ гибельныхъ послѣдствій, не заставили его озаботиться что нибудь перемѣнить въ образѣ жизни. Съ удивительнымъ спокойствіемъ, даже съ какою то непонятною шутливостію, передъ самую смертью своею, говорилъ онъ о бывшемъ у него параличѣ, когда Я. И. Ростовцовъ, желая пригласить къ нему отца его духовнаго, спросилъ, какъ бы невзначай, не мнителенъ ли Иванъ Андреевичъ. «А вотъ что расскажу вамъ, и вы узнаете, отвѣчалъ онъ, мнителенъ ли я. Давно какъ то, уже не помню, сколько лѣтъ тому назадъ, я почувствовалъ онѣмѣніе въ пальцахъ одной руки. Показываю ее доктору и спрашиваю, что бы это значило? Вотъ, какъ вы же, онъ напередъ и вывѣдываетъ у меня, не мнителенъ ли я? — Нѣтъ, говорю. — Такъ съ вами, сказалъ онъ, можетъ сдѣлаться параличъ. — Да нельзя ли какъ отвратить эту бѣду? — Можно: вамъ надобно во всю жизнь не ѣсть мяснаго и быть вообще очень осторожнымъ.» — «Вы, безъ сомнѣнія», спросилъ Я. И. Ростовцовъ, строго исполняли это? — «Да, исполнялъ мѣсяца два. А потомъ ни сколько и не думалъ объ этомъ, какъ сами, конечно, замѣтили. Вотъ какъ я не мнителенъ,» заключилъ Крыловъ.

Равнодушіе и безпечность еще замѣтнѣе сдѣлались въ немъ въ послѣднее время его жизни. Случилось, что открылся пожаръ въ домѣ, смежномъ съ его квартирою. Торопливо увѣдомивъ о томъ Крылова, люди его бросились спасать разные вещи отъ видимой опасности, и неотступно просили, чтобы онъ послѣшилъ собрать тѣ изъ своихъ бумагъ и дорогихъ вещей, которыхъ потеря необходимо разстроитъ остатокъ жи-

зни его. Но онъ, противъ обыкновенія, не поспѣшилъ и на пожаръ взглянуть. Не обращая вниманія на крикъ и слезы, онъ не одѣвался, приказалъ готовить себѣ чай, и, выпивъ его, не торопясь, закурилъ еще сигару. Кончивъ это все, началъ онъ одѣваться, какъ бы не хотя. Потомъ, выйдя на улицу, поглядѣлъ на горѣвшее зданіе, и, какъ знатокъ дѣла (Крыловъ въ прежніе годы не пропускалъ ни одного пожара), сказалъ только: «не для чего перебираться.» Крыловъ возвратился въ свою комнату и улегся спать.

Незадолго до его послѣдней болѣзни, изъ Парижа присланы были къ нему для поправки листы съ его жизнеописаніемъ для біографическаго словаря достопамятныхъ людей. «Цускай пишутъ обо мнѣ, что хотятъ», сказалъ, онъ откладывая бумагу, и, только уступивъ усиленнымъ просьбамъ бывшихъ при этомъ свидѣтелей, внесъ туда нѣсколько замѣтокъ.

Предсмертная болѣзнь Крылова произошла отъ несваренія пищи въ желудкѣ. Однажды вечеромъ, по всегдашнему обыкновенію своему, для ужина приказалъ онъ приготовить себѣ протертыхъ рабчиковъ, въ видѣ каши, и облилъ ее масломъ. Это тяжелое кушанье въ прежнее время не оказалось бы для него вреднымъ; но на 77 году жизни вышло противное. Помощь врачей не спасла поэта. Онъ и въ эти минуты сохранялъ, сколько могъ, спокойствіе и даже нѣкоторую веселость. Разговаривая о чемъ бы то ни было, онъ всегда пояснял свои мысли апологами, для которыхъ, въ памяти своей, или даже въ предметахъ, имъ тутъ же видимыхъ, мгновенно находилъ матеріалы. Такъ и про случившееся теперь съ нимъ послѣднее несчастіе онъ рассказалъ Я. И. Ростовцову слѣдующую басню: «Мужикъ собрался отвезти на продажу возъ сушеной рыбы. Лошаденка у него была измученная и слабая. Несмотря на то, онъ навалилъ повлажи столько, сколько можно было увязать. Глядѣвшіе на все это сосѣди смѣялись надъ нимъ, и предсказывали, что быть бѣдѣ съ его лошадыю. А мужикъ имъ въ отвѣтъ все одно: «да вѣдь рыба то су-

пеная!» Но дорогою убѣдился онъ, что непомерная тяжесть должна свалить лошаденку, хотя и сушеною рыбою надсадишь ее. Вотъ и со мною вышло тоже. Не обременять желудка рябчики, подумалъ я: вѣдь они протерты. А лишекъ то все не хорошъ, какъ его ни возьми.»

Когда опасность усилилась, Крыловъ пожелалъ исполнить христіанскій долгъ. Съ тихимъ умиленіемъ встрѣтилъ онъ глазами отца своего духовнаго и съ сердечною благодарностію принялъ утѣшеніе святой вѣры. Передъ самою кончиною, онъ попросилъ перенести себя въ креслы, но, почувствовавъ тоску, сказалъ: «тяжело мнѣ», и снова пожелалъ лечь въ постель. Тамъ скоро произнесъ онъ слабымъ прерывавшимся голосомъ: «Господи! прости мнѣ прегрѣшенія мои.» — Послѣдовавшій затѣмъ глубокій вздохъ былъ послѣднимъ въ его жизни. Онъ скончался утромъ, въ три четверти восьмага часа, въ четвертовъ, 9 ноября 1844 года, 76 лѣтъ, 9 мѣсяцевъ и 7 дней отъ роду. Крыловъ погребенъ въ Александроневской лаврѣ на такъ называемомъ новомъ кладбищѣ, подлѣ Гнѣдича, откуда видна и гробница Карамзина.

На другой день по кончинѣ Крылова, болѣе тысячи особъ въ Петербургѣ получили по экземпляру басенъ его, которыя, начавъ печатать въ 1843 году и кончивъ изданіе подъ собственнымъ надзоромъ, Крыловъ не успѣлъ еще пустить въ свѣтъ. Всѣ эти книги разосланы были въ траурной оберткѣ съ слѣдующими словами, припечатанными на первомъ заглавномъ листѣ: «Приношеніе. На память объ Иванѣ Андреевичѣ. По его желанію. Санктпетербургъ 1844 года, 9 ноября  $\frac{3}{4}$  8-го утромъ.» Драгоценный этотъ подарокъ дѣйствительно предназначаемъ былъ самимъ Крыловымъ, въ изъясненіе благодарности лицамъ, участвовавшимъ въ составленіи юбилейнаго для него торжества.

Съ высочайшаго разрѣшенія открыта была всенародная подписка на сооруженіе памятника Крылову. Вся Россія съ любовію и удовольствіемъ приняла участіе въ томъ. Памятникъ



вышелъ изъ мастерской извѣстнаго нашего ваятеля, барона Клодта, и поставленъ въ Лѣтнемъ саду, въ томъ мѣстѣ, которое всего чаще посѣщается дѣтьми. На гранитномъ пьедесталѣ бронзовая статуя изображаетъ Крылова, въ его обыкновенномъ скруткѣ, сидящаго въ креслахъ и окруженнаго множествомъ звѣрей, птицъ и насѣкомыхъ, постоянныхъ дѣйствующихъ лицъ въ его басняхъ. На бареліефахъ изображены эпизоды изъ лучшихъ его басенъ.

---

ВАСИЛІЙ АНДРЕЕВИЧЪ

## ЖУКОВСКІЙ

(1784 — 1852).

Его стиховъ плѣнительная сладость  
Пройдетъ вѣковъ завистливую даль,  
И, внемля имъ, вздохнетъ о славѣ младость,  
Утѣшится безмолвная печаль,  
И рѣзвая задумается младость.

Пушкинъ.

Жуковскій всю жизнь посвятилъ трудамъ умственнымъ. Отдавшися имъ съ первой молодости, онъ до послѣдняго дня своего считалъ ихъ непремѣннымъ своимъ призваніемъ. Трудамъ умственнымъ назначалъ онъ лучшую часть дня, то есть утро, и потому никогда не вставалъ отъ сна позже пяти часовъ, какъ бы поздно ни ложился, иногда принуждаемый къ тому какими нибудь особенными обстоятельствами. Этотъ недостатокъ сна, необходимаго для здоровья, онъ старался вознаграждать передъ обѣдомъ, когда, по мнѣнію медиковъ, сонъ не тяжелъ и безвреденъ. Рукописи его, какъ у всѣхъ лучшихъ писателей, сохраняютъ слѣды глубокаго вниманія и самой строгой отдѣлки. Какимъ являлся Жуковскій въ своихъ стихахъ, таковъ онъ былъ и въ отношеніи ко всему, обру-

жавшему его въ кабинетѣ. Безвкусія или безпорядка онъ не могъ видѣть передъ собою. У него все приготовляемо было съ опредѣленною цѣлію, всему назначалось мѣсто, на всемъ выказывалась отдѣлка. Чистыя тетради, перья, карандаши, картоны, книги, въ пріятномъ размѣщеніи, ожидали руки его. Огромный высокій столъ, у котораго работалъ онъ стоя, установленъ былъ со всевозможными прихотями для авторскаго занятія. Куда бы онъ ни переселялся, даже на нѣсколько недѣль, первою его заботою было устройство таковаго письменнаго стола. Самую большую и удобнѣйшую изъ своихъ комнатъ, онъ всегда выбиралъ для кабинета, который особенно любилъ украшать бюстами знаменитыхъ мужей.

Люди, отличавшіеся какими бы то ни было талантами, даже только рѣзкими особенностями ума, составляли любимое его общество, когда онъ былъ свободенъ. Но утро, какъ драгоценность, Жуовскій сохранялъ для своихъ трудовъ. Въ дружескомъ собраніи вечеромъ, когда душа поэта ничѣмъ не была тревожима, онъ являлся по большей части веселымъ и шутливымъ. Забавные рассказы, самъ ли онъ предавался имъ, или слушалъ другихъ, долго и живо могли занимать его. Сколько вѣренъ былъ онъ своему призванію, въ уединенные часы занятій, столько же казался не похожимъ на самого себя въ дружескомъ развлеченіи, причемъ однако глубокомысленныя размышленія были не рѣдко проявляемы имъ, но всегда съ благородною скромностію, всегда кротко и безъ малѣйшей обиды чьему бы то ни было самолюбію. Вообще, въ сужденіяхъ, Жуовскій былъ строгъ только къ себѣ, и снисходителенъ къ другимъ. Все то, что должно было рождать насмѣшку и эпиграмму, едва, едва срывало его чуть замѣтную мимолетную улыбку. Но при всемъ томъ онъ не былъ ни сколько педантиченъ, а напротивъ до крайности простъ и доступенъ.

Въ жизни Жуовскаго нѣтъ того заманчиваго разнообразія, какое особенно нравится въ рассказахъ объ историче-

скихъ лицахъ. Онъ родился, 29 января 1784 года, въ селѣ Мишенскомъ, близъ Бѣлева, уѣзднаго города Тульской губерніи. У него было много сестеръ, старше его лѣтами, и потому онъ отъ рожденія былъ въ семьѣ общимъ любимцемъ. Любовь истинная никого не портитъ, а въ маленькомъ Жуковскомъ она еще развила добрыя наклонности и замѣчательныя способности. Черты и выраженіе лица его, ростъ и вся вообще наружность, не напрасно заставляли ожидать отъ мальчика чего то необыкновеннаго. Самыя первыя наклонности его предсказывали въ немъ будущее развитіе вкуса и таланта. Если бы съ первыхъ лѣтъ начали постоянно занимать его рисованіемъ, или музыкою, то, безъ сомнѣнія, на каждомъ поприщѣ онъ достигнулъ бы высокаго совершенства: такъ въ немъ было сильно чувство изящнаго. Въ раннемъ еще дѣтствѣ Жуковскій лишился отца. Онъ остался на попеченіи матери. Сестры были гораздо старше его, такъ что дочери ихъ, его племянницы, сдѣлались его совоспитанницами. Эти семейныя обстоятельства подѣйствовали вопервыхъ на образованіе души его, которая всегда отличалась нѣжностію, благородствомъ, набожностію и какимъ то рыцарствомъ, вовторыхъ на укрѣпленіе самой чистой любви и дружбы между нимъ и его племянницами. Первое ученіе не принесло большой пользы Жуковскому, потому что, какъ это не рѣдко бываетъ, наставники не угадали его призванія: изъ него хотѣли сдѣлать математика, а онъ все оставлялъ для поэзіи. Страсть къ сочиненіямъ театральнымъ обыкновенно прежде всего показывается въ дѣтяхъ съ живымъ воображеніемъ. Она овладѣла и Жуковскимъ, лишь только помѣстили его въ тульское народное училище. Ревностный къ должности своей, учитель, Теофилактъ Гавриловичъ Покровскій, выведенъ былъ изъ терпѣнія невнимательнымъ ученикомъ, и рѣшился, въ назиданіе товарищамъ Жуковскаго, исключить его изъ училища. Это происходило въ 1796 году, когда Жуковскому было двѣнадцать лѣтъ. Для спасенія чести любимца

своего, родные записали будущего поэта въ рязанскій пѣхотный полкъ, квартировавшій тогда въ Кексгольмѣ. Надобно замѣтить, что, по старинному обыкновению, Жуковскій, на второмъ году послѣ рожденія своего, уже былъ записанъ въ астраханскій гусарскій полкъ сержантомъ, а въ 1789 году былъ, трехъ лѣтъ, произведенъ въ прапорщики и даже принятъ (разумѣется, на бумагѣ) въ штатъ генераль-поручика Кречетникова младшимъ адъютантомъ; но черезъ три мѣсяца уволенъ по прошенію отъ службы, безъ награжденія чиномъ. Выборъ этого военного направленія службы объясняется тѣмъ, что между знакомыми родныхъ Жуковского въ Тулѣ жилъ въ постоянномъ отпуску майоръ Дмитрій Гавриловичъ Посниковъ, который вызвался устроить судьбу мальчика. Его одѣли въ мундиръ, и отправили въ Петербургъ для дальнѣйшаго слѣдованія по назначенію. Въ Зимнемъ дворцѣ, поэта ожидало впечатлѣніе, о которомъ любилъ онъ рассказывать, удержавъ его навсегда въ памяти. По случаю большаго выхода, ему достали мѣсто на хорахъ, откуда Жуковскій въ первый и въ послѣдній разъ видѣлъ императрицу Екатерину II.

Между тѣмъ восьмое ноября 1796 года измѣнило положеніе всѣхъ малолѣтнихъ дворянъ въ Россіи, считавшихся въ военной службѣ, которыхъ исключили изъ службы съ тѣмъ, чтобы они до шестнадцатилѣтняго возраста не поступали въ полки, а учились бы и воспитывались бы дома или въ школахъ. Такимъ образомъ Жуковскій вновь очутился въ Тулѣ, гдѣ пробылъ только до начала 1797 года. Въ январѣ родные его отправились съ нимъ въ Москву, желая остаться тамъ до коронаціи новаго императора. Тогда благородный пансіонъ Московскаго университета избранъ былъ мѣстомъ окончательнаго образованія и воспитанія Жуковского. Между товарищами своими по воспитанію, будущій поэтъ встрѣтилъ тѣхъ избранныхъ, по уму и сердцу, которые до конца жизни остались его друзьями. Все здѣсь способствовало къ развитію счастливыхъ его дарованій. По истеченіи годичнаго курса наукъ, уче-

нии обязаны были сами достойнѣйшихъ изъ своего круга избирать въ почетные директоры неклассныхъ своихъ занятій и увеселеній. Въ присутствіи куратора и ближайшаго начальства своего, они подносили избраннымъ товарищамъ лавровые вѣнки, и давали обѣщаніе слѣдовать охотно ихъ распоряженіямъ. Жуковскій, пробывъ менѣе двухъ лѣтъ въ пансіонѣ, удостоенъ былъ этого отличія.

Начало литературныхъ успѣховъ Жуковскаго надобно отнести ко времени пребыванія его въ пансіонѣ. Извѣстно, что, съ 1782 года, при Московскомъ университетѣ существовало *Собраніе университетскихъ питомцевъ*. Подобное общество образовалось и въ пансіонѣ, подъ названіемъ *Собраніе благородныхъ воспитанниковъ университетскаго пансіона*. Такъ какъ умное и дѣльное начальство пансіона почитало самыми вѣрными успѣхами воспитанниковъ только успѣхи, извлекаемые изъ свободной ихъ дѣятельности, наблюдая за нею внимательно, но со стороны, то и дозволено было молодымъ любителямъ словесности, по ихъ собственнымъ соображеніямъ, приготовить самимъ начертаніе устава своего литературнаго общества. Товарищи избрали Жуковскаго въ редакторы устава. Послѣдствія этой юношеской забавы оказались самыми замѣчательными для русской литературы. Она, съ 1800 года, начала принимать въ свои произведенія лучшія краски, лучшее направленіе, тонъ и формы языка.

Въ пансіонѣ Жуковскій оставался до октября 1800 года. Тогда кураторомъ былъ И. П. Тургеневъ, отецъ молодыхъ Тургеновыхъ, учившихся въ пансіонѣ вмѣстѣ съ нашимъ поэтомъ, который приобрѣлъ не только дружбу сыновей, но и родительскую нѣжность ихъ отца. Въ домѣ бывшаго начальнива своего, Тургенева, Жуковскій впервые встрѣтился съ Карамзинымъ и Дмитріевымъ. Они уже тогда почувствовали, чѣмъ можетъ со временемъ явиться этотъ молодой человѣкъ, только что вышедшій изъ дѣтства.

Будучи еще юношею, Жуковскій, изучавшій много ино-

странныхъ языковъ съ самаго дѣтскаго возраста, и знаяши ихъ основательно, перевелъ или скорѣе передалъ нѣсколько стихотвореній извѣстнаго англійскаго поэта Грея. Лучшею изъ этихъ передѣлокъ считается элегія *Сельское Кладбище*, напечатанное въ первомъ томѣ *Полнаго собранія сочиненій Жуковскаго*.

Несмотря на несомнѣнное призваніе свое къ занятіямъ литературнымъ, Жуковскій не устранился отъ общаго служебнаго пути, и получилъ мѣсто въ Москвѣ въ одномъ присутственномъ мѣстѣ, гдѣ состоялъ, до апрѣля 1802 года, дослуживъ до чина титулярнаго совѣтника. Выйдя въ отставку, онъ покинулъ Москву. Его влекло къ себѣ Мишенское со всѣми воспоминаніями его дѣтства. Тамъ еще жили родные его, у которыхъ онъ, и бывши въ пансіонѣ, проводилъ каждое лѣто свои вакаціи. Замѣчательно, что первые стихи, написанные имъ по прибытіи въ деревню, вдругъ поставили его въ разрядъ лучшихъ поэтовъ русскихъ. Это было *Сельское Кладбище*, напечатанное тогда въ журналѣ *Вѣстникъ Европы*, начавшемся, тоже въ 1802 году, подъ редакцію Карамзина, который на другой годъ, говоря о Богдановичѣ и его «Душенькѣ», такъ точно приводилъ въ разборъ своемъ одинъ стихъ изъ элегіи Жуковскаго, какъ бы это было всѣмъ извѣстное мѣсто изъ знаменитыхъ тогда твореній Ломоносова или Державина. Въ Мишенскомъ и Бѣлевѣ написаны были Жуковскимъ и другія его стихотворенія, оконченныя ранѣе 1808 года. Въ Мишенскомъ оставалось семейство сестры его, В. А. Юшковой, бывшей врестною его матерью, которой дочь, А. П. Зонтагъ (племянница Жуковскаго), сама приобрѣла извѣстность въ нашей литературѣ своими сочиненіями для дѣтей; въ Бѣлевѣ же поселилась другая сестра его, К. А. Протасова. Одной изъ дочерей ея, бывшей въ послѣдствіи въ замужествѣ за А. Ѳ. Воейковымъ, посвящены: первая часть *Детнадцати спящихъ дѣвъ* и *Свѣтлана*. Въ Бѣлевѣ, на берегу Ови, Жуковскій построилъ домъ для матери своей,

гдѣ она провела свою тихую старость, и скончалась въ 1811 году.

Карамзинъ два года издавалъ журналъ *Вѣстникъ Европы*, который послѣ него началъ упадать, и упалъ бы совершенно, если бы, въ 1808 году, Жуковскій не принялъ его въ свое завѣдываніе. Онъ возвратилъ изданію ту жизнь и занимательность, которыми оно всѣхъ привлекало къ себѣ при своемъ талантливомъ основателѣ. Жуковскій, принявъ на себя редакцію журнала, принужденъ былъ переселиться въ Москву. Съ 1809 года, онъ принялъ къ себѣ въ сотрудничество М. Т. Каченовскаго, что продолжалось и въ 1810 году, т. е. до прекращенія Жуковскимъ журнальной дѣятельности. Какъ ни кратко былъ періодъ прямыхъ сношеній его съ публикою, однако онъ доставилъ поэту твердое и блестящее положеніе въ общемъ мнѣніи. Карамзинъ и другія лица, умомъ своимъ и образомъ мыслей составлявшія вѣнецъ избраннаго тогдашняго общества, признали въ молодомъ двадцатипятилѣтнемъ Жуковскомъ лучшую надежду русской литературы. Освободившись отъ срочной работы, Жуковскій началъ жить только для поэзіи. Съ его именемъ соединялось въ тогдашнемъ молодомъ поколѣніи предчувствіе какого то нравственнаго разсвѣта. Стихи его быстро переходили изъ рукъ въ руки, и являлись часто въ печати не только въ Москвѣ, но даже въ Петербургѣ, гдѣ, въ 1807 году, издано было особою брошюрою стихотвореніе его *Пѣснь Барда надъ гробомъ славянъ побѣдителей*. Когда скончалась мать Жуковскаго, онъ поселился въ Муратовѣ (Орловской губерніи, Болховскаго уѣзда), въ деревнѣ сестры своей, К. А. Протасовой, переѣхавшей туда изъ Бѣлева съ семействомъ. Сельская жизнь постоянно влекла его къ тихимъ удовольствіямъ. Жуковскій окруженъ былъ обществомъ людей, которые любили его искренно и наслаждались его счастіемъ, какъ собственнымъ. Равная ихъ образованность и одинаковый вкусъ искали сходныхъ занятій и удовольствій. Тамъ то изученъ былъ Жуковскимъ Шиллеръ, съ тою высо-



кою, благоговѣйною любовію къ германскому гению, которая отразилась во всѣхъ твореніяхъ нашего поэта. Жуковскому исполнилось двадцать шесть лѣтъ. Ощущенія свои, столь же чистыя какъ и живыя, столь же сильныя, какъ и возвышенныя, онъ изобразилъ тогда преимущественно въ *Посланіи къ Батюшкову* и въ первой части *Детнадцати спящихъ дѣвъ*.

Къ семейству, посреди котораго жилъ Жуковскій, дружба и уваженіе привлекали изъ сосѣдства многихъ другихъ лицъ, которыя умѣли дѣлать благородныя забавы ума. Такъ, на примѣръ, семейство А. А. Плещеева содѣйствовало разнообразію ихъ общихъ удовольствій.

Давно занимался Жуковскій составленіемъ сборника, который можно было бы назвать соединеніемъ всего лучшаго въ русской поэзіи. На подобіе греческой антологіи, такіе сборники задолго до него извѣстны были въ литературахъ нѣмецкой, французской и англійской. Сборникъ этотъ началъ съ 1810 года являться въ свѣтъ, и назывался: *Собраніе русскихъ стихотвореній, взятыхъ изъ сочиненій лучшихъ стихотворцевъ російскихъ и изъ многихъ русскихъ журналовъ*.

Въ іюлѣ 1812 года, обнаруженъ былъ высочайшій манифестъ о составленіи военной силы. Начинаясь знаменитая отечественная война. Въ слѣдующемъ же мѣсяцѣ Жуковскій поступилъ въ московское ополченіе въ чинѣ поручика. Постоянно находясь при дежурствѣ главнокомандующаго арміями, князя Кутузова-смоленскаго, Жуковскій, уже въ ноябрѣ того же года, за отличіе въ сраженіяхъ, награжденъ былъ чиномъ штабсъ-капитана и орденомъ св. Анны 2-й степени. Онъ сопровождалъ главную квартиру до Вильно, гдѣ занемогъ опасною горячкою, и въ состояніи безпамятства былъ тамъ оставленъ съ другими больными. Въ декабрѣ 1812 года, ополченіе было распушено, и онъ получилъ увольненіе отъ московской военной силы. Изнуренный усталостію и еще не выздоровѣвшій, онъ возвратился къ своимъ въ Муратово. Этотъ короткій періодъ его жизни внесъ въ исторію дѣло,

о которомъ никогда не забудеть Россія. Послѣ отдачи Москвы непріятелю, передъ сраженіемъ при Тарутинѣ, Жуковскій написалъ стихотвореніе: *Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ*. Впечатлѣніе, произведенное этимъ стихотвореніемъ не только на войско, но и на всю Россію, неизобразимо. Это былъ воинственный восторгъ, объявшій сердца всѣхъ. Каждый стихъ повторяемъ былъ какъ завѣтное слово. Императрица Марія Ѳеодоровна, прочитавъ это стихотвореніе Жуковскаго, приказала просить автора, чтобы онъ доставилъ ей «на память» экземпляръ стиховъ, собственною рукою его переписанный, и приглашала его въ Петербургъ. Не чувствуя себя еще въ силахъ на поѣздку, онъ отправилъ требуемый экземпляръ, прибавивъ новое стихотвореніе, начинающееся словами:

«Мой слабый даръ Царица ободряеть...»

Только въ 1815 году Жуковскій наконецъ прибылъ въ Петербургъ. Немедленно удостоенный самаго милостиваго приема у государыни, онъ тутъ же получилъ назначеніе быть чтецомъ у ея величества. Павловскъ тогда сдѣлался средоточіемъ лучшимъ писателей нашихъ: Карамзинъ, Крыловъ, Дмитріевъ, Нелединскій, Гнѣдичъ и Жуковскій являлись на вечернихъ бесѣдахъ августѣйшей покровительницы отечественныхъ талантовъ. Въ теченіе 1816 года, Жуковскій привелъ къ окончанію первое изданіе стихотвореній своихъ, написанныхъ въ разное время. Они явились въ двухъ томахъ, и приняты были всѣми съ восхищеніемъ. Когда министръ народного просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ, князь А. Н. Голицынъ, представилъ императору Александру Павловичу экземпляръ этихъ стихотвореній, государь выразилъ автору совершенное свое удовольствіе, пожаловавъ ему брильянтовый перстень съ вензеловымъ своимъ изображеніемъ и 4,000 руб. ассигнаціями ежегоднаго пожизненнаго пенсіона. Вскорѣ талантъ и мастерское знаніе русскаго языка, равно какъ качества души, еще

болѣе обратили на себя вниманіе государя, избравшаго Жуковскаго для преподаванія уроковъ русскаго языка тогдашней великой княгинѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Какъ ни строго исполнялъ Жуковскій свои обязанности въ новой должности, поэтически дѣятельная мысль его изобрѣла средство слить въ одно занятіе поэзію и языкоученіе. Августѣйшая слушательница уроковъ его помнила наизусть лучшія небольшія стихотворенія первоклассныхъ нѣмецкихъ поэтовъ. Преподаватель русскаго языка, одаренный необыкновеннымъ талантомъ возсозидать всякое произведеніе поэзіи на языкѣ отечественномъ, не измѣняя не только идей и красотъ его, но сохраняя даже въ каждомъ стихѣ число и порядокъ его словъ, началъ переводить эти перлы германской поэзіи. Можно вообразить всю занимательность и прелесть преподаванія, когда основаніемъ урока служило чтеніе восхитительныхъ стиховъ на двухъ языкахъ; когда одни и тѣ же мысли, рассказы, описанія, картины незамѣтно напечатлѣвались въ умѣ, обогащая память не звуками безъ образовъ, а проникающими въ душу словами, изъ которыхъ при каждомъ порусски оставалось все то, что такъ было неразлучно при немъ же понѣмцеи. Въ 1818 году, Жуковскій въ прекрасномъ стихотвореніи привѣтствовалъ свою августѣйшую ученицу, по случаю рожденія ея первенца, нынѣ царствующаго императора Александра II.

Въ 1821 году, великій князь Николай Павловичъ, съ великою княгинею Александрою Ѳеодоровною, ученицею Жуковскаго, отправился въ заграничное путешествіе. Жуковскій былъ въ числѣ лицъ, составлявшихъ дворъ ихъ высочествъ, и сопровождавшихъ ихъ въ этомъ путешествіи. Не суетныя развлеченія питали душу поэта: прекрасная природа повѣяла на него плодотворнымъ вдохновеніемъ. Никогда поэтическая дѣятельность его не являлась столь производительною, какъ въ продолженіе этой очаровательной поѣздки. Онъ успѣлъ въ одинъ годъ, не считая мелкихъ стихотвореній, подарить русской литературѣ три поэмы. Вотъ ихъ заглавія: *Орлеанская*

*дтва*, Шиллера, *Пери и Ангелъ*, Мура и *Шиліонскій узникъ*, Байрона.

Великолѣпныя празднества и приготовленія въ Берлинѣ, въ честь августѣйшихъ гостей, равно вдохновляли поэта. Индійская поэма *Лалла-Рукъ*, Мура, навела берлинскій дворъ на мысль устроить чудный маскарадъ въ восточномъ вкусѣ. Представленіе героини поэмы удостоила принять на себя сама великая княгиня. Стихи Жуковскаго, изображающіе Лалла-Рукъ, восхитительны.

По возвращеніи въ Петербургъ, Жуковскій поселился ближе къ Аничкову дворцу. Въ первомъ году по прибытіи изъ за границы, Жуковскій отдѣльно издалъ поэму *Шиліонскій узникъ*, приготовляя уже къ печатанію всѣ стихотворенія свои *третьимъ изданіемъ*, которое и явилось въ 1824 году.

Императоръ Николай Павловичъ, по вступленіи своемъ на престоль, избралъ его въ наставники при воспитаніи великаго князя наследника, нынѣ благополучно царствующаго императора Александра Николаевича. Можетъ быть, послѣ добродѣтельнаго Фенелона, ни одно лицо не приступало къ исполненію этой священной должности съ такимъ страхомъ и благоговѣніемъ, какъ Жуковскій. Августѣйшему питомцу его совершилось тогда семь лѣтъ. Сколько можно было придумать для этого нѣжнаго возраста занятій, легкихъ, но необходимыхъ въ полномъ кругу постепеннаго ученія, все это устроилъ предусмотрительный наставникъ. Онъ до того простеръ пламенную свою ревность въ этомъ святомъ дѣлѣ, что первые уроки каждаго предмета передавалъ самъ, желая на опытѣ убѣдиться, дѣйствительно ли они соотвѣтствуютъ его предположеніямъ, озабочиваясь между тѣмъ раздѣленіемъ этого труда между достойнѣйшими по каждой части лицами, безъ чего занятія не получили бы законной своей характеристики, и самъ онъ изъ наблюдателя превратился бы въ сухаго энциклопедиста. Жуковскій, съ полнымъ безпристрастіемъ, съ удивительнымъ вниманіемъ и осторожностію, из-

бралъ людей, которые должны были дѣйствовать подъ его главнымъ надзоромъ. Между тѣмъ постоянные труды и заботы разстроили и безъ того не крѣпкое здоровье Жуковскаго, который съ тѣмъ вмѣстѣ глубоко сознавалъ необходимость обширнѣйшихъ пріобрѣтеній для себя по части педагогій. Чтобы возстановить слабое здоровье свое, и тутъ же извлечь пользу для своей должности, въ 1826 году, онъ снова собрался за границу. Въ октябрѣ 1827 года, Жуковскій возвратился въ Петербургъ. Все его вниманіе обращено было на изученіе разныхъ системъ воспитанія. Особенно проведенная имъ зима въ Дрезденѣ посвящена была этому занятію. Ни одного стихотворенія онъ не написалъ ни въ 1826, ни въ 1827 годахъ: такъ свято читалъ онъ обязанности долга своего. За то портфель его и библіотека пріяли много сокровищъ, привезенныхъ изъ путешествія. Въ его отсутствіе явилось вторымъ изданіемъ *Собраніе сочиненій и переводовъ В. Жуковскаго въ прозѣ*, напечатанное въ 4-хъ томахъ въ Петербургѣ.

Занимаясь наблюденіемъ за образованіемъ государя наследника, Жуковскій въ то же время озабочивался и учебнымъ воспитаніемъ великихъ княженъ Маріи Николаевны и Ольги Николаевны. Высокая довѣренность государя и государыни возложили на него и эту лестную обязанность. Онъ получилъ для жительства своего комнаты въ той части Зимняго дворца, гдѣ нынѣ съ необыкновеннымъ великолѣпіемъ устроены императорскій музеумъ. Ежедневно, лишь только должны были начинаться уроки, поэтъ, наставникъ порфиродныхъ дѣтей, являлся для присутствія при нихъ, и, полный вниманія, оживленный участіемъ, за всѣмъ слѣдовалъ неослабно. Ничего нельзя вообразить умильнѣе картины, какою представляло это соединеніе, съ одной стороны, людей въ зрѣломъ возрастѣ, стройно, ясно и назидательно излагающихъ важныя истины, занимательныя событія, или увлекательныя описанія, а съ другой жадное вниманіе отроческаго возраста, ищущаго всему причины и усиливающагося все усвоить своей есте-

ственной любознательности. Жуковский был неутомимъ въ изысканіи средствъ, которыя, облегчая приобрѣтеніе, въ то же время и укрѣпляли бы его въ умѣ и памяти. Его жилище превратилось въ мастерскую ученаго художника, гдѣ по особннымъ планамъ готовились всѣ пособія для классныхъ комнатъ. Но ни одна наука такъ не занимала его, какъ исторія, эта по преимуществу наука царей. Обработыванію ея пособій онъ посвятилъ наибольшую часть драгоценныхъ изобрѣтеній своихъ. Въ неусыпныхъ трудахъ его незамѣтно протекло полныхъ пять лѣтъ со времени послѣдняго его путешествія. Ежегодно производились испытанія во всѣхъ пройденныхъ предметахъ. Императоръ Николай Павловичъ и императрица Александра Федоровна, съ довѣренными особами, приглашаемыми по уваженію специальныхъ свѣдѣній ихъ въ разныхъ частяхъ преподаваемыхъ наукъ, каждый разъ присутствовали на экзаменахъ. Успѣхи соответствовали ожиданіямъ августѣйшихъ родителей. Воздѣленная Жуковскимъ гармонія въ педагогическихъ занятіяхъ и счастливое движеніе всѣхъ частей ученія смягчили наконецъ тяжкія его заботы. Онъ началъ пользоваться нѣкоторыми свободными часами и ловить быстрыя минуты вдохновенія. Въ первый разъ въ это время оно слѣло къ нему, для изображенія картины, глубокою скорбію поразившей всю Россію. Это было трогательное успокоеніе отъ долгихъ подвиговъ благотворительности императрицы Маріи Федоровны. Жуковский, у гроба ея величества, въ ночи, наканунѣ погребенія тѣла ея, излил свои чувства въ стихахъ, полныхъ слезъ искреннихъ, какъ вѣрный истолкователь тѣхъ горькихъ чувствъ, которыя переполняли тогда сердце каждаго русскаго.

Въ 1831 году, въ первое появленіе въ Петербургѣ холеры, императорскій дворъ, по отбытіи своемъ на осень изъ Петергофа въ Царское Село, оставался тамъ долѣ обыкновеннаго. Жуковский, нигдѣ не ослабляя строгаго исполненія прямой своей обязанности, случайно попалъ тогда на новую

для себя дорогу въ поэзіи. Въ это время изъ Москвы прибылъ въ Царское Село Пушкинъ, и рѣшился провести тутъ осенніе мѣсяцы. Онъ тогда только что женился. Ему отрадно было насладиться новымъ счастьемъ въ тѣхъ мѣстахъ, подъ тѣми липами и вленами, которые лелѣяли его лицейскую молодость. Понятно, что не проходило дня, въ которой поэты не рассказывали бы другъ другу о своихъ литературныхъ занятіяхъ. Пушкинъ въ эту эпоху увлеченъ былъ русскими сказками. Онъ тогда между прочимъ написалъ своего *Салтана и Гвидона*. Жуковскій съ восхищеніемъ выслушивалъ игривыя рѣчи своего друга. Чтобы не отстать отъ него, онъ и самъ принялся за этотъ родъ поэзіи. Такимъ образомъ явились *Берендей*, *Спящая царица* и *Война мышей съ лягушками*. Въ это же время написаны и вмѣстѣ изданы *Три стихотворенія на взятіе Варшавы*, Жуковскаго и Пушкина. *Баллады* свои и *Поэсты въ стихахъ*, Жуковскій напечаталъ, въ 1831 году, отдѣльною книгою. Продолжительныя занятія, не прерываемыя какими либо развлеченіями, или перемѣною образа жизни, снова начали неблагоприятно дѣйствовать на здоровье Жуковскаго, вообще расположеннаго къ недугамъ людей, не покидающихъ кабинета. Не только тѣлесное ослабленіе отнимало у него силы къ продолженію трудовъ, но на самомъ характерѣ его и на расположеніи духа видимо отражалось расстройство здоровья. Это побудило его, въ 1832 году, предпринять третіе путешествіе за границу. Тѣмъ удобнѣе онъ могъ на это рѣшиться, что въ сердцѣ своемъ сознавалъ прочность, правильность и благоуспѣшность ученія, уже развитаго по его началамъ въ образованіи наследника престола. Жуковскій въ нынѣшній разъ не былъ стѣсненъ въ своихъ мысляхъ, и свободно могъ какъ лечиться, такъ и заниматься поэзіею. Ему удалось прекрасно исполнить и то и другое. Въ собраніи стихотвореній его, этотъ годъ поѣздки за границу красуется на такихъ произведеніяхъ, которыя внесли въ нашу литературу удивительную прелесть. Особенно

ничто не может сравниться съ неподражаемою простотою его *Романсовъ о Сидѣ*, съ этою неувыдающею поэзіею испанскаго народа, котораго рыцарскія доблести и христіанскія чувствованія сіяютъ въ европейской исторіи. Большую часть времени своего Жуковскій провелъ тогда въ Швейцаріи.

Годъ и три мѣсяца пробылъ Жуковскій за границею. Въ Швейцаріи же написалъ онъ первыя три главы своей *Ундины*. Въ началѣ сентября 1833 года, прибылъ онъ къ своей должности, и съ новыми силами принялся за ежедневные труды.

Приближалось время окончанія первоначальнаго ученія наслѣдника престола; наступило время серіознаго развитія. Всѣ части преподаванія приведены были въ такое положеніе, чтобы, въ 1837 году, свободно и въ полнотѣ, онѣ достигли своего окончанія. При божіей помощи ревностно шель путеводитель къ своей цѣли съ подерѣпленными силами въ душѣ. Поэзія была на время отложена. Только 1834 годъ, памятный торжествомъ присяги государя наслѣдника, заставилъ его стихами отозваться на это событіе. Его умилительная *Пѣснь*, оканчивающаяся прекраснымъ обращеніемъ къ Россіи, перешла въ достояніе народной памяти. *Многотіе Государю* и *Три народныя пѣсни* явились тогда же.

Въ послѣдніе годы ученія августѣйшаго воспитанника, Жуковскій только предоставилъ право полного изданія своихъ *Сочиненій въ стихахъ и прозѣ*, которое было четвертое, и явилось въ восьми томахъ: изъ нихъ семь напечатаны въ 1835, а послѣдній въ 1837, всѣ въ Петербургѣ. Правда, было одно лѣто, которое удалось Жуковскому исполнѣ посвятить поэзіи. Это случилось въ 1836 году. Онъ провелъ тогда часть лѣтнихъ мѣсяцевъ близъ Дерпта. Тамъ то взялся онъ за оставленную имъ поэму *Ундину*.

Зима 1837 года употреблена была Жуковскимъ на совокупныя работы съ К. И. Арсеньевымъ, по составленію *Путеуказателя* для путешествія государя наслѣдника по Рос-



си. 2-го мая, изъ Царскаго Села, цесаревичъ съ свитою отправился въ это путешествіе. Двѣ трети года посвящены были изученію отечества, не въ кабинетѣ, а лицомъ къ лицу со всякимъ замѣчательнымъ предметомъ. Изъ путешествія съ наслѣдникомъ престола по Россіи, Жуковскій прибылъ въ Петербургъ 17 декабря 1837 года. Онъ разсказывалъ, что уже въ Тоснѣ, за 50 верстъ отъ столицы, увидѣлъ зарево, а въ десяти верстахъ узналъ, какое бѣдствіе въ городѣ: горѣлъ Зимній дворецъ. Найдя въ комнатахъ своихъ все въ цѣлости, такъ что ничто даже съ мѣста не было тронута, онъ съ трогательнымъ простодушіемъ говорилъ: «Мнѣ было какъ то стыдно!»

Въ 1838 году, предстояло Жуковскому отправиться въ другое путешествіе, также въ свитѣ государя наслѣдника, который, по волѣ державнаго своего родителя, предпринялъ обзорѣніе Европы. Во время путешествія по Европѣ въ 1838 году, Жуковскій написалъ драматическую поэму *Камоэнсъ*. На заимствованномъ основаніи онъ воздвигнулъ собственное зданіе, въ которомъ возвышенныя его идеи сіяютъ изумительнымъ свѣтомъ. Во время бородинскихъ маневровъ, при открытіи бородинскаго памятника, онъ написалъ стихотвореніе *Бородинская годовщина*, которое принадлежитъ къ числу лучшихъ произведеній его таланта.

Жуковскому, въ 1840 году, исполнилось пятьдесятъ шесть лѣтъ. Государю своему какъ подданный, своему отечеству какъ гражданинъ, свѣту какъ поэтъ—онъ отслужилъ сорокъ лѣтъ вѣрно, честно и славно. Высокое званіе наставника наслѣдника престола онъ слагалъ съ себя безмятежно, съ чистою совѣстію, сопровождаемый признательностію монарха, нѣжною любовію августѣйшаго питомца и справедливою благодарностію соотечественниковъ.

По возвращеніи въ Петербургъ изъ за границы въ 1841 году, онъ занялся приготовленіями къ окончательному отъѣзду за границу, гдѣ ожидала его невѣста, Елисавета Рейтернъ, и

тихая семейная жизнь; имъ еще неиспытанная, и тѣмъ болѣе желаемая. Жуковский имѣлъ счастье присутствовать при бракосочетаніи бывшаго своего августѣйшаго воспитанника, наслѣдника цесаревича, и сердцемъ его избранной августѣйшей невѣсты. Милости царскія къ наставнику порфиророднаго первенца превзошли ожиданія всѣхъ. Государь Императоръ соизволилъ, чтобы Жуковскому до смерти предоставлено было все, чѣмъ онъ пользовался по должности наставника. Ему позволено жить тамъ, гдѣ онъ найдетъ для себя удобнѣе и пріятнѣе. Особенная сумма назначена была на первое обзаведеніе его хозяйства. Онъ былъ произведенъ въ тайные совѣтники. Но самую неопѣвненную для себя наградою почиталъ Жуковский высочайшее повелѣніе, чтобы онъ и въ отсутствіе свое всегда считался состоящимъ на службѣ при его императорскомъ высочествѣ государѣ цесаревичѣ. По собственному выраженію Жуковского, «Государь устроилъ его будущее какъ добрый заботливый отецъ.» Отъѣздъ Жуковского изъ Петербурга въ Дюссельдорфъ былъ назначенъ 21 апрѣля 1841 года; онъ писалъ: «Я ѣду черезъ десять дней, то есть, 30 апрѣля или 1 мая. Надѣюсь, что 21 мая въ Штутгартѣ будетъ моя свадьба. Въ этотъ день вспомните обо мнѣ. Число это уже вырѣзано на обручальныхъ кольцахъ, которыя прислала мнѣ сестра, и для которыхъ всѣ мои сложились.»

Новая жизнь началась въ полномъ смыслѣ поэтически. Въ Дюссельдорфѣ, почти за городомъ, въ виду Рейна, наняты были два дома, раздѣленные садомъ. Въ одномъ жилъ Рейтернъ (другъ Жуковского, отецъ его жены) съ своею семьею. Онъ во всемъ значеніи слова былъ художникъ. Живопись была жизнь его. Въ другомъ поселился Жуковский съ женою, съ поэзіею своею и всѣми радостями счастливѣйшей жизни. Каждое существо этой поэтической колоніи всею душею привязано было къ исполненію долга, возлагаемаго на насъ религіею, обществомъ, семействомъ и призваніемъ. Къ обѣду и вечеромъ всѣ сходились вмѣстѣ. Для образца русскихъ народ-

ныхъ сказокъ, Жуковскій доставилъ изъ-за границы для напечатанія одну, подъ названіемъ *Сказка объ Иванѣ Царевичѣ и Стрѣлѣ Волкѣ*.

Богъ благословилъ поэта двумя прелестными малютеами; но здоровье юной матери до того разстроилось, что, какъ не былъ Жуковскій привязанъ къ своему мирному Дюссельдорфу, онъ приведенъ былъ наконецъ въ необходимость покинуть тихій Дюссельдорфъ, и поселиться во Франкфуртѣ на Майнѣ, чтобы находиться ближе къ лучшимъ врачамъ. Къ этимъ домашнимъ внутреннимъ тревогамъ, въ послѣдствіи времени присоединились внѣшнія отъ политическихъ событій. Послѣ трудныхъ переѣздовъ, Жуковскій утвердился въ Баденъ-Баденѣ. Но на его сердцѣ лежала еще тоска по отчизнѣ. Каждый годъ въ мысляхъ приготовлялъ онъ себя радость свиданія съ друзьями и родиною; но недуги больной требовали отсрочки и пребыванія въ климатѣ умѣренномъ. Въ 1847 году, Жуковскій приготовилъ къ изданію два тома своихъ стихотвореній, назвавъ ихъ въ печати *Новыми Сверхъ Повѣстей и Сказокъ*, тутъ явилась поэма *Рустемъ и Зорабъ* и первая половина *Одиссеи*.

Едва успѣлъ онъ, въ концѣ 1848 года, расположиться на постоянное жительство въ Баденъ-Баденѣ, и уже приступилъ ко второй половинѣ *Одиссеи*, какъ снова болѣзнь молодой жены его и разстроенныя денежные обстоятельства заставили его, пользуясь находженіемъ императора Николая Павловича въ Варшавѣ, оставить свой мирный семейный кровъ, и ѣхать въ Варшаву, чтобы, какъ онъ писалъ къ друзьямъ въ Петербургъ, «изложить предъ государемъ императоромъ мои жалкія обстоятельства. Его величество удостоилъ принять меня несказанно милостиво, и позволилъ мнѣ остаться за границею столько времени, сколько потребуютъ обстоятельства.»

Со времени появленія въ печати перваго сочиненія, написаннаго Жуковскимъ еще въ ранней юности, въ 1849 году

исполнилось ровно *пятьдесятъ лѣтъ*. Этимъ обстоятельствомъ воспользовался князь П. А. Вяземскій, чтобы въ Петербургѣ отпраздновать юбилей авторской жизни отсутствующаго друга. Днемъ праздника было избрано 29-е января, день рожденія Жуковскаго. Приглашены были въ квартиру князя всѣ друзья поэта, бывшіе тогда въ столицѣ. Собраніе осчастливлено было присутствіемъ государя великаго князя наслѣдника, удостоившаго принять участіе въ торжествѣ, въ честь бывшаго своего наставника и знаменитаго русскаго писателя. Учредитель праздника написалъ на этотъ случай два стихотворенія. Одно было прочитано, а для другаго написана музыка, и его пропѣли. Императоръ Николай Павловичъ, въ изъявленіе благоволенія своего въ пятидесятилѣтнимъ трудамъ Жуковскаго, пожаловалъ поэту, въ бытность его въ Варшавѣ, орденъ Бѣлаго Орла. Въ іюнѣ 1850 года, Жуковскій послалъ въ Петербургъ собраніе новыхъ сочиненій своихъ въ прозѣ, рѣшившись прибыть въ Россію въ концѣ осени. Между тѣмъ состояніе здоровья его не позволило совершиться этимъ предположеніямъ его.

Въ продолженіе этихъ лѣтъ Жуковскій успѣлъ кончить пятое (послѣднее при жизни его) изданіе полного собранія *Сочиненій въ стихахъ и прозѣ*, напечатанное въ Карлсруэ, и отправилъ его въ Петербургъ, куда окончательно приготовился переѣхать и самъ съ семействомъ. Все было даже уложено. Это происходило въ первой половинѣ іюля 1851 года. Но, за два дня передъ отъѣздомъ въ Россію, подагрическая матерія бросилась въ его глазъ. Чтобы сохранить другой, ему завязали оба глаза, и началось продолжительное леченіе. Выздоровленіе не приходило. Но Жуковскій не переставалъ заниматься, какъ могъ, и еще все думалъ о переѣздѣ въ Россію. Постоянно памятуя и исполняя все, соблюдаемое православными христіанами, Жуковскій, еще въ февралѣ 1852 года, пригласилъ изъ Штутгарта священника нашего Іоанна Базарова, чтобы онъ прибылъ въ Баденъ-Баденъ. Отецъ

духовный прибылъ въ понедѣльникъ на еоминной недѣлѣ, 7-го апрѣля (старого стиля), а въ ночи на субботу, въ часть и тридцать семь минутъ, нервное и тяжелое дыханіе больного внезапно прекратилось. Погребеніе усопшаго происходило въ понедѣльникъ, 14-го апрѣля, въ шесть часовъ пополудни. Сверхъ русскаго священника за гробомъ шель римско-католическій деканъ города Бадена, желая всенародно выразить то чувство уваженія, которое вселилъ въ сердца чужеземцевъ нашъ бессмертный поэтъ добродѣтельною своею жизнью. Тѣло его поставлено было въ склепѣ на загородномъ баденскомъ кладбищѣ. По желанію вдовы Жуковскаго, которой болѣе всѣхъ извѣстно, какъ пламенно любилъ свое отечество нашъ бессмертный поэтъ, тѣло его перевезено было въ Петербургъ. Здѣсь, въ Александроневской лаврѣ, въ присутствіи государя цесаревича наследника, нынѣшняго Императора, и великой княгини Маріи Николаевны, при многочисленномъ стеченіи почитателей и друзей поэта, 29-го іюля 1852 года, отпѣта была надъ нимъ панихида. Жуковский покойся подлѣ Карамзина. Нынѣ, на собранныя по подпискѣ деньги, воздвигнуть мавзолей на могилѣ Жуковскаго. Въ родномъ его городѣ Бѣлевѣ сооруженъ ему памятникъ на городской площади и въ память его открыта тамъ общая публичная библіотека, подъ названіемъ Бѣлевской библіотеки въ память В. А. Жуковскаго.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ

## ГОГОЛЬ - ЯНОВСКІЙ

(1809 — 1852).

Сынъ полковаго писаря \*), Василій Аонасьевичъ Гоголь, отецъ поэта, былъ человѣкъ весьма замѣчательный. Онъ обладалъ даромъ рассказывать занимательно о чемъ бы ему ни вздумалось и приправлялъ свои рассказы врожденнымъ малороссійскимъ комиссомъ. Во время рожденія Николая Васильевича, онъ имѣлъ уже чинъ коллежскаго ассессора, что въ тогдашней провинціи было рѣшительнымъ доказательствомъ, во первыхъ, умственныхъ достоинствъ, а вовторыхъ, бывалости и служебной дѣятельности. Это уже одно заставляеть насъ предполагать въ немъ извѣстную степень образованности теоретической или практической, все равно; но, сверхъ того, мы имѣемъ еще другое доказательство высшаго умственнаго его развитія. Такимъ образомъ занимательность его рассказовъ объясняется не однимъ врожденнымъ краснорѣчіемъ; онъ много зналъ, много видѣлъ и много испыталь — это не подлежитъ сомнѣнію. Но какъ бы то ни было,

---

\*) Въ малороссійскомъ казачествѣ полковны писарь былъ какъ бы начальникомъ штаба.

только его небольшая наследственная деревня, Яновщина, или, какъ она называется теперь въ околоткѣ, Васильевка, сдѣлалась центромъ общественности всего околотка. Гостепріимство, умъ, краснорѣчивая говорливость и рѣдкій комисмъ хозяина привлекали туда близкихъ и далекихъ сосѣдей. Тутъ то бывали настоящіе «вечера на хуторѣ», которые Николай Васильевичъ, по особенному обстоятельству, помѣстилъ возлѣ Диваньки; тутъ то онъ видалъ этихъ неистощающихся балагуровъ, этихъ оригиналовъ и деревенскихъ франтовъ, которыхъ изобразилъ потомъ, нѣсколько окаррикуиривъ, въ своихъ несравненныхъ предисловіяхъ къ повѣстямъ Рудаго Панька.

Въ сосѣдствѣ деревни Васильевки, именно въ селѣ Кибинцахъ, поселился извѣстный Дмитрій Прокофьевичъ Трощинскій, геній своего рода, который изъ бѣднаго казачьяго мальчика умѣлъ своими способностями и заслугами возвыситься до степени министра юстиціи. Уставъ на долгомъ пути, почтенный старецъ отдыхалъ въ сельскомъ уединеніи, посреди близкихъ своихъ домашнихъ и земляковъ. Отецъ Гоголя былъ съ Трощинскимъ въ родствѣ по женѣ своей, и находился съ нимъ въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Таеъ и должно было случиться неизбѣжно. Оригинальный умъ и рѣдкій даръ слова, какими обладалъ родственникъ сосѣдъ, были оцѣнены вполне воспитанникомъ высшаго столичнаго круга. Съ своей стороны, Василій Аванасьевичъ Гоголь не могъ найти ни лучшаго собесѣдника, какъ бывшаго министра, ни обширнѣйшаго и болѣе избраннаго круга слушателей, какъ тотъ, который собирался въ домѣ государственнаго человѣка, отдыхавшаго на родинѣ послѣ долгихъ трудовъ. Тотъ и другой открыли въ себѣ взаимно много родственнаго, много общаго, много одинаково интересующаго.

Въ то время Котляревскій только что выступилъ на сцену съ своею *Наташкою Полтавскою* и *Москалемъ Чаричникомъ*, піесами, до этихъ поръ неисключенными изъ репертуара провинціальныхъ и столичныхъ театровъ. Комедіи изъ родной

сферы, послѣ переводовъ съ французскаго и нѣмецкаго, понравились малороссіянамъ, и не одинъ богатый помѣщикъ устраивалъ для нихъ домашній театръ. Тоже сдѣлалъ и Трощинскій. Собственная ли это его была затѣя, или отецъ Гоголя придумалъ для своего сосѣда новую забаву, не знаемъ, только старикъ Гоголь былъ дирижеромъ такого театра и главнымъ его актеромъ. Этого мало: онъ ставилъ на сцену пьесы собственнаго сочиненія на малороссійскомъ языкѣ. Во всякомъ случаѣ, Николай Гоголь въ самомъ раннемъ возрастѣ былъ окруженъ литературною и театральною сферою, и такимъ образомъ тогда уже былъ для него намѣченъ предстоявшій ему путь. Онъ, можно сказать, подъ домашнимъ кровомъ получилъ первые уроки декламации и сценическихъ приемовъ, которыми въ послѣдствіи восхищалъ близкихъ своихъ друзей. Онъ вступилъ въ первое учебное заведеніе уже съ ясными понятіями о литературѣ. Дѣйствительно, въ Нѣжинской гимназіи мы находимъ его уже писателемъ, даже журналистомъ и отличнымъ актеромъ.

Гоголь получилъ первоначальное воспитаніе въ Полтавскомъ повѣтовомъ училищѣ, по окончаніи котораго былъ два года въ первомъ классѣ Полтавской гимназіи, а оттуда уже поступилъ сперва своекоштнымъ пансіонеромъ, а черезъ годъ казеннокоштнымъ воспитанникомъ въ гимназію высшихъ наукъ князя Безбородко, что нынѣ Нѣжинскій лицей. Причиной этого перевода были особенныя права, присвоенныя Нѣжинской гимназіи, а можетъ быть и смерть младшаго брата его, Ивана, въ Полтавѣ. Гоголь былъ нѣжно привязанъ къ брату, и упоминалъ о немъ всегда съ глубокимъ чувствомъ въ бесѣдахъ съ друзьями своего дѣтства.

Въ юности Гоголь представляется намъ красивымъ блондиномъ мальчикомъ, въ густой зелени сада Нѣжинской гимназіи, у водъ поросшей камышемъ рѣчки, надъ которою взлетаютъ чайки, возбуждавшія всегда въ немъ грезы о родинѣ. Онъ любимецъ своихъ товарищей, которыхъ привлекала къ нему его



неистощимая шутливость; но изъ числа ихъ только немногихъ, и самыхъ лучшихъ по нравственности и способностямъ, онъ избираетъ въ товарищи своихъ ребяческихъ затѣй, прогулокъ и любимыхъ бесѣдъ, и эти немногіе пользовались только въ нѣкоторой степени его довѣріемъ. Онъ многое отъ нихъ скрывалъ, по видимому безъ всякой причины, или облегалъ таинственнымъ покровомъ шутки. Рѣчь его отличалась словами малоупотребительными, старинными или насмѣшливыми; но въ устахъ его все получало такія оригинальныя формы, которыми нельзя было не любоваться. У него все перерабатывалось юморомъ. Слово его было такъ мѣтко, что товарищи боялись вступать съ нимъ въ саркастическое состязаніе. Гоголь любилъ своихъ товарищей вообще, и до такой степени спутники первыхъ его лѣтъ были тѣсно связаны съ тѣмъ временемъ, о которомъ въ послѣдствіи онъ изъ глубины души восклицалъ: «О моя юность! о моя свѣжесть!» что даже школьные враги его, если только онъ имѣлъ ихъ, были ему до конца жизни дороги. Ни объ одномъ изъ нихъ не отзывался онъ съ холодною или неприязнью, и судьба каждаго интересовала его въ высшей степени. Бывшіе наставники Гоголя аттестовали его, какъ мальчика скромнаго и «добронравнаго;» но это относится только къ благородству его натуры, чуждавшейся всего низкаго и коварнаго. Онъ дѣйствительно никому не сдѣлалъ зла, ни противъ кого не оцетинивался жестокою стороною своей души; за нимъ не водилось дурныхъ привычекъ. Но никакъ не должно вообразать его, что называется, смиренною овечкою. Маленькія злыя ребяческія проказы были въ его духѣ. Подобныя затѣи были между его товарищами въ большомъ ходу.

Можно сказать вообще, что Гоголь мало вынесъ познаній изъ Нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ, а между тѣмъ онъ развился въ ней необыкновенно. Онъ почти вовсе не занимался уроками. Обладая отличною памятію, онъ схватывалъ на лекціяхъ верхушки и, занявшись передъ экзаменомъ нѣ-

сколько дней, переходилъ въ высшій классъ. Особенно не любилъ онъ математики. Въ языкахъ Гоголь тоже былъ очень слабъ, такъ что, до переѣзда въ Петербургъ, едва ли могъ понимать безъ пособія словаря книгу на французскомъ языкѣ. Къ нѣмецкому и англійскому языкамъ онъ питалъ и въ послѣдствіи какое то отвращеніе. Онъ шутилъ говаривалъ, что «не вѣрится, чтобы Шиллеръ и Гете писали на нѣмецкомъ языкѣ: вѣрно, на какомъ нибудь особенномъ, но быть не можетъ, чтобы на нѣмецкомъ.» — Вспомните слова его: «по-англійски произнесутъ какъ слѣдуетъ птица и даже фізіономію сдѣлаютъ птичью, и даже посмѣются надъ тѣмъ, кто не сумѣетъ сдѣлать птичьей фізіономіи.»

Зато въ рисованіи и въ русской словесности онъ сдѣлалъ большіе успѣхи. Въ гимназій было тогда, и до сихъ поръ (въ лицей) есть, нѣсколько хорошихъ пейзажей, историческаго стиля картинъ и портретовъ. Вслушиваясь въ сужденія о нихъ учителя рисованія, человѣка необыкновенно преданнаго своему искусству, и будучи подготовленъ къ этому практически, Гоголь уже въ школѣ получилъ основныя понятія объ изящныхъ искусствахъ, о которыхъ въ послѣдствіи онъ столь сильно, столь пламенно писалъ въ разныхъ статьяхъ своихъ, и уже съ того времени предметы стали обрисовываться для его глазъ такъ опредѣлительно, какъ видятъ ихъ только люди, знакомые съ живописію. Что касается до литературныхъ успѣховъ, то классныя упражненія на заданныя темы Гоголя, который назывался и подписывался, во время пребыванія своего въ гимназій, полнымъ своимъ именемъ: Гоголь-Яновскій, отличаются уже нѣкоторою опытностію, разумѣется, ученическаго пера, и силою слова, составляющаго одно изъ существеннѣйшихъ достоинствъ его первоначальныхъ сочиненій. Литературныя занятія были его страстію. Слово въ ту эпоху вообще было какою то новостію, къ которой не успѣли приглядѣться. Это было время появленія первыхъ главъ «Евгенія Онѣгина», время, когда

книги не читались, а выучивались наизусть. Въ этотъ то трепетный жаръ въ поэзіи, который Пушкинъ и его блистательные спутники разнесли по всей Россіи, раскрылись первыя сѣмена творчества Гоголя, но выражались сперва безцвѣтными и бесплодными побѣгами, какъ и у всѣхъ дѣтей, которымъ предназначено быть замѣчательными писателями. Первый опытъ Гоголя, извѣстный соученикамъ его, была трагедія «Разбойники», написанная пятистонными ямбами. Впрочемъ еще до того времени, когда Гоголь въ своемъ ученическомъ кругу сдѣлался настоящимъ литераторомъ, онъ читалъ одному изъ друзей своихъ наизусть стихотворную балладу «Двѣ Рыбки». Въ этой балладѣ онъ изобразилъ, подъ двумя рыбками, судьбу свою и своего брата, очень трогательно. Что касается до трагедіи, то она значительно возвысила Гоголя въ глазахъ его товарищей. Не ограничиваясь первыми успѣхами въ стихотворствѣ, Гоголь захотѣлъ быть журналистомъ, и это званіе стоило ему большихъ трудовъ. Нужно было писать самому статьи почти по всѣмъ отдѣламъ, потомъ переписать ихъ и, что всего важнѣе, сдѣлать обертку на подобіе печатной. Гоголь хлопоталъ изъ всѣхъ силъ, чтобъ придать своему изданію наружность печатной книги, и просиживалъ ночи, разрисовывая главный листъ, на которомъ красовалось названіе журнала: «Звѣзда». Все это дѣлалось, разумѣется, украдкою отъ товарищей, которые не прежде должны были узнать содержаніе книжки, какъ по ея выходѣ изъ редакціи. Наконецъ перваго числа мѣсяца книжка журнала выходила въ свѣтъ. Издатель бралъ иногда на себя трудъ читать вслухъ свои и чужія статьи. Все внимало и восхищалось. Въ «Звѣздѣ», между прочимъ, помѣщены были: повѣсть Гоголя *Братья Твердиславичи* (подражаніе повѣстямъ, появившимся въ тогдашнихъ современныхъ альманахахъ) и равныя его стихотворенія. Все это написано было такъ называемымъ «высокимъ слогомъ», изъ за котораго бились и всѣ сотрудники редактора. Гоголь былъ комивомъ во время своего ученичества только на дѣлѣ: въ литературѣ

онъ считалъ комическій элементъ слишкомъ низкимъ. Новое литературное направленіе заставило его бросить журналистику. Возвратясь однажды, послѣ каникулъ, въ гимназію, онъ привезъ на малороссійскомъ языкѣ комедію, которую играли на домашнемъ театрѣ Трощинскаго, и изъ журналиста сдѣлался директоромъ театра и актеромъ.

Гоголь нѣжно любилъ своего попечительнаго отца, и всегда любилъ и уважалъ добрую мать свою. Будучи еще на классной скамьѣ, Гоголь лишился отца.

Гоголь окончилъ курсъ наукъ въ 1828 году, съ правомъ на чинъ четырнадцатаго класса (отличные воспитанники выпускались съ правомъ на чинъ двѣнадцатаго класса), и уѣхалъ на родину, а оттуда, въ началѣ 1829 года, въ Петербургъ. Съ переселеніемъ его съ юга на сѣверъ начинается новый періодъ его существованія, рѣзко отличный отъ предшествовавшаго.

Будучи однимъ изъ слабѣйшихъ воспитанниковъ въ гимназій, не обладая даже и умѣреннымъ запасомъ свѣдѣній по какой бы то ни было отрасли знанія, не умѣя даже написать безъ орфографическихъ ошибокъ страницы, на чемъ онъ могъ основывать свою надежду на успѣхи въ столицѣ? Въ продолженіе 1829 года, онъ пытался открыть себѣ извѣстность другими путями, литературою и сценическимъ искусствомъ. Но та и другая попытка были безуспѣшны. Онъ прокладывалъ себѣ дорогу къ литературнымъ успѣхамъ тайкомъ даже отъ ближайшихъ друзей своихъ. Гоголь написалъ стихотвореніе *Италія*, и отправилъ его инкогнито къ издателю «Сына Отечества», можетъ быть, для того только, чтобъ узнать, удостоятъ ли его стихи печати. Стихи были напечатаны. Между тѣмъ у Гоголя была въ запасѣ поэма, *Ганцъ Кюхельгарденъ*, написанная, какъ сказано на заглавномъ листѣ, въ 1827 году. Не довѣряя своимъ силамъ и боясь критики, Гоголь скрылъ это раннее произведеніе свое подъ псевдонимомъ В. Алова. Онъ напечаталъ поэму на собственный счетъ, вслѣдъ

за стихотвореніемъ *Италія*, и роздалъ экземпляры книгопродавцамъ на комиссію. Для всѣхъ знакомыхъ Гоголя это оставалось непроницаемою тайною. Нѣкоторые изъ нихъ получили инкогнито по экземпляру его поэмы; но авторъ никогда ни однимъ словомъ не далъ имъ понять, отъ кого была прислана книжка. Онъ притаился за своимъ псевдонимомъ, и ждалъ что будутъ говорить о его поэмѣ. Ожиданія его не оправдались. Знакомые молчали, или отзывались о *Ганни* равнодушно, а между тѣмъ Н. Полевой прихлопнулъ ее въ своемъ журналѣ насмѣшкою, отъ которой сердце юноши поэта сжалось болѣзненною скорбію. Гоголь понялъ, что это не его родъ сочиненій, бросился съ своимъ вѣрнымъ слугою Якимомъ по книжнымъ лавкамъ, отобралъ у книгопродавцевъ всѣ экземпляры, нанялъ въ гостиницѣ номеръ и сжегъ всѣ до одного.

Не снискавъ извѣстности на поприщѣ литературномъ, Гоголь обратился къ театру. Успѣхи его на гимназической сценѣ внушали ему надежду, что здѣсь онъ будетъ въ своей стихіи. Онъ изъявилъ желаніе вступить въ число актеровъ, и подвергнуться испытанію. Но Гоголь долженъ былъ отказаться и отъ театра послѣ первой неудачной репетиціи, и оставался нѣсколько времени въ самомъ непріятномъ положеніи, въ положеніи басеннаго муравья, вѣхавшаго въ городъ на возу съ сѣномъ. При своей врожденной скрытности и при своемъ расположеніи къ мрачному отчаянію, онъ могъ дойти до страшнаго душевнаго разстройства; но его спасла мысль ѣхать за границу. Эта мысль давно уже его занимала; но, видно, неудобства къ ея осуществленію преодолевали въ немъ силу желанія видѣть мѣста, о которыхъ онъ начитался въ книгахъ. Гоголь находился въ такомъ мечтательномъ расположеніи души, что даже не сообразилъ своихъ средствъ съ расходами на поѣзду въ чужіе края; онъ бросился опрометью изъ Россіи, и очнулся только тогда, когда пароходъ привезъ его въ Любекъ. Тамъ онъ увидѣлъ, что у него слишкомъ мало денегъ

для предпринятаго имъ путешествія, и, не теряя времени, успѣшилъ возвратиться въ Россію. Гоголь только трое сутокъ прожилъ въ Любекѣ, и воротился на томъ же самомъ пароходѣ, который умчалъ его изъ Россіи.

Гоголь, передъ отъѣздомъ за границу, жилъ вмѣстѣ съ Н. Я. Прокоповичемъ. Каково было удивленіе Прокоповича, когда онъ, возвращаясь вечеромъ отъ знакомаго, встрѣтилъ слугу Гоголя, Якима, шедшаго съ салфеткою къ булочнику, и узналъ отъ него, что у нихъ есть гости. Когда онъ вошелъ въ комнату, Гоголь сидѣлъ, облокотясь на столъ, и закрывъ лицо руками. Разспрашивать, какъ и что, было бы напрасно, и такимъ образомъ обстоятельства, сопровождавшія фантастическое путешествіе, какъ и многое въ жизни Гоголя, остались тайною.

Это было самое трудное время для нашего поэта. Отецъ его умеръ еще до выхода его изъ гимназіи; имѣніе, поддерживаемое прежде дѣятельностію опытнаго хозяина, приносило теперь доходъ, едва достаточный для содержанія вдовы и четырехъ дочерей ея. Гоголь не требовалъ изъ дома денегъ, перебывалъ въ Петербургѣ кое какъ, и долженъ былъ, оставя артистическія затѣи, обратиться къ положительнѣйшей жизни. 10 апрѣля 1830 года онъ опредѣлился на службу въ департаментъ удѣловъ, и занялъ мѣсто помощника столоначальника, но не прослужилъ здѣсь и года. Онъ досталъ отъ того то рекомендательное письмо къ В. А. Жуковскому, который сдалъ молодаго человѣка на руки П. А. Плетневу, съ просьбою позаботиться о немъ. Плетневъ былъ тогда инспекторомъ Патріотическаго института, и исходатайствовалъ для Гоголя въ этомъ заведеніи мѣсто старшаго учителя исторіи, которое онъ и занялъ съ 10 марта 1831 года. Чтобъ доставить ему больше средствъ для жизни, Плетневъ ввелъ его наставникомъ дѣтей въ нѣкоторые дома. Въ департаментѣ удѣловъ Гоголь былъ плохимъ чиновникомъ и, по собственнымъ словамъ, извлекъ изъ службы въ этомъ учрежденіи только развѣ

ту пользу, что научился шивать бумагу. Но и въ качествѣ преподавателя онъ не отличался большими достоинствами. Мало по малу занятія литературныя отвлекли его отъ однообразныхъ трудовъ учителя. Въ продолженіе 1830 и 1831 годовъ, появились въ журналахъ и газетахъ нѣсколько безименныхъ его статей, которыя можно назвать пробою пера, устремленнаго къ широкой дѣятельности. Нѣкоторыя изъ статей напечатаны безъ всякой подписи, другія подъ разными псевдонимами. Такъ, въ февралѣ 1830 года, въ № 118 «Отечественныхъ Записокъ», и въ мартѣ, въ № 119, явилась безъ подписи повѣсть Гоголя *Басаврюкъ или Вечеръ наканунѣ Ивана Купала*, а въ апрѣлѣ 1830 года, въ № 130 «Отечественныхъ Записокъ», напечатана его статья *Полтава*.

Въ концѣ 1830 года, напечатана была, въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ», на 1831 годъ, глава историческаго романа (стр. 225), подъ которою выставлены буквы оооо, потому что о встрѣчается четыре раза въ имени и фамиліи автора: *Николай Гоголь-Яновскій*. Заглавіе романа было *Гетманъ*. Въ примѣчаніи сказано, что первая часть ея была написана и сожжена, потому что самъ авторъ не былъ ею доволенъ. Сверхъ этой главы, уцѣлѣла еще одна, подъ заглавіемъ *Плѣнникъ*. Эти два отрывка написаны уже со всѣми признаками несомнѣннаго таланта, и обратили на себя вниманіе такихъ людей, какъ Дельвигъ и Пушкинъ, которые дѣйствительно приняли въ это время Гоголя подъ свое покровительство, и, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, Плетневымъ и другими, содѣйствовали дальнѣйшимъ его успѣхамъ на литературномъ поприщѣ.

Въ первомъ номерѣ «Литературной Газеты», 1831 года, появилась другая статья Гоголя, *Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи*, подписанная именемъ Г. Яновъ, т. е. Гоголь-Яновскій. Это была первая подпись, обнаруживавшая готовность робкаго и недовѣрчиваго въ самому себѣ малороссіянина объявить свое настоящее имя. Подъ

статьею напечатано: «Продолженіе обѣщано;» но обѣщаніе не исполнено.

Въ № 4 «Литературной Газеты», на 1831 годъ, мы находимъ статью *Женщина*, уже съ подписію Н. Гоголь. Авторъ очевидно писалъ съ сильнымъ сердечнымъ увлеченіемъ, и потому, вѣроятно, считалъ это молодое произведеніе вполне достойнымъ своего имени. Въ первый разъ Гоголь былъ введенъ въ кругъ литераторовъ, какъ авторъ прелестныхъ *Вечеровъ на Хуторъ*, 19 Февраля 1832 года, на извѣстномъ обѣдѣ А. Ф. Смирдина, по случаю перенесенія его книжнаго магазина отъ Синяго моста на Невскій проспектъ. Гости подарили хозяина разными піесами, составившими альманахъ «Новоселье», въ которомъ помѣщена и знаменитая Гоголя *Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ*.

Въ эти первые годы литературной своей дѣятельности, Гоголь работалъ очень много, потому что, къ маю 1831 года, у него уже готово было нѣсколько повѣстей, составившихъ первый томъ *Вечеровъ на Хуторъ, близъ Диканки*. Не зная, какъ распорядиться этими повѣстями, Гоголь обратился за совѣтомъ къ П. А. Плетневу. Плетневъ хотѣлъ оградить юношу отъ вліянія литературныхъ партій, и въ то же время спасти повѣсти отъ предубѣжденія людей, которые знали Гоголя лично, или по первымъ его опытамъ, и не получили о немъ высокаго понятія. Поэтому онъ присовѣтовалъ Гоголю, на первый разъ, строжайшее инкогнито, и придумать для его повѣстей заглавіе, которое возбудило бы въ публикѣ любопытство. Такъ появились въ свѣтъ *Повѣсти, издаанныя пасичникомъ Рудымъ Панькомъ*, который будто бы жилъ возлѣ Диканки, принадлежавшей князю Кочубею. Книга была принята огромнымъ большинствомъ любителей литературы съ восторгомъ, и не прошло года, какъ уже появилась въ печати вторая часть *Вечеровъ на Хуторъ*. Пасичникъ Рудый



Панько очевидно былъ ободренъ первымъ приѣмомъ, и разболтался въ предисловіи ко второй книжкѣ еще любезнѣе.

Въ эпоху *Вечеровъ на Хуторѣ* и *Миргорода*, Гоголь былъ уже пріятелемъ Пушкина и Жуковского, у которыхъ онъ проживалъ иногда въ Царскомъ Селѣ. Это была самая цвѣтущая пора въ характерѣ поэта. Онъ писалъ сцены изъ воспоминаній родины, трудился надъ *Исторіею Малороссіи*, и любилъ проводить время въ кругу земляковъ. Тутъ то чаще всего видали его оживленнымъ. Гоголь отличался тогда щеголеватостію своего костюма, которымъ въ послѣдствіи началъ пренебрегать, но боялся холоду, и зимою носилъ шинель, плотно запахнувъ ее и поднявъ воротникъ выше ушей.

Въ 1834 году, Гоголь, при помощи Пушкина и Жуковского, получилъ мѣсто адъюнкта по кафедрѣ всеобщей исторіи въ Петербургскомъ университетѣ. Гоголь читалъ исторію среднихъ вѣковъ, для студентовъ 2-го курса филологическаго отдѣленія. Началъ онъ въ сентябрѣ 1834, а кончилъ въ концѣ 1835 года.

Гоголь, въ 1835 году, ѣздилъ въ Москву и въ свою милую Малороссію, и былъ въ Кіевѣ. Здѣсь Гоголь предпринималъ разныя прогулки по Кіеву и по его окрестностямъ. На лаврской колокольнѣ, откуда открывается обширная панорама гористаго Кіева и его окрестностей, можно видѣть собственноручную его надпись. Гоголь долго просиживалъ на горѣ у церкви Андрея Первозваннаго, и разсматривалъ видъ на Подоль и на днѣпровскіе луга. Въ то время въ немъ еще не было замѣтно мрачнаго сосредоточенія въ самомъ себѣ и сокрушенія о своихъ грѣхахъ и недостаткахъ; онъ былъ еще живой и даже немножко вѣтренный юноша. У г. Максимовича хранятся пѣсни, записанныя Гоголемъ въ Кіевѣ отъ его знакомыхъ, и относящіяся къ нѣкоторымъ кіевскимъ мѣстностямъ. Безотчетная склонность его къ юмору, которой онъ только въ послѣдствіи далъ опредѣленное направленіе, ни въ чемъ не

находила столько пищи, какъ въ этомъ весьма обширномъ отдѣлѣ малороссійской народной поэзіи...

Возвратясь осенью въ 1835 году въ Петербургъ, Гоголь почувствовалъ сильнѣе прежняго необходимость поправить свое здоровье въ тепломъ климатѣ и началъ готовиться къ путешествію на Кавказъ или въ другой подобный край за-благовременно. Второе изданіе *Вечеровъ на Хуторѣ* и постановка на сцену *Ревизора* доставили ему къ тому средства. Но кто бы могъ думать, что авторъ такой смѣшной комедіи, какъ *Ревизоръ*, страдалъ отъ нея не только во время ея представленія, но и за долго до него? Причины его страда-ній объяснить трудно. Довольно, впрочемъ, сказать, что онъ самъ ставилъ на сцену свою комедію и усиливался образо-вать для нея актеровъ — подвигъ, требующій усилій продол-жительныхъ и авторитета непреложнаго.

Осенью 1836 года, Гоголь поѣхалъ за границу, сначала въ Германію и Швейцарію, а потомъ въ Италію. Онъ жилъ въ Римѣ въ обществѣ художниковъ, и здѣсь писалъ свои *Мертвые Души*. Жизнь его въ Римѣ началась въ половинѣ марта 1837 года. Нѣкоторые изъ русскихъ художниковъ, ко-ротко знавшіе Гоголя въ этомъ городѣ, говорятъ, что онъ былъ скрытенъ и молчаливъ въ высшей степени. «Бывало отправится съ вѣмъ нибудь бродить по сожженнымъ лучами солнца полямъ обширной римской Кампаніи, пригласитъ сво-его спутника сѣсть вмѣстѣ съ нимъ на пожелтѣвшую отъ зноя траву, послушать пѣнія птицъ, и, просидѣвъ или про-лежавъ такимъ образомъ нѣсколько часовъ, тѣмъ же поряд-комъ отправляется домой, не говоря ни слова. По временамъ только Гоголь предавался порывамъ неудержимой веселости и являлся такимъ, какъ представляютъ его себѣ, судя по про-изведеніямъ, всѣ незнавшіе его лично. Въ эти рѣдкія минуты онъ болталъ безъ умолку; острота слѣдовала за остроюю, и веселый смѣхъ его слушателей не умолкалъ ни на минуту.» Изъ русскихъ художниковъ, бывшихъ вмѣстѣ съ нимъ въ

Римъ, онъ особенно любилъ историческаго живописца А. И. Иванова. Въ 1837 году, сдѣлано было Гоголю отъ царскихъ щедротъ единовременное пособіе въ 5,000 руб. ассиг., и тѣмъ, по словамъ Гоголя, въ одномъ письмѣ изъ Рима, дано ему средство, по крайней мѣрѣ полтора года, прожить безбѣдно въ Италіи.

Въ 1840 году, Гоголь снова былъ въ Россіи, и вотъ что онъ писалъ тогда изъ Москвы: «Хотя нѣсколько строкъ напишу къ вамъ. А не хотѣлъ, право, не хотѣлъ братья за перо! Изъ этой ли снѣжной берлоги выставлять носъ и еще писать? Медвѣди обыкновенно заворачиваютъ свой носъ поглубже въ шубу и спать. Вы уже знаете, какую глупую роль играетъ моя странная фигура въ нашсмъ *родномъ омутѣ*, куда я не знаю за что попалъ. Съ того времени, какъ только ступила моя нога въ родную землю, мнѣ кажется, какъ будто я очутился на чужбинѣ.»

Съ возвращеніемъ въ 1840 году въ Россію, пачались хлопоты Гоголя объ изданіи его поэмы. Тутъ онъ явился въ высшей степени нетерпѣливымъ и раздражительнымъ, посылалъ къ своимъ повѣреннымъ письмо за письмомъ, и въ каждомъ выражалъ новыя жалобы и новыя безпокойства. Въ изнуреніи отъ долгихъ ожиданій и тайной скорби, Гоголь ужъ самъ готовъ былъ отложить печатаніе задушевнаго труда своего, находя, что уже прошло къ тому время, и что его твореніе еще не совсѣмъ обработано. Онъ ограничивался желаніемъ представить его на судъ публики, состоящей изъ пяти преданныхъ ему друзей, и готовъ снова уѣхать въ Римъ, и снова приняться за отдѣлку своего великаго созданія. Въ письмахъ Гоголя сохранено много разсказовъ о томъ, какъ ему трудно бывало заставить себя дѣлать то, что онъ вмѣнялъ себѣ въ обязанность, но къ чему не загоралась въ немъ искра произвольнаго увлеченія. Вообще у него была тугая натура, и многое въ его сочиненіяхъ доставалось ему съ большимъ трудомъ. Когда онъ говорилъ, что ломалъ надъ

чѣмъ нибудь голову, это надобно было понимать въ самомъ тѣсномъ смыслѣ. Нѣкоторые изъ близкихъ къ нему людей подсматривали, что онъ дѣлаетъ, запершись у себя въ комнатѣ, и принявшись за работу. Это были самыя странныя гимнастическія упражненія. Гоголь размахивалъ руками, упирался кулаками въ бока, вертѣлся на всѣ стороны, схватывалъ себя за волосы, взъерошивалъ ихъ самымъ дикимъ образомъ, и выдѣлывалъ необыкновенныя гримасы. Отъ этого онъ иначе не принимался за трудную работу, какъ запершись накрѣпко въ своемъ кабинетѣ, къ которому отданъ былъ слугѣ приказъ не допускать никого и близко. Въ трудныхъ усиліяхъ Гоголя надъ самимъ собою выражается «железная сила души», и этотъ «тяжелый и сильный характеръ», который онъ изобразилъ въ *Останъ Бульбъ*. Въ то же самое время становится понятнѣе, какимъ образомъ Гоголь изъ цвѣтущаго юноши такъ быстро обратился въ болѣзненнаго старца, и отчего только подъ животворнымъ небомъ Италіи онъ получалъ употребленіе всѣхъ физическихъ и нравственныхъ силъ своихъ. То, что казалось въ немъ прихотію избалованнаго ребенка, было слѣдствіе строгой необходимости; иначе Гоголь не былъ бы Гоголемъ. «Въ самой природѣ моей, писалъ Гоголь друзьямъ своимъ о самомъ себѣ, заключена способность только тогда представлять себѣ живо міръ, когда я удалился отъ него. Вотъ почему о Россіи я могу писать только въ Римѣ. Только тамъ она предстаётъ мнѣ вся, во всей своей громадѣ. А здѣсь я погибъ, и смѣшался въ ряду съ другими. Открытаго горизонта нѣтъ предо мною. Притомъ здѣсь, кромѣ могущихъ смутить меня внѣшнихъ причинъ, я чувствую физическое препятствіе писать. Голова моя страдаетъ всячески: если въ комнатѣ холодно, мои мозговые нервы ноютъ и стынютъ, и вы не можете себѣ представить, какую муку чувствую я, всякій разъ, когда стараюсь въ то время пересилить себя, взять власть надъ собою, и заставить голову работать. Если же комната натоплена, тогда этотъ

искусственный жаръ меня душитъ совершенно; малѣйшее напряженіе производитъ въ головѣ такое странное сгущеніе всего, какъ будто бы она хотѣла треснуть. Въ Римѣ я писалъ предъ открытымъ окномъ, обвѣваемый благотворнымъ и чудотворнымъ для меня воздухомъ. Но вы сами въ душѣ вашей можете чувствовать, какъ сильно могу я иногда страдать въ то время, когда другому никому не видны мои страданія. Давно остывъ и угаснувъ для всѣхъ волненій и страстей міра, я живу своимъ внутреннимъ міромъ, и тревога въ этомъ мірѣ можетъ нанести мнѣ несчастіе, выше всѣхъ мірскихъ несчастій.»

Хлопоты и заботы по проценсурованію и изданію его знаменитаго творенія *Мертвоя Души* терзали его, что видно, между прочимъ, изъ письма его (27 марта 1840 года) къ П. А. Шлетневу: «Голова моя совершенно пошла кругомъ. Вчера я получилъ письмо отъ Прокоповича, которымъ онъ увѣдомляетъ меня, что вы послали рукопись еще четвертаго марта, въ среду на первой недѣлѣ поста. Ради Бога, увѣдомьте съ кѣмъ вы послали ее, и точно ли она была принята на почту, и кѣмъ. Боже, какая странная участь! Думалъ ли я, что буду такимъ образомъ оставленъ безъ всего! Время ушло, и я безъ копѣйки, безъ состоянія выплатить самые необходимые долги, которыхъ не выплатить безчестно, безъ возможности собрать сколько нибудь на дорогу. Непостижимое стеченіе бѣдъ! Я не знаю даже, гдѣ отыскивать слѣды моей рукописи. Разрѣшите хотя это по крайней мѣрѣ, чтобы я зналъ навѣрное, пропала ли она, или нѣтъ.»

Наконецъ Гоголь получилъ рукопись. Окончивъ хлопоты по предмету изданія первой части *Мертвыхъ Душъ*, Гоголь поспѣшилъ на покой въ свой «тихий уголъ, въ Римѣ.» Но прежде онъ позаботился, какъ умѣлъ, о спокойствіи своей матери.

Гоголь оставилъ по себѣ память своего пребыванія въ разныхъ европейскихъ городахъ; но, исключая итальянскаго, не говорилъ ни на одномъ иностранномъ языкѣ, и кажется ни-

когда не заботился о томъ, чтобъ научиться говорить на нихъ. Ему нужны были только ясное небо и цвѣтущая земля, а людей набралъ онъ въ свою душу изъ Россіи, и не разставался съ ними ни на молчаливыхъ развалинахъ римскаго Капитолія, ни на берегахъ кипящаго дѣятельностію Рейна. Въ Остендѣ помнятъ его, въ черномъ пальто и въ сѣрой шляпѣ, бродящимъ ежедневно взадъ и впередъ по морской плотинѣ, вѣчно одинокимъ и задумчивымъ. Его принимали тамъ за несчастнаго гипохондрика или мизантропа, и никто не подозрѣвалъ, сколько таилось глубокаго смысла подъ этимъ страннымъ іероглифомъ, въ которомъ иные читали пошлыя нелѣпости, а другіе отказывались понять хоть что нибудь.

Въ 1845 году, произошло въ жизни Гоголя событіе, долженствовавшее имѣть важное вліяніе на его литературную дѣятельность. Императоръ Николай Павловичъ, поощряя, съ свойственнымъ ему великодушіемъ, труды каждаго высокаго таланта, назначилъ Гоголю по тысячѣ рублей серебромъ въ годъ, въ теченіе трехъ лѣтъ. Ободренный столь милостивымъ вниманіемъ и обеспеченный на долго со стороны матеріальныхъ нуждъ, Гоголь пошелъ еще твердѣйшимъ шагомъ къ своей возвышенной цѣли самосовершенствованія, и оправдалъ, своею жизнію и смертію, что былъ достоинъ благоволенія и щедротъ монаршихъ.

Въ этомъ году Гоголь много путешествовалъ по Европѣ, и между прочимъ былъ въ Прагѣ. Тамъ національный музей, завѣдываемый извѣстнымъ Ганкою, обратилъ на себя особенное его вниманіе, такъ что онъ приходилъ нѣсколько разъ и рассматривалъ хранящіяся въ немъ сокровища славянской старины. Ганка нивакъ не хотѣлъ вѣрить, что передъ нимъ тотъ самый Гоголь, котораго сочиненія онъ изучалъ съ такою любовью (такъ наружность Гоголя, его пріемы и разговоръ мало выказывали того, что было заключено въ душѣ его); наконецъ спросилъ у самого поэта, не онъ ли авторъ такихъ то сочиненій.

— И, оставьте это! сказалъ ему въ отвѣтъ Гоголь. — Ваши сочиненія, продолжалъ Ганжа, составляютъ украшеніе славянскихъ литературъ (или что нибудь въ этомъ родѣ). — Оставьте, оставьте! повторялъ Гоголь, махая руками, и ушелъ изъ музея.

Въ 1845 году, Гоголь перенесъ въ Римѣ жестокою болѣзнь.

Между тѣмъ въ обществѣ еще не было извѣстно, что произошло въ душѣ Гоголя, ибо онъ только изрѣдка, и то передъ ближайшими друзьями, приподнималъ покровъ съ души своей. Всѣ считали Гоголя еще прежнимъ Гоголемъ, всѣ ожидали отъ него втораго тома *Мертвыхъ Душъ*, въ смыслѣ произведенія юмористическаго, и вдругъ явилась совершенно неожиданно его новая книга *Переписка съ друзьями*. Это была распахнутая внезапно дверь во внутреннюю мастерскую Гоголя, въ тотъ моментъ, когда въ ней кипѣла самая жаркая работа, и когда онъ нахсдился въ напряженномъ, трепетномъ и вмѣстѣ энергически восторженномъ состояніи духа. Въ предисловіи къ *Перепискѣ съ друзьями*, упоминается о приготовленіяхъ къ путешествію къ святымъ мѣстамъ, которое, по словамъ Гоголя, «было необходимо душѣ его.» Гоголь совершилъ переѣздъ черезъ пустыню Сиріи въ сообществѣ своего соученика по гимназій, г. Базили. Разрѣшивъ оживленную вновь вѣрою во Христа нѣкоторые важные вопросы, занимавшіе его душу, и удовлетворивъ своей жаждѣ знать человѣка вообще, онъ опять почувствовалъ влеченіе къ поэтическому труду своему, и занялся съ новымъ жаромъ изученіемъ Россіи и русскаго человѣка. Онъ началъ знакомиться съ опытными практическими людьми всѣхъ сословій, которымъ хорошо были извѣстны разныя особенности на Руси, и вообще ея вещественное и нравственное состояніе, и завелъ переписку съ такими лицами, которыя могли сообщить ему какое нибудь интересное обстоятельство или описать какой нибудь замѣчательный характеръ. Это было ему нужно для того, чтобы,

при созданиі своихъ типовъ, онъ могъ принимать въ соображеніе какъ можно больше предметовъ и явленій дѣйствительнаго міра, потому что свойство его творчества было таково, что только тогда каждое лицо въ его сочиненіи становилось живымъ, когда онъ, утвердивъ въ умѣ крупныя черты его, обнималъ въ то же время всѣ мелочи и дразги, которыя должны окружать это лицо въ жизни дѣйствительной.

Гоголь написалъ было уже второй томъ *Мертвыхъ Душъ*, но, повинувъ своему непреложному внутреннему суду, сжегъ его вмѣстѣ съ прочими своими произведеніями, существовавшими въ рукописи, какъ недостойное обнародованія. Пробовалъ писать вновь, но ничто его не удовлетворяло. Христіанинъ и художникъ спорили еще въ немъ другъ съ другомъ, и не слились въ одно животворное духовное существо. Онъ былъ доволенъ только своими письмами къ знакомымъ и друзьямъ о томъ, что занимало его пересоздавшую себя душу, и, обрадовавшись, что могъ высказываться хоть въ этой формѣ, издалъ выборъ изъ писемъ особою книжкою. Онъ надѣялся, что этими письмами обратить вниманіе общества на то, что онъ называлъ дѣломъ жизни, и что, заставивъ говорить другихъ, заговорить самъ о Россіи. Въ январѣ 1850 года, Гоголь писалъ къ своему другу изъ Москвы слѣдующее:

«Не могу понять, что со мною дѣлается. Отъ преклоннаго ли возраста, дѣйствующаго въ насъ вяло и лѣнливо, отъ изнурительнаго ли болѣзненнаго состоянія, отъ климата ли, производящаго его, но я просто не успѣваю ничего дѣлать. Время летитъ такъ, какъ еще никогда не помню. Встаю рано, съ утра принимаюсь за перо, никого къ себѣ не впускаю, откладываю на сторону всѣ прочія дѣла, даже письма къ людямъ близкимъ, — и при всемъ томъ такъ не много изъ меня выходитъ строкъ! Кажется просидѣлъ за работою не больше, какъ часъ, смотрю на часы уже время обѣдать. Нѣкогда даже пройтись и прогуляться. Вотъ тебѣ вся моя исторія. Конечъ дѣлу еще не скоро, т. е. разумѣю конечъ *Мертвыхъ Душъ*. Всѣ



почти главы соображены, и даже набросаны, но именно не больше, какъ набросаны; собственно написанныхъ двѣ, три и только. Я не знаю даже, можно ли творить быстро собственно художническое произведеніе. Это можетъ только одинъ Богъ, у котораго все подъ рукою: и разумъ и слово съ нимъ. А человѣку нужно за словомъ ходить въ карманъ, а разума доискиваться.»

По возвращеніи изъ Іерусалима, въ Москвѣ Гоголь велъ жизнь уединенную, но любилъ посидѣть и помолчать въ кругу хорошо извѣстныхъ ему людей и старыхъ пріятелей, а иногда оживлялся юношескою веселостію, и тогда не было предѣла его затѣйливымъ выходкамъ и смѣху. Особенно привлекалъ его къ себѣ гостепріимный домъ Аксаковыхъ, гдѣ онъ слушалъ и самъ пѣвалъ народныя пѣсни. Гоголь до конца жизни сохранилъ страсть въ этимъ произведеніямъ поэзіи. Приглашая своего земляка и знатока народной поэзіи, О. М. Бодянского, на вечера къ Аксаковымъ, которые онъ посѣщалъ чаще всѣхъ другихъ вечеровъ въ Москвѣ, онъ обыкновенно говаривалъ: «ушьемся пѣснями нашей Малороссіи», и, дѣйствительно, онъ упивался ими такъ, что иной вуплетъ повторялъ разъ тридцать сряду, въ какомъ то поэтическомъ забытьѣ, пока наконецъ надоѣдалъ самымъ страстнымъ любителямъ малороссійскихъ пѣсенъ, и земляки останавливали его словами: «Годи, Мыволо, годи!»

Гоголь, какъ извѣстно, боялся холоду, и потому въ 1850 году не хотѣлъ оставаться на зиму въ Москвѣ. Между тѣмъ въ его планы не входили уже новыя поѣздки за границу: онъ готовился къ изданію втораго тома *Мертвыхъ Душъ*. Итакъ, онъ избралъ своимъ зимовьемъ Одессу, откуда намѣревался проѣхать въ Грецію или въ Константинополь. Для этого онъ началъ заниматься новогреческимъ языкомъ, по молитвеннику, который, во время переѣзда въ Малороссію, составлялъ единственное его чтеніе. Онъ читалъ его по утрамъ вмѣсто молитвы, стараясь, однако же, дѣлать это

тайкомъ отъ своего спутника, М. А. Максимовича, съ которымъ онъ договорилъ заѣзжаго еврея съ извѣстною будкою на колесахъ, называющеюся, для красоты слога, брикою или шарабаномъ. Въ нее предполагалось положить вещи, а сами путешественники намѣревались сѣсть въ рессорную бричку, принадлежавшую г. Максимовичу. Но еврей, подрядившійся везти Гоголя, надулъ его самымъ плутовскимъ образомъ. Ему нужно было только остаться подъ этимъ предлогомъ въ Москвѣ до получения паспорта, а потомъ онъ начисто отперся отъ своего словеснаго обязательства. Гоголь былъ въ страшной досадѣ, но дѣлать было нечего. И вотъ пріискали имъ другаго долгаго извозчика, уже изъ православныхъ, и 13 іюня (1850) они выѣхали изъ Москвы въ безконечно долгую дорогу черезъ нѣсколько губерній. Они оставили Москву въ пятомъ часу пополудни, или, говоря точнѣе, въ это время они выѣхали изъ дому Аксаковыхъ, у которыхъ они на прощанье обѣдали. Первую ночь провели въ Подольскѣ, гдѣ въ то же время ночевали Хомяковы, съ которыми Гоголь и его спутникъ провели вечеръ въ дружеской бесѣдѣ. На 15-е іюня ночевали въ Маломъ Ярославцѣ; утромъ служили въ тамошнемъ монастырѣ молебень, напились у игумена чаю, и получили отъ него по образу св. Николая. На 16-е число ночевали въ Калугѣ, и 16-го обѣдали у г-жи Смирновой, искренней пріятельницы Гоголя, который питаль къ ней глубокое уваженіе. 19-е іюня путники наши провели у И. П. К\*\*\*, въ Долбинѣ, гдѣ нѣкогда проживалъ Жуковский, и написалъ лучшія свои баллады; а 20-го у г-жи А. П. Е\*\*\*, въ Петрищевѣ. Наконецъ, 25 іюня, разстались въ Глуховѣ, откуда Гоголь уѣхалъ въ свою Яновщину. Станнымъ иному покажется, что Гоголь не имѣлъ достаточно средствъ ѣхать на почтовыхъ, а между тѣмъ въ то время онъ получалъ весьма значительныя суммы за свои сочиненія. Но таковы именно были тогдашнія его обстоятельствова. По крайней мѣрѣ онъ считалъ необходимымъ отказать себѣ въ этомъ удобствѣ, и предпочесть

медленную и дешевую ѣзду быстрой и дорогой. Между тѣмъ друзьямъ его было извѣстно, что онъ везъ матери значительный денежный подарокъ, постоянно помогаль ей въ ея нуждахъ, и всячески заботился о воспитаніи и образованіи сестеръ своихъ, учившихся въ одномъ изъ общественныхъ женскихъ петербургскихъ заведеній. Онъ былъ «все тотъ же пламенный, признательный, никогда незагасавшій вѣчнаго огня привязанности къ родинѣ и роднымъ \*).» Между прочимъ, путешествіе на долгихъ было для него уже какъ бы началомъ плана, который онъ предполагаль осуществить въ послѣдствіи. Ему хотѣлось совершить путешествіе по всей Россіи, отъ монастыря къ монастырю, ѣздя по проселочнымъ дорогамъ, и останавливаясь отдыхать у помѣщиковъ. Это ему было нужно, во-первыхъ, чтобы видѣть живописнѣйшія мѣста въ государствѣ, которыя большею частію были избираемы старинными русскими людьми для основанія монастырей; во-вторыхъ, чтобы изучить проселки русскаго царства и жизнь крестьянъ и помѣщиковъ во всемъ ея разнообразіи; въ третьихъ, чтобы написать географическое сочиненіе о Россіи самымъ увлекательнымъ образомъ. Всѣ въ это время находили въ Гоголѣ большую перемяну. Прежде Гоголь, въ бесѣдѣ съ близкими знакомыми, выражалъ много добродушія, и охотно вдавался во всѣ капризы своего юмора и воображенія; теперь онъ былъ очень скупъ на слова, и все, что ни говорилъ, говорилъ, какъ человѣкъ, у котораго неотступно пребывала въ головѣ мысль, что *съ словомъ надобно обращаться честно*, или который исполненъ самъ къ себѣ глубокаго почтенія. Въ тонѣ его рѣчи отзывалось что то догматическое, такъ, какъ бы онъ говорилъ своимъ собесѣдникамъ: «Слушайте; не пророните ни одного слова.» Тѣмъ не менѣе однако же бесѣда его была исполнена души и эстетическаго чувства.

Въ концѣ 1850 года, Гоголь былъ въ Одессѣ, а изъ

---

\*) Собственные слова Гоголя о самомъ себѣ.

Одессы, въ 1851 году, въ послѣдній разъ переѣхалъ въ свою предковскую деревню и провелъ тамъ въ послѣдній разъ самую цвѣтущую часть весны.

Въ числѣ украшеній нынѣшняго дома въ Васильевкѣ, находится прекрасный грудной портретъ самого Гоголя, въ натуральную величину, писанный Моллеромъ около 1840 года въ Римѣ. Гоголь просилъ Моллера написать его съ веселымъ лицомъ, «потому что христіанинъ не долженъ быть печаленъ», и художникъ подмѣтилъ очень удачно привлекательную улыбку, оживлявшую уста поэта; но глазамъ его онъ придалъ выраженіе тихой грусти, отъ которой рѣдко бывалъ свободенъ Гоголь. Судя по этому портрету, авторъ *Мертвыхъ Душъ* одаренъ былъ наружностію, которая не бросалась въ глаза съ перваго взгляда, но оставляла пріятное впечатлѣніе въ томъ, кто его видѣлъ, а при повторенныхъ свиданіяхъ заохочивала изучать себя, и наконецъ дѣлалась дорогою для сердца. Высокій лобъ, полузакрытый спущенными наискось свѣтлорусыми лоснящимися волосами; тонкій съ небольшимъ горбомъ носъ, нѣсколько нагнувшійся надъ русыми усами; глаза, которые въ Малороссіи называютъ карими, съ тонкими, поднятыми какъ бы отъ удивленія бровями, и легкой румянецъ щекъ, на свѣтломъ, почти бѣломъ цвѣтѣ всего лица, таковъ былъ Гоголь въ то время, когда первый томъ *Мертвыхъ Душъ* былъ написанъ, а второй и третій существовали только въ его умѣ. Въ послѣднее пребываніе Гоголя дома, веселость уже оставила его; видно было, что онъ не былъ удовлетворенъ жизнію, хоть и стремился съ нею примириться. Тѣлесные недуги, происходившіе, вѣроятно, не отъ однѣхъ физическихъ причинъ, ослабили его энергію, а земная будущность, сократившаяся для него уже въ небольшое число лѣтъ, не обѣщала исполненія его медленно осуществлявшихся плановъ. Онъ впадалъ въ очевидное уныніе, и выражалъ свои мысли только короткимъ восклицаніемъ: «И все вздоръ, и все пустяки!» Но, каковы бы ни были его душевныя страданія, онъ не переставалъ забо-

тяться о томъ, чтобы занять милыхъ его сердцу домашнихъ полезною дѣятельностію, и сохранить ихъ отъ унынія. Одною изъ трогательнѣйшихъ заботъ его о матери было возобновленіе тканія ковровъ, которымъ она въ молодости распорядилась съ особеннымъ удовольствіемъ. Онъ думалъ, что ничѣмъ такъ пріятно не разсѣетъ ея подъ часъ грустныхъ мыслей, какъ занятіемъ, которое будетъ напоминать ей молодость. Для этого съ неутомимъ терпѣніемъ рисовалъ онъ узоры для ковровъ, и показывалъ, что придаетъ величайшую важность этой отрасли хозяйства. Съ сестрами онъ безпрестанно толковалъ о томъ, что всего ближе касается деревенской жизни, какъ то о садоводствѣ, объ устройствѣ лучшаго порядка въ хозяйствѣ, о средствахъ къ искорененію пороковъ въ крестьянахъ, или о леченіи ихъ тѣлесныхъ недуговъ, но никогда о литературѣ. Кончивъ утреннія свои занятія, онъ оставлялъ литературу въ своемъ кабинетѣ, и являлся посреди родныхъ простымъ практическимъ человѣкомъ, готовымъ учиться и учить cadaго всему, что помогаетъ жить покойнѣе, довольнѣе и веселѣе. Отъ этого дома его знаютъ и вспоминаютъ болѣе, какъ нѣжнаго сына, или брата, какъ отличнаго семьянина и какъ истиннаго христіанина, нежели какъ знаменитаго писателя. И въ общей любви къ нему родныхъ, независящей отъ удивленія къ его высокому таланту, много трогательнаго: тутъ видимъ Гоголя человѣка съ заслугами, которыя имѣли не всѣ великіе писатели. Работалъ онъ у себя во флигелѣ, гдѣ кабинетъ его имѣлъ особый выходъ въ садъ. Если кто изъ домашнихъ приходилъ къ нему по дѣлу, онъ встрѣчалъ своего посѣтителя на порогѣ, съ перомъ въ рукѣ, и если не могъ удовлетворить его короткимъ отвѣтомъ, то обѣщалъ исполнить требованіе послѣ; но никогда не приглашалъ войти къ себѣ, и никто не видалъ и не зналъ, что онъ пишетъ. Почти единственною литературною связію между братомъ и сестрами были малороссійскія пѣсни, которыя онѣ для него записывали и играли на форте-

пiano. Въ Васильевкѣ находился сборникъ, заключавшій въ себѣ 228 пѣсень, записанныхъ для него отъ крестьянъ и крестьянокъ его родной деревни. Говоря о послѣднемъ пребываніи Гоголя въ Васильевкѣ, приведемъ и шестую статью завѣщанія его.

«По кончинѣ моей, никто изъ нихъ уже не имѣетъ права принадлежать себѣ, но всѣмъ тоскующимъ, страдающимъ и претерпѣвающимъ какое нибудь жизненное горе. Чтобы домъ и деревня ихъ походили скорѣе на гостиницу и странно-пріимный домъ, чѣмъ на обиталище помѣщика, чтобы всякій, кто ни пріѣзжалъ бы, былъ ими принятъ, какъ родной и близкій сердцу человѣкъ; чтобы радушно и родственно распросили они его обо всѣхъ обстоятельствахъ его жизни, дабы узнать, не понадобится ли въ чемъ ему помочь, или же по крайней мѣрѣ дабы умѣть ободрить и освѣжить его, чтобы никто изъ ихъ деревни не уѣзжалъ сколько нибудь неутѣшеннымъ. Если же путникъ простаго званія, привыкнулъ къ нищенской жизни и ему неловко почему либо помѣститься въ помѣщицкѣмъ домѣ, то чтобы онъ отведенъ былъ къ зажиточному и лучшему крестьянину на деревнѣ, который былъ бы притомъ жизни примѣрной и умѣлъ бы помогать собрату умнымъ совѣтомъ; чтобы онъ распросилъ своего гостя также радушно обо всѣхъ обстоятельствахъ, ободрилъ, освѣжилъ и снабдилъ разумнымъ напутствіемъ, донесся потомъ объ всемъ владѣльцамъ, дабы и они могли съ своей стороны прибавить къ тому свой совѣтъ, или вспомошествованіе, какъ и что найдутъ приличнымъ, чтобы такимъ образомъ никто изъ ихъ деревни не уѣзжалъ и не уходилъ, сколько нибудь неутѣшеннымъ.»

На лѣто, въ 1851 году, Гоголь поѣхалъ въ Москву, гдѣ онъ скучалъ, тѣмъ болѣе, что всѣ его знакомые жили по дачамъ; наконецъ, получивъ извѣстіе о выходѣ замужъ одной изъ своихъ сестеръ, рѣшился ѣхать къ ней на свадьбу. Вышло, однако же не такъ. Приближаясь къ Калугѣ, онъ почувство-

валъ одинъ изъ тѣхъ припадковъ грусти, которые помрачали для него всѣ радости жизни и лишали его власти надъ своими силами. Въ такихъ случаяхъ онъ обыкновенно прибѣгалъ къ молитвѣ, и молитва всегда укрѣпляла его. Такъ поступилъ онъ и теперь: захавъ въ Оптину пустынь, онъ провелъ въ ней нѣсколько дней посреди смиренной братіи, и уже не поѣхалъ на свадьбу, а воротился въ Москву Первый визитъ его былъ сдѣланъ О. М. Бодянскому, который не выѣзжалъ на дачу, и на вопросъ его, зачѣмъ онъ воротился, отвѣчалъ:

— Такъ, мнѣ сдѣлалось какъ то грустно.

Наступила осень; съѣхались въ городъ разбѣянные вокругъ Москвы обитатели дачъ. Жизнь Гоголя потекла тѣмъ же порядкомъ, какъ и прежде. Онъ ужъ не чувствовалъ себя одинокимъ во время своихъ отдыховъ. Въ Москвѣ зимою проживало два, три семейства, въ которыхъ онъ былъ принятъ какъ родной. Тамъ каждый былъ проникнутъ глубокимъ уваженіемъ къ нему; каждый зналъ его привычки, его любимыя удовольствія, и всѣ старались угодить ему. Отправляясь туда на обѣдъ или на вечеръ, онъ не имѣлъ надобности надѣвать ненавистный для него фракъ, или совѣтоваться съ модою, касательно цвѣта и покроя своего жилета, тѣмъ болѣе, что въ Москвѣ вообще меньше, нежели въ Петербургѣ, соблюдаются уставы своенравныхъ приличій. За столомъ, въ пріятельскихъ домахъ, онъ находилъ любимыя свои кушанья и между прочимъ вареники, которые онъ очень любилъ и за которыми не разъ рассказывалъ, что одинъ изъ его знакомыхъ на родинѣ всякій разъ, какъ подавались на столъ вареники, непременно произносилъ къ нимъ слѣдующее забавное воззваніе: — «Варенки побиденки! сыромъ бовы позапыханы, масломъ очи позальваны, варенки побиденки...» Это обстоятельство, между прочимъ, показываетъ, до какой степени Гоголь чувствовалъ себя своимъ въ домахъ московскихъ друзей своихъ. Онъ могъ ребячиться тамъ такъ же, какъ и въ

родной Яновщинѣ, могъ распѣвать украинскія пѣсни своимъ, какъ онъ называлъ, «козлинымъ голосомъ», могъ молчать, сколько ему угодно, и находилъ всегда не только внимательныхъ слушателей въ тѣ минуты, когда ему приходила охота читать свои произведенія, но и строгихъ критиковъ. Впрочемъ, вообще Гоголю не нравилось, когда его упрашивали читать его сочиненія въ то время, когда онъ не чувствовалъ къ тому охоты. Въ одномъ аристократическомъ домѣ хозяйка, не зная еще какъ онъ упрямъ, заставила его прочесть что нибудь изъ *Мертвыхъ Душъ*, несмотря на всѣ его отговорки. Чтобъ помучить ее въ свою очередь, Гоголь развернулъ поэмю на первой главѣ, и прочиталъ извѣстное описаніе губернской гостиницы.

Въ началѣ 1852 года, онъ еще не думалъ о своей кончинѣ. Онъ былъ совершенно здоровъ, и чувствовалъ только слабость физическихъ силъ, которыя надѣялся подерѣпить весною на родинѣ въ занятіяхъ садоводствомъ. За девять дней до масляной, О. М. Бодянской видѣлъ его еще полнымъ энергической дѣятельности. Онъ засталъ Гоголя за столомъ, который стоялъ почти посреди комнаты, и за которымъ поэтъ обыкновенно работалъ сидя. Столъ былъ покрытъ зеленымъ сукномъ. На столѣ разложены были бумаги и корректурные листы.

— Чѣмъ это вы занимаетесь, Николай Васильевичъ? спросилъ Бодянской, замѣтивъ, что передъ Гоголемъ лежала чистая бумага и два очиненныя пера, изъ которыхъ одно было въ чернильницѣ.

— Да вотъ мараю все свое, отвѣчалъ Гоголь, да просматриваю корректуру набѣло своихъ сочиненій, которыя издаю теперь вновь.

— Все ли будетъ издано?

— Ну, нѣтъ; кое что изъ своихъ юныхъ произведеній выпущу.

— Что же именно?



— Да «Вечера».

— Какъ! вскричалъ, вскочивъ со стула Бодянский. — Вы хотите посягнуть на одно изъ самыхъ свѣжихъ произведеній своихъ?

— Много въ немъ незрѣлаго, отвѣчалъ Гоголь. Мнѣ хотѣлось бы дать публикѣ такое собраніе своихъ сочиненій, которымъ я былъ бы въ теперешнюю минуту больше всего доволенъ. А послѣ, пожалуй, кто захочетъ, можетъ изъ нихъ (т. е. «Вечеровъ на Хуторѣ») составить еще новый томикъ.

О. М. Бодянский вооружился противъ поэта всѣмъ своимъ краснорѣчіемъ, говоря, что еще не настало время разбирать Гоголя, какъ лицо мертвое для русской литературы, и что публикѣ хотѣлось бы имѣть все то, что онъ написалъ, и притомъ въ порядкѣ хронологическомъ, изъ рукъ самого сочинителя.

Но Гоголь на всѣ убѣжденія отвѣчалъ:

— По смерти моей, какъ хотите, такъ и распоряжайтесь.

Слово *смерть* послужило переходомъ къ разговору о Жуковскомъ. Гоголь призадумался на нѣсколько минутъ, и вдругъ сказалъ:

— Право, скучно, какъ посмотришь кругомъ на этомъ свѣтѣ. Знаете ли вы? Жуковский пишетъ ко мнѣ, что онъ ослѣпъ?

— Какъ! воскликнулъ Бодянский, слѣпой пишетъ къ вамъ, что онъ ослѣпъ?

— Да, нѣмцы ухитрились устроить ему какую то штучку... Семене! закричалъ Гоголь своему слугѣ по малороссійски, ходы сюды.

Онъ велѣлъ спросить у графа Толстаго, въ квартирѣ котораго жилъ, письмо Жуковскаго. Но графа не было дома.

— Ну, да я вамъ послѣ письмо привезу и покажу, потому что знаете ли? я распорядился безъ вашего вѣдома. Я въ слѣдующее воскресеніе собираюсь угостить васъ двумя, тремя напѣвами нашей Малороссіи, которые очень мило Н.

С. положила на ноты съ моего возлиаго пѣнія, да приэтомъ ущемся и прежними нашими пѣснями. Будете ли вы свободны вечеромъ?

— Ну, не совѣмъ, отвѣчалъ Бодянскій.

— Какъ хотите, а я уже распорядился, и мы соберемся у О. Θ. часовъ въ семь, а впрочемъ, для большей вѣрности, вы не уходите; я самъ къ вамъ заѣду, и мы вмѣстѣ отправимся на Поварскую.

Г. Бодянскій ждалъ его до семи часовъ вечера въ воскресенье, наконецъ подумавъ, что Гоголь забылъ о своемъ обѣщаніи заѣхать къ нему, отправился на Поварскую одинъ; но никого не засталъ въ домѣ, гдѣ они условились быть, потому что въ это время умеръ одинъ общій другъ всѣхъ московскихъ пріятелей Гоголя, жена поэта Хомякова, и это печальное событіе разстроило послѣдній музыкальный вечеръ, о которомъ хлопоталъ онъ.

Г-жа Хомякова была родная сестра поэта Языкова, одного изъ ближайшихъ друзей Гоголя. Гоголь крестилъ у нея сына, и любилъ ее, какъ одну изъ достойнѣйшихъ женщинъ, встрѣченныхъ имъ въ жизни. Смерть ея, послѣдовавшая послѣ кратковременной болѣзни, сильно потрясла его. Она потрясла его не одною горестію, вакою каждый изъ насъ чувствуетъ, лишась близкаго сердцу человѣка. Душа поэта, постоянно настроенная на высокой ладъ, постоянно обращенная къ таинственному замогильному міру, исполнилась священнаго ужаса и сокрушительной скорби, заглянувъ въ дверь, которая распахнулась передъ нимъ на мгновеніе, и снова закрыла отъ него свои тайны. Эти чувства читалъ онъ въ себѣ съ самаго дѣтства, и они были еще съ того времени «источникомъ слезъ, никому не зримыхъ», но проявлялись въ немъ во всей сокрушительной своей силѣ только въ моменты глубокаго душевнаго страданія. Такимъ моментомъ была для него утрата г-жи Хомяковой. Но онъ разсматривалъ это явленіе съ своей высокой точки зрѣнія, и примирился съ нимъ у гроба усопшей.

— Ничто не может быть торжественнѣе смерти, произнесъ Гоголь, глядя на покойницу: жизнь не была бы такъ прекрасна, если бы не было смерти.

Но это высшее умственное созерцаніе не спасло его сердца отъ роковаго потрясенія: онъ почувствовалъ, что боленъ тою самою болѣзнію, отъ которой умеръ отецъ его, именно, что на него «нашелъ страхъ смерти», и признался въ этомъ своему духовнику. Духовникъ успокоилъ его, сколько могъ; но Гоголь во вторникъ на масляницѣ явился въ нему, объявилъ, что говѣть, и спрашивалъ, когда можетъ приобщиться. Назначенъ былъ для этого четвертокъ. Пріатели Гоголя замѣтили, что онъ болѣе обыкновеннаго былъ блѣденъ и слабъ. Онъ и самъ говорилъ, что чувствуетъ себя худо, и что рѣшился поститься и говѣть.

— Зачѣмъ же на масляной? спрашивали его.

— Такъ случилось, отвѣчалъ онъ: вѣдь и теперь церковь читаетъ: «Господи, владыко живота моего», и поклоны творятся.

Занятія корректурою прекращены были имъ еще съ понедѣльника на масляницѣ. Онъ говорилъ, что ему «теперь нѣкогда этимъ заниматься», но продолжалъ посѣщать нѣкоторыхъ изъ своихъ знакомыхъ, и казался спокойнѣе прежняго, хотя видимо былъ изнуренъ какою то усталостію. Друзья приписывали это посту, и никто не зналъ, что онъ уже нѣсколько дней питается одною пресфорою, уклоняясь, подъ различными предлогами, отъ употребленія болѣе сытной пищи. Въ четвертокъ онъ явился въ церковь св. Саввы освященнаго, въ отдаленной части города, еще до начатія заутрени, и исповѣдался у своего духовника: передъ принятіемъ святыхъ даровъ, у обѣдни, палъ ницъ и долго плакалъ. Въ движеніяхъ его замѣтна была чрезвычайная слабость; Гоголь едва держался на ногахъ. Несмотря на то вечеромъ онъ опять пріѣхалъ къ тому же священнику, и просилъ отслужить благодарственный молебенъ, упрекая себя, что забылъ исполнить это поутру.

Во все время говѣнія и прежде того, можетъ быть со дня смерти г-жи Хомяковой, онъ проводилъ большую часть ночей въ молитвѣ, безъ сна. Въ ночи съ пятницы на субботу, послѣ говѣнія, онъ молился усерднѣе обыкновеннаго, и, стоя на колѣняхъ передъ образомъ, услышалъ голоса, которые говорили ему, что онъ умретъ. Трепеща за спасеніе своей души, которую все еще не считалъ достаточно, приготовленною къ переходу въ вѣчность, онъ тотчасъ разбудилъ своего слугу Семена, и послалъ его за священникомъ, съ просьбою соборовать его масломъ. Священникъ, поспѣшивъ на его зовъ, нашелъ его однако уже въ болѣе спокойномъ состояніи духа. Гоголь просилъ извиненія, что обезпокоилъ его, и отложилъ до другаго дня совершеніе таинства. Какъ ни ужасно было его положеніе, какъ ни глубоко была взволнована душа его видомъ смерти, педшей къ нему на встрѣчу со всѣми своими загробными тайнами, но любовь къ ближнему оставалась въ немъ попрежнему могущественнымъ инстинктомъ. Въ субботу онъ посѣтитъ осиротѣлаго своего друга, Хомякова, и старался утѣшить его своимъ участіемъ. Этимъ оправдываются слѣдующія слова его «Завѣщанія» (стр. 8—9)... «и я, какъ ни былъ самъ по себѣ слабъ и ничтоженъ, ободрялъ друзей моихъ, и никто изъ тѣхъ, кто сходилъ поближе со мною въ послѣднее время, никто изъ нихъ, въ минуты своей тоски и печали, не видалъ на мнѣ печальнаго вида, хотя и тяжки были мои собственные минуты и тосковалъ я не меньше другихъ.»

Наконецъ не стало въ немъ болѣе силъ двигаться; онъ пересталъ выѣзжать и слегъ въ постель, но и тутъ еще поднимался съ одра болѣзни и ходилъ на молитву въ домовую церковь, гдѣ, по случаю говѣнія графа и графини Толстыхъ, совершалась божественная служба. Видя, что это его изнуряетъ, они прекратили говѣніе. Гоголь не переставалъ молиться, и готовится къ смерти. Вѣруя слышаннымъ на молитвѣ голосамъ, онъ былъ совершенно убѣжденъ въ неизбѣжности близкой кончины.

Сколько главъ втораго тома его поэмы было написано имъ вновь, навѣрное неизвѣстно. Нѣкоторымъ изъ друзей своихъ онъ читалъ до семи, а, судя по его заботамъ о представленіи въ цензуру, надобно думать, что это было уже полное замкнутое созданіе. Какъ бы то ни было, однако же почувствовавъ приближеніе смерти, Гоголь вознамѣрился роздать по главѣ лучшимъ друзьямъ своимъ. Призвавъ къ себѣ графа Толстаго, онъ просилъ его принять на сохраненіе его бумаги, по смерти его отвезти къ одной духовной особѣ и просить ея совѣта, что напечатать и что оставить въ рукописи. Графъ отказался принять бумаги, чтобъ не показывать больному, что и другіе считаютъ его положеніе безнадежнымъ, и это дружеское самоотверженіе имѣло послѣдствія ужасныя. Въ волненіи мрачныхъ чувствъ, явившихся въ душѣ его, при видѣ подступавшей смерти, Гоголь подвелъ свое твореніе подъ строгую критику человѣка, покаявшагося во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ, и готоваго предать духъ свой въ руки божіи. Онъ призналъ себя недостойнымъ сосудомъ и органомъ истины, которую хотѣлъ выразить своимъ твореніемъ, и потому самое твореніе представилось ему вреднымъ для ближнихъ, какъ все, что не отъ истины. Изливъ свою душу предъ Создателемъ въ горячей молитвѣ, продолжавшейся до трехъ часовъ ночи, онъ рѣшился снова исполнить подвигъ высоваго самоотверженія, за который уже однажды былъ награжденъ духовнымъ ликованіемъ и возрожденіемъ сожженнаго «въ очищенномъ и свѣтломъ видѣ». Гоголь, видно, не считалъ еще себя достигнувшимъ такого высоваго душевнаго совершенства, чтобы слова его были огнями, воспламеняющими добродѣтели души и озаряющими «ясно какъ день пути и дороги къ ней для всякаго»; онъ не дерзнулъ помыслить передъ смертнымъ часомъ, чтобы его твореніе «устредило общество или даже все поволѣніе къ прекрасному», и опредѣлилъ сдѣлать его тайною между собою и тѣмъ, отъ кого онъ получилъ первое поэтическое наитіе. Въ три часа ночи онъ разбудилъ своего мальчика Семена, на-

дѣлъ теплый плащъ, взялъ свѣчу, и велѣлъ Семену слѣдовать за собою въ кабинетъ. Въ каждой комнатѣ, черезъ которую они проходили, Гоголь останавливался и крестился. Въ кабинетѣ приказалъ онъ мальчику открыть, какъ можно тише, трубу, и, отобравъ изъ портфеля нѣкоторыя бумаги, велѣлъ свернуть ихъ въ трубку, связать тесемкою и положить въ каминъ. Мальчикъ бросился передъ нимъ на колѣни и убѣждалъ его не жечь, чтобъ не жалѣть, когда выздоровѣетъ.

— Не твое дѣло, отвѣчалъ Гоголь, и самъ зажегъ бумаги.

Обгорѣли углы тетрадей, и огонь сталъ потухать. Гоголь велѣлъ развязать тесемку и ворочалъ бумаги, крестясь и тихо творя молитву, до тѣхъ поръ, пока онѣ не превратились въ пепель. Окончивъ свое аутодафе, онъ отъ изнеможенія опустился въ кресло. Мальчикъ плавалъ и говорилъ:

— Что это вы сдѣлали!

— Тебѣ жаль меня, сказалъ Гоголь, обнялъ его, поцѣловалъ, и самъ заплакалъ.

Потомъ онъ воротился въ спальню, крестясь по прежнему въ каждой комнатѣ, легъ въ постель, и заплакалъ еще сильнѣе. Это было въ ночи съ понедѣльника на вторникъ первой недѣли великаго поста. На другой день онъ объявилъ о томъ, что сдѣлалъ, графу съ раскаяніемъ; жалѣлъ, что отъ него не приняли бумагъ, и приписывалъ сожженіе ихъ вліянію нечистаго духа. Съ этого времени онъ впалъ въ мрачное уныніе, не пускалъ къ себѣ никого изъ друзей своихъ, или допускалъ ихъ только на нѣсколько минутъ, и потомъ просилъ удалиться, подъ предлогомъ, что ему дремлется, или что онъ не можетъ говорить. На всѣ убѣжденія принять медицинскія пособія онъ отвѣчалъ, что они ему не помогутъ, и, уступивъ уже не долго передъ вѣчною настояніемъ друзей, безпрестанно просилъ, чтобъ его оставили въ покоѣ. Такъ прошли первая недѣля поста и половина второй. Все свое время Гоголь проводилъ въ молитвѣ или въ молчаливомъ размысленіи, почти не говорилъ ни съ кѣмъ, но, повинувшись, видно, долговремен-

ной привычѣй мыслить на бумагѣ, писалъ дрожащею рукою изреченія изъ евангелія, молитву Иисусу Христу и между прочимъ написалъ слѣдующія замѣчательныя слова: «Какъ поступить, чтобы вѣчно, признательно и благодарно помнить въ сердцѣ полученный урокъ?» Въ понедѣльникъ на второй недѣлѣ поста духовникъ предложилъ ему пріобщиться и собороваться масломъ. На это онъ согласился съ радостію, и выслушалъ всѣ евангелія, держа въ рукахъ свѣчу, проливая слезы. Во вторникъ ему какъ будто сдѣлалось легче, но въ среду обнаружились признаки жестокой нервической горячки, и утромъ въ четвертокъ, 21 фѣвраля, его не стало. Тѣло его, какъ почетнаго члена Московскаго университета, перенесено было въ университетскую церковь. 24 фѣвраля, происходило отпѣваніе его, въ присутствіи градоначальника Москвы, попечителя московскаго учебнаго округа и многихъ почетныхъ лицъ древней русской столицы. Гробъ вынесенъ былъ изъ церкви профессорами университета и до самаго Данилова монастыря былъ несенъ преимущественно студентами, при многочисленномъ стеченіи народа. Гоголь похороненъ подлѣ своего друга, поэта Языкова.

К О Н Е Ц Ъ.





# ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Михаилъ Ивановичъ Глинка . . . . .	1
Алексѣй Егоровичъ Егоровъ . . . . .	58
Карлъ Павловичъ Брюловъ . . . . .	67
Александръ Васильевичъ Игумновъ . . . . .	93
Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ . . . . .	104
Тимоей Ивановичъ Перелоговъ . . . . .	127
Петръ Ивановичъ Страховъ . . . . .	136
Ефремъ Осиповичъ Мухинъ . . . . .	159
Антонъ Антоновичъ Прокоповичъ-Антонскій . . . . .	169
Тимоей Николаевичъ Грановскій . . . . .	189
Михаилъ Григорьевичъ Павловъ . . . . .	207
Григорій Саввичъ Сковорода, украинскій философъ . . . . .	215
Князь Антиохъ Дмитріевичъ Кантемиръ . . . . .	228
Михаилъ Васильевичъ Ломоносовъ . . . . .	239
Александръ Петровичъ Сумароковъ . . . . .	260
Денисъ Ивановичъ Фонъ-Визинъ . . . . .	284
Гаврилъ Романовичъ Державинъ . . . . .	305
Николай Михайловичъ Карамзинъ . . . . .	348
Николай Ивановичъ Гнѣдичъ . . . . .	418
Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ . . . . .	432
Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ . . . . .	479
Григорій Федоровичъ Квитка (Основьяненко) . . . . .	502
Иванъ Андреевичъ Крыловъ . . . . .	523
Василій Андреевичъ Жуковскій . . . . .	550
Николай Васильевичъ Гоголь-Яновскій . . . . .	570



18-00